АЛЕКСЕЙ ГОГУА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

Сухум
2009

РАССКАЗЫ

ЕЛАНА

Мы за Елену Аргивскую с ним пред вами сразимся,
Кто из двух победит и окажется явно сильнейшим,
В дом и Елену введёт, и сокровища все он получит...
«Илиада». Песнь третья

Буря бушевала всю ночь.

Косые потоки ливня обрушивались на стены домов, заливало дымоходы, вода протекала сейчас даже в очаги, смывая копившуюся годами копоть. Молния с треском вспарывала ночную тьму, и, словно светлячки, зажигались на миг и гасли со вспышкой разбросанные в чёрной бездне белые пятнышки домов.

Словно огромные глыбы срывались со скал во вселенскую пропасть – так грохотал гром...

И море буйствовало в эту ночь. Ветер и волны разрывали морскую поверхность, и вскипавшая пена тускло мерцала в набухшей дождём темноте. На малое судёнышко, щепкой брошенное в бушующее море, походит в такую ночь человеческое жильё...

Отделённая от бури тонкой дощатой стенкой, не спала в старой своей узкой железной кровати Елана – прислушивалась к звукам ненастья...

Не могла заснуть в такую ночь.

Когда налетала буря, она мучилась, как мучается мать, у которой ураган застиг сыновей в открытом море. И сердце её сжимала тревога, не давая легко вздохнуть, а остывавший её очаг был сейчас для неё будто крошечный спасительный островок среди безбрежной и бездонной ночи, заполненной погибелью...

Сквозь дощатую стену дома, внезапно оказавшуюся тонкой и ненадёжной, она вслушивалась в звуки непогоды и различала, выделяла в общем рёве нужное ей – в рукопашной схватке с бурей стонали её деревья. Особенно плохо приходилось той старой яблоне в углу двора... С незапамятных времён каждой весной окутывалась старая яблоня бело-розовым цветом, а потом налившиеся яблоки тяжело гнули её ветви к земле (люди добрые, помогите, подоприте чем-нибудь). За долгую жизнь, случалось всякое: бывало, обожгут её цветы нежданные весенние заморозки, а то вдруг налетит буря, только что появившиеся плоды посыплются наземь – и, стыдясь своих бесплодных ветвей, весь год простоит она печальная и поникшая… Однажды в свирепое ненастье у старой яблони обломился второй ствол. Она так и не сумела залечить эту рану – жизненных сих не хватало, да и сама рана была непомерно тяжела. И всё же, несмотря ни на что, искалеченная, одностволая, выстаивала она осенние и зимние непогоды, а весной оживала: старые, заскорузлые ветви её покрывала бело-розовая пена, нежная, будто в первый год цветения.

Но силы её убывали...

Елана различала сейчас в общем рёве знакомый шум ветвей – яблоня стояла, держалась под бурей...

Мысленно Елана обходила в эти минуты все свои деревья во дворе... Она выходила в сад, шла через виноградник… Ещё немного, и она останавливалась... И сразу отступало всё: и вой ветра, и шум страдающих деревьев, она словно опускалась в глубокую яму... Яма поглощала шум непогоды и вообще всяческие звуки – всё обращала в тишину... И Елана слушала теперь эту тишину, а та всё сгущалась, давила на худую её грудь, пыталась удушить... Только тогда Елана начинала карабкаться обратно, к жизни...

К утру ветер ослабел.

Измученная тяжёлой ночью, Елана заснула. Ей приснилось, будто сын её совсем ещё маленький, сладко посапывает рядом с ней, над пухлой розовой губкой выступили росинки пота... Она лежит в постели и боится двинуться, не дышит – как бы не разбудить малыша... И вдруг чувствует, что начинает засыпать... Она сопротивляется, борется со сном, ей так хочется смотреть на своего маленького: и как он спит, и как проснётся, откроет глазёнки… А сон наваливается, тяжело, беспощадно придавливает… Когда она освобождается через какое-то время от сонного дурмана, рядом с ней никого… пусто…

Словно кто-то с силой толкнул её в грудь… Она вздрогнула, застонала – и проснулась окончательно. Отчаянно колотилось сердце…

Не в силах перевести дух, она долго ещё лежала в постели, будто старый кузнечик, что затерялся в засохших травах необозримого луга, ни жив ни мёртв, побитый ночным ненастьем…

Отдохнув и отдышавшись, она наконец открыла глаза.

Рассветало.

– Ох, какой стыд, светает, а я всё лежу… разоспалась...

Она с трудом поднялась и сразу же стала одеваться.

Тяжёлые капли срывались с крыши, шлёпались о камень внизу – лишь редкий этот звук противостоял безмолвию, воцарившемуся в мире – было тихо, словно в огромном пустом сосуде.

– Стыд! Кто-нибудь узнает – засмеют ведь… Утром разлёживать в постели – будто молодуха… ишь, неженка какая!

В то время, когда в семье её всё было благополучно, муж вставал раньше, а сама Елана, пока он разводил огонь в очаге, могла ещё понежиться в тёплой постели; единственная прихоть, которую позволяла себе.

Обычно же утро её начиналось до света. Даже и в то далёкое время, под родительским кровом. Как раз замужем она смогла работать поменьше – семья небольшая: муж, сын да она сама. К тому же они не принадлежали к ненасытным, которым всегда всего не хватает, которые с жадностью хапают что ни попало под руку, стараются урвать побольше, поплотнее набить живот… Однако и не из таких были, которые работают ровно столько, чтобы достало на жизнь – ни больше, меньше...

Сама она с детских лет вступила в море труда и так и шла всю жизнь, не выходя из него. Её просто невозможно было отделить от этого моря – так рыба не может жить без воды. Она жила работой, и всё её существо, сколько она помнила себя взрослой, было настроено на труд. Этот настрой вовремя поднимал её с постели утром – ни на минуту раньше или позже необходимого, и он же останавливал её, когда усталость доходила до предела, а потом снова поднимал вовремя... Так и шла она все эти годы, возделывая бесконечное поле жизни...

Однако в последнее время после тяжких душевных ран, когда стали уже иссякать её силы, эти устоявшиеся, сделавшиеся частью её существа привычки вдруг перестали руководить ею. Теперь она поднималась утром раньше обычного и реже присаживалась отдохнуть – на ногах она легче переносила усталость.

– ...Кто знает, что натворила вчерашняя буря...

Одевшись, она стоя же сунула ноги, худые, с высохшей кожей, сквозь которую просвечивали синие набухшие жилы, в старые галоши и вышла во двор.

Старая яблоня уцелела – лишь свисали несколько обломанных веток, да земля под ней была усыпана зелёной ещё листвой и не успевшими дозреть поздними яблоками. Уцелела, да... Стояла усталая, притихшая, обессилевшая... С незаживающей, прогнившей раной там, где был когда-то главный ствол.

– Опять выстояла, бедняжка... – с усталым удивлением сказала старая женщина и тронула рукой уцелевшую ветвь.

Оглядела двор.

Все эти дни перед бурей налившиеся крутобокие плоды хурмы так и светились оранжевым – словно у каждой внутри зажгли по свечке... и так же ярко светились рядом с плодами оранжевые листья. А сейчас листья разлетелись по двору, побитые, втоптанные ливнем в траву. Кое-где валялись и лопнувшие плоды, хотя в большинстве всё же удержались на ветках. Под хмурым, заплаканным небом они казались поблекшими, словно ночная непогода погасила свечи, зажжённые в них солнцем.

Набухшая от дождя почва вся была усеяна опавшими листьями: рядом с оранжевыми, сорвавшимися с дерева хурмы, лежали большие жёлтые виноградные; если их перевернуло, розовел пушок изнанки; оранжевое и жёлтое пересыпано было ещё и зелёным: разлетелись листья ольхи, изъеденные какой-то молью... Из-под этого гибнущего разноцветья выглядывали красные бока яблок, оранжевая хурма, сорвавшиеся гроздья чёрного винограда. А под молодыми зимними яблоньками землю устилали попадавшие ещё зелёными крепкие яблочки.

– Давно никто не лечил деревья... вот и срываются, будто гнилые... – Елана с жалостью посмотрела на яблоньки, на пропадавшие плоды...

Все запахи на дворе заглушал пьянящий аромат побитого переспелого винограда – словно бродило молодое вино.

Елана задержалась, ещё раз оглянула двор, где всё было разворошено бурей, и пошла к саду; из земли под её ногами сочилась вода; старая замшелая калитка отяжелела от дождя. Желтоватая, мягкая и слабая от недостатка солнца трава в саду усеяна опавшими листьями и побитым виноградом; кистей здесь оборвалось больше, чем во дворе.

– Отдаю ему больше половины. Кажется, он и собрать должен больше: для себя же старается... Так нет, что за странные люди пошли, никому ничего не нужно, – бурчала себе под нос Елана, с болью оглядывая следы ночного побоища. – Ну хорошо, пусть даже всего у тебя в доме в избытке, так хоть пожалей виноград, пропадёт ведь...

Этой осенью Елана договорилась с соседом, молодым ещё парнем. Он только что отделился от братьев и строился рядом. Она даже хотела, чтобы ему досталось побольше от урожая: иметь такое вино новосёлу не помешает... Однако парень остался равнодушен к даровому винограду: собрал лишь то, что висело пониже да поудобнее, остальное не тронул. Ещё вчера здесь из-под постаревших и пожелтевших листьев выглядывали великолепные тяжёлые грозди. И птицы, пока были сыты, не очень набрасывались... Вчерашняя буря погубила всё, что оставалось на ветвях...

Ей самой и не нужно много вина: дай Бог раз в месяц заглянет гость или дальний родственник навестит. Но разве в том дело, что ей немного надо... Пока человек жив, его труд, его пот не должны пропадать даром и добро не должно гнить под открытым небом.

Неудобно перед людьми: что скажут они, увидев брошенный урожай? Неудобно за него, за соседа, он же только начал самостоятельно вести хозяйство, и надо же ему было показать себя таким безалаберным.

Елана вздохнула и пошла дальше, ступая осторожно, стараясь не давить валявшиеся на земле виноградины.

Сразу же за садом, там, где кончались его сумрачность и тень, внезапно – светлое пятно лужайки. Простая железная ограда, внутри две могилы жмутся в сторону, оставляя лучшее, что посветлее, место кому-то третьему... Вокруг решётки – полегший после ливня бурьян... Поникла крапива, чертополох, лопух, и из травы проглянули неожиданно какие-то удивительные красивые, синие, голубые цветочки... Внутри ограды цветы, посаженные Еланой.

Среди них Елана отличала розу, все прочие, какие бы ни встречались, для неё были просто цветы.

В молодые годы, если случалось идти лугом, летним, цветущим, прогретым солнцем так, что запахи дурманили голову, она не могла остаться равнодушной; куда бы ни спешила, хоть на минутку, но останавливалась... Сердце её сжималось непривычно, сладко замирало, ей вдруг начинало казаться, что она вот-вот услышит какие-то неведомые, невыразимо прекрасные звуки, удивительную музыку. Она вся обращалась в слух, она ждала, когда же её ушей коснутся эти волшебные звуки, и чувствовала, как они проплывают мимо, не даются, желанные и недосягаемые ...

Разочарованная, она шла дальше, наплывали сладкие запахи цветов, обострённый, неудовлетворённый её слух вместо исчезнувшей, обманувшей

волшебной мелодии ловил лишь разноголосое пение мириад кузнечиков... И ей казалось тогда, среди богатства цветов и звуков, что она обделена, обманута, лишена чего-то важного.

А потом, когда она работала в поле и обливалась потом под палящим солнцем, в ушах снова не умолкало пение кузнечиков. Оно уже не раздражало, постепенно начинало забавлять, рассеивало усталость, отвлекало, напоминая о цветущем луге. И желание услышать его необыкновенную волшебную музыку нарождалось и жило снова.

И было несколько раз так, что она чуть-чуть не услышала их, эти звуки, ей даже показалось, будто она почувствовала некое дуновение, шевельнулся воздух, что-то проплыло совсем рядом... И всё же – всё же долгожданное волшебство не случилось.

Потом, позже... много времени спустя она услыхала их...

Выйдя замуж, она несколько раз ждала ребёнка, но неудачно: через три-четыре месяца она выкидывала и снова ходила порожней.

Измучившись, истосковавшись по ребёнку, она единственный раз – наконец-то смогла доносить до срока. Роды были трудные. После трёх дней мучений, освободившись от боли и страха, она вдруг ощутила в себе гулкую пустоту, – такая бывает в пустой церкви. И тогда она почувствовала, что заполнить эту пустоту могут только те таинственные прекрасные звуки, по которым она томилась ещё в пору девичества.

Ей принесли ребёнка. Когда он жадно ищущими губками нашёл, схватил розовый сосок набухшей груди, она услышала наконец эти звуки: зазвучал весь мир вокруг, рождая сладостную, тихую, волшебную музыку. Через открытое окно она слышала и видела, как всё пело: деревья, посаженные ею и просто выросшие по своей воле; они пели каждым своим листочком; и травы звучали, будто бесчисленные струны, и откуда-то издалека им еле слышным басом вторили древние горы... и небо... самое удивительное, что и небо!.. Волшебные звуки текли, поднимались к нему от земли, и оно принимало их и возносило ещё выше, растворяло в своей бесконечности и пело, пело...

Ребёнок жадно сосал грудь, и она чувствовала обильный ток молока, и вместе с молоком лилась сладостная мелодия, пронизывая всё её существо. Она чувствовала себя сейчас иной, незнакомой, обновлённой, она обретала себя – и вокруг сделалось светлее, и слух её до того обострился, что она слышала, как шепчутся во дворе травинки, а воздух приобрёл вдруг особую тонкую звонкость... И наконец она почувствовала счастливую, блаженную усталость. Насытившись, мальчик заснул, не отпуская соска, иногда во сне он снова принимался чмокать. И она вздохнула глубоко и свободно... Этот воздух, этот новый, неведомый раньше аромат ребёнка... Ни прежде, ни потом она не дышала таким сладостным воздухом...

Что это было за счастье, счастье, счастье!

И поныне, хоть и стала она теперь походить на высохшее бесполезное русло, помнит она то счастье, помнит её душа, всё её существо, и будет помнить завтра и послезавтра, будет помнить, пока она дышит!

Могилы были тоже укрыты слоем мокрых опавших листьев. Она сгребла их – осторожно, словно боясь сделать кому-то больно. Открылся морской песок могильных холмиков и узор из белых морских камушков на песке.

– Непутёвые вы мои... до чего ж оба вы были нетерпеливы... Что ни говорила вам, как ни предупреждала, не хотели слушать серьёзно, всё вам казалось игрушкой... А вот когда плохо становилось, когда бодрости в душе не было, тут-то вы не могли без меня...

Побитые виноградины она выбирала и откладывала в сторонку – не желала смешивать их с грязной мокрой листвой. Кончила сгребать листву, собрала виноградины в горсть. Морщинки ладоней окрасились в тёмно-красное, дохнуло запахом молодого вина. Подержала, потом, словно боясь, что они побьются ещё больше, неохотно разжала горсть, высыпала на землю...

Вот как оно вышло, сынок... Я ведь говорила: не надо, и без того слишком ты заметен среди людей. Не зря же и на место видное тебя поставили. Говорила: не подавай голоса, молчи, для чего привлекать лишнее внимание? Делай как все: не забегай вперёд, не опережай... (Почему?) Почему, почему! Да потому, что нельзя быть не таким, как все, делать иначе – и без того ты слишком на виду. Другого и не заметят, даже если изо всех сил стараться будет... Но нет, они не стараются, не показывают себя, не переступают границ принятого... Потому что это грешно... Не видят люди – видит Бог! Да, Бог всё видит... он Бог, он прощает глупых, наивных... но люди! Быть на виду у людей – знаешь, что это такое? Нельзя под их взглядами делать то, что тебе захотелось, а их словно бы и нет, не замечаешь. А ведь ты именно так и поступал, сколько раз говорила тебе! Человек, он же не Бог, чтобы забирать себе столько воли, дерзить! (А пускай не смотрят. Каждый должен поступать по своему разумению, как лучше.) Как лучше! Как лучше, знают все вместе.

(Если слушаться всех, если оглядываться на каждого и дрожать, ведь и жизнь пройдёт, не заметишь. Самое главное – творить добро, добиваться правды. Любой путь хорош, если ведёт к добру. Так зачем же людям осуждать, пусть лучше идут следом.)

В этом вам не откажешь... Вы мастера были любому дать отпор, и меня пожурить, и успокоить, и посмеяться над моими страхами. Но говорила, говорила я: разумный не пойдёт против течения, разумный не бросится в огонь...

Наконец она отгребла мокрую листву от гранитных плит в изголовье могил, руками очистила углубления надписей, пристально и жадно смотрела на них, обвела взглядом каждую вырубленную в граните букву. Она не могла прочесть надписи, и оттого ли, что вырезаны они были равнодушной и бездарной рукой, или потому, что обозначали имена дорогих ей людей при помощи непонятных знаков, они казались ей случайными, необязательными.

Но сейчас все так делают, с надписями, каждый, кто хочет, чтобы могилы близких выглядели прилично. А раз делают все...

Разве можно поступать не так, как все. Нельзя позволять себе больше, чем другие, но нехорошо и меньше. Сделаешь больше – люди сразу заметят, сделаешь меньше – тоже.

Изношенной, сточенной, как лезвие старого ножа, ладонью она погладила, могильную землю, сперва тихонько, едва касаясь, потом сильнее, чувствуя каждый камушек, из которых был выложен узор. Два камушка, лежавшие рядом, были побольше остальных. Один морской, карминного цвета, с белёсыми прожилками, – казалось, видны далёкие горы, озарённые закатным солнцем и прорезанные разлившимися потоками. Камушек был мокрый, словно бы прозрачный, и переливался. Другой – это был обломочек горной породы – серый, остроконечный, на нём тускло мерцали блестящие точечки вкраплений. Елана знала, что эти точечки блестят ярче, когда камень сухой.

– Сынок, сынок... – говорила Елана, – ты ведь уже был совсем взрослым, а всё не забывал привычки детства. Пойдёшь на берег, наберёшь камушков... просто камушков – и несёшь домой. А я ругалась, я объясняла тебе, что ты вырос, люди знают тебя, знают, что выучился, любой может поучиться теперь у тебя, и вдруг заметят, что карманы твои оттягивают морские камушки!.. Как тогда глядеть людям в глаза? (Этот камушек с горы, а вот – с моря. Видишь, когда на морской попадает вода, он как бы размягчается, становится щедрее... А тому, обломку вершин, больше идёт солнце... под солнцем начинает сверкать.)

– Не знаю... для меня все камни как камни: если лежит на дороге, откатываю в сторону, чтобы не мешал, встретится на пашне, убираю, случится попасть по камню мотыгой, так и проклянёшь: мотыга-то затупляется.

(– Зачем тебе, сынок, холодный камень?

– Не может быть, чтобы ты не видела, – ведь они все разные, и каждый по-своему красив!)

– Наверное... Глаза, что ли, у тебя по-другому были устроены? Может, мы тебе все казались просто слепыми? Тогда и ты должен был сделаться слепым, не видеть, как и мы... Да, да, да! Я и тогда говорила тебе так, и сейчас повторю!..

Елана не могла больше сидеть на корточках, согнувшись, – поднялась, распрямила спину.

– Каждый по-своему красив. Это камни. А кто мог сравниться красотой с тобой, сынок. Но когда я слышала, как люди говорят о том, что ты красив и статен, меня лихорадило, я словно предчувствовала потерю. Непутёвые мои, и без того вы оба выделялись среди людей, невольно привлекали взгляды, но нет, ещё и на дыбы становились в нетерпении, увлекались, забывали оглянуться.

Как ни желала, как ни старалась я, не сумела прибрать вас к рукам. Набросить узду не смогла...

Елана осмотрелась и добавила шёпотом:

– Может, и есть люди, которым всё нипочём, отскакивает от них... Но какое нам дело до этого, зачем вспоминать о таких... Нет, мы должны были знать то, что нам положено... В этом мире каждый должен знать своё место – и понимать, которое не своё... Если на дерево глядят все без разбору, оно засыхает... Всё, что слишком привлекает внимание, в опасности! Да, да, да!

Елана подошла ко второму могильному холмику в ограде и снова осторожно погладила землю, словно за ней наблюдали люди, а она совершала перед ними неблаговидный, не подобающий её годам поступок.

... И тогда он ушёл, всё оставил на меня на одну.

Ему-то было не привыкать... Сил моих не хватило – а то бы закрыла, запрятала обоих, словно лакомство какое, подальше в сундук и ключ при себе бы держала. Почему мир сделался тесен для тебя? Ты забыл о том, что существует смерть и что не очень-то она разборчива. Люди, знавшие тебя таким, думали, что ты подобен могучему дубу, а ты оказался хрупким, как тоненький прутик. А я вот осталась – вы взвалили на меня эту ношу... Видно, Бог наказал, ослабила вожжи, ведь всё-таки кое-как придерживала вас. Отпустила – вы и вырвались и вот погубили и себя, и меня...

Елана опять согнула спину, теперь она поднимала полегшие кусты роз, прислоняла их к ограде. Розы, красные, чайные, белые, были разных сортов, но Елана не выделяла, не любила какой-то один из них, для неё это были просто розы, и всё.

– В огороде их не посадишь, в поле тоже, да и на дворе они вроде ни к чему. Разве только на могиле... Посмотришь на городских, кажется, шагу не ступят без роз: вручают жениху, охапками дарят невесте. Приносят родившей женщине, выбирают для понравившейся девушки.

А вот ей, Елане, никто и никогда ни разу в жизни не принёс ни одного цветка ...

Она пошла было к выходу из могильной ограды, но у самой калиточки остановилась и долго стояла ещё, будто слепая, ничего не видя вокруг, никуда не глядя.

– Что же матери-то делать, сынок, как жить ей, почему не подскажешь?

Она подумала сейчас и о своём муже – он не вынес смерти сына. А ведь был ещё совсем не стар и до того дня даже простой головной боли не знал...

Её удивило вдруг неожиданное открытие: оказывается, она почти уже забыла мужа. Внешность его, улыбка, разговор, даже и характер – всё со временем теряло чёткость, расплывалось в её памяти, как чернильные строчки на бумаге, брошенные под дождь.

После его смерти, стараясь представить его себе, каждый раз удивлялась Елана, до чего же мало знала она мужа. Но если подумать, так и что ж тут удивительного: разве случилось хоть раз, чтобы до конца открылись они друг другу? Ведь её главной заботой было уследить, чтобы не занесло его куда не надо, и только лишь чуяла, что может он повести себя неподобающе, хватала его, держала мёртвой хваткой, стыдила, топила в упрёках...

– Так его всё и тянуло выкинуть что-нибудь, а человек-то уже семейный, не мальчишка какой-нибудь...

Наверное, не так уж редко случается: живут люди рядом свой век и не знают по-настоящему друг друга: лишь потеряв, задумаются...

Ну вот, теперь и её, вернее, мысли её заносит Бог знает куда!

Она снова остро ощутила, что стоит возле могилы сына.

– Ой, сыночек, сыночек, несчастная твоя мать...

Мать, у которой умер сын, не должна плакать – при людях. Это не принято. Не станешь ведь делать такое, чего не позволяют себе другие. Будто ты особенная, не как все... Разве меньше, чем она, Елана, любили своих сыновей другие матери, а ведь были и такие, что даже не знали, как погибли их сыновья: в огне ли, или в воде, или клевали их тела, не преданные земле, прожорливые вороны... И если уж эти матери не плакали на людях...

Разве можно считать исключительным и необычным своё горе, разве даёт оно право выделять себя... Вот если бы этот большой мир был твоим и был он пуст, как переулок, где живут завистники, подглядывающие в окошко друг за другом, – вот тогда бы, конечно, другое дело...

(Но ведь тому, кто выплачет горе, ему легче, оплаканное горе утихает скорее!)

– Эх, сыночек, сыночек! Так ты и не привык считаться с тем, что скажут люди. Кому какое дело, давит ли дольше невыплаканное горе, приносят ли облегчение слёзы. Им надо, чтобы каждый делал то, что принято для всех, чтобы никто не возмутил спокойствия остальных. Вот что им нужно...

Да, это правда: непролитые, проглоченные слёзы сжигают изнутри. Наверное, они текут по жилам вместо крови, только не приносят жизнь, как кровь, а отнимают её, убивают постепенно, каждый день, понемножку... Такое горе не проходит, не отпускает уже никогда. Сначала стараешься терпеть, приучаешься, терпение закаляет тебя – и постепенно вся жизнь становится сплошным терпением.

Всё, всё забирает смерть, прячет, укрывает в вечной бездонности боли: и облик, и голос, и родной, любимый взгляд – всю жизнь близкого человека, и вот он уже бесконечно далёк от тебя... А сверху – могильная земля, она способна сделать далёким самого близкого...

И мир становится таким невыносимо плоским, не отпускает тебя ни в землю, ни в небо...

– Эх, земля, ненасытная твоя утроба!..

И без того сухие глаза Еланы, словно опалённые жгучим ветром пустыни, сделались ещё суше, а горло до того пересохло, что вот-вот, казалось, испепелится, и заныли обтянутые тонкой сухой кожей её старые кости...

(А лучше бы выплакать, излить слёзы...)

Она уже не может теперь так просто заплакать – за пять дней и ночей, что провела у тела сына, видела его сделавшееся отчуждённо далёким лицо, слёзы, которые она глотала, стараясь сдержаться, перегорели в ней, как молоко у молодой матери, потерявшей только что рождённого ребёнка...

Можно ли оплакать такое горе? Которое из морей вместит слёзы матери? Мудрый человек сказал: мать не может – а потому и не должна – оплакать

сына. Не по силам такое никому, а тот, кто берётся за непосильное, тот смешон. Быть смешным при таком горе...

Елана спохватилась, что дала над собой власть горестным раздумьям, а они уносят её в такой водоворот, откуда потом и не выберешься...

Она повернулась, чтобы идти.

– Что мне вам сказать? Да разве вы когда-нибудь задумывались над моими словами? Непременно должны были сделать так, как вам Бог на душу положит... Всё по-своему, всё по-своему... Откуда столько упрямства, самоуправства? О Боже, Боже!..

Она затворила калитку могильной ограды и пошла по саду, по сорванной ветром намокшей листве, пересыпанной побитым виноградом.

– О, земля, ненасытная твоя утроба...

И всё же Елана любила эту землю. Сейчас ей не терпелось обойти весь участок, посмотреть, что успела натворить ночная буря.

С землёй у неё была особая связь, особое чувство рождалось от соприкосновения с ней. Елана не смогла бы объяснить, что это было за чувство, употребляя такие слова, как «добро» или «жизнь», ибо оно не вмещалось в эти понятия. Ей просто казалось иногда, что некая особая сила исходит от земли и, как соки в дереве, растекается по всему её телу, и она чувствует себя словно дерево, или лужайка, или вода, заполнившая след копыта... Ей тогда делалось легко, и душе её, и телу.

Правда, в последнее время и эта близость земли не приносила облегчения, – горе не давало забыться, раствориться, возвращало к жизни, к боли.

И всё же Елана не могла не любить эту землю, которая так обильно полита её потом, которую она столько разрыхляла этими вот руками, которая бережно хранила в себе корни всех деревьев, посаженных ею...

Земля кормит человека, а потом съедает его.

И эти незримые нити, нити жизни и нити смерти, накрепко связали Елану с её землёй.

Землю она знала и понимала больше всего на свете... больше даже, чем своего покойного мужа.

Она помнила, как загорались и светились его глаза. Они загорались, когда Елана прощала ему очередные проказы... Он улыбался, и глаза его вспыхивали ещё ярче, именно вспыхивали...

Да, всё же человеку кажется, что, вспоминая, он воскрешает прошлое.

Но в большинстве случаев он сам обманывает себя, потому что воспоминания пережили чувства, они мертвы… Вспоминаются холодные призраки и тени. А кажущиеся воскресшими чувства – лишь боль и тоска потери.

От этих смеющихся, вспыхивающих глаз всё в её жизни сразу становилось на место, моментально улетучивались любые огорчения.

Елана подумала и решила, что участок она обойдёт потом, а сейчас надо вернуться домой, развести огонь. Не залило бы ночью уголья.

Она до сих пор жила в старом деревянном домишке, том самом, где впервые когда-то собственными руками разожгла огонь в очаге. А рядом на крепких бетонных сваях высился новый дом из обожжённого кирпича. Новому дому не хватало камина и лестницы, и это лишало его жизни. Лестницу заменяла приставленная к крыльцу толстая доска с поперечными планками. Высохшей, лёгонькой Елане нетрудно было вскарабкаться по этим поперечным дощечкам наверх, на крыльцо, но каждый раз ей приходилось пересилить себя: дом будил горькие воспоминания. Всё же раз в неделю она входила туда. Выметала пыль, снимала со стен паутину. Паутину не любила больше всего. Уберёшь со стен, из углов, оглядишься – опять мерцают в полутьме прилипчивые нити.

Поднявшись по дрожащей доске-лесенке, она быстро распахивала дверь. Знала, что чуду не бывать, что ждёт там её пустота и тишина, но какая-то слепая надежда томила её в эти минуты. Вот она распахнёт дверь – а там у окна сидят они... смотрят на море или же задумались у пылающего очага. Но место, оставленное для камина, забитое старыми досками, уныло выделялось среди новых, не согретых жизнью стен.

Спускаться обратно ей бывало труднее: ноги не слушались, да и доска дрожала.

В доме была одна комната... По желанию Еланы, строители отделывали её особенно тщательно. Прямо в окна там из дальней дали глядели заснеженные вершины. И человек, вошедший в комнату, прежде всего видел это снежное сияние, а уже потом, соскальзывая взглядом вниз, различал гряду холмов – белыми стайками там были рассыпаны дома. Они не могли, как вершины, приковать взгляд человека, задержать хотя бы, но словно бы тихо просили: будьте добры, ещё немного взгляда, будьте добры, посмотрите на нас ещё...

Елана потопталась в нерешительности у нового дома, оглянулась, посмотрела в сторону холмов. Под вымытым ночным дождём небом дома блестели отчётливее, чем обычно.

Осень – пора свадеб. Может, в каком-нибудь из этих домов сегодня свадьба.

Елане хотелось быть свекровью... и хорошей...

Но комната, отведённая для невесты, так и осталась пустой. И песня «Увод невесты», и весёлое гиканье всадников, которые должны были сопровождать появление здесь молодой хозяйки, – замерли они где-то, потерялись навсегда. Их нагнали, перекрыли и убили другие звуки, плач похорон – ещё до того, как был достроен, и по грустному, странному желанию Еланы, этот новый кирпичный дом.

Елане хотелось быть хорошей свекровью. И почему же не быть хорошей для единственной невестки.

Тогда нас, женщин, стало бы две, и вместе мы наконец смогли бы обуздать вас... А я всегда была одна, потому и не управлялась.

В глазах у Еланы потемнело, новый кирпичный дом с закрытыми глазницами окон и дверей покачнулся. Показалось, кто-то тихо простонал совсем рядом. И какое-то время (она не знает сколько) в ушах у неё шумело.

Так шумит ветер, предвещающий бурю. Потом шум постепенно утих, свет вернулся к её глазам – и вокруг опять сделалось пусто и тихо.

Придя в себя, Елана тоскливо глянула на дом, на доску с перекладинами вместо лестницы – и решила сегодня туда не подниматься.

Немало уже времени прошло, как поставила она новый этот дом, но до сих пор каждое утро, выйдя во двор, замирала в испуге и недоумении перед холодным и необжитым строением.

Не могла привыкнуть к виду жилья, над которым никогда не поднимался дымок очага.

(...Зачем нам новый дом? Разве твоё это дело – заниматься постройкой? Тебе нужен покой, пора наконец и отдохнуть...)

– Вы только послушайте его, а! Почему же это нам не построить новый дом, мы что, хуже других?! Посмотри, какие вокруг нас хоромы повырастали! Все построились уже, даже и те, у кого, глядишь, и силёнок-то на это не хватало. Сколько уж прошу вас: построим! Вы только начните, остальное на себя возьму. Да где там, разве вам до того! Не сообразила я вовремя, глупая женщина, а то давно бы уж начала постройку сама. Всё уговаривала. Построила ведь теперь, сумела. Не стыдно вам смотреть, а?

(...Разве так уж необходимо заиметь ещё один дом? Нет, что ли, дел поважнее?)

– Дела, сынок, всегда найдутся, заботам конца и края нет, а дом в хозяйстве – основное, первым долгом – дом... Раньше, если гость случался в селе, так просто наведывался кто или из района, скажем, присылали, непременно вели к нам... А вот понаставили вокруг нас соседи не дома, дворцы настоящие – и вычеркнули нас из списка достойных хозяйств. Но ведь с нами-то ничего такого не приключилось, руки-ноги целы, почему не можем делать, когда надо, то, что и остальные делают? Осматриваться человек почаще должен, видеть, что вокруг совершается. Не должен он выделяться, обращать на себя внимание, отставая заметно или же забегая вперёд. Не уставала я повторять вам простую эту истину, да вы только посмеивались...

(...Человек должен успеть сделать что-то поважнее, чем просто поставить дом для себя, с гнёздышком-то всегда успеется...)

Успеется... Как бы не так!

По глазам Еланы опять прошёлся невидимый суховей – пересохли, горели.

Она вдруг засуетилась, заспешила.

– Сколько времени упустила, пока топчусь здесь! Буря-то хлопот задала... винограду побило... двор листвой занесло...

Она пошла по мокрой земле, собирая и складывая в кучку побитые гроздья, оборванные ветром отростки лозы с кистями – не решаясь пока выбросить их за плетень.

– Сколько пропало, как разметало всё...

Она жалела из всего потерянного в саду за эту ночь больше всего виноград. Может быть, потому, что если не повредят его сильные заморозки,

или град, или такая вот жестокая буря, то держится он крепко и долго, не валится легко на землю, как неженки груши, яблоки или хурма...

Кроме того, она знала, что среди соседей пойдут разговоры: мол, сколько винограда побило бурей в её саду, так даром и пропало добро... Одни жалеть станут, у других будет повод посплетничать: мол, договорилась бы с кем-нибудь вовремя, а то всё выбирала, выбирала, торговалась, третьи останутся равнодушными: к чему ей, старой, виноград, для кого вино?

Елана разволновалась, представив себе соседские пересуды.

Жалеют, – значит, унижают. И ведь как легко жалеть начинают, по привычке, можно сказать, не раздумывая. Но ведь жалеть так – это значит доконать… Когда стараешься показать человеку, что жалеешь его, выходит обратное, причиняешь зло. Конечно, есть люди, которые принимают любую жалость, всякая жалость им хороша – спекулируют на сочувствии. Елана презирала таких.

Пока жив был сын, Елана всяких легко, бездумно жалеющих и близко к дому не подпускала. Но сейчас она должна была молча сносить любое проявление жалости, даже и унижающее её. (Не то ведь и до такого договорятся, что у неё, у Еланы, и сердце ни по ком не болит, вконец очерствело.)

А равнодушными, безучастными к несчастью её те будут – наперечёт их знает, – которые раньше дни и ночи проводили за их хлебосольным столом, не уставали повторять, что их вина – самые лучшие, говорили за хозяев восторженные тосты… Теперь же, что воробьиная стая, перепорхнувшая от опустевшего амбара к полному, засиживаются уже за другими столами и снова возносят громкие тосты. Не приведи Господь, случится что с теми, новыми щедрыми их хозяевами, почистят свои жирные клювы – и поминай как звали!

Больше всего Елана не любила именно таких, перелётных, с лёгкостью готовых забыть, предать, похоронить, вычеркнуть из списка живых.

– Даже сейчас я выше, достойнее их! – Елана с гордой злостью подняла голову. – И сейчас способна принять гостей не хуже любого. Не стану ломать в растерянности руки – на такой случай всё у меня припрятано, припасено. А как же иначе? Принять как подобает, и не одного гостя – двоих-троих, да и побольше, разве не хватит моих сил? Что ж я, не человек уже? Руки пока целы, ноги ещё держат. И связей человеческих побольше, чем у этих, перелётных... Ведь если кто связан с другим только через желудок, то и уважения к нему не больше его собственной совести...

Наклонилась Елана, опять набрала в горсть побитого винограда, смотрела, как по складочкам и морщинкам её ладони растекается красный ароматный сок. В памяти зашевелилось, сложилось в картину давнее, из девичьих лет: стоит она среди золота осеннего двора, а прохладный октябрьский ветерок влюблённо вздыхает: никак не может остудить её пылающие щёки. Перед ней дымит закопчённый медный котёл, дышит ей в лицо горячим паром золотистый винный кисель – акаламыш.

Она опускает в кисель нанизанные на нитки грецкие орехи и просто кукурузные початки, потом развешивает их сушиться на длинной верёвке от

дома до ворот... Капли крутого золотистого киселя падают на нежную ярко-зелёную траву...

Осень...

Потом она идёт в давильню – глянуть, не перелилось ли через край молодое вино маджар, оно бродит уже третий день. У чана её обволакивает густым хмельным ароматом. Она берёт черпалку из тыквы, вдавливает её в кипящую, пенящуюся массу...

Она уже несколько раз пробовала сладкую ещё, мутновато-красную жидкость, выплёвывая косточки и попадавшиеся нераздавленные виноградины.

Во рту и в горле приятно пощипывает, голова сладко кружится...

Она выходит из давильни, не чувствуя под собою ног. А солнце уже закатывается, расцвечивая красным и зелёную траву во дворе, и капельки винного киселя на ней, и вереницу аджанджихуа1 на верёвке от дома до ворот...

Она бродит по двору, как и всё вокруг, освещённая красным закатным солнцем, разгорячённая молодым, недобродившим вином. И в необычном этом освещении всё видится ею иным, обновлённым и незнакомым, и сама осень словно бы дышит весенним теплом, осень, пора созревания и завершения... И вот, то ли от выпитого вина, то ли овладело ею новое чувство, чувство отрешённости, отъединённости от привычного окружения, только поняла она вдруг, поняла то, что смутно ощущала уже все последние годы, что она созрела...

А созревание – это такая граница, за которой следует увядание, сначала незаметно, а потом всё явственнее...

Осень – время грустного расцвета...

И однажды осенью она была помолвлена. Всё началось, всё потянулось оттуда – и счастье, и несчастье. Сколько разговоров, сплетен породила эта помолвка. Не только родня жениха, даже и её близкие не могли скрыть удивления: такой парень, как говорится, Божьей милостью, и как он мог позариться на эту маленькую да ржавенькую...

Что уж теперь скрывать – и сама она была поражена: ведь любая из красавиц за счастье бы посчитала войти в его дом! Даже и представить невозможно было, какая же это должна быть девушка, чтоб ему не по плечу. Самый его вид, осанка, умение одеваться, ездить верхом, говорить, смеяться, держаться на людях... Которое из девичьих сердец не забилось бы чаще... Но вот получилось так, что парень этот взял да и женился на худенькой, ржавенькой, на невидной...

Она ведь сама не вешалась на него, особенно и не старалась. Но кто же решится оттолкнуть желанное, долгожданное счастье?

Знала, что это будет трудное счастье, – всё равно не оттолкнула.

---

[1] Аджанджихуа – орехи или кукурузные початки, пропитанные винным киселем и высушенные.

Потом она сумела правильно повести себя: сделала вид, будто ничего не случилось особенного, что счастье её обыкновенное, как у всех, старалась поменьше быть на виду у людей. И постепенно удалось ей притушить разговоры и сплетни, и забылось это нехорошее удивление в глазах близких, так смущавшее её.

Елана почувствовала, что уж очень надолго задержалась на дворе. Подробности воспоминаний обступали, как стоячая вода, всё те же, привычные... А надо ведь и за скотиной присмотреть, и по хозяйству забот достаточно. Скотина, поднятая, измученная ночной бурей, рано вышла пастись. Большая корова вот-вот должна отелиться.

Надо чем-нибудь заняться... чем-нибудь основательным... Ах да, позабыла совсем: ведь ещё и к морю нужно выйти.

После сильного шторма жители прибрежных сёл обычно спешили на берег. Выброшенное морем добро – доски, брёвна и прочее – равно принадлежало всем. Лучшее, конечно, забирали те, кто поспевал раньше. Но когда сильный шторм выбрасывал много такого, что пригодится в хозяйстве, и собиралось достаточно народу, тогда и вытаскивали вместе, и делили поровну.

...Чтобы никто не жадничал, не к лицу это человеку, особенно когда море вот просто так смилостивится и дарит то полено, то балку, а то и целое дерево. А если кто пожадничает... что ж – что принесло море, то унесёт ветром...

Надо пойти. Неудобно не быть там, где собрались все. Поздновато, конечно, но, может, и ей что-нибудь достанется.

(...Стараешься отвлечься, не вспоминать горькое... хоть в чём-то, хоть в мелочи, ненадолго, но найти капельку утешения...)

– Это почему же? Другим, значит, надо, а мне нет? Если двери моего дома открыты, если живу среди людей, значит, я обязана делать то же, что и любой уважающий себя хозяин. Держать двери открытыми – это ко многому обязывает. – Елана посмотрела на новый пустующий дом. – И с постройкой этой ты тоже тянул, не слушал меня. Разве не так, а? Ведь если живёшь с людьми, связан с ними – как же иначе... живой ведь человек, значит, использовать людей надо, связи использовать, как все делают. По-другому не проживёшь – нет другого выхода. Кого попросить, кому и польстить, да, да, ты не ослышался, и польстить! – что ж тут такого, если для пользы? А у кого и просто забрать. Ведь иначе – одними только своими силами, своими руками, свою только душу тратя – ничегошеньки не добьёшься. До чего вы оба усложняли всё, связанное с постройкой нового дома, какие только причины не отыскивали. А вот осталась одна (до тонкостей ли ваших прежних мне тогда было!), не сочла за стыд, в Сухум съездила... насчёт кирпича пришлось зайти к одному, за досками, за цементом – к другому. А железо на крышу! Я добралась даже до него, до того самого... главного, старшего над тобой, против которого ты пошёл, сынок. Он-то принял меня ласковей всех. «Мы, сказал, обязаны... Заменить вам сына никто не сможет, но без внимания оставить не имеем права...» А ты выступил против него.

Думал везде навести порядок! Или другие не видели ничего? Видели, да молчали, проходили мимо. С сильными нельзя тягаться – надо их принимать такими, какие есть... Как же ты, слывший среди людей учёным, не мог разобраться в простой этой житейской премудрости? Что же мне сказать тебе, сынок, теперь...

Не заходя в дом, Елана двинулась со двора. Только шагнула за калитку – и застыла: по дороге, тянувшейся от недалёкой железнодорожной платформы, прямо к морю, шла девушка. Она шла, и воздух вокруг неё светился... «Глаза не обманывают меня, точно, светится... – подумала Елана, не решаясь всё же произнести эти слова вслух. – Конечно, это от неё... этот свет...»

Красивая, свободная походка – которая из местных девушек решилась бы пройти вот так, даже если и умела бы...

Не сбавляя шагу, незнакомка поравнялась с Еланой, улыбнулась ей и еле заметно кивнула прелестной головкой – качнулись спадавшие на плечи светлые волосы. И ушла... Ушла в сторону моря, унося с собой необыкновенный свой свет, на дороге сделалось словно бы потемнее.

Да, она видела Елану и поздоровалась с ней, и в то же время она была как бы одна на этом берегу, под этим небом, словно бы никто не существовал больше. Так она шла, не думая, что скажут о ней встречные, не боясь постороннего взгляда, не связанная суждением чужого человека.

Она была из тех… того же племени, что и её сын. Очень редко попадали сюда такие, хотя село расположено было в прибрежье и большие дороги, поток людей не миновали его.

Нет, нет... ведь тогда... давно... Елана видела уже, запомнила этот свет.

– Не к добру, не к добру это, – пробурчала она себе под нос, хотела сказать со злостью, но не получилось: услышала не свой – как бы посторонний, незнакомый голос, и не было в нём вовсе привычной уверенности.

Она шевельнулась и почувствовала, что руки и ноги у неё затекли и плохо слушаются – сколько она простояла тут, у калитки, закаменевшая? Попробовала двинуться ещё, – оказалось, руки-ноги всё же подчиняются ей. И она поплелась. Поплелась следом за девушкой... к морю...

Так освещала всё вокруг себя и та, другая...

Но теперь уж столько лет минуло – глаза Еланы затуманило, видно, горечью утрат. Когда внезапно обрывается счастье, смолкает весёлый смех, следы его застывают на лице ранами-морщинками.

Может быть, так, а может быть, и нет...

Елана хорошо помнит тот день, видит всё будто сегодня. Поднялась она тогда очень рано, полола огород и только с восходом солнца и вся мокрая от росы вернулась во двор. Сын был ещё студентом, три дня как приехал на каникулы. Ей хотелось, чтобы он отоспался дома по-настоящему, отдохнул всласть. Сама в это время ходила на цыпочках, говорила шёпотом. Конечно,

хотелось побольше быть рядом с ним, порасспросить, порассказать о своём, но было одно обстоятельство, одна тайна, которая всё портила, самый простой разговор таил опасность, приходилось лавировать. Дело заключалось в том, что отец не вернулся домой к приезду сына.

«Он в Гаграх, по делу к родственникам отправился – да и застрял чего-то. Знаешь ведь его – не умеет спешить...»

Но в этот раз, как, впрочем, и раньше, отсутствовал отец вовсе не потому. Замешана тут была женщина.

Да, способен был увлечься, потерять голову, забыть себя, забыть всех. И так продолжалось, пока она, Елана, не настигала и не напоминала. Увидев её, сразу трезвел и повиновался каждому её слову. А она... Как только не ругала его! Он слушал спокойно, с безмятежным лицом праведника. И она почему-то тоже быстро успокаивалась, прощала. А что ещё оставалось ей делать, что вообще можно было поделать с этим беспутным! И вот тогда – тогда глаза его начинали светиться особенным светом. Она легко расшифровывала это свечение – всё становилось на свои места, он возвращался.

Теперь же она боялась. Она всеми силами пыталась утаить от сына вину отца – не то могло случиться непоправимое: сын мог разлюбить отца. Назавтра она собиралась сама поехать за ним; уже всё разузнала – где, кто...

Вернувшись во двор, Елана увидела, что коровы ушли недоеные. Она сообразила: могли быть на берегу, пить морскую воду, давно не давала им соли. Поспешила к морю (что ей стоило тогда – ведь ноги носили её быстрее лошади!). Коров на берегу не оказалось, но она увидела там такое... и думать позабыла о своих коровах: у самой воды, на песчаной косе, облитой ласковым утренним солнцем, бегали, играли, догоняя друг друга, двое: парень и девушка. Если не считать непристойно узких полосок купального костюма, девушка была, можно сказать, в чём мать родила. Да и парень... Плавки – это разве одежда?

Девушка вырывалась, убегала, снова подпускала парня, увёртывалась, играла... парню долго не удавалось поймать её. А когда он настигал её, ах, этот её смех... – словно ключ пробивался из какого-то упрятанного глубоко-преглубоко озера счастья... разливался в утреннем чистом морском воздухе.

Елана застыла, словно громом поражённая, стояла и смотрела. Потом решительно шагнула вперёд – надо ведь было пристыдить, образумить безумцев. И мало, мало пристыдить – прогнать! Ведь даже врагу не пожелаешь, чтобы у него на глазах, среди бела дня такое творилось!.. Не то чтобы взрослые парень и девушка, можно сказать, голышом гонялись друг за другом – прости господи, как кобель за сукой! Ведь даже девочка, если исполнилось ей десять-одиннадцать, не смеет, не должна купаться принародно!.. Скверно, ах, скверно!..

Это ведь долг каждого – не пройти мимо, прекратить неприличие, остановить кощунство! Нет, подумать только! Девушка разделась при парне, да ещё бегает с ним наперегонки. На что только не способен человек, коли потеряет стыд. Но чтобы уж до такой степени!

Елана шагала стремительно и твёрдо, следы от ног её глубоко впечатывались в песок... Дойти, скорее дойти и сказать им! Всё, что полагается в подобных случаях. Ведь именно так, думала она на ходу, так рушится всё... рвётся, подобно гнилому канату, то, что должно объединять людей. Объединять семью. По милости таких вот. Пройдёшь один раз, пройдёшь второй – а там и слова не дадут сказать, будто от веку разрешено им.

А девушка вырвалась снова из объятий парня, смеялась звонко, теперь она бежала навстречу Елане.

И бегает-то как, чтоб ей головы не сносить! А сложена! Нет, нет тут что-то от нечистой силы!

И всё же – как она смеет!

Девушка всё приближалась. Оглянувшись, поняла, что парень отстает нарочно, и сама тоже приостановилась.

– Погоди, погоди, милая, – зло бормотала Елана, убыстряя шаги, – сейчас я тебе такое скажу, такое услышишь, уши твои обуглятся!

Но вдруг... она будто головой ударилась о гранитную стену – в глазах снопы искр, ноги подкосились... она остановилась, чтобы не упасть: парень, безобразно раздетый этот парень, бегавший за голой почти что девушкой, парень этот был её сын!

Елана толком уж не помнила сейчас, что наговорила им тогда. Но, как вспышка света в темноте, встают перед глазами побледневшие их лица, растерянные, оглушённые громом негромких, но беспощадных её слов.

– ...Я ведь тогда до точки, можно сказать, дошла от сюрпризов его отца, – бормотала Елана сейчас себе под нос, – в голове помутилось, когда увидела, что и сын решился на такое. Слава тебе Господи, вовремя поспела, пожар позора нашего тут же и затоптала. Там же всё и погасло, и умерло. Если б ты, сынок, и дальше так же слушался меня, я бы спасла тебя.

Девушка с того самого дня исчезла навсегда, будто и не было её. И до сих пор, до этой вот самой минуты, не взрывался столь ярким, особым и опасным сиянием всегда ровный, привычный глазу полусумрак-полусвет улочек и закоулков приморского села.

А может, ей просто привиделось всё это – девушка, свет?

– Одной ногой уже в гробу стою, могло и показаться...

Елана подняла голову, оглядела дорогу к морю – никого...

Словно век царили здесь тишина и безмятежность. Все трудятся, умножают своё добро, и будто после весеннего лёгкого дождичка, прозванного здесь «растительная», растут-поднимаются дома, хоромы, дворцы... Много времени прошло с тех пор, как кончилась война, и вдов в селе теперь уже мало. Какие там вдовы, уж и дети повырастали, возмужали, взяли хозяйство в крепкие молодые руки.

Елана шла тихонечко по дороге к морю.

– Но после той девушки... скоро ты снова вырвался из моих рук, сынок, и снова я почувствовала опасность. Ведь всю нашу жизнь мы только и делали, что работали не покладая рук, не жалея сил. Никогда не зарились на чужое

добро. Не прятали свою жизнь от людей, но и не мозолили им глаза, не выставляли себя напоказ. Если в чём-то превосходили другого – не кичились. Жили в достатке, лучше многих, но никогда не заносились. Не заискивали, не унижались сами – и не унижали, со всеми держались ровно. Бывало, и невзлюбим кого – всякое ведь случается, но человек тот и не догадывался даже... для всех старались делать добро, заботились одинаково…

(– Почему это – мы? Ты...)

– Нет, мы. Пока я не выдохлась, пока держала вожжи в руках, люди знали нас только такими. Но не смогла, не сумела, к несчастью, уберечь вас с отцом.

Обо мне-то самой и речи не могло быть. Если изредка и выбиралась куда на свадьбу или на праздник, никогда не надевала ничего такого, что могло бы вызвать зависть, привлечь внимание. Думаешь, мне не хотелось надеть платье поярче или модное пальто? Но в том-то и дело, что хотение, желание наше ещё ничего не значит. Разве могла допустить я, чтобы люди судачили обо мне. Чего, мол, этой женщине надобно? Кокетничает, словно девчонка вчерашняя.

А вот отец твой, сынок, он всё молодился, словно время не шло. То оденется с иголочки, то дурачится на людях, острые шуточки отпускает. В его-то годы! Не солидно это... не принято. А то за юбкой какой потянется. Правда, он был видный, красивый мужчина, те за ним больше сами увивались...

Ну ладно – я бы закрыла глаза, смолчала – а другие? а соседи? Хоть и часто сбивался он с пути, сумела я всё же скрыть от чужого глаза, сохранить от чужих ушей. И подозревали, и любопытствовали – а я всегда вовремя успевала замести следы.

Да, и ученые оба вы были, и понимали всё, ума вам было не занимать, а как до дела доходило – что дети неразумные, не трудились подумать.

И в тот день, когда на меня обрушилось небо, отец как раз тогда отсутствовал, опять увязался за какой-то юбкой – и поминай как звали. Я даже не знала ещё, где его искать. Но эта его шалость – она стала последней, несчастная его голова... Прежде чем обнаружилось непристойное его отсутствие, прежде чем узнали все в округе, услышал он, передали ему – что жизнь наша померкла. А если бы наоборот, если бы не успел он домой, куда бы себя дел, ну, куда?

Человек должен быть готов ко всему, не защищён он от страшного. Сбережёт, сохранит, что удалось спасти, на что силы нашлись, и никто тут не может ему помочь, сам должен справиться... А отец вот не справился. За всё время, что прожила с ним, не помню нездоровым его, простой головной боли не знал. Может, и устоял бы – если б ещё не тот груз вины. А перед таким горем почувствовал он, как тяжёл и малейший грех.

А ты, сынок, чем взрослее ты становился, тем всё больше отбивался от рук, трудно мне уже было повлиять на тебя. Особенно когда закончил ученье. Всему есть мера, и всё должно быть в меру, даже и ученье. Сколько повторяла тебе: возвращайся домой, школа рядом, вышел из калитки – и уже

у её порога, как говорится, не замочив ног. Нашли бы тебе невесту. И ходить далеко не пришлось бы, мало ли там же, в школе, учительниц молодых. Ты преподаватель, она тоже – чего ж ещё лучше? Родили бы ребёночка. От горя ещё не померла, а вот от такой радости – могла бы...

Я вот говорю тебе это – а ты улыбаешься... Но я знала всё о тебе, сердцем чувствовала, какие у тебя мысли.

Куда бы я ни пришла, в каждом доме нашего села слышала и от хозяев, и от гостей – о тебе, о тебе, о тебе... О том, что выделяешься ты учёностью, работаешь не как другие, пользуешься необычайным авторитетом. Какая мать не порадуется, узнавая такое о сыне, – но для меня разговоры эти были мучением... Слишком много их велось, и слишком многое я понимала. Да, люди обычно радуются признанию, но я, я боялась. Совладать с такой радостью могут, видно, другие – и другая тут нужна сила.

Страшиться будущего я начала, когда ты был ещё школьником. Помню, пришла к вам на какой-то праздник и увидела, как выделяешься ты, следят за тобой десятки взглядов. А ты ещё и стихи со сцены прочитал, и станцевал, да как! Казалось, ноги твои не касаются земли и держат тебя в воздухе невидимые крылья. Станцевал бы просто, как все. Знаю, знаю, ты не добивался ничего такого, просто не мог иначе. Многие твои сверстники из кожи вон лезли, желая выделиться, а ты должен был бы силой смирять себя, чтобы затеряться среди них.

На празднике том подходили ко мне люди, поздравляли – а сердце моё впервые сжал озноб страха.

Потом окончил ты школу, поступил в институт, окончил и его, пошёл дальше. Можно ведь было остановиться! На работу тебя взяли не куда-нибудь, а в большой Акуа (Сухум), дали жилье. Но ты каждый вечер возвращался домой, в село. Чего ж мне лучшего было желать – что ни вечер видела тебя дома. Однако постепенно в моё сердце снова вкралось беспокойство – не скажут ли и на это люди что-нибудь, не осудят ли. И как-то несолидно настолько уж пренебрегать Акуа – оставлять его каждый вечер ради какого-то незаметного села. Ведь люди в последнее время до того ценят город! И ещё они ценят автомобиль.

Конечно, ты не имел права пренебрегать тем, что почитают другие. Нельзя... заметят сослуживцы твои и знакомые – не простят. Что им твои способности: главное здесь, что они вместе, а ты – один.

Только тогда решилась я на эту проклятую машину.

Мне казалось, очень удачно я всё придумала: и машина будет, не придётся тебе автобусом по часу трястись, и людям угодим, а то ведь в последнее время такие слухи пошли, что, мол, прибедняемся мы. В жизни равновесие надо соблюдать: шишкой на ровном месте стыдно оказаться, но и принижать себя нельзя тоже.

Потом... Потом стали доходить до меня тревожные слухи: мол, выступаешь ты против такого-то да такого-то. Там, у себя на работе.

Вы думаете, против кого он решился пойти? Против своего же начальника, известного, всеми уважаемого человека. Не такие, как он,

мальчишки, а убелённые сединами, умудрённые жизнью, почтенные – и то заглядывают в глаза этому человеку, не упускают ни одного его движения, ни слова, ни взгляда, выказывая готовность всю жизнь следовать его указаниям. Он ведь не из тех, чья фотография мелькнёт разок в местной печати, да и исчезнет...

И вот против такого человека осмелился ты выступить. На что ты решился, безумный! Ведь удар, который от него, от большого, от известного, отскочит, не причинив вреда, тебя пронзит насквозь, как не мог ты понять очевидное?

До меня доносились все эти разговоры: «обломает мальчишка себе рога...», «куда ему тягаться с самим... сидел бы тихо...», «свернуть ему цыплячью шею!..», «вы посмотрите только, на что осмелился... если сегодня против такого человека выступил, так завтра...», «он-то, может, и прав, но...».

А ты сам разве не ведал, о чём шепчутся за твоей спиной?

...И в тот день... в тот страшный день, когда окончилась моя жизнь... Все видевшие говорили со страхом о том, как ты ехал... Будто дорога, заполненная потоком мчавшихся автомобилей, была для тебя пустой… Ты как бы не замечал их... обгонял, обходил… рвался, рвался. И чем же ещё это могло кончиться... Тебя раздавили, как какой-нибудь орешек... лишь покорёженный металл машины... и твоё лицо, которое никто не видел в этот последний раз, ни люди, ни небо... потому что его не осталось...

Елана вспомнила – ноги подкосились. Она остановилась, переждала, огляделась: оказывается, и двадцати шагов не отошла от дома. Перевела дух и опять двинулась по дороге к морю.

– Я знаю, ты рвался домой, когда тебе бывало очень хорошо или очень тяжко («Ощущаю под ногой эту землю, наш двор и, знаешь, до чего остро чувствую, сколько зла может натворить в жизни зло и какой силой обладает добро!..»). Ведь не уставала повторять тебе, что и добро и зло могут быть опасны, но ты всё пропускал мимо ушей! Кто мне скажет теперь, что тебя ослепило в тот страшный день – радость, горе или гнев?

Елана шла к морю. В это время года, осенью, дорога обычно бывает пуста – и так до самого лета. Дальше от берега, за железнодорожной платформой, псы дремлют у ворот, не обращая внимания на прохожих. А на пути от железной дороги к морю они успевают за месяц-два позабыть летнее многолюдье и с лаем бросаются на каждого, попадись только! Но сегодня – странное дело – ни один пёс даже голоса не подал. Дорога, усеянная прилипшей к грязи мокрой листвой, была пуста и нема. Елана не смотрела по сторонам, однако всем своим существом остро чувствовала, как напряжённо теснились по обе стороны дороги, жались друг к другу дома. Ей всегда казалось, что они здесь задыхаются от тесноты. (Сама Елана родилась в горах; на плоском холме, где стояла их усадьба, больше никто так и не построился.

Надо было обладать зычным голосом и старательно напрягать глотку, чтобы тебя услышали соседи. И сейчас ещё не могла сказать про себя, что

привыкла к тесной жизни прибрежного села. Трудно принимала новое, трудно менялась и до сих пор сохранила ещё многие привычки молодых лет.)

Вдруг ей показалось, что дома, жавшиеся у дороги, сгрудившиеся беспорядочно вдоль узеньких проулочков так, что любая тропка запутывалась среди них и невозможно было выбраться на волю... ей показалось вдруг, что слившиеся в одно безликие эти дома притаились в напряжённом ожидании, обратились в слух: не уронит ли она неосторожное слово, фразу, не выдаст ли себя. Она почувствовала, что озябла внезапно, и съёжилась, совсем маленькой сделалась. С ней всегда бывало так, когда попадала в этих переулках в тесноту домов, особенно там, где хозяева знали её. Иногда чувство это настолько одолевало её, что она, не в силах сопротивляться, заговаривала с первым попавшимся знакомым человеком, заговаривала громко и о чём-нибудь обыденном, о том, скажем, что вышла вот искать не вернувшуюся со вчерашнего дня корову. Услышав это и поняв, что забрела она сюда случайно, из-за пустяка, не стоящего их внимания, скопившиеся дома сразу теряли интерес к ней – и оживали прежде враждебно затаившиеся переулки. Дальше она шла легко, знала, что не следят за ней внимательные глаза, все отвлеклись, заняты собой.

Может, и сейчас скрестились на ней взгляды из скопища домов вокруг, держат под прицелом (нет, вы посмотрите только: сама одной ногой в могиле, близких никого не осталось, а надо же, плетётся к морю, не желая упустить свою долю, взять что-то из выброшенного вчерашним штормом!..).

– Но ведь не ложиться же мне в могилу заживо... – бормотала Елана. – Пока человек жив, должен он делать то же, что и остальные. Раз уж человек вступил в жизнь, приняла она его, завела в свои дебри – не может он выбраться из неё, словно купальщик из воды на бережок. Должен он идти своей дорогой, хоть и путаясь и ошибаясь, но идти, пока не достигнет назначенного ему предела...

Елана прошла весь этот долгий переулок, не встретив ни живой души, даже собаки не лаяли сегодня почему-то. Прошла – и вздохнула легко, и выпрямилась, словно ношу сбросила с плеч. Дальше до самого моря домов больше не было. Среди зарослей ольхи и ивняка текла здесь речушка, не пересыхавшая даже летом. Кусты ещё не тронуло желтизной; сейчас, после бури, они казались взъерошенными, как птицы в ненастье. Речушка эта, убежавшая от гор, оделась здесь в густые заросли, словно боясь встретиться с глазу на глаз с равниной, не желая даже, чтобы и само небо смотрелось в неё. У самого берега, будто не решаясь прямо влиться в море, она круто сворачивала направо, к другой такой же речушке, ну, может, чуть побольше, и там кончала свою жизнь, теряла своё имя.

В горах она была пенистым, кипящим потоком, не уставала, не умолкала ни днём ни ночью, и голос её властвовал в окрестностях. Елана легко понимала её тамошний язык. А здесь, на равнине, растревоженная вчерашним ливнем, набухшая и помутневшая, она всё бормотала, не переставая, что-то невнятное – говора этого Елана разбирать так и не

научилась. Даже испугалась... Слышались ей в смутном бормотании стоны и вопли заворожённых, околдованных водяными духами...

– Как я смею бояться, чтоб провалиться мне в преисподнюю! Чего мне осталось бояться на этом свете...

Всё же сердце её ещё раз сжалось болью, глуше, но всё равно больно... Это был тот живучий страх, что всегда возникал в ней при встрече с речушкой, речушкой, бывшей когда-то горным потоком.

А речка вдруг забормотала быстрее и, круто повернув, показав наконец лицо, серая, набухшая, нырнула снова в развороченные бурей заросли ольхи, торопясь смешать свои воды с чужими и на том успокоиться.

А Елана пошла прямо к морю.

Море постепенно утихало после бури и отступило уже до границ своего обычного ложа. По всему берегу, подальше от воды, собраны были в кучи поленья, обглоданные волнами балки, разбухшие от сырости доски, щепки, ветки. На камнях и песке, там, где только что отступило море, с шипением таяла сероватая пена.

На этом берегу в море впадало ещё несколько речушек, поэтому после больших дождей, когда они набухали и разливались, волны выбрасывали здесь много всякой всячины. И Елана за долгую свою жизнь насобирала немало отвергнутого морем добра.

Далеко у горизонта лиловые тучи раздвинулись немного, пропустили вниз, к морю, неширокие снопы лучей, и этот бесшумный водопад солнца магнитом притягивал взгляд, невозможно было оторваться – так напрягшаяся тетива соединяет концы крепкого лука. А удары волн слышались Елане почему-то глухо, как бы издалека.

Спустившись ближе к воде, Елана привычно внимательно оглядела море у берега, но ничего стоящего не высмотрела. Всё какая-то мелочь плавала: истерзанные бурей деревца с тонкими, голыми, промытыми водой корнями, обломки досок, щепки. Мутные волны устало наваливались на берег, ударяли о камни с глухим звуком, словно отяжелевшая голова утопленника. Пена расплескивалась по намокшему песку, напоминавшему Елане бесконечную свежую, сырую ещё могильную насыпь, и тихо шипела и таяла.

Старая, сморщенная, высохшая от долгой жизни и долгого горя, Елана заворожено смотрела на светящиеся под солнцем чешуйки волн, на бескрайнее растревоженное пространство, называемое морем, на то, как лизало и задевало оно тучи вдалеке, образуя линию горизонта.

Дары моря. Ненужные мелочи, которые оно вышвыривает в свирепом неистовстве на берег. Жалкий мусор, от которого должно очиститься. Елане-то он к чему? И при чём тут она? Но это ведь её саму несло куда-то неумолимым течением среди другого бескрайнего моря – моря жизни, кружило, как соломинку, пока не выбросит. Несло какими-то привычными жизни путями – Елана не смела ослушаться.

– ...Нет, как же... Раз уж я жива... Покуда существую... море приносит для всех, – бормотала она. – Сегодня сюда не придёшь, завтра ещё куда-нибудь...

Это и есть умирание. Пока не закрылись мои глаза, я должна делать то же, что и люди.

Вдруг она почувствовала, всем существом ощутила: необходимо обернуться. Обернулась – и увидела их. Она вздрогнула, она переступила, пытаясь сохранить равновесие, камешки больно впились в её босые ноги. Холодный пот прошиб. Она видела, она ясно видела их: по пляжу бежали, играя, догоняя друг друга, приближались к ней двое. Впереди девушка, и как только парень настигал, касался рукой её плеча, она легко ускользала. Она убегала, она смеялась, Елана ясно слышала знакомый звонкий смех.

– Господи! Боже милостивый! Это ведь они... они... они...

На этот раз они были не в купальниках, одеты, как все люди, но – Боже ты мой – как красивы, как молоды, словно само небо, ожидая её, отправило навстречу ей своих посланцев.

– Господи! Боже милостивый!..

Елана не чувствовала ни рук, ни ног, будто уже не весила ничего, будто дунет вот сейчас ветерок – и поднимет, унесёт её, как пушинку. И сделалось ей легко, непривычно легко, как никогда. Всё вокруг странно изменилось: берег окутался голубой дымкой, песок сделался нежно-бархатным и белым, а камни, беспорядочными грудами наваленные на берегу, оказались вдруг аккуратно уложенными... синие-пресиние волны ласково и бесшумно накатывались на белый песок, а за прибрежной галькой и песком пляжа словно ковёр постелили: открылись лужайки, поросшие нежной зелёной травой... воздух чист и лёгок, как дыхание ребёнка... и в этой тишине, в голубой этой дымке плыли они навстречу Елане, приближались, и как в счастливом сне слышался смех девушки...

И Елану совсем отпустило то, что зовут этим миром, что так долго сковывало и мучило её: и узкие переулки по дороге к морю, исчезавшие, задавленные домами… и дома, провожавшие её сегодня тяжёлым молчанием... и речушка, стонавшая голосами всех загубленных водяными духами... всё исчезло... осталось неизвестно где... Всё исчезло, кроме этого белого песка, и зелёных лужаек, и голубой дымки над берегом, а в ней бегущие парень и девушка... и ясное небо надо всем...

– Боже, Боже, – услышала она свой счастливый голос, – не забыл, не оставил меня, Господи!..

Так вот почему она шла сегодня – и нигде ни живой души, словно вымерло всё... А ведь там, в переулках этих узких, там нельзя пройти незамеченной, всегда проводит тебя любопытный взгляд. Даже псы сегодня и те умолкли. Но это, наверное, всё оттого, что она и не могла ни с кем встретиться, ибо путь её тогда уже лежал в стороне, там, где невидимое, неслышимое для людей, остающихся жить в этом мире. Наверное, это лишь дух её витал сегодня в доме, пролетел по селу, а на самом деле – она уже в том, ином мире... Так вот она какая – другая жизнь. Видно, это и есть рай... Вспомнил, не забыл, не оставил, за все её мучения, он, ничего не забывающий... Вот перед ней её сын, её единственный. Вот, вот он уже

совсем близко. И она, та девушка, с ним. Боже всевидящий и всеведающий, разве любящие могут жить в разлуке? Она не могла без него, ушла за ним.

– Почему ж мне не сказать всю правду? Ещё тогда она пленила, покорила не только сердце моего сына, но и моё, унесла мою душу... Какая же мать, даже и в том грешном мире, не пожелает такой невесты для сына? Только там ведь всё так трудно, иногда даже и доброе остаётся невысказанным и гибнет в душе, но тайком, тайком каждая мать мечтает о такой невестке. Прости меня, сынок, прости, родной, тебе принадлежала вся моя жизнь в той, другой жизни. Какая мать не молит Всевышнего, чтобы даровал ей такого сына! Но как же я... я, ржавенькая, средненькая, незаметная из незаметных, как смогла я дать жизнь существу высшему, чем я сама? Прости меня, Господи! Дать жизнь такому человечному, красивому, такому умному, такому чистому... Сыночек мой, прости меня, глупую, суетливую бабу, прости, родной! Всё, что ни делал ты, всё выходило так, словно спросил ты совета у моей души. Меня ведь мучила тревога за тебя, ты знаешь, но вся твоя жизнь, вся твоя короткая жизнь – она была как счастливый сон, где я задержалась, где присутствовала, не заслужив ничем, словно и было всё это со мной, и не было... И оттого, оттого только в страшной тревоге за тебя суетилась я, терялась, совершала поступки, о которых жалею теперь. А может, всё зло в нашей жизни пошло с первого, с моего греха? Я ведь не была достойна твоего отца, я понимала: где мне до него, до такого. Да, с самого дня сватовства я знала, почему родные его остановили свой выбор на мне: ведь кто только не вешался на его шею, уже и в юности были у него неприятности из-за женщин. И родные его боялись, не попал бы он в ещё худшие переделки, не оступился бы, не угодил бы в яму. А про меня они знали: буду ценить, любить буду, ухаживать стану за ним как подобает. Будет у него семья, уцеплюсь за него, уцеплюсь, удержу, не пущу никуда на сторону. Вот по всему по этому и решили. А я ведь уже и тогда догадывалась обо всём, но такое было желание во мне любить его, ходить за ним, служить ему, мыть ему ноги – да, да, да! – мыть ему ноги... Пусть все об этом знают, пусть судят кто как захочет – мне теперь всё равно! Но если правда это, если грешна была моя любовь к неравному мне, почему же не пала на меня кара за мои грехи, почему не задушили они меня? Но в душе разве была я хоть однажды против слова, сказанного тобой, или поступка? Как радовалась за тебя, ликовала, на седьмое небо возносилась. И трудно, невозможно было поверить мне в такое счастье... не по плечу оно мне было... не по силам. И оттого мне и казалось, что не со мной всё это – как бы во сне происходит. Видела я, что справедлив ты и что добр и красив, но до конца поняла всё скудной своей головой, лишь когда впервые увидела того... в с е м и у в а ж а е м о г о, с которым ты столкнулся. Откуда мне было знать, почему ты так ожесточился, не мог примириться с тем, что делал этот у в а ж а е м ы й. Потом уже увидела, что это был за змей... Стеклянноглазая сволочь, прости Господи!

«Раз сыночек твой успел свернуть себе шею, что ж, настало время, как говорится, на руках тебя носить, пусть все видят. Урок для всех, кто знал о

дерзости твоего сына... Обо мне скажут: как всегда на высоте, великодушен, не мстителен ничуть, проявил сострадание к матери погибшего...» – вот что прочла я в холодных змеиных его глазах, прятавшихся за толстыми стёклами очков.

А вот в этом нет мне оправдания, родной, осуди и прокляни меня, заслужила я, совершила кощунство… затмение нашло, что ли? – изменила я твоей памяти: попросила у н е г о помощи. Невозможно было достать железо на кровлю – а я думала: мол, нарочно доведу до конца, дострою, докажу, что очаг твой не погас и не погаснет никогда. Теперь уже з д е с ь прошу у тебя прощения...

Они бегут навстречу Елане, они уже совсем близко. Её сын... Лица она не видит – она совсем плохо различает сейчас окружающее: это, верно, оттого, что её бьёт лихорадка... Двое бегут к ней... Лихорадка усиливается, но это даже приятно – Елана чувствует себя невесомой. И тут она слышит... она узнаёт те давно забытые, пленительные звуки, ту мелодию... нет, даже не в звуках главное... её состояние... оно то же... а звуки немного глуше, но Елана помнит их... Когда это было?.. в тот день она стала матерью. Звуки лились как бы из-под земли, берег и море тихо вторили – и тягучая прекрасная мелодия возносилась к небу, а оно возвращало её тающим эхом, будто своды величественного огромного храма.

– Боже милостивый...

Она уже почти перестала ощущать своё тело – чувствовала только, что в райском этом мире отчего-то щиплет глаза. А таинственные пленительные звуки доносились теперь как далёкий, еле слышный гул подземного течения.

– Боже... дай мне силы...

Совсем уже близко мелькнули их молодые, раскрасневшиеся от бега лица... и белоснежный песок... и зелёные лужайки... И она, превратившись в лёгкое дуновение, растворилась в окутавшей берег голубой дымке...

Когда Елана очнулась, она лежала на мокрых камнях пляжа, скрючившись, словно переломленная тростиночка. Кто-то проводил влажным по её лбу, по глазам. Она с трудом разлепила веки: над ней склонилось молодое, красивое, незнакомое лицо. Рядом стояла девушка – та, что повстречалась давеча на дороге. Опять потемнело в глазах. Елане казалось теперь, что она лежит на дне прозрачной заводи, а эти двое склонились над ней, их лица дрожат, как если бы смотреть сквозь слой воды, то расплываются, то снова видны чётко. Елана закрыла глаза, стараясь собраться с силами.

Когда наконец пришла в себя, приподнялась, села. Ей не хватало воздуха, во рту пересохло.

Она попыталась встать – молодой человек осторожно и уверенно поднял её, помог удержаться на ногах, посмотрел вопросительно.

– ...Вот старая, оступилась, присела неудачно, а вы небось подумали, что померла... – Она едва шевелила пересохшим языком. – ...Спасибо, детки мои... мне уже хорошо, а вы идите...

Парень и девушка переглянулись.

– Идите, идите. Не беспокойтесь. Всё оттого, что устала я очень. Осень, что поделаешь. Сейчас придут ко мне... придёт... сын ... да, сын мой придёт. Мы с ним вместе собрались пойти, да ведь старые что дети. Даже хуже – знают ведь, что простят им...

Она попыталась улыбнуться.

Уходили они медленно, оглядывались.

А когда отошли уже порядочно, парень обнял девушку за плечи, и тут сверху, разорвав лиловые тучи, пробился к ним луч солнца.

Так и шли они, облитые золотым сиянием, у самой воды, вдоль белой пены прибоя, пока слабые глаза Еланы не перестали различать их.

Только тогда почувствовала Елана, что всё лицо у неё мокрое, будто от морских брызг. Платье спереди тоже мокрое. И тут словно отворились какие-то заслонки, не пускавшие к ней воздух, она наконец-то вздохнула свободно. Ощутила свежий солёный ветер с моря. Она огляделась, вытерла рукавом платья лицо – и, делая вид, что ничего не произошло, шагнула поближе к воде.

Тучи отступали, света над морем стало больше, оно теперь разделилось на две части: сверкающую, напоенную солнцем – и ещё темную, в той стороне вздымались белые гребни волн, их несло к берегу, как, бывает, несёт боком дохлую рыбу ...

Неожиданно совсем близко от берега Елана разглядела в море ствол дерева, розовое тело его то показывалось наполовину, то скрывалось в волнах, торчали кверху голые ветки. И, будто она только этого и дожидалась, пошатываясь от слабости, Елана двинулась за добычей. Из собранной кем-то на берегу кучки утреннего «улова» вытащила подходящую самшитовую жердь и, ни минуты не колеблясь, ступила в море.

Волнение уже стихало, но когда её, высохшую тростинку, толкнуло в грудь, она чуть не повалилась. Хорошо, успела опереться на палку.

Не останавливаясь, Елана входила всё глубже и глубже, и дерево несло навстречу ей. Кто-то срубил его и уже успел ободрать кору. Судя по размерам, должно оно было пойти в основание дома.

Когда дерево подплыло поближе, Елана с помощью самшитовой жерди задержала его, чтобы не унесло возвращающейся волной.

Новые волны подтолкнули ствол прямо к Елане, но она не отступила в замешательстве, у неё был опыт, знала, как вылавливать из моря и такую махину, и брёвна поменьше ...

Наконец дерево приблизилось настолько, что Елана смогла дотянуться до него; она ухватилась за одну из торчавших над водой облезлых ветвей и что есть силы рванулась к берегу. На мели, там, где вода подталкивала и помогала уже меньше, дерево отяжелело, но Елана изо всех сил тянула и тянула, и оно послушно двигалось за этой старой женщиной, которую, казалось, может свалить с ног самое лёгкое дуновение ветерка ...

Елана успела заметить, что её нагоняет особенно высокая волна. Она оставила добычу и шагнула вперёд, спасаясь от удара. Отступая, волна

поволокла ствол за собой. Елана вцепилась было в одну из торчавших веток, однако новая волна отбросила её в сторону. Она упала, но сразу же поднялась и изготовилась. Когда дерево опять поднесло поближе, Елана ухватилась за ветвь мёртвой хваткой. Волна ещё подтолкнула дерево, под ним затрещала галька, и обратно оно уже не рвалось. Следующая большая волна выбросила его на берег.

С платья Еланы текло ручьями, её шатало от усталости, ноги подгибались. Она опустилась на полуобтёсанный, разбухший от речной, а потом ещё и морской воды обглоданный волнами ствол. Это был каштан. Если бы стоял на открытом месте, не вырос бы таким стройным, подумала Елана. Да, этот рос в лесу и, главное, не был одним из стволов большого дерева – сам был деревом: именно такие стволы дают самую прочную древесину, её легко обрабатывать, а доски из неё не раскалываются от крупных гвоздей.

Елана знала толк в каштанах: сегодня она выловила хорошую добычу.

...В незапамятные девичьи годы как она любила это время, позднюю весну, когда цветут каштаны... цвели они буйно, особенный их аромат заполнял, казалось, всю округу. В последнюю, единственно удачную её беременность Елану забрали к себе в горы родители: сами захотели заботиться о ней и желанном ребёнке. У беременной женщины и слух особый, и зрение – всё обострено. Сейчас она – творец, вынашивает в себе величайшее из произведений, ибо что в нашем мире значительнее человека!

Невдалеке от родительского дома прыгал со скал шумливый поток, а по сторонам, встречаясь над водой ветвями, стояли два каштана. Один из них, приземистый, кряжистый, цвёл в лучшие годы так буйно, что за пеной лепестков не видать было зелени листьев. Но когда созревали плоды – каштан ронял их в поток, говорливый весёлый ручей уносил их.

Той, памятной для неё весной цветов на каштане было столько, что, казалось, мир вокруг посветлел. Елана понимала это по-своему, дерево виделось ей беременным... Проходя мимо, она любила погладить его ствол: кора была жёсткой, полопавшейся, но всегда хранила тепло.

– Елана, как ты выловила такую махину?

Она подняла голову. Над ней и над мёртвым истерзанным каштаном стоял молодой её сосед. На плече нёс топор. Елана обратила внимание на его руку, расслабленно, не по-мужски державшуюся за топорище.

Кряхтя, она поднялась на ноги. Мокрая одежда прилипала к телу, с подола ещё капало.

– Пришлось повозиться, будь оно неладно... столкнуло меня в воду... – проворчала незлобно.

– Да, повозиться стоило: великолепный ствол!

– Я старуха, меня ветром качает – и то я поспела сюда, а тебя где черти носят? Только ещё начинаешь хозяйствовать, а уже позволяешь себе не торопиться!

– Гости у меня сидели, Елана. Сам как на гвоздях, да не могу ж я их оставить одних, неловко, не по обычаю...

– Неловко... ишь... Хороший гость, он не обидчив, поймёт: всему своё время... Так вот, это дерево я дарю тебе! Ты только начинаешь вести хозяйство самостоятельно, тебе оно пригодится. Не могла позволить себе, чтоб на моих глазах его в море уволокло. В хозяйстве любая вещь место найдёт...

– О, Елана, этот подарок стоит коня! Благодарю тебя! – сосед, видно было, искренне обрадовался, расслабленная рука его напряглась, туже обхватила топорище. – В моём новом доме дверей нет, вот и сделаю из него.

– Двери хорошие получатся, это добрый сорт каштана. Да, двери – это не шутка. Пока в доме нет дверей либо если всегда закрыты они, дом этот как бы отделён от мира. А вот открыл ты двери, и весь мир входит в твой дом... Видишь, какая у них сила! – сказала Елана вроде бы не всерьёз, но сосед понял.

– Я не забуду твоей заботы.

– Не забудь... – по увядшим, посиневшим губам Еланы прошлась усталая улыбка.

Она глянула мельком в сторону, куда ушли недавно те двое, юные и прекрасные, но, кроме полосы прибоя вдоль набухшего влагой тёмного песка пляжа с грудами камней на нём, ничего уже не было видно. И снопов света, что падали из-за тяжёлых туч на море, тоже уже не стало. Тучи поднялись выше над водой и казались сейчас безобидными. Свет рассеивался теперь ровный, неяркий; было его не мало и не много.

Всё томилось в ожидании: и старая уставшая яблоня с незаживающей раной на стволе, и другие деревья, те, что посадила Елана, её муж, её сын, и просто деревья, выросшие сами по себе, и двор, усыпанный мокрой листвой и побитыми бурей плодами, и вся земля на участке, где Елана знает каждую ямку, каждый след копыта... И могилы, и старый дом...

Все они ждали её, только её, её одну...

Нужно провести ласковой ладонью по спине коровы – та вот-вот должна отелиться – и шёпотом (только шёпотом) сказать ей несколько ободряющих слов. Корова посмотрит большими печальными глазами и в свою очередь пожалеет старую свою хозяйку. Елана не допускает, чтобы люди смели жалеть её, но тут дело другое, это ведь корова...

Один лишь только новый недостроенный дом не ждал, стоял безучастный, от него веяло холодом необжитости, одиночества: для него ничего не существовало вокруг. Заперты двери, нет лестницы, нет очага, где можно было бы развести огонь, где родился бы и поднялся над трубой весёлый живой дымок. Дом без огня, без дыма – не живой, мёртвый дом.

Елана вошла во двор и поспешила к старому, обжитому своему жилью, туда, где был живой очаг. Не передохнув, присела на корточки у камина, обугленным поленцем стала ворошить золу – засыпала ею на ночь горячие угли. На золе кое-где обозначались следы тяжёлых капель, упавших ночью из дымохода. У Еланы сжалось сердце: не погас ли её очаг. Она заторопилась, поспешно начала искать в золе и наконец у самой стенки очага, где и не ожидала и не засыпала на ночь золой, обнаружила всё же тлеющие угольки –

и вздохнула легко. Положила сверху пучок сухих хворостинок, вздула огонь – и ожил, заструился дымок, ударил в нос, вышиб слезу... Нашёл наконец трубу и взмыл по ней вверх...

И как только он поднимется над трубой, сизый и пахучий, всё, что томится в ожидании, обретёт покой. Потому что, если жив дым, значит, жив и хозяин и двери его дома открыты в большой мир. Есть дым над жилищем, значит, жива его душа.

Под огромной чашей неба крошечная точка на земле: двор, дом, человеческое гнёздышко. И тешит оно себя надеждой, что милостиво к нему высокое небо. Но бывает, обрушивает небо на землю, на гнёздышко малое бури и ненастья. И всё ж, собравшись с силами, стоит оно, живёт, перемогает страх и боль. На обычном бодряческом языке означает это, что стойко и мужественно выдерживает оно натиск судьбы...

На малое судёнышко, уходящее в плаванье, похоже человечье гнездо под этой огромной бездонной чашей неба.

Перевод С. Шевелёва

ПОЛЯНА АНАНЫ ГУНДЫ

Буйных рощ неуёмные пчёлы,
Наша вам благодарность за мёд,
И за воск вам спасибо!.. Спасибо!..
Мы бросаем в бегущий поток
Прошлогоднего воска кусочки.
Вместе с ними пускай унесёт
Прошлогодние горести наши
И пускай
Года нового чаши
Переполнят удача и мёд!..
(Песня, сопровождавшая один
из праздников божества пчёл
у абхазов – Ананы Гунды)

Вырвался из городской тесноты – и сразу почувствовал облегчение, можно расслабить пальцы, судорожно сжимавшие баранку, распрямить ноющую от напряжения спину, дать ветерку остудить вспотевшую поясницу. Вспомнишь вдруг, что и на сиденье можно устроиться поудобнее, да и вообще – чувствуешь себя как-то увереннее, это сразу передаётся машине. Теперь можно даже отвлечься на секунду, подумать о чём-то, не связанном с дорогой, перекинуться словом с той, что сидит рядом, или даже с сидящими сзади, – но всё это уже без ёрзанья, без напряжённого поглядывания по сторонам, уже сосредоточившись только лишь на одной дороге.

Самое трудное – пока не вырвешься из города, особенно в это летнее время, и тем более для того, кто, считай, впервые сел за руль. Короче говоря,

для новичка. В городе, бывает, в такой водоворот затянет, что не сразу и сообразишь, как из него выбраться. Да ещё усиливают этот неуправляемый хаос сумасшедшие лихачи: кто их не видел? – картинно ведут машину одной рукой, другую подставляют под ветерок. Правит ими одно желание всех настичь, всех обставить, показать себя... И чаще всего в дорожных происшествиях виноваты как раз не те, кто ещё неуверенно водит машину, как принято считать, а такие вот «мастера».

Вот и сейчас, смотри-ка, – мчится навстречу один из них, летит, словно гонец с важным известием. Всех обгоняет, вылетает на левую сторону, за минуту какую-то всех сбил с толку и опасной скоростью своей, и сигналами беспрерывными, и, главное, беспардонным нахальством. Тесно такому в мире, очень тесно… И другим тесно рядом с ним.

Но ему-то самому не так уж и тяжело от всей этой уличной сутолоки: обычно он покорно и неотступно следует за идущей впереди машиной. Вот один лихач обходит его слева, головой кивает: дескать, пропусти вперёд, я спешу. Но он делает вид, будто не понимает, боится сбиться, выбиться из общего ритма движения. Даже и не глядя в сторону лихача, он замечает негодующий оскал зубов: ругается небось на чём свет стоит...

В самом городе, однако, недостаточно одного лишь безотрывного следования за передней машиной: у тебя ведь своя дорога – и ты сам должен пройти её. И вместе с тем ты должен замечать всё и вся: и встречного, и того, кто обгоняет, и тех, кто готовится повернуть, будь то впереди или сзади. И ни на мгновение нельзя терять бдительности.

А вот и ещё один несётся сломя голову. Кажется, панелевоз. Такой, если заденет, хоть и слегка, весь бок тебе срежет и не поморщится, даже не заметит небось... Этому надо уступить дорогу... но как, не залезать же в кювет! Хоть бы дорога пошире была, что ли! Да нет, какое там! Ведь эти лихачи и при теперешней тесноте лезут между рядами, а будь дорога пошире, они только по самой середине носились бы; чтобы другим дали спокойно ездить – такого от них не дождёшься.

Так, теперь уже нужно прибавить скорость, даже если не спешишь. Иначе тот, кто следует за тобой, вынужден будет обгонять тебя. Поэтому лучше ехать на такой скорости, чтоб и переднего не обгонять, и заднего не принуждать к обгону.

Едва он прибавил газу, как ему показалось, будто и сама машина сделалась более послушной и управлять стало легче. Но он знает это коварство гонки, эту существующую в тебе слабость к скорости, к полёту... Она манит тебя, завлекает, хочет, чтоб ты подчинился ей, её законам; у тебя словно бы начинают прорастать крылья – ты чувствуешь, как ломит в лопатках. Это и есть соблазн, очарование скорости.

Но ты не должен поддаваться ей, должен побороть себя.

Больше он не прибавлял скорости, но и не убавлял. И сидящие в машине, казалось, обрадовались быстрой езде. Да, теперь-то он и вспомнил наконец, вернее, дорога дала ему возможность вспомнить, что он в машине не один. Глянул на жену: её обычно румяное лицо сегодня казалось бледным. И эта

бледность предательски обнаружила мельчайшие лучики морщинок, что светились сбоку от век и возле губ, и которые незаметны при обычном её полнокровном румянце.

Красивые, полные, словно припухшие губы – и эти лучики морщинок... – словно насмешка, насмешливое напоминание о том, какой она была в юности. Эти крупные пухлые губы, своей полнотой утяжелявшие некогда её юную внешность, в пору зрелости стали, пожалуй, основной, главной приметой её женственности. Он подумал, что женщины, обладающие такой привлекательной особенностью, видимо, сами как бы условились, что пухлые губы – знак страстной натуры, и, похоже, сами же воспламенялись от этой выдумки. Хотя Бог его знает – может, и правда, что-то в этом есть...

Он давно приметил: стоило её румянцу поблекнуть, как и ямочки на её щёках словно бы меньше делались и даже совсем пропадали.

Позже, снова посмотрев на жену, он заметил, что жаркий привычный румянец вернулся на её лицо и скрыл предательские морщинки, то есть они хотя и не исчезли, но сделались иными какими-то, более глубокими и лукавыми, пожалуй. Она постоянно сдерживала смех, не давая улыбке расползтись по лицу. Отсюда и пошли эти мелкие морщинки: ведь чтобы сдержать ярый, заразительный смех, нужно было прилагать немалые усилия. Но сегодня было что-то особенное: её пухлые губы напряжённо вздрагивали – она словно бы из последних сил старалась обуздать свою улыбку, не дать ей разлиться, расплескаться. Радовалась поездке – он понимал. И сам улыбнулся.

Впереди долгое уже время маячил забрызганный грязью багажник старенького «Москвича», и это начинало раздражать. Даже решил про себя: если не прибавит ходу, посигналю, попробую обогнать.

С тех самых пор как он решил поехать туда, куда он вёз сейчас жену и друзей, что-то внутри у него тихо заныло, словно бы напоминая о перенесённой боли. Так вынутая заноза ещё некоторое время заставляет помнить о себе. Но он даже не задумался сейчас – о чём эта боль. Увидев в лице жены сдерживаемую радость, он решил, что и всем надо дать повеселиться вволю, и самому, насколько это возможно, порадоваться, отключиться, отдохнуть, забыть всё, даже и эту ноющую незначительную боль. И вообще, когда ему в чём-нибудь везло, чего-то добивался, чем-то одаривала жизнь – он тут же вспоминал и родственников, и всех, кто не располагал тем, что он словно бы так легко вдруг получил, и это становилось причиной его душевного беспокойства. Честно говоря, именно поэтому он и взял в поездку тех, что сидят сейчас за его спиной, мужа и жену. Ведь они были из одного с ним села. Хотя он и несколько старше, да и в Сухум перебрался пораньше. Эти двое достаточно уважаемые люди – при своих скромных доходах. И поскольку он со своей только что купленной машиной оказался как бы в новом, более выгодном положении, нарушающем недавнее равновесие, равенство, он решил взять их с собой за город, тем самым как бы обеспечивая их участие в своём теперешнем благополучии. И они, муж и

жена, действительно очень обрадовались, когда он предложил им вместе поехать за город.

Сейчас они затаились на заднем сиденье, напряжённо молчали, – верно, чувствуя, переживая даже неопытность своего водителя. Надо завести какой-нибудь разговор, а там – они сами его продолжат.

– Утром, едва рассвело... – начал он неожиданно для себя, ещё не зная, как продолжит. Но нельзя уже было оставлять обрывок фразы повисшим в воздухе, надо было найти ему продолжение. На заднем сиденье, за спиной он почувствовал оживление, вызванное его словами, и жена сбоку шевельнулась, – ...утром, едва рассвело, – двинулась в путь скоростная машина «Жигули» четвёртого выпуска... Новая... – продолжил он после паузы.

Мужчина, сидевший позади, облегчённо откинулся на спинку сиденья:

– Считай, прямо с конвейера!..

– Имеющая, кроме обязательных своих четырёх, ещё и пятое колесо – в запасе, в багажнике, – продолжал он, понимая, что на заднем сиденье пока ещё не находят что сказать, – тридцать пять литров бензина...

– Девяносто третьего! – поддержал его мужчина сзади.

– Сытая маслом и напоенная водой... снабжённая всякими необходимыми инструментами... Ещё в придачу две женщины, да какие! Сафья и Мария! – произнося их имена, он осторожно оторвал от руля и поднял правую руку, стараясь выразить жестом то, чего не могли передать слова. – Любящие своих мужей, послушные, можно сказать, свежие...

– Подержанные, подержанные, – нашлась вдруг и Сафья и залилась весёлым смехом. Она сидела рядом со своим мужем, сзади. – Так и надо тебе было сказать, чтоб не через силу. Небось тяжело ведь говорить не то, что думаешь? Хотелось, верно, сказать «подержанные», а? – и мы бы не обиделись, и вам бы с Уасилом удовольствие...

Про Сафью действительно можно было бы сказать «подержанная», но зачем же присоединять к себе ещё и его жену, – она-то, откровенно говоря, пока что не заслуживает...

– Он хотел сказать о том... – начала было Мария, едва сдерживая свой смех, – уже по одному этому понятно было, насколько переполнена она весёлой энергией.

Когда в человеке столько накоплено радости, хорошо бы ему оказаться где-нибудь в глубоком ущелье, одному совсем – и исторгнуть, отдать ему весь свой запас веселья, так, чтоб до краев наполнилась теснина этим, казалось бы, бесконечным неудержимым смехом. Но можно ли насмеяться вдоволь, так, чтобы и наперёд достало даже, чтобы черпать потом из этого источника... возможно ли такое? Человеку больше знакома печаль, – её всегда много, она всегда рядом, в мире её в избытке... А вот радость – хоть и мало её, но поди попробуй удержи: она как строптивый жеребец, – не так-то легко его оседлать, а не оседлать – и того тяжелее... Когда в тебе – вдруг – много радости, бывает почти невозможно истратить её одному, поэтому лучше отдать, выкрикнуть, подарить её – хотя бы скалам, чтобы они долго и

радостно передавали твой смех друг другу и в конце концов выплеснули его остатки в небо. Ведь в мире нет ни такой радости, ни такого горя, которых не могло бы принять и растворить в себе небо. И потом, дав себе такую волю, потешив душу, ты можешь упасть, подобно великану, и спать без просыпу девять дней и ночей.

Он ощутил радость жены и почувствовал, что ему-то не нужны ни скалы, ни бездонное небо, для того чтобы истратить веселье: достаточно маленькой, как после той занозы, ноющей ранки... подобно тоненькой иголке, кольнёт тебя что-то – и выпустит легко весь воздух из большого, переливающегося пузыря радости.

– Подержанные, подержанные! – не унималась Сафья.

– Не перебивайте меня! – остановил он, желая вернуть разговор в прежнее русло. – И с ними ещё двое мужчин, Уасил и Андриа, эти лучшие из лучших, настоящие мужчины, рождённые в каждому известном селе, и лицом, и всею статью – настоящие...

– Только чуточку потрёпанные! – на этот раз и жена его не удержалась и – отпила-истратила несколько жадных и сдержанных одновременно, небольших глотков из переполнявшего её озера смеха.

– Поистратившиеся... – добавила, хихикнув, и Сафья.

– Ну вот, только я начал говорить о вас что-то лестное, как сами же мне и помешали. Хорошо, что те двое мужчин, о которых я только что упоминал, люди великодушные и по-рыцарски снисходительные. Так что им не тяжело прощать женские слабости. Поэтому продолжаю. Вот ещё истина: эти мужчины слушаются во всем своих жён и нигде, никогда не изменяют им...

– Правда, мужчины не совсем уж завалящие?.. – Мария вновь сделала несколько заветных глотков.

– Кроме того, – продолжал он, – тут слушайте особенно внимательно: теперь самое главное! Ещё они везут двух куриц, одну жареную, другую варёную!

– О-о! – раздался одобрительный возглас.

– Сухумской колбасы с зёрнышками чёрного перца – полтора кило!

– О-о!..

– Помидоров и огурцов достаточно, килограмм сыру, четыре пирога с сыром ачашв, груши, яблоки, персики...

– О-о!..

– Арбуз из Паглана, три дыни сорта «колхозница».

– О-о!..

– И разумеется, всяческие соленья, аджику, зелень. Ах да, простите, забыл: ещё мясо для шашлыков, выдержанное в уксусе.

– А ещё, ещё что?! – заинтригованно спросили все разом – и жена, и Уасил с Сафьей.

– Ещё, – объявил он, выдержав торжественную паузу, – две бутылки крепкой и вина бутылок...

– Шесть! – разом крикнули все, и смех их тут же накрыл и утопил это единственное слово, как волна накрывает одиноко торчащий у берега камень.

Утро было великолепное. Само солнце ещё не показалось, но деревья на вершине далёкого холма впереди видно было – уже до самой до травы были высвечены ярким боковым светом. Небо над горами было дневное, бледно-голубое, но чем дальше к западу, тем голубизна его казалась более глубокой; он подумал, как назвать эту голубизну над головой: неземною? Горы высились вдалеке, как и многие тысячелетия назад, – в стороне от суеты, от того, что творилось где-то внизу, у подножья... далеко, отрешённо стояли они, словно подчёркивая свою высокую непричастность к мелкому и преходящему. Между холмами то и дело проглядывало море. Оно сегодня было безмятежно синим, по-утреннему спокойным и юным, как тысячи лет назад. Давая человеческому взгляду возможность оценить безбрежность и нескончаемость истинного простора, оно всё-таки вдоль далёкой, неразличимой почти линии соприкосновения с небом обрамило себя едва угадываемыми барашками волн, давая тем самым понять, что, подобно тому как в человеке разграничены душа и сердце, точно так же и в мире всему есть свои чёткие границы, выходить за которые никто не волен.

Небо всему давало под собой место: долинам, холмам, полям, горю и радости, вершинам, и морю, и превшим в душных котловинах городам (в них дома липнут друг к другу, хотя вокруг лежат равнинные просторы). Как пчелиный рой налетает на вынутые из улья соты, так и эти дома, большие и крошечные, бросились все разом в одну котловину, а те, что не поместились там, повисли над обрывами, полезли на крутые склоны. А вокруг котловины – голые безлесые холмы. Находятся такие, которые, не выдержав духоты, взбираются на эти холмы, приходят в себя, оглядывают окрестности – насколько позволяет им временно обретённая высота, смотрят сверху на ржавые крыши домов внизу – оттуда они спаслись бегством, видят запутанную паутину дорог. И опять спускаются в тесноту, в город. Но земля, как всегда, не дрогнет, стерпит... и небо не вскрикнет...

Показалось солнце – сразу начало припекать. Заблестели далеко в горах снега и ледники, засверкала и асфальтовая гладь дороги. Хорошо хоть, что ветровые стёкла встречных машин не слепят тебя отражением низкого солнца, как это бывает обычно вечером при закате.

Здесь, на загородной этой дороге, машины встречались уже не так часто, но пролетали они на предельной скорости. Шум проносящихся разом машин и то, что он сам прибавил скорость (это он сделал, просто чтобы не отстать от впереди идущей машины, чтоб она прикрывала его и чтоб никто не обгонял его и не лез между ними), – быстрое движение это настолько захватило его пассажиров, что они, не замечая, не обращая внимания ни на красоту холмов, убегающих к морю и в предгорье, ни на бесконечное Кодорское ущелье, доносящее привольно дышащую прохладу далёких гор, смотрели только вперёд.

Встречались теперь и грунтовые дороги, выходившие то тут, то там к асфальтовому шоссе, и он сразу узнал среди них ту, на которую надо было свернуть. Она покрыта была известняковым щебнем, и, судя по белой пыли, густо осевшей на обочинах, здесь недавно проезжали машины.

Приближаясь к этой грунтовой дороге, он включил знак поворота и принял вправо, сбавляя скорость, однако, уже вплотную подъехав к ней, вдруг резко, нервно вывернул руль и непонятно почему сразу дал газ. Затем, опомнившись, сбросил скорость, вздохнул облегчённо и уже спокойно продолжал путь, поднимая за собой клубы известняковой пыли.

– Ты хоть скажи, куда нас везёшь? – спросила Мария и снова, будто впервые за сегодняшний день, отпила несколько звонких свежих глотков из озерца своего смеха. – Кого только не приходилось тебе возить на экскурсии, а вот сегодня придётся потратиться на нас, так что уж не жалей себя! – она вновь сделала несколько освежающих глотков.

– Не бойтесь: всё будет так, как вы пожелаете. Как говорится, в ажуре! – он вновь сделал жест правой рукой, показал, как здорово это будет, но уже увереннее, и не схватился тут же судорожно за баранку. Зная, что Марию смешат вычурные незнакомые слова, он старался время от времени специально вставить их в разговор. Ей хочется смеяться, в ней бурлит неуёмная накопленная энергия, так пусть смеётся, пусть тратит её.

– Как, как?! Вы что-нибудь поняли из того, что он сказал?! Ха-ха-ха...

– Знать бы точно, что мы именно сюда отправимся! – махнул рукой Уасил. – Ведь Арвелода видел! Как чувствовал – сказал ему: дескать, собираемся примерно в эти места. И он признался, что хотел бы с нами... Но потом заговорили о другом, и он не спросил больше, да и я не вспомнил. А ты ведь знаешь, как он водит машину? Сейчас тут, а через минуту чёрт знает где!

– За такое время чему угодно научишься, – подключилась Сафья. – Его без машины, наверное, никто и не помнит.

– А сколько машин он поменял! – смех Марии словно бы притаился, упрятался в норки. – Все модели перепробовал!

Вот что было странно: человек этот, о котором говорили сейчас, обладал такой особенностью, что, даже вспоминая его, все принимали серьёзный вид, словно в президиуме сидели.

Что же это случилось с ним, что он снизошёл до простых людей? Опять кольнула его притихшая было, словно бы забывшаяся уже боль. «Этого не может быть, – подумал он об этой так долго не напоминавшей о себе тоненькой, колющей, позабытой почти боли, – это ведь прошло, умерло... и какая у неё может теперь быть сила, да и была ли она вообще?..»

– Поверишь: он остановил машину, – продолжал Уасил, – вышел из неё, поздоровался со мной за руку, поинтересовался, как живём. Когда я рассказал, что собираемся вместе выехать за город, он спросил о тебе.

Видимо, Уасила действительно подкупило необычное поведение Арвелода, потому что он заговорил об этой встрече вполне серьёзно, не в обычной своей задиристой манере, как-то непривычно откровенно. Но, поскольку он давно уже не выступал в такой роли – задушевного откровенного друга, он, похоже, побоялся, что не сможет продолжать в тех же тонах, и решил вернуться к испытанному своему стилю. А стиль его был таков: он всегда должен был идти наперекор, поперёк течения, даже если и

не было в том особой нужды... его наскоки порой забавляли, а порой и раздражали.

– И вообще... – продолжал он по инерции, не желая сразу явно идти против течения, но и по течению идти на виду у всех словно бы стыдясь, – о чём бы ты ни говорил с ним, ему всегда всё давно известно. Вы специально попробуйте как-нибудь рассказать ему что-нибудь такое, чему он не то что удивился бы, но хотя бы захотел дослушать до конца.

Да, это и вправду так. Он понимал: дело в том, что Арвелод прекрасно чувствовал, где это гладко пройдёт, где ему сыграет на руку напускное всезнайство. Ведь не каждый же возьмётся разоблачать... Раз человек утверждает, что он что-то такое знает, кто там начнёт проверять, действительно всё это так на самом деле или же просто пыль в глаза пускает. А когда Арвелод натыкался на какого-нибудь упрямца, который загорался желанием попробовать, так сказать, на зуб его посвящённость, он всегда мог увильнуть, умел перевести беседу на другое, сослаться на то, что ему пора бежать куда-то, а досужий, мол, разговор можно отложить на лучшие времена.

– Не беспокойся, Уасил, – бросил Андриа, не оборачиваясь, – если Арвелод захочет, отыщет нас, где бы мы ни были. Лишь бы у него для нас время нашлось!

– Лишь бы нашлось!.. Ха-ха-ха! – Уасил смеялся так экономно, словно это были уже последние остатки из запасов его веселья, а он хотел бы пользоваться ими ещё долгие годы. – Чудные вы какие-то! Арвелод стал бы учёным, будь у него время, все так говорили. Ты ведь сам небось помнишь...

– А при чём тут его учёность, – он и без неё прекрасно обходится. Попробуй потягайся с ним, – сказала Сафья.

– Я ни с кем не собираюсь тягаться, что это – спортивные состязания! – возмутился Уасил, слова жены задели его за живое.

До села они ещё не доехали, оно впереди было. Он вёл машину не спеша, старательно объезжая все ямы на дороге и не поднимая слишком уж много пыли. Становилось жарко. День сегодня обещал спалить всех, кого только можно, и с самого утра не скрывал, – наоборот, явно предупреждал о своих намерениях.

– Помнишь Энгиштера Энгиштеровича? – спросил он Уасила.

– Как не вспомнить, подъезжая к родному селу.

– Неужели у людей до того скудное воображение, что не смогли найти своему сыну другого имени? – засмеялась Мария, но засмеялась, умело сдерживая и громкость голоса, и сам смех, который словно бы плескался, бился внутри, стараясь вырваться на волю.

– Не будем говорить о его недостатках, ты сам знаешь, как я к ним отношусь, но признайся: голова у этого Энгиштера Энгиштеровича была что надо! – ударился в рассуждения Уасил. – Преподавал историю, но чего только не знал помимо своего предмета! А сколько стихотворений помнил наизусть, а как в волейбол играл! Мне и сейчас выстрелом слышится его пушечный короткий удар над самой сеткой – его не успевали блокировать, и

почти одновременно раздавался удар мяча о площадку противника, а потом мяч улетал Бог знает куда.

Уасил сегодня словно бы и не собирался спорить со всеми и обо всём, но ему всё-таки грустно было смотреть на вольный и уж совсем беспрепятственный бег реки. А Энгиштер Энгиштерович ровным счётом ничего не знал. Держал в голове три вызубренных стихотворения – одно на гражданскую тему, одно – о любимом отечестве и третье – просто о любви, чем и ставил на колени сельских эрудитов. На уроках он говорил о чём угодно, только не о том, что выучить надо было. И никто наверху не обращал как-то внимания на то, что все выпускники этой школы проваливались при вступительных экзаменах в вузы, и чаще всего – по истории. Энгиштер Энгиштерович – он как утка был: и летал, и плавал, и нырял, и по земле ходил, да только ничего как следует делать не умел. Хотя, надо признаться, в волейболе он преуспевал-таки, – правда, среди тех, кто играл лишь ради отдыха, «по-дачному».

– Где же он сейчас?

– Если верить его словам... Говорит, живёт прекрасно, дачу имеет – где-то недалеко от Сухума, летом каждый день выезжает к морю. Наверное, уже на пенсии... забыл спросить.

К этому человеку Арвелод очень был привязан. Даже учителя, когда видели их вместе, – а врозь их почти не видели, – отворачивались или торопились уйти в классы, настолько неприятна была им эта неразлучность. Сколько лет Арвелод учился в школе, – он, наверное, и сам не вспомнит, но Энгиштер Энгиштерович постарался, чтоб его подопечный закончил-таки десятилетку. Он и Арвелода вытянул, и сам, хоть и был подобен утке, что не может перелететь от одного водоёма к другому, но это сейчас... а тогда он легко перелетел и через непроходимые топи убогости, и через жалкую, с обломанным крестом церквушку, в которой когда-то священнодействовал его отец, и очутился в райцентре. И Арвелода сразу переманил к себе.

– Вообще-то, если подумать, Арвелод, конечно, достоин уважения, – Уасил сегодня что-то уж совсем мало возражал, решил отдаться общему течению. – И образования вроде особого не имеет, и должности – тем более, но вот сумел же поставить себя, что о нём говорят с уважением. Может, хоть ты вспомнишь, какую это такую выдающуюся ответственную должность он когда-нибудь занимал? Не было такого! Но кто всё может? Арвелод. Кто всё сумел? Арвелод. К кому стоит обратиться, если хочешь устроить, «добиться»? Опять же к Арвелоду! Едва освоят выпуск какой-нибудь новой автомашины, смотришь – Арвелод уже оседлал её. Кто шикарно отделал, кто лучше обставил квартиру? Арвелод. И одежда на нём – лучшая из лучших. И кто бы стал тебя слушать, если бы после всего этого ты попытался сказать о нём что-нибудь неодобрительное!

– И правильно бы сделал, что не стал слушать! – не вытерпела Мария. – У Арвелода, можно сказать, дар Божий…

Когда она говорила об Арвелоде, весёлость её стихала сама по себе.

– Нет, лучше, когда удача гонит твоего коня, а не усердие плети! – отстаивала свою позицию Сафья.

– А мы относимся к тем, что стараются вырваться вперёд за счёт плети! – тут Мария вновь отпила несколько расточительно больших глотков своего расплескивающего веселья.

– Это всё верно. Но он никак всё же не мог понять, что за сила такая заключена в Арвелоде, что даже одно лишь упоминание его имени завораживало людей.

– Насчёт сегодняшних его дел ничего не могу сказать, – продолжал свои рассуждения Уасил. – Такие уж ходят слухи… Любая удача невечна.

– А что у него отнимешь теперь, – усложнила Сафья выводы мужа.

– Да в том ли дело! – как будто рассердился Уасил, но не нашёл что ответить жене. – Думаешь – это он просто так: останавливает машину, выходит на тротуар поздороваться? Хочет вернуться к старым приятелям, простым сделаться? Только ведь оттуда, куда он ушёл, нет дороги назад, к простоте.

Арвелод не был заносчивым и открыто высокомерным. Он умел не сталкиваться с людьми, которые были ему не нужны или мешали ему, умел выбирать такие пути, где ему не грозила встреча с ними.

Между тем по обе стороны дороги появились крестьянские усадьбы, тесные дворы жителей долины, с выгоревшей жалкой травой перед домом, а то и вовсе без травы. Засуха, так что и роса не выпадает, у многих фруктовых деревьев листва уже наполовину пожухла. Некоторые дома вытеснены чуть ли не к самой дороге.

На верандах обвисли пыльные листья «изабеллы». Правда, встречались и дома, поставленные в глубине зелёного широкого двора. И чем дальше они ехали, чем холмистей и выше проезжали места, тем всё шире и чище становились дворы, а строения помещались во дворах всё дальше от дороги, и трава наконец сделалась зелёной.

– Сейчас, товарищи... – начал он, как обычно начинал перед экскурсантами, решив и спутников своих, да и себя самого отвлечь от неприятного ему разговора, – сейчас вы видите типичное абхазское село, которое поможет вам лучше представить себе нашу Абхазию. Если вы внимательно ознакомитесь с ним, считайте, что побывали во всех лучших уголках республики. На что прежде всего нужно обратить внимание? Молчите? Что ж, значит, слово за мной: прежде всего – ворота. Во двор к крестьянину вы входите через ворота. Стало быть, его отношение к воротам, их размеры, отделка, материал, из которого они сделаны, чистота и ухоженность площадки у ворот – всё это безошибочно расскажет вам о хозяине, которого вы ещё не видели...

– Какие там ворота! Сплели железные прутья – ни открыть, ни закрыть! – Уасил на этот раз явно шёл против течения, по самой стремнине... теперь ему было легче, поскольку говорили вообще, не о чём-то конкретном. – В городе – куда ещё ни шло, а в селе-то, слава Богу, леса довольно, могли бы деревянные сделать.

– В этом селе, впрочем, как и во всём нашем краю, – продолжал Андриа, – воротам уделяли особое внимание, выбирали лучшие породы дерева, украшали орнаментом, сооружали резные навесы. Порой в изготовление ворот вкладывали больше души, чем в строительство самого дома...

– Кто думает покупать машину, ставит ворота по шире, а кому такое счастье не снится – поуже! – засмеялась Мария, радуясь возможности израсходовать ещё долю своего веселья.

– ...Это означало, что хозяин дома, у которого ворота тщательно отделаны, думает о госте, заранее старается угодить ему.

– В таком случае в наше металлическое время для гостей закрыты все ворота без исключения, – нашёлся Уасил. Спорщик... Казалось, грудью рассекает встречное движение...

Они уже ехали мимо широкого склона, освещённого солнцем, на котором просторном, как цветы на лугу, были разбросаны опрятные усадьбы, сады, дома.

– Как только войдёшь в ворота, – продолжал он занимать своих пассажиров, – оказываешься в зелёном, покрытом мягкой травкой дворе. Культ двора в нашем краю существует испокон веков, двор, так сказать, всегда был на высоте.

– Главное: сколько на дворе кур да индюшек! – хохотнула Мария.

– Дворы и сейчас есть неплохие, но теперь там сажают фруктовые деревья, – вмешался Уасил. – Хотя ведь предки наши не случайно решили разделить двор и сад. У сада своё место в усадьбе. А для густой тени во дворе сажали деревья, которые не сбрасывают, подобно фруктовым, листву среди нашего жаркого лета. Теперь ведь у многих во дворе на траву не сядешь. Того и гляди, попадёшь на сгнившую падалицу.

– Как только пересечёте двор, – он уже втягивался в разговор, подобно тому как пьёшь в жару тёплую воду, пьёшь долго, надеясь утолить жажду, но питьё не утоляет, лишь ещё больше распаляет её, – пересечёте двор – вас ждут лестницы...

– Да какие! – Уасил одинаково умел идти и по течению, и против. – Приставят к стене тяжёлое и громоздкое сооружение, так что дом чуть не валится набок.

– Наверное, только поэтому ты так и не построил дома! – поддела своего мужа Софья, но не очень зло, а как-то примирённо, чуть ли не обречённо. – Боялся, что дом твой не вынесет соседства широкой лестницы?

– При чём тут мой дом? – потерянно оправдывался Уасил, чувствуя, что сейчас не стоит идти против течения. – Я говорю, правду, а он хочет нас обмануть, как привык это проделывать с туристами.

Дорога теперь пошла хорошо утрамбованная и не такая пыльная. Попадались и встречные машины, но он спокойно держался своей стороны и продолжал путь.

– Меня удивляет другое: как это вы не замечаете моей езды! Должен вам сказать, что я уже чувствую себя асом! Представляете, что будет дальше!

– Далеко пойдёшь, – заметил Уасил, но бесчувственно как-то, невыразительно.

Мария опять засмеялась, и смех этот не понравился ему: в нём слышалась насмешка. Он повернул голову и встретился с ней взглядом. Стоило ему отвести взгляд, как Мария снова начала смеяться.

– Смеяться, право, не грешно... но, может, все эти резные ворота, деревенские плетёные домишки-апацхи стоят большего, не одной только насмешки заслуживают?

– Домишки, в которых летом прохладно, зимой тепло? – подхватила Мария. На этот раз сосуд, в котором плескался её смех, словно выскользнул у неё из рук, опрокинулся и в захлебывающихся звуках звонко проливал, отдавал своё содержимое. Освободившись от части душившего её смеха, Мария пришла в себя, даже настолько, чтобы суметь произнести несколько слов: – Мне кажется, что я уже об этом где-то слышала. Может, в школе проходили?

– Дурачитесь вы всё, ей-Богу! – махнула рукой Сафья.

А он всё удивлялся сегодня голосу Сафьи и её смеху, словно открылось ему... Смех её слышался где-то в груди, словно не успевал взлететь к гортани, и был он каким-то пресным, безвкусным, не холодным и не тёплым, не было в нём веселья. Скорее всего то место, где зарождался этот смех, было всё же, как у других, охвачено огнём и полно чувством... но где-то на полпути смех, казалось, попадал во враждебную среду и тут же затухал, и оставались лишь эти сдавленные звуки, которые лишь при большом желании можно было принять за смех.

– Вы то и дело вспоминаете эти апацхи, вздыхаете, сокрушаетесь, словно не сами зябли в них и жались к огню, а дым очага выедал вам глаза. Теперь же, когда вы согрелись в городе, вдруг преисполнились любви к апацхам и очагам. Хотя, конечно, наши старые дома по-своему красивы, ничего не скажешь. Но лучше стоять на холодном ветру в одной рубашке, чем жить в них зимой. А рассуждать, не выходя из тёплых своих квартир, дело нетрудное... Разумеется, мы все любим свои сёла... – дальше Сафья уже не знала, как продолжить...

– Конечно, – поддержала её Мария, но, похоже, лишь из женской солидарности. – Сидя дома, они способны на любые подвиги. Вот если бы они оказались, как в сказке, на пересечении семи дорог, тогда-то и можно было б повоевать, поразмять косточки...

Дорога приблизилась вплотную к широкому склону, огибая его, и все стали смотреть туда, боясь пропустить хоть один крестьянский двор, не успеть приглядеться к дому. И сам он, насколько это было возможно для него, старался смотреть в ту сторону, – больше, конечно, чувствуя, чем слыша и видя сквозь железо и шум машины, – чувствуя пульс деревенской жизни, её полнокровность, слыша её шаги. Он мельком успевал заметить даже рубашки, распятые на верёвках, – цепь причудливых крестов во всю ширину двора. А в одном дворе по всему частоколу были развешаны одеяла и матрацы. Сюда, в машину, не долетал, конечно, запах прогретой солнцем

постели, но он слышал его, ибо хорошо знал и помнил этот запах. То тут, то там можно было увидеть весенних, уже успевших как следует окрепнуть телят. А в одном ухоженном и просторном дворе он заметил белолобого телёнка (он был поменьше тех, что встречались раньше, видимо – был летний), который влетел в медленно шествовавшую стаю придворно-важных индюков. Затем донеслось их недовольное кулдыканье.

Эта жизнь была ему кровно близка, и глубоко скрытая нежность памяти, пройдя по всем его жилам и достигнув лица, сказалась доброй улыбкой.

Кое-где вились дымки над садами, над крышами сизо курились каминные трубы.

И дым здесь другой. В городе он или совсем чёрный, как сажа, или же бесцветный и без запаха. Здесь он был сизым и благоуханным.

Со двора, к которому они подъезжали, доносились взрывы весёлого смеха. В горах, в чистом незамутнённом воздухе, любой, даже сдавленный смешок немедленно очищается, делается отчётливым и звонким.

Чем ближе они подъезжали, тем лучше видели – он намеренно сбавил ход. Под яблонями, шагов за десять друг от друга, стояли молодая женщина и девочка лет восьми. Малыш, коротенькая рубашонка которого едва прикрывала попку, старательно и азартно ступая, балансируя на ходу поднятыми ручонками, перебегал от матери к девочке и обратно, от девочки к матери.

– Беги ко мне, – кричала ему, звонко смеясь, мать.

– А теперь ко мне, – сквозь смех торопила его девочка.

Малыш старался бежать быстрее, потом вдруг шлёпался в траву. Его поднимали, он, барахтаясь, вырывался и, заливаясь смехом, весело топал в другую сторону...

Андриа с улыбкой обернулся к Марии, ожидая ответного понимающего взгляда, – и удивился: она туда не смотрела, не восторгалась, ушла в себя, как бы отсутствовала. О чём-то думала.

...Услышав о предстоящей поездке за город, она обрадовалась сильнее, чем могла ожидать от себя. За город, на природу, на траву, зелёную и мягкую, к горной чистой реке... Она не любила выезжать из города в осеннюю и зимнюю непогоду, не желала и шага делать в сторону от асфальта, но лето и теплую осень она любила.

Она до того обрадовалась новости, что забыла и об усталости, и о неподвижном своем образе жизни, и о своём возрасте, который слишком тревожил её, – сразу почувствовала облегчение, словно большая часть всех этих забот, камнем давивших на душу, исчезла, перестала существовать. «Неужели – наконец-то – награда за всё трудное и напряжённое? Неужели оно кончилось, настанет лёгкость? – думала она про себя. Она уже и не мечтала, что после замкнутой жизни в городе она ещё вспомнит эту радость – ступить босой ногой на прохладную травку, не ожидала, что есть ещё, не потеряна для неё эта благодать – летняя тень под деревом и прохлада в летних горах. Она пошевелилась, распрямила спину и примостилась поудобней на своём сиденье за кассовым аппаратом.

Ей даже показалось, что вечно подозрительные и нервозные покупатели, всегда недоверчиво заглядывавшие ей в глаза, подобрели вдруг, и слова, с которыми они обращались к ней, сделались теперь как бы более терпимыми. Сейчас она им прощала грязные, потёртые медяки, и замызганные серебряные монеты, и мятые замусоленные рубли, которые ей совали в окошко. А она всегда любила новенькие деньги. Когда ей давали старые или затёртые деньги, ей казалось, будто дают меньше положенного. Когда же протягивали новые бумажки или свежие поблёскивающие монеты, особенно если это были пятаки, – и клали их на мраморную чашу-подставку перед кассой, ей бывало приятно. Ей хотелось лучше обслужить такого покупателя...

Многих, чьи ухаживания были ей в прошлом приятны, она уже позабыла. В молодости, в многолюдном собрании, будь то свадьба или что-нибудь иное, когда её заставлял обернуться пристальный взгляд незнакомого парня или кто-нибудь из местных, из сверстников задерживал на ней жаркий неравнодушный взгляд, видно было, как сильно, до неузнаваемости меняет человека влюблённость, она чувствовала счастливое томленье... Однако же гордо несла, словно бы полную до краёв счастьем, чашу своей судьбы, несла сквозь всё это многолюдье, умея не пролить ни капли.

Этого счастливого ощущения ей хватало потом надолго.

Радость, солнцем мелькавшая среди туч, счастливо обновляла её, освежала, улучшала и без того прекрасное самочувствие и ещё некоторое время светила ей даже и там, где вовсе не было света. Но об этом солнечном чувстве, о счастье своём она не говорила никому, даже близким подругам, – боялась, что не поймут. Хотя, если кто-нибудь из знакомых парней потихоньку сватался к ней, она могла поделиться. Для неё в таких случаях важно было не то, что об этом нельзя или просто нехорошо говорить, – нет, её всего лишь донимало любопытство, случается ли подобное с её подругами.

Но теперь она уже позабыла обо всём об этом. Лишь вырвавшись из обыденного за город, она почувствовала себя готовой к таким воспоминаниям. Ей казалось отчего-то, что именно сейчас, оторвавшись от привычного, сковывающего, она может найти ответ на давно тревожащие её, неразрешённые вопросы. Оправдался ли, правилен ли был её выбор? Конечно, можно сказать, что сейчас нет смысла, бесполезно ворошить минувшее... но ведь когда человек отрывается от привычного, ему всегда кажется, что он обрёл новую свободу и теперь-то, пользуясь ею, поймёт что-то не понятое ещё, оценит, решит...

Дело было, конечно, не в том... не понять что-то в прошлом… ей осознать надо было, почувствовать на свободе, что, как бы там ни было, терпели они не напрасно, уже пришли к чему-то. От чего только не пришлось ей отказываться, глаза закрывала, не видеть, не замечать старалась, что недоставало то одного, то другого... всё осилила. А мало ли таких, кто помер, не добившись даже того, что есть у них... Ведь можно сказать, что у неё с Андриа немало ещё впереди. Есть уже и квартира кооперативная, и гараж

(чтобы получить разрешение на него, пришлось потратиться), теперь – и машина. Что же ещё надо человеку?

Как она тревожилась в те дни, когда у них ничего ещё не было, ничего, кроме стремления когда-нибудь начать жить по-человечески, как боялась, что все их труды и старания не принесут плодов, сколько бы ни проливали пота, скольким бы ни жертвовали. А как замирало её сердце, когда к её кассе шёл кто-нибудь с подозрительной такой ухмылочкой. Они подходят не прямо к окошку, а сбоку, к двери, раскрывают ладонь, в которой оказывается удостоверение (видишь? Больше не увидишь!). И пусть не с худым намерением пришёл, но деньги ведь – чёртов промысел: их может оказаться и меньше положенного, и больше...

...Ей внушали, объясняли, рассказывали, что счастье – оно как горизонт, чем ближе ты к нему, тем дальше оно от тебя... ещё никто не сумел настичь. Как другие, она не знает, но вот они же – схватили его, добыли, добились... горизонтом его назвать или как ещё. Спокойствием? Это издалека лишь оно кажется тонким волоском, готовым вот-вот оборваться... А как доберёшься до него, тут-то и убеждаешься, что, даже поскользнувшись, можно на нём удержаться, можно хоть лечь на него. Не такое уже оно непрочное, как выходило по словам подруг.

А у людей всякое случается: и горе, и радость. И на свадьбу надо пойти – ведь не жить затворниками. Раньше приходилось напрашиваться к кому-нибудь из знакомых, из тех, у кого была машина. А он на тебя уже заранее волком смотрит, как человек, которому осточертели непрошеные пассажиры, весь на нервах, не подступись. Но приходится терпеть, простачка играть, не видеть, не замечать и всё-таки садиться в их машину, и сидеть в ней, затаив дыханье. А не желаешь – так лезь, втискивайся в переполненные, бьющие в нос терпким запахом человеческого пота автобусы, – там толкаются, наступают на ноги, бранятся.

Теперь же у них наконец-то всё образовалось, всё стало иначе. Теперь можно повсюду успеть и без лишней суеты. И на работу, и – если есть настроение – в гости, на прогулку. Новое ощущение себя... И хочется, чтобы люди почувствовали это.

И Андриа теперь уже должен успокоиться. Он никогда не высказывал ей недовольства, не жаловался на неустроенность, но она умела догадаться, она понимала, чем он мог быть недоволен и когда...

В Сухуме он оказался из-за неё. Их семья к этому времени уже успела здесь крепко, как следует обосноваться, да и отец её был в городе фигурой не из последних. Она не обещала, конечно, ему открыто, что отец её поможет, выведет его в люди, но рисовала будущее таким, в котором авторитет отца оказывался силой, повсюду открывающей перед ним двери. Да и сам он, хоть и не говорил вслух, что надеется на помощь её отца, всё же, видно, не без оглядки на важное это обстоятельство бросил всё и приехал в город. На обстоятельство это обнадеживающее он и потом оглядывался, хотя отец её не делал, а может, и не собирался никогда делать ничего такого, что они воображали себе, даже похожего ничего не было. Зато она сама своим

трудом и заботой восполнила, сделала то, чему могла помешать инертность отца: главное – выучиться дала ему возможность, пусть и заочно. В конце концов он получил такой же диплом, как и все. И покуда он учился, не давала ему почувствовать нужду. А сейчас их единственная дочь занимается в институте, через два года должна закончить. Ей это, конечно, тоже кое-чего стоило, но она всё уладила, всё сама, не втягивая его в непонятные ему хлопоты.

Работа у него необременительная. Ездит с туристами в комфортабельных автобусах, знакомит с краем. Несколько машинописных страниц текста. Как закончит работу, может идти домой. В другом месте, где больше возможностей, там, конечно, и подзаработать было б не грех, но есть же люди, которым просто не дано, не умеют. Но это всё ничего, главное – им хватает того, что они зарабатывают. Так чего же мучиться, из кожи лезть?

И работает она столько, старается, успевает и радоваться умеет каждому, пусть небольшому, успеху – потому лишь, что уверена в муже, в его неравнодушии. Это – главное, основное: всегда и во всём может на него положиться, как за каменной стеной. Она любит говорить правду... пусть, может быть, и не так уж прямо, но может признаться, может сказать эту правду себе. Она не была от него без ума, и он не так чтобы уж сох по ней, просто они нравились друг другу. Он был видный парень, умеющий заинтересовать разговором, прилежный в делах, и, конечно, немало девушек поглядывали на него, имели, так сказать, виды. Но и она была заметной. Правда, в детстве была некрасивой, но зато выросла – похорошела, ни в чём не уступала ровесницам. А кроме того, Андриа всё-таки привлекало, конечно, то, что отец её был влиятельный в городе человек. Таким вот отчасти рассудочным, можно сказать, было начало. И до сего дня прожили они в мире и согласии, избегая ссор, не стараясь тянуть друг друга в разные стороны.

А теперь всё должно быть ещё лучше, и не просто лучше – совсем иначе.

Они уже проехали центр села.

Поднимая пыль, заняв собой почти всю ширину дороги, оставляя позади клубы дыма, прошёл навстречу огромный лесовоз.

Его прошиб холодный пот: судорожно сжимая баранку, он вёл свою струсившую машину по самому краю дороги. В салон стала набиваться пыль, и они, подняв стёкла, сидели теперь в духоте.

– Выше головы! – подбодрил он своих пассажиров. – Скоро свернём направо!

– Сколько разговоров было из-за этого вот леса. – Уасил решил круто пойти против течения и хотя бы тем утешить своё израненное самолюбие. – Все рукава протёрли себе, облокачиваясь на трибуны, а что изменилось! Теперь уже с берега моря видать, до чего оголились ущелья!

– Да ну, ерунда!.. – вернулась из своих раздумий Мария. – Леса в горах хватит всем. Одним он даёт работу, другим – доход. Кормит, а людям жить надо...

– Те, о ком ты говоришь, съедят и нас, дай им только возможность, – поддакнул угодливо Уасил. Засмеялся, не стал ради Марии спорить, как собирался.

– Да о чём вы говорите! Как это – съедят! – Андриа решил перевести разговор в шутку. – Теперь мы хоть можем утешать детей: мол, наконец-то истреблены страшные людоеды, а ведь раньше леса ими кишмя кишели. Вы что же, вернуть их решили? Ну так знайте: мы не робкого десятка! Не запугаете, не уступим!

(Разве не он, не Уасил, занимается лесными делами! Но, хоть словом осмелился когда-нибудь заступиться за лес? Случись такое, – может, возник бы спор... И даже если б его, не угодившего в этом вопросе начальству, сняли с работы, хоть молва бы о нём пошла добрая. Может, и ещё бы кто-нибудь призадумался. Но нет, слово вышестоящих лиц для него непреложно, как закон. В служебной практике он соблюдает все неписаные правила, знает своё место, знает законы бюрократии и нарушать их не рискует. Поднять руку, вскочить со стула и заявить, что не согласен, возмутиться, когда все выражают согласие, – одно это уже чего-то стоит. А если ты смолчал, сидел на своём месте, как парализованный, как тяжёлый камень, которому тяжесть для того и нужна, чтобы его тяжело было сдвинуть с места, – незачем тогда лицемерить, вводить людей в заблуждение своими россказнями.)

В это время из-за поворота вынырнул ещё один лесовоз, нагруженный брёвнами выше кабины. Он летел навстречу, занимая почти всю ширину дороги, волоча за собой широкую завесу пыли. Секунда – и «Жигулёнок» влетел в облако пыли – дорога, встречный лесовоз – всё исчезло. Он растерялся, руки судорожно дёрнулись. За спиной подняли крик, – он не понял, что там у них такое случилось, да и некогда ему было сейчас. Мария в испуге схватила его за руку. Машина рванулась и, оставив позади и клубы известковой пыли, и лесовоз, вылетела на большой скорости вперёд, на свободную дорогу. Лишь сейчас он осознал, что произошло: желая притормозить и пропустить лесовоз, он впопыхах нажал вместо тормоза на педаль газа. Освободив педаль, он почувствовал, что ногу трясёт мелкой дрожью.

– Выше голову! – подбадривал он своих пассажиров не очень-то бодрым голосом.

– Честно говоря, – заметил Уасил, – не рвани ты, он бы нас смял. Чудовище какое-то!.. Ему-то что, раздавил бы нас да и поехал дальше.

– Тоже мне сказал! – в голосе Сафьи не было и тени испуга.

– Как это так! – Мария ещё не успела прийти в себя. – Кто это им дал такую волю?!

Они и вправду скоро подъехали к повороту, где надо было свернуть в ущелье. Облегчённо вздохнув, женщины опустили наконец стёкла.

– Я ещё помню время, когда эта речушка была настоящей горной рекой, не всякий всадник мог её переплыть, – тоном озабоченного хозяина поделился Уасил. Они въехали в устье ущелья, показался деревянный мост со сломанными перилами. – Теперь из этого ручья и собаке не напиться... На

островках прежде такие росли ивы. А теперь и на берегу не увидишь даже кривенькой ольхи...

– Воду отвели по трубам для питья! – объявила Сафья таким встревоженным тоном, словно муж её умирал от жажды и она не знала, чем ему помочь.

В водопровод завели другую речку – эта же обмелела от засухи. А островков здесь недалеко от истоков не бывает, это внизу, ближе к долине. И ивы растут там же. Воды в это время года везде мало, пока не подойдёшь близко к берегу, и не услышишь её шума.

– Ну нет, уж очень вы избаловались, – решил он опять перевести всё в шутку, – на туристов стали похожи: хотите обязательно увидеть что-то необыкновенное – даже в местах, где всё вам знакомо и привычно. Чтобы все горы были непременно Эрцаху, все реки подобны Кодору, озёра – как Рица, а если родники – так непременно нарзан.

– А чем мы хуже какого-нибудь... – Уасил успел уже выразить недовольство по поводу того, что в речке мало воды, и теперь ему нельзя было ни соглашаться с Андриа, ни спорить...

Речушка на первый взгляд действительно была невеличка, но это для тех, кто не видел, не знал её переменчивый характер. Между тем стоило пролиться в верховьях хорошему дождю – и она набирала такую силу, что всё способна была сокрушить на своём пути, смыть, унести... вот тогда уже и ивы сносила с корнями... И тот, кто хоть раз видел её такой, бешеной, необузданной, признавал за ней большую силу даже и тогда, когда она мелела в засуху, как сейчас. Речушка легко струилась в светлом просторном ложе, но в смиренной этой лёгкости и светлоте было что-то, говорившее об изменчивости и вероломстве...

– Смотрите-ка, и сюда дорогу проложили! – удивилась Сафья.

– А как же, лес вывозили. Иначе кто бы стал этим заниматься. Ведь даже туда, где люди живут, не везде подъедешь... Лес вывезли, а дорога осталась, – пояснил Уасил, незаметно продвинувшись против «мелководного» течения.

Теснина вдруг раздалась, они выехали на светлую поляну, – за ней, прижавшись к скалам, струилась речка. Выше поляны, в тени деревьев, задрав носы к невысоким холмам, словно не одолев их крутизны, собралось стадо легковых автомобилей. Возле некоторых расположились отдыхающие, но большая часть их плескалась в речке, оттуда слышались весёлые их крики. Там и тут струились над зарослями дымки костров.

– Похоже, они и ночевали здесь! – нарушил молчание Уасил. – И откуда столько машин! Как раньше через одного носили служебные револьверы, так сегодня машины... – он вдруг осёкся, увидел многозначительный взгляд Сафьи: дескать, что же ты, хозяев машины обидеть хочешь?

Мария тут же поспешила на помощь:

– Не знаю, как вы, а я проголодалась! – даже обычные эти слова Мария сопроводила смехом – отпила из бесконечного своего запаса несколько глотков радости. – Мне уже не терпится... Ведь столько времени трясёмся в машине!

– Здесь нам в рот будут заглядывать... – Но по тону понятно было, что Уасил тоже не прочь бы перекусить.

– Как можно здесь останавливаться: смотри, люди чуть не нагишом ходят. И городские, и сельские, все с ума посходили! – бросила недовольно Сафья.

– Ну что ты говоришь, Сафья, – Мария обернулась к ней, сдерживая улыбку. – Твои взгляды устарели. Что же им делать, ведь жарко, неужели лучше в одежде париться?

– Сама небось не станешь так раздеваться, а говоришь.

– Дело ведь не в нас с тобой – что мы можем и чего нет...

– Потерпите ещё чуточку! – включился в разговор Андриа. – Скоро привезу вас в такое место, где вообще редко встретишь человека. Больше ничего не скажу, молчу, приедем – увидите сами.

Лес отсюда перестали вывозить, видно, не так уж давно, и на дороге ещё оставались глубокие колеи, проложенные лесовозами, кое-где видны были даже ещё и отпечатки их широких колёс. Дорога поднималась в гору, и ехать по ней было тяжело, потому что колея лесовозов была слишком широка для «Жигулей», машина кренилась, и это создавало лишние неудобства. Хотят они того или нет, Уасилу приходилось опираться на Сафью.

За долгую дорогу все успели уже наскучить друг другу.

Он почему-то начал бояться, что то место, куда он вёз всю компанию, могло оказаться где-то в другой стороне. Заблудиться нетрудно, тем более что он не знал этой дороги, по которой ехал сейчас, никогда не поднимался с этой стороны. А случись – заплутайся он, и кончено: все их сегодняшние надежды, всё радостное, приподнятое настроение неизбежно будет испорчено, да так, что всем хватит надолго.

Деревья на склонах росли здесь так густо, что почти не пропускали солнечных лучей.

Но скоро он услышал шум потока, и услышал отчётливо. Обрадовался. Постепенно раздвигались тесные стены ущелья. Чем дальше, тем больше открывалось простора, и вот уже солнце ударило ослепляющими лучами в лобовое стекло машины. Он опустил перед собой солнцезащитный козырёк, переключил передачу и прибавил ходу. В том месте, где он собирался остановиться, дорога словно нарочно была расширена: очевидно, чтоб лесовозы могли разминуться. Уверенно принял вправо, затормозил в тени деревьев.

– Ну вот, можете теперь задрать головы и оглядеться. Я не обманул ваших надежд, так что прошу выбросить камни, если вы затаили их за пазухой на всякий случай. Улыбнитесь, прохлада прогонит сейчас усталость и недовольство, станете красивыми, как прежде! – Он открыл дверцу, вышел из машины, и сердце его забилось быстрее от желанной и исполнившейся радости – он наконец снова был здесь.

Щёлкнули, открываясь и закрываясь, дверцы машины.

Лишь та дверца, где сидела Сафья, так и не издала никакого звука. Она забилась в машине, как птаха в силках, и Уасил суетился, стараясь вызволить свою жену.

Можно подумать, она задыхается, дёргает за все ручки. Скорее к ней, покуда она там чего-нибудь не вывернула. Успел. Он ведь умный, знает свою жену. И дверцу ей не доверил, держал её, покуда она выбиралась, и сам потом захлопнул.

Подойдя к самому краю обрыва и заглянув вниз, в ущелье, все оцепенели и некоторое время стояли молча, как бы не замечая присутствия друг друга. И он стоял как оглушённый, и что-то несколько раз то уносило его в тот далёкий день, когда он впервые увидел эти места, то снова возвращало назад. Холодок рождался где-то у лопаток, пробегал по спине. Он не ожидал, что так сильно подействует на него встреча... Будто сон смотрел, хотя в глазах не было темно... поток лил воду, как и в тот первый день, лишь казался постаревшим, оттого, наверное, что воды в нём поубавилось и знакомые камни торчали из воды обсохшие, морщинистые и посветлевшие посередине. По обеим сторонам речки словно притаились – видны были небольшие нетронутые, прямо-таки райские лужайки.

Наконец он услышал их – не голоса, нет, – схлестнувшиеся вдруг вздохи восторга, как пчёлы жужжат вокруг родного улья. Никто не брал на себя риска сказать вслух... Только «ах», да «ох», да покачивания головой. Затем все дружно бросились к машине. Наверное, чтобы извлечь содержимое багажника? Так и есть.

Надо подойти, пока они там чего-нибудь не сломали. Когда припасы отнесены были на берег к самой воде, Мария раздала всем по куску пирога с сыром, да ещё сверху положила каждому сыру и огурцы.

– Перекусим пока! – объяснила она, смачно хрустнув огурцом, здоровая и жизнерадостная.

Он тоже взял кусочек пирога ачашв, однако есть не хотелось, словно ему перебила аппетит не скрывавшая голода компания.

– А с тобой что случилось? – смеясь, спрашивала Мария. – А-а, устал, наверно, бедняжка, – она округлила свои пухлые губы, по краям их засветились лучики морщинок, и сполоснула горло несколькими глотками смеха. – Ты же раньше в такую даль не водил машину! Отдохни, погуляй, если хочешь.

– Отдохни, отдохни! – поддержал и Уасил. – Здесь самое важное дело – это шашлыки жарить. – Он тоже был полон энергии и находился в прекрасном расположении духа. – А к шашлыкам я тебя всё равно не подпущу, я ж для них создан, можно сказать, тут тебе со мной лучше не тягаться!

– Ну-ка, ну-ка! – Сафья, похоже, заинтересовалась способностями мужа. – Поглядим...

– Хорошо, – согласился он, – пройдусь немножко... Ему хотелось побыть одному, и он тут же вошёл в воду и двинулся вверх, навстречу течению.

– Не задерживайся! – крикнула вдогонку Мария.

Он даже не обернулся.

Скоро ущелье, где торопился ему навстречу поток, превратилось в глубокую теснину, – казалось, что там, наверху, скалы, спрятавшие солнце,

сошлись и касаются друг друга. Было сыро и прохладно. Поток, терявший в низовьях силу, здесь в полный голос говорил то, о чём молчал там, внизу, и теснина слушала его, замершая, не прерывала. Чем дальше он поднимался по ущелью, тем глубже ноги его утопали в осыпях, которые, казалось, стряхивали здесь с себя окружающие скалы. Вдруг резкий запах остановил его, защипал нос. Кивсяк1. Он осмотрелся. Камни, камешки, видны раздавленные раковины улиток. И ему показалось, что не только камни, но и эти роговые обломки отдают запахом кивсяка.

И с того момента, как полузабытый запах кивсяка ударил в нос, всё его существо вдруг прислушалось, стало припоминать: кивсяк, его запах, и камни, и обломки улиток – всё как было. Казалось, что всё минувшее, бывшее вернулось вдруг из тех краёв, куда кануло... вернулось, обогнало, пронеслось вперёд – и поджидает его там, выше по руслу. Когда в селе умирал кто-нибудь, а он не видел его последних дней, не слышал прощальных слов, не видел предсмертных глаз, то, случалось, позабыв совершенно, не помня, что человек этот умер, он ещё не исключал, мог представить встречу с ним.

Некоторое время он стоял, прислушиваясь к тому, что происходило в нём. Вздрогнул, очнулся и пошёл вперёд; падающая вода шумела рядом, и хотя солнце светило где-то далеко над скалами, его жаркое дыхание чувствовалось даже и здесь, в сырой теснине. Вонь кивсяка оставалась такой же резкой. Он шёл по руслу, по острым камням, омываемым водой. Теснина вроде расширилась, посветлела, но затем снова стала узкой и тёмной. И если до этого с ним говорил один лишь поток, то теперь включились и скалы. Его шаги слышались сквозь бормотание воды – скалы здесь отражали и усиливали звук, – может быть, они даже узнали его шаги? Ведь столько раз проходил здесь... Кто знает, может, пробудятся, послышатся сейчас его тогдашние шаги? Только тогда они были быстрыми, он здесь поднимался бегом, не иначе. Сейчас скалы глухо отражали звук его осторожного подъёма, сыпались вниз камешки... Сколько звуков они повторили за свой век, эти скалы, – наверное, и сами не помнят. Шелест его шагов, возвращённый стенами ущелья, слышался ему как шёпот: «Тс! Тс!», предупреждавший не шуметь и не нарушать тишины.

Поднявшись по каменной осыпи с сухими, ломкими, уже мёртвыми водорослями, – лишь отдельные ручейки воды блестели под ногами, – он оказался у заводи. Сумрак, царивший здесь, не давал взгляду нащупать дно, и сама поверхность отливала чернотой. Посреди заводи торчала скала, формой напоминавшая конский череп, омытый бесчисленными дождями, видевший не один мороз и не один зной, потрескавшийся и почерневший от времени. Поток падал в заводь с пятиметровой высоты, но не отвесно, а сбегал по каменному жёлобу и поэтому шуметь начинал лишь внизу, там, где уже почти у самой поверхности обрывался каменный скат.

---

[1] Кивсяк – насекомое с резким запахом, напоминающим лекарственный.

Вновь остановилось время, и он, оцепенев, остановился тоже. И это всё сохранилось, оказывается: едва он собрался опустить руку в чёрную глубь, вырытую здесь силой падающего потока, как две таившиеся где-то и вдруг потревоженные им водомерки закружили над самой водой... на лету пускали круги на гладкой поверхности... круги всё расширялись и расширялись, и прежде чем, достигнув берега, они успевали исчезнуть, водомерки успевали пустить новые...

Он всё-таки зачерпнул ладонью воду, попробовал её на вкус. Она стекала сюда со скалы и оттуда, сверху, где её согревало солнце, приносила вниз, в темноту и сырость, вкус солнечного тепла. Остатки воды он плеснул себе в лицо, вытерся рукой, но нагретая солнцем вода не освежила его.

Пройдя ещё выше, он увидел просторное и залитое солнцем ущелье. Зелёная лужайка, разделённая потоком, была побольше той, у которой он остановил машину. Камни, омываемые водой, да и те, что были разбросаны по берегу, хранили следы присохших водорослей – по ним видно было, насколько понизился уровень воды. Высохшие водоросли пахли свежим укропом. Оба берега здесь усыпаны были мелким сырым песком – под цвет самих скал. На песке цветочками отпечатались следы какой-то зверюшки. С этой стороны след тянулся к воде, выходил на тот берег и снова цветочками продолжался на сыром песке. Он вгляделся в чёткие отпечатки. Опять застыло, остановилось время. Раньше здесь водились выдры, но кто знает, где теперь те животные, которых они тогда видели вдвоём? Интересно, долго ли живут выдры? Сколько уже минуло поколений? Может, это внук или правнук тех оставил сейчас следы на песке? Словно так и не исчезали с тех пор, не были смыты, сохранились те давние следы – просто остались на песке нетронутыми.

Он поднял голову. Скалы над ним поднимались уже невысокие. Там, наверху, – ровное, как стол, плато. Он задумался. Ему казалось, что слишком долго он здесь стоит, пытаясь и не умея вспомнить. Он видел то, что возвращало его к ушедшим, умершим временам, но видимое не захватывало его, не оживало... Он слышал голоса и запахи, чувствовал их невидимую близость, но не мог, не умел войти в их пределы, а они – проникнуть в него. Похоже было на то, как некогда полюбившаяся мелодия начинала возникать в памяти... ему даже казалось, что он уже слышит её, но она просто мучила его, бередила душу... бывало с ним такое: пытаясь собрать услышанные обрывки в одно целое, он обнаруживал вдруг, что из этого ничего не получается. И тогда, потеряв надежду, как оставшийся у безнадёжно запертой двери, он начинал напевать совсем другую, случайно подвернувшуюся мелодию. Но это не приносило утешения.

В детстве он хорошо пел и любил петь. На свадьбах его сажали поближе к старшим, к танцующим, чтоб он, когда наступит время, зачинал плясовую. Пока добрая половина собравшихся не спляшет, пока не разойдутся, его звонкий голос не срывался и не смолкал. Каждый, кто выходил из круга, считал своим долгом благодарно поцеловать его в лоб. Позже, когда он оставил село и ушёл в город, ему уже не доводилось петь: другая совсем

пошла жизнь. Если и оказывался он теперь на чьей-нибудь свадьбе – пусть даже его тут мало знали, – он не мог уже набраться смелости и затянуть песню. Даже если и хотел спеть – опасался, что его могут не поддержать, что вызовет он своим одиноким запевом всеобщий смех. На городские свадьбы теперь приглашают ансамбли. Певцы в них не обязательно обладают голосом, но зато много у них всякого вспомогательного: во что-то бьют, во что-то дуют, что-то там дёргают, и всё это усиливает через мощную аппаратуру электрический ток, и как бы ни было просторно помещение, даже рядом сидящим людям невозможно при этом адовом шуме перекинуться словом – куда там песню петь.

Теперь же, даже рискнув спеть какую-нибудь несложную песню, он вновь убеждается, что и голоса у него нет, и слух пропал. Вообще в семье у них никто не поёт. Он ни разу не слышал, чтоб Мария напевала какую-нибудь мелодию. И дочка в неё, но она хоть пластинки собирает, слушает популярные ансамбли, устраивает с подругами вечера танцев. Он же современные эти танцы называет дёрганьем, трясучкой.

Ему нужно подняться туда, ещё выше, на знакомую, заветную поляну. Только там они и могут ждать его, все те отзвуки минувшего времени, которые не могут здесь войти в его душу.

То, что осталось внизу, в глубине ущелья, – занятые шашлыками люди, с увлечением разжигавшие костёр, опускавшие в воду продукты в целлофановых пакетах, вино и арбузы, и сама стоящая у дороги новенькая автомашина – всё это отошло, отодвинулось куда-то далеко. Лишь то, о чём он думал сейчас, имело здесь власть и поэтому – смысл. Он ещё немного прошёл выше по течению, затем круто повернул к склону и над первыми же кустами орешника стал по колено в ссыпавшиеся с откоса и задержавшиеся здесь каменные осколки. Подниматься по камням было тяжело, при каждом шаге вверх нога наполовину съезжала обратно, однако, помогая себе руками, хватаясь за ветки орешника, он карабкался всё выше. В туфли набились мелкие камешки, острые обломки улиточных ракушек. Это был самый трудный и самый короткий путь к поляне.

... По этой осыпи они и спустились тогда, вместе с лавиной сползавших вниз камешков, – словно внутри гигантских песочных часов. Спустились, пока наверху, на поляне Ананы Гунды, ещё не начался её праздник. На то время, когда речка эта и множество ручейков, вливавшихся в неё, переполненные талыми водами, перекрывали все дороги, неслись бешено, сердито урчали, промывая тесные свои ложа среди расступившихся скал, – на недолгое это время девочка, жившая обычно в долине, переселялась сюда, к своему дяде.

В тот день они спустились как раз до той лужайки, что он оставил сейчас под собой внизу. Дальше он тогда не пошёл. И не то чтобы испугался (чего ему было пугаться, он на следующий год уже кончал школу, да и спустились они сюда среди бела дня), но нельзя было – грешно. Не велел закон поляны – и всё. Там, внизу, жила в воде русалка. Её дух мог вселиться в тебя.

Поток был тогда совсем юный, сильный, звонкоголосый, светлый, белопенный... и сама вода, струившаяся вниз, в ущелье, тоже была юной. Её могло даже закружить где-то под скалой, но ненадолго – тут же она вырывалась и продолжала свой бег.

И камни – те, что оказались на самой быстрине, и те, что лежали ближе к берегу, все были вымыты, отдраены упругими струями – дышали, жили.

И каждой весной цвели тут рододендроны. Росли густо, корень в корень.

Стояли они так густо для того, чтоб не дать затесаться меж собой колючкам, забравшимся на деревья и свисающим с них подобно змеям. Но не могли же они всё-таки расти как по линейке, одинаковыми, и поэтому на те ветки рододендрона, что выбивались, поднимались выше общего уровня, колючки всё-таки набрасывали свои «арканы», свесившись с высоты дерева. Но даже и эти ветки не изменяли своей природе, они цвели, ведь цвет и запах – это песня рододендрона.

...Внизу, на самом дне ущелья, в теснине которого, захлебываясь, рвался и падал в пропасть поток, в бездонном омуте, над поверхностью которого едва выступала чёрная скала, вольно плескалась в воде русалка. Днём она спала на дне омута, ночью, сверкая белым телом, выходила из воды и, вдоволь наигравшись, садилась на камень. С волос и с тела её стекала светящаяся серебряная вода. А потом вдруг она начинала кричать, тоскливо и отрывисто, – и в тех местах на берегу, куда ударялся её крик, оставались глубокие выбоины. Потому и лежат тут камни и стоят скалы, странно выщербленные – словно прикосновением неземной какой-то силы. Оказывается, и русалке бывает тоскливо. Ведь для неё не существует ни вчера, ни сегодня, ни завтра – одна лишь унылая вечность. А раз не бывает вечной радости, непреходящего счастья, вечного горя и нескончаемого веселья, то она и не знает никаких тревог. И всё-таки биение живой жизни, стихия жизни тех, кто сегодня радуется, завтра плачет, послезавтра умирает, прорывается порой и в пределы вечности, за гранью которой живёт она, русалка, прорывается – и колеблет, меняет что-то там... и какой-то, видно, бывает ей отзвук. Иначе с чего бы русалка, жившая в бесконечности, вдруг чувствовала прикосновение преходящей человеческой жизни, хоть и мимолётной, не продолжительнее зевка, но такой тёплой... и кричала тогда, звала тоскливо – кого? что?..

Это всё было верно, понятно и непреложно, но оставалось нечто, не поддающееся пониманию, выбившееся из всего. И никто не знает, к чему это было сказано тем, кто сказал впервые. А говорили, что у русалки ступни ног повёрнуты назад. Но ведь и у дочери знаменитого охотника Гвадалы ноги были почти вывернуты внутрь, правда, все знали, отчего это. Случилось перед самой его женитьбой. Как-то пришлось, оказывается, ему убить двух медведей, тут же он их и разделал. Дело было осенью, перед спячкой, когда медведи попадаются особенно откормленные. Он не смог бросить туши в лесу, уж больно хорошее было мясо, и подал его гостям на своей свадьбе. И свадьба прошла великолепно, не пришлось больше забивать живности, и

гости поели вкусно и сытно, да вот беда: Богу, оказывается, это не понравилось, грешно это, оказывается...

...Они остановились внизу, на лужайке. А наверху, на поляне, уже готовились к моленью в честь Ананы Гунды. У дяди её всегда было много ульев.

Они сели на камень у самой воды. Оба были одеты, как полагается к празднику. На ней было ситцевое розовое платьице в горошек. Не совсем уж такое новое, раза два уже стираное, но не полинявшее от этого, – горошины даже сделались теперь белее и ярче. Волосам она никогда не давала отрасти, подрезала так, что они едва касались плеч, но в тот день она заплела их без бантиков в две тугие и торчащие косички, которые придавали ей задиристый вид. Он же был в любимой своей футболке, которую мать обидно называла полотенцем, и в первых в его жизни брюках по росту, которые, наконец, прикрыли ему щиколотки; теперь наконец-то можно было застегнуть брюки там, где надо, на самом поясе, а не сдвигать пониже, на бёдра, – чтобы штанины спустились к обуви. Обуты были и он и она в одинаковые сандалии, застёгнутые у обоих из-за худобы ног потуже, на специально проделанные дырочки – ниже фабричных; зато сандалии не болтались на ногах.

Она глянула на него – и глаза её показались ему похожими на островки звёздного неба. Но ведь человек не смотрит специально на звёздное небо, он смотрит на него случайно и навсегда запоминает то, что увидел в тот, первый раз. Он может не сознавать этого, но, поднимая голову, всегда смотрит на тот кусочек неба, который ему уже знаком, и узнаёт его безошибочно.

– Закрой глаза! – приказала она полушёпотом.

– Закрыл.

– Обманываешь. Подсматриваешь. Так не считается. Ничего не слышишь? – она шепнула эти слова в самое ухо, обдала горячим дыханием. – Закрыл? Теперь смотри и слушай внимательно. Видишь Анану Гунду? Видишь, какая она стройная, какие у неё за плечами красивые белые крылья? Она летит под самое небо, вот уже приближается к солнцу, оно просвечивает её крылья. Теперь слушай, сейчас она начнёт свою песню, предназначенную для пчёл. Пчёлы пасутся в цветах, что растут от берега моря и до горных снегов: белые и красные, синие и жёлтые, голубые и оранжевые. Они слышат её, эту песню, и нектар, что собирают, делается лучше и душистей с этой песней... как услышат они голос Ананы Гунды, так подпевают ей усердным жужжанием. Слушай, слушай... Тебя здесь нет, ты не сидишь на камне, есть только то, что ты слышишь...

Стоит пошевельнуться, и локти их соприкоснутся, но они словно застыли, они слушают дыхание камня, на котором сидят. Дыхание у него такое же горячее, как и у девочки. А поток, обдающий брызгами безжизненную скалу, хочет прохладой и шумом своим вернуть их к жизни из сладкого забытья.

Рука его, тяжёлая, словно каменная, отягощённая лучшим человеческим чувством, чувством стыда, поднялась и коснулась её руки.

– Слышу! слышу... Пение Ананы Гунды...

– Какое оно, на что похоже?

– На твой голос.

У неё тоже был хороший голос, и на каждом празднике он или она солировали в составе школьного хора – заменить их было некому. И когда их голоса соединялись, как бы ни фальшивили другие, – они, словно размотавшуюся верёвку, снова сплетали песню, вытягивали её, возвращали ей стройность; и хотя она стояла в переднем ряду и смотрела вперёд, ему казалось, что он видит кусочки неба в её глазах. Особенно густо они заполнялись звёздочками, когда она удивлялась или когда хвалила его за голос, за хорошее пение, за слух, за то, что их голоса находили друг друга.

Сейчас она молчала, и её разбуженная прикосновением рука всё так же покойно оставалась на камне. Они были наедине с миром и с тем, что слышали только они двое. Наедине с этим особым открывшимся им миром им было тяжело, не по силам, он затягивал их, призывал – они не могли противостоять.

Потом они услышали крик, он донёсся из того реального мира, который они только что оставили, о котором забыли. Крик пробился в волшебный мир, что увлекал их, сотряс скалу, на которой они сидели, и они вдруг услышали шум воды. Им кричали сверху, звали на праздник.

– Зовут! – сказала она.

Он очнулся от произнесённого вслух слова, посмотрел на неё.

– Зовут! – повторил он.

Она тоже посмотрела на него с испугом.

Зов, доносившийся сверху, – он не понимал, чей это голос, то ли жены пасечника, то ли какой-нибудь другой женщины, – прозвучал для него резко, как крик русалки. Наверное, так слышалось и ей.

Они торопливо полезли вверх по осыпи сквозь щиплющий нос запах кивсяка...

Камень осыпи не уходил вниз, под ногой, не тянул их назад, они легко, как бабочек, взлетели по нему. Они были невесомыми сейчас, их легко мог унести ветер… Единственное, что настигало их, был всё тот же запах кивсяка, от него трудно было убежать. Улиточные осколки кололи им пятки, забивались в сандалии, – но до того ли было: их ждал наверху праздник, соты с мёдом, медовые сладости и новая их знакомая – Анана Гунда.

Поднявшись наверх, они остановились перевести дух – прислонились оба к прохладному стволу невысокой здесь, на камнях, липы и, переглядываясь, смеялись.

Оставался ещё один небольшой подъём, и они, словно сговорились, сорвались с места и одним духом одолели его.

...Покуда он тяжело, останавливаясь передохнуть, обливаясь потом, поднимался по склону, его не покидало чувство вины: ему казалось, что он совершает какое-то предательство по отношению к тем, что ждут его внизу... Хотя они, те, кого он предавал сейчас, – они всё ещё были заняты, видно,

своей стряпнёй и, наверное, не чувствовали предательства. Предательство началось бы с той минуты, как они, управившись с приготовлением, стали бы ждать его. Измена – коварная вещь, стоит ей угнездиться в тебе, как остановить её невозможно.

Потом ему стало казаться, что изменяет он всё-таки больше не тем, что внизу, а скорее себе самому. Но он всё-таки сомневался, он ведь не знал, действительно ли хотелось ему подниматься сюда, слышать голоса тех дней, оживлять давние воспоминания...

Люди скрывают это от других, но вообще-то нет ведь человека, кто хоть раз в жизни не обманул бы себя самого, не обкрадывал. Лучшее на дереве яблоко, которое ты облюбовал для себя, желанное яблоко это ты должен сорвать и бросить под ноги, так надо бывает, а потом, много спустя, спрашиваешь себя: да надо ли было?

Он, конечно, обманывал себя, что не предаёт их – тех, что внизу, но это ему нужно было: какая-то до сих пор не дававшая о себе знать сила стала вдруг помогать ему, – иначе ведь он бы не сумел подняться сюда. Не то что десять, даже пять-шесть лет тому назад ему и в голову не могло прийти, что может появиться такая сила, что собьёт, посеет сомнения в правильности избранного пути, а его самого ввергнет в бесполезные тревожные размышления... неспокойна сделается его душа. И у малыша ведь порой приходится отнимать заветное красное яблоко, хоть он и жаждет страстно получить его... отнимать и прятать так, чтобы не увидел. Потому что у него пока ещё не выросли зубки, а отломав-таки, откусив от яблока кусочек, он может им поперхнуться, неразжёванным, подавиться. Плачет малыш без яблока, да иного выхода ведь нет…

Ему казалось, что он уже устроил свою жизнь, направил её в нужное русло... и запруда охраняет надёжная, ничего с ней не случится... ничего уже не переменится. Потому-то, наверное, и хочется ему прогуляться теперь возле запруды, оглядеться... а может, и попробовать то яблоко, которое он с болью в сердце бросил когда-то под ноги, вместо того, чтобы узнать – какое же оно на вкус.

Перед последним небольшим подъёмом к поляне он остановился, глянул вниз. Удивился, что смог взобраться так высоко. Отсюда виден был поток, разрубивший гору – прорезавший для себя ущелье, – он лежал далеко на дне пропасти, похожий на тоненький корешок.

«Дурная голова ногам покоя не даёт... дурная голова...» – посмеивался над ним, не одобрял внутренний голос, тот самый, что прежде направлял его так, как считал нужным, который создал его таким, какой он есть сегодня. «Я сделал что мог – теперь как хочешь...» Он хотел пригрозить, этот внутренний голос, чутьё это, отработанное и как бы оправданное временем, пригрозить, что не будет ему больше служить. Другая же часть его души, о которой он едва помнил, была всё же жива ещё, хоть и притаилась... проявлялась, давала о себе знать лишь каплями пота на лбу...

Он упрямо лез наверх. Едва он поднялся на поляну, как сразу узнал, вспомнил это изобилие света... он тут же забыл о своих сомнениях и

усталости, неторопливо огляделся по сторонам, затем повернулся в сторону моря, чтобы полюбоваться с высоты панорамой спускающихся к побережью гор и холмов. Отсюда видна была и река – от того места, где она выходила из ущелья, и до самого моря. Из теснины, прорытой тысячелетиями, доносился шум потока, пена на волнах виделась отсюда лоскутками тумана, по берегам и особенно на полосках земли, на косах, намытых притоками, где постоянно веяло влажной прохладой, росли серебристые ивы – листочки их то и дело поворачивались на ветру своей тыльной, светлой стороной. Чем дальше от гор, тем слабее было течение, река стремилась уже не по прямой к морю, как бы начинала колебаться, выбирая направление, а уж дальше и вовсе шла зигзагами. Там, где река прорывалась между последними на своём пути холмами, она терялась из виду... дальше поверхность её светилась цветом растопленного и ещё не остывшего воска. А у самого моря она вдруг судорожно изгибалась – похоже, не торопилась или боялась даже слиться с ним, огромным, раствориться в нём.

Море стояло под небом тёмно-голубой стеной.

– Перед нами одна из красивейших рек Абхазии... Не только на Кавказе или ещё где-нибудь в нашей стране, но и во всём мире не так уж много рек, которые могли бы поспорить красотою с нашей рекой. Вот, например, горные реки Швейцарии... – вспомнил он слова, которыми рассказывал экскурсантам о реках Абхазии, обо всех одинаково, – такие фразы всегда были у него наготове, на любой случай. Но здесь они были бы неуместны. Он вздохнул глубоко и свободно, словно заново почувствовал прохладу теснины и тёплый, как матрацы на солнце, родной запах прогретых летних берегов.

...Он отвернулся от моря и пошёл поляной. Было видно, что сюда теперь приходят люди, пасут скот: трава, прежде всегда высокая, усыпанная цветами, была теперь вытоптана и выщипана скотом. За поляной вставала во весь свой великанский рост скалистая безлесая гора, в далёких лощинах там, словно скупые ломтики сыра у экономной хозяйки, белели ещё остатки нестаявшего снега... наверное, снег всегда таял – и сверху текли ручьи, но отсюда не разглядеть было.

Из ущелья тянуло медовым запахом липовых соцветий. Над поляной нещадно палило солнце, но летний ветерок с гор доносил прохладу и умерял жару – даже и вспотевшая во время подъёма спина его уже почти высохла.

Вот здесь и совершался тот праздник – как раз посреди поляны...

«...Даю слово, что всегда своевременно буду приносить тебе подобающую жертву, и молю тебя, хранительница пчелиных роев, преподобная Анана Гунда, чтоб обратила ты свой благосклонный взор к нашим ульям, уберегла их от мора, не пожалела для них света и тепла, усеяла поляны цветами, накрыла густыми соцветиями липы и каштаны... да будет целительна вода, которую пьют наши пчёлы... а сами они пусть умножаются и приносят много душистого мёда...»

Женщина, возносившая эту молитву, была высока и опрятна, с мягкими седеющими волосами ...

«Ты, Анана Гунда, наша великая покровительница... Девушка, которой ниспослана твоя милость, становится счастливой, её потомство – здоровым и многочисленным, её судьба – беспечальной и лучистой. Не отводи своего взгляда от девушек наших, освети им дороги, которые приведут их к счастью. Отврати напасти и греховные искушения! Ты одна это можешь, красивейшая из красивых, статная из статных, святая Анана Гунда...»

Он так внимательно вслушивался тогда в пространство над поляной, где должен был, по его ожиданию, послышаться голос святой Ананы Гунды, что слова молящейся едва доходили до его слуха, теряли связность, лишались смысла, а то и вовсе пропадали, словно бы не долетали до него. Он ведь так хотел услышать голос самой Ананы Гунды! Когда молитва подходила к концу, он почувствовал обжигающее прикосновение руки девочки, но не убрал свою. И тогда, хоть свыше так ничего и не прозвучало, слова молившейся достигли наконец его слуха и прогремели в его сознании эхом, которое могло бы заполнить до краёв всё ущелье: «Освети им дороги... которые ведут к счастью... Освети!»

Едва он сделал сейчас несколько шагов дальше в глубь поляны, как заметил девочку, лицо, шея, руки и ноги которой, до черноты загоревшие, казалось, поглядывали на него из ситцевого сарафанчика с тем же любопытством, что и чёрные её глаза. Сам он лишь теперь заметил её. Она заговорила первой – предложила ему купить мёду и, не дожидаясь ответа, начала расхваливать, объяснять, что лучшего мёда, чем собирают здесь, где воздух и вода удивительно чисты, где цветут медоносные каштаны и липы, нигде не найти...

Лишь сейчас он заметил и корову, что паслась в стороне, от которой не отходил уже выросший телок. К морде его была привязана дощечка с торчащими наружу острыми концами гвоздей, чтоб корова не подпускала его к вымени. Что можно было надоить от коровы, у которой такой большой телок! Но, видимо, для хозяев и эта малость что-то значила. Он хотел было порасспросить девочку, но она вновь горячо начала хвалить здешний мёд. Улыбаясь, он ласково погладил её по голове, потрепал волосы: дескать, мне ли объяснять, какой тут родится мёд! Он ещё не успел убрать руку, как она резко обернулась и, глядя на край поляны, прислушалась. Минутой позже был удивлён и он: всё отчетливей слышался надсадный рев мотора – машина одолевала подъём. Звук доносился с той стороны, где лес был изрежен. Можно было подумать, что оттуда снова стали вывозить лес, но, судя по гудению мотора, машина была легковая. Девочка побежала навстречу приезжим. Слышались голоса людей, смех. За дальностью расстояния невозможно было разобрать, чьи они, знакомы или нет... но давняя, как после занозы, боль вновь кольнула его, вновь напомнила о себе... он быстро зашагал навстречу голосам. Кто знает, может измена, о которой он думал, начиналась именно сейчас, может, они уже зажарили мясо, и над ним сейчас остывает парок, и остывают под бременем ожидания их разгорячённые необычными впечатлениями души. Ведь он же её сумеет вновь разогреть то, что уже остыло.

Вдруг из зарослей на краю поляны появился плотный, кряжистый мужчина. Почему-то снова уколола забытая давняя боль. Мужчина шёл к поляне, полуобернувшись к кому-то, поднимавшемуся следом, – продолжал шутить и смеяться. Похоже было на то, как охотник ведёт своих легавых, не давая им забежать вперёд, умело направляя на нужный след.

Арвелод!

Он узнал его сразу же, едва увидел знакомую с детства макушку...

Как хотелось оставить себе хоть слабенькую надежду на то, что ошибается.

Но нет – это был он.

Арвелод окликнул его в полный голос – окликнул так, что, казалось, деревья вокруг испуганно встрепенулись. Вообще-то он никогда почти не кричал, чрезвычайно редко, как не имел и привычки говорить впустую. Всегда сдержанный, словно бы знающий то, чего не ведает никто, кроме него, всегда одетый с иголочки, в белоснежной свежей сорочке, в модном пиджаке. Но иногда он всё же подавал голос, особенный свой голос – не похожий ни на тихие, ни на громкие голоса других людей. Голос его в таких случаях был подобен выстрелу из основательно начинённой порохом кремнёвки.

– Ты как здесь оказался?! – неудержимый смех Марии пронёсся над поляной.

Услышав непринуждённый смех жены, он разом забыл и о давней своей занозе-боли, и о хозяйском тоне Арвелода, который ему не понравился. Даже обрадовался: стало быть, его предательство ещё не началось.

– Ты что же, прямо через ущелье сюда забрался? – спросила она, отдышавшись. – Как ты поднялся?

– Решил прогуляться, – начал он оправдываться, всё ещё гадая, началась его измена или нет, – а потом увлёкся, вот и оказался здесь. Детство вспомнил! – Едва он обронил это слово – детство, – как сразу же понял, что зря он это сделал, но было уже поздно. – Вы, наверное, заждались там меня?

– Боюсь, как бы это тебе не пришлось основательно подождать, – продолжала Мария уже без смеха, почти сердито. – Уасил – он наготовит тебе шашлыков, как же! Не знает даже, что мясо жарят уже после того, как сгорят дрова, на раскалённых углях. Я же переплачивала за это мясо, выбирала его...

– А муж у тебя быстрый, оказывается! – Арвелод внимательно и, пожалуй, несколько удивлённо смотрел на него своими маленькими серыми глазками. Голова у него тоже казалась маленькой при плотном его теле. – Мы на машине едва поднялись, а он пешком, напрямую.

– Детство вспомнил! – Мария, видно, долго сдерживала смех, но наконец не вытерпела и расплескала... – В детстве он весил, я думаю, не больше буханки хлеба. Тогда он взбегал сюда одним духом! А теперь – ты только представь, – какой груз ему пришлось тащить на себе! И высчитать-то не просто...

– Да, с мужем тебе повезло! – хозяйски басил Арвелод, он даже похлопал смеющуюся Марию по спине, этак покровительственно. – Твоя доля, твоя!

Много необычного для него, даже поразительного было сейчас в его поведении: обычно неразговорчивый, он вдруг сделался словоохотливым – и при этом оставался, как и прежде, высокомерным. Правда, здесь он хотел спрятать своё высокомерие за шуткой, за наигранной простотой ...

И вот ещё что удивило Андриа: они ведь давно с ним не виделись, с Арвелодом, очень давно, считай, как закончили школу... И не было такого, чтобы он был когда-нибудь зависим от Арвелода, унижен перед ним, и всё-таки почему-то долгое время чувствовал себя словно бы обязанным ему, непонятно за что. Стараясь избавиться от этого чувства, избегал встреч с приятелем детства, словно виноватый в чём-то...

Однако избавиться от Арвелода раз и навсегда он не мог, не мог порвать, и не то чтобы опасался, скажем, возможных помех в работе или нежелательных, неприятных для себя слухов – Арвелод всё мог... нет, просто непонятно из чего сделанная кольчуга Арвелода останавливала его, не пропускала его неприязнь ...

Лицо Арвелода заросло бы на две трети, если б он отпустил бороду, но бороды он не носил... Зато раньше носил усы, широкие и короткие, и казалось, что его мелкое лицо именно и было создано для того, чтоб носить такие усы. Он носил их, пока это было нужно. Сейчас усы были сбриты. Тонкая нижняя губа его постоянно кривилась в ухмылке. С того дня, как Андриа впервые обратил внимание на губы Арвелода, он не понимал – о чём они говорят: изъяснялись они на непонятном ему языке, на языке, который он не мог выучить.

Мария держала в руках трёхлитровую банку, Арвелод – термос, расписанный то ли китайскими, то ли японскими иероглифами.

Чтобы Арвелод сам, собственными ногами потрудился идти за мёдом, не послал своего шофёра?!

У края поляны всё ещё ждала та загорелая девочка и столь же загорелый невысокий мужчина, похоже, её отец. Они стояли на ветерке, приносившем дыхание нерастаявших, сохранившихся где-то на высоте снегов, стояли очень близко, трогательно и доверчиво прижавшись друг к другу, словно ждали почётных гостей, которых не знали ещё в лицо, но которым готовы были оказать различные, какие только те ни пожелают, услуги и помощь.

Мария и Арвелод пошли к ним, он остался.

Машина принадлежала Арвелоду, но при ней был и шофёр, здоровенный молодой детина, густобровый и густоволосый. Он не поздоровался, даже и не обернулся, когда Андриа подошёл к машине, вообще никак не прореагировал.

«Старая» «Волга ГАЗ-21»... в хорошем состоянии, даже по обивке видно было, что за машиной заботливо ухаживали: сиденья выглядели как новые. Лишь пружины под сиденьями напоминали о возрасте машины: когда её встряхивало на неровностях дороги, чувствовалась слабость пружин и жёсткость чего-то твёрдого под ними.

– Эх, бедный мой танк! – вздохнул и вернувшийся Арвелод. – Не променяю тебя ни на какую щегольскую машину.

– А на каких, Арвелод, красивых и новых машинах ты не ездил, ну-ка, попробуй вспомнить? – спросила Мария. Андриа понимал, что она могла бы и не говорить об этом, но Мария, видно, знала, о чём нужно говорить при Арвелоде.

– Я думаю, мёд у них хороший, – заметил он, давая Марии и Арвелоду новую пищу дли разговора. – Здесь всё есть для пчёл. Такой воздух, такая вода... – сказал он вдруг словами той девочки.

– Насчёт мёда пока ещё не знаю, а вот насчёт воды – верно замечено, – подхватил Арвелод, словно из дробовика пальнул. – Вода прекрасная – что хочешь ею можно разбавить. Да, наверно, это и лучше, разбавлять мёд, иначе его и не выльешь, и не перельёшь. И с другой стороны, справедливо: я слышал – мы, люди, почти полностью сотворены из воды. Но я уверен, что даже если все люди и вправду состоят из воды, то всё же из разной, не одинаковой...

– Да не мог он дать Арвелоду разбавленный мёд! Не мог, понимаешь! А вообще-то я хорошо сторговалась с ним, недорого... Милый человек! – Мария освежила гортань глотком своего целительного смеха.

– Он меня знает. И разбавленный у него есть, конечно, но кому что давать – понимает. Помнит, что мне мёд нужен для лечения, всегда давал отборный. Потому-то он так и удивился, когда увидел, что я сам сюда пожаловал.

Для лечения! Ах ты боже мой, что же за напасть такая, как же это он заболел чем-то – оказался наравне с прочими смертными, как это болезнь только посмела!

– Ну, естественно, кто осмелится предложить тебе разбавленный! – не сдержался он, задетый тоном Арвелода, самой уверенность его, будто с ним вообще невозможно поступить так, как поступают с другими.

Машина, покачиваясь, осторожно спускалась по бугристой дороге. Отвлечённый было перепадом давления, слух его сейчас снова вернулся к нему – обострённый. В открытое оконце дохнуло запахом переспелых липовых соцветий.

– Здесь всегда было много лип, и мёд отменный; особенно в те года, когда холода мешали расцвести каштанам, – шёл он по руслу общего разговора.

– Но лип так мало осталось, поредели, можно сосчитать на пальцах, – словно бы возразил Арвелод, – хорошие места знал один Кривой, да его настиг уже тот, который взяток не берёт. А будь тот посговорчивей, Кривой и сейчас преуспевал бы.

– Это мы такие, лишь вчера открыли глаза, а люди давно жить научились... – поддержала разговор Мария, не прикасаясь сейчас к кладовой своего веселья: на коленях у неё стояла банка с мёдом.

– Думаешь, с Кривым могли бы состязаться? – спросил Андриа со смешком, который самому ему показался слабым и неуместным.

– Что ни говори, Кривой этот, он деловой был, – заключил Арвелод и характерное сделал движение, спрятал нижнюю губу под верхней.

Теперь до самой лужайки они ни о чём больше не говорили; он посматривал вокруг, оглядывался на небо, оно прыгало в заднем стекле, когда машину встряхивало на ухабах... словно как на качелях было: на одном конце – небо, на другом – они... дорога тянулась к небу узкой доской качелей.

Как только спустились к лужайке и вышли из машины, он сразу увидел её. Она сидела на камне, подложив под себя подушечку (наверно, в их машине была), задумалась о чём-то. И опять шевельнулась заноза, уколола – уже резко. Она, видимо, тоже заметила его и поспешила завести разговор с Сафьей. Поздоровалась с ним словно бы мимоходом, оторвавшись от разговора. Так, глянула разок в его сторону и снова обернулась к Сафье, словно беседа их была важной и неотложной. Лицо её уже поблёкло, и волосы не блестели, как раньше... как тогда. Сейчас, кажется, все красят волосы, но она, видно было, не пользовалась никакой химией. Не помнит, где и от кого, но он слышал, что после замужества она перестала за собой следить, да и из дому выходила редко. Говорили и другое – тут он и сам был свидетелем, так что верно говорили, – как-то они вместе с Арвелодом явились на похороны в родном их селе, оба шикарно разодетые: её пальцы сверкали кольцами и перстнями, сама была в ондатровой шубке, и не в какой-нибудь там мешковатой, а в сшитой на заказ, ладно облегающей фигуру, он – в дорогой канадской дублёнке (это было в самый разгар моды на дублёнки). Весь народ смотрел на них как заворожённый, даже и плакальщицы вдруг замолкли... на какую-то минуту воцарилась такая тишина – шорох упавшего листа можно было услышать.

...На лужайке всё уже было приготовлено: расстелена пластиковая скатерть, разложено и расставлено всё припасённое, привезённое из города. Когда садились к «столу», взгляды их вдруг встретились, и он успел заметить, что кусочки неба в её глазах потемнели: видать, немало звёздочек поугасло. Он не понял, что означал её взгляд: жалость, враждебность... Укор, может быть... Он сам неласково посмотрел на неё... но она была печальна...

Взгляд её затронул душу. Может, он оттого был таким грустным, что её сейчас уже словно бы коснулась старость, а у него в волосах ещё ни сединки? (Для чего это нужно? Что тебе стоит прикинуться незрячим и глухим?) Но когда он снова посмотрел на неё, решил вдруг, что её сейчас вовсе не тревожит то, что тревожило, задевало его, – она занята была оживлённым разговором с Сафьей, кажется, предлагала ей что-то из еды. Когда он прислушался, понял, что так увлечённо и пристрастно она рассказывает о своей младшей внучке. (У них с Арвелодом было двое сыновей, женат был один из них, старший, тот, что был спокойнее, степеннее. Другой бросил институт, в который устроил его отец, слонялся с компанией по городу. Примерно раз в месяц его задерживали, но отец выручал.)

Уасил подсел к нему. А сам Арвелод проводил Марию под локоть – усадил поудобней рядом с собой.

И что было удивительно: его самого тянуло туда, к ним поближе, и он пошёл бы, пересел, если б не было её. Неловкость или беспокойство оттого,

что не знал, как ответить на её взгляд, если она заметит его перемещение, – что-то останавливало его...

С того момента, как они расселись вокруг скатерти, он не отводил взгляда от водки... стояло несколько бутылок, призывно слепили глаза, отражая луч солнца, слепили, как бы обещая что-то своей особой прозрачностью, – ему казалось, что лишь это может сейчас навести порядок в его душе.

И в этом прав Арвелод: если люди и сотворены из воды, то всё равно не из одной и той же...

Он взял бутылку, ту, что стояла поближе, произнёс какие-то приблизительные слова и передал тост Арвелоду, принуждая его таким образом принять на себя обязанности хозяина застолья.

Она сейчас посмотрела на него явно неодобрительно, но кому здесь было поручать стол, как не Арвелоду. Уасил привычно утверждает, что не пьёт, даже если и пьёт, как его можно избрать тамадой, когда присутствует Арвелод. А сам он – за рулём, предстоит ещё возвращение в город.

Под следующий тост он выпил полный стакан. Все были рады, всем было хорошо: ему – что сидит напротив Арвелода, а Марии – рядом с ним. Сафья – что сидит возле жены Арвелода, что они – словно это было традицией – встретились наконец-то дружески, как свои. Все захлёбывались от счастья. Лишь Уасил будто и радовался со всеми, но вместе с тем одновременно как бы и не понимал такой степени всеобщего счастья... смотрел то на одного, то на другого, а сейчас удивлённо поглядел в его сторону.

– Твой боржоми, оказывается, вовсе без газа!

– А когда много газа, – сказал он, хотя это была совсем не его роль, – тогда не верь, тогда, значит, что-то не чисто!

– Да ну! – Уасил высоко поднял брови, словно никогда не слышал подобных разговоров.

Водка сразу ударила ему в голову. И нервы, и усталость, наверное, всё тут сказалось. Но он продолжал ещё поддерживать тосты Арвелода, только сейчас уже наливал себе помалу. Единственное, что его долго занимало, – это когда она и Арвелод переглянутся, посмотрят друг другу в глаза... очень хотелось ему узнать, как это выглядит... но так и не дождался.

– Где только я не бывал! – он не помнит уже, к чему это говорил Арвелод, потому что прослушал начало. – Несколько работ сменил, но...

– На каких только постах вы не побывали! – в разных вариантах, но одно и то же подхватили одновременно с нескрываемым одобрением и Мария, и Сафья, и Уасил ... все, кроме них двоих – его и её...

– Так к чему я это веду: работы такой, как в пансионате, не встречал ещё. Тяжёлый всё-таки народ эти отдыхающие. Но, – он вновь выстрелил своим голосом, дрогнули и звякнули, казалось, стоявшие на скатерти стаканы, – но вроде я всё же приноровился и к ним. Как-то в селе, ночью, я услышал такую сказку. Существует крепость. В ней заточены девять великанов: на случай беды, если кто нападёт. Если выпустить великанов этих раньше срока – и самим тогда не удержать их. И вот – каждый день дают им по два пшеничных зёрнышка. Съедят одно – поднимут голову, съедят второе –

присядут. Если уж нет иного выхода, приходится их выпускать – тогда дают им ещё по два зёрнышка: с третьим – встают они на ноги, а съедят четвёртое – разламывают стены крепости, в которую были заточены, и выходят на волю. Не знаю, чем кончается эта сказка, выпустили их на волю или нет, – не пришлось дослушать... Но продолжение мне и не нужно было: всё необходимое я уже услышал ...

Вот тут он и заметил, хотя взгляд его был отуманен, а слух притуплен выпитым, заметил наконец, как она посмотрела на мужа – открыто, не скрываясь («Этого в тебе раньше не было, словоохотлив же ты стал!») И Арвелод заметил взгляд жены, но сделал вид, что не понимает его значения.

– Одного зёрнышка, – вновь выстрелил он из своей туго набитой порохам кремнёвки, – всё же мало для отдыхающего: его жаль, да и он пожаловаться может, а вот два зёрнышка – тут уж иное... тут и его не жалко, и он, даже если и пожалуется, ничего не добьётся...

Мария, не дожидаясь, пока Арвелод кончит рассказывать, готовно закатилась смехом.

Дороги вперёд нет... все пути к вершинам перекрыты. Теперь он должен вернуться... спуститься и помириться со всеми, кого оставил внизу... или хотя бы прикинуться, что он вернулся...

Он уже не следил за тем, что говорили за столом, – пили, кажется, за детей... потом он вслушался снова: тамада объяснял сдержанным, доверительным тоном:

– Я сшил себе черкеску и архалук: не есть, не пить бы – лишь смотреть на них да смотреть... – Сшить-то он мог всегда, но не всегда его волновала эта возможность, равнодушен был к черкеске. А сейчас похваляется ею. Он знает, что делает. – Теперь, когда на люди буду выходить, особенно если в городе, ничего другого надевать не стану. Человек не должен бросать хорошее, что у него имеется, что накоплено веками, стесняться старого, наоборот, должен открывать для всех, гордиться ...

Он уже не владел собой, опьянел окончательно, едва уже различал сидящих перед ним. Поднял свой стакан, буркнул что-то в счёт будущих тостов, но, так и не выпив, поставил стакан на место и, пересилив себя, стараясь не шататься, поднялся.

– Устал! – сказала Мария, красиво и нежно сложились в полуулыбке губы, словно благословила: – Если хочешь, приляг в машине.

– Да, извините… я немного передохну. – Он пошёл по лужайке, медленно, чтобы не качаться и не споткнуться.

– Ты куда! Машина ведь не там стоит, – крикнула ему весело и чуть встревоженно Мария.

– Да не бойся ты... – он махнул рукой, не оборачиваясь.

Те, что остались за скатертью, переглянулись и сдержанно посмеялись.

Он опустился в тени меж двумя молоденькими ольховыми деревцами, лёг на землю, положив голову на локоть. Он помнит, что Мария брала в машину коврик-подстилку... но кто принесёт... Ей сейчас не до того.

В ущелье заглядывало солнце, но оно уже потеряло силу и освещало холмы и скалы сбоку, как на закате... не так, как водка, – вот та была и горяча и светла. Нет, скорее как перекалённое и уже остывшее железо... оно сохраняет на себе красноватый налёт в память о том, что было когда-то раскалённым добела.

Он хотел тут же и заснуть, но стоило ему прилечь в прохладе, как и слух вернулся к нему, и в глазах прояснилось, хотя думать о чём-нибудь не мог, не желал, – сон не шёл к нему. А через некоторое время он стал слышать всё, что говорили его спутники.

– Как-то однажды, – рассказывал Арвелод, – сидим мы с ней на камне, и камень этот, помню, ещё так был разогрет солнцем, что я еле выносил жар. Посмотри в небо, говорит мне она. Потом – закрой глаза. А как их не закрыть, если и без того солнце слепит. Теперь, говорит, слушай. Ну, прислушиваюсь я. А она спрашивает: «Слышишь пение?» Но я-то привык, что поют на земле, потому и слушал – что там вокруг. И услышал, как разорялась жена Гваки, кричала истошно, звала своего сына. Малый этот, с утра убежав на речку, не возвращался обычно домой до самых сумерек. И она всё это время кричала то и дело, звала его. Не уставала...

Жена Гваки действительно была со странностями и правда – целыми днями звала своего сына, не обманывал Арвелод.

Выпившие и хорошо закусившие люди были веселы и готовы были смеяться над чем угодно, расскажи только. Смеялась и она, он это отчётливо слышал.

...А что он мог поделать? К окончанию школы она так расцвела, так похорошела... Он перестал подходить к ней. К тому же он узнал, что за ней приударяет Арвелод, который не то что любовные истории – вообще все свои дела всегда держал в строгой тайне. Слухи о его успехах и удачливости уже и тогда ходили. И тот, на чьём пути вставал Арвелод, – что тому оставалось, бедному? Всё-таки они раза два разговаривали ещё как-то наедине, но он под каким-то там предлогом старался скорей уйти, хотя она не торопила и даже пробовала задержать его. Слишком хороша – значит недосягаема. К тому же ему казалось, что всевидящие серые глазки Арвелода сверлят его затылок. Он не мог собрать силы, заставить себя сделать хоть шаг ей навстречу. Потом, в последний раз, он видел её уже не наедине – в компании, на вечере после окончания школы, – им уже выдали аттестаты. Её нарядное «взрослое» платье вносило какое-то напряжение во всё, что делалось и говорилось тогда. И выглядела она уже не девочкой – взрослая красивая девушка. Теперь она не обращала на него внимания, теперь она спешила, словно был куплен билет на причаливший к пристани корабль, который вот-вот отойдёт, отправится в дальнее плавание. И когда она ушла, а ушла она раньше всех, занятая чем-то своим, недоступным ни для кого здесь, ему легче стало на душе. Нет… нет, всё же…

Он может сейчас подняться, подойти, взять свой стакан и выпить за него, пожелав ему... сказать открыто кое-что... Но к чему это... кому это нужно? Купил черкеску... Долбит: это, мол, нужно возродить, этим надо гордиться. А

когда однажды к нему прибыла целая делегация в этих самых черкесках, издалека, старые почтенные люди... Это было в пору его наивысшего благополучия и успеха. Старики приехали по очень важному делу, поэтому и явились в национальной одежде. Не принял их, нет. Передал через секретаршу, что разговаривать с ними сможет тогда лишь, когда они переоденутся. Так было нужно в то время. Он знал, что сообщение о его принципиальности дойдёт куда следует... А сейчас собирается гордиться черкеской...

Так кто же здесь побеждённый? Он? И победителя нет... Есть пословица, что побеждённый никогда не насытится поражениями: мол, снова и снова будет вступать в борьбу. До чего же не правы те, кто говорит такое. Тот, о ком сложена эта пословица, – он упал, но поднялся, снова вступил в борьбу... опять был повержен – и снова поднялся, чтобы бороться, не уступать. Кто проиграл в такой неустанной борьбе, у того столько же счастья, сколько и у победителя... не меньше... Но только – у несдавшегося... А он?

Веселье у скатерти было в самом разгаре, но голоса доносились до него почему-то глухо, словно из-под земли.

Солнце освещало верхушки деревьев над ущельем, но само ущелье заполнила тень.

...Поток с шумом вырывался из теснины, обдавал брызгами скалы, возраста которых он не помнил, и старался вернуть их к жизни, вызволить из тысячелетнего беспамятства, кричал им охрипшим голосом... но нет... разве может крик одолеть забытьё... До чего же могучая, должно быть, эта сила, подчинившая своей власти древние скалы, видевшие сотворение мира. Ни поток, ни скалы не помнили, не знали, который в мире час... Скалам это было ни к чему, а потоку – тем более.

Рододендроны успели уже отцвести; окрепшие за лето, свисавшие с деревьев, подобно чудовищным змеям, колючки хватали за горло те ветки, что выбивались, поднималась над общим уровнем, а песню цветенья у рододендрона отняло время, – ведь каждый год эта песня даётся цветам лишь ненадолго... Но будет, придёт ведь ещё новая весна...

Его всё больше и больше затягивало, уносило в сон… он уже почти совсем не слышал их голосов, и поток не был слышен ему, лишь виднелись неотчётливо белые цветы его пены. Сейчас он слышал лишь звуки, что кружились, привычно жили в ущелье, это был шум давно ушедшей отсюда воды – воды, пробежавшей здесь десятилетия назад. Юноша, похожий на него, каким он был тогда, в давние те времена, лежит в этом ущелье, на груди его и повсюду вокруг его тела лежат обугленные чёрные яблоки – яблоки, молодой горьковатый вкус которых он не познал при жизни... от которых вынудил себя отказаться. На камнях, посреди воды, сидят одетые в чёрное, словно те обугленные яблоки, его сверстники – девочки, мальчики. И сам он, теперешний, сидит посреди них. Кружится в ущелье, словно нескончаемый плач, шум давно ушедшей, пробежавшей здесь когда-то воды. Бывает, слышен и крик русалки, а порой ещё невыносимее – душераздирающий её смех.

Поток, испуганно и торопливо проносясь по ущелью, обдаёт брызгами мёртвые скалы...

Он проснулся: в горле пересохло, голова гудит. Увидел, что находится в машине, однако в ней было как в гробу. Он слышал даже не столько шум мотора, как короткие шипящие звуки, когда пролетали мимо встречные автомобили... Прислушивался к своему сердцу, к душе, но они молчали – и ему показалось, что они таят на него обиду... стыдятся его недостойного поведения. Это вызвало неприятное чувство. Он начал вспоминать по порядку: всё то, что произошло, пока он не оставил компанию, он восстановил без труда. Затем кажется, ему мешали камни, не давали удобно лечь, ему ещё хотелось, чтобы кто-нибудь принёс коврик-подстилку, а тело его было свинцово-тяжёлым. Больше он ничего не вспомнил.

В машине было тихо, и разговоров никаких не слышалось. Он даже не знал, кто сидит за рулём, хотя догадывался.

Из того, что сам он говорил там, на лужайке, перед спутниками своими, – ничего не помнил, только чувствовал, как горчили во рту какие-то не к месту произнесённые слова.

Да, собственно, чего он терзает себя! Всем – каждому – что-нибудь да приходится терпеть. Но для чего это всё было нужно... тем более что легко мог оправдаться, отговориться: мол, он ведь за рулём... для чего нужно было пить! И ведь никто ему не стал мешать, не захотел... да и сами пили, как лошади... которых три дня кряду держали в конюшне на одном сухом сене.

Он чуть приоткрыл глаза и сквозь щёлочки век произвёл разведку: так оно и есть, он не ошибся – за рулём сидел шофёр Арвелода. Как только он разглядел шофёра, ему захотелось объявиться, воскреснуть для них для всех тут же, по дороге. Чтобы, если это можно, если удастся, не нести обиду домой, хотя бы половину её сбросить, оставить тут, избавиться от неё.

Он двинулся, затем застонал, заёрзал, словно с трудом пробуждаясь, пробурчал какую-то невнятицу, потянулся. И все, что сидели сзади, за спиной, – словно только этого и ждали! – радостно загалдели, заохали, заахали. А он вдруг бодро выпрямился на сиденье и, словно не понимая ничего спросонок, обернулся, оглядел сидящих сзади.

Шофёр, будто припаянный к рулю, напряжённо смотрел вперёд, крепко стиснув скулы, что, видимо, стоило ему немалых усилий, ибо нижняя челюсть его была сверх меры тяжела.

– Где мы, куда едем? – спросил он, хотя прекрасно знал и где они и, тем более, куда едут.

– Где он! – послышался в ответ томный голос Марии. – Вы посмотрите только: он не помнит, где находится, баю-бай делал...

Она посмеялась, но теперь уже экономно. То озеро веселья и смеха, что переполняло её, плескало в ней через край утром, она успела истратить и была довольна этим. А новый запас, что уже накапливался в ней, его было пока ещё на самом донышке... и она расходовала его теперь расчётливо и осторожно.

Как хорошо, что он обманулся... что это оказалось неправдой, слава Богу... Он здесь, в машине, он успел вернуться сверху, с поляны... значит, измены не произошло...

– И всё-таки – кто сказал Арвелоду, куда мы отправились?

– Ламара, – неожиданно ответил шофёр, двинув полегчавшей челюстью.

– Какая Ламара?

– Ты что, Ламару не знаешь? – хором протянули сидевшие сзади. – Ну, Ламара, жена Арвелода!

– Да что это со мной! – как бы с досадой на себя буркнул он и приложил руку ко лбу, словно вынужденный убеждаться, что голова на месте.

– У вина, знаешь, крутой характер, – как бы увещевающе, тоном ласкового назидания объяснил Уасил, словно опытный наездник поучал незадачливого молодого ездока. – С вином не тягайся никогда – всё равно что с водой или огнём...

– Арвелод, будь он удачлив всегда, выпил сколько все, однако машину прекрасно сумел повести, – внесла свою лепту в разговор Сафья. Она скрывала, хотя по ней видно было, что ей не так-то уж весело от выпитого, а может, даже и дурно...

– Вечером вернулась домой... – вдруг, перебивая начавшийся разговор, прозвучал его голос: не хотелось ему слушать то, о чём начала Сафья, а продолжить её мысль, своё слово сказать – воздать достоинствам Арвелода, как это он чувствовал, хотели, просто-таки жаждали все здесь... тем более что рядом находился, слышал всё и шофер Арвелода. Правда, ясно было, Сафья так просто сказала, без особой цели... – Скоростная машина марки «Жигули», помимо четырёх колёс имеющая в запасе ещё одно...

– Не имеющая! – объявила Мария.

– Ни одного! – подхватил Уасил готовно и весело.

– Почему это?

– Прокол! – коротко пояснила Мария. – Напоролись на что-то по дороге...

Они уже въехали в город, здесь было много огней, они светились справа и слева, перемигивались, бежали впереди. Промчался мимо «Икарус», прижав к парапету целый ряд легковых автомобилей. И хотя казалось, что навстречу, словно поток в ущелье, несётся хаотично и бессмысленно случайное месиво красных, зелёных, жёлтых, белых огней... на что-то указывающих, что-то такое запрещающих, о чём-то предупреждающих, – во всём этом присутствовал свой строгий порядок... стоило нарушить его – неминуема катастрофа... И огни набережной, огни человеческого жилья, которыми светился весь город, вытянувшийся вдоль моря, то взлетающий ввысь, на гору, то сползающий в ущелье... Эти неподвижные огни тоже таили в кажущемся своём беспорядке некую стройность, ритм, пульс... Жизнь.

Они подвезли Сафью и Уасила к их дому, затем объяснили водителю, как проехать к ним. Остановив машину у подъезда, шофёр вышел, потянулся устало. И они, тоже порядком уставшие после дороги, вышли на тротуар, пригласили шофёра подняться с ними.

– Спасибо! – поблагодарил он, разомкнув тяжёлые челюсти, повернулся и пошёл прочь.

Не загоняя машину в гараж, они заперли дверцы и так и оставили её во дворе. Уже на лестнице, с опустевшими, не весящими сейчас ничего сумками в руках – утром они были набиты всевозможными припасами, – Мария обернулась к нему и спросила:

– Куда поедем в следующий раз?

– В другое какое-нибудь место, – ответил он жене, – поближе куда-нибудь. Сегодня прекрасно всё было, но ведь устаёшь... и усталости столько же получается, сколько и удовольствия... а может, и больше.

Про себя он тут же решил никогда впредь не брать с собой Уасила и Сафью, но Марии об этом говорить пока не торопился. Хотелось выпить холодного боржоми да лечь поскорее спать.

Когда добрались до третьего этажа, Мария остановилась ещё раз:

– Слушай, мы оба должны научиться как следует управлять машиной. Будем подстраховывать друг друга, если опять что-нибудь случится, как сегодня... – она засмеялась, и видно было, что в ней успел уже накопиться новый запас веселья.

– Мария! – позвал он её, едва она повернулась, собираясь подниматься дальше. – Знаешь... я... внука хочу!

Она хотела было рассмеяться, и улыбка уже заиграла на губах, но тон, каким он заговорил с ней, помешал. Было в нём что-то такое... Она задумалась – на секунду.

– Ладно, об этом дома поговорим... – и пошла вверх по лестнице. Из квартиры их доносился шум вечеринки, танцев и музыки.

Возвратились: скоростная машина марки «Жигули», муж да жена... с пустыми сумками... весело, в компании близких людей, порастратившие то, что брали в дорогу.

Перевод С. Шевелёва

МЕСЯЦ СЕВА

Предчувствие никогда не обманывало его: по одному лишь звуку телефонного звонка он безошибочно узнавал, кто из знакомых звонит. Сам удивлялся каждый раз, порой пугался даже – но никому об этом не рассказывал, да и кто бы поверил!

Из окна просторного его кабинета виден был сквер, всегда аккуратно подстриженный; за сквером – площадь, на которой обычно перед праздниками школьники в красных галстуках готовились к демонстрации.

В кабинете, оборудованном по-современному двумя телефонами, работает человек... Мужчина средних лет... медового цвета глаза, спокойный взгляд из-под не скомканного ещё разлёта бровей.

С самого утра, с того мгновения, как только ступает он на порог, оба телефона – белый и чёрный – надрываются, трезвонят наперегонки. Целый

день. И он, отрываясь от дел, которыми занимался перед тем, снимает трубки. Порой приходится хватать обе вместе. Тогда он, оборачиваясь к белому аппарату, негромко предупреждает человека на другом конце провода: «Подождите, я говорю по другому телефону... минутку»... – и прижимает к уху трубку чёрного, которому всегда в таких случаях отдаётся предпочтение, который ставит задачи, даёт указания, тревожит каверзными вопросами с намёком на недовольство, иногда же в нём звучит важный голос, сдавленный, скучно-назидательный, монотонный, невыразительный. Такие голоса не терпят возражений, им нужны терпеливые уши.

Некоторые голоса обжигают, иные – греют. А бывает, услышишь такой холодный голос, от которого тело леденеет, и душа зябнет. Один телефон радостно заливается, между тем как другой утробно урчит, не предвещая ничего доброго. Один тихо, почти беззвучно шепчет, тогда как другой вовсю дерёт горло, и его резкое дребезжание предупреждает о предстоящем споре, а то и о ругани. Иногда телефон позванивает до того заискивающе, что, кажется, руку в жире вымажешь, если притронешься... «Там-то и там-то, в такое-то, мол, время надумал некий козлёночек преставиться. Как ты насчёт того, чтоб поднять пару стаканов за упокой несчастного?»

Этот голос, разрывавший вчера бранью ни в чём не повинную телефонную трубку, сейчас до того старательно замасливает недавний разговор, что никакая обида не устоит, не удержится на столь скользкой поверхности!

...Сегодня, однако, день выдался спокойным, спокойным с самого утра. Ему даже показалось в какую-то минуту, что телефоны не работают, отключены. Подняв обе трубки, он приложил их к ушам. «Ту-у-у» – не смолкало в обеих, и это означало: «Мы готовы. Это было естественное звучание, нормальный голос телефонов, с которым они родились на заводе.

Как только на другом конце провода набирали номер его телефона, он, ещё не сняв трубки, не ответив, узнавал, кто звонит, что за голос он услышит, видел, какие пальцы крутили диск: то ли тонкие, длинные, которыми любуется и сам хозяин, они будто для того и созданы, чтобы неторопливо покручивать послушный диск... или другие, костлявые и негнущиеся, растопыренные обычно вроде пятипалой колючки... или же такие, что и вовсе не умещаются в отверстия диска, похожие на сваренные сардельки...

Но сегодня оба аппарата, и белый, и чёрный, ни разу не подали голоса. Смотрели на хозяина кабинета бесстрастно, словно бы ещё не проснувшись, не очнувшись от сна, не включившись в суету и напряжение делового дня.

Хотя, надо признать, аппараты, чёрный и белый, не так уж уважали своего хозяина, пообтёрлись, пообвыкли... Он терялся при них, неуверенным делался – уж больно хорошо они знали все его слабости. Им были известны все его тайны.

«Что происходит сегодня? Может, позвать секретаршу, спросить? Хотя – к чему? И нечего ей поручить».

А кругом – тишина. Время течёт как бы мимо него.

А он – словно бы выброшен из реки времени...

Всё же он нажал на кнопку в столе. Через некоторое время отворилась дверь кабинета, с бумагами в руках, не глядя на него, направилась к столу секретарша, полная, уверенная в себе и в своей внешности женщина средних лет.

Он взял ручку, просмотрел принесённые бумаги, отложил несколько, другие неторопливо подписал.

– Из села опять приходил, тот же... говорит, мол, по важному делу. Надоел, – рассказывала секретарша, глядя куда-то в сторону. – С самого утра так и сидят у дверей, словно у нас других забот нет...

– Так этого, из села, впустить надо было.

– Как это – впустить? На то есть приёмный день. Да ничего с ним не сделается: как пришёл, так и ушёл.

Он ничего не ответил.

Так и не взглянув на него, секретарша удалилась.

Он встал, подошёл к окну... На этот раз он смотрел не на сквер, а дальше и выше, туда, где, похожие на зубров, улегшихся боком к городу, возвышались два холма. У подножья ближнего из них желтела мимоза, начинала уже цвести. От зарослей мимозы и выше, до самой вершины холма, тянулся парк, зелёный зимой и летом.

Он отвернулся, прошёлся взад-вперёд по кабинету. Какая-то неясная боль нарастала, проникала в сердце, покалывала.

Что за боль... забытая, давняя боль... он же ведь так хорошо себя чувствует. Здоров вполне. И работа, и дом, семья, – всё у него есть, всё по нему... Долгое время – с давних пор и по сегодняшний день – он считал себя счастливым, довольным жизнью человеком. Много лет прошло, как не было причины усомниться в этом, в спокойствии, уверенности, надёжности своего существования.

Да, но всё же, как он ни успокаивал себя, боль всё явственней напоминала о себе: усиливалась, иголкой колола, и тогда любое движение сопровождалось, окрашивалось ею...

Он опять прошёлся по кабинету. Прошёлся ещё раз. Снова остановился у окна, но там было всё то же: как два зубра, повернувшиеся боком к городу, мирно дремали холмы...

Отвернулся от окна и порывисто, нервно заходил по комнате. На секунду ему показалось, что иголка сильнее зашевелилась в сердце.

Тут-то и раздался телефонный звонок...

Он встрепенулся, прислушался. Удивительно, но предчувствие не подсказывало ему сейчас ничего – не мог понять, кто звонит.

Подошёл к белому телефону. И сам телефон, казалось, обескуражен был этим неведомым, неожиданным звонком, словно как если бы с разгоряченного, готового к скачке коня сняли вдруг седло.

– Слушаю, – сказал он, приложив трубку к уху. Почувствовал, что голос его изменился, звучит необычно. Дрожь в руках становилась заметной и ему самому.

Из трубки доносилось дыхание, сопение... кто-то там старался удержать смех. Обычно неприятно жёсткая, мёртвая на ощупь, подобно затасканной псами, обглоданной кости, трубка сделалась вдруг мягкой и живой.

Кто из вас видал, как в поле
пашет, сеет человек?..
Чари-чари, чарирама,
пашет, сеет человек...

В трубке слышался голос ребёнка, которого он очень хорошо знал, но о котором не думал сейчас. Голос доносился издалека – его словно преследовал и уносил ураган... голос то исчезал вовсе, то вдруг обдавал ухо близким теплом. Время, дороги, лёгкие и пробитые сквозь суровые горные кряжи; годы, лёгкие, радостные – и отмеченные болью, даже отчаянием... – всё это, живое, давнее, большое, вернувшееся, близкое просачивалось, доносилось по проводу вместе с радостным ребячьим смехом.

Кто из вас видал, как в поле
пашет, сеет человек…
Чари-чари, чарирама,
пашет, сеет человек? –
слышался голос мальчика...

Пробежал по тонкому телефонному проводу, просочился сквозь толщу многих лет... Пробился через радостный сегодняшний крик, пение и смех в трубке... Не умер, живым оказался голос того мальчика, – знать, сохранилась где-то глубоко-глубоко, подобно потаённой скрытой душе родника, живая мальчишеская его душа...

– Помнишь? – спросил голос в трубке.

– Конечно. Слова, правда, позабыл, но мотив помню. Помню, каким был тот день. Ласточки ещё вернулись тогда... накануне улетели, бросили наполовину слепленные гнёзда, а в тот день вернулись... не помнишь?

– Папа, папа... – голос ребёнка приблизился, папа... почему ты молчишь?

Положив на аппарат замершую в ожидании ответа трубку, он постоял, прислушиваясь к себе... потом снова зашагал по комнате.

Кырр-кырр, – опять затренькал звонок, уже дразня, будто нарочно умножая силу воспоминаний, будто шлюзы особые открывая, за которыми – ушедшее. Он не поднял трубки. Не мог сейчас заставить себя заняться делом. Воспоминания наплывали, увлекали за собой и наконец хлынули, разлились половодьем. Он понимал, конечно, что маленькое счастье того давнего дня терялось жалкой точкой в этом безбрежном разливе... Более того, весь опыт, что добыл он, что дала ему жизнь, напоминал, не давал забыть, твердил: до чего же беспомощен этот комочек счастья в том необозримом море, в которое брошен был временем. Где оно сейчас, то счастье?

Потерялось, забылось, могло не вернуться вовсе, даже и воспоминанием...

Ему тесно и душно сделалось в комнате, в которую он заключён был своей теперешней жизнью. Он торопливо подошёл к окну, распахнул его настежь. Дышать стало легче, лицо, овеяло пока ещё прохладное дыхание

весны, насыщенное запахами листвы, напоённое ароматом раскрывшихся бутонов, ветвей, срезанных, но не убранных ещё с травы сквера. Он остро почувствовал, окунулся как бы в тишайшую согласованную работу пробуждения, в гармонию неба и земли. Даже неистовый шум города, хозяйничавший обычно вокруг, и тот, едва поднявшись над крышами домов, покорялся этой таинственной тишине сотворения, пробуждения новой жизни... рассеивался, как далёкий отголосок, уткнувшихся в неприступную стену гор.

Он подумал, что эту великую согласованность можно почувствовать только весной. Сейчас, в мае, земля и небо как никогда заодно. Это время взаимопонимания, слаженности, целенаправленности. Иначе и быть не может, не должно, – потому что какой-нибудь незаметный глазу беззащитный росток, не получив спасительной доли внимания и тепла, может потом стать болью всей природы.

Ведь так – стебёлек к стебельку – она и создана... Он снова взглянул на холмы. Ближний из них, тот, на склоне которого простирался парк, сейчас, в мае, ничуть не переменился – весна тут не ощущалась: в парке много было вечнозелёных деревьев, и если осенью среди них жарко тлели всё же редкими островками цвета увядания, то сейчас холм был привычно и ровно зелен, не больше. Зато дальний, восточный холм удивлял разнообразием цветов и оттенков. У подножия его среди ярких черепичных крыш старых особняков цвели персики и груши. Далёкий дымок, струившийся над одной из крыш, так усердно вился, тянулся ввысь, что, казалось, хочет просверлить небо... А небо в тот день было высокое.

Человек, что стоял у окна, давно не ощущал вкуса дыма, даже дыма крепкого табака.

Сейчас он жадно втягивал в лёгкие воздух, словно стараясь вобрать в себя, вдохнуть запах далёкого того дыма. И смог, вдохнул, действительно вдохнул... но не тот далёкий дымок, что вился над черепичиой крышей, а ещё более дальний. И этот дальний дым оказался до того крепок, что даже слёзы показались на глазах у стоявшего возле окна человека. Дым костра, давным-давно обратившегося в пепелище... дым далёкого костра, столько лет неприкаянно блуждавший в высоком небе...

За спиной опять затренькал телефон, а он видел сейчас мальчишечьи руки, никогда не прикасавшиеся к телефону, обветренные, все в цыпках, хотя холода уже миновали (Куриная Лапка – говорили ему сёстры). В тот день он впервые сменил отца за плугом, и плуг то и дело валил его на пашню, когда не хватало сил удержать рукоятки, грязь, земля приставала, подсыхала, въедалась в старательные детские руки...

Пришла весна. Всё, чему суждено было цвести, распустило уже листочки, раскрыло бутоны. Недавние голые проплешины затягивались нежной зелёной травкой. Истомившаяся взаперти, измученная зимней голодухой скотина избавлялась от свалявшейся, запревшей шерсти; эта шерсть заиндевелыми от утренней росы клоками свисала теперь с заборов, с кустов, с коры деревьев, о которые чесали животные свои впалые бока. Их желудки с

трудом усваивали дурманящую пищу ранней весны, и повсюду в первой траве были наляпаны бесформенные шлепки пока ещё жидкого навоза.

В этот раз отец сеял до времени – бросал зёрна прямо на паровую землю и тут же вспахивал её, потому что одолженных быков ждали другие поля, да и земля была податлива – можно было обойтись и одной пахотой. Нашлись такие, что говорили отцу: «Может не прорасти, пока слишком холодно», но он никого не послушал. Не давая передышки волам, запряжённым с самого утра, отец к полудню поднялся уже по склону до подножья развесистого орехового дерева. Это была половина их поля. Солнце ещё не жгло, только грело. Потягивало прохладным весенним ветерком, зябко делалось.

Отец остановил быков и присел на вылезшее из земли кряжистое корневище ореха; из дома вышла – видно было, – направилась сюда мать, переступала осторожно и неуверенно. Казалось, налетит вот порыв ветра и согнёт её, до того слабая была после болезни, с зимы пролежала, прикованная к постели.

Ждали: вот-вот поправится, а болезнь всё усиливалась... Потом отвезли её в больницу, там пробыла долго, никто уж и не надеялся, что выживет, – так мучилась. Сколько месяцев напоминали они людей, в доме которых ожидают покойника. Отец, так тот до того был мрачен, в глаза никому не хотел смотреть, видеть не мог никого... раздражительным сделался, взрывался по пустякам, бранил ни за что старших сестёр мальчика. И они, не позволявшие себе пререкаться с родителями, огрызались. Да и его, мальчика, до болезни матери лелеяли, берегли как младшего, а сейчас держали в чёрном теле. Словно сговорившись, такое ему могли сказать, такое, что злило его, било по самому живому, ранимому, чуть не смертельному месту. И он, как все в доме, тоже был утомлён и измучен.

Вчера из больницы привезли мать...

С трудом дыша после подъёма, слабая, как бы не своя, не близкая, отделённая болезнью от повседневной целенаправленной жизни, она подошла к ореху. Отец поднялся, пододвинул удобнее замшелый валун, сдёрнул с ветки потёртый свой пиджак, свернул его и положил на камень.

– Не надрывайся, – сказала она, осторожно присаживаясь.

– Не ожидал, что земля будет такой рыхлой, и всё равно местами придётся пройтись и бороной. Сквозь комья зерно может и не пробиться, не прорасти да не в том дело. Как ты себя чувствуешь?

– Очень хорошо, словно заново на свет родилась, ответила она сквозь слабую улыбку.

– Слава Богу, кажется, действительно тебя отпустило. Вот отсеемся – и во что бы то ни стало, обязательно, хоть дней на пятнадцать, а поднимемся в горы. Девочки уже могут и сами приглядеть за домом.

– Я смотрю – ты сам-то исхудал, лицо осунулось. Не сумели девочки позаботиться о тебе. Мужчине, когда работает день и ночь, и есть нужно как следует...

– Не в еде дело – душа у человека должна быть спокойна, это главное.

– Я уже поправилась, сам видишь, а то так боялась, так боялась... если свалюсь, да и ты не очень уж крепкий, детей страшно оставить, пока на ноги ещё не стали, не самостоятельные ещё...

Мать говорила, а взгляд отца застыл неподвижно: он смотрел на руки её, по-детски сложенные на коленях. Сквозь истончившуюся кожу просвечивали вены. Белизна рук была безжизненной, восковой. Потом отец поднял взгляд и остановил его на лице матери. Мальчик никогда не видел, чтобы у отца были такие глаза. Столько любви и сострадания в них было, столько доброты светилось... как если бы отсвечивал в капельках росы, преломлялся животворный луч солнца.

– Собрал бы сухие стебли да разжёг костёр... Мать простыть может, – сказал отец, с преувеличенным вниманием разглядывая свои испачканные в земле сапоги.

И мальчик, поверив, что это и вправду важно и нужно, стал поспешно собирать оставленные скотиной кукурузные кочерыжки – там, где скот кормили зимой. Кочерыжки уже затянуло травой, но оттого, что лежали в сухом, облюбованном солнцем месте, они не были сырыми.

– Не торопись... – негромко бросил отец.

Потом он принёс и свалил перед отцом охапку сухих веток и кукурузных кочерыжек. Отец разложил их так, чтобы легко загорелось, и полез в карман за спичками. Спички... как их нелегко тогда ещё было раздобыть, хотя война уже кончилась! Аккуратно чиркнул спичкой... Сквозь кочерыжки и хворост пробились вьющиеся дымки, превратились в потрескивающее лёгкое пламя, - в этот солнечный день его больше было слышно, чем видно. Дым, поднявшийся над костерком, ударил мальчику в нос, и на глаза выступили слёзы. Отец заметил это, но ничего не сказал, только улыбнулся, глядя на сына.

...Сейчас снова защипал в носу и в горле, снова вызвал слёзы этот дым детства, не просто памятный далёкий запах, нет – дым именно того дня, дымок, поднявшийся над горящим хворостом и сухими кукурузными кочерыжкам...

Костёр быстро разгорался, потрескивал хворост. Кукурузные кочерыжки обвивались струйками дыма. Огонь начинал с того, что окрашивал кочерыжки в чёрное, и только потом их лизали язычки пламени. Когда пламя поднялась, что-то похожее на большую огненную бабочку выпорхнуло из него и, как показалось мальчику, стало кружиться у них над головой – у него, у отца и матери... Не глазами – душой следил он, как с каждым взмахом крыльев бабочка роняла для него капельки счастья...

Отец задумался, глядя на разгоревшийся костёр. Время от времени он переводил взгляд на мать, всматривался, словно бы что-то отыскивал в её лице, и глаза его светились добротой и нежностью.

Мать притянула к себе сына, обняла, прижала к груди его голову.

– Соскучился... – сказал она, заглядывая ему в глаза. Спросила отца: – Пошлём его в школу в этом году?

– Как не пошлём! Конечно! Вот закончу сев, отпрошусь в колхозе и поеду в город. Одёжку ему надо купить, обувь, да и книжки надо бы достать.

Мать счастливо улыбалась, а мальчик, успокоенный и тоже счастливый, словно бы заново увидев, смотрел на отца: впервые заметил, обратил внимание, как исхудал он... запали щёки... Но отец пока ещё был крепок. Чёрные, живые глаза его смотрели молодо. Но больше всего поразило мальчика сейчас, что шея отца, и особенно горло, видное в вороте расстёгнутой рубахи, не тронутое солнцем, были белые и по-детски нежные. Хотелось потрогать рукой...

Слова матери, ответы отца, их мирный, напоённый теплом разговор, проникнув в сердце, разлился нежностью по всему детскому телу. Подобно тому как телёнка дурманит запах весенней земли и первая травка, так и мальчика весенняя тёплая эта нежность пьянила; он как бы захмелел от счастья, не находил себе места, хотелось бежать куда-то, носиться с криком, петь... Оторвавшись от матери, он проскочил под орехом и оказался возле быков, мирно жевавших жвачку. Он слышал от отца, что, когда быки сильно утомлены, когда их разгорячённое нутро дрожит от перегрева, их обычно влажные морды высыхают, делаются вялыми и воспалёнными.

Подбежав, мальчик принялся разглядывать быков. Один был беломордый (как этот белый телефон), другой черномордый (как этот чёрный телефон), но обе мохнатые морды были в росинках, волоски у ноздрей заиндевели от выдыхаемого влажного воздуха. Мальчик успокоился. И снова не ведомая никому другому, не видимая никем другим, волшебная бабочка порхала над ним, трепетали бесшумные крылья, светились пламенем костра при каждом взмахе.

На нескольких оставшихся нераспаханных полосках в дикой траве виднелись брошенные, рассеянные рукой отца жёлтые и белые крупные зёрна кукурузы. Эта нераспаханная часть поля напомнила мальчику ночное небо с негусто высыпавшими звёздами... А пашню уже пригрело солнце. В отваленных плугом пластах земли видны были круглые перерубленные лемехом черви, зажатые в земле, эти половинки их были безжизненны. А другие, там, где пласт рассыпался, оказывались на поверхности, продолжали жить, пружинились, извивались. Стоял крепкий, душистый запах свежей пахоты.

Его заставляли работать, во время прополки ставили рядом со взрослыми и подгоняли ещё, а у него и душа не лежала к работе этой, да и мотыга чуть не при каждом взмахе валилась из рук, руки слабые ещё были. детские руки... Поэтому земля и пугала его, – так тяжело ему было выпалывать сорняки. Но сейчас, спокойно лежащая перед ним, усыпанная кукурузными зёрнами, ждущая плуга, готовая родить, плодоносить, сейчас земля утешала и успокаивала мальчишескую душу.

А всё потому, что была, летала над его головой та, невидимая глазу, но видимая душе мальчика большая бабочка цвета пламени. Беззвучные взмахи её крыльев празднично освещали всё вокруг, просветляли смутное,

непонятное, тревожное, делали ясным и не страшным – страх становился бессилен.

Он нагнулся, поднял с земли несколько зёрен. Уложил их на дно борозды, засыпал землёй, аккуратно заровнял ладонями. Затем поднял голову и осмотрелся, чтобы запомнить место.

Да, чего-то это стоит, не так уж мало – увидеть, как прорастает то, что посадил ты собственной рукой.

Он снова вернулся к ореху, туда, где сидели мать и отец. Земля под деревом усеяна была соцветиями, похожими на серьги. А он до сих пор и не знал, не ожидал даже, что орех может цвести. Запрокинул голову – увидел густую плотную крышу ветвей. Новая молодая листва, под которой дрожало бесчисленное множество серёжек, переливалась солнечными блёстками.

Мать и отец неторопливо переговаривались. Над затухающим костром вился тонкий дымок, короткие язычки пламени поднимались над кучками пепла, словно огненные игрушечные солдатики. И трепетали, роняли капельки счастья невидимые крылья огненной бабочки...

И тут со стороны двора донёсся радостный крик старшей сестры:

– Ласточки вернулись, ласточки!..

И бабочка цвета пламени мягко запорхала над его головой, слышимая мальчишеской душе.

...Той весной ласточки прилетели в срок, как обычно, и начали уже было лепить над верандой гнёзда. Но, не доведя работу и до половины, почему-то вдруг исчезли.

Мать тогда ещё не вставала. Она уже начинала вроде бы поправляться, но болезнь до того ослабила её, что когда недуг отступил вдруг, все говорили: самое опасное – это сейчас.

Тогда они и услышали разговор, что в том доме, откуда непонятно почему, не долепив ещё гнезда, улетают ласточки, – в доме том быть покойнику.

Старшая сестра и младшая, выбежав во двор, обе смотрели на стремительно мелькавших у столбов веранды ласточек, занятых снова устройством гнезда. Ещё одна сестра, средняя, тоже выскочила из дома и, оставаясь у дверей, глядела на ласточек, на сестёр, снова на ласточек, опять на сестёр, потом дальше, на пашню, туда, где сидели под орехом мать, отец и мальчик, но не стала задерживаться долго, вернулась на кухню. С самого раннего утра сегодня она занималась стряпнёй – стояла перед огнём, готовила для матери то, что повкуснее, что любит она. Да и всегда, ежедневно, больше других беспокоилась о еде для других, о том, чтобы все были накормлены. Пока мать лежала в больнице, а потом дома, она обслуживала всю семью. Потому и была, наверное, больше других суетливой, всегда напряжённой, – если выходила из терпения, никому не давала спуску, всем доставалось: что ни говори, дом сейчас во многом держался на ней. Другие сёстры поэтому не вмешивались в её заботы и дела, старались не отвечать на её частые упрёки и, словно это был её долг, её пожизненная обязанность, не помогали ей.

Отец, услышав о ласточках, поднялся.

– Слава тебе, Господи! – произнёс он вполголоса, словно боясь, что кто-то услышит.

Заметив, что мать хочет встать, он подал ей руку, помог. Видно было, что у матери и от небольшого этого усилия закружилась голова: она прикрыла глаза ладонью. Чуть погодя опустила руку и улыбнулась.

– Пусть постелят тебе на веранде, приляжешь, – сказал отец.

– Обед скоро будет готов. Дырявая Ступа сегодня и не присела, наверно, что-то особенное готовит, – ответила мать, лукаво улыбаясь.

Улыбка осветила восковое лицо матери, словно огонёк поднялся над свечой… И мальчик подумал: так бы всегда... не надо другого.

Как только мать направилась к дому, отец поднял миску, дожидавшуюся его тут же под деревом, и пошёл по полю, что тянулось от ореха выше по склону, разбрасывая горстями кукурузное зерно. Радость словно вдохнула в него новые силы, сделала походку уверенней и твёрже. Щедрее сделала размах руки. Потом отец пройдёт здесь с плугом и зёрна завалит землёй. И земля, подобно творцу-создателю, вдохнёт в них жизнь, и погребённые в отвале зёрна начнут жить, дышать, пустят робкие корешки, пробьются из могилы к свету, вырвутся к воздуху, к солнцу, потянутся к небу.

И мать вернулась из больницы, поднялась. И ласточки вернулись. Новая начинается жизнь ...

Мальчик огляделся: всё вокруг показалось ему новым, необычным. Он словно впервые осматривал, знакомился с миром, открывшимся вдруг для него. Открытым им самим.

Он вошёл во двор следом за своей матерью.

– Видишь? – спросила его младшая из сестёр и притянула за плечо к себе. Она была сегодня в новом платье, только что от швейной машинки: нарядное, в белый горошек, с короткими рукавами.

– Как красиво! – Он вытер ладони о штаны и потянулся к платью.

– Ой, запачкаешь! – Сестра перехватила его руку, осмотрела с той и другой стороны и, убедившись, что нет, не грязная, облегчённо, неловко засмеялась: – Куриная Лапка!

– Воображуля! – вырвалось у него.

Это было одно из тех слов, которыми мальчик обычно дразнил её. Он тут же, конечно, прикусил язык, да было поздно. Обидное слово вылетело... Эта сестра, хоть и младшая была, полуподросток ещё, больше всего на свете любила наряжаться – поэтому в доме её обыкновенно звали Щеголихой, – это ведь не так обидно, может быть, даже и лестно чуть-чуть... Но если только злились на неё за что-то, желая досадить ей, задеть самолюбие, кричали: «Воображуля!..»

Однако сегодня – сегодня всё было иначе... Сестра и не подумала обижаться.

– Нет, на этот раз ты действительно не прав... Не воображуля, а щеголиха, франтиха я! – заявила она примирительно.

Видно, обидное это прозвище ничто было сейчас по сравнению с новым нарядом... Никак не могло повлиять, изменить прекрасное её настроение.

...Да, сегодня и слова звучали как-то необычно. Те слова, что в иное время бесили бы его, ядовитые слова с остро колющими шипами были сегодня неколкими, просто щекочущими...

Переливчатый бегущий свет большой огненной бабочки, порхающего призрака пламени исцелял, утишал и умиротворял всё, стоило лишь этому призраку появиться над его головой, стоило лишь затрепетать светящимся крыльям.

– А я и забыла! – к нему подошла старшая сестра, потащила за руку. – Пойдём со мной, Куриная Лапка, пойдём, – и увела его с собой.

В комнате её, оклеенной красивой цветной бумагой, на специальном столике жило чудо, которое житья не давало мальчишеской душе: настоящая швейная машинка.

Когда он видел эту машинку или же просто слышал лёгкий её стрекот, словно колдовская какая-то непонятная сила касалась его – он забывал всё на свете. Его завороженную душу тянуло к машинке... Сначала нужно было прикоснуться к «луку», из которого стрелой вылетала игла, потом он трогал чёрный её лоснящийся стан, гладил любовно, как хозяин любимого коня. В эту минуту он ощущал, что руки его и вправду слишком шершавы, как куриные лапки... Он брал ручку и, затаив дыхание, несколько раз поворачивал её… а потом всё нутро его дрожало от нестерпимого напряжения, что-то невыносимо распирало изнутри, он уже не владел собой, и тут-то приводное колесо набирало скорость, игла мелькала, делалась невидимой...

И вот как-то однажды колдовская эта сила овладела им. Подобно тому как тугая тетива мощно запускает в полёт быструю стрелу, что-то швырнуло его со двора на веранду... он вошёл в заповедную эту комнату… он коснулся, погладил чёрное тело машинки... и потом, безудержно крутя ручку, он сломал иглу...

Тогда ещё шла война, и даже достать новую машинку было проще и легче, чем добыть иглу вместо сломанной. Машинка была надеждой всей семьи, все смотрели на неё как на кормильца – чем-то вроде фабрики индпошива была... Любая одёжка, даже скроенная из лоскутков, но прострочeнная на машинке, приобретала уже по тому времени приличный вид. Её можно было не стыдиться.

Машинка прикрывала их бедность.

Ему не хочется вспоминать всего, во что ему это обошлось. Первой обнаружила катастрофу хозяйка машинки – старшая сестра (она любила шить и умела, конечно, – в доме её прозвали Модисткой). Он бросился что было духу бежать, но от Модистки убежать было не так-то легко... Выйдя из круговерти взбучки, он хоть и держался на ногах, но куда идёт – не разбирал: перед глазами стоял мрак. Однако и этого оказалось мало, добавила ещё и младшая сестра. Рука этой Воображули была тяжела... Такой бывает, наверное, только рука мачехи.

– Отстаньте от него проклятые! Отстаньте! – с досадой в голосе закричала мать.

В тот день она лишь в сумерках вернулась со сбора чая и уставшая, не чуя души в теле, присела на пороге веранды, не в силах ни стоять, ни идти дальше. Оттуда она кричала…

– Если в тебе что и осталось, так я вытрясу эти остатки!.. Вот только отдышусь! Куда денешься, – сказала она обессиленно, когда он, едва держась на ногах, проходил мимо.

Он и мать тогда обошёл стороной... не было мочи ещё раз перенести взбучку.

Ввалился в пристройку за кухней, там сидела перед каменной ступой, плакала его средняя сестра.

В то время, когда так плохо было с едой, чего она только ни придумывала, чтобы кормить семью. Она варила, потом толкла в ступе листья капусты кольраби, крапиву, сарсапарель – то, что до войны готовили от силы раз в год, и то разнообразия ради. Не жалела сил, старалась, если надо – протёрла бы ступу до дыр, готовя из того, что можно было собрать, желая накормить, позаботиться. Поэтому и прозвали её Дырявой Ступой.

– Прибить тебя надо было, – выдавила она сквозь слёзы. – Убить тебя мало.

Она встала и закрыла двери пристройки.

– Душу бы из тебя вытрясти!.. – усадила его рядом, положила голову его к себе на колени. Горячие слёзы сестры капали ему на щеку. – Будь она проклята, эта машинка! Чтоб она сгорела...

С этого случая он и думать не мог войти в комнатку, где стояла злополучная швейная машинка. Тайком лишь иногда наблюдал за работой, за шитьём сестры – из соседней комнаты. Но когда чувствовал, что начинается приступ одержимости, когда та неведомая сила снова овладевала им, когда натягивалась загадочная тетива, чтобы затем неудержимо запустить его к машинке, – в эту минуту он поворачивался – и стремглав нёсся во двор. «Тетива» всё-таки выпуливала его – но в противоположную сторону...

И сейчас, когда сестра ввела его в комнатку, оклеенную цветной, красивой бумагой, его охватило знакомое волнение, но всегдашней обычной одержимости он на этот раз не почувствовал: большая бабочка появилась перед глазами и умиротворяюще, успокаивающе задвигала светящимися крыльями, и нараставшее было волнение улеглось, ушло.

– Не бойся, не бойся, возьмись за ручку, но пока я не скажу «можно», не крути.

Она заправила в машинку лоскут, оставшийся от платья младшей сестры.

– Давай, теперь можно... Только не спеши!

Он осторожно повернул ручку – со страху она показалась неподатливой, тугой, шла тяжело. На лоскуте он увидел строчку, выползающую из-под иглы, и оторопел. Потом он уверенней закрутил ручку, и строчка пошла прямо, быстро, пересекла весь кусок. Сейчас ничто его не толкало, не

заставляло, как прежде, остервенело крутить ручку: тянувшаяся из-под иглы строчка приносила с собой ощущение полезности его работы, увлекала за собой. Теперь он преданно служил этой строчке.

– Уже довольно!.. – старшая сестра улыбнулась и рукой задержала вращение, остановила машинку. Высвободила лоскут, положила его тут же, на столик.

Мальчик во все глаза смотрел на него, словно никогда не видел простроченного куска материи. Хотел – и не смел прикоснуться. Сестра вытянула коробок, вделанный в столик, и достала оттуда трусики, сшитые из остатка той, в горошек материи, что пошла на платье Щеголихе.

– Это для тебя сшила. Станет жарко, будешь бегать в них. И на речку хорошо. – Она весело растрепала рукой его волосы.

Он удивился тому, что сестра смогла улыбнуться для него одного. Обычно она улыбалась лишь младшей сестре и обязательно говорила при этом: «Ветер в голове», а вообще она ни для кого в доме не тратила своей улыбки без особой на то причины.

А сегодня вдруг подарила улыбку ему, ему одному. И он засмеялся. В другое время, даже если он и хотел улыбнуться ей, она не давала такой возможности, предупреждала, останавливала. Поэтому сегодня, пока она дала ему волю, он старался успеть истратить как можно больше накопившейся неистраченной радости.

В полдень отец выпряг быков и пустил их пастись. Когда все собрались, расселись вокруг стола, была минута – никто не пошевелился, не потянулся ни к чему. Не говоря уже о войне – и за всё время после неё не приходилось им сидеть за таким угощением. Трудно было выбрать, с чего начать. Все словно бы растерялись перед непривычным изобилием. Затем, переглянувшись, засмеялись. Над столом дружно замелькали руки. Пахло весной, свежестью... всё это сделала зелень. Огородом занималась всё та же средняя сестра. Заранее посеяла, что можно было посеять, посадила, чему только пришёл срок... позаботилась обо всём.

Какие запахи тут ни смешались – чеснок, киндза, укроп, мята... И чего только не было на столе: курятина, сдобренная тёртым орехом; посреди стола в стакане – ореховое масло, отливавшее янтарём; приготовленный из кисленьких ягод дикой алычи соус асадзбал; кукурузный чурек, щедро заправленный сыром (его-то и любила мать, для неё постаралась Дырявая Ступа), и ещё на столе было то, что он любил больше всего на свете: большие сырные вареники. Поскольку матери пока ещё нельзя было острого, перед ней поставили бульон с самыми лакомыми кусочками курятины.

Та, что приготовила всё это, беспокойно кружила над столом, не находила себе места (вдруг кому что не понравится!). Видно было – волнуется очень. Всё, что могла, сумела, осилила... Она всегда была такой, Дырявая Ступа, вечно в тревоге, – вдруг да кому-то не придётся по душе то, что она приготовила, опаляя себя целый день жаром очага...

– Садись! Тебе полагается садиться первой, – сказал отец.

Сестра молча покачала головой. Чуть погодя она легонько раздвинула тарелки и поставила посреди стола графин с вином, всё вокруг него словно бы слегка засветилось красным. Старый графин, задымлённый временем, чудом уцелел – за все эти годы, непонятно как уберегли. Вернее, она уберегла, – видно, дожидалась Дырявая Ступа такого вот дня.

– О! – отец удивлённо поднял брови. – Дай всем нам Бог здоровья и благополучия и спокойствия! – Он поднял над столом стакан, потом осушил его. Закрыл глаза, замер, словно лучше хотел почувствовать вкус вина, как просачивается оно к душе... потом улыбнулся ласково: – Очень хорошее вино, как раз поспело.

– Дырявая Ступа в графине его отстаивала, не думай что в кувшинах, зарытых в землю, поспевало, – сказала мать.

– А оно лучше кувшинного!

Девушки тоже выпили по полстакана. Младшая сестра, как всегда, легко транжирила радостный свой смех. Но и старшая тоже была щедра сегодня. И улыбку дарила – каждому отдельно, как драгоценное что-то…

– И ты что-нибудь скажи, отпей хоть глоток, – обратился отец к мальчику, – не оставляй меня одного, ведь нас, мужчин, только двое.

– Ма... чтобы ты была здорова, чтоб все мы не знали беды... – произнёс он едва слышно от смущения и до половины отпил из стакана.

– Молодчина! – воскликнул отец. – Уже становишься мужчиной!

– Чтоб не видать мне твоего горя, сынок мой, хороший мой, – растрогалась мать.

Попробовав любимых своих вареников, он встал, чтобы уйти из-за стола. Радость переполняла его, не давала ему покоя, подталкивала. Он хотел вволю надышаться этим чувством, как можно дольше сохранить его в себе.

– Что ты так быстро, мой мальчик? – остановила его мать.

– Не к лицу тебе так быстро отступать, – сказал, улыбаясь, отец, – кто по-мужски потрудился, должен и есть по-мужски.

– Пусть бежит, потом я ещё раз покормлю его. Я для него припрятала кое-что, – торопливо заступилась средняя сестра, – по-прежнему озабочена была, чтобы всем хорошо, легко, радостно было.

Мальчик заметил, что румянец её, проступивший на щеках, когда сладилось как надо приготовленное ею застолье, стал тревожно блекнуть. Не умела скрыть боязни: вдруг кто-нибудь скажет резкое, обидит другого. Обо всём беспокоилась, обо всех...

И весь тот день – он помнит – не оставляло его радостное ощущение пьянящего восторга. Не оставляло, не уходило никуда, но и насытиться им невозможно было.

Он боялся уйти со двора, боялся, что, если выйдет на открытое место, утеряет свою радость, растворится она, потеряется, словно капля малая в полноводной реке, и уж больше никогда не найдётся, не вернётся к нему; боялся встретить соседских ребят, играя с которыми ничего не стоило истратить эту радость впустую, без следа. А ему хотелось ощущать, длить этот восторг, расходовать его потихоньку, но долго, наедине с самим собой.

Куда он ни ступит во дворе – перед глазами его трепещут неслышно большие светящиеся крылья... и бабочка цвета пламени прозрачным своим свечением согревает его мальчишечью душу...

Мать прилегла на веранде, там сидели с ней и его сёстры – старшая и младшая. Одна – в ногах, другая – в изголовье. О чём-то говорили, то и дело слышались короткие взрывы смеха. Чаще и дольше других смеялась Щеголиха, – как всегда легко, без всякого сожаления транжирила свою весёлость.

Под мирный этот разговор и смех отец снова отправился в поле, захватив с собой кувшин воды.

Пахал неторопливо, щадя волов.

... И студёная вода тоже смеялась, наполняя стакан.

Напившись, отец отдал стакан мальчику. Лицо его посветлело, вода, казалось, возвращала, возобновляла в нём потраченную силу, до самого сердца доходила живительной прохладой.

– Как думаешь, успею засветло? – спросил он мальчика, не лукавя, а вполне по-мужски, совсем как взрослого. – Вот вырастешь, станешь мне подмогой – куда легче мне будет.

Мальчик возвращался с пашни, храня в душе тепло отцовских слов.

– Это я для тебя приготовила, для тебя припасла, остановила его средняя сестра, едва он переступил порог кухни, – видишь, какие пухлые, в них сыру много!

Она привыкла говорить с ним шёпотом, потому что всегда тайком отчего-то угощала его припрятанными для него лакомствами. И сейчас по привычке понизила голос.

Наверное, ничего нет на свете вкуснее этих вареников, ничего вкуснее мальчик никогда не ел.

– Ты уже большой стал, в этом году в школу пойдёшь... В войну мне пришлось бросить школу, но в этом году опять поступлю. – Даже это она сообщала ему словно бы по секрету, шёпотом. – Хорошее время тебе досталось, повезло тебе.

Задумалась, помолчала, сидела, опустив голову, светлая в сумраке кухни.

– Хочу спросить тебя... – сказала она вдруг. – Каким ты себя сегодня чувствуешь? Вот сидишь сейчас и слышишь что-нибудь такое... необычное? Видишь? То, чего раньше не видел и не слышал?..

– Да, конечно.. и вижу и слышу, – ответил и он шёпотом. – Радость, она без звука, похожа на большую огненную бабочку... Взмахнёт крыльями, и на сердце легче делается, веселее. Будто пламенем горит, переливается она...

– Это-то я знаю... – она засмеялась снисходительно, растрепала рукой непослушные его волосы. – Ты тоже вправду видишь её?

– Нет, не вижу, но так – знаю...

– И я тоже знаю... и вижу её – не как остальные.

– А не слышишь что-нибудь ещё... другое, кроме этого?

– Ну я же говорю тебе: той большой бабочки крылья – они неслышимые, беззвучные, но я их всё равно слышу...

– Знаю, знаю...

– Только когда она близко, я её боюсь: мне кажется, у неё крылья огненные... и я боюсь, что этот огонь – жжётся…

– Чего ты только не придумаешь!.. – она обняла, прижала его к себе. – Ты выдумываешь это всё, это всё тебе кажется, потому что у нас радость сейчас у всех.

– Да, вот мама наша выздоровела, папа новую одежду, новые книжки мне купит, в этом году в школу пойду... и ещё...

– Не говори, не говори заранее, так будет лучше... она закрыла ему рот рукой.

Посмотрела ему в глаза, вгляделась. Когда поняла, что в них, – вздрогнула, испугалась. Поняла: он мог сказать о том, о чём она боялась услышать, о чём она сама думала. Сколько, долго ли она проживёт, эта огненная бабочка... Пересилила себя, засмеялась беспечно – и отвела глаза.

– Иди-ка, иди сюда, посмотрим, помнишь ли ты буквы, которые я тебе показывала. Если забыл – мы с тобой поссоримся.

Она достала из ящика старенького стола пожелтевшую иссохшую книжку.

– Читай... – она положила книгу перед ним, сама села напротив.

– Бу-кварь...

– Не забыл, хорошо. Теперь расскажи то стихотворение, помнишь?

Кто из вас видал, как в поле
пашет, сеет человек…
Чари-чари, чарирама,
пашет, сеет человек…

– Да, – остановила она его, – не забыл, верю.

Та тревога, спутница счастья, которая копилась было в нём, теперь уже окончательно развеялась, и он снова стал радостно беззаботным. Он вышел от сестры, успокоенный и согретый её любовью, оказался в солнечном большом мире – согретом, расцветавшем, весеннем.

Гуляя по двору, он услышал стрекотание машинки.

Осторожно, затаив дыхание, с нарастающей азартной тревогой он поднялся по лестнице и тихонько вошёл в комнату, где шила Модистка.

– Иди, иди сюда. Посмотри пока, потом дам тебе покрутить, – сказала сестра, снова одарив его улыбкой.

– Я буду просто так... смотреть, – прошептал он.

– Смотри сколько хочешь.

В это время в комнату вбежала Щеголиха.

– Погляди, погляди скорей! Туда, – торопила она, уступая старшей место у окна и раздвигая занавески.

Мальчик вышел на веранду, чтобы тоже увидеть.

По полю, что лежало за вспаханной отцом полосой, ехал на коне какой-то юноша – то появлялся, то исчезал за деревьями, посаженными отцом...

Красиво держался в седле, словно врос в него. И не отрываясь смотрел в сторону их дома. Ольховые деревья, как нарочно, то и дело загораживали его, мешали ему смотреть и сестрам – видеть его. Поравнявшись с отцом, он натянул поводья, развёл рукой ветки и, показавшись, покивал отцу («Бог в помощь!»). Пахарь остановил быков и тоже закивал головой («Здорово, здорово!»). Так некоторое время и продолжалось – одного видно было среди ветвей, другой смотрел на него: перебрасывались словами. Потом ветви сомкнулись, послышался удар хлыста… По молодым деревцам ольхи, что посажены были перед домом, как смычок по струнам апхярцы, стремительно полоснула тень всадника – и растворился, исчез он в просторе тянувшегося за усадьбой поля.

Этот молодой наездник иногда ждал Модистку по дороге к роднику. Свидания их были недолги, но девушка, всегда скупая на улыбку, возвращалась домой, не умея скрыть нахлынувшего счастья. Торопилась, словно боялась растерять по дороге эту радость, словно боялась не донести её до дому...

Но однажды, уйдя к роднику, она задержалась там дольше обыкновенного. Когда же рассталась с юношей, так бросилась бежать к дому, словно кто ударил её. Оглушённая, ослеплённая волнением, она оступилась на скользкой всегда тропинке, упала старый кувшин, соскочив с её плеча, ударился о камень и разбился вдребезги, обдал водой и тропинку, и её саму... Она присела на мокрый камень, и слёзы, которые она хотела, должна была во что бы то ни стало донести до своей комнатки и выплакать в подушку, горькие девичьи слёзы прорвались, хлынули неудержимо. Мальчик никогда не видел, чтобы она так плакала, навзрыд. И вообще – очень редко можно было застать её плачущей, так же как и смеющейся.

Мальчик подошёл к ней и вместе с сёстрами стоял, смотрел на плачущую. Все они и раньше побаивались старшую сестру, но сейчас, увидев её непривычно искажённое рыданиями лицо, испугались, не знали, что сделать, что сказать. А мальчик боялся ещё, что уродливая эта гримаса так и не сойдёт больше с её лица, останется оно таким – искажённым, безобразным (она была самой красивой в доме).

Подошла и мать.

– Ну что ты убиваешься, бедняжка, из-за какого-то кувшина! И старый-то ведь был. Разбился – и на счастье!

– До кувшина мне дела нет! К чёрту его! С вами со всеми вместе! – вовсе уж разошлась сестра.

Её обиде только это и нужно было: ещё больше изуродовать красивое её лицо. Но удивительно: всегда недоступная в минуты обиды, будто необузданная лошадь, сейчас она бессильно подчинилась матери, когда та сделала попытку поднять её. Правда, одной матери не под силу было, конечно, поднять взрослую дочку, помогли сёстры. Так и вели её, плачущую, до самого дома.

Может быть, оттого, что она, старшая сестра мальчика, обычно никого к себе не подпускала близко, не поддавалась никому, – обида на жизнь без

всякого сопротивления овладела ею, подчинила своей власти. И она сделалась послушной обиде. Даже мальчик взял теперь её руку, бессильно обмякшую, подобную увядшей виноградной грозди, и осмелился, без опаски погладил... Сестра и не заметила.

…Молодого наездника, оказывается, призвали – отправлялся на фронт; но война вскоре окончилась, и его оставили служить в армии.

Нынче он вернулся.

– Ах, Модистка, до чего же хорошо!.. – вскрикнула Щеголиха, когда молодой наездник скрылся, ускакал прочь; она даже выскочила на веранду, чтобы подольше видеть его.

Модистка тоже выглянула и глазами показывала сестре – не кричи, мол, хотя сама уже не могла удержать нахлынувшей радости (как в прошлый раз не могла удержать рыданий), непривычно, неудержимо щедро расплёскивала её сейчас, не могла совладать с ней...

И весь тот день, до самого вечера, мальчик оставался, жил в этой радости, во власти непонятного оглушающего блаженства. Иногда сквозь радостный шум времени прорывался, достигал его ушей окрик погоняющего быков отца, нервное стрекотание машинки, раздававшийся то здесь, то там смех непоседливой Щеголихи...

Неугомонные ласточки тонкими своими крыльями, будто ножницами, кроили в стремительном полёте синеву неба. И гнёзда их почти уже были готовы... Почти...

В эту ночь он быстро заснул – в сладостной истоме, уставший от целодневной радости. Проснулся рано, ещё затемно. Вершины гор уже видели, наверное, слабый отсвет наступающей зари, но комнату наполнял пока ещё нетронутый густой мрак ночи. Что-то потревожило его сон, а может, не остывший с вечера жаркий трепет счастья пробудил его.

В этой же комнате вместе, на одной постели спали сёстры – средняя и младшая.

Он чутко прислушался, но кругом царил покой. Тогда он начал думать, стал вспоминать вчерашний день. Радость вновь переполнила его душу, но сейчас почему-то не смогла уже успокоить его полностью. Прошло несколько минут – средняя сестра зашевелилась, потом он увидел – села в постели. Некоторое время она сидела неподвижно, потом облегчённо вздохнула, словно тяжесть какую-то давящую осилив, сбросив с души, снова улеглась и затихла. Мальчик вспомнил её давешний взгляд, как пронзил он его сердце, и радость, наполнявшая его со вчерашнего дня, стала меркнуть, уходить...

Но сестра, видно, так и не могла успокоиться после того разговора, вскоре снова зашевелилась. Тут и младшая заскулила во сне.

– Чего не спишь... полночь... – говорила она бессвязно; сон отнимал промежуточные слова, оставляя главное.

– Не знаю, что со мной сегодня... никак не могу уснуть...

– Когда ты вообще спала по-людски! – буркнула почти проснувшаяся уже младшая сестра.

– Я и шелохнуться боюсь, чтоб не разбудить тебя. Всё тело онемело от напряжения.

– Ну чего тебе не спится? – уже совсем проснувшись, ясным голосом спросила младшая. – Словно старуха какая... Ну тебя!

– Тише, ребёнка разбудишь! Не спится мне, верно. А ты, соня такая, сколько ни спишь, всё тебе мало!.. Только смеркаться начинает, уже дрыхнешь...

– Отстань ты от меня!

Мальчик затаил дыхание и не вмешивался в разговор, хотя и сердился на среднюю сестру. Вот всегда она так – то ей не спится, то сон дурной видит, вечно у неё особенные какие-то тревоги, не такие, как у других.

– Знаешь, какая я, – вновь начала она шёпотом, когда младшая затихла, – я вчера так счастлива была, так довольна, спокойна: до чего, оказывается, счастливым может быть человек! Ты думаешь, много надо, чтоб быть счастливым? Нет... когда все понимают друг друга, когда согласие в доме – это уже счастье... когда души становятся родными, когда тянутся друг к другу... Вчера вот мы все сели за стол, все живые и невредимые, мама выздоравливает... а я так боялась, что этому счастью может что-то помешать... до того боялась – умереть готова была, померкни оно хоть чуть-чуть! И радость, и тревога вместе. Когда вы все разошлись, такая наступила щемящая тишина... и мне показалось, будто выслеживает кто-то нашу радость, будто подкрадывается кто-то неслышно, подступает со всех сторон ... И вечером, едва прилегла, как тут же и приснилось... увидела всех нас, всех шестерых; отец, полжизни оставивший на фронте, мама, спасённая от неминучей смерти, наша ненаглядная старшая сестра; наш маленький мальчик, наш единственный брат; ты да я... и привиделось мне, будто к нашему двору, ограждённому всего лишь плетнём из ореховых прутьев, прижимается со всех сторон огромный мир, теснит его, сдавливает... а он – как колечко, а мы внутри... Да что этот смешной плетень из орешника, разве это ограда? Прутья, полопавшиеся на изгибах... Нет, нет, лучше так, как было раньше, вообще без ограды – так привычнее. Лишь бы все были здоровы... А что свыше здоровья, суета и тревога, – лишнее. И ты кого-то должен огорчить, и тебя непременно обидят. Из этого ничего доброго не выйдет: развеется всё, останется беспокойство.

– Да прекрати ты, ну тебя к дьяволу!.. – огрызнулась младшая, явно напуганная словами сестры. – Вечно всё не по тебе, всегда ты напридумаешь, а потом пугаешь нас этими выдумками, это я за тобой давно приметила; как случится, достанется нам какая-то радость, ты просто боишься, что нам легче, лучше станет!..

– Погоди, погоди! – перебила неласково сестра. Ты и Щеголиха – вам лишь бы вырядиться, лишь бы поспать подольше – вот в чём ваше благополучие... счастье... Но так умеют не все.

– Если сама не можешь быть счастливой, не получается у тебя – ну и оставайся какая есть, только язык всё-таки прикуси. Разве мы виноваты, что

тебе вечно что-то мерещится... Не нагоняй на нас страху, а то ещё и правда призовёшь что-нибудь такое...

– Ну хватит тебе, ребёнок проснётся! – ответила Дырявая Ступа и отвернулась – и больше не говорила ничего, лежала так до утра, не меняя позы.

А утром начали рушиться благополучие и спокойствие, вчера посетившие, наполнившие, осветившие их дом.

Мальчик уже поднялся и, ёжась от утреннего холодка, прыгая по голым, вытертым, без травы проплешинам во дворе (чтобы не замочить ноги в росе), направлялся к кухне... И вдруг раздался вопль Модистки. Мальчик оглянулся испуганно и увидел: их большая чёрная кошка крадучись спускалась по лестнице с веранды, в зубах, она держала ласточку. Вторая, уцелевшая, ласточка отчаянно пикировала над кошкой, то и дело задевая её по голове, но та только пригибалась к ступенькам – добычу не выпускала... Нападая, оставшаяся ласточка старалась – мальчик видел – угодить клювом кошке в глаз. Однако кошка так и не выпустила жертву, и когда вторая ласточка не дала-таки ей залезть под дом, кошка пошла через двор, не зная, где укрыться. Взгляд мальчика сразу же отыскал нужное: у столба веранды, приготовленные отцом, стояли-ждали оструганные палки – будущие рукоятки мотыг... Он мигом схватил одну из них и сплеча, изо всех своих сил запустил в кошку. Он попал – близко было, – и кошка, отлетев метра на два, дернулась раз-другой – и испустила дух. А мальчик, будто летел вместе с палкой, вмиг оказался тут же рядом, поднял окровавленную ласточку... удивился: до чего же лёгкая, словно пушинка, любой ветерок дунет – и унесет её... Даже не то что лёгкая – она вовсе не весила ничего.

Но тут же, не дав почти ему времени на это удивление, возле самого его уха раздалось что-то похожее на выстрел. И сразу вся земля – от того места, где он стоял во дворе, и до самого поля, где недавно пахал отец, подобно тому как поднимается противоположный край качелей, когда наступаешь на свой ближний край доски, – земля вдруг опрокинулась на него чёрной стеной...

Это настиг его отец, прибежавший на крики, – не успел разобраться, кто нарушил только-только установившееся спокойствие в доме.

Пришёл в себя, когда уже лежал на веранде. Над ним склонилась мать, и сёстры были тут же.

– Не бойся, сынок, не бойся... – повторяла мать.

По бескровным, прозрачным её щекам скатывались прозрачные слезинки. И голос её казался сейчас мальчику не всегдашним, близким, родным. Словно бы издалека слышался, долетал слабым отголоском. Все голоса и звуки он слышал отчётливо. Её же голос – словно бы из другого мира.

... будто говорила она из глубины холма...

...Весь год потом их кормил урожай этого посева... но голос матери уже потерялся в невысоком, украшенном цветами холмике.

Отец, хоть и носил на теле рубцы фронтовых ран, долго ещё тянул. Да и как ему было иначе: ведь всех четверых надо было поставить на ноги. Всё,

что он посеял, должно было вызреть и налиться... и он дотянул до этого срока, на большее его уже не хватило...

И средняя сестра оставила их примерно тогда же. Для себя она ничего не посеяла, а когда поспело то, что предназначила для других, посчитала, видно, что никаких дел больше не осталось у неё на этом свете.

А вот оставшимся двум сёстрам жаловаться не на что. Хорошие дома, мужья, дети... Когда сейчас встречаются с ним, то одним лишь недовольны: тем, что не так часто видятся, как хотелось бы.

Но он забывал об этих сожалениях, как только расставался с сёстрами, и они тоже забывали – словно был такой между ними уговор...

«Главное ведь в том, чтобы часто видеться, это даже важнее, чем родство», – рассуждали все трое при встрече, словно вразумляли кого-то, объясняли это кому-то постороннему… хотя никого рядом с ними из посторонних не было.

В его кабинете резко зазвонил телефон.

Он вздрогнул, словно разбудили его внезапно среди ночи.

– Ты что, совсем уже всё позабыл? Перерыв кончается, я сижу, жду тебя, и всё нет... Телефоны твои испортились, что ли?

Я был далеко...

– Где это? И уже успел вернуться?

– Да нет... нет ещё...

– У тебя что, температура! Неужели твоя секретарша не могла просунуть голову в дверь и сказать этим твоим посетителям, что перерыв у тебя? Эта твоя толстуха похудеть, видно, боится. Подняться лень...

– Да она и не должна совать голову в двери, – недовольный её тоном, холоднее заговорил он. – Она заходит, когда я её вызываю.

Он бессознательно опустил свободную руку на стол и привычным движением нажал кнопку-улитку, прилаженную к дереву стола.

В пустой соседней комнате прозвучало и захлебнулось сдавленное жужжание.

Ну да, все же обедают.

– Ты помнишь чёрных улиток?

– Слушай, ты что там, всёрьез свихнулся? Или спишь?

– Ну уж в этом нам друг друга грех упрекать: оба мы не живём – дремлем. Смотрим приятные сны – не задумываемся, что когда-нибудь этому конец придёт, продолжал он невесело. – Слушай, ты не помнишь чёрных улиток... ну тех, что мы видели у родника? Помнишь – налипли на черпалку, на ольховые листья... Листьев много нападало... я ещё чистил тогда родник?..

– Знаешь, как я погляжу: тебе или времени некуда девать, или же взаправду жар у тебя... о чём ты говоришь? да что я! Газа нет, слышишь – газа!

– Да ну тебя с твоим газом... Опять из детсада кто-нибудь домой звонил?

– Конечно, всю душу мне вымотала. На мою беду, муж её начинал работать у тебя...

– Вечером я заберу ребёнка. – И, не слушая больше, что там ещё говорила жена, положил трубку.

Он подошёл к распахнутому окну и посмотрел на холмы... Словно два огромных зубра мирно прилегли отдохнуть... Ближний, с вечнозелёной буйной растительностью, всегда одинаковый, почти не меняющийся от весны до осени, и соседний с ним, дальний, – там среди крохотных квадратиков черепичных крыш цветут груши и персики, а если приглядеться внимательнее – можно различить и другие деревья, что цветут сейчас, а потом, в назначенный срок, непременно принесут плоды. Есть и каштаны, и грецкий орех – это уже зимние лакомства. Там на дальнем холме всегда можно заметить пусть незначительные, но многое говорящие глазу перемены: весеннюю кипень цветения сменяет тёмная летняя зелень, а к осени наливаются солнцем разнообразные плоды и набирает силу багрянец увядания... А потом всё покрывает холодная зимняя белизна.

Что-то рождается, что-то умирает...

Но сейчас взгляд его, словно блуждающий в мире корабль, растерянно озирал неожиданное множество зелёных и белых островков-пристанищ, словно бы не зная, которое избрать...

Заглядевшись на дальний этот холм, подвластный смене времён года, он понял, что другой, ближний, холм давно уже наскучил ему своим вечнозелёным безжизненным однообразием.

Он отошёл от окна и, не садясь за стол, нажал на кнопку-улитку. В соседней комнате слышался стук отодвигаемых стульев, кончился обеденный перерыв. Через некоторое время отворилась дверь, щедро подбитая войлоком, словно телогрейка северянина – ватой, и обтянутая дерматином.

Резко стуча каблуками, будто маршируя по мостовой, к столу подошла секретарша. Он внимательно, будто впервые встретив, оглядел её. Легко было догадаться, что она на своём секретарском веку сменила не одного начальника, многих пережила. Угадывалось и то, что не прочь была – дай ей волю – проявить свой властный, неуступчивый характер. Видно, там, в своей приёмной, она что-то ела. Сейчас он смотрел на неё, идущую к нему солдатским шагом, выискивающую языком остатки пищи во рту, с неприкрытой брезгливостью.

– Слушаю... – она подошла к столу вплотную, только что не оперлась на него. И всё равно ему показалось – грузно надавила на столешницу...

– Когда входите ко мне, да и в приёмной тоже, – не жуйте. Для этого существует определённое время и место, – неприязненно сказал он, садясь. – И ещё...

– Как это – «не жуйте»?.. – От неожиданности она ничего не могла возразить. На щеках её проступил румянец, но лишь на минуту.

– И ещё... – продолжал он всё так же неприязненно. – Кто бы ни приходил ко мне: издалека ли, нет, из села, из города, по делу ли, просто так... В общем – как бы там ни было, никого не отпускайте, не предупредив меня. Понятно? Сегодня кто-нибудь был?

– Есть же приёмные дни, не я их выдумала, – выпалила секретарша, бледнея от злости. – Сегодня были... тот, из села... Надоедает нам каждый день. И ещё двое, но...

– С сегодняшнего дня запомните: обратно, не сказав мне, не отправлять никого. Этот, что из села, наверно, и завтра появится здесь.

– Придёт, конечно, будет ходить, покуда двери нам не оторвёт.

– Когда придёт, сразу впустите, а сейчас – можете идти.

Она без промедления повернулась и пошла к выходу – но уже не так уверенно стуча каблуками. Перед тем как затворить за собой дверь, бросила на него мгновенный встревоженный взгляд.

Видно было, что она удивлена, однако равнодушная, безразличная ко всему, что касалось работы, она возвратилась к своему месту с обычным выражением невозмутимости на лице... вернее, лицо её говорило прежнее: ничего, пересидим и этого начальника...

После работы он не стал вызывать «Москвич», который обслуживал кроме него ещё двух человек, хотя сегодня машина была в его распоряжении. Пошёл пешком. Пересекая подстриженный, прибранный, как невеста к смотринам, сквер возле площади, он видел, как рука весны исцеляет мир от зимней спячки, во всё вдыхает жизнь: чему цвести – начинало цвести, чему просто зеленеть – выбрасывало листочки; вся природа участвовала в этом благодетельном сговоре, в этом дружном вселенском пробуждении.

Ему захотелось скорее дойти до детского сада, скорее увидеть ребёнка, и он прибавил шагу.

Поначалу ему, отцу взрослой уже дочери-студентки, после стольких лет снова заимевшему вдруг ребёнка, не знали что сказать сослуживцы – и те, кому подчинялся он, и те, которые подчинялись ему. Замечал смятение в их глазах и сам начинал чувствовать себя неловко, словно уличили его в чём-то постыдном.

Прошло время, и взгляды, поначалу смущавшие его, реже стали останавливаться на нём... привыкли к тому, что он – молодой отец, любопытство погасло. За время своей работы здесь он не раз видел смятение в глазах сослуживцев: так же легко и быстро удивлялись всему, как быстро потом ко всему привыкали. И все же в нём осталось и жило до сих пор ощущение некоей вины... Не то чтоб отвести ребёнка в сад и обратно, – нет, если даже ребёнок где-то у них во дворе, увидев его, кидался радостно ему на шею, он озирался, словно стесняясь, что маленький этот ребёнок – его, и старался поскорее скрыться с ним в доме.

Приближаясь к детсаду, он ускорил шаг, – однако сегодня и думать забыл, что его могут увидеть знакомые, сегодня это как-то неважно было. Утомлённый желанием встречи, он издалека разглядел своего сына во дворе, рядом с воспитательницей.

Не успев перевести дыхание, поклонился женщине, та за руку подвела к нему его мальчика.

– Спасибо... сегодня ребёнок... по телефону...

– Да какие тут могут быть благодарности! – прервала его воспитательница – стареющая невысокая женщина в белом халате. – Такого хорошего ребёнка я и не упомню. Уже по мне-то видно, сколько я работаю с детьми... но такого...

Она ещё что-то продолжала говорить, однако он уже не слышал...

Как только он заполучил, почти отнял у неё руку ребёнка, поблагодарил бессвязно и скорее распрощался с услужливой воспитательницей.

Они перешли улицу, и тогда он остановился, присел на корточки, жадно заглянул мальчику в глаза. А мальчик, будто узнавая и удивляясь, будто что-то проверить желая, удостовериться в чём-то, смеясь, трогал пальчиками его лицо, осторожно коснулся век, ресниц.

А он – словно впервые смотрел в глаза мальчика, словно никогда не видел их... или видел так давно, что мог позабыть – и вот сейчас захотел припомнить. Может быть, и ребёнок трогал глаза отца, чтобы проверить, убедиться, что они – есть, что они – живые, видят и помнят.

Он поднялся, взял мальчика за руку, и они пошли домой.

– Ты завтра позвонишь мне?

– Ага!

– Позвони... А в субботу и в воскресенье пойдём с тобой кататься на катере... Как это стихотворение начинается?

Кто из вас видал, как в поле
пашет, сеет человек...
Чари-чари, чарирама,
пашет, сеет человек, –
продолжал отец.

– Чари-чари, чарирама, чари-чари, чарирама, – подпевал мальчик, весело подпрыгивая в такт каждому слову.

Перевод С. Шевелёва

ЗА СЕМЬЮ КАМНЯМИ

Тихая пришла осень. Прозрачней сделалось небо. Густое красное зарево долго остывало теперь утром и вечером на этом прозрачном небосклоне. Земля, утомлённая превращением посеянного весной семени в зёрна, теперь отдыхала и словно надышаться не могла остужающим осенним ветром.

Переспелое крупное румяное яблоко, оттягивая ветку книзу, заглядывало сквозь тусклое стекло в комнату – освещало её, напоминало о полноте жизни – радовало глаз. Из комнаты казалось, что всё вокруг отдыхает в умиротворяющем излучении яблока, потому что само оно и впрямь отдыхало: в нём уже созрело семя. Всё это долгое время с весны, с тех самых пор, как белый цветок превратился в зелёную завязь, яблоко бережно сохраняло в себе зачатки будущей жизни. Вся жизнь яблока, скрытая от постороннего глаза, сосредоточилась внутри него, и всё это время яблоко кормилось соками из надёжно державшей его ветки – во имя новой жизни,

заключённой в семенах. Теперь они созрели, покоятся внутри плода – тёмно-коричневые крепкие зёрнышки... Само же яблоко – оно как пожелтевшие бесполезные листья, что опадают осенью. Но в нём всё же таится жизнь; скрытая до весны в этих зёрнышках, она с первыми весенними лучами с силой рванётся, пробьётся к солнцу, выстрелом пронзит и оболочку семени, и яблоко, что носило его...

Так, наверное, всё смертное несёт в себе своё продолжение, своё бессмертие...

Мальчик уже много дней, с той поры, как заболел, глядя в окно, видит яблоко, которое покойно касается стекла. Оно вселяет покой и в мальчика. Ему становится легче, и он дружелюбно наблюдает за румяным невольным соседом. Мальчику с его постели видно лишь это яблоко да кусочек неба вокруг. Чтобы увидеть больше, надо приподняться. А приподняться больной не мог. Стоило только лишь попробовать привстать, хоть чуть-чуть, как начинало рябить в глазах и надо было с усилием выталкивать воздух из лёгких: он задыхался. Мальчик перестал сопротивляться. Теперь уже он много дней тихо лежит в своей постели и смотрит на краснощёкое яблоко. Ему нравится тишина: она не мешает думать. И он думает о том, как далеко запрятало яблоко свои семена, какое безопасное, уютное место оно для них нашло...

Так он думает долго, но вдруг тишина начинает его пугать. И он с особенной болью вспоминает, что в классе пустует место рядом с Майей. Его место. У всех у них кто-то из близких воюет на фронте, но у Майи воюют и отец и мать. У неё в доме осталась только бабушка, одна бабушка. А теперь и в школе за партой она сидит одна. Всё время одна. Но ведь так нельзя! Когда у человека на войне и отец и мать, а дома только старенькая бабушка, нельзя, чтобы ещё и в классе он сидел один, нельзя…

И потом… Когда отец уезжал на фронт, этот угрюмый сильный человек, которому вся семья подчинялась как безусловному повелителю, этот глава семьи, забыв обо всём, приоткрыв от удивления рот, во все глаза смотрел на пускавший пар, фыркающий паровоз. Он даже забыл о провожающих, так был он ошарашен и, видно, слегка напуган паровозом, а глаза его выражали неподдельный детский интерес...

И река отдыхает – с осени и до весны. Не просто отдыхает – очищается. Промывает дно, каменистые берега. Ведь всё лето в воде полно людей... их грязь, их пот... И женщины всё лето ходят к реке стирать, мыльная пена щедро стекает с белья в реку, слепит её. Так и течёт она всё лето в мыльных пузырях, в пене, брезгливо стесняясь её. Реке ведь не спрятаться, не утаить ничего... слишком прозрачна, слишком не защищена она... Что ни постарается она спрятать – обязательно отыщет в ней любопытствующий взгляд. А как же можно не тревожиться о том, что открыто постороннему взору?!

Мальчик любит тишину и покой, но многое тревожит его, торопит – как можно скорее нужно бы встать. Сегодня ему вроде получше. Он даже думает, что если очень постарается, то сумеет подняться, но пока не решается попробовать.

Утром лучи восходящего солнца окрашивают тот кусочек неба, что виден мальчику с его постели. Сначала небо кажется ржавым, потом начинает золотиться, и мальчик понимает: это солнце набирает силу, поднимается всё выше. А ещё позже золотые искорки лучей пропадают, но небо целый день остается светлым. К вечеру мальчик снова видит вокруг яблока ржавое, но теперь оно не переходит в золото, а всё больше тускнеет, потом же вовсе меркнет, словно кто-то залил водой тлеющий уголёк. Яблоко исчезает в темноте. Однако вскоре прямо над ним загорается яркая звезда, и мальчику кажется, что это внутри яблока зажёгся огонёк.

И река отдыхает… Легко сказать: река, мол, за семью камнями очищается… Весной, в засуху, она до того мелеет, что по камням, покрытым скользкой тиной, можно перебраться на другой берег, не замочив ног. За семью камнями вода очищается... Летний дождь – он недолгий и шумный, не похож на весенний. Не помещаясь в привычном ложе, весело несёт река после ливня свои обильные побуревшие воды. Но это ненадолго. Не успев очиститься от наносов, от грязи и тины, река снова мелеет...

Всем кажется, что в этом году осень на редкость припоздала, но это всё потому, что люди устали от ожидания; сама же осень пришла как рачительный хозяин, в самый раз: не поздно и не рано.

На дворе непривычно тихо – домашние заняты своими делами.

Заняты... Вот и сегодня ещё никто не заглядывал к мальчику. Мать, как всегда, поднялась на рассвете и ушла в поле, да и бабушке недосуг. Бабушка боится тишины. И когда в доме всё замолкает, она начинает что-то бормотать себе под нос или подолгу разговаривает с телёнком. А то припомнит все свои недавние обиды – и ну честить на чём свет стоит своих обидчиков. Но сегодня что-то её не слышно, видно, есть с кем переброситься словом. Наверно, тётя опять не вышла на работу. Когда же тётя остаётся дома, бабушка всё секретничает с ней где-нибудь в укромном уголочке. Мальчик знает, о чём они шепчутся, да и как не знать, если изо дня в день они толкуют всё об одном и том же. За последнее время тётя и бабушка особенно сдружились. Потому что война.

Мать – та очень устаёт на работе, вечером у неё только и хватает сил, чтобы кое-как перекусить, да и лечь поскорее спать, а на рассвете опять на колхозную работу.

Во что бы то ни стало надо сегодня попробовать подняться. Надо!

...Осенью вода в реке холодеет, становится прозрачной, её не мутят уже внезапные ливни... Бывает, правда несколько дней подряд моросит нудный холодный дождь, но река успевает справиться с ним, унести его с собой. И охотников искупаться находится всё меньше. Да и те, кому необходимо перебраться на другой берег ищут брода.

Моста здесь нет, однажды его снесло, а новый так и не поставили...

Потому что война.

Вот уже четвёртый год.

Нельзя сказать, что совсем уж не осталось в селе мужчин, что совсем уж некому перебросить через реку мост. Но моста всё же нет...

Осенью вода в реке холодная. Очень холодная. Теперь, наверное никто уже из местных не рискнёт динамитом разорвать её дно, чтобы добыть глушёной рыбы. Разве только военные. Они глушат её динамитом – гранатой. Сорвав кольцо, бросают аккуратную и безобидную на вид гранату в воду, мальчик видел. Какой бывает взрыв! Брызги чуть не до неба.

Все эти три с лишним года так вот и взрывают реку, глушат рыбу кто чем может: одни динамитом, другие гранатой.

Потому что война. Как тихо...

Когда у него был жар, бабушка часто заходила, суетилась, грозилась зарезать старую курицу.

– Зарежу тебе курицу, сварю бульон – и в миг выздоровеешь, ненаглядный мой, да падут твои болезни на старую мою голову, – говорила она.

Потом пришла Майя с градусником. Его лихорадило от высокой температуры, но он обрадовался Майе и даже почувствовал себя немного лучше. Старуха же истолковало по-своему:

– Ишь, поставили градусник – сразу полегчало.

Когда Майя ушла, ему снова стало хуже. И опять бабушка грозилась зарезать единственную оставшуюся у них курицу.

– Зарежу, как есть зарежу, – твердила она, – знаешь, какая жирная? Сплошной жир! И Адуше будет что втирать в руки. Господи, до чего ж огрубели у бедной девочки руки. Страшно смотреть!

Что-то в последнее время бабушка и тётя очень уж сделались заботливы друг к другу; порой забывают не только о матери мальчика, но даже и об отце, а он ведь сейчас, быть может, в самом пекле...

...За эти три с лишним года столько было разливов, что река множество раз преображалась, меняла своё лицо – от истоков до самого моря: там, где когда-то был брод, теперь темнеет омут; где нельзя было проехать даже верхом на коне, теперь вода едва покрывает мелкие камни... И по всей реке не найти теперь глубокого места, где бы можно было вволю наплаваться.

Мельчают реки.

И они тоже тоскуют по тишине...

Потому что война...

Меньше стало заводей, и совсем обнаглели любители глушить рыбу. Одну и ту же заводь разворачивают динамитом или гранатой десятки раз... но эту, по счастливой случайности, не трогают. Раз рванули гранату и здесь, но поживиться особенно ничем не смогли и потому оставили её в покое. Заводь считается безрыбной, да и пройти к ней не так-то просто.

Тогда мальчик не знал ещё того, что знает сейчас. О заводи.

Не знал, какую тайну скрывают её тёмные глубины. А теперь даже мысленно боится произнести... боится за неё, боится, что кто-нибудь разгадает её тайну, боится, что стоит только сказать однажды – и тайна сделается далёкой и недоступной...

Потому что война.

Мальчик приподнялся в постели. Приподнялся осторожно, прислушиваясь, не кружится ли голова. Вроде нет. Тогда он потихоньку начал одеваться. Натянул брюки, а поверх ситцевой рубашки, в которой лежал в постели, решил надеть свою самую любимую курточку. Бережно взял её со спинки стула, отряхнул и осторожно просунул руки в рукава. Куртка когда-то была зелёного цвета, теперь же успела вылинять, но мальчик любил её, и она казалась ему красивой. Главная её прелесть заключалась в количестве карманов. Их было целых пять. И на груди, и по бокам, и внутри. Не вставая с постели, мальчик ногами нащупал на полу тёплые резиновые калоши – неслыханная роскошь по нынешним временам. Мать выменяла их на рынке за большую головку сыра и банку мацони.

– Смотри, береги их как следует. Другие не скоро сможем купить. Видишь, сама в чём хожу, – сказала мать.

Мальчика не обидели её слова.

Шла война…

Но сегодня он встанет впервые после болезни и поэтому имеет полное право надеть их.

От слабости дрожали колени. Медленно, неуверенно ступая, он вышел на веранду. Солнце встретило его ласковыми нежаркими лучами. Со страшным чувством отрешённости, будто видел впервые, осматривал он знакомый до последней мелочи двор, лесистые горы невдалеке. Так с ним бывало каждый раз после болезни. Всё казалось обновлённым, получало какую-то особую притягательную силу. Он увидел, как бабушка перебирает во дворе сушившиеся на большом столе белые крепкие зёрна кукурузы.

Основное – это пища. Потом – солнце, главный её создать, потом – вода, потом – огонь... Словом, всё то, чем у истоков своего существования стал пользоваться человек, всё то, чему он поклонялся, как божеству, а потом, зазнавшись, перестал замечать, – всё это человек вновь открывал для себя. И снова – поклонялся...

Потому что война...

– Заур, – оглянулась бабушка, – встал, дорогой, да умереть мне раньше тебя! Какие у тебя круги под глазами! И привязалась же к тебе эта проклятая болезнь, будь она неладна!

Бабушка ласково заглянула мальчику в глаза, потрепала его по щеке и пошла к апацхе1, так тяжело ступая по земле, словно желала сделать ей больно. И поделом! Сколько дорогих людей отняла у неё! Особенно горькой болью отозвалась в сердце смерть двух младших дочерей, попавших в автомобильную катастрофу.

Теперь бабушка, услышав гудение машины, смертельно бледнеет.

В тот памятный день проводов отец с таким любопытством и страхом смотрел на паровоз... А бабушка каждый раз вздрагивает, услышав сигнал автомобиля, словно её укололи раскалённой иглой... И мальчик решил, что между его родом и всеми этими гудящими, ревущими, фыркающими

[1] Апацха (абх.) – плетёный домик.

машинами существует непримиримая вражда. Ему кажется, что именно эти машины заставили его семью переселиться из долины в горы, изгнали её и теперь все они вынуждены жить здесь...

Бабушка молчаливо и стойко перенесла обрушившееся на её голову страшное горе. Только изредка вздохнёт, да так тяжко, будто земля всем своим весом давит ей на грудь. Глубокие, как следы резца, морщины избороздили её лоб. И на кладбище не причитает старуха громко, как другие, над покойными дочерьми. Ласково проведёт рукой, погладит могильную землю и долго тихо и страстно что-то шепчет, словно надеясь, что дочери услышат, откликнутся на отчаянный её зов. Казалось, даже замершие над кладбищем древние и ко всему привычные горы и те склоняют свои седые вершины перед безысходным горем матери. Уходя от могил, старуха распрямляла спину и обращала гордо поднятое мокрое от слёз лицо к горам, словно бы взглядом подбадривая их: «Чего ж это вы пригорюнились? Выше голову!» И горы, старые и разрушенные временем, казалось, становились выше, подчиняясь неуёмной силе человеческого духа.

После несчастий, постигших дом, мальчик стал бояться смерти. Лица покойниц – этого он не мог забыть. Однако он обнаружил вдруг, что, когда он смотрит на бабушку, страх исчезает в неё. Как будто бабушка разгадала тайну смерти и этим оградила от неё и себя и всех, кто жил рядом с ней.

Мальчик спустился с веранды и прислонился к нагретому солнцем плетню.

– Заур!

Старуха вышла из апацхи, неся что-то в подоле. Мальчик догадался, что она не хочет показывать ему, что такое у неё там лежит, потому и приподнимает с нарочитой небрежностью юбку, словно боясь замочить её росой. По лицу мальчика старуха поняла, что хитрость её не удалась.

– Угостила бы орехами тебя, да боюсь, голова от них разболится, ты ещё слабый, не дай Бог, жар поднимется. Что за год: даже орехи не уродились. Когда можно было и без них обойтись, так девать было некуда. А нынче и те жалкие горсточки, что собрали, наполовину попорченные... – она осеклась, поняв, что переборщила. – Заур!

Неужели теперь о той проклятой курице заговорит? – Унан![1] – сокрушённо воскликнула она. – Что же я, старая, да лишиться мне пищи, морю тебя голодом? Идём, дорогой, идём. Хочешь молока? Есть и немного сыру, но нужно поберечь для гостей, ачашв приготовить надо.

Значит, будут гости! Правда, насколько он понял из намеренно неясных бабушкиных слов, не сама она их пригласила... значит, кто-то дал знать, что придёт к ним не один – с гостями.

Бабушка была не из тех, кому легко можно сесть на голову. И не для каждого распахнуты были двери её дома. Но теперь иные времена... «Кое-кого принять в домашней обстановке вовсе не помешает. И Адуше на работе больше уважения будет...»

[1] Унан – возглас удивления в речи женщин.

– Думала, хватит на несколько аджанджихуа, но куда там! – бабушка, примостившись у порога апацхи, просеивала меж ладоней орехи. – Возьми несколько, всё же не во вред... Умница! Другой бы захватил целую горсть.

Мальчик молча вышел из апацхи, стал у плетня, прислонился... Ласково пригревало солнце, голубело небо, лёгкий ветерок шевелил волосы, – похоже было, как если бы знахарь, произнося заклинания, дул в лицо... Что за осень выдалась в этом году! Далёкие, тихо застывшие горы уже запорошены снегом, словно крупной солью осыпаны. Ниже, среди оголившихся лесов, ярко желтеют последние листья буков, каштанов, темнеют ели. В долине леса и рощи всё ещё зелены, дышат ещё не тронутые увяданием листья. Осень, безжалостный художник, обнажила и как бы сблизила границы жизни и смерти. Их краски, зелёная и жёлтая, чётко разделили мир на живое и увядающее, уходящее...

– ... На кого ты похож?!

Старуха высоко подняла брови, держала их так напряжённо, словно опасалась, что чуть ослабит усилие – они тут же и сорвутся, упадут наземь. Руки её, перебиравшие орехи, стали двигаться чаще, но тяжёлый её взгляд как был обращён вниз, так и не подняла его на внука. Наверно, сейчас её душили слёзы, но она ничем не выдала своей боли. Да и к чему? Разве затоскует, захлебнётся её слезами этот огромный равнодушный мир? Что ему слёзы старой женщины! Дай волю – совсем затопчет. Бабушка смотрела на землю как на нечто одушевлённое, разумное и жестокое, такое, что не встревожится муками, болью одного человека. Наоборот, воспользуется подавленностью человеческого духа, чтобы заставить ещё ниже опуститься и так уже согнутые от боли плечи. Но если стоять твёрдой скалой, если никогда не опускать головы, – что бы она там ни готовила, судьба, сама поостерёжется обрушивать на такого человека свои горькие сюрпризы.

Мальчик со своего места отчётливо видит глубокие, как шрамы, морщины, изрезавшие бабушкин лоб. Для него эти морщины – как письмена, по ним он часто может прочесть мысли старой своей бабушки.

Морщины просят: «Сходи за дровами», спрашивают: «Зарезать тебе старую курицу?», хвалят: «Умница! Другой бы...», недоумевают: «На кого же ты похож?», сетуют: «Бедняжка, какое же время тебе суждено!»

Но иногда морщины так собираются на лбу, что мальчик, как ни старается, не может понять... Какую же тайну они так старательно скрывают? Мальчик пытается догадаться, но, измучившись и ничего не добившись, малодушно отступает. И тогда кажется ему, что он словно бы ступил в реку, знакомую с детства, а там вдруг в привычном, изученном месте оказалась глубокая яма, о которой он даже не подозревал... Может, бабушка узнала что-то, о чём она хотела бы сказать, но не смеет? И вынужденная эта немота, это молчание нещадно изрезали морщинами её лоб? Не случайно ведь бабушка иногда так странно глядит на него, только на него одного в доме...

– Заур! – окликает его тётя – она только что вышла из своей комнаты; стены там увешаны фотографиями умерших родственников.

Люди на фотографиях устали смотреть в одну и ту же точку, – и мальчик жалеет их.

– Заур! – повторяет тётя, любуясь собой, своим голосом, и с особой томностью растягивает букву «а»: З-а-ур, поднялся? Вот молодчина!

Предмет неустанных забот сухопарой и плоскогрудой Адуши – белоснежный ряд крупных выпирающих наружу зубов. Когда Адуша молчит, кажется, что во рту у неё застрял колобок. Поэтому-то, наверное, она так любит держать губы приоткрытыми. Мальчик думает, что у неё гораздо больше зубов, чем необходимо. Когда тётя в хорошем настроении, она беспрестанно обнажает, показывает зубы; словно предлагает полюбоваться: «Вот какие они у меня!»

– Не простудись смотри снова, – говорит наставительно тётя, спрятав вдруг зубы, а с ними и улыбку. Не ребёнок, должен понимать, не до тебя сейчас!

Старуха торопливо поднялась навстречу дочери. – Есть в этом доме хоть какая-нибудь еда?

– Зачем, доченька, так рано поднялась? Отдохнула бы, раз выдался свободный денёк. А по хозяйству я сама управлюсь.

– Можно подумать, это кого-то тревожит в доме, рано ли я поднялась!

Если даже Адуша и шутила, получалось у неё до того грубо, что окружающим становилось не по себе.

– Несчастная я! – горестно восклицала тётка время от времени; если же поблизости оказывалась сестра, мать мальчика, то жаловалась ей: – Тебе-то что, ты счастливая: семья, ребёнок.

(Мать молча кивала головой. «Тебе бы такого счастья...» – можно было прочесть на погрустневшем её лице. Трудно всё же найти людей, довольных своей жизнью!)

Если же рядом оказывалась старуха, Адуша изливалась иначе:

– Тебе-то что! В моём возрасте уже чьей-то невесткой была. А я?.. Когда человек несчастен, никому он не нужен, ни родным, ни знакомым.

Старуха молча прошла к апацхе. Адуша последовала за ней, крепко сжав тонкие губы.

Да, кто виноват, что она ещё не замужем!

Никто…

Война…

Адуша рванула к себе дверь, та жалобно скрипнула, словно не хотела открываться. Мальчик оглянулся на звук. И вдруг он отчётливо понял, что дом тоскует. Да, именно тоскует. Бабушка, тётя, да и сам мальчик – не интересны и не нужны ему. Он скучает о ком-то другом. Жадно глядит каждой досточкой, каждым гвоздем на дорогу: надеется, верно, что вот-вот придёт он...

А его всё нет.

Дом изнывает в ожидании.

Он хранит на себе, на стенах своих отметины былого времени: здесь провели рубанком, там подправили молоточком, тут – топором. Крышей

своей, каждым печально распахнутым окном, дверьми, каждой ступенькой – всем существом своим дом ждёт человека. Хозяина.

Но человек этот далеко от дома. Потому что война.

И двор тоскует по человеку...

Этим человеком, о котором безысходно тосковал дом, был отец мальчика.

А деревья ни о ком не скучают, ничто им не нужно, кроме земли. Деревьям даже неприятно прикосновение человеческой руки. Они хотят быть наедине с землёй. И только с ней.

Адуша снова вышла во двор, на сей раз со стаканом воды в руке, и долго, тщательно прополаскивала рот, большим и указательным пальцем проводила по ряду своих отличных зубов, всё равно как по струнам апхиарцы1. Потом взглянула на мальчика и, словно в награду, обнажила зубы: «Можешь полюбоваться!»

– Заур, проверь-ка, милый, не забралась ли в кукурузу свинья! – окликнула его бабушка. – Заметишь близко от ограды – гони её.

Мальчик был рад поручению...

– Не будет свиньи, так хоть пройдусь.

– Только недалеко!

– Заур, поосторожнее с курткой! Не то явишься перед гостями замарашкой.

Что это они, будто сговорились, зовут его только Зауром. Словно забыли его настоящее имя: Зауркан. И дома, и в школе, когда его хвалили или же хотели задобрить, все называли его Зауром. Но ему нравилось, когда его звали иначе, мужественнее, звали, проглотив начало его имени, просто и коротко: Кан. Чаще всего Каном звал его отец. Отец был вечно занятый, мрачный человек. И даже когда он вовсе и не сердился ни на кого, всё равно выглядел бирюк бирюком. По правде говоря, мальчик не успел его как следует разглядеть. Всегда что-то стояло между ними: работа отца... заботы по хозяйству... поле... ночь.

Мальчик не знал сейчас, скучает он по отцу или нет. Ведь отца так давно нет дома. Так давно, что мальчик привык к его всегдашнему отсутствию. Как быстро привыкает человек ко всему! Да и мать он видел теперь очень редко. Уходила она ещё затемно, возвращалась к ночи и уставала до того, что уже не в состоянии была ни о чём скучать, тревожиться, заботиться...

Она не искала поводов, как Адуша, чтобы оставаться дома каждую неделю по нескольку дней. Она была иной породы.

Да, отец звал его Каном. Он помнит: отец уставал очень сильно, поэтому всегда бывал такой хмурый. Когда человек занят делом, которое любит, как бы он ни уставал, он не может быть безысходно мрачным. Тогда и, усталость – как продолжение счастья. Но то, что делал отец, не было счастьем. Ни для кого.

– Ох, устал... – изредка жаловался он.

---

[1] Апхиарца (абх.) – смычковый абхазский народный музыкальный инструмент.

– Подумаешь, с чего это тебе уставать? Кусок мамалыги кто же не сумеет заработать? – кривила губы тётя Адуша.

– Напрасно тебе кажется, что мы дома сидим сложа руки, – добавляла сердито бабушка. – По-твоему, всё это хозяйство не требует никаких забот?

– Пусть счастья не увидят даже и дети того, кто сосватал меня за тебя! – говорила мать мальчика.

И она с упреками! Но отец не сердился на неё.

– Хоть бы уж ты промолчала, – беззлобно обращался он к жене. – Кто ж, если не ты…

Только мальчик не жаловался отцу.

– Кан! – резко окликал отец, когда сердился.

Ни разу, даже случайно, не назвал его Зауром.

– Ка-ан, – звал он мягко, когда был в добром настроении.

Мальчик очень хорошо помнит отца, каким увидел его на перроне в Ткуарчале, в тот памятный день проводов на фронт. Отец стоял, сжимая в руке свёрнутую войлочную шапку. На стриженой загорелой голове залысины выделялись, как светлые островки. Склонив как-то странно набок голову, отец не отрываясь глядел на пускающий пар дымящий паровоз. Вокзальная сутолока, суета, слёзы провожающих, скорбные лица – всё это как бы проходило мимо его сознания. Паровоз он видел словно бы впервые в жизни, впился в это чудище глазами, от удивления разинул рот.

Мать твердила: «Да куда ты смотришь! Хоть бы людей постыдился, если нас не жалеешь...»

Губы у неё опухли от плача, она жалобно смотрела на мужа. Будто смущаясь собственного отсутствующего взгляда, отец посмотрел поверх её головы и насильно улыбнулся. Растянутые в деланной улыбке губы его так и остались растянутыми, долго не принимали прежних очертаний. В эту минуту невозможно было представить его грозным главой семьи. Когда сестра и мать обняли его, он оглянулся на жену и сына.

Бабушка не плакала; не только сейчас, провожая сына на фронт, – даже и тогда, когда её дочери покойницами лежали в доме, и то никому не показала она своих слёз.

– Пожалей меня, сынок, береги себя, – сказала она, прощаясь с сыном.

Адуше:

– Не смей плакать, сказала же я тебе: плохая примета.

Матери мальчика разрешила:

– А ты плачь, голубушка, легче станет на сердце... Она, конечно, искренне говорила всё это, но, с другой стороны, ей и хотелось ещё, чтобы люди видели, как плачет её невестка. Чтобы люди повторяли: «Как любят друг друга! Как тяжко им расставаться!»

– Кан, – тихо сказал тогда отец и провёл ладонью по волосам сына. И больше ничего не добавил, но тонкие его губы дрожали.

Никакого спасу нет от свиней, словно бешеные, рвутся к кукурузе.

Война...

Возле ограды свиней не было, но мальчик заметил свинью мельника Крикуна, – она спешила к дикой яблоне, что росла неподалёку от плетня. За ней с визгом катились поросята. Свинья шла, упрямо и уверенно наклонив к земле голову, словно предводительствовала войском. В нос мальчику ударил зловонный запах болота и грязи, казалось, свинья насквозь пропахла им. С впалым животом, облезлая и худющая, эта свинья и зимой и летом всегда пахла так, будто только что выбралась из самого затхлого болота. И чего это она, тощая и постоянно голодная, так старательно охлаждалась в болотах, чего там выискивала – уму непостижимо. Можно подумать, с жиру бесится! Так нет, как бы не так! Мальчик ни разу не видел её, чтобы брела медленно и лениво, как должна брести свинья... Всё рыщет, торопится, всё никак не может насытиться!

Мальчик набрал горсть камней и один за другим все запустил в наступавших. Поросята завизжали, но свинья, не обращая внимания на камни, рвалась к яблоне. Упорство её бесило мальчика. В злобе он уже хватал камни покрупнее и потому всё чаще промахивался, а это совсем уже вывело его из себя. Как хотелось ему хоть разочек попасть в неё тяжёлым камнем, попасть как следует. На тебе! Попал наконец! И так здорово, так сильно, даже не хрюкнула!

Все взбесились, все, все!..

Мальчик ликовал, видя, как сразу осели от боли тощие бока свиньи. Ему казалось, исполнилось то, чего он страстно желал. Расправившись с предводительницей стада, он принялся колотить поросят.

Все взбесились, все!..

Злоба овладела всем его существом. В глазах от бешенства даже свет померк, он весь дрожал. Камни градом сыпались на поросят. Те пытались улизнуть, но беспомощно тыкались мордочками в землю, поднимались снова, и опять мальчик с остервенением кидал в них камнями.

Теперь он наловчился и попадал чаще.

В это время свинья, ощетинившись, вытянув худую шею, двинулась на него.

Все взбесились, все!

Метким ударом он сбил ещё одного поросёнка. Свинью он заметил, когда она была уже рядом. Но всё равно продолжал избивать поросят – только чтобы ещё больше разозлить её, досадить ей. Выбрав момент, мальчик запустил свинье в голову заранее приготовленным тяжёлым камнем. Удар пришёлся по уху. Свинья уронила к земле сразу отяжелевшую голову и, еле переступая, стала боком-боком уходить от мальчика. А мальчик... ему в глаза бросились вдруг бледные, растянутые поросятами соски свиньи. Кулак с камнем разжался, гнева, злобного азарта как не бывало. Горло свело судорогой рыданий. Во всём, ведь во всём абсолютно виноват этот Крикун-мельник.

Продал бы он её, что ли?

«Как же можно, она каждый год мне по двенадцать просят приносит».

Или кормил бы.

«Ещё чего, сама прокормит себя!»

Хоть бы часть поросят продал.

«Пусть растут, вес набирают».

Избитые поросята поплелись восвояси. Мальчик растерянно смотрел им в след. Глаза его горели от слёз.

– Х-а-а-ай, а-а-ай.

Словно из другого мира донёсся до него голос бабушки. Она, похоже, отпугивала коршуна, охотившегося обычно за цыплятами и курами. Мальчик запрокинул голову: небо было чистым и пустым. Тишина звенела в ушах. Видно, бабушка просто не выдержала её тишины, потому и подала голос. Наверно, Адуша опять рассердилась на что-нибудь, это ей недолго, и заперлась в комнате, где висят фотографии её погибших сестёр, а они устали уже смотреть всё в одну и ту же точку.

– Х-а-ай, а-а-ай...

Мальчик пересёк поляну и направился к мельнице, по дороге заглядывая в расставленные мельником на реке ловушки. Ну и постарался же мельник! Что ни шаг, то вентерь. Однако все эти три года в ловушки попадала только мёртвая рыба.

– Раньше-то даже лосось заходил... Да, да, клянусь Богом! Помню, однажды поймалось сразу два лосося. Мы с братом вдвоём не могли поднять. Так потом специально носилки из палок делать пришлось, чтобы унести такую тяжесть, – хвастал мельник.

Но теперь вода не приносит даже мёртвой рыбы. Рыбы не стало совсем. Люди говорят, что она теперь просто остерегается спускаться по реке к морю.

Потому что война...

Мальчику, сколько он помнит себя, никогда не нравилось это – что рыбу заманивают в ловушки.

Мельник взобрался по кое-как сколоченной из неотёсанных досок лестнице на прохудившуюся крышу мельницы и перебирал там зёрна кукурузы – они сушились на старых разостланных мешках. К вечеру уже можно будет молоть...

Главное – это пища.

Потому что война!..

Жернова ворочались еле-еле. И мельник сердился. Он был голоден, а когда мельник бывал голоден, он отвечал всем, чтобы приходили за своей мукой после обеда. Потому что голодного его раздражало любое, даже невзначай сказанное, не к нему обращённое слово. Но как только мельник набивал свой живот, он становился необычайно словоохотливым. И после полудня посетители могли вдоволь наговориться с ним, и сам мельник бывал доволен всеми до тех пор, пока снова не проголодается.

– Ты не видел Жоржа? – загремел он, повернув к мальчику свою крупную голову с оттопыренными ушами. Он так привык к грохоту мельницы, что разучился говорить тихо. Потому-то его и прозвали Крикуном.

– Жоржа не видел?

– Нет!

– Куда же он запропастился, дурень?

Мельник спустился вниз по покосившейся лестнице.

– Эё, Жорж! – заревел он, словно отбившийся от стада бык.

Маленькая, с остренькой крышей, вся залатанная, с тяжело поскрипывающей дверью, подновлённой множеством дощечек, мельница казалась со стороны не больше сундучка. Старые доски до того уже одряхлели, что успели всё позабыть, а новые заплаты были настолько уродливы, что их самих, наверное, удручало собственное безобразие. Они не хотели ни помнить, ни тосковать о тех, кто так изувечил их.

Здесь, возле мельницы, давно уже не осталось ничего живого. Кроме воды, что вращает тёмные жернова и оглушает людей своим шумом. У самого водоворота мальчик увидел вентерь, на редкость уродливый: половина прутьев, из которых он был сплетён, нелепо торчала в разные стороны. Однако ясно было – хоть и собрана ловушка неумелыми руками, ни одной живой твари из неё не выбраться ...

– Увидишь где-нибудь Жоржа, скажи ему, чтобы не зевал, приходил скорее, – проревел Крикун, не оглядываясь. Он всегда знал, что делается у него за спиной, как будто мог видеть не оборачиваясь.

В жёлобе сейчас воды было немного, низ его зеленило тиной. Трудно даже представить, что когда-то он был выдолблен из крепкого, живого дерева. Теперь ему всё безразлично, как и камням, лежащим под этой грязной водой. А что до мельничного колеса, так ему бы только лишь вертеться, ни о чём оно конечно же не помнит.

– Чего ты там застрял? – взревел Крикун. – Дел, что ли, у тебя нету?

– Главное сейчас – это пища, – сказал мальчик ему в ответ.

– Чего, чего?

– Война...

Мальчик пошёл вдоль реки.

– Увидишь Жоржа, скажи ему, пусть идёт скорее, разрази его гром! – послал вдогонку мельник.

Жорж и мальчик были ровесниками. В том году почти всех ребятишек, родившихся в поселке, нарекли Жоржами. Оказывается, так назвал своего сына некий руководящий ответственный работник. «Ах, чего только один маузер его стоит!» – восхищались сельчане. Да, в те времена очень они уважали и ценили маузер, особенно когда сравнивали его со своими старыми берданками. Так вот оно и получилось: назвал этот уважаемый человек своего сына Жоржем – и ещё семь человек назвали так же своих отпрысков. «Ему там наверху виднее, что лучше, что хуже. Раз он так назвал, значит, так и надо!» – решили они.

Услышав об этом, отец мальчика пришёл в сельсовет и записал сына Зауром. Но потом, видно, показалось ему, что это имя не может выразить всего, что ему хотелось бы, он вернулся и добавил ещё: Кан. Так и получилось: Зауркан. Секретарь сельсовета удивлённо переглянулся с председателем: «Что это за человек? Не видит разве, что делается кругом, или, может, недостаточно уважает маузер?» – можно было прочесть в их глазах.

Теперь мальчик шёл вдоль реки, неся груз выбранного тогда отцом имени.

Но неувязка вышла всё-таки с именами. Все новоиспечённые Жоржи были соседями. И когда кричали с улицы, звали кого-то одного, все семеро выскакивали на зов. Чтобы избежать путаницы, постарались как-то переиначить их имена. Одного стали звать Жоржем, другого Жоржиком, третьего – Жоркой, кого-то Жорочкой, ещё кого-то – Жориком. Спустя небольшое время все отцы, столь опрометчиво выбравшие имена сыновьям, пожалели об этом... Да и авторитет маузера заметно поубавился.

И всё же. Один раз надрежешь дерево – и навсегда укрепится за ним кличка надрезанного, хоть и заживёт эта рана тысячу раз.

Вода, освещённая добрым осенним солнцем, переливалась на отмели так, словно тысячи жемчужин перекатывались по дну. И бережно несла жёлтые листья, облетевшие с деревьев по её берегам.

Вот ещё вентерь. Такой же жалкий и изломанный, как тот, у мельницы. И тоже пустой. Даже старых листьев не набилось в него. Хотя, наверное, их мельник выбросил. Небось проверяет свои ловушки, обходит пораньше утром.

Внезапная мысль заставила мальчика похолодеть: Господи, везде вентеря, река обмелела, все пути перегорожены... Это страшно, это опасно!

Он побежал.

Увязая в сыром спутанном папоротнике, промчался по опушке, углубился в лес. Вообще-то говоря одно название осталось от этого леса. Куда ни глянь, везде гниющие пни...

Война, всюду война...

Лес этот недалеко был от их дома, и отец не давал его рубить как попало. «Мало, что ли, вам дров, зачем здесь рубить, у села, хороший же лес!» – сердился он.

«И леса ему жалко...», «Чтобы на твоих похоронах развели костер из этого леса...» – так ворчали недовольные. Щепки, колючки, обломанные ветки сейчас больно впивались в ноги мальчику, раздирали до крови ...

И даже грабы спилили под корень. Ведь можно же было просто обкорнать – ветки пустить на дрова, а весной дерево опять зазеленело бы, выросли бы новые ветви... Неужели это так трудно?.. Нужно ведь помнить и о будущем. А то как бабочки-однодневки...

До войны и людей в селе было больше, и дров было достаточно, хватало, и в лесах человек не натыкался на каждом шагу на гниющие пни. Как же это так получилось, что леса не стало?..

Сейчас хватают что под рукой. Лишь бы схватить. Всё что попало. Всё, всё хватают.

Потому что война...

Во всём лесу даже для удочки подходящей орешины не срежешь... Хотя зачем удочка – рыбы-то ведь днём с огнём не найдёшь. И мальчик, когда ходил до болезни за дровами, поступал как все: рубил первое попавшееся дерево.

Пробежав через лес, мальчик оказался у заводи, но не решился сразу подойти к ней, остановился, подождал у старого ветвистого граба. Граб стоял весь жёлтый, уцелевшие листья отливали золотом. Солнце пробивалось сквозь листву яркой полосой, освещало мальчика, листья шевелились – и тень его чуть дрожала на тёмном стволе граба. Собравшись с духом, мальчик вышел из-под дерева и тихонько подобрался к скале, нависавшей над водой; осторожно перегнулся через край и посмотрел вниз, на заводь; сердце его гулко стучало.

Мальчик сразу заметил его: прямо под скалой, у большого камня, купаясь в солнечных лучах, весь в сверкающих крапинках, нежился в воде он... лосось!

Это из-за него так беспокоен последние дни мальчик. Каждую ночь видит заводь во сне... И никому, ни одной живой душе не поведал он свою тайну. Ни одной живой душе! Даже Майе, хоть от неё у него не было секретов. Но сказать кому-нибудь о том, что он знает, – это ведь равносильно предательству. Если разнесётся слух, что в этой заводи живёт лосось, не жди добра!

Потому что война...

Мальчик очень обрадовался, найдя лосося через много дней своего отсутствия живым и невредимым. Теперь он прополз дальше по скале, к самому краю, – тень его упала на воду. Рыба встрепенулась, словно хотела выпрыгнуть из воды, тревожно повела длинным красивым хвостом.

– Не бойся! Ну не бойся же... я твой друг...

И лосось будто внял его словам, тихо проплыл к солнечной стороне заводи и успокоился. Мальчик очаровано следил за ним. Рыба нежилась в чистой воде. Иногда быстрое течение норовило снести её и даже переворачивало брюхом кверху. Тогда плавники и хвост рыбы замирали – казались безжизненными. Но так продолжалось лишь мгновение. Лосось справлялся с течением и опять сверкал во всём своём великолепии под ясным солнечным лучом. Мальчик успокоенно вздохнул и, забыв обо всём, опустился устало на плющ, обвивавший скалу.

Этот лосось приплыл сюда из далекого Атлантического океана – приплыл к месту нереста, на родину… Путь был долгий, и много рыб погибло в пути... Но Великий инстинкт продолжения жизни направлял, торопил их, и не было дороги назад. Они одолели ширь океана, пересекли моря и плыли потом по рекам, стремясь вперёд и вперёд – как можно быстрее, чтобы метать икру, чтобы успеть выполнить свой святой долг, продиктованный природой, и

умереть. Прежде чем пуститься в этот тяжкий, в этот главный путь своей жизни, лососи в океанах и морях делаются прожорливыми, набирают, накапливают силу. По дороге они уже не едят, да и некогда им... Добравшись до места, мечут икру – и погибают. В сети их заносит уже мёртвыми.

Этот лосось и ещё один были в заводи, когда разворотило её дно гранатой. Обе рыбы скрывались под камнями, тем не менее это их не защитило и не спасло. Одна из них, оглушённая взрывом, умерла к вечеру, и её понесло течением вниз по реке, а эта осталась жива, но уже неспособна была метать икру. И лосось метался по заводи, не совершив того, во имя чего он плыл сюда с самого края света, во имя чего он жил!

Но откуда было знать мальчику, что стряслось с рыбой. Он не догадывался о мучениях лосося и смотрел на него спокойными и обожающими глазами. Вода в заводи была прозрачна, золотящаяся на солнце поверхность её напоминала мальчику свежескошенный луг. Только там, где скала вдавалась в заводь, лежала густая тень.

Мальчику казалось, что большой валун, выступающий из воды, загораживает и защищает рыбу от всего мира. Поэтому он смотрел на валун с большим уважением, с доверием и надеждой. Ведь заснеженные высокие горы сродни чем-то этому надёжному камню, и в них тоже заключена доброта и справедливость. И ведь это от них берёт начало река, рождается там и спешит сюда, к селу, обновляясь по пути. Мальчик и к реке относился с уважением – как к горам. Он блаженно растянулся на траве. Над ним желтел раскидистый граб. Стройный его ствол метров десять тянулся без ветвей. Пышная, раскидистая крона дерева, конечно, соблазняла дровосеков, но лезть так высоко по гладкому стволу никто не решался. Когда же началась война, отец одного из Жоржей не утерпел – попытался взобраться на дерево. Он свалился с десятиметровой высоты и изрядно покалечился. Сломанное левое бедро долго не могло срастись, целый год пострадавший провалялся в постели. Потом он выздоровел, но остался на всю жизнь колченогим. Нашлись, конечно, люди, сумевшие таки забраться на неподатливое дерево, но теперь они давным-давно на фронте, а тот самый отец одного из Жоржей по сей день надоедает окружающим рассказами о своём падении с дерева и демонстрирует охотно свою изуродованную ногу. Можно подумать, он получил увечье, сражаясь за Родину.

Мальчик уважал и этот граб, как уважал горы, реку и камень в ней, защищавший лосось.

Он приподнялся на траве, лосось испуганно вильнул хвостом и ушёл под камень. Мальчик очень любил смотреть на рыбу, но когда она скрылась, ему стало спокойнее за неё. Одно дело – любить, другое – быть спокойным. Когда любишь, всегда тревожишься... Есть ли хоть один человек на свете, который не тревожился бы о том, кого любит? Что же делать? Рано или поздно ведь обязательно кто-нибудь увидит здесь лосося. Обязательно...

Куда же его спрятать? Может, в верховьях той небольшой речки, что сливается с этой рекой? Знает он там одно укромное местечко. Но туда ведь

никогда не заглядывает солнце, да и вода вся в тине. Нет, это не для такого красавца... А если поселить его в колодце? Только поместится ли он там?.. Да и если даже поместится, бабушка никогда не позволит... а если даже и позволит, то на другой же день вытащат и съедят его. Нет, не годятся для этой рыбы ни речушка, ни колодец. Ей нужен, для неё просто необходим простор.

Но шла война...

Было тихо. Река купалась в солнечных лучах, а лучи в свою очередь отдыхали на тихой и доброй воде, от них переливался, сверкал тысячами блёсток жёлтый песок на дне реки. И вся вода пронизана была, словно стёганое шёлковое одеяло, золотыми солнечными нитями. Сделался багровым от солнечных лучей и край печального, тёмного и доброго валуна. И мальчику показалось, что добряк валун улыбается, будто старик, которому показали его детскую фотографию: «Неужели это я?»

Только тихое журчание воды и слетавшие изредка листья граба напоминали о том, что время не остановилось.

И вдруг мальчику пришло в голову то, над чем он даже и не задумывался прежде: если он даже и сможет подыскать для лосося безопасное потайное место, всё равно ведь его невозможно будет перенести туда живым.

Благодушного настроения сразу как не бывало, тревога вновь охватила его. Он огляделся. Вокруг было тихо, всё словно бы затаило дыхание, ждало чего-то, какой-то опасности.

...И в этот миг мальчику показалось, что покачнулась скала под ним и река, сморщив уродливо воды свои, мёртво застыла. Сердце бешено, с остервенением заколотилось в груди.

С того берега, из-за реки, доносился негромкий неторопливый разговор.

Нельзя, чтобы мальчика увидели у заводи: сразу что-нибудь заподозрят... но заставить себя сдвинуться с места он не мог. Один из говоривших заметил его. Склонив набок голову, словно бодливый бык, он в упор смотрел на мальчика, угрожая всем своим видом, будто говорил: «Ну, кого тут боднуть, истоптать, истерзать?»

Мальчик сидел ни жив ни мёртв. Ему казалось, что он уже видел где-то этого бодливого быка (так он тотчас окрестил его про себя), это словно бы о нём говорилось в страшных преданиях или в рассказах изуродованных войной фронтовиков. И вроде бы он мог оставаться невидимым до поры до времени – а появлялся там, где неминуемо должно было произойти несчастье.

Сегодня он оказался на пути у мальчика. И несчастья не предотвратить...

За Быком следовал ещё один человек, во френче и в брюках военного покроя. На голове защитного цвета фуражка с широким козырьком низко надвинута на брови. Огромный живот туго перетянут широким кожаным ремнем. Мальчику показалось, что он со своего места, через реку, через её шум слышит, как скрипит ремень под этим выпирающим животом... И вся одежда незнакомца была новой, отутюженной, фасонистой. И весь он был какой-то прилизанный.

До чего же откормленный был этот человек! Да, точно, – откормленный! Иначе и не скажешь. Он всё что-то рассказывал безостановочно своему спутнику, и по упитанному лицу его бродила, будто жиром смазанная, прилипчивая навязчивая улыбка.

А Бодливый Бык уставился чего-то на эту сторону реки, и выражение лица у него всё то же: «Ну, кого здесь поднять на рога?»

Когда они оказались напротив мальчика, на том берегу, Бык крикнул ему через речку:

– Эй, заморыш, рыба тут водится?

Мальчик встрепенулся, вскочил и неопределённо пожал худенькими плечами. Он не мог произнести ни слова. – Ты что, язык проглотил?

– Ха-ха-ха!.. – постанывая при каждом звуке собственного голоса, засмеялся его прилизанный спутник. Ну и скажешь ты!

– Как знать! Время суровое, военное! Может, язык показался заморышу больно вкусным, вот он взял да и проглотил его.

– Ха-ха-ха!..

Бык посмотрел на мальчика злыми глазами («Вот подниму тебя на рога!»). Потом решился: скинул сапоги, закатал брюки до колен, обнажив волосатые икры, прошлёпал по воде и взгромоздился на камень у заводи. Тень от его безобразной фигуры угрожающе придавила серебристую гладь воды. Лосось испугался и ушёл в глубину.

Бык насторожился:

– Есть, точно есть!

В ушах мальчика слова эти прозвучали как выстрел. И вновь бешено заколотилось сердце.

– Что-то там мелькнуло. Я уверен – рыба.

– Значит, порядок! Обещал же я ему рыбу прямо с реки! – вновь хихикнул Прилизанный. – Он с детства, оказывается, любит рыбу. Дома-то я ему из-под земли достал бы ... а здесь, в этой глухомани, куда только ослицы ходят рожать, разве чего-нибудь найдёшь!

– Сейчас... Будет, будет ему рыба! – ликовал Бык. Только тогда мальчик заметил на берегу большую, угрожающе чёрную сумку. Бык торопливо пошарил в ней и выудил здоровенную шашку динамита.

– Целиком бросить? – засомневался он.

– Ну конечно, чего ещё делить? Хоть послушаем, как грохнет! – Прилизанный выпятил стянутый ремнём живот, твёрдо оперся о землю до блеска начищенными сапогами. – Взорви её ко всем чертям!

Здоровье, накопленное за годы сытой жизни, не давало покоя Прилизанному. Он не знал, куда приложить свою силищу, будь его воля, разворотил бы всё вокруг.

– Взрывай! – требовала Сила, бесившаяся с жиру. – Взрывай! Рушь!

– Не надо, не надо, нельзя тут губить рыбу! Мальчик сам удивился: как это вырвалось у него.

– Правду говоришь – нельзя? Не обманываешь? – поинтересовался насмешливо Бык.

– Смотри ты! И кто же это запретил? – удивился Прилизанный, еле сдерживая расплывавшуюся усмешку. – Председатель сельсовета. Вот несколько дней назад поймали кого-то, привели в сельсовет, а потом в район отправили...

Мальчик лгал, но надеялся именем председателя, которого все боялись в посёлочке, устрашить и этих.

– Ха-ха-ха!.. – зашёлся смехом Прилизанный. Весёлый же он был человек.

– Этот-то? Ох, и до чего же страшный он! Ха-ха-ха-ха!

– Да ну его к чёрту! – небрежно заметил Бык. Он был занят делом: готовил взрывчатку.

– Слушай, а может, и вправду кто-нибудь его здесь боится? – держась за живот, постанывал его спутник.

– А то как же! В ежовых рукавицах держит всё село! – Бык кончил возиться с динамитом и любовался шашкой, перекладывая её с руки на руку.

– У него есть винтовка! – пытался хоть как-то остановить, задержать этих, с динамитом, мальчик, но надежды не было, он понимал это и остро чувствовал своё бессилие.

– Знаешь что передай ему? – Прилизанного прямо распирало от смеха. – Пусть он эту ржавую винтовку... и дальше последовала такая матерщина, что мальчик залился жарким румянцем.

Бык достал из кармана спички и кивнул Прилизанному. Тот повернулся и, сокрушая всё на своём пути до блеска начищенными крепкими сапогами, затрусил к большому камню в отдалении, чтобы укрыться за ним.

Бык поджёг шнур, размахнулся, и швырнул в тихие воды перед валуном, а сам побежал вслед за товарищем. Перед мальчиком мелькнуло то, что должно было убить рыбу... тянулся тоненький дымок. Он вздрогнул... – И сам не успел заметить, как очутился под спасительной сенью граба... обхватил его руками, спрятался за ним, прижался щекой к стволу... почувствовал прохладу.

Дрогнула земля, на мальчика дождём посыпались жёлтые листья. Вода ударила в скалу и, не достав до верха, поднялась столбом, и потом рухнула обратно, разбиваясь на тысячи сверкающих осколков...

Мальчик рванулся к скале, к самому краю... Сквозь облетевшие, сбитые взрывной волной листья, сквозь дым пробивалась, как кровь, мутная вода. Бык – и когда он только успел – был уже на берегу, раздетый и старательно вглядывался в непрозрачную воду. Прилизанный неторопливо шествовал из своего укрытия к реке – с видом значительным, требующим уважения к его особе, вышагивал в до блеска начищенных сапогах.

У мальчика дрожали колени, он не знал, что предпринять, что сейчас нужно делать. Еле передвигая ноги, он побрёл к склону, заросшему ольхой; здесь легко можно было спуститься к заводи, держась за деревья, за кусты, он незаметно спустился к воде. Тем двоим было не до него. Они обшаривали взглядом поверхность реки: ожидали, что вот-вот появятся, всплывут серебристые, гибкие тела рыб. С лица Прилизанного наконец-то сошла

улыбка, надувшись, как сыч, он глядел на воду, готовый ещё и ещё раз взорвать её.

Вдруг будто что-то с силой толкнуло мальчика в грудь, он увидел его: в мутной воде светлело брюхо лосося. Скинув калоши, мальчик осторожно вошёл в воду... ещё шаг – и он оказался по грудь в ледяной воде. Одежда тут же намокла, отяжелела, сделалась липкой и холодной, как змея. Те двое пока не видели его: заслонял валун. Было тихо. Заводь пахла дымом. Мальчик протянул руку, чтобы поймать рыбу, но не смог удержать: она выскользнула – и её занесло под валун. Мальчику показалось, что сердце его остановилось: лосося могло вынести прямо к тем, к убийцам. Он нырнул, но тотчас выскочил на поверхность: огнём обожгла ледяная вода, да и развернуться было негде, его самого могло затянуть под камень. Но валун и вода так защитили рыбу, что её опять вынесло к мальчику. Мальчик, стиснув зубы от напряжения и холода, ждал, пока рыбу не пронесёт совсем рядом, чтобы уж на этот-то раз не упустить её. Улучив момент, он схватил лосося за жабры и, собрав все силы, рывком вытянул на берег. Потом, не теряя времени, потащил его дальше от заводи, вверх, к скале, согнувшись от натуги в три погибели. Мальчик совсем не чувствовал сейчас своего тела, ему казалось, что он как бы растворился в окружающем мире, что его совсем не стало... Всё было похоже на дурной сон: и желание бежать как можно скорее, и чувство собственного бессилия, когда кажется, что беги не беги, всё не можешь сдвинуться с места. Наконец он добрался до скалы и тут взвалил рыбу на плечи. Она весила не меньше полпуда и была для него тяжёлым грузом. Но он всё-таки поднял её и выпрямился. И тут его увидели с другого берега. Вначале Прилизанный опешил от такой неслыханной дерзости. Потом вытолкнул из себя, как выстрелил:

– Рыба!.. Моя рыба!.. Лови его!.. Держи!

Мальчик побежал что было сил. Сил у него было немного, но он хорошо понимал: медлить нельзя!

– Стрелять буду! – ревел на том берегу Прилизанный, пятясь назад по взгорку, чтобы не потерять мальчика из виду.

Вслед за ним заорал угрожающе и Бык – он все ещё топтался в воде.

Но для непривычного, нездешнего чужого человека не так-то просто будет найти тропинку к скале.

Даже скала помогает ему!

Добрая скала!

Поляну он уже перебежал, теперь поднимался в горку – к лесу. Легко сказать – перебежал. Рыба была тяжёлой и скользкой, то и дело норовила сползти с плеча. Руки онемели, отказывались повиноваться – вот-вот разожмутся. Но если он хоть немного замешкается, все! – эти двое догонят! отнимут!

Только бы подняться на горку, потом уж им его не догнать. Там уж он знает, как укрыться. Только бы успеть, только бы суметь...

Задыхаясь, он поднялся наконец... разжал руки – лосось безжизненно скользнул на выжженную солнцем трапу. Беглец оглянулся. Прилизанный метался на берегу. – Стрелять буду! – ревел он.

Мальчик снова взвалил рыбу на плечи, повернулся к заводи и закричал, надрывая голос:

– Война, война!!!

Бык заорал в ответ нечленораздельное и, подняв над головой, что-то показал мальчику, но тот не обратил на Быка никакого внимания. Тогда Бык кинул в воду то, чем пытался привлечь внимание беглеца.

Не успел мальчик сделать и десятка шагов к лесу, как мимо просвистела пуля – срезала, как бритвой, несколько листьев с дерева, они, покачиваясь, плавно опускались на землю.

– Война, воина! – снова закричал что есть мочи чужим, загнанным голосом мальчик, он бежал теперь уже из последних сил.

«Пусть стреляет, пусть стреляет сколько влезет! Пусть...»

– Война, война! – просипел мальчик, горло его сдавило, как клещами, голос пропал.

Вот и лес, он заметался по нему, путая следы, пробрался сквозь густые заросли терновника и спустился к глухой небольшой речке.

Теперь пусть ищут... стреляют... увидим, много ли настреляют...

Мальчик забыл про усталость, он не замечал сейчас ни колючек, разодравших в кровь ноги, ни зарослей, сквозь которые с таким трудом пробрался. Густая листва деревьев скрывала небо, да и сама речушка эта маленькая была здесь черна и тосклива, как и ущелье, за века промытое ею. В другое время очень бы не понравились мальчику и эта темнота, и эта сырость. Но сейчас место это казалось ему даже уютным. Во всяком случае, безопасным. А вот и та заводь, где ещё совсем недавно мальчик думал укрыть лосося. По обезображенной, как лицо человека после оспы, поверхности скалы стекала вода, за долгие годы она выдолбила под скалой ложе по себе. Трудно было сказать со стороны, глубоко ли здесь. Быть может, поместился бы целый дом, а может – и мальчику не было с головой. Сюда никогда не заглядывало солнце. Сыростью и затхлостью нестерпимо тянуло вдоль ущелья.

Мальчик снял рыбу с плеча, но не смог удержать её, и она, выскользнув, шлёпнулась в воду. Не шевельнулся лосось, не двинулся... его затягивало водоворотом. Круглые глаза рыбы остекленели, они ничего не выражали, в них не было жизни. Рыба была мертва. Совсем...

– Война, война... – прошептал мальчик и оглянулся: нет, тех двоих не слыхать было.

Сегодня лучше оставить лосося здесь. Сделать петлю из хворостинок и привязать его к камню. Завтра он придёт за ним. Здесь тихо, спокойно, война сюда ещё не добралась... С лососем тут ничего не случится.

И вдруг ему стало казаться, что в омуте этом скрывается страшное чудовище – только и ждёт, чтобы он оставил здесь рыбу. И тогда ему больше уже никогда не видеть своего лосося. Мальчик упрямо мотнул головой, снова

взвалил рыбу на плечи и пошёл. По сыпучей почве тропинки одному и то трудно подняться в гору, а тут ещё лосось. Мальчик лихорадочно цеплялся за кустарники, за деревья. Он выдохся... Мокрый и грязный, с исцарапанными в кровь ногами, он продолжал лезть вверх, не отдавая себе отчёта в усталости. Наконец он одолел эту коварную осыпающуюся тропинку и очутился на опушке леса. Ровная, гладкая, залитая солнцем опушка испугала мальчика своей незащищённой открытостью. Он бросился в лес и спрятался в ольшанике. Нет, теперь Быку его не отыскать. Осторожно спустил рыбу с плеча, положил на траву возле себя. Было страшно смотреть на неё, огромную, серебристую... Так безнадёжно чужую этой зелёной траве, этим ласково шепчущим деревьям...

Глушат рыбу... если нет улова – злятся... стреляют вслед. И правда, почему ж им не творить что ни взбредёт в голову? Кого им тут бояться? Все мужчины на фронте... Война.

Нет, он не должен нести сейчас рыбу домой, не должен! Надо дождаться ночи.

Мальчик поволок рыбу обратно к речке, опустил её бережно в воду. На голову и на хвост положил по большому тяжелому камню. Теперь течением её не унесёт, даст Бог, и змеи не тронут. Здесь прохладно, должно быть, они уже давно попрятались в норы, спят. Он постоял ещё, поглядел – и пошёл прочь. Но нет, нет... белое брюхо рыбы так светится в воде – обязательно привлечёт чей-нибудь взгляд, обязательно! Мальчик бегом вернулся к воде, замаскировал рыбу камнями. Теперь можно быть спокойным.

Осторожно ступая, держась ближе к лесу, он уходил с заветного места.

Вдруг знакомый зловонный запах ударил в ноздри.

Свинья!

Как же он не подумал об этом!.. Обязательно ведь отыщет и сожрёт...

Где это видано, чтобы свиньи ели рыб?

Но теперь ничему уже не приходится удивляться.

Потому что война...

А вот и она сама, голову держит криво – похоже на плуг, важно ступает впереди своих выродков. Мальчик приглушённо свистнул, пытаясь отпугнуть их. Да как бы не так! Он запустил подвернувшимся под руку камнем, но промахнулся. Поросята, видимо решив, что бросили нечто съедобное, побежали за камнем.

Мальчик выскочил к ним навстречу, отрезал путь к реке. Свинья приостановилась было, искоса глянула на него – и прямо кинулась к речке, казалось, туда именно, где мальчик спрятал лосося. Сейчас увидит... отыщет! и сожрёт! И ведь никак не отнять у неё! Мальчик сломя голову помчался обратно к речке. Свинья повернула резко вбок и бросилась в воду чуть выше того места, где была спрятана рыба. Вода тотчас помутнела от поднявшейся со дна грязи и тины. Пока мальчик подоспел, рыбу всю залило этой грязью. Нет, никак нельзя оставить её здесь, надо во что бы то ни стало забрать её домой.

Долго шёл он по нескончаемому ольховому лесу, тащил на плечах свою драгоценную ношу. Наконец выбрался к просёлочной дороге. Перебежать бы её незамеченным, а потом он окажется в кукурузе, там стебли укроют его, спасут, а нужно будет – и приютят дотемна.

– Заурк-а-а-н!

Это бабушка.

– К-а-а-н!

– Му-му-му... – замычал, как телёнок, кто-то совсем рядом, передразнивая бабушку.

Мальчик оглянулся оторопело. Совсем рядом на дереве, обвитом виноградной лозой, сидел стриженый парнишка, торопливо обрывал остававшийся ещё у самой верхушки дерева виноград, обрывал и тут же отправлял в рот.

Мальчик похолодел... поспешно укрылся за кустами терновника.

– К-а-а-н!..

– Му-у-у... – отозвались и с ближайших деревьев.

Мальчик глянул туда и заметил ещё нескольких парнишек, обирающих виноградные лозы. Да это же сын золотаря Чинчора, а та ватага – его команда. Сына Чинчора в селе прозвали Твердоголовым за то, что сколько его ни били по голове, ему всё нипочём. Он слыл атаманом среди подростков, и его побаивались. Да и можно ли не бояться человека, у которого голова как камень: сколько ни бей его, он только хихикает.

Прежде его отец Чинчор жил здесь же, в селе, и чинил обувь. Но потом переехал в город, занялся чисткой туалетов. На стриженого этого, пока они жили в селе, управы не было. Только и знал, что шастать по чужим огородам да садам. Если били Твердоголового, он не убегал, а молча ждал, когда бьющий выдохнется, и тогда уж наступал его черёд. Мог любого человека довести до бешенства. И вот теперь этот Твердоголовый оказался на пути у мальчика. Увидит у него такую дивную рыбу, сразу же отберёт. Хотя бы один был, а то ведь их там целая орава. Мальчик теснее прижал рыбу к себе.

– К-а-а-н!..

– М-у-у-у... – развлекались на деревьях.

Рыба обмякла в руках у мальчика; клочками висело вспоротое колючками мясо. Но мальчик не замечал ничего...

Вдруг земля дрогнула от взрыва. Опять кто-то «воевал» с рыбой на реке.

– Взрывают! – заорал Твердоголовый, высунув из-за листьев свою стриженую голову.

– Айда туда! – ответил ему хор соратников.

– Айда!

– Айда!

В мгновение ока скатились с деревьев и помчались к месту взрыва, толкая друг друга и оглушительно вопя.

Путь был свободен. Мальчик выбрался из своего укрытия и потащил рыбу к дому. Тут его остановили голоса, доносившиеся с их двора. Как же он забыл... Ведь у них в доме гости! Гости, которых ждали ещё с утра. Мальчик

бережно положил лосося на землю и без сил опустился рядом с ним. Рыба успела затвердеть. И в эту минуту мальчик впервые за всё это время отчётливо осознал, что рыба мертва. И что она была мёртвой и тогда, когда, спасая её, убегал от стрелявших ему вслед людей. Да, и тогда она была мертва! Мертва! А сейчас, дома, её зажарят и съедят.

Не было сил встать, да и не хотелось идти... Некуда было идти... Он был опустошён так же, как и река, из которой вынули, у которой отобрали всё, кроме старого, доброго валуна. Взорванная динамитом вода не может вынести запаха дыма и торопится, и торопится вырваться к морю. Говорят, за семью камнями вода очищается, но... Мальчик до боли завидует той, другой, новой, чистой воде, что берёт начало у подножия огромных добрых валунов – у подножия гор. Той воде, которая ничего ещё не знает о динамите, которой незачем очищаться... той воде, для которой нет большего чуда, чем просто течь привольно по чистому своему руслу, той воде, что благодарна в своём неведении и нетронутости горам, давшим ей жизнь...

Долго сидел мальчик. Очнулся он, почувствовав озноб. Не успевшая высохнуть одежда как змеиная кожа липла к нему... Он встал, нехотя поднял окончательно затвердевшую рыбу – она показалась ему неимоверно тяжёлой – и тихонько побрёл к дому. Вот и яблоня с тем краснобоким яблоком-звездой, что растёт, тесно прижавшись веткой к его окну. Мальчик опустил рыбу на землю, обхватил замёрзшими руками тонкий ствол яблони и потряс. С ворохом пожелтевших листьев сорвалось и румяное яблоко, упало к его ногам. Но и там, внизу, упавшее, оно задорно сверкало багровыми боками. Мальчик вытер руки о траву и бережно поднял его, но не стал прятать в карман. Одной рукой прижав к груди рыбу, а в другой держа яблоко, он направился к апацхе. Голосов во дворе не было слышно. Должно быть, гости уже обедают в большом доме, а значит, в апацхе никого нет. Стараясь не шуметь, мальчик отворил заднюю дверь апацхи и юркнул внутрь. И тут же отпрянул назад: сдвинув два стола к середине, в апацхе сидели гости. Они, видать, только что принялись за еду, потому и не слышно их было. На скрип двери все оглянулись. Среди гостей были и Бык, и Прилизанный. На лице Прилизанного появилась липкая улыбка. Бык же не мог от вести от мальчика налитых кровью глаз. Было тихо, как на кладбище. Мальчик заметил, что между Прилизанным и Быком восседает ещё один человек, худосочный, с холодным, гладким, как у женщины, лицом. Глаза его казались провалами, до того они были пусты. Видать, это и есть тот важный гость, который с детства обожает рыбу, сообразил мальчик. Другие гости были из их же села. Вот с краю примостился и председатель сельсовета. Только где же вечно хмурое, привычно недовольное выражение его лица? Председатель сиял так, словно подарили ему неожиданно целый мир. Он радостно подозвал празднично улыбавшуюся Адушу и, вытянув губы, будто собираясь поцеловать, стал что-то шептать ей. А сама Адуша, до чего ж она сегодня счастливая! Ну просто сверкает. Даже представить трудно, что вечно ходит по дому хмурая, с обиженной миной на лице... Но сейчас, сейчас-то она прямо летает перед

гостями с графином; полным прозрачной водки, готовно наполняет рюмки. И сверкают, сверкают до блеска отмытые зубы...

Первым захохотал Прилизанный. За ним хором подхватили все остальные гости. Ах, как привольно, до чего же развязно хохотал он, радостно постанывая от удовольствия!

– Обещал же, обещал я тебе рыбу прямо с реки, нет разве? – выталкивал из себя толстяк, давясь смехом, неудержимо рвущимся из его бездонного живота.

Худосочный приосанился и, вскинув своё женское лицо, переждал бушевавший за столом смех, – изрёк:

– Не напрасно уговаривал я вас пообедать в апацхе. Детство напоминает.

Собутыльников удивили его слова. Они молча вглядывались в лицо важного гостя, словно хотели как в зеркале поймать в нём своё отражение. А он, посветлевший весь, – видно, очень обрадовала его рыба прямо с реки, – спокойно принялся за еду.

– Кан, что с тобой стряслось?! – бабушка изумлённо рассматривала мальчика.

И только тогда он заметил, что любимая его куртка разодрана в клочья, что ноги его босы, грязны и кровоточат от ссадин. Молнией пронеслась мысль о калошах. Ну да, это их тогда бросил в воду разозлившийся Бык.

– Война... война... – почти без голоса сказал мальчик. Он уронил на руки бабушке непосильно отяжелевшую рыбу и повернулся к дверям.

Дорогу ему преградила улыбающаяся Адуша.

– Отдай его гостю, как делают хорошие мальчики, – заворковала она, коснувшись румяного яблока, зажатого в кулаке мальчика. Резко, словно его обожгло, он отдёрнул руку с яблоком, другой рукой оттолкнул тётю и выскочил во двор.

Двор был залит солнцем. Но мальчика трясло в ознобе. Он с удовольствием, как на чудо, смотрел на яблоко, дрожавшее на его ладони. А перед вечером придёт Майя. Он знает это, потому что соскучился по ней. Значит, соскучилась и она. Сейчас ему очень холодно, но потом поднимется температура... потом ему станет жарко... И какое блаженство будет ощутить холодок градусника, который непременно принесёт Майя.

Это яблоко он хотел подарить ей. Только она была достойна этого чуда. Только она!

Мальчик скучал по Майе...

Печально ссутулившись, дом скучал по человеку... по хозяину, по мужчине.

Но никому не было до него дела.

Вдруг чьи-то руки обхватили мальчика сзади. Обняли.

– Единственный мой! Надежда моя! – бабушка прижала его к своей высохшей груди.

– Война... война... – пробормотал мальчик, и бабушке показалось, что она слышит вернувшегося с фронта отца мальчика – своего сына.

Перевод С. Шевелёва

ШЕЛКОПРЯД

Главное – это шёлк…

СЫРМА

Сырма закрыла дверь из комнаты во двор и быстро стянула с себя траурное платье. Уже год с лишним, как она выходила только в нём, в чёрном, – за это время платье износилось порядком и выцвело. Ей уже приходилось отпускать подол, чтобы хоть как-то прикрыть колени. Но особенно платье сделалось тесным в груди. Когда она впервые надела траур по матери, её груди лишь слегка бугрились, а теперь они так оттягивали чёрную материю, что в этих местах платье заметно больше истончилось и до неприличия выцвело.

«Уже грех тянуть дальше, – подумала она, – пора снимать траур». Пока она сама не решится, и ребятишки – обе сестрёнки и братик – все трое будут изнывать в чёрном. Если бы траур хоть кого-нибудь мог вернуть с того света... они всю жизнь носили бы, не снимая... Но ведь ничего уже не вернёшь.

Она стояла без платья, осматривала себя и видела, как выросла и повзрослела. Это ощущение перебивало грусть, сердце её отчего-то сладко замирало. Она взяла со стула новое платье, надела. Оно было тоже тёмное, но уже с белыми крапинками – то есть той как раз расцветки, которой прилично сменить траур. Сразу ведь нельзя переходить к светлым, весёлым тонам.

Новое платье пришлось по фигуре, только в груди опять чуть-чуть оказалось тесновато.

«Сладу с ней нет...» – подумала она и сразу почувствовала, как краска стыда заливает её лицо. Подошла к небольшому зеркалу, стоявшему на тумбочке, повернулась так, этак, стараясь разглядеть, как сидит платье, а потом торопливо сняла его.

Опять натянула траурное платье, вышла на веранду и увидела, что Адгур, самый младший в их семье, единственный оставшийся брат, притащил большую вязанку тутовых веток с листьями и внес её в сарай, туда, где помещались сейчас гусеницы шелкопряда. Надо же, совсем она забыла о времени, о том, что этих ненасытных уже опять надо кормить.

Через несколько минут Адгур, усталый, – прядки волос прилипли к потному лбу – появился было в дверях сарая, но, увидев её, отвернулся, постоял так и опять скрылся внутри.

Сырма грустно улыбнулась, вздохнула.

– Дурачок, дурачок мой маленький... – тихо сказала она ему вслед. – Устал, извёлся весь, мальчик мой. До чего ж они прожорливые, эти гусеницы... Сколько времени уже недосыпает, встаёт затемно...

В этом году им выделили целых четыре коробочки шелкопряда. Младшие сёстры, Наста и Тата, с утра и до вечера работают в колхозе, из-за

шелкопряда им не убавили плановое задание ни на метр, ни на килограмм. Отец пропадает на ферме, дома бывает раз в неделю, сама Сырма работает в правлении счетоводом, вечно занята, да и не может она лазить по деревьям за кормом для гусениц. Хорошо, сегодня удалось отпроситься на несколько часов, переделать накопившиеся дома дела. Наста и Тата как-то всё же ухитряются раз или два в день выкраивать время для шелкопряда, но всё равно основная тяжесть ухода за гусеницами ложится на хрупкие плечи брата.

Что же делать, иначе пока не получается, людей не хватает, а работы невпроворот.

И ещё одно ранит ей сердце. Мальчик сторонится её в последнее время, вечно насторожен – как бы внезапно не столкнуться с ней. Она остро чувствует, что, если оказывается рядом с ним, в одном помещении, он ждёт её ухода. А если она хоть немного задерживается, он уходит сам. Сырма знает, с чего это всё началось, но есть одно обстоятельство, которое она никак не может себе объяснить. Что это, он ли ей мстит или же не может простить собственную слабость и наказывает себя?

– Дурачок, дурачок ты мой маленький... – с болью пробормотала она, – зачем же так истязать себя, свою душу. Ведь все мы в семье отходчивые, а он? Откуда такое упорство?

Хотя она знала: такое упорство было в характере матери и в характере погибшего на войне брата. Мысль о них, о тех, кто уже не вернётся, больно отдалась в сердце, и она уже думала о мальчике, о её Адгуре, с тревогой, боясь за него – хотя чего было бояться? Война уже кончилась, уже три года мирная жизнь.

– Наш единственный... – пробормотала она. – Надежда семьи...

Она вернулась в дом, принялась за платья младших сестёр. Вчера ещё померила на них, длинноваты оказались, придётся подшивать. Платья для младших сестёр были чуть более светлые, чем её. Так и надо, они же ещё совсем девчонки.

Время от времени, отрываясь от шитья, Сырма посматривала в сторону сарая, где скрылся Адгур. Думала, что он сейчас так долго занимается шелкопрядами специально, чтобы не встречаться с ней. А она все эти дни не находит себе места, скучает по нему, будто он уехал куда-то далеко...

– Дурачок, дурачок ты мой...

Она не решалась подойти к нему, боялась, как бы он, посчитав это за оскорбительное снисхождение, не ожесточился ещё более. Ведь правда, ну и что же здесь такого, что он вспомнил, оставшись один, эти слова и мелодию? Кто посмеет обвинить его, не взрослого, а мальчика, обвинить в том, что после такого долгого траура и горя он вдруг позволил себе забыть... позволил себе светлую минуту... Разве легко им видеть его всегда печальным и несчастным! А что до этих слов и мелодии, которые сочинил Кесоу, их погибший на войне старший брат, то ведь и она всё время вспоминает его песню. Адгур был ещё маленьким, когда пришла похоронка, но все знали, каково это было для него, потому что он любил Кесоу, старшего брата, больше всех в семье, больше матери даже и больше отца. Когда же это горе,

эта боль потери немного улеглись, рухнула мать... Сколько времени дети ходят убитые горем...

...Он мог так вести себя лишь в том случае, если действительно увидел её рядом с тем молодым человеком или если догадался, что они невольно подслушали, как он пел тогда. Но как бы то ни было, ясно, что он мучается, уверенный, что и то и другое непозволительно при трауре, недостойно, что это предательство и по отношению к умершим, и по отношению к тем, которые достойно соблюдают траур.

– Глупышка, несмышленыш ты мой маленький!

Что он видел, что знает, кроме тоски и траура по брату и матери? А жизнь, она всегда остаётся жизнью, каким бы сильным ни было горе. Жизнь не может задержаться на горе, остановиться, застыть на нём... И откуда было мальчику знать, почему она пошла на свидание с тем человеком? Она не могла... надо было сказать ему, непременно сказать, что ещё год она не может позволить себе... даже никаких обещаний не может позволить, поэтому его ничто не связывает... Да, надо было пойти, она пошла и сказала, но, как бы ни казнила себя за вольность, при одном воспоминании об этом человеке её сердце так замирает, что и вздохнуть трудно. Что же остаётся делать, когда сердце вдруг начинает распоряжаться, с ним ведь не поспоришь.

С тем молодым человеком, с которым её, должно быть, заметил Адгур, она виделась мельком ещё несколько раз. А недавно он пришёл вместе с другими ребятами, которые вызвались им помочь, пришёл устанавливать длинные плетёные нары-ачалты в хлеве – всё для этих шелкопрядов. Узнав о том, что он вот-вот появится, она сначала очень волновалась, боялась, что выдаст себя. Но когда увидела его, вдруг совладала с собой. И он, похоже, тоже пересилил себя, старался совсем не замечать её. А до чего же ловким он оказался, выделялся среди всех других, и какими искусными оказались его руки.

Да, это такой человек, он может всё, за ним – как в крепости...

Вдруг ей почудилось, будто кто-то зовёт её. Она прислушалась. Да, действительно, кто-то звал её по имени. И голос вроде был знакомым. Сердце у неё сжалось: ей почудилось, что голос этот несёт в себе странную тревогу – будто он заранее не скрывал, заранее давал знать, что собирается сообщить неприятное.

Сырма бросила шитьё и выбежала на веранду.

– Адгур, Адгур! – позвала она в страшном волнении.

Мальчик нехотя показался из-за двери хлева, молча глянул и снова исчез. Сырма вздохнула – зря испугалась... но нет, тревога уже не оставляла.

Опять её позвали, и на этот раз явно знакомый голос ещё больше встревожил её. Сырма сбежала по ступенькам, торопливо пошла к воротам. Откуда-то вдруг выскочила собака и с лаем кинулась туда же.

– Пошла вон! – в сердцах прикрикнула Сырма. – Сейчас же иди на место!

– Как бы не укусила! – сказал тот же голос.

Но собака, обиженно фыркая, послушно пошла прочь. Сырма узнала её сразу, ещё издалека. Гулиза. Они с Кесоу любили друг друга. Помолвлены ещё не были, но свои отношения не скрывали от людей. В таких случаях не принято носить траур, и Гулиза не носила, но гибель Кесоу была для неё тем же, что и для них, для семьи.

«Не стряслось ли с ней чего плохого? Что же это могло быть, будь оно неладно?..»

Сырма поспешно открыла ворота, и когда гостья вошла во двор, они поцеловались. Сырма почувствовала, что её щеки коснулись сухие, бестрепетные губы... Куда девалась их прежняя сладость...

Пока не поднялись на веранду, обе не вымолвили ни слова. Только наверху Сырма поняла, что, забывшись, обогнала гостью, когда шли к лестнице, и теперь она чувствовала неловкость оттого, что поднялась в дом первой.

– Зайдём в комнату, – предложила гостья и, не дожидаясь согласия хозяйки, на этот раз сама прошла вперёд.

В комнате она сразу же села, подняла глаза на Сырму и застыла, словно дожидаясь того момента, когда её тяжёлый взгляд сам, будто устав, сползёт, опустится вниз. У Сырмы ещё больнее сжалось сердце, но она не решалась ни о чём спрашивать. Замерев, смотрела на гостью. Когда Гулиза была молода, на её свежем румяном лице крупноватый нос в общем-то не выделялся, но теперь лицо её осунулось, появились круги под глазами, и нос стал походить на ястребиный.

– Чего там ждать, уж скажу прямо, – начала она, опять окатив Сырму своим тяжёлым взглядом. – Говорят, не смейся над старостью того, чьей юности ты не видел. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, ты, наверное, ещё бегала голышом, откуда тебе было знать меня...

– Как не знать... кто же тебя не знал, кто не восхищался тобою...

– Эх, маленькая Сырма, не то что ты, я сама себя не знала, – горько улыбнулась гостья. – Ты ещё не понимаешь... Очень много надо, чтобы узнать человека до конца. Не будем об этом. Ты помнишь, в каких отношениях были твой брат и я... но Бог не был с нами милосерден...

– Мы все и вся наша родня, где бы мы ни находились, молим Бога, чтобы он даровал тебе счастье... Чтобы то, что не суждено было ему, всё досталось, всё прибавилось тебе, – залепетала Сырма сквозь слёзы.

– Счастье… в нём заключено семя несчастья... Раз отвернётся от тебя, попробуй потом вернуть его обратно, – говорила Гулиза сквозь стиснутые зубы, словно пересиливая боль. – Иногда даже Всевышний не в силах ничего сделать, сколько ни умоляй… собственно, потому я и здесь сегодня... потому пришла – она словно выстрелила этими последними словами.

У Сырмы всё больнее сжималось сердце, её пугало то, что Гулиза говорила загадками и явно была не в себе.

– Ты возненавидишь меня после того, что я скажу тебе сейчас, будешь обходить за километр... Но и ты должна войти в моё положение.

– Как вы можете... я никогда... – Сырме почему-то вдруг сделалось холодно, она дрожала мелкой дрожью.

– Ты ещё не знаешь, о чём я буду с тобой говорить... Ты только-только начинаешь расцветать... Кто устоит перед твоей юностью, свежестью? У меня всё в прошлом. С самого начала я была помечена его именем, и никто не смел переступить чёрту... да что говорить, кто бы ни домогался моего расположения, любой получил бы от ворот поворот, будь он хоть сам господь бог. Все это знали. Потом – горе... Хоть не траур по мужу, но горе... и здесь я была недосягаема. Так все они, все прошли мимо меня, а я осталась... как говорится, засиделась. Многие ребята не вернулись с фронта... другие давно обзавелись семьями.

– Кто же откажется от тебя и сейчас? – еле слышно сказала Сырма. Её било мелкой дрожью.

– Нет, кому я теперь нужна... Если только позарятся на дом... А я вот никогда не приценивалась, не рассчитывала, не думала о том, чтобы чем-то попользоваться даром. Мой отец, ты знаешь, был на виду: руководил колхозом, потом сельсоветом... и до сих пор с его словом считаются. Но как ты думаешь, я хоть раз догадалась воспользоваться этим? Твой брат был тогда директором школы, а я мечтала работать в маленькой школьной библиотеке... чисто, тихо, хлопот особенных нет... да побоялась, что могут неправильно это истолковать, и промолчала, не попросила. А теперь к этой библиотеке меня и близко не подпустят, жена нынешнего директора сиднем там сидит, аж задницу не может повернуть...

Услышав грубое слово, Сырма испуганно сжалась, но Гулиза в ослеплении злости и боли ничего не замечала.

– А я? С чем я осталась? Всё пустое. Несколько часов – уроки труда, вот и всё. Я, ни разу в жизни ничего не сшившая даже для себя, я сейчас учу эту малышню кроить и шить. У таких, как я, у отмеченных знаком несчастья, всё так и уходит, утекает сквозь пальцы. Но должна же быть в мире какая-то справедливость, должна ведь и я получить свой кусочек счастья! Разве есть в этом справедливость, если я так и состарюсь, не получив мужа, не родив ребёнка! И вот сейчас всё так повернулось, что как раз в этом деле я не могу обойтись без твоей помощи...

– Моей?! Если это так... всё, что в моих силах, я, конечно... не пожалею себя ради твоего счастья! – Сырма соглашалась, торопясь, захлебываясь словами, и всё дрожала, всё дрожала мелкой дрожью.

– Да, да, ни к чему ходить вокруг да около. Так получилось, судьба свела нас, и ты должна отойти... отстраниться. Ты знаешь, за тобой ухаживает один человек... правда, он не твой ровесник, старше тебя...

«Я знала, я знала... – молнией пронзило сознание Сырмы, – я чувствовала с самого начала, с чем она пришла, только боялась отчётливо сказать себе...»

– ...Но если верить его словам, ты как будто неравнодушна к нему...

– Неравнодушна? – переспросила Сырма, стараясь чтобы голос её не дрожал.

– Да. Он сам так сказал, чего уж тут скрывать. Признался мне... потому что у нас сейчас с ним такие отношения...

Сырма поняла. Однако внешне ничем не выдала себя, даже мелкая дрожь, что всё время била её, вдруг утихла, прекратилась. Не ответила ничего Гулизе, лишь застыла, окаменела.

Но Гулиза и не ждала ответа, не интересно ей было.

– Правда, он хотя и старше тебя, но моложе меня. Она говорила не обиняком, не намёком, нет, откровенно говорила, словно желала прямотой своей дать понять, что всё уже определилось, всё решено, и её долг лишь рассказать. – Знай я о тебе раньше, я бы сама отступилась. Мне не впервой. Но тут он сам виноват, только сейчас мне сказал. Пойми, он моложе меня, и его капризам я должна повиноваться.

– Это он хотел, чтобы вы пришли ко мне? – спросила Сырма.

«Слава тебе Господи, слава тебе Господи, я спокойна, я спокойна... я не опозорюсь».

– Ну прямо он, конечно, не распорядился, но дал знать, что так он желает. Что же мне остаётся делать, как не угадывать его желания?

– Я сразу же могу ответить вам... – Больше всего Сырме хотелось сейчас, чтобы всё скорее кончилось, чтобы Гулиза поняла, что добилась своего, и поскорее ушла.

– Нет, свой ответ ты должна не мне дать, сказать надо ему.

– Да что ж мне ему говорить… мы условий друг другу не ставили, не обещали ничего и я ему слова не давала, и он мне слова не давал. Если он решил так, как вы говорите, что ж, пусть будет счастлив... разве ж его кто держит? К чему ему моё разрешение?

– Нет, всё же... – в тоне Гулизы была настойчивость. – Раз уж я пришла к вам в дом и решилась такое открыть, значит, всё это очень серьёзно. Ты сама должна ему сказать, а как сказать, это уж тебе виднее. Сам он, конечно, ответственность на себя не возьмёт, ты же знаешь, какой он...

– Какой? Я его таким не знаю...

– Раз так, значит, любишь его, а любовь слепа... – Она снова окатила Сырму холодным тяжёлым взглядом, вдёрнула ястребиный нос, словно хотела клюнуть.

– А вы? Разве вы не любите его?

– Я-то? Человек любит лишь однажды. И пчела, она ведь ужалит раз и умирает. Человек, конечно, не умирает, только если отлюбил, все его мысли, все старания – достойно выйти замуж, удачно жениться. Хорошо, говорят, вышла замуж, с умом, говорят, женился.

– Всё это, наверное, слишком сложно для меня, но главное я поняла. Я готова сделать так, как вы хотите. Ради памяти моего брата...

Гулиза быстро и словно бы с удивлением взглянула на девушку и сразу отвернулась.

– Вы не подумайте так, будто я жертвую чем-то, – продолжала Сырма, несколько смягчая свои слова о памяти. – Особых переживаний тут не будет,

не беспокойтесь, и вы не терзайте себя по-пустому. Об одном только прошу, вы сами дайте ему знать, что я хочу с ним встретиться.

– Мне самой? А если он узнает о том, что я была у тебя?

– Всё равно этого не скрыть. Раз он пожелал, чтобы вы мне всё сказали, вы же не могли не побывать у меня.

– Хорошо. Но когда? Лучше сегодня же.

– Нет, завтра утром.

– А где?

– Завтра утром, больше ничего не говорите ему.

Опять гостья окатила Сырму холодным тяжёлым взглядом, опять поднялся ястребиный нос, словно перед клевком.

– Вам не о чем беспокоиться, – уже увереннее добавила Сырма. – Когда нам с ним надо было первый раз встретиться, тогда тоже я сама дала ему знать... как вы сказали, он по собственной инициативе ничего не делает. Год назад горе опять поразило нас... и я хотела, чтобы не было недоразумений, чтобы он знал, что свободен, волен поступать, как захочет... никаких упрёков с моей стороны не может быть...

– Тогда я пойду! – гостья поспешно поднялась, почти вскочила.

Уже выйдя из ворот, она обернулась, открыла было рот, желая что-то добавить, но не стала, лишь махнула обречённо рукой и пошла решительным шагом.

Сырма осталась во дворе, смотрела вслед, оглушённая, не понимая ещё по-настоящему, что с ней стряслось. Только казалось ей, что она сразу как-то заметно сделалась старше – вот это она чувствовала всем своим существом. И вдруг с пронзительной ясностью вспомнила, что в тот день, когда Кесоу уходил на войну, Гулиза не пришла его проводить. Да, ведь он ждал... как он ждал её, неназванную свою невесту, и никому ничего не мог сказать, не мог даже спросить о ней... молча страдал, и так, никого и ничего не видя, попрощался с ними и уехал... Навсегда.

АДГУР

...И работать придётся
до седьмого пота,
и не до отдыха будет,
и не до сна,
но...

Адгур проснулся, как всегда, рано, будто от толчка, но ещё некоторое время лежал, не мог открыть слипающиеся глаза. Тепло постели разливалось в нём, доставало до последней косточки, от этого всё тело его было сонно размягчено, словно парализовано. Но мысль о том, что надо спешить, была сильнее, и он, сорвав с себя одеяло, сел в постели. Некоторое время он оставался в таком положении, свесив полусонную голову. Всё та же мысль: нельзя, нельзя медлить! – сверлила сознание, разгоняла туман сна. Он спустил ноги на пол, нашарил одежду и стал одеваться. Особенно долго возился с рубашкой: она вся была изорвана – сейчас постоянно приходилось

лазить на тутовые деревья – и он всё попадал руками в дырки вместо рукавов. Наконец он оделся. Рубашка была холодной и влажной от росы, на коже у него выступили мурашки.

Потом он подошёл к тяжёлому чугунному кувшину, стоявшему в ещё тёмном углу на толстой доске, всегда влажной, наклонил его, и замерцали в полутьме струйки воды. Он подставил горсть, набрал полную и плеснул в лицо. Вытираться было некогда. На ходу схватил топорик-цалду, лежавший у двери, и выскочил наружу.

Только-только светало. Недавно отелившаяся корова беспокойно переступала в загоне. Когда она, запрокинув голову, открывала пасть, чтобы замычать, казалось, что она вот-вот вознесёт мольбу высшим существам: люди, верните мне моего детёныша... пож-а-а-луй-ст-а-а-а-а... Она открывала пасть и некоторое время стояла так, и только потом вырывалось наружу то, что медленно рождалось там, глубоко в её чреве. Телёночек с белоснежной мордочкой стоял по эту сторону загона и как бы нехотя, лениво и протяжно тоже подавал свой голосок. Свиньи, визжа, уже топтались у ворот, от них несло болотной гнилью. Куры, как всегда по утрам, не желая мочить ноги в росе, стояли под домом-гостиной, приподнятым на каменных сваях, и ждали своего благодетеля, который придёт и накормит их. Завидев Адгура, часть их высыпала было из-под дома, но те, что посообразительнее, не выказали особого энтузиазма, догадываясь, что сейчас ещё не их время.

«До чего же умные, просто удивительно, – подумал мальчик, – вот запиши их в школу, так запросто будут учиться на отлично».

Но пока что до всех до них – и коровы с телёнком, и свиней, и кур, пока что до них до всех руки не доходили... некогда было заниматься ими. Первым долгом, до того, как телёнка пустят к вымени, как нальют чего-нибудь в корыто свиньям, покормят кур, да и сами заморят червячка, первым долгом, раньше всего прочего все они – и обе младшие сестрёнки, и сам он, Адгур, и все их соседи – все хватают кто цалду, кто серп, кто большой кухонный нож, что ни попадётся под руку, и сломя голову несутся кто куда, в разные стороны, ибо главная забота сейчас, утром, это вовремя доставить корм шелкопрядам.

Сначала, он помнит, когда Сырма принесла этих шелкопрядов, они все помещались в трёх маленьких бумажных коробочках. На дне каждой было насыпано по щепотке чего-то чёрного, вот и всё. Через несколько дней из этой чёрной щепотки получились мелкие-мелкие серые червячки. Их поместили уже в три другие коробки – ачапара – размером метр на метр, сложенные из стеблей прошлогодней кукурузы. Спустя несколько дней червячки заполнили десятки таких коробок-ачапара. А ещё через две недели они заняли целых четыре широкие и длинные, на весь хлев, плетёнки-ачалты. Сейчас червячки сделались жирные, каждый длиной с большой палец, белые с чуть розоватым оттенком, с несколькими выступающими ободками на мягком лоснящемся тельце – прожорливые маленькие крокодильчики. Аппетит их даже не с чем было сравнить – они ели, и ели, и ели не останавливаясь, за исключением каких-то особых моментов их роста, когда

они совсем не нуждались в пище. Но сейчас начиналось самое трудное время, самое прожорливое, когда они, эти крокодильчики, накапливали внутри себя шёлк. В конце концов, перестав есть, они начнут вить шёлковые коконы.

Адгур обошёл стороной всех жаждущих и страждущих в своём дворе и прямо направился к хлеву, где помещались шелкопряды. Открыв дверь, он услышал тихое, непрерывное не то шорох, не то потрескивание, заполнявшее всё помещение. Можно было подумать, что сушёный папоротник, служивший подстилкой в плетёнках-ачалты, незаметно загорелся и теперь медленно тлеет. Это шелкопряды пожирали тутовые листья, толстым слоем высыпанные на них сверху – впрочем, обильный слой этот успел уже превратиться в изрешечённую бело-зелёную массу. Некоторые наиболее крупные черви-шелкопряды уже светились в полутьме белым шёлком.

Значит, Наста и Тата, младшие из сестёр, успели рано утром принести корм, да ещё кучами лежали на полу тутовые листья, отделённые от веток. Но за день этим крокодильчикам понадобится ещё не меньше чем по десять раз столько. Так что поспевай поворачиваться – добывай корм и подбрасывай. Наста и Тата поднимаются ещё раньше, чем он, затемно... они и здесь успевают честно отработать свою долю, и в колхозе. А вот старшая... ну, хорошо, не может лазить по деревьям. Её никто и не заставляет это делать. Но со скотиной вовремя не может, что ли, управиться? Вот сегодня, по всей вероятности, ещё и не вставала. Раньше-то могла, раньше она всё успевала вовремя… Адгур с неприязнью глянул на дом-гостиную, где она спала. Он опасался встречи с ней. Быстро вышел со двора и двинулся полем, что лежало за домом невспаханным и не обнесённым забором. В этом году полю решили дать отдохнуть, сколько лет уже без перерыва засевали его. Сейчас Адгур шёл полем, потому что здесь было суше. Высокая трава вся была в росе.

Средняя сестра, Наста, после того как они принесут эту самую раннюю порцию листьев, хватает свою корзину и бежит на чайную плантацию – путь туда неблизкий. А младшая, Тата, уже который день ходит полоть табак, он такой же капризный, как и черви-шелкопряды. Всё остальное, скажем, кукуруза, довольствуется двумя прополками, а табаку, видите ли, подавайте все четыре, а то и пять. Но ведь шелкопряд даёт шёлк, а табак что? Табак коптит лёгкие людям, и всё. А требует так много труда...

Сейчас, обойдя с рассвета до обеда полсела и обкорнав с десяток тутовых деревьев, больших и маленьких, Адгур обычно не успевал выучить уроки. Самое большее иногда успевал приготовить половину. И частенько, когда не получалось вовремя управиться с шелкопрядом, вовсе пропускал школу.

Когда отец уходил на ферму на целую неделю, он оставался дома за мужчину. И все это понимали: мужской труд – он особый, даже если мужскую работу делает мальчишка. Адгур и сам понимал это и свою работу, свой долг старался исполнить как подобает мужчине, не хныкал и не роптал.

Он не уставал думать о шелкопрядах, об этих маленьких крокодильчиках. Вот он берёт охапку свежих тутовых листьев и высыпает в плетёнку-ачалты,

потом ещё и ещё. Червей не видно и не слышно под толстым зелёным слоем, прекращается неостановимое потрескивание, воцаряется тишина. Но буквально через несколько минут эти маленькие крокодильчики начинают показываться из-под груды листьев, а ещё через несколько секунд, как белый гравий со дна вдруг обмелевшей запруды, они объявляются сквозь наполовину съеденную зелёную массу. И не успеешь удивиться, как они съедят всё, что ты принёс им, только ветвистые белые прожилки листьев останутся, словно обглоданные косточки.

Агдур видел, как они были чёрной кучечкой, потом видел их червями, сначала с мизинец, а потом и с большой палец. Но период самой большой, самой страшной прожорливости, перед самым их превращением в коконы, этот период был ещё впереди. Агдур знал, как это будет тяжело, и всё же, когда он видел начинающих светиться шёлковым отблеском маленьких крокодильчиков, ему становилось хорошо, он начинал уважать их.

Еда – их труд сейчас. Общий труд, их и его.

Сколько надо потратить сил для одного мотка шёлка! Для последнего и самого ответственного момента кормёжки шелкопрядов каждый в селе сохранял те тутовые деревья, что стояли в его усадьбе или уж настолько близко от дома, что их никто не решался трогать. Находились, как всегда, и такие, что в горячке поисков вообще забывали о всяких запретах, слепли, кидались на любое тутовое дерево. Разве только те обходили, что росли прямо в чужом дворе, в остальных же местах ни с чем, ни с кем не считались, теряли достоинство.

Когда Адгур думал о таких бесцеремонных людях, а их он, слава Богу, знал наперечёт, ему всегда казалось, что шелкопряды, которых они выкармливают таким образом, унижая воровством себя и других, не делают шёлка, а оставляют после себя только помёт.

Другое дело, конечно, если тутовое дерево стояло на земле, которая стала ничейной, где давно исчезли старые межи. В таких местах были сняты всякие запреты. Здесь действовало право первооткрывателя – кто подошёл к дереву первым, тому оно и принадлежало. Поэтому все, у кого были шелкопряды, уже с вечера думали, прикидывали, где бы могло оказаться ещё никем не найденное тутовое дерево. И тот, который вдруг вспоминал какое-нибудь заповедное местечко, сразу засыпал счастливый, чтобы на рассвете помчаться туда. Те же, которые ничего не вспомнили, тоже должны были скорее заснуть и встать ещё раньше и то, чего не настигли накануне памятью, настичь теперь на своих двоих – чтобы так или иначе не оставить своих шелкопрядов голодными. Адгур вчера даже не успел подумать, куда отправиться утром, – сразу заснул. Поэтому он должен был искать почти что наугад. Сейчас он шёл и думал, где бы раздобыть тутовые листья, да так, чтобы не слишком далеко было от дома. Подальше-то он знал несколько хороших деревьев с молодыми побегами, но одному, без сестёр, не было смысла туда отправляться. К ним, к этим деревьям, надо идти со старыми простынями, с покрывалами, чтобы, оборвав листья на ветвях, завязать в тюки и так доставить домой.

Адгур не пошёл наверх, к предгорьям, а спустился вниз, к берегу реки. Многие сейчас рыщут по склонам да по холмам, но мало кто догадывается, что ведь тутовые деревья попадаются и в прибрежных рощицах, на скалах у воды. Пока что он шёл горной широкой дорогой, по обеим сторонам которой вставали высокие росистые травы. Мальчик с грустью смотрел на эти влажные заросли – так надоело ему за это время ходить с мокрыми ногами, в непросыхающей одежде!

Он подошёл к плетню, ограждающему поле от скота, приоткрыл широкие тяжёлые ворота, сколоченные из сырых ольховых кругляков, и, быстро проскользнув на другую сторону, отпустил их. Тяжёлые перекошенные створки, сойдясь, ударились краями, и с молодой развесистой акации, к стволу которой был прикреплён ржавым толстым тросом столб ворот, на Адгура ливнем посыпались крупные капли росы.

– Чтоб ты высохла с корнем! Чтобы ты сгорела! – крикнул он чуть не плача, весь мокрый. – Господи, ворота нормальные поставить не могут, створки обтесать лень! Взрослые называется, час поработают, три часа другу байки рассказывают! Потому всё у них так и получается!

Он знал, что несправедлив сейчас, но уж больно паршивое настроение было.

Младшие – он сам и сестрички Наста и Тата – они все трое с самого утра и дотемна вкалывают, некогда присесть передохнуть, у каждого свои обязанности, а вот у старшей никаких определённых обязанностей нет... если время некуда девать, немного поможет с шелкопрядами, или со скотиной повозится, или дома кое-что сделает... на работе то же самое. Даже её недостатки выгодны ей: вот не может лазить по деревьям; поспеют персики, собирай и подавай ей персики... и инжир, и виноград... всё, что растёт чуть выше человеческого роста...

До чего же она любит всё делать понемножку! Ухаживает с удовольствием за шелкопрядами, пока они ещё только-только перешли в ачапары, пока им совсем немного корма надобно. А вот когда они перекочевали на плетёнки-ачалты, когда корма им необходима целая прорва, тут уж она перестаёт, неинтересно ей помогать. Но разве можно так: пока удобно и легко, браться за дело, а чуть становится тяжело, оставлять? А если все будут так по ступать, как же тогда, а? Она, конечно, старшая, но разве это означает, что ей всё можно, и даёт право выбирать где полегче? Тогда что же ему, Адгуру, остаётся делать? На ком ему ездить, если он в семье последний, самый младший?

...Правда, не отнимешь: никто лучше неё не сумеет сделать ачапара из кукурузных стеблей. Так смастерит, что если не оставить их под открытым небом, если не заведется в стеблях какой-нибудь червь, то сносу им не будет. Но всё же, по правде говоря, не так-то уж это и трудно: лёгкие, удобные стебли, вот она и собирает легко и быстро. Хотя, в общем-то и плетёнок-ачалты тоже без неё не было бы. Собрать столько плетёнок, да таких больших, да так быстро, – тут и отец бы не справился... не осилили бы они

эти ачалты, не поставили бы так быстро, если бы не ребята, которые готовы угодить и исполнить каждое её желание.

Нет, всё равно это сделали другие, не она... она и сама не ожидала, что ачалты привезут так быстро. В один прекрасный день нежданно-негаданно нагрянули ребята, её знакомые ещё по школе. Плетёнки-ачалты были, конечно, тяжёлые, но и ребята как на подбор: взялись двое спереди, двое по сторонам, ещё двое сзади – и вот ачалты подняты и поставлены на свои места. Конечно, каждый из них своё дело знал дай бог, но всё равно постоянно спрашивали её: «Сырма, куда поставить?», «Сырма, в какую сторону повернуть?», «Сырма, посмотри, не слишком ли большие зазоры?», «Сырма... Сырма...» – только и слышно было её имя. Им неважно было, что именно спросить, неважны были слова, которые стояли до или после её имени. Главное было – произнести её имя, а все другие слова лишь постольку значение имели, что возможность давали как бы приподнять, как бы осторожно нести на руках её имя. Каждый произносил его по-своему: один – словно касался чего-то раскалённого, к чему невозможно притронуться... чтобы не обжечься, он быстро выговаривал её имя и моментально охлаждал свои губы посторонними прохладными словами; у другого оно слетало с уст как что-то воздушное, неуловимое и тут же таяло; третий обращался к ней негромко, но открыто и ясно... Только один из них – тот, что руководил и его слушались остальные, – произносил её имя буднично, иногда даже посмеиваясь и поддразнивая. Не как другие, не выделял её имя звучанием голоса, не ставил отдельно как бы от других обычных слов, наоборот, похоже, даже и отдавал им предпочтение. А когда она не успевала ответить сразу, он ещё раз называл её имя, отдельно, без других слов, но давая словно бы понять, что те, непроизнесённые слова, они более весомые, а её имя – лишь нечто вспомогательное... или иногда он просто опускал её имя, словно обрубал фразу... говорил, не обращаясь прямо, лишь подразумевая, что сказано – ей.

Ребята все были одногодки; это были те первые солдаты, что призывались и отслужили сразу после войны. А гордый тот парень, он даже и ростом выделялся среди них и особенно хорошо был сложён. Как и все остальные, он был в выгоревшей солдатской гимнастёрке. В руках держал новый, блестящий и остро отточенный топор, и топорище было тоже новое, удобное, по руке. И он орудовал этим довольно увесистым топором, словно игрушечным, легко и точно. Возьмёт левой рукой кол, очень тяжёлый, из акации, возьмёт тоже как игрушку, легко, правой взмахнет топором – и точно попадёт куда нужно и отсечёт ровно столько, сколько и как нужно. За три взмаха он превращал конец кола в острое гранёное копье. И при каждом ударе топор издавал короткий звон. Адгур любил мягкий звон отцовского топора; звук был отчётливый, и отец придерживал топор, пока звук не растворится в воздухе. Оттого что звон был певучим, казалось, что и сам воздух вокруг делается мягче. А у этого парня взмах был короткий, резкий, и казалось, что вместе с столь же резким и коротким звоном откалывается и от-

летает часть лезвия. И с каждым взмахом, с каждым резким ударом Адгур ощущал противную слабость в коленях.

И забивал этот парень кол в затвердевший земляной пол хлева с трёх размахов и намертво.

Сырма, как ни старалась, не способна была скрыть... её взгляд, точно привязанный, следовал за ним. Несмотря на траур, забыв о трауре, она больше, чем можно было вытерпеть (так думал Адгур), освещала и освещала парня своей улыбкой. Но тот не обращал особого внимания ни на её взгляд, ни на её улыбку; какими бы они ни были сияющими, ясно, его это ничуть не ослепляло.

За последнее время, особенно после того случая, много накопилось в душе Адгура против сестры, с предубеждением он ко всему этому относился, хотя и подумать не мог о том, чтобы высказать, выплеснуть... Но то, что этот уверенный в себе парень явно оставался безразличным, когда она дарила его сияющими взглядами, это всё же задевало за живое. Растекалась, понапрасну тратила улыбки.

Конечно, он и злорадствовал немного: она, всегда уверенная в себе и в успехе, знающая, что ещё не родился на свет парень, который смог бы пройти мимо и не удостоить её внимания... да что там внимания – не влюбиться по уши... она, всегда уверенная в успехе, так явно, так очевидно попала впросак.

Такой человек, оказывается, и родился, и пришёл к ним, и преспокойно позволяет себе не замечать её.

И долго ещё потом боролись в душе Адгура противоречивые чувства досады и злорадства. Когда он отчего-нибудь сердился на сестру, он заставлял себя вспомнить этот день и как она беспомощно, напрасно отдавала свой взгляд и улыбку, и злорадствовал. Но когда злость проходила, он опять вспоминал этот день, и ему начинало казаться, будто он слышит резкий короткий звон топора, будто в глазах рябит от разлетающихся, поблёскивающих кусков крепкого лезвия, и опять он чувствовал противную слабость в коленях.

«Это мы не смеем, это мы ходим перед нею на цыпочках, – с острым чувством неприязни думал он сейчас, – а тот... он вообще не обращал на неё внимания – и ничего... ничего она не могла поделать. Хоть бы заставила себя отойти, сделать вид, что и ей всё безразлично... так нет, чем больше он выказывал холодность, тем больше заинтересованности проявляла она».

Сырма никогда и никого из них, младших, не упрекала, что вот, мол, недостаточно внимательны к ней, к старшей... наоборот, она, насколько могла, старалась не только не обижать их, но пыталась, и все это понимали, хоть в чём-то заменить мать, как-то возвратить ушедшее тепло. Когда младшие сёстры слушались её, как слушались бы матери, или тайком любовались ею, какая-то необоримая внутренняя сила заставляла мальчика тоже хорошо думать о ней... как ему хотелось тогда сделать для неё что-нибудь приятное! Более того, он знал, что сам отец прислушивается к её мнению, советуется с ней... да и старший брат, тот, что не вернулся, души в

ней не чаял. Но в последнее время, чего же скрывать, после того случая, мальчик не знал, как относиться к ней, разные чувства боролись в его душе, и разобраться во всём этом он пока не мог.

Сейчас он испытывал острое чувство неприязни к ней…

«Наверняка сидит теперь перед зеркалом, – глухо роптало его обиженное сердце, – и раз есть в ней такая охота любоваться собою, значит, успела уже забыть о трауре, который носит». Словно боясь, что может сказать это и вслух, мальчик сжал зубами кулак, и боль отвлекла его.

Он знал, конечно, что нет, она не забыла... но, находя ей обвинение, он старался оправдать себя. И всё же даже и тогда он оставался совершенно одиноким... один на один со своей виной, грехом, предательством, это всё оставалось с ним.

Ведь если кто-нибудь вздумает даже не то что забыть о горе, нет, просто не помнить о нём ежеминутно, пока вся семья носит траур... ведь горе как бы стало членом семьи, каждого сопровождает целый день, а вечером, когда они соберутся дома, оно тут же присутствует... так вот, если кто-нибудь позволит себе не помнить, его ждёт общее презрение, как любого предателя... и даже если кроме него самого никто об этом не будет знать, всё равно загрызёт его совесть и не будет ему спасения от самого себя.

От этих мыслей Адгуру и вовсе сделалось плохо, вина, в которой он сам себе не хотел бы признаваться, ощутилась ещё тяжелее, глаза горели от подступивших слёз.

Пусть, так, но почему же, шептал он, глотая слёзы, чего же она на работу не идёт, пока не поднимется солнце? О нём самом и речи нет, тут понятно, он теперь дома за мужчину, но разве не жалко ей младших сестрёнок... ведь всё делают и за себя, и за неё...

Он знал, что, говоря так, говоря неправду, он ещё больше отдаляет себя от всех, ещё острее будет чувствовать одиночество; но пусть, пусть, пусть будет ещё больнее... Он заплакал.

Сейчас он спускался голым, словно оплешивевшим склоном, лишь хилая редкая трава попадалась да выпирали острые рёбра камней. На ногах у мальчика были чусты, прозванные в народе «сухумсочи». До него их носила и порядком износила Наста, пока не сделались ей малы.

Теперь мокрые от росы его ноги скользили внутри этих сухумсочей, он чуть не падал, и это мелкое неудобство добавлялось ко всему остальному, и ещё больше раздражало, выводило из себя.

Склон, по которому он спускался, сделался таким голым, почти мёртвым, от табака. Уже три-четыре года как здесь никто ничего не сеет, даже и под пастбище теперь это место не годится. Разве председатель колхоза не знал, что на склонах нельзя два-три года подряд сажать табак? Во-первых, табак сильно истощает землю, делает её бесплодной, а во-вторых, почву под ним приходится разрыхлять, а потом её легко смывает дождь... так что вполне можно считать этот склон мёртвым, просто некому горевать о нём, надевать траур, причитать, как над могильным холмом. Коли планы выполнены, остальным руководство колхоза не интересуется. И многие в селе тоже

постепенно стали походить на председателя. Если чья-нибудь кляча не так споткнётся, человек искренне переживает, а вот то, что здесь, на этом обширном склоне, земля лежит мёртвой, это никого не трогает. Он думает, что земля, она всё стерпит. Нет, не всё! и земле больно, и дереву, да, может, и камню... всем, всем больно!

Когда Адгур спустился вниз, к шумной бурливой речушке, он уже перестал плакать; он не вытирал слёзы, и теперь они, высохнув, стягивали кожу под глазами. Прямо в своих сухумсочах мальчик вошёл в чистую холодную воду, не снимая их, дал течению смыть налипшую грязь, ноги больше не скользили внутри, и он вздохнул свободнее.

Он любил эту речушку и за день хоть раз старался побывать возле неё, даже просто так, без дела, что, в общем-то, очень редко мог себе позволить. То ли в особой чистоте и прозрачности её было дело, или в том, что неуёмная жизнь кипела, постоянно обновлялась тут... или оттого, что речка казалась ему вечной в постоянном своём беге, свидетельницей прошлого и будущего... как бы там ни было, только ноги сами несли его сюда.

И тогда... тогда ноги тоже сами привели его сюда. Удивительно, заметил он, что и козы, если их приходилось искать, оказывались обычно здесь. Отчего-то полюбили это место. Спросишь взрослых, они равнодушно ответят, что, мол, потому это, что козам есть здесь чем кормиться... но разве мало других мест, где корма предостаточно? Почему же не может оказаться, что движет ими другое, не только поиски корма, что чувствуют они особые, полные нетронутой жизни здоровые места?.. Да люди об этом и не хотят слышать. Будто, кроме них, никто ничего не чувствует, все глухи и немы.

В тот день, видно, их привлекли сюда свисающие со скал гирлянды плюща, похоже, ничего другого и не искали. Хотя нет, почему не искали? Под этими скалами всегда сухо, в непогоду здесь укроется хоть полная сотня коз. Козы не любят возвращаться домой, в этом смысле они менее остальных животных домашние. Вот и говори, что козы кроме как в еде ни в чём не разбираются! Узнали ведь они, что быть непогоде, что надо искать место, где и еда найдётся, и от ветра и снега защититься можно. Человек в этом смысле куда как грубее предсказать может, а чаще всего ошибается. Зима выдалась бесснежная, до самой середины февраля только горы в белых шапках стояли. Но в тот день, когда он пришёл сюда, к розовым скалам, с которых будто стекают гирлянды зелёного плюща и под которыми сухо, как дома, в тот день впервые пошёл снег, закружились мокрые густые хлопья.

И тут Адгур вспомнил вдруг, что на скале, под которой он тогда стоял, растёт тутовник; ну да, его жёлтые гибкие корни кое-где выпирали наружу; поднимая голову кверху, он тогда видел, как к его обомшелому стволу льнули мокрые снежинки, и вскоре ствол сделался белым.

Да, об этом дереве наверняка ещё никто не вспомнил, а может, и вообще не думали, не ожидали найти тутовник тут, на скале над рекой... и даже если заметили, редко кто решит влезть на это дерево. Другое дело взрослые, они просто срубят его, и всё.

Ноги в чустах больше не скользили, и он быстро пошёл по берегу, вниз по течению, к скалам.

...Эта речка, безлюдный, всегда казавшийся ему чуть таинственным берег... да ещё и снег так неожиданно пошёл в тот день... всё так сложилось, всё повлияло так, что он вдруг на какие-то минуты забыл себя ... и не только себя...

Нет, не потому, что он не мог разобраться, отчего всё так получилось... не потому, нет... но он даже в мыслях не мог согласиться с тем, что это всё таким именно образом и было, не показалось, не привиделось, а было. Потому что тогда совсем уж не оказывалось выхода – нечем было искупить или смягчить грех. И вот теперь он, чтобы не изводить себя, не мучить постоянным запоздалым раскаянием свою душу, теперь он упрямо твердил себе, что ничего подобного на самом деле не было, всё это ему просто померещилось. Да, так он решил, заставил себя думать так, – но душа была мудрее, и она с болью переносила ложь, в которую заставляла верить голова.

...Кончилась война, прошло время. Много дней пролетело с тех пор, как принесли в дом похоронку на старшего брата. Адгур не помнил его так хорошо, как хотелось бы. Когда пытался увидеть брата, всплывали какие- то обрывки, отдельные картинки... улыбка, с которой брат повернулся к нему... действительно белозубая была улыбка... На земле под умывальником долго ещё оставались белые пятна от его зубных порошков... А однажды он застрелил любимую собаку – пришлось, заболела бешенством... Все тогда кинулись к собаке, а она... едва прогремел выстрел, моментально сникла, сделалась неподвижной ещё до того, как упала... а всем хотелось посмотреть, куда он попал. Брат отвернулся, бледный, и, почти бросив ружьё в протянутые руки матери, шагнул в дом-гостиную и закрыл за собой дверь... И ещё однажды – в заводи, под самыми скалами, он купал лошадь, и в свете вечернего солнца и лошадь, и он, и скалы – всё казалось отлитым из бронзы... Оторванный от книги чьим-то вопросом, оборачивался, смотрел, и видно было, как глубоко ушёл он в чтение и как ещё не пробился из этих глубин его задумчивый взгляд, с каким увлечением он работал... когда полол молодую кукурузу, окучивал растения высоко и тщательно, и потом уже, когда убирали, всегда можно было отличить те участки, где он прошёл с мотыгой... множеством холмиков были усеяны эти места, и подобно древку знамени, водружённого на вершине сопки, торчали вверх обрезанные кукурузные стебли. Помнится, как отец, отдыхая в тени, следил за работой старшего сына и не то что улыбался, а словно бы даже светился от гордости.

Да, для отца старший брат, Кесоу, это было всё. Адгуру казалось иногда, что после смерти Кесоу всё остальное сделалось отцу безразлично.

Сколько разных улыбок брата он помнит! Как только начинает вспоминать о нём, оттесняя всё другое, вспыхивают, вспыхивают эти улыбки... Потом – голос. Никогда, видно, слух Адгура не потеряет, не забудет его звучания... оно словно недоступная чужим родная, под-держивающая, обнадеживающая песня.

Кесоу год пробыл на фронте. Два раза районная газета писала о его подвигах и наградах. А потом – похоронка. Адгур даже больше, чем о самом брате, помнит о том, что сделало с их семьей это горе. Однако и такое постепенно поглощается, отодвигается всесильным временем. Но нет, невсесильно, оказывается, всё уносящее время. Не может оно отобрать, лишить человека надежды...

Три года прошло, как окончилась война, пять лет после похоронки... Уже не ощущалась рана свежей, только что нанесённой... уже будто оправилась, вернулась постепенно к жизни семья... И вот в самый полдень, когда все, кроме отца, были в сборе, во двор к ним неслышно вошёл человек... часто оглядываясь, словно боялся чего-то или кого-то. Очень был худой, кожа словно обожжена чем-то, то ли зноем, то ли морозом. Щёки как провалившаяся могила, беззубый рот. Только глаза не погасшие, и по ним можно было понять, что вовсе не старый ещё этот человек. Двигался странно, словно не на своих ногах, словно не чувствовал под собою надёжной и тёплой земли... казалось, что вот подует ветерок – и собьёт его с ног, повалит, будто маленький легкий сноп кукурузы, который обычно вяжут дети, повалит, да и покатит по жнивью.

Адгура до сих пор бросает в дрожь, если вспоминает о нём. И когда он беспокоился о чём-то, переживал, боялся за кого-нибудь из близких, ему часто казалось, что тот погасший человек идёт следом за ним, и он тогда резко оборачивался, и лицо у него было злое.

И мать... Посмотрела на гостя и вся сникла. Видно, то, что все эти годы поддерживало её, её надежда на чудо стала ускользать. Отец тогда ещё не работал на ферме, но в полдень не пришёл домой, что-то его задержало. Узнав, что отца нет, гость отозвал мать в сторонку. Они вместе поднялись на веранду и сели рядом на тахту. Пробыли они на веранде совсем недолго. Мать никогда никого из тех людей, что переступали порог их дома, не отпускала просто так, не угостив хоть чем-нибудь... но на этот раз она ничего не сказала гостю, когда тот уходил. Вышла с ним во двор, проводила его до ворот, некоторое время стояла там, будто застыв. Когда же повернулась и пошла обратно, все сразу заметили, что походка её сделалась точно такой же, как у того человека, неуверенной, словно не чувствовала под ногою землю. Это она-то, мать, которая достойно вынесла все удары судьбы, которая выстояла и помогла выстоять всем, всей семье в постигшем их горе... это она-то, которая в нужный момент могла заменить мужчину...

– Что, напугал он вас? – мёртво вымолвила она, поднявшись на веранду. Увидела их лица и через силу улыбнулась. – Это наш старый знакомый... давно его здесь не было... уезжал далеко... Вот, заглянул проведать...

Они все – он и сёстры – засмеялись наконец, вздохнули свободно. Не услышали в её голосе боли.

Потом, возвращаясь памятью к этому дню, он думал, что голос её походил на голос тяжело раненного человека, который ощутил удар, но не упал ещё, не успел осознать, что с ним, не почувствовал ещё боль. Одна только старшая сестра всё поняла, он помнит, как она побледнела вдруг. Он

тогда ещё рассердился на неё, чего это, мол, она мрачная такая сделалась, опять настроение всем портит...

– Адгур, ты садись-ка за уроки, – сказала ему мать, – а Наста и Тата пойдут со мной. Целый день отнял он у меня, этот гость... Я же собиралась в огороде поработать... Надо выполоть сорняки, пока земля мягкая после дождя. Теперь одна без вас не справлюсь... – и она спустилась с веранды и пошла к огороду.

Сырму и тогда уже ничего не заставляли делать: ни уроки готовить, ни работать.

Назавтра он один пошёл в школу, сестёр мать не отпустила. Сказала, что заодно уж всё – и дом, и двор надо привести в порядок.

– Смотри-ка, девочки-то у меня почти взрослые... говорила она. – Вдруг нежданно-негаданно заявится к нам чей-нибудь поклонник, а? Не хочу, чтобы по моей вине он увидел вас, или дом, или двор в беспорядке...

Когда Адгур вернулся из школы, они столько уже всего успели переделать! И полы вымыли по всему дому, и постирали, и погладили, а Наста и Тата после всего ещё и двор успели подмести, трава перед верандой казалась теперь зеленее и мягче. Да, вот так дружно взялись за дело и всё успели. Весна в том году выдалась ранняя, в самом начале апреля уже сделалось жарко и сухо, как летом, дни стояли безветренные.

Когда огромный багровый шар солнца стал заваливаться за горизонт, мать сказала им, что немного устала; вышла на веранду, прилегла на тахту, ту самую, где сидела вчера с тем странным гостем. Прилегла, и больше её голоса не было слышно. Сырма встревожилась, быстро вышла к матери на веранду. Адгур тоже был в комнате, читал, но ему не понравилось, как Сырма выбежала... поднялся за ней. Сырма вскрикнула на веранде, бросилась к матери. Наста и Тата тоже мгновенно были тут…

Никогда Адгур не забудет: пока они беспомощно суетились возле, жизнь, которая ещё полчаса назад смотрела из-под покрасневших век усталым и полным горечи взглядом, тихо растворилась, ушла, как незаметно уходит вода из-под неподвижного камня...

Над тем местом, где закатилось солнце, осталась багровая полоса – будто открытая рана.

Во время войны похоронки в их село пришли многим, с их неизбежностью не то что свыклись или смирились, но они были неизбежны, они означали близкое присутствие смерти, её холодное дыхание было везде, сделалось как бы частью жизни. Но каждая смерть, случившаяся после войны, была вдвойне тяжела, как гибель солдата за несколько минут до победы...

Сырма отогнала их всех, рыдающих, убивающихся... отогнала от матери, закрыла ей глаза, руки сложила на груди. Потом её душераздирающий крик, древний сигнал бедствия – «Ахухуара!» – полетел над их двором. Она никогда не кричала ещё так, Сырма, но горе само подаёт свой страшный голос.

«Лёгкой смертью умерла... – сказало село. – Единственно в чём не отказал ей Всевышний...»

А гость тот, оказывается, был фронтовым другом Кесоу. И вроде бы Кесоу перед смертью успел попросить, чтобы тот, если вернётся, навестил его мать и отца и сам рассказал обо всём.

Тяжело раненный, этот человек в беспамятстве попал в плен. Когда же после войны вернулся на родину, пока ещё во всем разобрались, поверили... Разве думал он после стольких-то лет, что гибель друга его, давно уже оплаканного, этаким может обернуться, обернуться свежей, смертельной в своей неожиданности раной.

Для матери, хранившей в своём сердце надежду вопреки всему, сын её Кесоу умер будто только что, только сейчас...

Уже почти полтора года прошло, но они всё ещё носили траур по матери. Неделю назад отец приходил с фермы домой; собрал дочерей и сказал им, попросил, чтобы сняли траур. «Это грех, – так он сказал, – если есть что-нибудь на том свете, душа вашей матери и там страдает из-за этого, из-за долгого вашего траура. Вы же ещё дети, поносили год, и достаточно. И разве не боитесь за единственного брата, который остался у вас... Он же совсем ребёнок...»

В тот же день Сырма поехала в Ткуарчал и купила сёстрам и себе новые, чуть более светлые платья, которые можно было надеть сразу после траурных. И Адгуру тоже купила рубашку посветлее, в полоску. Но пока ещё никто в доме не осмеливался снять траурную одежду.

Так что куда там запеть! Сколько уж времени, как никто из них не то что не пел, но даже и не смеялся свободно и громко, не шутил, не прикасался к гитаре. Им всё казалось теперь, что они никогда и не пели, песня засыхала у них в сердце, не успев родиться. До тех бед, которые обрушились одна за другой на их дом, они любили и умели петь, иногда всей семьёй. Бывало, после ужина отец подвигал свой стул поближе к ним, к детям, и начинал – всегда старинными охотничьими песнями. (В своё время он был известным охотником.) Но лучше всех в их семье пел Кесоу. Любую песню, любую мелодию, даже самую древнюю, умел сыграть на гитаре. Не только голос брата хорошо помнил Адгур... помнил, как под его рукою пели струны, проникающий в сердце сладостный звук каждой из них – как они грустили, веселились, надеялись. Кесоу и сам сочинял песни – музыку и слова. Говорили, что способность эта в нём от материнской родни, от их крови. Отец не обижался на такое предположение, лишь молча посмеивался, когда при нём говорили об этом. В общем-то, конечно, ему и незачем было обижаться, его род тоже не отставал, певучий был. Но у матери голос был особенный. Рассказывали, что прежде её частенько забирали на свадьбы, никто лучше её не запевал «Уводят невесту». Но после того как пришла весть о гибели Кесоу, она уже не пела никогда. Правда, незадолго перед её смертью в доме уже пели. Когда сёстры начинали вместе с отцом и с ним, Адгуром, как им тогда не хватало этих голосов, её и Кесоу. Но никто не старался сгладить... наоборот, подчёркивали, обнажали, чтобы видно было,

что нет, недостаёт лучших голосов. Конечно, песня не получалась, и они быстро умолкали.

С тех же пор, как мать умерла, песни в их доме вымерли. По обычаю, когда минул год, снять траур, петь, смеяться – всё это не возбраняется, да сердце не могло выйти из траура, сердце отказывалось петь. Горе до того примёрзло к их душам, что они никому не простили бы не то что нарушения обычая, но просто слишком скорого возврата к жизни. Они бы, наверное и не сказали ничего, но это было бы ещё хуже... Адгур был уверен в этом – не разумом, не головой, понимал больше душой.

Но вот чего он объяснить себе самому не может, это почему тогда всё так получилось. Ведь просто не могло, ну не могло этого быть – и всё! Нет, нет, нет! Это был не он – это был тот сопливый мальчуган, ещё дошкольник, которого Кесоу научил своей, сочинённой им взрослой песне перед самым уходом на войну. Он, Адгур, должен был, должен был вовремя остановить этого малыша, который ещё не знал, не понимал, что можно себе позволить, а что нет. И вот – не смог. Засмотрелся на снег, поддался неожиданному очарованию. И в это время тот сопливый дошкольник улучил минутку, почувствовал себя свободным и вырвался из-под контроля... Песню, которой научил его тогда Кесоу, он хорошо помнил... Это всё он, малыш... да он толком и не умел петь, так, попробовал только. Но она, она ведь наверняка подумала, решила, что он в самом деле пел, пел всерьёз... А всё потому, что это она сама такая, это она способна такое сделать, потому и о нём могла подумать. Конечно, теперь встанет в один прекрасный день не в духе, возьмёт да и объявит всем: мол, так и так. Раскрасит, преподнесёт, как для неё будет удобней. Отец всё, конечно, поймёт, отец-то как раз не поверит. Но какими глазами ему тогда смотреть ему тогда смотреть на сестёр? ведь они-то наверняка поверят старшей... что же тогда подумают о нём? Скажут, забыл мать... скажут, всё ему безразлично.

Адгур ускорял и ускорял шаги, глотая слёзы. Как он ни старался не думать, не думать, в душе его звучали несправедливые слова сестры. Он представлял себе, как она это скажет, и боль всё усиливалась. Да если даже и не скажет... Всё равно думает!

Тот сопливый дошкольник – это он во всём виноват... И ещё снег. Хоть бы про себя произносил слова песни, так нет!.. Но рядом шумела река, и он сам не чувствовал, как громко у него получалось. Да, всё, конечно, началось со снега. И не потому, что он, как все ребята, каждый год с нетерпением ждёт его. Нет. В той песне, которой научил его Кесоу, в ней говорилось как раз о снеге...

Но всё равно, кто с этим захочет считаться... Скажут, думаешь, у нас не нашлось бы повода запеть? Однако ж мы уважаем, мы-то помним!

Всё тот сопливый малыш! И снег... Но нет, нет же – честно говоря, ещё была одна причина, может, даже важнее тех двух... Конечно, ничего такого особенного не произошло. В школе с ним вместе за парту опять посадили эту хохотушку Марину. И вот она села, положила голову на парту, обернувшись лицом к нему и не переставая беззвучно смеётся. В общем-то она не зануда и

не ябеда, ничего девчонка, только с ней не знаешь, когда она смеётся над тобой, а когда просто так... Но тогда, в тот день, уже слишком было, переборщила она. «Остановись, не надо...» – сказал он, боясь, что опять всё плохо кончится. «Хочу – и смеюсь! – шепнула она в ответ. А что, ты не хочешь, чтоб я на тебя смотрела?» Ну что ей сказать на это! Все девчонки в общем-то одинаковые. Всегда и всего боятся, а там, где действительно поостеречься надо, тут они герои! Неужели не понимала она, где они сейчас? Ну захотелось подурачиться, так занимайся этим дома. А тут учитель на доске пишет, вот-вот закончит, обернётся и сразу увидит... И без того она самая заметная в классе. Да, учитель не потерпит... он вечно злой, как корова, у которой потрескались соски. «Опять нас рассадят, – шепнул Адгур девочке. – Не понимаешь, что ли, пересадят за разные парты!» И та вдруг перестала смеяться, выпрямилась и села нормально. Да, если только не нарочно дурачится, она всё же здорово понятливая, с полуслова всё соображает. И, словно уловив его мысли, она повернулась и улыбнулась ему. На этот раз совершенно ясно было, что просто радуется она, а вовсе не насмехается. Хотя ему, по правде, и тогда нравилось, когда она непонятно-лукаво смеялась. Только он всё равно не смеялся вместе с ней. До смеха ли ему было. Но как она смеётся, любил смотреть.

Придя домой, он в тот день почему-то ничего не смог съесть, кусок не шёл в горло. Сырма набросилась на него: мол, изможднный совсем, шея как мизинец, как это – не ест! – и пошла, и пошла, и заставила в конце концов, силой заставила чего-то съесть.

Обычно она тихая была, но уж если разозлится, тогда лучше с ней не связываться. Раза два ему так от неё попадало, что надолго запомнилось. Но в тот день он ничего не боялся – такое было настроение. И послушался он Сырму, скорее чтобы не портить себе настроения, почему-то очень боялся испортить, омрачить его. Когда же Сырма сказала, что надо пойти и пригнать сюда, ближе к дому, коз, он с удовольствием отправился на улицу. И она тоже стояла одетая, видно было, что куда-то собралась.

Когда он вышел из дома, небо всё было затянуто снеговыми тучами и налетал ветер, но ему даже жарко отчего-то было.

Сначала он поднялся на ближайший холм. Но вокруг, куда ни доставал взгляд, а доставал он далеко, коз не видать было. Тогда ему вдруг пришло в голову, что козы могли польститься на плющ, могли быть под скалами у реки. Он побежал туда. Догадка его не обманула, козы действительно рассыпались по скалам, лакомились плющом. Он всегда считал, что козы умные животные, и сейчас ещё раз в этом убедился. «Ого-го, ге-ге, – крикнул он им. – Куачара, Куачара!» Козы сначала испугались, оставили плющ, повернули головы на крик, но, узнав Адгура, спокойно принялись опять за своё. Куачара, вожак стада стояли на скале, сторожил. Когда к нему подобрался откуда-то молодой козлёнок, Куачара боднул его, наказал за то, что посмел мешаться под ногами, отвлекать в такую ответственную минуту, при исполнении им важных обязанностей сторожа.

К этому времени в воздухе появились первые снежинки, а через несколько минут несчётное количество их тихо и торжественно плыло вокруг, преображая мир. Шумливая речушка притаилась, почти неслышной сделалась.

Адгур укрылся под нависающей сверху розовой скалой – в этом подобии пещеры было сухо и сохранялось тепло. Подняв голову, он увидел мощные жёлтые корни тутовника, обхватившие камень стены. И он с необычайной остротой ощутил, как крепко он стоит на земле и как прочно она держит его; казалось, сама земля согревает его, придаёт ему жизненные силы. В этот день он всё видел иначе, не так, как обычно, – словно впервые. Густо и бесшумно ложился снег. Сквозь неплотную белую пелену розовели скалы, зеленели свисающие гирлянды плюща, его с жадностью поедали козы. И время будто исчезло, а он оказался вне его, где-то в прошлом... так давно, что даже дед его не вспомнил бы... но место – речка и скалы над ней – было то же, и так же, как он сейчас, укрывался здесь от снега такой же, похожий на него мальчик... наверное, мальчик даже больше, чем он, любил это место под скалами, сухое и тёплое, потому что одет был хуже: одна конопляная рубашонка, а сверху – козья шкура. Вот пришёл он сюда, под скалу, в сухое уютное место, голову поднял, увидел мощные корни тутовника, обнимающие камень, выбирающие из недр скалы жизнь, и вдруг почувствовал, что и он живой и что эти тёплые каменные стены помогают ему жить, дают укрытие ему и плющ его козам. И тогда мальчик, видно, тоже удивился: ведь сотни раз приходил сюда, к скалам над рекой, но сейчас всё виделось иным, необычным; он словно проснулся: всё вокруг сделалось неотразимо красивым, жило, дышало, и словно бы знало о его присутствии, и понимало, и любило его. И он почувствовал, что кроме сытости, тепла и уюта, безопасности есть еще что-то такое... что украшает и согревает жизнь... и это что-то и есть самое прекрасное. И вдруг его ушей коснулись удивительные звуки... когда же он хорошенько прислушался, он с изумлением понял, что всё – от него же самого... он пел.

И с Адгуром тоже примерно так получилось... неожиданная, вдруг проснувшаяся сила видения... ощущение причастности к великой, нескончаемой, всегда бывшей и вечной в будущем, счастливой тайне жизни... Тогда-то он и услышал голос, на свой обычный вроде бы непохожий, и уж конечно не голос того сопливого дошкольника, каким он когда-то был. Скорее голос звучанием и силой напоминал тот, которым он окликнул Куачару, вожака стада. Да, значит, он уже и тогда зрел в нём, этот голос. А Сырма, услышав этот подбадривающий возглас, наверняка решила бы, что он пел. Или подумала бы, зачем же он так весело кричит, до радости ли теперь...

Снег всё падал и падал, а речушка совсем затихла, будто притаилась. И он услышал этот голос, очень знакомый, но не его обычный, а скорее тот, которым он только что подбадривающе окликал стадо. «Падает тихо белый снег, как белое счастье...» – ясно услышал он. Это были те слова, которым научил его старший брат... научил того сопливого дошкольника.

– Да, это была песня, песня! Та самая!.. – громко сказал он сейчас и ещё прибавил шаг, словно убегая от чего-то. – Всё, что говорю, пустое... Но я же не виноват, сил не хватило перебороть то, что тогда во мне поднялось... Но кому это скажешь, кто поймёт?

Снег тогда не переставал... Часть коз забралась под скалы, преспокойно жевала жвачку, а часть ещё паслась, не могла оторваться от плюща. И вот тут-то, словно тихий снегопад, притаившаяся речушка и молчаливые скалы неожиданно обрели в человеке голос, тут-то и прозвучало: «Тихо падает белый снег, как белое счастье...»

Вдруг сверху, со склона, видно, испугавшись чего-то, поспешно попрыгали козы. Он поднял голову и заметил... старшую сестру Сырму. Неясно видная сквозь пелену снега, она обходила скалы. Не повернулась к нему, никак не дала понять, что знает о его присутствии. Ни тогда, ни после он так и не смог узнать, почему она здесь оказалась. Скорее всего, когда вернулась домой и не нашла там ни его, ни коз, пошла искать, вот и наткнулась. Но слышала ли она его голос? Если бы нет, она, увидев, конечно, позвала бы его, и они вместе погнали бы коз домой. Значит, она всё слышала.

Вот это-то предательство, жестокость, непонимание – они-то его и мучили. Ну, услышала, ладно... Так подошла бы к нему! Подошла бы, она же сестра! Или сказала бы, что ничего страшного, он, мол, ещё мальчишка, с него и спросу меньше... или притворилась бы, что не услышала, успокоила бы его. Нет – затаилась, хочет в нужный момент воспользоваться, нанести удар, когда удобный случай подвернётся, неожиданно... хочет сказать всем, вслух сказать, что вот он, смотрите – ещё от горшка два вершка, а управы на него нет, в кого он только пошёл такой, едва лишь год минул, как похоронили мать, вся семья в трауре, а он стоит себе на берегу и во всё горло распевает песни, бездушный такой...

Опять навернулись слёзы: это он-то забыл мать?! Ведь он... он… это ведь он до сих пор не верит, что её действительно нет и не будет никогда.

Вот и скалы уже, внизу шумит речушка, сегодня она особенно говорлива: в горах тают снега. Но нет... кажется, это чей-то голос. Адгур остановился, прислушался. Почудилось, верно. Речка о чём-то спорит с ущельем. Спускаясь к воде, он ещё раз остановился. Теперь уж ошибиться невозможно было: действительно, человеческие голоса слышны, только невозможно разобрать, о чём говорят. Он выглянул из-за скалы – и обомлел, и отпрянул скорее назад. Быть этого не может! Не обманывают же его собственные глаза! Опять он, чуть показав голову из-за скалы, посмотрел туда и понял, что глаза не обманывают: это были и вправду Сырма и тот, который давеча так ловко орудовал у них во дворе своим тяжёлым топором. Она опустила голову, смотрит в землю, а тот держит голову высоко, уставился куда-то в пространство. Адгур до того ошарашен был увиденным, что не сразу сообразил: вовсе не злую радость испытывает он, скорее обидно ему, стыдно видеть смиренную приниженность сестры рядом с надменностью парня. И даже почему-то не столько за неё обидно, сколько за них за всех: за Кесоу, за отца и мать, за Насту, за Тату, за себя самого, наконец.

И во всём ведь виновата только она, она сама! Если уж не умеет себя уважать, то откуда же в парне взяться уважению к ней? Какая девушка сейчас, когда по всем закоулкам рыщут в поисках тутовых деревьев ребята вроде него и кто постарше, какая девушка позволит себе на рассвете стоять в укромном месте с каким-то типом!.. Да ещё во время траура... Выходит, соблюдала его лишь для вида?! Постой, постой! Да ведь она даже и траурное платье уже сняла! Пришла в другом, более светлом... Адгур знал, что такие, чуть более светлые платья, которые принято носить сразу после траура, куплены и есть у всех трёх сестёр, однако же никто ещё не осмелился надеть их. А она в новом платье отправилась на свидание! Как же она могла дойти до такого! Разве понятия чести обязательны не для каждого?

Он ещё раз выглянул из-за скалы: парень, надувшись как индюк, нехотя что-то цедил и не смотрел на Сырму. Когда же он раскрывал рот, поблескивали его зубы, как прежде лезвие топора.

Видимо, и слова у него были такие же резкие, хлёсткие, слова, как звон топора. Немного их, но каждое... как точный удар – раз, раз, раз – и кол остро отточен. Так и надо, так и надо ей, так и полагается, заслужила! Но этот! Неужели она до того уж ослепла, не видит, что это за тип?

Он быстро обогнул снизу скалы и поднялся на ту, где рос тутовник. Дерево, стоявшее прямо на скале, держалось не очень-то крепко. Росло оно в тени буков и грабов, поэтому на нём не было плодов, и листья как нельзя лучше годились на корм шелкопрядам. Видно было, что никто и никогда не обрубал тут ветки: не хотели из-за такой ерунды, как листья тутовника, рисковать жизнью. Адгур засунул за пояс топорик-цалду и не раздумывая решительно полез на дерево.

В другое время он и сам бы не стал подниматься на такой тутовник. Мало того, что он шатался даже под тяжестью его мальчишеского тела, да ещё и ствол с одной стороны был голый, гладкий, а с другой оброс мхом, который тогда, в тот раз, был так красиво запорошен снегом. Приходилось трудно, но он поднимался, как кошка, цепляясь за ствол.

Когда он наконец, запыхавшись, добрался до первых ветвей, сразу же, даже не дав себе передохнуть, выхватил из-за пояса цалду и изо всех сил рубанул... Три-четыре взмаха – и тяжёлая от обильных листьев ветвь полетела вниз.

Он чувствовал, как они оба сразу обернулись на стук и она, конечно, тут же, ещё не увидев, догадалась, что это именно он, Адгур. Она такая, тут же обо всём догадывается. Он знал, что она скажет этому типу – чтоб тот сразу исчез... а сама ещё ниже опустит голову.

«Вот так, – злорадствовал он, – а то она думала, что это игрушки!» До сих пор она заставляла его страдать, теперь пусть сама помучается.

Вот так вот! Вот так! И у него будто прибавилось сил, казалось, может взмахивать цалдой бесконечно. Удар, ещё раз, ещё, ещё, ещё раз... отлетают отрубленные ветки. Он бил с такой силой, что ни одна из падавших ветвей не зацепилась за соседние деревья, за буки и грабы, тесно окружавшие

тутовник. Несколько веток долетели даже до самой речушки, зеленые листья торчали из воды.

Вот так!

Вот так!

Вот так вот!

Только когда он почти оголил дерево, он опомнился и сообразил, что столько-то сразу и не стоило рубить. Он ведь один пошёл, сколько же раз придётся проделывать путь домой и обратно, чтобы всё перенести. Да и могли забрести сюда козы, коровы, – быстро всё подчистят. Но уже было поздно, дело сделано. И странно, он даже не чувствовал никакой усталости. Быстро слез с дерева и спустился вниз, к воде; берег был усеян тутовыми ветвями.

Только сейчас он позволил себе посмотреть в ту сторону. Посмотрел и увидел неестественно прямую, вытянувшуюся в струну фигуру того типа. Он только сейчас уходил прочь. А сестры нигде не было видно. Похоже, она попросила парня задержаться, подождать, пока мальчик не слезет с тутовника...

«Ухажёр чёртов...» – чуть не крикнул Адгур ему вслед, но сдержался, только прошептал тихо.

Ему сейчас хотелось быстрее оказаться дома, поэтому первую вязанку он сделал поменьше, чтобы легче было нести.

АДГУР. НАСТА. ТАТА. СЫРМА

И труда тяжёлого много,
и мусора, и грязи,
и запаха неприятного,
и уберечь непросто ...

Адгур не успел ещё со своей вязанкой подняться до середины склона, как навстречу ему показались Наста и Тата. Он остановился и с любопытством посмотрел на них: они тоже были в новых платьях, уже не траурных, а в руках держали какие-то старые вещи, наверное, чтобы подложить под вязанки. Обе мрачные, даже в глаза им смотреть жутко.

Когда это Сырма всё успела: вызвать их с работы, дать переодеться и ещё настроить против него?.. Хороша, нечего сказать!

Всё в нём кипело.

«Ну ладно же, ладно! Посмотрим, как она запоёт, когда я всё выложу про неё, когда всё скажу!»

– Герой какой, надо же! – выпалила Наста, поравнявшись с ним. – Это ведь сообразить надо было – полезть на тутовник, на который никто ещё не лазил просто потому, что он качается! Героизм проявляешь? Забыл, наверное, что без Кесоу, без матери мы остались!

Адгур резко взял в сторону и, обойдя сестёр, стал подниматься дальше.

– Будто мало мы горя пережили, будто не довольно с нас!.. – заплакала Тата. – Уже просто не можем больше... там, внутри, всё помертвело. Только этого нам ещё и не хватало – носить траур по живому.

Она решила опередить его! Но ничего на этот раз у неё не получится! Он уже не сопливый мальчишка, это раньше... она могла вертеть им как хотела! Если даже она опередила, если успела всё выложить о нём, всё равно это её не спасёт, теперь ей не отпереться! Да, он не будет ждать, он её выведет на чистую воду!..

Вдруг в голове у него промелькнуло внезапно – он даже остановился – ну конечно, ведь она наверняка и в тот раз ходила к реке на свидание с парнем!

Да она, оказывается, конченый человек! Удивительно даже. Выходит, обижайся не обижайся на неё, всё равно это не имеет никакого значения.

Наста с Татой и он, молча, сторонясь друг друга, перенесли все вязанки от реки домой. Листьев было столько, что на целый день должно было хватить прожорливым маленьким крокодильчикам, кишмя кишевшим на четырёх длинных широких плетёнках – ачалта.

Когда в сарай к шелкопрядам занесли последние вязанки, Адгур не спеша, вразвалочку, с уверенным видом, как подлинный хозяин положения, поднялся на веранду, сел на тахту и, словно взрослый, располагаясь на отдых, громко выдохнул: «Оф, гуша!»1. Швырнул небрежно свой топорик, тот грохнулся посреди пола и, словно нарочно, упал лезвием кверху.

Как только Адгур расположился на тахте, из дома-гостиной вышли Наста и Тата и направились к веранде. Насте особенно шло новое платье. Сразу сделалось заметно, как она выросла и похорошела, догоняла Сырму. Но – глядела мрачно и шла как слепая, словно не видела ничего перед собой.

«И она, верно, скоро найдёт себе такого же мастера, как и старшая... тоже в три взмаха кол будет обтёсывать... на голове у неё...» – подумалось Адгуру. И в душе его опять колыхнулась злость.

– На цалду не наступи смотри! – бросил он резко. Наста остановилась и босой ногой толкнула топорик, опрокинула набок.

– Разве можно так оставлять наточенную цалду?! –: сказала она негромко, но строго. – Всё нам не до тебя было, внимания не обращали... а ты, оказывается, совсем отбился от рук... что захочешь, то и делаешь!

– Но ты забыл... – чуть не плача поддержала её подоспевшая Тата, – ты забыл, что есть ещё отец. Или ты решил и его не слушаться?

– Отец сейчас не может быть каждый день дома, – продолжала Наста, – но у нас есть старшая сестра, которую мы должны слушаться. А ты что, решил не признавать её?..

– Ха-ха!.. – презрительно перебил Адгур, но больше пока ничего не сказал. Сам не понимал, то ли хотел ещё больше разозлить их, то ли оттянуть и продлить хотел предвкушение своего торжества, торжества справедливого отмщения.

---

[1] Буквально: «Отдыхай, сердце».

– Для чего вообще эти шелкопряды!.. – заплакала Тата. – Чтоб они сгнили!

– Не плачь, здесь не слёзы нужны, а хорошая хворостина! – Наста сердито посверкивала глазами из-под красивых бровей. – Да, хворостина, чтобы недели две садиться не мог! Вот тогда послушным сделается!

Он посмотрел на Тату, на Насту – и только усмехнулся в ответ: мол, прекрасно понимаю, кто настроил вас.

Сёстры, хотя и трудились с утра до вечера через силу, обе были хорошо сложены, но глаза, зубы, брови особенно замечательно красивые были.

– Да что ему беспокойство наше, разве посчитается с нами... хоть бы постеснялся... пожалел бы нас... – продолжала Наста.

– Да разве у него... – начала было Тата и не договорила.

Да, да, подумал он, понятно, что она хотела добавить, конечно, что у него нет сердца, безразличен, не переживает ни за кого, не чтит даже память покойников... Почему же она не сказала? Пусть, пусть уж докончит вслух. Пусть объяснит, что им уже известно, всё известно о нём, всё им рассказали... А всё она, старшая выжидала удобный момент и дождалась, показала себя…

В это время на веранду вышла Сырма. На себя не похожа была... погасшая, лицо застыло, словно никогда не знала, не встречала в своей жизни жалости, участия, любви. Даже в дни общего траура, общего в их семье горя в ней виден был свет юности. Случалось иногда, то ли пересилив себя, то ли на минутку забыв обо всём, смеялась вдруг заразительно и весело. Когда же все удивлённо оборачивались на этот её смех, она сразу умолкала, и всё вокруг словно бы тускнело.

Сейчас она казалась помертвевшей.

Ну конечно, тут же сообразил Адгур, конечно, показывает перед сёстрами, как она беспокоилась о нём. Любым способом хочет выгородить себя, обвинить его, самого младшего, чтобы он во всём виноватым оказался. А сама-то, сама...

Он подчёркнуто небрежно развалился на тахте, даже ногу закинул на покрывало.

– Одна из вас думает, что раз я младший, так и не способен ничего сказать... Вижу, подготовила вас... Знаю всё, что она вам наговорила обо мне! Ну, спросите, спросите её, пусть повторит... вот её... – он резко выбросил руку, пальцем указал на Сырму.

Наста и Тата с удивлением уставились на него. Сырма только грустно усмехнулась. На лбу обозначились складки, как от сильной боли, но промолчала.

«Да что она может сказать?» – подумал он.

– Посмотрите на неё, – продолжал он, всё больше распаляясь, – разоделась... а на ладонях скоро волосы будут расти от безделья... Вы тут вкалываете и за себя и за неё, по грязи ходите, по росе, ноги мокрые, кожа на руках потрескалась! Решили, раз она старше, значит, не будем перечить ей, станем подчиняться во всём, работать старательно, так? А чем она на это отвечает? Чем она занята, когда мы работаем? Среди бела дня, даже и не

днём, а рано утром, чуть не затемно, она назначает свидание, и где бы вы думали? Под скалами, у реки, где, она думает, никто её не увидит! – Он даже вскочил, обида и гнев не давали дышать. – Тогда кто же, кто не считается с другими, кто не думает, не болеет душой, я или она?!

– Адгур! – вскрикнула Наста. – Замолчи, замолчи, замолчи!

Тата заплакала.

– ...И не только сегодня... – срывающимся голосом продолжал он и сделал шаг не к Сырме, а к Насте. Только она может ударить. И пусть, пусть ударит, а то конца этому мучению не будет. – И зимой, зимой тоже, когда ещё траур только начался!.. Так кто же это ничего и никого не признаёт, кто чёрствый, ни за кого не болеет душой, я или она?! Это она, конечно, уверила вас, будто я и брата забыл, и мать... Вижу, хоть не говорите, не успели, но думаете так. Но она потому так делает, что хочет прикрыть собственное своё безразличие и к ним, и ко всем нам... – Было особенно трудно сказать эти последние слова. Он стоял прямо перед Настой – никогда не видел таким её лица, не ожидал увидеть: глаза её горели, и они не обещали милосердия. Руку её, когда она размахнулась, чтобы ударить, перехватила Сырма.

– Ну, говори же, говори, выкладывай! Чего ж ты при мне молчишь, если им всё порассказала! – кричал он сквозь подступающие слёзы. – Валите, валите всё на меня, нашли козла отпущения!

Тата, плача, ушла в дом, и Наста стояла отвернувшись – видимо, тоже плакала. Сырма с побелевшим лицом стояла между ним и Настой и молчала. Он сбежал по лестнице, завернул за дом, чтобы там дать волю слезам. Он бы ушёл и дальше, ушёл куда глаза глядят, но он знал, что сёстры станут бояться за него... И он остался.

СЫРМА
Надо уберечь их от завистливого
и от дурного глаза,
и ни на минуту не забывать
о том,
что они лакомая пища многих
и многих...
И самое опасное для них –
мыши ...
Все это многих усилий
стоит ...

На этот раз она пришла прямо в дом, не окликнув хозяев от ворот. Удивительно, но собака то ли не заметила, то ли не обратила на неё внимания. Похоже, недаром говорят, что умная собака на женщину не лает. Накормив шелкопрядов, Наста и Тата пошли на кухню готовить обед, а Сырма вернулась в дом-гостиную передохнуть. Она чувствовала себя опустошённой, как будто выпустила из рук, уронила и разбила что-то дорогое, очень хрупкое... и вот стоит над осколками. Ощущение пустоты и потери было столь явственным, что она несколько раз недоумённо

поднимала руки к лицу, смотрела на свои ладони, словно удивляясь, что они пустые. Она уже прилегла было, когда заметила, что гостья поднимается по лестнице. Не успела выйти ей навстречу – та уже была в дверях. Тяжело опустилась на табуретку у стола, уронила голову на стол и заплакала. Сырма смотрела безучастно, вовсе не собираясь её утешать. Но когда та стала рыдать всё громче и громче, она с тревогой глянула на приоткрытую дверь – боялась, как бы не услышали сёстры.

– Я прошу тебя... – она притронулась к вздрагивающему плечу гостьи, – прошу, возьми себя в руки. Услышат мои младшие сёстры – со страха помрут. И так уже столько навалилось на них...

Гостья сразу затихла, уняла слёзы и, опустив лицо в ладони, некоторое время сидела так, не говоря ни слова. Когда же наконец она подняла голову, отцветшее, увядшее её лицо горело болезненным румянцем. Из разреза кофты она вынула расшитый платок, осушила слёзы. Глаза её запали, и обозначились под ними тёмные круги. Сырме сначала показалось, что во взгляде гостьи она читает укор себе, но тут же поняла, что это не так, что тут иное, не совсем понятное. Ясно ей было одно: гостья всецело была занята собой, своим делом, а всё остальное как бы брезгливо отстраняла от себя.

– Я могла бы и не приходить, конечно... Всё равно лучше обо мне ты думать не будешь... но всё же что-то меня погнало сюда, – говорила Гулиза, невидящим взглядом обводя комнату. – Для чего же тогда счастье, если доводит человека до такого... не стоит оно выеденного яйца, это так называемое счастье... И то, что я так поступила, так уронила себя, этого мне хватит на всю жизнь... и поделом мне...

«Видно, оба они стоят друг друга, – подумала Сырма, – разве только он моложе и внешне немного выигрывает, больше внушает доверия... на первый взгляд...»

А она сама так долго не могла разглядеть его настоящее лицо... теперь-то понятно, что наивная её юная беспечность и незащищённая искренность чувств, они-то и охраняли её, пусть сама не осознавала этого, охраняли от разрушающей неутихающей боли потери, от постоянно давящей тоски по любимому брату и матери...

– Когда этот... – продолжала Гулиза с глухой ненавистью в голосе, – когда этот рассказал... так грубо, так свысока о том, как ты вела себя при встрече, мне захотелось умереть... Ты бы слышала, как он презрительно повторял твои слова: «Была глупой, не понимала, обманывала себя... А тебе зачем же опускаться до меня, такой обыкновенной, незаметной...»

– Извините, но мне совершенно безразлично, что он говорил. Единственное, чего хочу, чтобы вы поняли: я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану вам поперёк дороги... И ещё: мне кажется, нехорошо будет, если он узнает, что вы сюда ходите...

– Теперь уж это не его дело, куда и зачем я иду. – Гулиза неприязненно улыбнулась, скорее поморщилась. – Он сам не хочет, чтобы это стало его делом... но теперь и мне безразлично. Я о другом. Ты знай: ноги сами привели меня сюда, привели, чтобы я сказала тебе: нет больше той Гулизы,

которая любила Кесоу и которую он любил. На брата твоего хоть похоронка пришла, а та Гулиза совсем пропала, и следа не осталось, как будто её и не было никогда. – Она остановила взгляд на увеличенной фотографии Кесоу, висевшей на стене. – Как я осрамила тебя, предала... но мёртвые срама не имут... да, знай, я мёртвая.

– Это всё оттого, – вдруг осмелилась Сырма и посмотрела гостье прямо в глаза, не давая отвести взгляд, – всё оттого, что её вообще не было, той Гулизы, которая любила моего брата. Не сгинула она, не пропала без следа, просто её совсем никогда не было...

– И что же, по-твоему, он слепой был? Он же видел, что перед ним... не мог же он до такой степени обмануться, – ответила гостья почти безразлично.

– Да, значит, был слеп! – остановила её Сырма. Гулиза некоторое время молчала, потом ухмыльнулась.

– Я так и думала, что договоримся мы с тобой и до такого... но теперь-то уж мне всё равно. – Она поднялась. – Может быть, ты и права. Когда человек совсем уж слепнет от чувства, видит только то, что хочет видеть, он тогда мечтает пламя в сундуке запереть – оттого, что кажется красивым ему... Думаешь, он один обманулся? Или я одна? Ты ведь тоже не ушла от этого. Да я и не успела толком понять, обманулась или нет, а вот ты действительно обманулась, потому что этот тип тебя не любил, он доказал это.

– Ну зато ведь он тебя любит, разве этого не достаточно?..

– Ладно, не будем об этом. Но хочу сказать тебе – нет худа без добра. Всё, что случилось, обернулось тебе же на пользу, выиграла ты одна... считай, что пришёл твой доброжелатель и увёл твоего врага. Это такой человек, что никогда никого не полюбит... слышит только себя и поступает как ему лучше. Думаешь, у него было чувство ко мне? Нет, выгоду всего лишь для себя искал, хотел воспользоваться положением моего отца. И ещё он был уверен, что раз уж я засиделась в девках, значит, всю жизнь копила деньги, их у меня куры не клюют. Когда же убедился, что денег-то у меня и на легковую машину не хватает, тут он не стал церемониться, сразу показал спину. Знаешь, за кем он увивается теперь? По-моему, они уже и помолвлены!.. Впрочем, к чему я всё это говорю? Но одного он не учёл: что я просто так не отстану от него. Он ещё не раз проклянет тот день, тот час, когда связался со мной. Покуда я жива и язык мой ещё служит мне, я сделаю так, чтобы никто в его сторону даже и не смотрел, ни одна девушка. Если только не ухитрится взять откуда-нибудь издалека, за тридевять земель.

Зачем?.. Пусть поступает как знает...

– А-а, пока, значит, сердечко болит ещё по нему, да? Только запомни: такая дармовая доброта гроша ломаного не стоит, беспомощность это скорее, а не доброта. Но ты не беспокойся, я отомщу и за тебя, и за себя.

– Я никому не должна, и мне никто ничего не должен, так что незачем за меня мстить! – остановила её Сырма.

– Что ж, раз так, отомщу за себя... что ещё в жизни осталось... – Гулиза решительно поднялась, сбежала по ступенькам, быстро прошла до ворот, с силой хлопнула створкой ворот и помчалась дальше, не оглядываясь.

Сырма постояла, глядя ей вслед, потом пошла к кухне. Там плакали Наста и Тата.

–С вами-то что случилось? – строго спросила их.

– Гулиза, – сказала Наста сквозь слёзы.

– Гулиза, – повторила, всхлипывая, Тата.

– При чём здесь Гулиза?! – ещё строже спросила Сырма.

– Какое у неё сердце! Она всё ждёт... – сквозь слёзы выговорила Наста.

– Несчастный наш брат, какое счастье его ждало... слезинки так и сбегали по щекам Таты.

– Сейчас же перестаньте, немедленно! – прикрикнула Сырма. – Уже хватит, хватит, достаточно!.. Будто у нас у одних только горе! Есть дома, что совсем опустели, никто с войны не вернулся... но живой человек не должен ронять себя. И Гулиза найдёт своё место в жизни... она уже пришла в себя, справилась с собой. Чтоб я больше не видела вас плачущими, это уж слишком, грешно перед мёртвыми и перед живыми. Жизнь есть жизнь, она продолжается, и если мы, оставшиеся, не будем достойны её, что мы ответим перед памятью тех, которых уже нет с нами... ведь они всю ответственность за будущее, за жизнь возложили на нас, нам поручили жизнь. А ну, накрывайте на стол, я проголодалась, есть хочу!

ОТЕЦ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

... Но самое главное,
самое главное,
самое ...

В один прекрасный день на воткнутых специально в плетёные подстилки-ачалты пучках из веток самшита, граба, из высушенного папоротника показались наконец-то коконы, жёлтые и белые. А если подойти совсем близко, можно было увидеть, как эти маленькие ненасытные крокодильчики, уже набухшие, с зеленоватыми кольцами на теле, вертя чёрными или жёлтыми точечками на носу, лезут на приготовленные для них пучки из веток и там начинают выпускать шёлк. Всё, что было собрано для них за эти сумасшедшие недели целодневной беготни за тутовыми листьями, всё, что было съедено ими, всё это они теперь тянули из себя шёлковыми нитями. И если немножко постоять над ними и посмотреть, увидишь, как они скрываются за тонкой пеленой шёлка, будто лицо невесты за газовым платком, скрываются, на глазах превращаясь в коконы.

И вдруг неожиданно стихло всё, всё прекратилось: вечная спешка, вставания затемно, утренняя беготня по мокрой траве в поисках неободранного тутового дерева. Все сразу вздохнули свободнее, и всё же сначала столь крутая перемена, наступившая вдруг нормальная жизнь казались ещё некоторое время чем-то неестественным и необычным.

Пока ещё приходилось кормить отставших в росте гусениц, но их было немного, и для них можно было набрать листьев хоть рядом с домом.

За три-четыре дня пучки из самшита, веток граба и засушенного папоротника были обсыпаны жёлтыми и белыми коконами, похожими на

восьмерки. Невозможно было сосчитать, сколько их тут было, этих восьмерок: 8888888888...

Выбирать коконы из зёленых пучков собралась вся семья. Дело кропотливое, но все работали с особенным удовольствием. Коконы были прямо отличные, крупные, ярко-жёлтые, ярко-белые. За день отец с Адгуром и сёстры заполнили все имеющиеся в хозяйстве вёдра. Адгур даже уставал смотреть на эти крупные желтые и белые 88888888888... Начинало рябить в глазах. Тогда он отводил взгляд и улыбался, довольный, потом он ходил меж плетёнками-ачалты, на которых остался теперь лишь засушенный папоротник да попадались отдельные невызревшие коконы, которые не смогли приобрести форму восьмерки.

В душе его мешались спокойная удовлетворенность – ведь столько труда было положено, и не зря, плоды перед глазами... и рядом с удовлетворенностью жила непонятная грусть. До будущей весны, конечно, не так уж далеко, но и не так чтобы близко. И тогда всё повторится опять, такая же кутерьма начнётся, такая же беготня скорее, скорее, успеть... И это состояние напряжённой торопливости, в которое все они войдут на время выкармливания шелкопрядов, тоже не исчезнет быстро, не остынет просто в них… не смогут они взять и сбросить его с себя, освободиться… и, другие дела делая, будут всё так же бегать, стараться поспеть скорее, а быстроту до дна ещё никто не вычерпал...

Сдавать коконы поехали отец, Наста и Тата. Вечером, пока солнце ещё было живо, они вернулись уставшие и довольные; на головы у всех троих надеты были пустые большие корзины. Подойдя к кухне-амацурте, сперва отец, потом Наста, потом Тата – все сбросили их наземь, и каждый, улыбаясь, крутил головой, давая отдых шее.

Вернулись они в самом хорошем расположении духа. – План вдвое перевыполнили, – сказал отец, поднявшись на веранду дома-гостиной и сев на тахту. – Скоро и деньги выплатят. – Тата, – обратился он к младшей дочери, – принеси мою котомку.

Порылся в котомке, достал какие-то вещи, положил возле себя.

– Адгур, поди-ка сюда, – позвал он сына, и голос его прозвучал таинственно и обещающе.

Рубашка, которую они купили Адгуру, была и вправду очень нарядная. Розовая, в белую крапинку. А штаны на лето ему купили короткие, защитного цвета, с накладными карманами.

– Ступай в комнату, сними всё с себя, переоденься. Адгур мялся, не решаясь идти.

– Адгур-гур-гур-гур! – поддразнил его отец, как это делал когда-то Кесоу.

Из комнаты, куда он пошёл переодеваться, он слышал голос отца: «Наста, надевай это прямо сейчас, и ты, Тата, тоже! Живей, живей!» А через некоторое время из соседней комнаты уже доносились шёпот и смешки Насты и Таты. Ему стало хорошо оттого, что наконец-то настроение у всех изменилось к лучшему. Не слышно было только Сырмы, отец почему-то не позвал её.

Неужели они с отцом в ссоре? Такое случалось очень редко. «Неужели? – подумал он, и сердце заныло опять. – Почему так, почему их жизнь никак не установится?»

Когда Адгур и следом за ним Наста и Тата вышли, переодевшись в новое, все с удивлением стали осматривать друг друга. Сырма, оказывается, уже стояла рядам с отцом, и оба они, глядя на младших, улыбались.

– Сырма, для себя ты выберешь сама, я не решился, – сказал отец.

– И для тебя, отец, для тебя тоже я должна купить, – засмеялась Сырма, – а то, помнишь, как ты всё потратил на порох и на дробь...

– Да нет, теперь уж не до того... – вздохнул отец. – Тогда-то я ещё надеялся, что смогу пойти в горы поохотиться.

– Так ведь этим летом ты же поднимешься в горы вместе с фермой, – уверенным тоном сказала Сырма. Видно было, что она уже думала об этом.

– Куда же я пойду... на кого вас оставлю?

– Да что мы, маленькие, что ли? Считай, что с фермой уже решено, – добавила Сырма. – Да и что нас ждёт такого, чего бы мы не смогли осилить? С шелкопрядами, слава Богу, справились... А всё остальное – наши обычные будни. Так что не беспокойся ни о чём.

– В общем-то, я бы, конечно, не отказался, – сказал отец, не умея скрыть радость. Обвёл всех взглядом. Молодость бы вспомнил... и кто знает, может быть, Ажвейпшаа1 пошлёт мне удачу...

– И молодость вспомнишь, и отдохнёшь как следует, – подтвердила Сырма и, грустно улыбнувшись, добавила: – Только, чур, уговор: каждому из нас привезёшь ашвырша2!

– Это я обещаю! – отец засмеялся, довольный, достал купленную сегодня в городе пачку «Казбека», закурил.

После того памятного дня Сырму не слышно было, её будто не было всё это время дома. Мертвенная бледность прошла, она казалась здоровой, но словно ушли куда-то, пропали лучи, всегда прежде освещавшие её лицо. Когда же разговаривала, иногда вдруг замолкала, не докончив фразы, будто какие-то тайные раздумья отбирали у неё слова, обеззвучивали речь... однако, ощутив неловкое молчание вокруг, возвращалась откуда-то издалека и снова обретала способность к разговору. Даже когда они все были в глубоком трауре, она иногда не могла удержаться, вырывался непослушным вихрем смех. Теперь этого не стало, она взяла себя в руки и справлялась с собой. Необычная эта сдержанность шла ей ... И Адгуру такая она казалась болеё сильной и надёжной. Видимо, сестра и сама это чувствовала, потому и говорила так уверенно с отцом, отпуская его, по сути, на всё лето в горы и беря ответственность за младших на себя. Однако... Пока ещё смутно, но всё же понимал Адгур, что той Сырмы, которая способна была с юной непосредственностью разразиться вдруг смехом, в которой молодо кипела

---

[1] Ажвейпшаа (абх.) – божество охоты.

[2] Ашвырша (абх.)– специально приготовленный сыр с узорами, обычно в подарок детям.

кровь, рвалось наружу заразительное веселье... такой лёгкой, прекрасной в радости и в печали, такой прежней Сырмы уже не будет никогда. И даже радость, что заполняла сегодня сердце, не могла полностью растворить эту мысль. И он почувствовал, что в этом превращении есть и его вина.

Переполняемый то радостью, то чувством вины и утраты, он носился по двору, по дому, не мог найти себе места, не мог успокоиться. Лишь когда зашло солнце, он вместе со всеми сел за ужин. На длинном узком столе-аишва лежали и городские яства: пирожки, калачи, греческий хлеб – лаваш, стояли открытые бутылки лимонада, привезённого специально для Адгура.

– Тата, дай-ка мне моё лекарство от малярии, сказал шутливо отец.

Тата принесла старый небольшой штофик с прошлогодней водкой из виноградных выжимок и гранёную старую рюмку. Отец вытащил кукурузную затычку, не спеша, аккуратно налил из штофа в рюмку.

– Я взываю к тебе, Всевышний, – проговорил он чуть торжественно, приподняв рюмку, – обрати свой милосердный взор на моих детей, благослови их... Вы уже не маленькие, – продолжал он, обращаясь к детям. – И ты, Адгур, тоже вырос, настоящий взрослый парень. В этом году в шестой переходишь... Несправедливо много пришлось пережить вам... в ваши-то годы... И всё же не назад, а вперёд надо смотреть, в будущем всё наше счастье. Чтобы увидеть его, нужно смотреть весело и с надеждой... так что – выше головы и вперёд... А горе, оно приходит в каждую семью, никто от него не защищён... Горе – тяжкое, но с ним ещё больше понимаешь, как много стоит жизнь.

Он выпил одну эту рюмку. Одну, но за здоровье, а прежде каждый раз выпивал за упокой и, наклонив рюмку, выливал несколько капель на землю.

– Тата, унеси стол и садись с нами рядом, – сказал отец после ужина. – И ты, Сырма, тоже придвинь свой стул сюда.

Все сидели опустив головы, ждали в нерешительности. Отец кашлянул – прочистил горло и тихо запел. Это была песня Ажвейпшаа – божества охоты. Раньше отец любил её, пел часто, и все её знали.

– «Уа-а-а, каждую вершину оглашает выстрел, в каждой долине ждут охотника с добычей...» – пел он тягуче. Сначала никто не решался подпевать ему. Но он не думал останавливаться, пока дети не подтянут. Наконец Наста решилась, потом Тата. Для них воля отца была законом. Начали они нескладно, с непривычки некоторое время не могли попасть в лад, но отец продолжал правильно, голоса сестёр становились увереннее, и наконец всё слилось, стало на свои места. Незаметно вступила и Сырма. Отец ещё раз вернулся к этой же песне, и уже его поддержали все, дружно, стройно. Адгур тоже подключился где-то в середине, но петь ему было трудно, совсем отвык.

– Видите, ещё не забыли, – сказал отец, грустно улыбнувшись. – Теперь несите гитару.

Сейчас они все старались не смотреть друг на друга, будто совершили грех, нарушили некий запрет. Но уже, как говорится, свершилось, переступили заветный рубеж, и молчание уже ничего не могло изменить и ничего не значило.

На гитаре брат успел научить только Сырму. Когда Тата принесла ей инструмент, она некоторое время ещё натягивала струны, настраивала, и только потом начала играть – неожиданно громко и призывно. Потом струны зазвучали тише, протяжно-тоскующе, и постепенно сложилась знакомая всем мелодия. Это была песня, которую когда-то сочинил Кесоу.

– Пускай Адгур начинает, – сказала Сырма, обернувшись к брату. – Он хорошо её поет... Адгур, давай...

Он в нерешительности поднял на неё виноватые глаза; начинай, не раздумывай, отвечал её взгляд. Тогда... Тогда я её не пел, я оплакивал её, словами этой песни говорила моя душа, объясняли его глаза. Сейчас тоже... сейчас тоже оплачем песню, начинай, ободрил её взгляд.

«Падает белый снег, как белое счастье...» – начал он на мотив старинных песен-завещаний. Все застыли, слушая. А Адгур всем своим существом чувствовал, подобно земле, рождающей родник, как возникает в нём песня... и то, как она освежает горло, как увлажняет глаза. И голос свой он слышал сейчас отчётливо, на этот раз его не заглушал ни шум воды, ни тишина снегопада. Хотя они отступили, отдалились, притаились, Адгур всё же видел: и снег падал хлопьями, и речушка, чистая, вся в белой пене, бежала под скалами.

Его голос походил больше на голос молодого, впервые прокричавшего петушка, но уже и нотки взрослости угадывались тут. Бежала то неровно, то плавно чистая живая вода песни... в ней говорилось, что воин вернётся, вернётся обязательно... но если он даже немного запоздает, не успеет ко времени, чтобы она, которая ждёт его, не теряла надежды... когда идёт снег, пусть думает, что это он приходит к ней... когда, прекращая засуху, долгий и обильный ливень возвращает жизнь посевам, пусть знает, что это он приходил к ней... Если хочет услышать его голос, пусть ловит дуновение ветерка в полдневную духоту... когда сильно, невыносимо сильно скучает по нему, пусть вслушается в шелест листьев над головой –они помнят его голос, его слова...

Наста и Тата вместе подпевали, только не понять было, чего тут больше, песни или плача. Отец сидел теперь молча, слушал. Звенели струны гитары, вспоминая, Сырма не скрывала слёз. И по щекам Адгура тоже сбегали слезинки, но он не останавливал песню, вёл всё увереннее. Наста и Тата удивлённо смотрели на него, но подчинялись его голосу, подпевали старательно, в лад. Может быть, в слабых взрослых нотках в песне Адгура им чудился живой голос старшего брата.

«Падает белый снег, как белое счастье...»

На следующий день с утра, сделав нужные распоряжения по хозяйству, отец ушёл на ферму. Наста и Тата, как обычно, поднялись на рассвете. Все эти дни они работали далеко от дома, забирали с собой чем пообедать, а возвращались затемно.

Адгур проспал. Когда поднялся, солнце уже светило вовсю. У хлева он увидел Сырму. Спрятав волосы под платком и надев старое платье, она

выносила из сарая мусор, оставшийся от шелкопрядов. Адгур тоже натянул старые брюки, рубашку, на голову – старую шапку и пошёл помогать.

– Иди пока, перекуси хоть немного, – сказала Сырма, – а то потом некогда будет, пока всё это не уберём, некому готовить.

– Не хочется.

– Я тебе говорю, иди. – Она оставила работу и строго посмотрела на него: – Если ты думаешь, что не получишь от меня, так ошибаешься!

Они поглядели друг на друга и оба засмеялись.

Он всё же не пошёл есть, и она больше не настаивала.

Шелкопрядов, которые всё никак не начинали вить коконы, осталось совсем мало, всего лишь одна коробочка-ачапара из кукурузных стеблей, примерно метр на метр. На двух-трёх зелёных пучках из папоротника в ачапаре виднелось всего лишь несколько коконов, тоненьких, просвечивающих. Ещё несколько шелкопрядов, поднявшись на пучки, лениво размахивали головой, но шёлк то ли не шёл, то ли вообще не образовывался у них внутри, а без шёлка это пустое занятие.

Адгур начал помогать сестре: собирал и выносил мусор, оставшийся на больших плетёнках-ачалты. Чёрный, как порох, помёт устилал плетёнки, кисловатый пронзительный специфический запах шелкопряда, казалось, навсегда останется в сарае. Когда весь этот мусор собрали в корзины, они с сестрой по одной отнесли их подальше от дома, к самому обрыву, там вывалили и подожгли. Сухой папоротник, пучки из самшита занялись сразу. Запах горения был едким и неприятным. Особенно был неприятен запах горящих зелёных пучков, потому что там ещё кое-где остались застрявшие коконы, среди них и подгнившие. Адгур видел, как они тлели в огне, тлел и живой кокон внутри пучка. Его-то запах и был невыносимо неприятным.

Адгур знал, что, если не делать из кокона шёлк, а оставить его как есть, через некоторое время из него выпорхнет настоящая бабочка, живая, с крыльями.

Он слышал об этом от старших, но сам никогда не видел. С коконами всегда была спешка, вечно их торопились сдать. Когда он был ещё маленьким, он думал о том, как спрячет несколько коконов и тайком будет ждать, пока из них не выпорхнут бабочки... с настоящими крыльями. Из ленивых жирных червей, из этих прожорливых маленьких крокодильчиков – красивые бабочки с настоящими крыльями. Он вспомнил сейчас о своей детской мечте и вдруг понял, что теперь-то может проделать всё это открыто... но интерес уже пропал. Что-то похожее на давнишнюю забытую боль почудилось ему, но быстро затихло.

Под конец Сырма веником почистила все четыре огромные плетёнки-ачалты и подмела хлев. Адгур отнёс остатки мусора к оврагу, бросил в огонь. Вернулся с последней пустой корзиной, перевернул её и сел как на табуретку.

– Мусора, грязи, помёта – с целой фермы столько не наберётся ... – сказал он, и в голосе его были усталость и освобождение.

– И труда тяжёлого много, и мусора, и грязи, и запаха неприятного, но зато они делают шёлк... – Сырма подняла голову, чумазое лицо, волосы повязаны платком. – Большое дело сделали. Сейчас помоемся и будем себе еду готовить... Всё же шёлк – это не просто... – добавила она и, быстро отвернувшись, два раза чихнула. – Значит, всё правильно, подтверждаю, – и легко засмеялась.

– А что делать с этими плетёнками-ачалты? – спросил Адгур.

– С этими?.. – она обвела их взглядом. – Да пусть так и стоят, пока не подгниют колышки, к которым они привязаны. Долго-то не простоят, колы из молодых акаций, у них сердцевина ещё некрепкая. Год от силы послужат ещё, и всё.

Когда они вдвоём вышли из сарая во двор, их встретил прохладный ветерок, приятно овевая вспотевшие лица, смывая с них запахи шелкопряда. От ветерка зашевелились верхушки тополей, стоявших по обе стороны хлева, зашуршали плотные глянцевые сердцевидные листья...

«Пусть ловит дуновение ветерка в полдневную духоту...»

...главное,
самое главное –
это шёлк...

Перевод С. Шевелёва

ВРЕМЯ ОЛЕНЬЕГО ЗОВА

Вчера в это самое время Адамыр услышал журавлей. Забравшись в дальнюю комнату, ту, что в глубине их просторного крепкого дома, он собрался было спокойно почитать, и тут слух его поразили отдалённые клики. Отбросив книгу, с треском распахивая на бегу двери, он вылетел на крыльцо и увидел их, плывущих в небесном омуте. Они были очень высоко, еле заметные, однако он долго не отпускал, держал их взглядом: они размеренно взмахивали крыльями, будто вёслами загребали, и слушал, как в бездонной голубизне замирало и таяло их далёкое курлыканье.

А сегодня небо изнемогало в немом ожидании.

Как и всегда в эту осеннюю пору, солнце постепенно меняло свой обычный летний путь в небе на более низкий и уже не согревало днём ближние склоны большого хребта. И оттого всю осень и зиму обращённый к селу склон стыл в тени, и снег там держался дольше, чем на других склонах на той же высоте.

В окно Адамыр видел сейчас этот склон, оставшийся теперь без солнца до будущей весны.

Но над их-то двором солнце уже поднялось, и довольно высоко.

Что-то не слышно было братьев, они только что вышли из дома во двор.

И небо всё чего-то ждало, немо тосковало о чём-то. Адамыр сидел у камина рядом с матерью. В горах несколько дней назад выпал снег, и теперь

тепло от камина притягивало, звало к себе, особенно по утрам и вечером. Адамыру сейчас не было холодно, нет, но странное оцепенение сковало его, он молчал, зачарованно глядя на огонь. Только лишь бегучие язычки пламени да потрескивание поленьев напоминало о том, что время не умерло, живёт полной жизнью. Все они – оба его брата, и сам Адамыр, и даже мать – какое-то время сидели утром у огня, охваченные этим непонятным оцепенением, сидели, пока со двора не донёсся, не позвал её голос: «Бектор! Нестор!»

Оба старших, чьи имена были названы, словно вываленные из долгого сна какой-то волшебной силой, встрепенулись, вскочили на ноги... Затворилась дверь за ними – и это было как рубеж между жизнью и неподвижностью. Они ушли, а он остался сидеть с матерью. Что было толку идти к той, которая не сочла нужным позвать его, пробудить к жизни.

Мать вязала, не поднимая головы.

– Сентябрь на дворе, а в горах уже снегу навалило, – словно бы из глубин иного мира донесся её потускневший, усталый голос.

Снег в горах выпадал и раньше, но не в том было дело: мать хотела так же ловко, как петли в своём вязании, завязать ставший уже привычным разговор...

Адамыр промолчал, не ответил, понимал: разговор затевается не ради него, ради другого, всё ещё незримо присутствующего в доме. Боль утраты, кажется, стала глуше, рассосалась словно бы в сердце Адамыра за минувшие два года. Но мать каждый раз, как садилась возле огня и брала своё вязание, погружалась в свой особый мир и тихонько начинала разговор с ушедшим, будто он, живой, плечистый, сидел у камина рядом. Адамыр безошибочно научился узнавать по голосу, когда она заводила привычный этот разговор. А особенное тёплое звучание её голоса он помнит с давних пор. С того далёкого времени, когда он, как самый младший, долго спал возле матери. И бывало, его частенько будил спозаранку ласковый разговор: тихонько, наверное чтобы не мешать ему, перешёптывались мать и отец, каждый из своего угла. Спросонья он не мог разобрать, о чём они говорили, однако ясно чувствовал, что голоса их звучали не как обычно раздражённо, а спокойно и доброжелательно.

– Днём, работая от восхода и до заката, вечно не поспевая с делами, утомлённые, а то и уставшие до изнеможения, они забывали о жалости, иногда даже старались досадить друг другу, срывали злость. («Опять ты еле шевелишься, будто полумёртвая, чтоб совсем околеть тебе!» – взревёт, бывало, отец. «Кровь тебе в глотку!» – отвечала мать вполголоса, однако тоном старалась уязвить побольнее и ничуть не прибавляла шагу.)

Когда же утром Адамыр делался невольным свидетелем этой очень затаённой и неумелой нежности родителей друг к другу, он почему-то чувствовал неловкость и стыд, будто его самого вдруг уличили в воровстве, он с головой зарывался в одеяло, да ещё и затыкал уши.

– Хотя, может, не так уж и рано для снега! Цвыббын-сентябрь на исходе, олени сейчас ревут, зовут подругу... время оленьего зова... – снова заговорила

мать, не поднимая головы от вязания. – Как сейчас помню, принёс однажды мой дед с охоты великолепного оленя. И до чего же замечательные были у него рога! ветвистые такие... Сам дед и то сказал: «Давно мне такой не попадался». А ведь был большой охотник, очень большой... И жил долго... До самой смерти ни одного зуба не лишился, так и помню: двумя ровными рядами белеют во рту... может, поэтому до сих пор не могу забыть его улыбку. Улыбку создают зубы, беззубая улыбка уже не улыбка. – Из глубины того мира, в котором жила сейчас мать, донёсся печальный вздох.

Исхудавшие и немощные натруженные её руки всё же на удивление проворны: вяжет она очень быстро, это как бы не работа для неё. И сами руки её подобны её вязанию; видна сквозь истончившуюся кожу сеточка сосудов, видны сухожилия, набухли-переплелись вены... Вены до того выступают наружу, что можно их пересчитать. И все голубые, будто течёт по ним уже не обыкновенная человеческая кровь. А может, вены её и вправду один из протоков голубого родника, который чистой, прозрачной струёй выбивается из-под скалы недалеко от дома Адамыра?

И братьев, вышедших во двор, не слышно что-то совсем.

И небо замерло в ожидании. Но ведь журавли не всякий раз курлычут именно здесь, над домом, им ведь всё небо – дорога.

Оцепенение…

Мать Адамыра как бы растворилась в полутьме комнаты. Молчит. Видно, сказала уже сколько хотела и теперь ждёт, чтобы заговорил он. Похоже, ей заранее известно всё то, что он хотел и не успел, не сумел высказать среди каждодневной суеты.

Она слушает, вслушивается в тишину и без устали вяжет.

И где она берёт столько шерсти? Братья Адамыра, старшие, тем же летом, когда умер отец, продали всех овец. Да и при отце овцы у них были одни только белые, а мать всё вяжет и вяжет из чёрной шерсти, и всё одно и то же – мужские носки. Для чего и для кого может их столько понадобиться, шерстяных носков? Словно предстоит им пережить какие-то необыкновенные морозные зимы. Правда, шахтерские сапоги старшего брата «съедают» за год не одну пару носков. Но зато в его выходном одеянии грубые шерстяные носки вовсе не предусмотрены: его щегольские выходные сапоги трудно натянуть и на самые тонкие. Брат нигде и ни в чём не соблюдает привычной глазу нормы: его рабочая одежда уж очень мешковата, а праздничная до того тесна, что ему, бедняжке, трудно даже бывает поворачиваться.

Средний брат – спортсмен, занимается борьбой. Вот уже два года, как сделался городским жителем. За всё это время ему не понадобилось и пары шерстяных носков. И в дом он ничего из города не приносит, но и отсюда ничего с собой не берёт. Видно, находит особое удовольствие в том, чтобы ходить туда и сюда с пустыми руками.

Что же до самого Адамыра, так он за зиму изнашивает от силы две пары носков.

Но мать ещё каждый год вяжет носки и для того, с кем она ведёт каждодневно тихий свой тайный от всех разговор и, как и в прежние годы, привычно вяжет носки с широкой резинкой. Ведь ему нравились именно такие. И так вот вяжет мать каждый божий день, позабыв обо всём, словно дала некий обет вязания, словно хочет заново связать жизнь этому старому дому, их семейному очагу, или хотя бы продлить её, чтобы всегда было так: она сидит у огня, вяжет, и с нею сыновья и он...

– Раньше, во времена больших охотников... – тихо заговорила мать после долгого молчания, – раньше в эту пору, когда трубят олени, на охоту не выходили, знали, олень ищет себе олениху.

Она снова умолкла, кажется, слушая того, кто свершил уже свои земные дела, и вязала, вязала. Проворные спицы собирали петли – маленькие арканы; один, ещё один, ещё... десяток... сотня... Тонкие слабые женские пальцы привычными ловкими движениями накидывают петли-арканы... одни за другими... одни за другими... Словно надеясь ещё набросить их на лучших скакунов из быстроногого стада времени, остановить, связать ещё кусочек жизни...

Такими же вот узелками-петлями она некогда связала, скрепила и семью. Пространство меж пустовавшим холодным клочком земли и далёким небом она согрела сладким дымом ею зажжённого очага. А потом, словно два рукава рубашки, были связаны-завязаны узелки двух новых жизней. И напоследок ещё дана была жизнь Адамыру... как третьему рукаву.

...Третьему рукаву... но зачем он нужен, третий-то рукав? Известно: третий всегда лишний.

Мать Адамыра продолжала нанизывать одну за одной петли из чёрных шерстяных ниток, чёрные петли-арканы. Привычка, освящённая и утверждённая всей жизнью. Так ветка на поваленном дереве качается ещё по инерции какое-то время, хотя буря уже промчалась.

Что же не слышно голосов вышедших во двор братьев, взрывов их веселья? Уже пора бы им...

Сегодня воскресенье, но свободен в этот выходной день чаще всего один только он, Адамыр: в школе нет занятий. Старший брат – шахтер: как выпадет, у него сменная работа. А спортсмен, похоже, сам устраивает себе выходные, когда только пожелает. Раньше, например, он вообще мог заявиться в будние дни, посреди недели («ма, я соскучился по твоему лобио, по мамалыге»). Только сейчас, привыкнув, видно, к городу, стал приезжать регулярно по субботам.

...А соседская девушка, уехавшая в Сухуми сразу после школы – там у неё давно уже обосновался старший брат, – до нынешней весны вообще ни разу не наведывалась в родное село, словно дорогу за ней занесло глубоким снегом и не было ей пути назад. Правда, с этой весны она приезжает сюда каждое воскресенье... Сюда, в посёлочек, что, словно бы убегая от моря и от равнины, перевалил по пути бессчетное множество холмов, больших и малых, пока не уткнулся наконец в горный склон и там будто нашёл успокоение. В посёлочек, где она родилась, росла, училась в школе. (Но ведь,

поднявшись так высоко, село это ещё лучше открывалось морю. И море отсюда, с высоты, так хорошо было видно. Потому, наверное, и прижался посёлочек к скалам. Если бы можно было пройти, протиснуться где-нибудь меж ними или перевалить через них. И бежать, бежать – всё выше, открываясь морю всё больше!..)

– Когда так рано выпадает в горах снег, – очнувшись, подала голос мать, – до чего же бывает жалко всяких животных, всё это зверье. Во время течки и гона они теряют всякую осторожность... кажется, иногда просто забывают спуститься с горы в ущелье, в лес, забывают о еде, теряют силы. Преследуя самку, самцы часто срываются в пропасть, поскользнувшись на обледенелых скалах. Так рассказывал мой дед...

Конечно, гораздо лучше, когда человек занят своим делом. Так оно спокойнее для всех. Шахтёр бы добывал уголь, борец потел на своих тренировках, да и девушка была бы озабочена в выходной чем-нибудь своим, тоже неотложным, ну, хоть по хозяйству. И Адамыр тоже был бы сейчас занят чем-нибудь необходимым. В селе ведь всегда дел по горло. И тогда все они были бы по-своему свободны.

– Настоящий охотник во время гона не станет стрелять в оленя... так говорил мой дед. – Мать на этот раз очнулась быстро: видно, тот, кому теперь уже некуда торопиться, заскучал и сделался немногословен, потому-то мать всё чаще вступала в разговор сама.

– Где теперь сыщешь такого охотника, да и оленей вовсе не стало. Я вот как тогда, в детстве ещё, увидела убитого дедом оленя, так с тех пор не то чтобы увидеть, а ни от кого и не слыхала даже об оленях в наших горах. А рога того, убитого моим дедом, ветвистые эти рога прибили к стене в нашем доме. Помню – долго они красовались там. А уже после... теперь никто и не скажет, куда их дели, когда сносили старый наш дом из каштана, чтобы поставить на том же месте новый... Всё равно ведь – к каменной стене ничего не прибьёшь... Да, теперь никому и дела нет до того, время ли сейчас, можно ли охотиться. Толкутся с ружьями кому ни вздумается и бухают; не разбираясь.

У Адамыра затекли ноги от долгого сидения. Язычки пламени в камине приувяли, их сделалось меньше, и перебегали они по поленьям лениво. Сегодня огонь, не пожрав и половины дров в очаге, торопился сгинуть в золе.

И братья, вышедшие из дома, не торопятся, ленятся подать голос, позвать, вызволить.

Непростая сейчас пора. Поспел урожай и ждёт человеческих рук. Земля получит наконец передышку до весны. И крестьянину тоже, как и земле, время от времени необходима передышка, особенно перед завершением долгого труда, перед уборкой. Завершение ведь всегда требует особенных усилий. А крестьянин похож на колодец, из которого нельзя выбирать воду быстрее, чем она накапливается...

Но у братьев Адамыра в новой их жизни нарушены старинные чередования труда и передышки, поэтому, он думает, куда лучше, когда у них есть какое-нибудь занятие. Безделье опьяняет их, как крепкое вино.

Адамыр потому и старается втянуть их в работу, когда они приезжают домой. Одно плохо: не поспевает он, тонкий, ещё не налившийся взрослой устоявшейся силой, не поспевает в работе за братьями, выдыхается. К тому ж ещё братья вечно прут напролом, пытаясь взять силой там, где не хватает сноровки. Если уж Адамыру выпадает распиливать с ними брёвна, так он рта не закрывает: «Ровнее держи пилу, не нажимай, влево давай, теперь правее возьми...» А когда приходится вместе запрягать быков, Адамыр начинает даже побаиваться скотины. Велев ему подержать быка за остроконечный гладкий рог, кто-нибудь из братьев принимается так старательно мучить быка, подталкивать, загоняя его под ярмо, что, кажется, ещё немного – и бык не выдержит, ринется прямо на Адамыра. Быку ничего не стоит своими гладенькими жемчужно-серыми рогами выпотрошить человека... И потом ещё... загнать-то быков под ярмо братья могли, да только после них всё равно приходилось запрягать наново. То слишком свободно упряжь лежит, только потянется бык – ярмо лезет на спину, а то так туго, что у быка аж глаза лезут на лоб. Да, без указчика им с делом не управиться. Отец, вот кто знал толк в хозяйстве! И руки у него были золотые, и охотник он был редкостный. Как же это братья Адамыра ухитрились ничего не перенять у него, ничему не научиться?

А всё оттого, Адамыр понимает, что они с детства поглядывали в сторону города, с нетерпением дожидались дня, когда наконец покинут родительский кров...

Но как бы там ни было, а оставаться совсем уж без всякого эанятия, чтобы вот так праздно болтались их большие и сильные руки, братья не умели – начинали томиться. Часами высматривали случайного прохожего, чтобы затащить в дом, устроить выпивку и угощать его, пока тот уже лыка не вяжет. Тоже занятие…

Правда, сегодня есть кому их развлечь...

Адамыр знает о братьях всё, знает, что они сказали и сделали с той минуты, как вышли из дому. Эти взрослые, здоровенные парни, не умеющие сделать важного шага без постороннего совета да указки, не умеющие пользоваться отпущенной им свободой, сейчас скованы властным взглядом девушки. Старший брат, шахтёр, неприкаянно топчется вокруг составленных пирамидкой досок. (Девушка, похоже, даже и не замечает его, но он всё равно не в силах освободиться от власти её взгляда.) А составленные для просушки доски эти напоминают укрытия, которые разбивали когда-то в своих лагерях древние воины. Не зря, значит, окрестил Адамыр их двор «военным лагерем».

Правда, оба парня и девушка, оказавшиеся нынче в этом «лагере», толком ещё не разобрались что к чему… ни о какой единой тактике или стратегии говорить не приходится.

Да, с досками-то всё ясно - как и для чего. С человеком вот посложнеё. За рекой, на окраине шахтёрского посёлка в распрекрасном удивительном месте, куда, правда, с ранней осени и до самой до весны не заглядывает солнце, строит себе дом старший брат. Отсюда, со двора, если вглядеться

попристальнее, можно увидеть разбежавшиеся, как овцы в предгорье, крохотные на таком расстоянии домишки посёлка.

Надо же было брату начать строиться за рекой, втискиваться меж чужих дворов, будто здесь ему места не нашлось! Конечно, земли достаточно, на всех хватает, так почему бы и не пожить человеку там, где ему приглянулось. Дело ведь вовсе не в том, далеко ли он поселится от родительского дома, – нет, важно найти своё собственное место, своё единственное. А ведь куда легче вбить кол на новом месте, чем потом вытащить его из политой твоим потом земли, если даже та земля окажется не по тебе...

Другому брату, спортсмену, борцу, своей земли, двора, хозяйства не нужно. В городе всегда найдётся, с кем потягаться силой – чего ему ещё...

Адамыр знает: будущим летом, когда он окончит школу, братья подсядут к нему и заведут: «Испокон веку так уж повелось: младшие братья всегда остаются на земле, что приняла отцов наших, дедов, прадедов, прапрадедов… прапрапра... и не в этом ли счастье...»

Так он им и поверил. Конечно, они желают скорее почувствовать себя ничем не связанными... Свалить на него заботу о доме... Но напрасно они думают, что так легко заполучить свободу... Что это – свобода ...

Однако он понимает всё же, что возможностей вырваться отсюда больше не у него – у братьев. Ему, младшему, «третьему рукаву», видите ли, по праву, по существующим чуть ли не с сотворения мира законам, достаётся отцовский дом и вся ответственность, связанная с ним. Другие, успевшие унести ноги, свободны, могут выбирать... А он как тот пассажир, которого оставили сторожить вещи и места разбредшиеся по вагонам спутники, захватившие с собой и его и свои билеты.

...Но ведь и та свобода, которой они жаждут, она ведь тоже не приносит, уже не принесла им покоя. Например, шахтёра на новом месте настигла обида. На самом берегу реки, которая разделяет село и новый шахтёрский посёлок, бросившийся в ноги сумрачной горе, начал строиться какой-то человек. Обычный, ничем не примечательный человек, если не считать его огненно-рыжих усов. И вот этому самому человеку шахтёр ни в чём никогда не уступал – и переборoть переборет, и перепить перепьёт, да ещё и без особого труда. Однако вот же – тот взял да и выстроил завидный этакий домище у самой реки, на прекрасном солнечном месте. А шахтеру, – несмотря на то что он и на еду почти ничего не тратит, завтракает да ужинает обычно в родительском доме, и зарабатывает неплохо, и который год всю почти что зарплату вкладывает в постройку, – до новоселья ему ещё очень далеко.

А тот рыжеусый, захотел – и хватило мгновения.

Адамыр замечал не раз, что Бектор частенько останавливается посреди двора, поглядывал на дом рыжеусого, красующийся на высоком берегу реки, задумчиво переводил взгляд выше, к скалистой вершине, возвышающейся над посёлочком. Адамыру казалось, что брат мечтает бездумно: хорошо бы жить там, наверху, в доме-дворце, и с высоты поглядывать

пренебрежительно на поверженного, раздавленного, потерявшего всегдашнюю невозмутимость рыжеусого...

И второй брат, спортсмен, наверняка рассматривает сейчас эту вершину, стоит рядом с девушкой и рассматривает. Стараясь освободиться от власти её взгляда, важничает, пытается прихвастнуть, но всё без толку – в её присутствии некая странная сила парализует его волю. Поэтому Адамыр и уверен: брат не ушёл далеко; выйдя из дома, молча остановился возле девушки, делая вид, что старательно разглядывает эту злополучную скалу. А вот девушка действительно любит смотреть на неё (да и откуда ещё и смотреть-любоваться, с их двора вид на гору самый лучший). Адамыр не раз замечал: смотрит она с жадностью, с некоторым даже вызовом, взгляд её, обычно томный, рассеянный, делается сосредоточенным, острым, в лице появляется решительность и сила, она как бы тянется туда, к горам, она волнуется, даже дышит чаще – раздувая ноздри... совсем как у чистокровных скакунов перед стартом... и резче обозначается красивый изгиб спины. И сама вершина, чувствуя, что девушка тянется к ней, кажется, в гордости, в щегольской уверенности готова подняться на цыпочки, вознестись ещё выше в небо, в самый сгусток сини. Она возвышается горделивым повелителем над укутавшимися в снег округлыми и низкорослыми окрестными горами, как пастух над стадом тонкорунных овец. Снег на ней почти не держится, и её суровость и холодность ещё больше подчеркивают мягкие очертания округлых заснеженных вершин у её подножья.

Адамыр чувствует – уже время: сейчас она должна подать голос... позвать его...

...Видимо, спортсмену уже худо, ему, бедняге, трудно так вот просто молча глазеть на эту проклятую вершину. Зевнуть – неудобно, отвести взгляд – тоже, а она может вглядываться в гору долго и безотрывно, и тогда её лицо делается каким-то непонятно-сосредоточенным и отчуждённым. Эта отчуждённость совсем уже лишает воли здоровенного крепкого парня, не однажды пригвождавшего к помосту многопудовые туши соперников. Что ему теперь остаётся делать? Он может ещё, конечно, попытаться вспомнить, как школьником он вовсе вот ни столечко не боялся её, и ни взгляд, ни что иное ни капли не действовали на него, и никакая такая непонятная власть на него не распространялась... может, конечно, собраться с духом и попробовать прихвастнуть. («Того я как кину через себя!.. а на этого даже время не стану тратить... стоит мне пошевелить мизинцем...») Обычно такое невинное бахвальство как-то поддерживает его, хоть немного, но поднимает в собственных глазах, но навряд ли он сейчас решится заговорить о себе, и если даже решится, вряд ли ему это поможет: брат как-то жаловался, что при ней не может даже заговорить о своей, как он выражается, «законной» борьбе: она его тут же на смех поднимает...

«Недавно мы ездили на соревнования в Тбилиси... – попытается он использовать последний шанс (не говорить о борьбе, о спорте он не может, откуда ему взять другую тему?), – выступили удачно, настроение приподнятое... Вот и решили пойти смотреть работы художников... Выставку то

есть... И горы нарисовали многие... Разные горы... и смешные какие-то были среди них. Но что я заметил – небо в этих картинах синее обычного, а снег, который на горах лежит, – он чего-то грязный, несвежий какой-то...»

Услышав... получив этот неожиданный искусствоведческий довесок к обычной теме соревнований и тренировок, она, даже не попытавшись его остановить, зальётся весёлым беспощадным хохотом. Глаза у неё при этом необычайно красивые, томные и какие-то безразличные... стоит – хохочет. И брату ничего не остается делать – сам тоже начнет смеяться. Ещё бы не смеяться, если понимаешь, что совсем не туда тебя занесло, – здесь, среди непривычных слов об искусстве, нечего и думать защищаться. И старший брат, шахтёр, тоже заулыбается, совсем, правда, не понимая, чего они заливаются, эти двое.

Но сегодня и этого смеха не слышно. Что-то там такое сегодня нарушилось.

Адамыр поднял глаза: матери на месте уже не было. Вязанье её лежало на стуле меж двух чёрных клубков. Она исчезла неслышно, словно растаяла лёгким дымком.

Адамыр знал, где она сейчас. Каждый день в это время она отправлялась на кладбище. Она не плакала там, не причитала. Осторожно, будто опасаясь потревожить покой отца, наклонялась над его могилой, шептала о чём-то своём и так же осторожно, неслышно, будто затаив дыхание, возвращалась домой.

– Адамыр! – послышался со двора голос девушки.

Наконец-то! Поняла, что пора протянуть ему руку, вывести из оцепенения, в котором, уходя, оставили его братья. Позвать, вызвать к жизни.

Яркий дневной свет обжёг глаза. Только тогда Адамыр заметил, что он уже на крыльце. Зажмурился, потом осторожно открыл глаза – и заново увидел двор, как бы в сумерках.

Он сразу заметил, что происходит необычное. Братья стояли в свободных позах, уверенные, никакого напряжения не чувствовалось в них... А девушка – она словно бы неуверенно сопротивлялась... Адамыр понял: сегодня властный взгляд девушки больше уже не имел всегдашней силы.

Девушка не обернулась, будто и позабыла вовсе, что сама позвала его. Шахтёр явно скучал и всё чаще поглядывал в сторону сумрачной скалы, в сторону посёлочка с недостроенным своим домом и достроенным – соперника. Спортсмен стоял твёрдо и вольно, медленно, словно любуясь на себя в зеркале, поворачивая то так, то эдак свою красиво вылепленную голову (посмотрите, оцените, я ничего не имею против).

Что-то произошло...

Адамыр направился было к братьям, но, заметив, что он для них ещё не существует, они не готовы ещё принять его, остановился не доходя – сделался невольным слушателем.

– В том доме, где снимаю квартиру...

– Комнату... – холодно, но как-то неуверенно, с замешательством даже, пожалуй, каким-то вставила девушка.

– Ладно, комнату, – невозмутимо согласился спортсмен.

А девушка, продолжая слушать, слегка откинула голову, словно испугалась, ожидая отпора.

– Женщины там все – домохозяйки. И как им в платьях их тесно, так и в комнатах – тоже. Всю стряпню свою во двор выносят. Одна жарит толстых таких, привозных, что ли, рыб. Кто знает, сколько они времени каменели в морозильнике. А чешуя-то, чешуя у этих рыб – прямо точно как у ископаемых каких-то. Другая варит борщ – так в кастрюле сверху на вершок жира. Под ногами у этих очаровательных моих соседок всегда скрипит шелуха от семечек, ореховые скорлупки... И сами они еле шевелятся, кажется, с трудом передвигают ноги. Не на ком даже взгляд остановить, если только так, мимоходом...

...Что-то произошло, определённо что-то случилось... Иначе не осмелился бы при девушке так распоясаться. – И вот как-то возвращаюсь я из спортзала, только прилёг отдохнуть, стучат со двора.

– Да нет, что ты, с чего бы это им стучать, когда можно ведь просто нажать кнопку твоего звонка, такого, знаешь, с музыкой... Уж признайся, не скромничай... – засмеялась было девушка и тотчас осеклась.

– Я, как тебе известно, не в «Сырмаслопроме» работаю, даже родственников у меня там нет! Ничего удивительного, если не обзавелся ещё музыкальным звонком, – небрежно ответил спортсмен, лениво переминаясь с ноги на ногу.

Девушка смолчала, но ещё чуть дальше отодвинулась от него, будто и впрямь чего-то опасаясь.

– Ну и вот, значит, открываю дверь, и что же вы думаете: на пороге одна из моих соседок. Запыхалась, испугана, лица на ней нет. «Среди бела дня на наших глазах девушку убивают! Из мужчин никого дома нет. Да если б даже и были, что могут сделать мужчины из нашего двора? Сами знаете… На вас вся надежда...» Выскакиваю я во двор, а там уже женщины шумят, волнуются. В глубине двора вижу: какие-то типы девушку треплют.

– Тогда ты одного мизинцем поддел, другого ногой отшвырнул... – вставила было девушка, но уже не засмеялась.

– Не всё ли равно как. Главное, что они в наш двор больше не сунутся, как осёл на место, где его кастрировали. А что за девушку я отбил! Нежная, тонкая. Её, как шёлковый платок, сложить да и носить у груди. Ну, я её проводил, конечно, познакомились. Возвращаюсь домой – соседки окружили меня и уж не знают, как и похвалить, слов не находят...

– Как же они догадаться сумели, что ты такой скромник у нас, похвал не выносишь... – не выдержал теперь уже шахтёр и, не ожидая ответа, отвернулся, думая о своём: там, вдалеке, дом рыжеусого на высоком берегу реки сиял всеми окнами, отражая весёлое утреннее солнышко.

Взгляд девушки не имел сегодня власти даже над шахтёром. Как только спортсмен справился с ним, освободился от гипноза, он потерял всякую силу и для старшего брата, для шахтёра. А он, Адамыр?

– Но самое удивительное ещё не это, – спортсмен картинно повернул свою красивую голову, как перед зеркалом, на мгновение задерживаясь перед каждым взглядом, словно бы проверяя впечатление... – Самое удивительное то, что назавтра, увидев меня в нашем же дворе с той очаровательной девушкой, тучные мои соседи помрачнели и отвернулись… И до сих пор отворачиваются, встретившись со мной…

Никто не ответил спортсмену, все промолчали.

– Ну, чего приуныли, завтрак, что ли, не можете переварить? – сказал Адамыр и подошёл ближе. Глаза у него горели.

Он чувствовал, что рассказ, услышанный им, и весь тон разговора, а главное-то, что взгляд и присутствие девушки потеряли вдруг силу и всегдашнее значение, всё это, не совсем понятное, странное в своей непривычности, каким-то образом захватило и его тоже. Непонятное раздражение, росшее в нём, искало выхода, и, хотя он не понимал ещё, отчего или на кого он злится, а может, и на всех троих, ему хотелось говорить что-то резкое...

– О, кто это, вы не знаете? – сделал удивлённое лицо спортсмен.

– Как ты можешь так говорить, Нестор! – поддразнила его девушка.

– А что, он и вправду существует?

– Не говори так, пожалуйста, Бектор!

– Нет, ну что, он уже вылупился из яйца?

– Перестань, пожалуйста, Нестор!

– И оперился?

– Даже и крылышки прорезались!

– Нестор!.. Ну, Вектор!..

– Ты посмотри, он так часто и подолгу сидит у камина, что даже подрумянился, как чурек.

– Слышал небось: тем, кто копается в золе, непременно предназначена удивительная красавица.

– Да что вы говорите!.. – Девушке очень не шло это поддразнивание.

– Копайся, голубчик, копайся в золе, авось докопаешься до чего-нибудь красивенького!..

Шахтёр смеялся словно бы нехотя, но у борца легко обнажались крепкие зубы и рот открывался так широко, что казалось: надумай он, здоровенный, зареветь сейчас подобно оленю-самцу, сотряс бы рёвом всю округу.

– Ну, конечно, спозаранку садятся за стол и веселятся – пьют, лопают до полудня, а потом мучаются, сердятся, переваривая съеденное.

– Без воздуха птице не летать, без воды рыбе не плавать! – изрёк шахтёр, пуская вдруг в оборот свой резерв, золотой, так сказать, запас.

Этими словами он начинал каждый свой тост. Если бы за день ему пришлось двадцать раз поднять стакан, он двадцать раз повторил бы эти

слова. Девушка, растерянная и напряжённая, с облегчением звонко рассмеялась и подошла к Адамыру. На щеках её проступил румянец.

– Подумать только, что за птицы, что за рыбки тут водятся и как они здорово плавают – и в воздухе и в воде... – она кивком указала на братьев и, как бы приглашая принять участие в игре, задорно взглянула на него.

И он не отвёл взгляда. Обычно взгляд девушки не был властен над ним, как над братьями, наверное, оттого, что им троим в их игре словно бы не было дела до его существования, его как бы оставляли по ту сторону их отдельной, особенной увлекательной жизни. Тем не менее он решился взглянуть ей прямо в глаза. Обычно он опасливо отводил взгляд и если и смотрел в лицо девушки, то не в глаза, а скорее куда-то на нос... Туда можно было смотреть без стеснения, и поэтому он очень хорошо изучил её нос. Нос как нельзя лучше подходил к лицу девушки, хорошенький такой, только вот с одной стороны ноздря немного западала. От этого носик становился, правда, ещё милее, но, глядя на одну раздувающуюся, как у породистой лошади, крупную ноздрю и на другую, немного западавшую, он не мог избавиться от мысли, что запавшая ноздря куда как больше подходит не породистому скакуну, а обычной рабочей лошади, привычной к поклаже, экономно расходующей даже вдыхаемый воздух.

Как бы близко от Адамыра ни стояла девушка, он никогда не мог, и не пытался даже, разглядеть её всю, поэтому как только он отворачивался от неё, тут же не то что забывал, не мог восстановить зрительно её облик, будто некий луч, некий свет, исходившие от неё, были болезненны для его глаз, ослепляли, не давая увидеть её ясно, открыто. Он даже не знал про себя, хочется ли ему по-настоящему увидеть её или нет.

Но сегодня – сегодня что-то произошло, сдвинулось...

И он попал в то поле, в настроение, которое сделало бессильной власть девушки и которое само властвовало вокруг.

– Ты свободен? – спросила его девушка, скрываясь где-то за тем лучом, который всегда мешал ему разглядеть её.

– О, что ты, он очень занятой человек! Если даже на голове у него вдруг загорятся волосы, ему некогда будет тушить.

– Да неужто, Нестор? – насмешливо бросила спортсмену девушка. – По-моему, он-то человек – не вам чета, – она ступила ещё ближе к Адамыру. – Помнишь, ты однажды рассказывал мне про первобытную общину. Ох, уж эта мне история, если б не она, я уже была бы на втором курсе. Вы в школе недавно это проходили, у тебя ещё, наверное, не выветрилось из головы. Про первобытное общество, про первобытный коммунизм и о том, как всё это стало распадаться, а потом переходить... Куда?

– На участок вдовы Уардахан, это единственное незанятое место здесь у села, вся остальная земля распахана.

– Не смеши, пожалуйста, Нестор...

Тут все одновременно увидели мать. Она уже шла по двору, и её слегка покачивало на ходу, будто земля уходила у неё из-под ног. Адамыр кинулся навстречу, поддержал под локоть. Рука под глухим рукавом платья была тоненькая, как прутик. У Адамыра сжалось сердце.

– Ты что, испугалась, чего-то?!

Она подняла на него глаза, но заговорить не могла.

– Что случилось?!

– Медведь...

– Где?

– В лощине, в кукурузном поле...

– И ты так испугалась какого-то медведя, сан (матушка)? – степенно удивился шахтёр, как и полагалось старшему мужчине в семье.

– Всего-то медведь? – улыбнулся спортсмен. – Тут достаточно и твоего младшего. Поймаю мишку и связанного брошу к твоим ногам.

– Мне показалось, там не один, несколько их...

– Ну прямо! – засмеялся спортсмен. – С каждой минутой их становится всё больше и больше. А может, просто показалось, может, там просто кто-то шуршал в листьях, а, сан?

Думает, раз в нём силы как у быка, так этого всегда должно быть достаточно, для любого дела... Действительно, почему б ему и не попробовать поймать медведя живьём...

Если братья возьмутся, не ровен час, медведь их слопает, откуда же им знать, как надо идти на медведя. Медведь, пока он не ранен, обычно старается унести ноги, но раненный – сам не даст никому унести ноги. Тем более таким горе-охотникам.

Адамыр не стал долго раздумывать, повернулся и быстро пошёл к дому. Пока братья переливают из пустого в порожнее, медведь погубит всю кукурузу. Если не показать им пример, как должен действовать мужчина, так и будут топтаться на месте.

Да и вообще их помощь ему не понадобится, он один пойдёт. Наверняка этот медведь, эта удача предназначены ему!

Что-то произошло... совершается что-то... куда делось привычное ощущение себя, на всех словно бы действует-распространяется какая-то необычная, неведомая сила.

Что ж...

Для чего ему учить их, как брать медведя. Слава им, шкура – ему? Нет, лучше иначе: не отделять одно от другого – славу от шкуры.

У крыльца его догнала девушка.

– Подожди, Адамыр, – остановила она его, – послушай, что я придумала. У меня счастливая рука, об этом все знают. Оставайся здесь. Я сама каждому из вас дам ружьё. Значит, у всех будут равные шансы. И тот, кому достанется медведь, тот и есть самый меткий стрелок!

– Откуда тебе знать, где наши ружья! – возразил Адамыр.

– Я всё знаю! Тебе – отцовское ружьё. Бектору ружьё, с которым он пришёл вчера. Нестору – ружьё, которое он у кого-то одолжил. Я же знаю,

они приехали вооружённые до зубов, как на большую охоту. А здесь ещё и случай такой подвернулся... целый медведь...

Девушка ненадолго задержалась в доме. Потом, лукаво улыбаясь, с повеселевшими глазами, появилась у окна и прямо оттуда стала передавать ружья.

– Да благословит нас всемогущий Ажвейпшаа! – вскрикнул борец, получив ружьё. Он переломил ствол и, убедившись, что ружье заряжено, небрежно добавил: – Вектор, ты можешь захватить полный патронташ. А мне больше двух патронов и не понадобится. Если там два медведя, парой выстрелов уложу. А уж если больше, тогда, конечно, не стану вас обижать, оставлю и на вашу долю.

Последним получил ружьё Адамыр, затем, опершись о подоконник ладонями, девушка легко спрыгнула на землю.

– Патроны у меня, пошли! – сказала она Адамыру так, словно они были вдвоём, а кругом ни живой души.

– Ты куда, негодница, – запротестовала беззлобно мать, – не девичье это дело. А если случится что-нибудь с тобой? На них-то я имею право, а на тебя?

– Там, где я нахожусь, никаких «что-нибудь» не бывает. У меня рука счастливая! И если счастливая, ничто помешать не может! Тут уж всё бессильно.

Мать посмотрела на девушку и срывающимся шёпотом начала про износить какое-то заклинание.

Оглянувшись, Адамыр увидел мощные спины братьев, оба уже быстро карабкались по крутому склону; он рванулся следом за ними.

Он знал, что девушка не отстаёт от него, но не оглядывался. Однако мысль о ней, ощущение её присутствия за спиной связывали, мешали, и чем дальше, тем иди становилось труднее. Он слышал, что так обычно случается, если человек убегает от места убийства. Тогда, чтобы преодолеть это состояние, оставляют, бросают что-нибудь: газырь, кисет, мало ли что попадётся в кармане.

Адамыр решил пройти к лощине, о которой говорила мать, напрямик; для этого надо было подняться к вершине горы по крутому, почти отвесному склону. Он обернулся. Девушка была совсем рядом.

– Вернись! – бросил он сурово. – Здесь ты не поднимешься, тропы тут нет, да и...

– Ты не оглядывайся! Пройду я или не пройду – не твоя забота! Давай поторапливайся, не теряй времени!

Подстёгнутый её словами, он рванулся вперёд, твёрдо решив не думать больше о ней и ни за что не оглядываться. Не раз Адамыр видел, как отец его поднимался по этому опасному склону, чтобы кратчайшим путём попасть в лощину, – там было небольшое поле, засеянное кукурузой. Адамыру же отец говорил, что напрямик дороги нет, не доберёшься, – чтобы он и не вздумал

лезть на крутизну. Видимо, отец боялся, как бы Адамыра во время подъёма не занесло налево, к пропасти.

Склон, по которому карабкался сейчас Адамыр, как и подножие горы, где строился шахтёр, почти всю зиму не знал солнца. В этом году заморозков здесь ещё не было, но земля, которая промерзала каждой зимой и потом оттаивала, сделалась рыхлой, сыпучей. Если бы не старые низкорослые кусты и колючий поддубок, растущие на этих камнях, невозможно было бы и шагу сделать: зыбкая, сыпучая земля уходила из-под ног.

– Ой, рука!.. – не выдержав, жалобно закричала девушка за спиной. – Я уже все руки ободрала!

Она, видно, не отличает простой кустарник от колючего поддубка. Конечно, легче подниматься, цепляясь за кусты, если ладонь в мозолях. С такими руками, как у него, и колючка не страшна.

Адамыр не оглянулся. Если он станет оглядываться каждый раз, когда она оцарапает руку или споткнётся, так и до самой ночи не поднимется на вершину. Этим медведя не убить, это ясно, но спугнуть можно.

Это его добыча... и ничья больше...

Здесь даже камни крошатся то ли от старости, то ли оттого, что промерзают зимой. Надо спешить – и в то же время быть предельно осторожным; надеяться на кусты, которые растут из-под таких вот камней, нельзя: их легко вырвать из земли вместе с камнем, и тогда уже не удержишься.

– Чтоб ты сгнил под корень! Так кусаться ..

Она ведь сама напросилась... объявила, что ей непременно надо подняться на гору... так пусть поднимается, пусть лезет, пусть терпит!

И всё-таки ощущение тяжести не проходило. Он по-прежнему ощущал на плечах ношу, которую словно бы и нести не было сил, и бросить не решался. Когда девушка подавала голос, Адамыру казалось, что ноша становится ещё тяжелее.

Но он не мог оглянуться, он должен был подниматься, карабкаться, торопиться.

Подниматься.

Подниматься.

Подниматься... не оборачиваясь.

От колючих листьев поддубка горят даже его загрубевшие руки, но он должен спешить, он должен быть там раньше всех...

Младший брат... младший... с ним можно говорить как угодно, с ним можно поступать как заблагорассудится. Он младший. Но сам он в ответ на это должен душу свою держать наготове – должен быть способен отдать её, когда понадобится. Должен лезть из кожи вон, отказаться от себя самого, но поступить так, как положено. Всё преодолеть: и отвесные горы, и непроходимые пропасти. Если надо – отправиться на край света, поймать огненную кобылу, что пасётся за сотней гор и никогда никому ещё не давалась в руки, подоить её и успеть вернуться, пока молоко парное. И всё это – чтобы спасти

чьи-то жизни, чтобы отвести от кого-то неминуемую беду, от того, кто его самого и в грош не ставил. Должен сразиться с великаном людоедом. Брошенный в яму предательской рукой своих же, должен провалиться в преисподнюю. И там не видать ему мира и покоя как своих ушей: надо спасать жителей этой проклятой преисподней от огнедышащего дракона. И если бы ещё дракон этот соизволил скопытиться сразу после того, как снесут одну его отвратительную голову. Так нет, у него будут вырастать новые головы: вторая, третья, четвёртая... И никто не додумается подать младшему горящую головешку, чтобы, снеся голову этой дряни, сразу же головешкой и прижечь – так, чтобы больше не вырастало... Всё это герой должен успеть, пока жители преисподней, сгрудившись подобно стаду овец, будут волноваться да ждать, когда же всё кончится и они смогут наконец-то свободно вздохнуть...

А затем ещё ему надо выбраться из этой преисподней наружу. Найдут ему там какого-нибудь доисторического орла, такого прожорливого, что ему не хватит мяса тех четырёх сотен быков, что приготовили благодарные жители преисподней на дорогу до земли... и в конце концов придётся кормить его собственным мясом, чтобы дотянул до света, до родных краёв, до дома...

Всё время нужно не уставая стоять между жизнью и смертью, чтобы спасти, выкупить душу братьев, для которых он попросту не существует. Ради этого он должен совершить невозможное, найти несуществующее. Всё потому, что он младший...

Младший брат...

Младший...

А когда он сделает всё это, всё невероятное, всё невозможное, когда и тем, кто слушает сказку, наскучит слушать, тогда сказочник на своё усмотрение выберет награду младшему, скорее всего – бессчётное богатство, а в жёны – самую прекраснейшую из принцесс. Это ведь нетрудно – что им стоит: от пустых слов ни голова, ни сердце не заболят...

– Ой, колено разбила! Ой, ой...

Смотри-ка, оказывается, уже полпути одолели. Здесь прямо из камней сочится вода, камни от этого скользкие, вот и поскользнулась... Как теперь она с разодранным коленом покажется в городе? Городские ведь по вечерам не сидят дома, как деревенские. Выходят на проспект – себя показать, других посмотреть. Словно боятся, что позабудут о них и не примут снова в свою среду, как, к примеру, табун гонит от себя коня, который долгое время был отделён от него.

Приезжая в родное село, она одевается и ведёт себя нормально, как и принято здесь, в селе, но и сюда донеслась молва о мини-юбках, которые носит она там в городе. Правда, теперь ей хоть на время да придётся надеть юбку другую, тоже модной длины – как её там называют?

Сидела бы себе дома, вдоволь бы наслушалась речей своего отца, директора местной школы. Всем читает лекции, всех учит уму-разуму, поучил бы родную дочь! И в школе читает, и на колхозных собраниях, и случайным прохожим, и своим гостям, и тем, к кому приходит в гости.

Хвалит село (где его всё же, к сожалению, никто так и не «заметил», не оценил по достоинству), уверяет, что молодежь обязана (так он и говорит – «обязана») оставаться в деревне. «Моло́деж», – говорит он часто и внушительно, упирая на вторую букву «о», лишая «ё» двух полагающихся точек и совершенно огрубляя букву «ж». По словам директора, первейший долг тех, кого объединяет это слово – «моло́деж», – всех без исключения, – служить деревне. Правда, на его собственных детей это правило не распространяется: как только они заканчивают среднюю школу, директор переправляет их в город. А сам всё «моло́деж» да «моло́деж», «должны», «обязаны», «долг перед предками»...

Не сыскать человека бесполезнее этого говоруна. Более того, способен в общем-то хорошую идею похоронить, испохабить, разглагольствуя о ней везде, где надо и где не надо.

Есть люди, привыкшие греть руки у чужого огня, но есть и такие, что пытаются развести огонь там, где он совсем не нужен... Всё равно что повторять и повторять какую-нибудь расхожую истину, например, что если скотине нужно дать соль, не надо, мол, ради этого загонять её на чердак.

– Ах, чтоб всё сгорело, чтоб...

Она, видать, совсем уже обессилела. Да и не одна только она, он и сам карабкается из последних сил. Но сейчас никак ему нельзя остановиться, передохнуть: потом подниматься будет труднее...

...Делал бы каждый всё, на что способен, что по силам ему, только без всякой трескотни, без шумихи – была бы настоящая польза. Если дело будет сделано по-настоящему, оно само же за себя и скажет. Отец вот, он делал всё, что мог. Всегда торопился, всё надо было успеть, наверно, не пришлось даже ему всласть посмеяться... некогда было... Адамыр слышал от матери, что в первый же день по возвращении с войны отец пахал. Утром приехал, в полдень вышел в поле. Он уже и тогда не молод был, когда уходил на фронт, да три года ещё провёл в самом пекле. Война была неотложным делом, как и то дело, за которое он принялся сразу же после возвращения, не давая отдыха своему израненному телу.

Ещё немного, ещё... и они окажутся на гребне. Камень, который ложится сейчас под ноги, он сухой и шершавый, хорошо держит, на нём не поскользнешься.

Но... ведь такой камень... такой камень должен быть у самого края пропасти!..

Подогнулись колени, ослабли, на лбу выступила холодная испарина, и холодок пробежал по спине – словно с ледника дохнуло на него, разгорячённого… словно смерть дохнула... Он застыл как вкопанный… Поднял голову – взгляд его упал на змеящийся внизу поток, что мерцал в полутьме на дне ущелья, схоронившего, заглушившего в своей глубине далекий шум воды... И эта глубина, достав его на такой высоте, сжала Адамыру сердце. У него перехватило дыхание. Он медленно-медленно отступил назад, оглянулся – опять ноги сделались ватными: девушка,

карабкаясь вверх, всё больше, не замечая того, подвигалась к краю пропасти. Подниматься ей стало легче: камень пошёл уже сухой, и теперь из пожелтевших на скудной каменистой почве кустов поддубка выглядывало то и дело её раскрасневшееся, но довольное, с победным выражением лицо.

– Обожди! – тихо сказал он, стараясь не испугать её. – Обожди!

– Скоро же ты про меня вспомнил! – зло бросила она.

Лицо её горело, она остервенело карабкалась кверху, и её всё больше и больше относило к обрыву.

– Остановись! – закричал Адамыр, не выдержав, закричал что есть силы. Она глянула на него недоуменно, но остановилась.

– Говорила же тебе: не оглядывайся! – начала она насмешливо, но осеклась, побледнела: оттого ли, что он изменился в лице, или сама почувствовала опасность.

– Сюда... ко мне! – взмолился он. – Там – пропасть.

Чуть повернув голову, она глянула – заглянула в бездну – и еле слышно охнула...

Но он уже овладел собой, ещё немного, и он ухватил её за руку, осторожно подтянул к себе, поставил рядом на надёжный камень.

– Сидела бы дома... дома... дома...

Слова обжигали его, и он спешил избавиться от них. Девушка, взъерошенная, испуганная, измотанная, молчала и не поднимала глаз.

Он отпустил её руку, не оглядываясь, поднялся на гребень горы, миновал кладбище, вошёл в заросли репейника и, яростно разрывая их, двинулся в сторону кукурузного поля. После злых слов, что бросил он в лицо девушке, он почувствовал облегчение и наконец смог распрямить плечи.

Её не слышно было, но он знал: она идёт следом. Неожиданно вспомнилось, что он никогда не называл её по имени. И не только он один – даже братья не очень-то решались. В её отсутствие и то ухитрялись как-то говорить о ней, обходя её имя.

Алиса... удивительное... самое лучшее имя. Ему казалось, что он слышит это имя откуда-то... что прилетает оно откуда-то из дальнего далёка. Словно оно устремилось сюда из каких-то сказочных стран, устремилось, как только они начали подниматься в гору – вместе, – и этот подъём объединил их, и он чувствовал, что имя сейчас настигает... настигает, рвётся: произнеси, назови... Кто знает, где родилось впервые такое имя. Вспорхнуло где-то за тридевять земель и вот долетело до этих предгорий.

«Алиса из страны чудес» – так говаривал иногда её отец-директор. Сам, конечно, толком не знал, откуда это, просто услышал когда-то краем уха – и запомнилось. Запомнилось, вот и назвал свою дочь. Похоже, он иногда всё же позволял себе отложить на время свою тяжкую ношу наставителя «моло́дежи» И сразу же обращался к другой воспитательной мере: пригреть своих, поощрить, так сказать... Вот тогда, видно, он и обращался к ней торжественно: «Алиса из страны чудес»... Кто знает, сколько раз за год он

вспоминал эти возвышенные слова... может быть, потому братья Адамыра и не решались так вот запросто произнести её имя.

А может, всё сложилось-получилось иначе, и причина была другая...

Но как бы там ни было – это хорошее имя. Когда-то Адамыр, мальчишкой ещё, спросил директора, нет ли книги или, скажем, фильма с таким названием. «Что здесь непонятного, – притворно удивился тот. – Алиса – вот она, – он показал на свою дочь, а страна чудес – вот...» – он рукой изобразил круг, обнимавший всё их село и окрестности. Потом Адамыр как-то задал этот же вопрос учительнице по литературе. Она не без раздражения посоветовала ему заниматься лучше уроками. Когда же однажды утром, слушая передачу для школьников по радио, он услыхал имя «Алиса», ему показалось, что кто-то специально для него произнёс это волшебное имя и послал ему как подарок – из далёкого далёка. Он даже вскочил и так и остался стоять, весь обратившись в слух. Из передачи он узнал, что сказку «Алиса в стране чудес» написал английский писатель и математик Льюис Кэрролл. Кепропа... И это имя тоже доносилось откуда-то, как название той чудесной страны...

За спиной опять послышалось прерывистое дыхание Алисы «из страны чудес». И тут Адамыр увидел наконец камень, к которому шёл. Камень был огромный, весь покрыт мхом, а из трещин тянулся кизил. Адамыр знал, что в такое время, когда поспевала кукуруза, отец с этого камня обычно осматривал поле. Он взобрался на камень и, хоронясь за выступом, осторожно глянул вниз: там, заполняя лощину, поднималась созревшая кукуруза. Поле было спокойно, только сухие листья кукурузы звонко шелестели на ветру. Солнце уже поднялась высоко над каштанами, которые кольцом окружали поле, и теперь ярко освещало кукурузные стебли. По ту сторону лощины, у противоположного склона, сверкал поток, и шум его, поднимаясь с ветром кверху, доносился как шум низко летящего самолёта.

Адамыр лёг в широкую, удобную вмятину на камне и положил рядом с собой ружьё. Чувствуя разгорячённым телом приятную прохладу мха, расслабился, перевёл дух. Репейники, густо облепившие одежду, покалывали, но он так удобно устроился, что уже не хотелось двигаться. Вскоре он почувствовал, что подошла Алиса. Он не повернул головы и не знал, присела ли она отдохнуть на край камня или, обессилев, просто привалилась к нему. Постепенно Адамыр успокоился, напряжение подъёма и опасности отступило, и тогда он вспомнил о братьях, прикинул, на много ли он сократил путь, поднявшись напрямик, и решил, что братья ещё на полпути.

Пока он немного передохнёт, а уж потом решит, как действовать дальше. Предчувствие подсказывало ему, что медведя он сразу не увидит, как бы ни старался. Адамыр верил своему предчувствию. Он давно заметил, что в таких случаях, когда неясно заранее, как сложится, всё, что должно было произойти, происходило как бы само собой, независимо от его воли, а его самого будто некая сила, некое течение загоняло в назначенный для него угол и заставляло участвовать в происходящем в заранее определённой роли. Отсюда он делал вывод: значит, всё происходило не по его желанию (не так, как ему хотелось бы), а так, как должно было происходить...

Но если он захочет, вмешается, постарается, если очень нужно ему, чтобы в какой-то важной для него ситуации всё произошло так, всё так повернулось бы, как он хочет? Как тогда – если очень важно? Или у этих определяющих ситуации, создающих случаи, такая мощь, что его слабых сил недостаточно, чтобы дать хоть в какой-то мере почувствовать их... повлиять?.. Нет пока ответа на его вопрос, не давала ему жизнь возможности употребить все свои способности для исключительно важного. А может, так и надо, и пусть пока всё остается как есть? Ибо если он осилит, подчинит себе поток событий он ведь должен будет нести за них ответственность, всё одно, будут ли они благополучные или скверные, и потому, верно, лучше, чтобы они пока оставались не зависящими от него. Наоборот – пусть он пока что остаётся в их власти, тех сил, от которых зависит обычный ход событий, – они мудрее.

Перед его глазами над цветком глухой крапивы, поднявшейся в небольшой замшелой вмятине на камне, мирно трудилась пчела, развлекая себя тонким, чуть дребезжащим жужжанием: «вз-вз... вз-зз-з». И явно не было для пчелы во всём мироздании ничего выше этого её неторопливого и важного дела. А потом закончит она дневной сбор – и перенесётся к цели своего труда, к солнечным янтарным сотам, покоящимся в улье на берегу какой-нибудь прозрачной речушки, со столь же мудрым и неторопливым журчанием, как мудро и неторопливо мирное жужжание пчелы. До этого же мгновения всё её время туго-натуго заполнено жизненно важным делом и скромненькой, нестройной, чуть дребезжащей песенкой.

Жужжание пчелы почему-то напомнило ему о вчерашних журавлях, сердце замерло больно и сладко. Кто знает, сколько тысяч километров одолели они уже за это время... Да, они уже за тридевять земель отсюда, но оставили в его душе какую-то маленькую отметину... Никогда прежде он или совсем не поднимал головы, или же видел, но не обращал внимания на журавлей, не задумывался над их жизнью. Может, не замечал их с тех пор, когда сам ещё был составной органической частью мироздания, вместе с журавлями, с медведем, с этой пчелой, когда вместе со всеми его несло быстрое течение времени? И может, сейчас его что-то выбило из этого единства – и потому он со стороны смотрит, смотрит со стороны, видит и думает о них? Не оттого ли, что время оторвало его от них, и память о минувшем единстве, оборачиваясь непонятным зовом, наполняет сердце чувством одиночества и печалью?

А пчела всё хлопотала и хлопотала, прикладывалась со всех сторон к бледно-розовому сморщенному цветку глухой крапивы, и, как всякий трудяга, не дающий себе отдыха, чуть раздражённо тянула своё «вз-зз-ввз-ввз...».

Вдруг, неожиданно для себя, Адамыр осознал, что для него уже не имеет значения, увидит он сегодня медведя или нет, – словно страх за девушку, испытанный у края пропасти, выбил из него это желание.

Адамыр резко повернулся к Алисе. Она сидела притихшая и отдирала с подола репейники. Её головка, изгиб шеи, спины, юные округлости бёдер – всё рисовалось столь прекрасным его взгляду в боковом свете неяркого

солнца, в прозрачном осеннем воздухе, что он сразу подумал: если здесь до сих пор и не хватало чего-нибудь, чтобы жизнь была полна и мир совершенен, так это её, Алисы...

Впервые Адамыр окинул всю её взглядом, впервые увидел её. Вдруг где-то совсем рядом прозвучало – он словно бы со стороны услышал – её имя... оно пробежало по жилам, приоткрыло плотно сжатые губы и прозвучало снова:

– Алиса...

Она удивлённо подняла на него глаза. И впервые он почувствовал, увидел, что она не сможет скрыться за тем лучом, который всегда мешал ему увидеть её ясно, открыто. Сейчас этот луч – наоборот – раскрыл её, осветил её, оставил незащищённой. И Адамыр увидел слипшиеся от пота волосы, розовые на солнце мочки маленьких ушей и растерянные, окончательно потерявшие на этот раз властность медовые глаза...

– И эти забери! – сказала она торопливо – словно призывая на помощь луч, которым прежде отводила его взгляд. – Забери эти патроны.

Она поспешно принялась вытаскивать их из кармана. От резкого движения отлетел крючок тесно облегавшего платья, распахнулся ворот. Шея и грудь, обнажившаяся до самой кромки пёстрого лифчика, золотились от загара. Видно, обычно она не прятала их, носила платья с глубоким вырезом, но сейчас необычайно смутилась, одной рукой стянула платье у горла, другой положила на камень патроны.

– Смотрел бы лучше на поле! Не развлекаться же сюда явился! – бросила она, едва сдерживая раздражение.

Он открыл было рот, чтобы сказать ей... чтобы успокоить её... но имени её рядом больше уж не слышалось. Где-то далеко летело оно уже, всё дальше и дальше – замирало...

Он собрал патроны, сунул в карман, взял ружьё и во весь рост поднялся на камне. Теперь ему снова захотелось хотя бы увидеть медведя, ради которого он так рвался сюда. Окинул взглядом поле – если медведь и вправду здесь, значит, скрывается в кукурузе. Адамыр чувствовал себя сейчас опустошённым, как после долгой изнурительной дороги, только взгляд его не знал усталости и как бы стал зорче. Вдруг что-то, он не успел даже сообразить, что именно, заставило его посмотреть на середину поля. Сперва было показалось, что там просто островки незасеянной чёрной земли в светлых пятнах камней, но тотчас понял: это он! Медведь бугрился меж поваленных кукурузных стеблей: зажав в передних лапах, грыз початок кукурузы. Адамыр оглянулся: девушка свечечкой стояла на камне и не сводила расширившихся глаз с поля. Видно, она надеялась сейчас вот, совсем рядом, увидеть наконец всамделишного медведя.

– Пригнись!

Оба упали на колени и теперь уже осторожно выглянули из-за выступа камня. Адамыр никогда не видел медведя так близко, хотя всю жизнь прожил у гор, можно сказать, по соседству с косолапым. Сейчас его поразило, что,

оказавшись рядом, он разглядел, узнал в медведе нечто знакомое, даже, можно сказать, привычное...

Медведь вроде бы казался спокойным, но тем не менее угадывалась в нём настороженность, явно продиктованная не только инстинктом самосохранения, что-то тут ещё было... что-то большее... И как во всех живых существах, кого грызёт забота о других, боль за других, в медведе ощущалось сердитое беспокойство.

– И долго ты будешь глазеть на него? – прошептала девушка с нескрываемым раздражением.

– Ничего, теперь никуда не денется.

– Где же твои братья запропастились?

– Не заблудятся.

И в это время Адамыр вспомнил, что ещё ни разу в жизни не стрелял в живое существо. Никто бы, конечно, не поверил, если б сказать, но это было правдой. Разве что палил иногда, не целясь, в коршуна, чтобы отпугнуть. А так – просто некогда было бродить с ружьём. Дом, хозяйство, уроки – мало ли у него забот, до ружья ли. Вот братья, те любили при кинуться бывалыми охотниками. В доме на самом деле был когда-то настоящий охотник – отец. Но отец никогда не охотился поблизости, возле села, всегда уходил далеко в лес, в горы.

– Медвежата!.. – тихо вскрикнула девушка.

И действительно, из зарослей кукурузы на незасеянный островок выкатились трое медвежат, все уже крупные. Подбежали к матери, отняли у неё початок кукурузы и принялись шумно делить.

Медведица, до того словно не замечавшая их, вдруг подняла голову: выгнулась сероватая полоса, тянувшаяся от шеи по всей спине; повернула голову в одну, в другую сторону. Медвежата испуганно притихли, перестали возиться, но недовольная мать всё же потрепала одного-другого за холку – в наказание за поднятый шум.

И тут Адамыр понял: знакомое, угаданное им в звере с самого начала, было материнство, наложившее отпечаток на облик и поведение медведицы. И хотя дороги человека, лесного зверя или домашней животины не могут сойтись, есть всё же нечто незыблемое, общее для всех...

И велика и не велика эта лощина меж двумя хребтами, засеянная кукурузой. Здесь ищут пропитания и медведь, и человек, и пчела. Для земли все её дети равны. Нет неродных. И, однако, несмотря на это, перед человеком всё расступилось, на многое дано ему разрешение. Но он, почти всемогущий, как бы ни возвышался над всеми другими живыми существами, не должен забывать о том, что они тоже от земли, и что они не чужие ему, и что он без них не может.

Адамыр сразу почувствовал себя спокойнее. Подумал, что вполне стоило, выбиваясь из сил, взбираться на эту гору – ради того, чтобы хоть раз в жизни увидеть такое.

– Кажется, они идут! Я слышу голоса, – испуганно встрепенулась девушка. – Стреляй же скорее! Или отдай ружьё мне!

– Чего ты так злишься на медведицу, ведь не на твоём – на моём поле кукурузу топчет.

Но в голосе его была досада: братья, как всегда, явилась не ко времени, могли только помешать.

– Задерёт ведь... задерёт его... – приглушённо вскрикнула девушка.

Адамыр глянул в сторону, куда расширившимися глазами смотрела девушка, и увидел: спортсмен, раздвигая стебли кукурузы, решительно двигался от края поля прямо к медведице – похоже, ещё не заметил её.

– Отдай ружьё, отдай!

Девушка вцепилась в приклад. Адамыр сердито потянул ружьё к себе.

– Из-за нескольких початков? Бездельники от нечего делать съедают и топчут в десять раз больше. Если выстрелю, так вверх. И сам не убью, и другим не дам. Слышала о собаке на сене – ни себе, ни другим? Так и я! Вот теперь, можешь обругать меня как хочешь, сразу успокоишься.

– Задерёт его, ведь задерёт! Слышишь? У Нестора не заряжены патроны! Это всё я. Я подсунула и ему, и Бектору незаряженные гильзы. Помнишь – это ведь я подавала вам ружья!

Адамыр недоверчиво смотрел на неё, потом быстро глянул на поле: брат был уже близко.

Медведица на глазах переменилась, спокойствия её как не бывало. Сперва застыла, нагнув голову, – прислушивалась, потом поднялась на задние лапы, огляделась. Медвежата попрятались в кукурузе.

Как часто видел Адамыр подобную настороженность, такую же вот тревогу – не за себя, нет, за малых. Как знакома ему была беззвучная эта мольба, кроющаяся в обеспокоенном облике, движении, прислушивании (Боже, сохрани детей, благослови детей!.. Минуйте их все несчастья!.. Пусть будет с ними благословение сил Воды и Дорог... Сил жизни... Случайности...).

И тут медведица рванулась – сминая кукурузу, стала огромными прыжками уходить к противоположному склону. За ней, как в водоворот, отчаянно ринулись медвежата.

Нестор приближался, ещё не видя ...

Девушка закричала что есть мочи.

Адамыр опустился на одно колено, положил ствол ружья на выступ на камне и в то мгновение, когда медведица приподнялась в прыжке над кукурузой, спустил курок. Резко отдало в плечо. Медведица повалилась на бегу, но тотчас поднялась снова...

– Не упускай, не упускай! – донёсся издали весёлый голос Бектора.

А спортсмен, услышав выстрел, остановился было, но потом двинулся сквозь заросли кукурузы ещё торопливее.

– Назад! Назад! – не своим голосом кричала девушка.

Раненый зверь изменил направление. Повернулся и, сокрушая кукурузу, двинулся прямо навстречу Нестору.

Девушка, онемев от ужаса, тяжело опустилась на камень.

Адамыр переломил ствол, выбросил стреляную гильзу, зарядил, прицелился, но рука у него дрогнула: теперь на мушку попадал то бегущий брат, то разъярённая болью и страхом медведица. Медлить больше было нельзя. Улучив мгновение, когда медведица снова показалась над кукурузой, он выстрелил. Отдача на этот раз была вроде ещё сильнее, плечо онемело.

Медведица перевернулась несколько раз по инерции и застыла неподвижно, будто наслаждаясь обретённым наконец-то покоем.

Горы не успели ещё передать друг другу первый выстрел, ранивший медведицу, как эхом ударил вдогонку второй – Адамыра оглушило их сдвоенное долгое звучание. А потом, когда гром выстрелов угас, словно грохот каменной глыбы, которую скатили в пропасть, затих наконец за дальними горами, каштаны вокруг поля, горы, и поток у склона напротив, и ущелье – все застыло в немом мёртвом молчании, оставленное звуками.

И в это мгновение ещё не пришедший в себя Адамыр услышал жужжание пчелы. Она всё это время не прекращала работы, и жужжание её было, как и прежде, то ровным, то несколько раздражённым...

...Но безмолвие длилось лишь минуту. Вся онемевшая на мгновение от ужаса убийства жизнь, всё живое вновь встрепенулось: словно вырываясь из объятий ветра, зашевелили ветвями, зашумели каштаны; шум потока, доносившийся от подножья противоположного склона, сделался протяжно низким, будто вой пикирующего самолёта, он всё снижался и снижался и наконец, словно обдав кукурузное поле градом пуль, опять взмывал вверх... а лощина помрачнела и как бы сжалась, меньше сделалась, будто силясь, словно занозу, выбросить из себя кукурузное поле – виновника случившегося.

Адамыр издали увидел осунувшееся лицо брата, это красивое лицо, которое Нестор привык горделиво обращать к посторонним, будто одаривая их (смотрите, любуйтесь, вглядывайтесь...).

– Упустили? Упустили? – разочарованно выкрикивал откуда-то сверху Бектор.

Девушка сидела, съёжившись, закрыв ладонями лицо, и плакала. Слёзы капали сквозь пальцы. Смешиваясь с пылью и кровью, что запеклась у неё на руках, они теряли свою прозрачность.

Адамыр, оставив ружьё на камне, сполз с него вниз и, едва держась на дрожащих ногах, направился через густой репейник обратно к склону.

Шёл он, наверное, уже давно.

Миновал кладбище; знал это, ибо его ступни сохранили ощущение упругой мягкости прелого папоротника – его на кладбище всегда много. Позади остался и крутой мрачный склон; горели ладони: торопливо спускаясь вниз, он, видно, цеплялся за жёсткие кустарники, горели больше и резче, чем когда поднимался.

Вдруг что-то прохладное, остужая, коснулось его разгорячённого лица. Он поднял голову, огляделся. Вокруг сушилось бельё, развешанное на толстых витых шёлковых верёвках, протянутых крест-накрест. Значит, он

оказался во дворе директора школы, только там развешивали так много белья, простынь, полотенец. Под прикрытием простынь сушились лифчики, их белые чашечки напоминали жемчужные раковины – рапаны. Те самые рапаны, что добывают в кинофильмах отважные ловцы жемчуга... потом они под остриём ножа раскрываются на две половинки – и отдают сияющие тёплые жемчужины.

У директора полно дочерей. И одна краше другой. Как только они подрастают, отец отправляет их учиться в город, прекрасных, с неохотой оставляющих тепло родного гнезда...

Осторожно, стараясь, чтобы никто не заметил его, Адамыр выбрался из глубины развешанного белья.

Ещё долго мерещились ему, то вспыхивая, то угасая –

жемчужины,

жемчужины,

жемчужины...

От них кружилась голова, и, отыскав наконец укромный уголок, он прилёг на потемневший сухой папоротник.

Жемчужины то гасли, словно уголья, залитые водой, то вновь вспыхивали нестерпимым сиянием. Адамыр не прилагал усилий, чтобы погасить их, понимал: это бесполезно, жемчужины должны исчезнуть сами. И правда – через некоторое время они пропали. Но спокойствие не возвращалось. В ушах стоял звон, а сердце замирало так, словно с кручи заглядывал в пропасть. Пропасть не обретших ещё голоса, не нашедших для себя слова, но жаждущих уже ответа всевозможных, неведомых ему доныне, но сделавшихся вдруг неотвязными вопросов... И тут он ощутил боль в плече от недавней отдачи после выстрела. Сначала боль жила в одном месте, потом она раздвоилась. Вскоре ему стало казаться, что боль выступает на плече и сбоку груди буграми, как выступают из-под земли корни деревьев.

Лежал он долго. Солнце, что согревало папоротник, стало уже остывать. Совсем близко он услышал шаги, но не шевельнулся.

– Мать тревожится, что тебя нет. Брат сел рядом на папоротник.

– Послушай... – начал он и замолчал. Потом собравшись с духом, добавил тихонько: – Я не шучу сейчас. Выслушай. Если ты не останешься в доме отца, поверь, от нас тут польза небольшая. Помни это.

Тихо издали проникал в сознание Адамыра гул тех тысяч ещё не заданных, но уже существующих, приготовившихся к атаке вопросов.

– Никакого толку, если я или Бектор останемся здесь. Ты моложе нас, но ты больше понимаешь и лучше чувствуешь. Может, и есть такие люди – погасят за собой все огни, а потом сумеют выбраться к другому свету. Но мы с Бектором не умеем. Если один из нас вздумает погасить, словно папиросный окурок, огонь своего очага, старый свой светильник, и отправиться искать новый огонь, какой-то иной свет, то он разделит участь мошкары; бросающейся на любой огонь... Но если мы оставим за спиной какую-то силу, огонь, свет, то сила эта будет нас защищать везде, везде будет настигать, направлять... прочищать глаза...

Адамыр не ожидал, что этот взрослый человек, не нашедший себе серьёзного занятия (он не считал спорт, борьбу – делом), может так глубоко чувствовать и та к говорить о сокровенном...

...И по-прежнему доносился отзвук тех не перебродивших ещё вопросов, с которыми он ещё не столкнулся, но которые уже отнимали покой.

– Конечно, так проще, – сказал Адамыр и приподнялся, сел. Одним – свобода без обязанностей, другим удобрять им корни, чтобы они везде и всегда ощущали их, надежную страховку на случай житейских неудач.

– Я не шучу.

– И я не шучу.

– Во всём остальном мы готовы помочь тебе. Мы, старшие, теперь твои помощники. И выучишься. Если даже не на очном, всё равно закончишь. Ты сумеешь... И я определюсь, не всегда же так будет...

Некоторое время они молчали.

– Видишь, как получилось... – с трудом заговорил опять Нестор. – Вроде загорится, посветит, поманит, кажется, вот-вот руку протяни – и достанешь... а через минуту видишь: нет, обманулся. Пройдет время – и опять замерцает где-то вдали... Хоть бы уж лучше погасла для меня навсегда, что ли, так нет же... Забавляется... будто дано ей кем-то право играть чужой жизнью. Пытаюсь сам загасить её огонёк – опять нет: всё, как сегодня утром, оборачивается против меня. Ту девушку я и на самом деле отбил, защитил от хулиганов. Скажу тебе откровенно, если врукопашную, мне и десять человек нипочем («не удержался, прихвастнул-таки»), но перед ножом – я пас... Когда видят, что им не под силу, эти подонки сразу за ножи хватаются... Так что если я скажу – с большой охотой влез в эту заваруху, значит, совру. Но, с другой стороны, и не вмешаться нельзя было, её бы насмерть избили. И меня отделали будь здоров! Неделю на людях не мог показаться. Они и ножи достали, но отступать мне было некуда. Так девушку я отбил, это правда. Всё остальное – сочинил.

А она в городе – совсем иная. Здесь она ангел. А там знаешь как. Разодетая идёт во всё модное. Захочет – заметит тебя, захочет – пройдёт мимо, только голову выше вздёрнет. И всегда вокруг неё подружки, а она шествует среди них, задрав нос, будто князь средь своих стременных... Что там крутится в запрокинутой её головке, где витают её мысли, одному Богу ведомо.

Опять помолчали.

– Теперь вот сидит плачет, – усмехнулся Нестор. Никогда раньше не видел её плачущей. Может, что-то и оттаяло в ней...

В сердце Адамыра настойчиво стучали ещё не нашедшие своих слов, ещё только народившиеся, но уже дающие о себе знать, отнимающие покой вопросы...

– Не задерживайся тут, – попросил брат, поднялся и пошёл, тяжело ступая.

Короток осенний день. Вот уже снеговые вершины гор заалели в закатных лучах солнца. А склоны охватила синеватая тень.

Адамыр опять растянулся на папоротнике, глядел в небо. Небо было чистое, но дышало холодком, как ущелье, прячущее ледяную речку.

Долго он лежал так, всматривался в небо.

Вдруг почувствовал странное. Будто земля, оставив его над собой, между собой и небом, поплыла куда-то вниз. Нет, он никуда не провалился, только необычно замирала спина, словно бы потерявшая твёрдую опору. Ему казалось, что пространство, отделившее его от земли, вдруг начало медленно смещаться, тихо потекло куда-то, словно спокойная и могучая в своей многоводности река. И тут он снова почувствовал боль от отдачи после выстрелов, и ему опять показалось, что в этой невесомости ушибленные ружейным прикладом места стали выпирать сбоку груди твёрдыми, как камень, буграми. И всё же, несмотря на боль, ему хотелось подольше остаться во власти этого странного состояния, качаться и плыть на волнах непонятной могучей реки...

В это время он отчётливо услышал далёкое курлыканье – и сразу ощутил спиной неподвижную твёрдость земли. Взгляд его искал – и нашёл их.

Этот клин летел выше вчерашнего. Небо то словно бы расступалось, пропуская журавлиные клики к земле, а потом снова смыкалось, отгораживало, убирало курлыканье в далёкую недосягаемую голубизну.

Что они там, на лету, без умолку говорят друг другу?..

Журавли... Видно, это самое важное для них в жизни – подняться высоко в небо, отдаться небу в дальнем и долгом полёте. Наверное, это и есть самое высокое испытание, самое строгое, отбирающее лучшее, достойное жить. (Жизнь ведь штука строгая. И если получить её можно легко, даром, то продолжить дано только достойным. Если она случайно заглянула туда, куда не следовало, всё исправляет сама: недостойное её предаёт небытию, которое всегда рядом с ней.)

Журавли последний раз сверкающей цепочкой блеснули в лучах уходящего солнца и погасли, растаяли в небе.

Велик подвиг летящих впереди, тех, что разрезают воздух, следом за ними легче лететь молодым, с неокрепшими ещё, слабыми крыльями. Но не меньшего достойны и замыкающие: клики их замирают в преследующей, не отступающей пустоте неба. Передним даже, может быть, легче – они ведь слышат за собой дружные взмахи множества крыльев.

Когда журавлиный клик растаял в небе, Адамыр ещё некоторое время лежал, зажмурив глаза, и улыбался.

...Должно быть, действительно, для земли все равно... все равны... всем она мать. И каждый, рождённый на земле, знает место, где нога его лучше чувствует земную твердь, где он лучше видит и слышит. Место, откуда отправляются в полёт, место, где рождается влечение к подруге. Люди называют такое место апсадгил, то есть земля души, родина души. Никто не знает, как называют на своём языке землю души журавлей, но несомненно: и у них есть чувство родины. Они улетают, потом возвращаются, стремятся на

родину. Кому-то из них суждено вернуться, кому-то – нет, и всё решает великое испытание – перелёт. И если кому суждено вернуться обратно, он возвращается для любви, рождения, жизни... Чтобы не было конца тем, кого снова и снова будет испытывать дальний перелёт…

Адамыр открыл глаза, поднялся на ноги. С этого места отчётливо видно было море – стояло вдалеке темнеющей стеной. И, словно сказочный дракон, проглотило уже наполовину огромный красный диск солнца. Адамыр подумал, что всё это похоже на рисунок ребёнка, где краски хотя и сгущены чрезмерно, однако сгущены-то со всё примиряющей незлобивостью.

...И может быть, село их так далеко ушло, так высоко взобралось в предгорьё вовсе не потому, что испугалось моря, просто, чтобы отсюда, с высоты, разглядеть его получше...

Он вздохнул глубоко и свободно. И вдруг почувствовал, что вся природа: горы, небо, море, сама земля и всё живое на ней, то, что час назад, казалось, отбросило его в сторону, как ненужный червивый плод, – сейчас начинает поворачиваться лицом к нему, тихо вливается в него, живёт в его крови. Только, видимо, жизнь уже заменила его прежнее место в ней, ибо он чувствовал сейчас, как обдаёт то и дело холодком неизведанная пропасть. Пропасть, где роятся тысячи невысказанных вопросов. Нет, он ещё не столкнулся с ними, не нашёл для них слов, но они живут, тревожат, напоминают о себе... о предстоящем дальнем перелёте – выдержит ли...

Адамыр направился было к дому, но вспомнил и вернулся. Папоротники хранили след: отчётливо видна была вмятина от его тела. Звонко гикнув, он вдруг поднялся на носки, пустился в пляс, топча примятый папоротник. Он кружился, и с ним кружились деревья, и горы, и заснеженные вершины, освещённые последними лучами уходящего солнца, и море, синева которого прорезана была золотым следом заката, – всё кружилось с ним, плясало, подпрыгивало... ему казалось, что горы, деревья и море вздрагивают в такт его прыжкам, словно в испуге, словно боясь, что улетит, но нет, они крепко – он это чувствовал – держали его, не допускали, чтобы хоть на миг вырвался он из их объятий...

Наконец Адамыр остановился, тяжело дыша, посмотрел на переворошённый папоротник. Теперь ни за что нельзя было угадать, что недавно здесь лежал человек.

– А то кто его знает: вдруг и вправду ещё чёрт поплясал бы на моём ложе... не зря ведь мама предупреждала... – он улыбнулся и быстрым шагом пошёл прочь.

Перевод С. Шевелёва

ДОРОГА В ТРИ ДНЯ И ТРИ НОЧИ

Село осталось далеко позади, они уже поднялись довольно высоко и добрались до склона горы – теперь подъём становился ещё круче. Снег здесь весь был испещрён следами, растоптан, смешан с грязью – не они одни выходили на поиски.

Их было трое.

Тот, что шёл впереди, оглянулся, увидел, что товарищ отстал, и остановился, выбрав место поровнее.

– Передохнём немного, Александр?

– Как скажешь... – Александр запыхался уже совсем, но продолжал карабкаться, медленно и тяжело.

– Отдых, отдых, иначе как можно, все уже устали!

Александр оглянулся – последним поднимался рослый крепкий юноша, совсем близко увидел его голубые г лаза.

– Счастливый ты, Инал! Иметь взрослого сына! (Может быть, лучше пропустить паренька вперёд? Хотя, наверное, дай ему сейчас свободу, так он весь подъём к альпийским лугам, занимающий обычно три дня и три ночи, всю эту трудную и опасную дорогу в горы одолеет за какой-нибудь день.)

Запыхавшись и устав, Александр карабкался вверх, как за спасательную верёвку цепляясь за следы прошедшего первым Инала – они чётко обозначались на снегу.

– Может быть, обгонишь меня, впереди пойдёшь? Ты всё-таки молодой и ловкий, а я отяжелел... тебя задерживаю напрасно.

– Что вы, что вы... Для чего спешить? Разве можно так – гостя оставить позади, самим вперёд поскакать, словно наперегонки бежим!

Александр обернулся к мальчику и опять совсем близко увидел чистые голубые его глаза; в лице – никаких признаков усталости. А самому ему было мучительно жарко, обливался потом в своём утеплённом комбинезоне. Хотел было расстегнуть молнию, но не стал: во-первых, боялся простыть, а во-вторых – ему не хотелось так уж сразу показывать свою слабость перед этим мальчиком, – внимательный был, ничего мимо глаз не пропускал.

Пока они только лишь в начале пути, одолели первый подъём, – что же дальше с ним будет, сколько он выдержит... Об этом страшно было подумать.

– Я забыл... как тебя зовут? – спросил Александр.

– Иуа.

– Так коротко, по-взрослому?

Юноша ничего на это не ответил.

– А нас с самого детства, и даже когда уже постарше тебя были, называли ласковыми детскими именами, прозвищами. Настоящие имена только в документах где-то значились, а так – никто их не вспоминал.

(Мальчишка ты, мальчишка, что ты знаешь о жизни! Думаешь, в ней так уж много радостей? Детское имя, такое мягкое, такое нежное... что может быть лучше! Но его, Александра, никто и никогда не называл тёплым детским именем. Ни когда ребёнком был, ни потом, ни в шутку, ни всерьёз.

Как только он стал сознавать себя, в него словно выстрелили полным, тяжеловесным «Александр» – и так на всю жизнь и осталось.)

– Детское имя – это прекрасно, – продолжал он, – а то вот меня зовут Александром, что значит – защитник людей. В детстве, чего уж теперь скрывать, я озорной был. Пойду на речку – так купаюсь, пока не посинею, пойду за хворостом – застряну где-нибудь обязательно, пойду к соседским

ребятам играть – только ночь могла загнать меня обратно домой. После смерти отца я жил у дяди. Они с женой жалели меня, сироту, редко ругали и никогда не проклинали. А то представь, как бы это получилось, если б меня ругали или проклинали, называя по имени – Александром: «Чтоб ты провалился, защитник людей», «Защитник людей – негодник и лодырь», «Чтоб над тобой скорее могильный холм поднялся, защитник людей!». Не очень-то хорошее сочетание, а, как ты думаешь?.. – Александр снова обернулся и улыбнулся Иуе. Иуа засмеялся в ответ – обнажил ряд ровных крепких зубов, глаза, казалось, ещё посветлели, засияли.

(Ох, неправда всё это была, выдумал всё Александр. Как его проклинали, выстрелив сначала его полным именем! «Александр, чтоб ты...» Не умел он ладить с людьми – и не только со взрослыми, за небольшим исключением и сверстники не любили его, а как изощрялись, желая сказать ему обидное, да к тому ж ещё и не забыть «долю» его матери. И озорником он никогда не был – тихо шёл по дорогам детства, ступая босыми ногами по колючкам, уготованным судьбой... и проклятия были, и шишки, и синяки не проходили.)

Ещё несколько усилий, и Александр наконец вскарабкался наверх, туда, где поджидал его Инал.

– Всё же крепкие у тебя ноги, Инал. Ты нисколько не изменился со школы, таким же ловким и быстроногим остался. А меня – ожидать приходится.

– Где там не изменился... и ноги уже не те, – как бы возражая, с заметным самодовольством засмеялся Инал. – Однако всё же держусь ещё, не думаю сдаваться! Отступать пока что не приходилось.

– Не хвались... – тихо сказал Иуа.

– Ну ты посмотри – просто слова не даёт вымолвить! Конечно, я не виню – тебе пока этого не понять. Если и говорю кому-то, что пока не жалуюсь, не сдаюсь, ноги ещё крепкие, то это и значит как раз, что именно старею, сомневаться начинаю – потому и оправдываюсь как бы, убеждаю себя.

– Да, это лишь в молодые годы рассуждаешь обо всём с твёрдой уверенностью, – согласился Александр.

На лице Инала не так уж много было морщин, но эти немногие залегли глубоко – словно шрамы. Рослый, поджарый, он стоял, легко опираясь на посох, и казалось, что его так же легко можно подхватить одной рукой и понести. А вот глаза его привлекали внимание, молодые были глаза, то и дело поблескивать начинали остро, искорки в них бегали – так стекло поблескивает на изломе. И казалось, что глаза эти совершенно другому человеку принадлежат, не подходили, не вязались с простоватым морщинистым лицом сельского жителя.

– Да, если уж говорить о крепости ног – тут я никому не завидовал. Но сейчас уже – простительно мне. Не то что человек, серна так устаёт от жизни, что ноги не держат, – говорил Инал, словно бы оправдываясь перед сыном.

– Усталость похожа на старость. У человека не ноги устают, а сердце. – Александр бросил на снег ружьё и быстро, почти инстинктивно расстегнул

комбинезон. Достал большой белый свой платок и стал вытирать пот с лица и шеи.

От разогревшегося комбинезона пахло плесенью. Долго же он его не надевал! Уже и не помнит, когда в последний раз ходил на охоту. Видимо, в тот, последний раз, вернувшись домой, он, как обычно, попросил жену повесить и комбинезон и патронташ где-нибудь в сухом месте. Но когда сейчас он догадался посмотреть – увидел, что гильзы позеленели, словно их облили медным купоросом. Уже очень давно он не заряжал патроны сам, покупал готовые. Расстреляв такие патроны, он просто выбрасывал их, ненужные, как скорлупа от орехов. Кто знает, когда были заряжены и когда он покупал теперешние, те, что сейчас у него в патронташе. Не подведут ли в нужную минуту?

– Кажется, здесь до нас уже побывали люди, – сказал Иуа, рассматривая следы на снегу. Александр обвёл взглядом склон: следов действительно много виднелось, но снег здесь уже был почище – глаза болели от холодного яркого сверкания.

– В горах непривычному человеку, как ты, трудновато, конечно. – Инал положил перед Александром свёрнутую, аккуратно перевязанную бурку.

Они присели оба, а Иуа прошёл дальше, что-то высматривая в снегу.

– Хороший у тебя мальчик, Инал, я рад за тебя.

– Да ничего вроде... но иногда мне трудно его понять. Я до сих пор не знаю, чего он хочет, чего желает по-настоящему. Мне кажется, он не ценит ни дом, ни то, что нажито мною за всю жизнь. А ведь всё это для него, он у меня один. Читает слишком много, день и ночь с книгой не расстаётся. Удивительно мне всё это, ты же хорошо знаешь, ни я, ни мать – никто в доме не ломал голову над книгами. В кого он такой пошёл? Но что меня тревожит больше всего, знаешь... он в общем не перечит мне, не вступает в споры, но и не очень считается с моим мнением. Единственный сын, конечно, не хотелось его обижать. Но, по-моему, я ему дал слишком много свободы. А сейчас уже – не вернёшь.

Оба замолчали.

Отсюда, сверху, как на ладони видна была долина и село в ней. На северных склонах холмов и оврагов, на крышах, там, куда не доставало и не грело солнце, ещё тут лежал снег. От села в разные стороны словно щупальца тянулись дороги, текли бурыми реками слякоти. Сизый дымок застыл над крышами – будто след вспыхнувшего пороха. Солнце освещало горные склоны, заваленные глубоким свежим снегом. Небо над редкими свинцовыми тучами глядело тёмным холодным омутом. Всё же они порядочно отдалились от села – уже никакие звуки не долетали снизу.

Давно не бывал Александр в этих местах. Здесь, неслышимое и невидимое, притаилось где-то, блуждает по дорогам и тропинкам его детство. Когда он попадает сюда, оно встречается на каждом шагу, цепляется, становится поперёк дороги, поперёк горла, слепит глаза, шепчет в

ухо... и бесконечной кинолентой плывут, сменяют одно другое – воспоминания давнего времени.

– Александр!..

Кинолента оборвалась, детство боязливо отступило.

– Александр! Ты знаешь, как я уважаю тебя, безгранично, – голос Инала сделался вдруг подслащенным, как вода, разбавленная мёдом. – Сколько дней уже гостишь в селе, и всё не выбрали времени поговорить как следует, посидеть. Да сам видишь, какое несчастье приключилось, – всё заслонило. Я не так хотел, хотел домой тебя пригласить, собрать соседей, товарищей наших, зарезать холощёного козла... Слава Богу, всего вдоволь – живём не бедно, – и глаза у Инала заблестели остренько и словно чужими сделались: не с его простого крестьянского – с чужого какого-то лица. – И вина какого хочешь достаточно, ни зимой, ни летом не истощаются мои запасы. Всё же, я думаю, успеем, так не отпущу тебя домой.

– О чём ты беспокоишься, Инал, Бог с тобой. Где же я пил и ел вдоволь, как не у тебя!

– Нет, нет, ещё не поздно всё устроить как подобает, вот вернёмся... Но... что я хотел тебе сказать, Александр, чтоб все твои напасти да на мою голову! – В слегка подслащённую водичку он добавил ещё ложку мёда. –Хотел с тобой посоветоваться, как и где устроить на учёбу моего мальчика. Спрашиваю его – отвечает: если сам не сможет поступить, то всё... о других путях и слышать не хочет. Чепуха, конечно. Недаром говорят: кто смел, тот и съел. Хотел было обратиться к Большому, да не осмелился, совестно его беспокоить. Лучше, если ты ему скажешь... и сам бы посоветовал мне что-нибудь. Мы ведь росли вместе, я тебя так уважаю, с кем ещё могу поделиться своими заботами, как не с тобой?

– Если я и смогу что, всегда для тебя и для мальчика сделаю, тут и говорить нечего. Лучше как-нибудь в спокойной обстановке обсудим, – ответил Александр, почувствовав раздражение.

До чего же неприятно, когда начинают объяснять, как его уважают, как хотят взять на себя его болезни и всяческие напасти. Но не умел, ни разу он не смог никого остановить, пресечь… Было время, когда ему даже нравилось это. Но между ним и Иналом всегда ведь всё было просто, по-дружески, никогда так не было, чтобы Инал льстить должен был, заискивать. Сколько холодных, голодных дней, сколько скудных кусков разделили они в босоногом своём детстве. Всё же Инал его единственный более или менее близкий друг. И для чего он вспомнил этого Большого. Александра даже в дрожь бросило от злости. Куда ему деться, чтоб не слышать о нём, о Большом...

Может быть, и не стоило ехать сюда. Ничего бы тогда и не было, всех этих разговоров. А то что это – вдруг спохватился, сорвался в отпуск... ни зимой, ни летом.

Хотелось взять своего мальчика за руку и целыми днями гулять по городу, по набережной, выходить к причалу. С сыном ему никогда не бывало

скучно. Оставшись со своим мальчиком, он хоть на время обретал душевное равновесие, мог отдохнуть, расслабиться. Скоро должен был приехать кукольный театр... если он не успеет вернуться в город, некому будет сводить мальчика на представление. Жене некогда: она целый божий день занята домом и своими стариками-родителями – должна готовить им еду, смотреть за ними, развлекать, – словом, стараться сделать их жизнь возможно более счастливой. А мальчик один-одинёшенек, играет сам с собой. Обычно станет у входной двери, заведёт свой самолётик-игрушку и пускает его по квартире.

– Смотри, попадёшь в трюмо!

– Попадешь в трюмо!

– В трюмо!..

Каждый выкрикивает, будто стреляет голосом, целясь в ребёнка.

Но неуклюжий самолетик-игрушка дотягивает лишь до середины комнаты и, ткнувшись носом в пол, затихает.

Сын... сыночек, которого он так долго ждал, единственный. Как долго он ждал его! Много лет его жена оставалась бесплодной. Но наконец смилостивился Всевышний. И как похож мальчик на него! И как он дрожит над ним!

Александр лютой ненавистью ненавидел этот дурацкий самолётик. Но его покупал Большой. А к подарку Большого отношение должно было быть особое. И когда приходили гости, необходимо было объяснять, кто покупал эту игрушку и как её заводят.

Большой – он почётный, он известный, он занимал разные ответственные должности. Словом – важная персона. Никто теперь не помнил, когда его впервые назвали Большим, смеялся тот человек, благоговел или пресмыкался перед сильным мира сего, по крайней мере, в родном селе давно уже не употребляли, говоря о Большом, его настоящее имя.

Ладно, Александр ещё мог понять, отчего Большого величали так бывшие его односельчане: всё-таки выбился в люди человек, но почему собственные отец и мать не по имени называли его, для них тоже был Большой...

Большой приходился старшим братом жене Александра, престарелые их родители жили сейчас в доме, где главой считался Александр, но где он не всегда был хозяином – даже над самим собой, своим временем.

Как-то раз мальчик сломал наконец этот злополучный самолётик. Сразу все всполошились, где-то отыскали мастера – починили. Остальные игрушки недолго держались у сына, а этой, казалось, износу не будет. Заведующего магазином детских игрушек Александр попросил оставить для его сыночка детский велосипед, когда завезут. Велосипедом ребёнок сам командует, ведёт его туда, куда ему самому захочется. А самолётик этот он не умел заводить, приходилось просить кого-нибудь из взрослых... и он всё ходил и упрашивал, даже и гостей, а те интересовались обязательно, кто же это купил ему такую прелестную игрушку.

Хоть бы раз действительно долетел этот самолётик до трюмо! Может быть, тогда сестра и родители Большого, без него, без Александра, сами бы разделались с дурацкой игрушкой.

Недавно в Дом, дом с большой буквы, ответственность за благополучие которого возложена была сейчас на Александра, Дом, где наслаждались счастливой старостью родители его жены, явился Большой. У него так заведено было: появлялся два-три раза в месяц, обедал, иногда решал важные вопросы, а иногда просто заставлял слушать себя: славил, превозносил свой род, начиная с прадедов, перечислял знаменитостей местного значения, созревших на родословном древе, каждому давал оценку – кто чего стоит. И наконец очередь доходила до него самого. Но здесь, упоминая о собственных деяниях, он своё «я» скромно заменял на «мы»: «мы сказали», «мы отстояли», «мы умели смотреть опасности в глаза». Распространялся о том, какие трудности сумел одолеть и, главное, как никого не щадил из ставших поперёк дороги.

Последние три-четыре года Александр избегал его, не принимал он этого человека – всем своим существом. Нервничал, всё время ожидая его появления. Утром поскорее одевался, проглатывал завтрак и сразу уходил на работу. Спешил, обжигался чаем. Вернувшись со службы, так же наспех проглатывал обед и закрывался в своей комнате, притворившись очень уставшим или занятым срочной работой. Сидел у себя, чутко прислушиваясь к каждому шороху, листая какую-нибудь книжонку. Когда же проходило обычное время появления Большого, он позволял себе расслабиться – бросал книгу на стол и ложился на диван, на старый свой диван, купленный ещё с первой зарплаты... вытягивался привольно, давал отдохнуть всему телу. И знал, что, если и нагрянет в такой момент Большой, он притворится спящим.

В доме давно все его пилили за этот диван, убеждали, что неприлично выглядит, из моды, мол, давно вышел, если кто-нибудь из гостей увидит такую рухлядь, позору не оберешься. Но здесь – он не отступил, не разрешил выбросить привычную старую вещь. Во-первых, он купил этот диван на свою первую зарплату, а во-вторых, всякое может случиться: если однажды он не захочет выйти к каким-нибудь надоевшим гостям, то к нему в комнату никого не посмеют привести: там ведь стоит этот ужасный старомодный диван, что вовсе не к лицу столь известному в городе дому. Большой частенько приводил сюда гостей, своих друзей-собутыльников, их надо было обхаживать, всё время мило улыбаться, выворачиваться наизнанку, демонстрируя высшее искреннее гостеприимство.

До сих пор Александр ни разу ещё не решился, не набрался смелости взять и не выйти к таким гостям, однако надеялся, что когда-нибудь сможет, возьмёт себя в руки и сможет.

Сколько мест он переменил, поднимаясь потихоньку по служебной лестнице. Его заводила, словно тот уродливый самолётик, невидимая сильная рука. Когда же завод кончался, рука протягивалась снова. Дом, где появлялся со своими друзьями Большой, требовал многого. Родители его жены и её брата должны были показываться на людях, всё должно было быть прилично, как подобает. Чтобы не подумали чего люди, разговоры не пошли. Большой занимался важными большими делами, приходилось непогрешимым быть в глазах знакомых и незнакомых.

Требования его семьи намного превышали его возможности. Принять, угостить – всё это в копеечку влетало. Но ему напоминали: долг платежом красен! Если ты получаешь одну за другой солидные, и не просто солидные – ответственные должности, так будь добр... Понимай, что это не так просто делается... не даром. Родство родством, а дело делом!

...В тот раз Большой застал Александра врасплох: совсем не ждал его. Только-только собрался уйти в свою комнату, закрыться, поваляться на старом своём диване, отключиться от всех забот... подумать. Не ждал он Большого. Однако увидел его, внезапно появившегося в дверях, и, передвигая ватными ногами, будто чужой волей руководимый, шагнул навстречу. Большой молча прошёл к столу, снял свой широкий, с подбитыми ватой плечами пиджак, повесил его на стул, уселся. Очень он был не в духе, мрачен. Александр знал, что на службе у него дела в последнее время складывались неважно. Слово его уже почти ничего не значило, недругов стало много, – что ж, это значит, что у меня силы прибавилось, утешал себя Большой. Его запросто могли сейчас проводить на пенсию – а жена была ещё довольно молода и капризна.

Все остальные, живущие в Доме, исчезли где-то в дальних комнатах, притихли. Так всё замирало, когда Большой собирался говорить о каком-нибудь важном, по его мнению, деле (уж не новое ли, более «подходящее» место для Александра?). Почему-то во время таких разговоров Александр всегда смотрел на этот висящий на стуле пиджак, пустота какая-то появлялась под сердцем. Пиджаки Большой обычно шил одного цвета: тёмно-зелёного и всё того же неизменного покроя. Поэтому Александру казалось иногда, что Большой, как только стал на ноги – в начале тридцатых годов, так и сшили по нему этот зелёный пиджак, и вот до сих пор он и носит его не меняя, прирос к нему пиджак, словно кора к дереву.

Большой начал не спеша, хорошо поставленным голосом, словно собирался проводить в огромной аудитории важное собрание или же ему предложили, скажем, выступить по радио, осветить какой-нибудь чрезвычайно важный для человечества вопрос.

Александр не помнит, сколько времени шуршали, как падающие листья, пустые выспренние слова, сколько времени сыпались на него, как пожелтевшие мёртвые листья на траву под деревом... В самый разгар словоизвержения Большого в его гостиную вбежал мальчик, в руках держал заведённый самолетик.

– Трюмо! – раздалось вслед.

– Трюмо!

– Уберите его! – рявкнул Большой.

...Александр не помнит уже, как он поднялся, как сделал это – не помнит своих движений.

Очнулся: перед ним трюмо, словно раздавленное чьим-то кованым сапогом. И расколотое отражение его смертельно бледного лица, безумие в глазах. Уродливые крылья самолётика валялись на полу отдельно от корпуса,

в углу плакал ребёнок. Ему слышалось, будто мальчик плачет где-то очень далеко.

Обернувшись, он увидел, как на некрасивой, морщинистой шее Большого вздулись вены, в них бешено колотилась кровь. Не говоря ни слова, он ушёл в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Ноги, отяжелевшие, странно непослушные, когда он встречал Большого, сейчас сделались лёгкими, он будто на пружинах двигался.

На другой день он взял отпуск и сразу уехал в своё родное село. Что-то его тянуло сюда. И жена вдруг повела себя необычно. Как быстро она его собрала!

Как только он приехал сюда, словно нарочно, начались дожди. Небо истекало водой, и он, не зная, куда девать себя, всё прохаживался по мокрому невысокому крыльцу дядиного дома. А дядя его каждое утро, ругая непогоду, накинув на голову, наподобие капюшона, старый мешок, хлюпал по лужам старыми просторными резиновыми сапогами – загонял под навес корову, у которой пал телёнок. Потом он клал перед ней высушенную шкуру телёнка. Корова обнюхивала и с мычанием начинала облизывать шкуру, и тогда дядя присаживался около коровы на корточки, зажав между ног деревянный подойник, и начинал доить её. Однако через некоторое время лягалась корова и отходила от него. Хозяин злился, ругался, желал, чтобы не позже следующей ночи её разорвали волки, потом засыпал шкуру телёнка солью и подносил к коровьей морде. И корова, не обнюхивая больше, начинала с жадностью слизывать соль, а дядя, воспользовавшись этим, выжимал, выдаивал из её сосков остатки молока.

В такую погоду и речи не могло быть об охоте, он и сам не понимал, чего он сидит тут, в селе, чего ждёт. Но после всего, что случилось в Доме, первое, о чём подумал, было приехать сюда, в село, где родился, где осиротел, где растратил не очень-то счастливое своё детство. На это решиться надо было – приехать сюда, встретиться со своим детством, с юностью. Но раз уж он решился там, тогда, в Доме, что-то, значит, сдвинулось, изменилось в нём; он подумал, что здесь не будет тяжелее.

Дождь заставлял целыми днями не выходить наружу, и в вынужденной этой неподвижности он особенно остро ощущал то, что камнем давило на сердце, не отпускало ни днём ни ночью. Он чувствовал себя так, словно нечаянно уронил ребёнка, с которым играл, и тот разбился насмерть.

Дождь лил не переставая. Из земли сочилась вода, на дорогах, в проулках – везде струились мутные потоки. «Хоть бы снег скорее выпал, закрыл всё это уродство», – думал Александр, тоскливо поглядывая на разжиженную землю. Не утром, так вечером, не сегодня, так завтра, надеялся Александр, но что-то у неба не ладилось всё. Иногда вдруг появлялись, кружились снежинки, мелкие, словно рыбьи чешуйки. «Решись же наконец, ну решись!» – умолял Александр. Но опять не получалось у неба, опять исчезали снежинки, смывали их потоки дождя. Горы заволокли снежные тучи. И всё, что за эти дни здесь проливалось дождём, там выпадало снегом. Иногда, не переставая истекать дождём, тучи вдруг поднимались выше, и тогда даль

просматривалась до самого моря, видна делалась вся изрезанная разлившимися реками плоская равнина.

Но однажды утром, как снеговой обвал, сорвались, потекли с гор тучи – и стали низко над землёй. И пошёл наконец снег, да не редкий, а густой и долгий. Там, где было посуше, где ещё росла трава, возникли белые островки, и люди, оставив свои тёплые очаги, открывали двери и окна, чтобы поглядеть на это долгожданное чудо. Дети толпились у крыльца, для них праздник наступил, только боялись: вдруг может исчезнуть эта белая радость, как белый пушистый трусливый зайчик. Жадно смотрели дети на снег, оторваться не могли. Иногда кто-нибудь, не выдержав, выбегал на двор, становился под снегом, чтобы волосы его покрылись слоем лёгких белых пушинок.

Снег шёл всё утро, прояснилось уже за полдень. Только далёкие горы не открылись ещё, прятались за плотной пеленой туч.

На свежем снегу появились первые следы, потом тропинки – змеились там, где снег был глубже, обходил размытые, разжиженные дождём дороги. И постепенно вся нетронутая белоснежная поверхность была испещрена каракулями следов.

...Но был человек – следы его навсегда замело этим праздничным снегом. Когда ненастье свирепствовало, особенно если снежная буря налетала, его не выпускали из дому. Но в этот день его оставили без присмотра у тёплого камина, одного в комнате. Матери его, одинокой больной женщине, приходилось вести всё хозяйство. Пока мать во дворе была, много времени прошло. Когда же наконец, управившись с домашними делами, она приготовила завтрак и принесла сыну, комната была пуста. В открытое настежь окно задувала метель. А следов не было, успело занести снегом – невозможно было понять, в какой стороне искать пропавшего.

Когда хватились его, всполошились соседи, обыскали всё вокруг, да ничего не нашли. Дали знать о случившемся всему селу – тут уж все поднялись. И в этот день и назавтра до самой ночи никого не оставалось в селе, все вышли искать. До самого подножья горы обшарили каждый куст, каждый камень ощупали, живого места не оставили на белой девственной пелене. Но так нигде и не смогли напасть на его следы. Пропал человек.

Бага…

Говорят, что ребёнок, которому не суждено выжить, вырасти, не умещается в люльке. Слишком заметной, слишком незащищённой от чужих взглядов, чистой, красивой занималась его жизнь. Так было и с Багой. Общий был любимец, первый среди всех ребят села. И одна ночь решила всё. Поскользнулся, удержаться не смог, да так ударился, что от жизни его остались одни лишь осколки.

После этой страшной ночи Александр видел Багу два раза.

Однажды, уже студентом, он приехал в село и на дороге неожиданно встретился с Багой и его матерью. Не ожидал, конечно, и смертельно не хотел этой встречи, да уже поздно было куда-нибудь сворачивать. «Бага, сынок, это же Александр, не узнаёшь его разве, почему с ним не

поздороваешься!» Бага беззвучно раскрывал рот, изображал на лице улыбку, страшную своим уродством. С открытым немым ртом он напоминал умирающую от жажды птицу, глаза его заволакивала непроницаемая чёрная боль – лишала их разумного света. На изуродованном черепе – редкие пепельно-седые волосы.

Когда он второй раз встретился с Багой после той страшной ночи, он уже работал. Его прислали по какому-то делу из районного центра – всё тогдашнее руководство села, куда входил и Инал, гурьбой следовало за ним. Багу он увидел на улице; Бага стоял среди забавляющихся им ребятишек, словно обугленное дерево, – и всё раскрывал свои немые уста, будто умирающая от жажды птица. В руках у детворы были полевые цветы, некоторые, поменьше, прискакали сюда верхом на прутьях, а Бага держал пучок травы – не знал, что с ним делать. Увидев, что подходят взрослые, ребятишки закричали, затолкались и, огибая Багу, ринулись на своих «скакунах» прочь – скрылись из виду. Бага тоже двинулся было за ними, но те моментально исчезли, и он остановился, не зная, в какой стороне искать своих недавних друзей. Сельское начальство во главе с Александром молча прошло мимо, словно и не заметили они больного. Чуть позже Александр не выдержал, оглянулся: Бага, будто обугленное дерево, всё так и стоял, неподвижно смотрел в никуда.

Хотя – что ж… Александру тогда было не до жалости, не до страха. Впереди, казалось, ждут большие дела, обещают, зовут, манят…

– Только что!.. Только что прошли! – запыхавшись, выпалил Иуа – примчался откуда-то.

– Что с тобой? Кто прошёл?

– Медведь... гонится за косулей. Там на снегу их следы. Близко, – может, и догонит...

– Охотники, видно, и здесь побывали. Вчера говорили, кто-то стрелял в косулю, наверное, ранил. Косолапый почуял раненую – вот и решил полакомиться, – сказал Инал, думая о чём-то своём, и встал.

Александр тоже поднялся – машинально. – Пора двигаться.

Пот высох, но Александр чувствовал, что вставать ему было тяжело. Чего уж обманывать себя – не надо было идти. Да и не возвращаться же с полдороги! Он наполовину застегнул молнию на куртке и взял ружьё. И опять посмотрел на село внизу: от высоты дух захватывало. Правду говоря, здесь не так уж было высоко, но он долгое время не поднимался в горы. Виден был знакомый солнечный склон на нём, словно нарисованные ребёнком, мелкие низкорослые фруктовые деревья. Из каменной трубы дома, приютившегося возле этого склона, ещё вьётся дымок. Но, видимо, недолго уже осталось... скоро, скоро уже наверху, на зелёном холме, на старом сельском кладбище упокоится она, даст отдых натруженным рукам, уставшим, опустившимся от тяжёлого горя плечам... мать Баги. Пока ещё открывает каждое утро двери своего дома, каждое утро даёт жизнь огню в очаге. Но уйдёт она – и тогда исчезнет дымок, живой сладкий дымок над крышей, словно зарыли его вместе с нею в землю. Если на кладбище в

розовой ограде оставляют место для будущих могил, очаги не умирают, остаются жить. Но когда не будет больше свежих могил, когда иссякнет род, засыхает последняя ветвь, очаги умирают тоже, истлевают, как кости в земле.

Инал поднял голову, взгляд обратил в сторону заснеженных холодных далёких вершин, – лишь редкие тучи проползали сейчас там, волокли за собой свои серые тени…

– Молю тебя, повелитель гор! – начал Инал громким шёпотом. Необычно задушевным, искренним показался Александру его голос – дрожал от волнения. – Помоги нам, мы сегодня в твоих владениях! Благослови нас... – Перед далёкими, могучими, заваленными снегом, уходящими к небу вершинами Инал казался тоненькой жалкой тростинкой. У Александра душа замирала от одного вида этих гор. Иуа стоял в стороне, смотрел себе под ноги, на снег, и улыбался.

Снова тронулись в путь – подъём здесь был некрутой. Иуа опять пропустил Александра вперёд. Но теперь уже не напирал на него сзади, не наступал на пятки – шёл медленнее, внимательно смотрел по сторонам, искал следы на снегу. Вскоре вошли в каштановый лес. На нетронутом снегу под деревьями ни следа человека – лишь мелкие зверьки да птицы оставили отметины. Идти теперь стало труднее, навалило здесь по колено, а под свежим мягким слоем оказался старый слежавшийся, обледенелый снег, и, попадая на него, нога скользила. Голостволые каштаны беспорядочно, будто армия, сложившая своё знамя, то вставали сплошной густой стеной, то сбегали вниз и пропадали в глубине ущелий, то взлетали на склоны; иногда перерезали дорогу, иногда выстраивались шпалерами, а то кольцом окружали путников.

Было очень тихо. И хотя идти стало труднее, снег как бы отдавал душе человека часть своей белизны и нетронутости. Спокойствие входило в душу, Александр почувствовал себя лучше, и то, что давило на него, мешало ему там, внизу, в городе, внизу и осталось. Ему хотелось бы видеть дорогу далеко вперёд, чтобы знать, что она такой и будет – спокойной и светлой, но голые стволы каштанов вставали перед глазами, закрывая даль.

Инал шёл впереди, без особого усилия разрывая мягкий свежий снег.

– Сколько древесины, сколько материала пропадает! – сказал он, обернувшись вдруг, и в его голосе зазвенело что-то, будто лопнула какая-то струна, а на лице разгладились морщины. – Лежало бы у меня под домом десяток таких стволов, и никто бы об этом не знал, не ведал.– Инал показал на один из каштанов, посветлее, значит, помоложе других: – Какое добро пропадает, какое добро! – в глазах его особенный блеск появился, зрачки посверкивали, как стекло на изломе.

– К чему они тебе, Инал, у тебя есть дом – полная чаша... всё крепко-накрепко, навек построено.

– В доме лишнего добра не бывает.

– Ну да, только бы лежало в укромном местечке, а там пусть – хоть сгниёт! – съязвил Иуа.

– Всё, что я ни скажу, в штыки принимает... но поверь мне, это пока, по молодости это. Когда-нибудь дойдёт – твоё всё это, для тебя копилось! И сам для своего сына будешь искать, собирать, прятать, словно драгоценности, всяческое добро ценить будешь... и каштановые стволы – тоже, – сказал Инал беззлобно.

Подъём пока был не крутой, шли они легко. Воздух звонкий, с морозцем, хорошо, свободно дышалось здесь.

– Лучшее время для охоты! – сказал Инал с видимым удовольствием. – Устрой облаву с собаками – и коси их, как траву... кабанов. В этом году каштанов уродилась много, кабаны жирок нагуляли.

Александр помнил, что за охотник был Инал. Тот, кто хоть раз видел его во время охоты, уже не мог забыть. Все звериные тропы он знал как свои пять пальцев, знал, когда нужно обойти зверя, а когда можно идти прямо. Шевельнётся где-нибудь что-то живое – и всё: от меткой пули Инала уже не спастись. Никто никогда не слышал даже, не то что своими глазами увидел, чтобы пуля, посланная Иналом, соврала, не дошла до цели. На охоте он особенным, другим делался; одно удовольствие было ходить с ним…

– А помнишь, какой кабан наткнулся на пулю Большого! – снова обернулся Инал. – Такого, говорят, потом здесь и не встречал никто, старые охотники подтвердили. Помнишь, сколько народу палило тогда в него – ни один не мог свалить с ног. Вот уж действительно кого только лес не вскормит... чудовище настоящее было!

– Удача нужна на охоте, удача. Знаешь, как говорится: «Пусть твой конь будет быстроногим, а мой – счастливым», – возразил Александр с досадой. Одно лишь упоминание о Большом сразу выбило его из равновесия, обретённого здесь, на нетронутой снежной целине, на пути в горы. Однако не позволил себе открыто выказать неприязнь к Большому – давно уже привык скрывать то, что было на душе.

В том году необычно много навалило снегу, в горах – выше пояса. Кабаны спустились вниз, ближе к селу. И однажды все оставшиеся после войны мужчины, каждый, кто мог держать в руках ружьё, – все вышли на охоту, на облаву. И Большой оказался в тот день в селе. Он был тогда работник районного масштаба, отвечал во время войны за несколько сел, но привязался почему-то именно к этому, часто приезжал сюда, оставался неделями. В то время его слово было здесь законом. Из района больше сюда никто и не приезжал, видно, ему одному предоставили право распоряжаться здесь, положились на него. Когда Сухум бомбили немецкие самолёты, он перевёз сюда своих родителей и сестру, поселились у его дальних родственников – зажиточный был дом. Сестра намного младше его была, школу ещё не кончила. (Село это расположилось далеко в ущелье, жили здесь лучше, чем в других сёлах: леса довольно, пастбища были хорошие, скотоводством занимались, разводили пчёл...) Когда Большой изъявил желание пойти вместе со всеми на кабанов, конечно, снарядили и его.

Мужчин на селе оставалось мало, так что взяли и старшеклассников, тех, кто знал толк в охоте. Не обошли и Александра – он хорошо умел стрелять.

Началась облава.

Стрелки стояли в снежных траншеях по грудь, ждали. Большой оказался по соседству с Александром. Наконец невдалеке послышался треск выстрелов. Александр глянул на Большого – тот вдруг побледнел... прямо перед ними среди каштанов мелькнул огромный секач. Ощетинившись, голову держа как-то набок, видно изготовившись для удара, показывая огромные клыки, кабан шёл прямо на Большого. В него попали уже, видно: морда была окровавлена. Александр сразу понял, что животное разъярено: боль, страх, злоба, желание выжить, пробиться, вспороть брюхо тому, кто окажется на пути, – всё тут было. Большой со страху забыл, что у него в руках ружьё. Александр быстро прицелился и спустил курок: кабан замертво повалился на снег. И тут же, придя наконец в себя после пережитого страха, Большой тоже вскинул ружьё – выстрелил не целясь.

Сбежался народ, все стали поздравлять Большого с тем, что бог охоты смилостивился над ним – принёс такую удачу. Он не возражал. Но самое удивительное, что и Александр, рассказывая всем, как всё получилось, утверждал, будто собственными глазами видел: меткий выстрел Большого наповал уложил разъярённого великана. Большой тоже с увлечением принялся объяснять, как он сумел повалить секача. С одного выстрела!

Пока Александр учился в школе, ему нередко приходилось встречаться с Большим, – тот регулярно бывал в селе и с явным удовольствием беседовал с парнем. «Когда опять пойдём на охоту?» – спрашивал, будто и в самом деле это он убил кабана (хотя чего не бывает, может, он и вправду поверил, убедил себя, что всё так и было, как он говорит?).

«Вот из кого человек выйдет, – говорил Большой об Александре – на людях, – сообразительный, живой, смекалистый! Старших уважает, порядок чтит... Послушен – не то что многие нынешние, дерзкие, несносные. Такие нам нужны». Сельчане, слышавшие эти разговоры, удивлённо поглядывали на Александра, изучающе: надо же, парень вроде как парень, ничего особенного, но, видно, что-то есть, раз начальство разглядело. Большой ведь зря не скажет.

Вспомнив всё это, Александр поёжился.

...Инал, оборачиваясь время от времени – как там Александр, – по-прежнему шёл впереди. Иуа совсем что-то неслышно было, притих, видно, оглядывал, насколько можно было, снег среди деревьев по сторонам тропы, следы высматривал. Александр не истекал потом, как на первом подъёме, но всё же очень уже устал.

Каштаны постепенно стали редеть и наконец исчезли, уступив место букам. Буковые деревья были выше и стройнее каштанов. Стволы их тянулись гигантскими стрелами, и за ними устремлялся к небу человеческий взгляд.

Через некоторое время лес отступил, и путники оказались на небольшой полянке.

Инал остановился.

– Отсюда начинаются горные травы, – объяснил он Александру. –Когда поднимаешься в горы, ты здесь первый, ни люди, ни стада – никто ещё не проходил... Рано утром выйдешь из села и к восходу придёшь сюда. А скотина, когда попробует эту траву, сама рвётся в горы, её уже не нужно гнать. Сразу вспоминает альпийские луга.

Иуа отошёл немного в сторону, разглядывая следы на снегу: вдруг обернулся.

– Медведь! – крикнул он радостно. – Его следы, того самого медведя! А следов косули не видно, наверняка спаслась.

– Разве медведи ещё не залегли? – спросил Александр.

– Должны бы уже, да ведь в лесу чего не бывает. И шатуны встречаются.

Двинулись дальше.

Подъём сделался круче, и снега здесь намело больше. С каждым порывом ветра сверху, с ветвей срывались сосульки доставалось и путникам. Александр машинально поднимал голову, но видел целый рой сосулек – невозможно было понять, которое дерево уронило очередную.

– Скоро доберёмся до Большой лужайки, там передохнём и подзакусим, – сказал Инал, желая подбодрить его.

Александру всё тяжелее становилось идти по глубокому снегу. Инал видел это и старался растоптать снег поглубже, но Александр слишком грузен был – ноги его вязли до колен. В таком глубоком снегу трудно было нащупать, угадать тропу, но Иналу пока удавалось находить её.

Угрюмые буки обступали сплошной стеной; иногда они дружно сбегали в глубокие гулкие ущелья, а то вдруг взбирались на крутые склоны, и видно было лишь на несколько шагав вперёд.

Александра опять стала одолевать тревога; он боялся слишком устать, а для непривычного, к горам человека, у которого все мышцы так болят, что невозможно до них дотронуться, спускаться бывает тяжелее, чем подниматься. Желая отогнать тревогу, он начал вспоминать – хотя именно от воспоминаний он и пытался убежать в горы, но теперь воспоминания казались ему меньшим злом. Ему долго не удавалось отвлечься, тревога мучила его, как мучает ночью бессонница. Но потом ему удалось наконец представить несколько кадров, несколько картинок из прошлого, из раннего своего детства. Сперва он перестарался – и лента пошла разматываться так быстро, что мелькали лишь какие-то неясные очертания. Но он сделал над собой ещё одно усилие, придержал, взнуздал воображение, и картины давних лет поползли перед его глазами, задерживаясь и обрастая подробностями…

Когда кончилась война, они ещё учились в школе. Большой уже реже показывался в селе, а потом и вовсе исчез: по слухам, новую важную должность получил. Родителей он забрал в город, но сестру свою Наалу оставил здесь до окончания школы.

Их класс был самый лучший, самый заметный: самая красивая девушка в школе – Наала... Самый красивый парень, общий любимец, по которому

вздыхали все без исключения девчонки, лучший спортсмен, лучший танцор... лучший товарищ – Бага... И лучшие ученики школы, отличники учёбы были тут. Сам же он ничем не выделялся – так, ничем не примечательный середнячок был.

И вот настал день – последний день в школе. Сдали все экзамены.

Они спускаются всем классом по склону широкого холма, где стояла их школа. И помнит он: странное ими тогда всеми владело чувство – щемило душу, сковывало, печалило даже. Бага старался развеселить всех и себя, шутил, дурачился, забегал вперёд и пританцовывал, смешно становясь на цыпочки. Но не было душевного равновесия – ни в ком, скорее, чувство потери подступало. Свобода, отпущенная, дарованная детством, годы учебы в школе откатывались куда-то, исчезали, становились памятью... и только сейчас они поняли, что всё это было временное: прошла целая пора жизни, а новая не наступила ещё, и все чувствовали себя неуверенно, будущее тревожило. В этом безбрежном мире для них были открыты все пути – открыты и в то же время закрыты: школа – это было вроде езды по одноколейке, маршрут один и тот же, теперь же каждый должен был сам нащупать, найти свой путь и добиться чего-то в жизни.

Сами они не могли бы толком объяснить своё состояние, не решались даже признаться друг другу, рассказать о своей тревоге – но все вдруг захотели отложить момент расставания, никому не хотелось оставаться одному.

Но расставание уже, как чёрная кошка, перебежало, перерезало им дорогу.

Когда Бага понял, что зря он старается – не удаётся ему развеселить ребят, как раньше, он тоже приуныл. Замолчал, смотрел куда-то вдаль, на горы, на зажатые во впадинах и складках хребтов ледники. Скоро он должен был отправиться туда, к пастухам, там ждала его мать. (Бага не помнил отца, тот рано умер, вырастила его мать. Всем была для него, любила его и за себя, и за умершего мужа... И Бага любил её – они не могли прожить друг без друга даже неделю. Но мать Баги болела бронхиальной астмой, и, чтобы летняя сырость не задушила её, она каждое лето должна была подниматься в горы. Но там она начинала скучать по сыну, теперь уже не сырость, а тоска душила...)

– Придумал! – закричал вдруг Бага, и лицо его осветила радость. Он остановился, все смотрели на него. – Это просто здорово будет! Мне-то всё равно надо подняться, ну, а если все мы пойдём... в горы. На одну недельку – всем классом! Там с матерью и мой дядя – он без всякого посредника с горами разговаривать может, с потоками... Всё нам покажет, расскажет, ашвырша сделает нам, ахамси1… А куда нам торопиться, лето только начинается, времени впереди достаточно. Вся жизнь впереди! Кто знает, когда мы ещё соберёмся в следующий раз вот так, все вместе, а тут – каждый надолго запомнит!

---

[1] Ахамси (абх.) – блюдо из овечьего молока.

Ребята переглядывались, не зная, как отнестись к словам Баги. Заманчиво, конечно...

– Я не только ради себя предлагаю, – настойчиво продолжал Бага, – ради всех нас, ради нашей дружбы, и потому ещё, что расстаемся... Кстати, наш лучший друг тоже там, отправился туда укреплять здоровье. Бедняга – исхудал даже, устал от забот и волнений – разве легко с нами было? А тут – представляете: всем классом явились навестить его... и где – под облаками! Может, хоть под конец поколеблется, откажется, бедный, от самого ветхого своего убеждения? (Лучший друг был одним из учителей. С первых же дней каникул он отправлялся обычно куда-нибудь отдыхать («похудел, надо набраться сил, поправиться»). Никогда не случалось такого, чтоб он пропустил, скажем, урок или опоздал («за это мне государство денежки платит»), однако и главной его заботой было ухаживать за собой, лелеять, холить, жалеть себя; особенное внимание он уделял питанию. Осенью он готовил довольно много вина и за год потихоньку-понемножку сам выпивал его, один; много он себе не позволял («лишнее вино обнажает пороки, а если его употреблять с толком, в меру, – то обновляет кровь»). Но самое удивительное в нём для ребят было твёрдое убеждение – он не скрывал его никогда, – что без дела, без прямой личной выгоды, а просто из дружбы, скажем, или по доброте – никто никогда и шагу не сделает. Чтобы кто-то отправился в горы не лечиться, не отъедаться, не отдыхать, а просто полюбоваться их красотой – такого он и представить не мог.

(Человек этот преподавал в школе литературу.)

– Давайте пойдём! – сказала Наала.

– Пойдём! – откликнулось ещё несколько голосов. Тут же всё и решили.

Бага радовался больше всех – и потому, что придумал он всё так удачно, и оттого, что Наала согласилась, даже первая... (В школе все ребята давно уже примирились с тем, что Наала явно предпочитала им Багу.)

Из тех, что дали в тот день согласие отправиться в горы, пришли семеро.

Шесть человек остались дома – всякие поводы нашли, отговорки.

Из девочек решилась идти одна только Наала – как потом выяснилось, обманула родственников, у которых жила, сказала, будто хочет съездить домой, к своим.

...День выдался пасмурный, но очень душный. Хотя ребята всю свою жизнь прожили, можно сказать, у подножья гор, никто из них, кроме Баги и Инала, не знал дорогу туда. Александр тоже не поднимался в горы, но облазил в своё время ближние лесистые ущелья, каждой осенью отправлялся собирать каштаны, заполнял просторный чердак в доме своего дяди.

Впереди пошёл Бага. Груз поделили поровну, лишь Александру, как самому слабому из всех, не дали ничего нести, а поручили заботиться о Наале, помогать, если понадобится.

Как было душно тогда! Все обливались потом. Александру запомнилось почему-то больше всего, как они ползли, словно муравьи, в самый полдень, в самую духоту по крутому, напоминавшему гигантский каменный водопад склону. Он злился на себя – ведь мог же отказаться, пока не поздно было, но

и на это духу не хватило. Сидел бы сейчас дома, не карабкался по этим дурацким скалам. Посмотришь на них – душа замирает... Чего он здесь не видел? Баге нужно было идти – ну и пошёл бы сам... один.

– Видишь, до чего дорога лёгкая... вот и жизнь вроде этого нас ожидает, – не сдержавшись, выпалил он вдруг со злостью прямо в лицо Наале.

Наала с удивлением смотрела на него измученными красивыми глазами. Вид у неё теперь был далеко не такой самоуверенный, как обычно, – казалась не умеющим плавать человеком, которого течение отнесло неожиданно в глубь заводи. Ей даже и не снилось, наверное, что существуют такие дороги, если это можно было назвать дорогой.

В начале пути она была весела, громко и звонко смеялась, шутила с ребятами. Но чем дальше они карабкались вверх, чем больше уставали – тем реже слышался её смех. И наконец она совсем притихла.

– Вот так и поступает жизнь с человеком, доконает его, измучит и выбросит, как заезженную клячу... – добавил он, желая напугать и унизить её. – А бывает и хуже...

– Видимо, всё же не совсем так, – сказала она, пытаясь улыбнуться ему, – зачем ты так говоришь, как будто какой-нибудь старый, разочаровавшийся уже во всём человек!

– Ещё хуже, да, да, хуже!

Словно почувствовав неладное, Бага остановился и подождал их. И сразу ей легче сделалось, словно руку ей, утопающей, протянули, из глаз исчез страх.

– Ну что, выдохлась? – спросил Бага.

– Не-ет!.. – протянула она и засмеялась устало, но ласковее обычного.

– Дорога в горы только вначале такая трудная, а потом, когда она испытает тебя, признает за своего – прямо на руках понесёт, – легко, словно гулял с ней где-нибудь возле реки в родном их селе, – улыбаясь ей, говорил Бага. – А ты знаешь, что это такое Ашхацамва, Дорога в горы?

Он говорил с ней, а Александра и не замечал даже, словно его не было рядом. По крайней мере, самому Александру так казалось.

– Ашхацамва? Вот эта дорога в горы, по которой сейчас поднимаемся?

– Ну что ты! Когда стемнеет, я покажу тебе её. Конечно, если небо будет чистое. Вымощена звёздами и тянется от моря прямо к горам.

Наала засмеялась. В глазах её снова появились весёлые искорки.

– Ты же слышала, что есть Овечья Тропа?1

– Ну и что?

– Так вот – настоящее её название Ашхацамва, Дорога в горы.

– На самом деле?

– Ей-Богу!

Бага помолчал немного, вспоминая, потом продолжал с той же лёгкой улыбкой:

---

[1] Млечный Путь.

– Когда меня в первый раз пообещали взять в горы и показать на небе Ашхацамва, я ночью долго не мог заснуть, потрясённый таким открытием. Дорога из звёзд, представляешь! А когда заснул наконец мне приснилось: будто я взобрался на небо и ступаю по звёздам, горы далеко-далеко, но вершины у них светлые и зовут, ожидают меня. И хотя очень высоко я поднялся во сне, страха никакого не испытывал. Даже смеялся, помню, когда подумал про Александра. У него же голова часто кружится, был бы он сейчас со мной, что бы я с ним стал делать на звёздной дороге... Однажды ещё малышами мы забрались с ним вместе в чужой сад, хотели нарвать яблок. Залезли на яблоню и вдруг видим – хозяин идёт, да прямо к нам. Мы притаились в ветвях, хозяин не заметил нас и уже было прошёл мимо, а тут у Александра голова закружилась, то ли от страха, то ли просто так, он и бух с дерева – прямо хозяину в ноги. Поймали нас, как говорится, с поличным!

Наала засмеялась весело и свободно.

– Я думаю, Ашхацамва провёл какой-нибудь герой, вроде тебя... – съязвил Александр. – Вознёсся он на небо по щучьему велению и пошёл себе пританцовывать на носочках, а по его следам звёздочки зажигаются, чтобы посветить ему, ну, чтоб он не спотыкался. Так он и добрался до гор... – тут Александр сам почувствовал, что не смешно получается, и замолчал.

– А почему бы ему и не добраться? Думаешь, это так уж далеко? Всего-то три дня и три ночи – вот и вся дорога в горы.

Александр злился, но Бага не обратил на это внимания, видимо, думал, что просто устал парень, оттого и не в себе.

Позже Бага ещё два раза останавливался, поджидал их. Наала уже очень утомилась, и они отставали от группы.

– Скоро доберёмся до лужайки, – сказал Бага напоследок, – ну просто райское место... а какой там родник! Только смотрите, пить можно лишь маленькими глотками, пока не привыкните, не то горло сведёт, вода там ледяная... Я, наверное, больше не буду останавливаться, пойду прямо к лужайке: пока вы доберётесь, я всё там приготовлю и сегодня дальше уже не пойдём. А завтра полегче, повеселее будет. Я Инала за себя оставляю, он всех вас не спеша поведёт, дорогу хорошо знает.

Александру показалось, будто на этот раз Наала как-то странно, очень долго смотрела вслед Баге... будто провожала его в дальний путь и наглядеться не могла.

– Дурная голова ногам покоя не даёт! – сказал он.

– Когда на экскурсию ездили, ни один и не подумал бы так сказать... – обронила она, и непонятно было, отвечает ли она Александру или делится с ним мыслью, жалеет о чём-то...

– Экскурсия – дело другое. Это тебе не горы. Действительно, когда они ездили на экскурсию, или просто всем классом ходили на луг поразвлечься, или шли из школы домой, ребята вечно оспаривали место рядом с Наалой. Хорошая шутка, интересный рассказ, красивый цветок – всё предназначалось, всё посвящалось ей, ей одной. Однако теперь всех утомила эта духота, крутой подъём, груз за спиной – на шутки, на внимание к

девушке сил уже не оставалось. Один лишь Бага если даже и устал, то не подавал виду: усталость не угнетала его, не сделала безразличным ко всему, – наоборот, он каждого старался подбодрить, развеселить, если можно, всё подмечал, помогал всем по очереди. У него просто не оставалось времени, чтобы постоянно быть рядом с Наалой, сегодня и все остальные нуждались в его поддержке – и он великодушно, по-братски делил своё время между всеми, каждому уделял внимание.

Вот – Инал, тот, видно, совсем не устал, рождён был для гор, но он, как и Александр, к серой массе середняков относился, почему-то в его слове, в его поддержке никто не нуждался – не ждали от него, как от Баги, так Александр и запомнил. Не видно и не слышно было Инала.

Александр пытался разобраться в себе: почему его злость одолевает, на всех злился, и особенно на Багу. Ведь ребята, шедшие впереди, хорошо, благожелательно к нему относились. Может, это оттого, что без груза он поднимается – времени и сил у него хватает злиться? Нет, это не объяснение. Может быть, оттого, что Наала идёт рядом? Его ведь приставили к ней, как, скажем, какую-нибудь её подругу... унизили этим. Или оттого он раздражён, что, пока учился в школе, представлял своё будущее счастливым, достигал в мечтах многого, высокого взлёта? А теперь, когда пришла пора осуществлять, добиваться, он понял – вдруг, что всё это бредни были? И полуобещания Большого, что выйдет он в люди тоже? Кто кого обманывал? Он – себя? Или – его?..

Отец Александра погиб на второй год войны, погиб на фронте. Молодая мать через два года выскочила замуж, родила ребенка, потом ещё – не до старшего ей было.

Александру пришлось жить у дяди, старшего брата отца. Хоть и считали за ним, сколько он кусков проглотил за день, всё же сделал дядя своё, дал ему окончить школу, и школа сделала своё – десять лет продержала в своих стенах, научила кое-чему. А вот теперь он сам должен был стараться, доказывать, биться – если хотел достичь чего-то стоящего... того, о чём мечтал школьником.

К середине дня они уже поднялись довольно высоко и вошли в туман – он волнами наползал на буковый лес. Духота перестала мучить их, но все уже до того устали, что не почувствовали облегчения.

Наала пошатывалась на ходу, ступала нетвёрдо. Однако пока они не поднялись к месту ночлега, надо было идти – хоть из последних сил. Горы – это горы, погода тут изменчивая, нельзя рисковать, нельзя допустить, чтобы ненастье застало группу под открытым небом, всякое может случиться. Поэтому не останавливались и не отдыхали.

Александр злился и на Наалу тоже. Разве её это дело – подниматься в горы... Какой чёрт понёс её, девчонку, знавшую всю жизнь лишь нежную траву долины да асфальт городских улиц, на эти каменистые кручи! Что о ней в селе скажут после этого... что её брат скажет? Так легкомысленно поступить!

И вот – тогда вдруг (а может, и не вдруг, может, давно уже носил это в себе неосознанно) подумал Александр о том, что она не сможет остаться в селе. Другое дело – пока училась она в школе, пока здешние родственники из уважения к Большому буквально носили её на руках... А теперь – если даже сама очень захочет остаться – просто не сможет, нет в ней такого упорства, и зачем ей это... родители её живут в городе на берегу моря, брат знаменит на весь район... на что ей жизнь о глуши, к чему ежедневно гнуть спину?

Он словно бы впервые увидел её... новыми глазами посмотрел – и то, что увидел он, вполне отвечало недавним его мыслям. Или очень ему хотелось увидеть это или действительно так и было: лицо её выражало отчаяние... Может быть, она думала сейчас о том же, что и он.

Да, как говорится: «Чтоб ты жил и здравствовал, пока я, подпрыгнув, не достану звезду и не сделаю из неё рукоять ножа!» Но если звезда сама упала перед тобой – ты волен распорядиться ею так, как тебе угодно: захочешь – сделаешь из неё рукоять ножа, не захочешь – не сделаешь...

Туман становился всё плотнее, они уже не видели за несколько шагов, не видели идущего впереди. Впрочем, дорога здесь тянулась по каменному жёлобу, можно было не опасаться, что потеряешь её, потому ребята просто изредка перекликались, но не поджидали друг друга. А туман всё сгущался, и вскоре, кроме буковых стволов, едва вырисовывавшихся по сторонам, ничего не стало видно.

– Кровавые следы! – Иуа, рванувшись в сторону, по пояс провалился в снег – в овражек попал.

– Дальше не ходи, в пропасть сорвёшься! Ты слышишь, что я говорю! – закричал Инал.

Все остановились.

Иуа словно не слышал отца, ловко выбрался из овражка и дошёл до самого края пропасти.

Инал и Александр тоже увидели: снег там был разворочен, измят, чьи-то следы тянулись по самому краю обрыва и исчезали в лесу.

Иуа ещё некоторое время оглядывал окровавленное место, потом обошёл овражек и вернулся на тропу.

– Шерсть, окровавленные пучки шерсти... Видимо, здесь он её нагнал... – бормотал он, словно разговаривая сам с собой.

– Как же это медведь, такое ленивое существо, и догнал косулю, удивительно! Ведь косуля разве только не летает, – сказал Александр.

Инал двинулся уже было вперёд, но обернулся:

– Ты когда-нибудь видел медведя вблизи?

– Разве только в зоопарке, в клетке.

– В том-то и дело. Это он лишь кажется ленивым да сонным, но когда нужно, он тоже разве что не летает.

Вскоре буковый лес опять расступился, они оказались на поляне, намного большей, чем первая. Здесь и решили устроить привал. Инал развязал свой рюкзак, вынул белоснежное полотенце, развернул на снегу; появились

пироги с сыром, большие куски варёного мяса, медовые галушки, аджика. В свежем морозном воздухе разнеслись восхитительные запахи. У Александра даже на душе легче сделалось – до того хорошо и красиво всё было: и само место, и люди приятные, и еда... Наконец Инал достал пластмассовую баклажку с водкой.

– Когда поднимаешься со стадом, – говорил Инал, – приходишь в эти места – и за ночь вкус молока меняется, мацони заквашивается так круто, едва можно ложкой разрезать, у сыра аромат и вкус особенные появляются! Какой щедростью наделяет природу Всевышний, если расположен к ней... Горы – Богом любимый край, да смилостивится он над нами!..

«Хоть бы достать поскорее детский велосипед! – опять мысли увели Александра далеко отсюда. Съев несколько кусков, он почувствовал, что еда не идёт больше в горло. – У мальчика была бы наконец хоть одна настоящая игрушка. Сколько вещей, нужных и ненужных, сколько лишней мебели загромождает квартиру, а вот игрушек у мальчика почему-то нет. Всё время что-то более важное покупаем: вещи, вещи, вещи... Разве только этот уродина – самолётик... Когда в доме становится известно, что пожалует Большой, они дают мальчику самолётик. Как же – ребёнок больше всего любит именно его подарок, не расстаётся с ним! Ну ладно, другие, как бы там они себя ни вели – это их дело, но почему же его родители, старые отец и мать Большого, заискивают перед своим же сыном!..» Этого Александр не мог понять. Что этот Большой – загипнотизировал он их всех, что ли?

Когда, передохну немного, они опять поднялись, чтобы идти дальше, Александр чуть не вскрикнул от боли – заломило в пояснице. И не одна только поясница, всё его тело болело и ныло. Снег теперь доходил чуть не до пояса. И хотя он шёл по следам Инала, примерно через полчаса остановился, не в силах двигаться дальше. Тогда Иуа молча прошёл вперёд. Теперь они прокладывали тропу вдвоём с отцом – Александр снова кое-как поплёлся вперёд.

– Далеко ещё там? – потеряв наконец терпение, спросил он Инала. – Снег глубокий, я не узнаю этих мест, понятия не имею, где мы, куда идём.

– Скоро будем там, откуда срываются кони, и останется час ходьбы, не больше.

– А что, действительно кони срывались, почему так назвали? – спросил Иуа.

– Конечно, зря не стали бы называть, – ответил Инал, – для коней это место очень опасное: и круто, и камни там крошатся в мелкие куски, лошадь не может ногу крепко поставить, потому и трудно им удержаться, особенно навьюченным. Но люди это место легко проходят. Вот дальше тропа по гребню пойдёт – там потруднее. Нам во что бы то ни стало дотемна надо это место миновать – тогда, можно считать, благополучно добрались мы.

«Господи, неужели ещё столько идти? Дотемна?!» – ужаснулся Александр. Напрасно он засунул куда-то далеко свои наручные часы... думал, чтобы не разбились, если упадут. Разбились бы – и чёрт с ними... Очень хо-

телось ему сейчас посмотреть, далеко ли до вечера, но он просто физически не в состоянии был искать их, сил на это не было. А может, и лучше даже, что не следит он за временем – двигается по течению, машинально следует за другими протоптанной для него тропою?

– А ты когда-нибудь видел, что там сорвалась лошадь? – через некоторое время снова спросил Иуа.

– Не однажды... Но был случай – навсегда запал в память, не могу забыть. Как-то меня назначили заведовать фермой, – то и дело оборачиваясь, начал рассказывать Инал, и Александр заметил: глаза у него опять заблестели, как стекло на изломе. – В начале лета погнали мы скот в горы. Один наш односельчанин (не называю его) послал с нами сына, мальчишку ещё, со скаковой лошадью. Мальчик должен был подняться с нами на альпийские луга и, оставив свою красавицу пастись вместе с нашими клячами, собирался спуститься обратно. Я помню, отец и сын только и жили этой лошадью – и купали её каждый день, и кормили отборным зерном, всю зиму держали под навесом, пол дощатый настлали. Случалось, хозяин этой лошади, заботясь о ней, даже опаздывал на работу. А мальчик все каникулы только ею и занимался. Все дети в поле помогают, а он с конём своим возится. До фермы я бригадиром работал, и не раз из-за этого стычки у меня бывали с хозяином лошади. Не скрою, зол я был на него. Одним словом, надел этот мальчик узду на свою лошадь и, не садясь на неё, просто пошёл с нами, а её за собой вёл. Да будь она добычей волков, не налюбоваться было на неё, что за красавица! Как она гордо, высоко держала свою голову с умными большими глазами, до чего же красиво изгибала шею. Казалось, стоит лишь шепнуть ей «чоу», и она взлетит...

Шёл этот мальчик за нами со своей красавицей, гордый за себя и за свою лошадь, говорил с нами как равный с равными. Да, чуть не забыл, это тоже помянуть надо... как-то в самую страдную пору после целого дня скачки – то к одному полю, то к другому – пала моя кляча, прямо подо мной и растянулась... Вот тогда я и попросил у него, у хозяина то есть, эту лошадь, – попросил одолжить мне её, пока не кончится страда, ну на недельку примерно. Ты веришь – не то что одолжить, он оскорбился даже! Как сейчас помню, стоит он подпоясанный своим дурацким ремнём с украшениями, без кинжала, в сером коротком архалуке – на скачки собрался – и, с ненавистью глядя мне в лицо, выпаливает: «У меня не такая лошадь, чтоб я тебе её одолжил!» При всём честном народе! «Хорошо, – подумал я, – будет случай, я тебе попомню эти слова!» С тем я и ушёл, молча проглотил оскорбление.

Одним словом, идёт этот мальчик следом за нашими нагруженными измученными клячами со своей красавицей, идёт и горя не знает. Да и правда, кто бы решился навьючить такую лошадь: седло да лёгкий как пушок мальчик-наездник – всего-то и носила за свою жизнь. И вот подошли мы к проклятому этому месту, где лошади срываются, и одна из наших кляч так с поклажей и села. Ей ещё повезло, потому что села она не доходя до опасного места, иначе бы слетела в пропасть – а там и костей не соберёшь. Сняли мы с неё всю поклажу. Посмотрел я и вижу, стоит этот мальчик, не выпуская уз-

дечки из рук, в стороне – и преспокойно так поглядывает на нас на всех. А красавица его, да станет она добычей волков, согнула свою красивую шею, осторожно сорвала с ацарпына широкую белоснежную шапку-цветок и жуёт, раздувая широкие ноздри.

«А ну-ка, давай свою лошадь сюда!» – сказал я и вырвал у мальчишки уздечку из рук. Тот, конечно, не ожидал, сперва лишился дара речи, а потом такую истерику закатил – двум пастухам пришлось удерживать его. Я его спрашиваю: как, мол, ведь этот груз надо поднять на пастбище, а он, паршивец, орёт: на себе поднимай, какое моё дело... – Инал обернулся, рассказывая, – лицо его выражало возмущение. – Одним словом, навьючил я эту красавицу, но груз-то какой! Котлы для мамалыги, котлы для молока, мешки с мукой, даже несколько матрацев, понимаешь, матрацы... Сам посуди, что за пастухов мне дали... Кто же в горы матрацы таскает!

Почувствовала красавица тяжесть этой поклажи, заволновалась, забеспокоилась, но особенного ничего не выкинула.

«Похоже, лошадь твоя прямо создана для работы, говорю я этому паршивцу, а он всё бьётся в истерике. Грузили бы на неё побольше – и для дела польза, и тебе было бы чем прикрыть голый свой зад!» Но мальчишка этот вёл себя, прости Господи, словно мир перевернулся.

Словом, взял один из пастухов узду, я прикрикнул на красавицу, – и она пошла, всё так же гордо держа голову на красиво изогнутой шее; только на крутизне, когда подпруги стали врезаться ей в тело, она недоумённо остановилась.

«Хайт, ахахай!» – крикнули мы все разом. Она вздрогнула, оскорбилась, видать – словно огрели её не плетью даже, а дубинкой и рванулась с места. Но когда подпруги ещё больше впились в её холеное тело, когда под ногами у неё пошёл крошиться камень и трудно стало ей удержаться на склоне, – словно ослабла в ней какая-то пружина: она опустила красивую свою шею, присела на задние ноги, выгнула спину и с огромным усилием вскарабкалась до первого надёжного выступа – и там остановилась. Постояла и вдруг странно вздрогнула: видать, представила она, что с ней сделалось, как, испугавшись опасности, забыла она обо всём остальном и обезобразила себя... И тут она с силой рванула узду, вырвала её из рук пастуха и попыталась сбросить груз, которым, видите ли, оскорбили, опозорили её... Надо было бы опять схватить узду и держать, не отпускать, да сам я стоял ниже, а этот новоиспечённый горец, который тащил в горы матрацы, со страху прилип к скале – смотрел с ужасом. Когда не сумела красавица сбросить поклажу, поднялась она на дыбы... Отчаянный стон вырвался из её груди, – и, опрокинувшись, полетела она в пропасть. Что и говорить, скотина была отменная, жалко, конечно, её. Котлы для мамалыги, котлы для молока, мешки с мукой, злосчастные эти матрацы – всё разбитое, помятое, разорванное разлетелось по скалам. Потом всё лето котлов не хватало, за мукой пришлось опять спуститься с гор. А владельцам матрацев пришлось спать как истым горцам – на еловых лапах: не так мягко, как они надеялись, когда пускались в путь.

Инал кончил рассказывать и больше не оборачивался, словно ждал, что вот-вот хлестнёт его кто-нибудь по спине, хлестнёт, словом, как плетью.

Повисло молчание. Только раз Иуа обернулся на ходу к Александру, бросил взгляд и тут же отвернулся.

– А чего ж вы тогда треплетесь столько! Мол – горы это святыня, горы очищают человека, чуть ли не ангелом становится он! Как же вы смогли, как у тебя рука поднялась! – вырвалось наконец у мальчика. Он не повысил голоса, но чувствовалось, что в груди у него бьётся крик.

– Посмотри-ка – во всём хочет обвинить меня одного! – Инал повернулся к Александру, словно прося у него защиты. Но тот промолчал.

– Не я же в конце концов погубил лошадь! – бросил Иуа. – Если бы у мальчика было ружье, пускай бы стрелял в вас!

Инал ответил коротким смешком, не стал вразумлять сына.

Долго шли молча. Было тихо. Лишь звуки их шагов по снегу слышались да тяжёлое сопение уставшего Александра.

Вскоре приблизились к тому самому месту, о котором рассказывал Инал, – именно там погибла скаковая лошадь. Из снега торчали плоские скалы, рядом обрыв и пропасть. Круто сбегала вниз орава стройных белоствольных буков. Карабкаться по этим торчащим из снега скалам пришлось чуть не на четвереньках. Поднявшись наверх, на макушку одной из скал, Александр остановился. Ноги подкашивались от усталости, руки дрожали; он посмотрел вниз, в пропасть, куда срывались лошади, и сердце больно сжалось от страха. Буки частой толпой устремлялись вниз, сливались в сплошную белеющую массу и постепенно погружались в туман, наползавший из ущелья.

Постояли, передохнули немного. Небо закрыли тучи. Налетел холодный ветер, высоко над головой зашумели верхушки буков, со звоном разбиваясь о ветки и стволы, посыпались сосульки. Александр почувствовал, как мокрая от пота рубашка сделалась неприятно холодной. Стали мёрзнуть уши. Он наглухо застегнул куртку, поднял воротник, достал и натянул на руки перчатки. Видно, к вечеру начинало подмораживать. «Почему не отсохли у меня ноги, когда я решился идти сюда!» – обречённо подумал он.

– Иуа, иди становись сзади, – приказал Инал, – теперь самый опасный участок, очень осторожно надо идти – но недолго, скоро выйдем к поля.

Иуа задумчиво смотрел на снег, словно надеялся отыскать ещё какие-нибудь следы. Он нехотя обогнул Александра и стал замыкающим.

– Смотрите в оба, старайтесь не скользить, не спотыкаться! – предупредил Инал и начал подъём.

Действительно неприятное место, на хребет лошади походило: с обеих сторон крутые скаты, по гребню узкая полоса – здесь и надо было пройти. Вровень с собой они видели вершины буков, росших ниже по склону. Сперва Александр осторожно нащупывал твёрдую полосу и крепко ставил на неё ногу. Но вскоре он устал от напряжения и попробовал идти свободнее: получилось. Постепенно он перестал бояться. Огляделся. Почему же он не помнит этого места? Видно, снег всё преобразил. Да и столько времени уже прошло. Они с Наалой тогда долго поднимались по какому-то не очень

крутому склону. Туман уже сгустился, впереди никого не было видно и слышно никого не было. Но тропа, как нить Ариадны, извивалась, уходила вперёд из-под ног и вела, вела их за собой. Оба они тогда были погружены в свою усталость, пот слепил глаза. И вот тут-то он и заметил, что у этой нити Ариадны есть ответвление, и ведёт оно куда-то направо.

Александру сделалось вдруг страшно. Показалось отчего-то, что Инал следит за ним, читает его мысли. Он вздрогнул, вскинул голову. И в этот миг нога его соскользнула – он не удержался, и никто не мог его удержать... сорвался и полетел вниз по скату.

– О-о-ох!..

Это было последнее, что он услышал, – голос Инала. Сколько он несся по крутому снежному скату – он не помнил.

Спасло его чудо – он ударился о ствол бука и застрял в снегу.

Когда очнулся от обморока, увидел вокруг лишь холодный густой туман. Было невыносимо тихо. Тишина эта напугала его больше всего. Он кое-как приподнялся, сел. Собравшись с силами, попытался было встать, но сразу же осел на снег – правая нога онемела, болел бок, ныло правое плечо. Страх овладел им. Превозмогая боль, пересиливая слабость, он поднялся всё же, устоял на ногах, прислонившись к стволу бука. В пояснице что-то хрустнуло, от боли он едва не лишился сознания и, чтоб не упасть, обеими руками ухватился за скользкий обледенелый ствол. Где-то внизу глухо шумел поток. Он бы, видно, так и летел до дна пропасти, до самого потока, но его задержали снеговые оползни, которые забили пространство между двумя буками.

Почему его не зовут, не кричат ему?

Как они смеют! А может, он насмерть разбился! Может, его о дерево ударило и убило... или о скалу... Неужели они пойдут спускаться в обход, спокойно, чтобы не сорваться!

Как они смеют! Почему не кричат! Здесь он, здесь!

Ему плакать хотелось от жалости к себе.

– Эй! Эге-гей! – до чего громко прозвучало. Но отчаянный его призыв бесследно растаял в тумане.

А где же его посох, где ружьё?

Огляделся. Сразу заметил в снегу приклад ружья, а посоха нигде не было видно.

Если ему самому придётся выбираться отсюда, карабкаться вверх, то без посоха и шагу не сделает.

Но разве он сможет идти сам? Как и куда он пойдёт, как выберется?

Сердце сжалось от страха. Забыв о боли, он дотянулся, вытащил из сугроба ружьё, постучал о дерево – чтобы вывалился из стволов набившийся снег, расстегнул патронташ; когда при падении куртка расстегнулась, меж патронами набился снег. Дрожащими руками достал патрон, вложил в ствол, спустил курок... осечка. Второй патрон тоже дал осечку и вдобавок не хотел вылезать из ствола обратно. В отчаянии Александр прислушался – не зовут

ли? Не идут ли на помощь? Нет – гробовая тишина стояла наверху. Ужас охватил его.

Неужели есть всё же судьба!

Неужели!!

Пропади всё пропадом!

Пропадом...

– Эй вы, где вы там, гей-гей-гей!!!

Опять прислушался – замер в страхе.

И только теперь он услышал где-то наверху неясные голоса, их заглушал туман. Ударили один за другим два выстрела. И вскоре он увидел – отец и сын поспешно спускались к нему по крутому склону.

– Ты цел? Не расшибся? – спросил Инал, схватив его за плечи. На нём лица не было.

Иуа тоже был напуган, всё время отворачивался, боясь заплакать.

– Святой повелитель гор сжалился над нами! – прошептал Инал.

Александр молчал. Боялся: если разожмёт челюсти, вырвутся наружу рыдания, которые клокотали где-то глубоко в груди.

– Надо спешить, нужно выбраться из этого ущелья, пока не стемнело. Придётся идти вдоль русла потока, там подниматься, иной дороги для нас теперь нет. Доберёмся до ближайшего пастушьего сруба, переночуем, а уж завтра посмотрим, идти ли дальше или возвращаться. Эта дорога проклята кем-то. Какую глупость я сделал, безмозглая моя голова, как я мог повести тебя в горы в такую погоду!

Инал говорил и с тревогой смотрел на Александра – тот молчал, будто язык проглотил; не расшибся ли он всерьёз, уж не повредил ли что-нибудь, не рухнет ли на снег?..

– Иуа, поддержи Александра с другой стороны... Ну, что ты стоишь, проворней не можешь?

Иуа всё делал быстро, Инал просто нервничал. Однако в то же время он уверен был в себе, знал, что делать, куда идти, – не сомневался в своей правоте и силе. Сейчас он был хозяином этого угрюмого ущелья, затянутого густым туманом, заваленного снегом на высоту человеческого роста. Глядя на него, Александр готов был поверить, хоть и нервничал Инал, что, если он прикажет, всё живое и неживое здесь повинуется ему, и даже царственные буки расступятся, чтобы уступить ему дорогу.

«Точно говорят: оправдываться ушёл на своих на двоих, а обратно пришлось везти на осле...» – думал Александр, ненавидя себя со всей этой своей дурацкой затеей, – не мог, видите ли, без гор прожить, – со всем малодушием своим.

Осторожно спустив его вниз, к потоку, Инал и Иуа чуть не на руках понесли Александра. Шли берегом, там было меньше снега. Когда они поднялись наконец к большой поляне в буковом лесу, уже смеркалось. Туман здесь стоял не такой густой, снегу было по пояс. За буком, невысоким и кряжистым, непохожим на стройных своих собратьев, выросших в лесу, над снегом едва поднималась крыша пастушьего сруба. У Александра ныло и

болело всё тело, он едва переставлял ноги, безразличный ко всему, ненавидя себя и свою беспомощность, но вдруг что-то заставило его поднять голову. Заметный кряжистый бук, от ствола отделяется мощная толстая ветвь, рядом плоская крыша сруба с небольшим козырьком. Он вздрогнул и, несмотря на то что потный был, разгорячённый ходьбой, почувствовал, как холод пошёл по спине... начал колотить озноб... Это было то самое место! Именно сюда он пришёл тогда, свернув с тропы на правое её ответвление, именно сюда привела его злополучная нить Ариадны...

«Вид только делает, что случайно здесь оказался… Не иначе, специально привёл меня сюда, чтобы напомнить, чтобы открылся я... – пытался он винить Инала. – Но почему, почему?! Если я сбился с пути... если мы сбились с пути … да, да, да!»

Когда огонь разгорелся и все согрелись, Александр почувствовал, что силы возвращаются к нему; он казался себе сейчас чем-то вроде утопленника, которого вытащили на берег, откачали и вернули к жизни.

Инал совершал очередной обряд. Он развязал башлык, обнажил седеющую голову и бормотал, обращаясь к огню:

– Огонь-огонёк, гори ты на счастье, обогрей нас днём, посвети нам ночью.

– Извините меня, я прилягу, – сказал Александр, когда они закусили, выпили по два стаканчика водки и немного разомлели у огня.

– Какой может быть разговор! Спать, спать! Дров, слава Богу, достаточно, я буду подбрасывать.

Александр устроился на топчане из грубо обтёсанных досок. Инал с сыном тоже легли. Иуа скоро заснул: когда шум пламени стихал, слышалось его ровное, чистое дыхание. Пока сидели у огня, Александру казалось, что не успеет он приклонить голову, как тут же провалится в забытье, в сон. Но не получилось, нет – так и лежал, смотрел на языки пламени. Инал вроде закрыл глаза, но тоже не спал. Тихо гудел огонь, иногда потрескивали горящие поленья. Снаружи не слышалось ни звука.

Александр томился, чувствовал, что не заснёт он этой ночью. Рассеянно смотрел, как мерцали и отсвечивали над огнём закоптелые, грубо обтёсанные доски потолка. Пряно пахли какие-то засохшие травы, прораставшие летом меж досками пола, – видимо, сруб долго пустовал.

На этот раз он не звал воспоминания, наоборот – пытался отвлечься, убежать от них, но они подступили и властно захватили воображение: поплыли картины, пошла разматываться старая лента, больно, словно она была намотана на самое сердце.

Трава на поляне поднималась тогда по грудь, в неподвижном воздухе мешались терпкие и сладкие запахи цветов. Поляна находилась в стороне, далеко от дороги на альпийские луга, и поэтому обычно до конца лета, пока скот не погонят с гор, трава здесь стояла нетронутой. Но, спускаясь, пастухи стремились обязательно попасть сюда. К осени, когда в горах травы уже погибали от холода, здесь они ещё оставались живыми и сочными.

Сруб тогда тоже едва виднелся, но не над сугробом поднималась его крыша – над разросшейся травой. Цветы, множество разных цветов – по-своему ярких, по-своему пахнущих, радующих глаз, колыхались среди моря высокой травы. Насколько же щедрым был благодатный этот кусочек земли, сколько красок, сколько ароматов смог он родить! В душном воздухе запахи эти сгустились настолько, что голова кружилась словно от крепкого вина.

На поляну они попали ещё засветло. (По тому, как долго они шли от разветвления тропы, можно было судить, что от группы они удалились порядочно.) Не пересекая так буйно разросшуюся на унавоженной с осени почве роскошную поросль, на большой замшелый камень с краю поляны присели, там и отдохнули. Начало смеркаться. Видно, из-за усталости Наала даже не заметила, что трава на поляне не была примята, что спутники их здесь не проходили. Однако когда начало темнеть, она посмотрела на него со страхом – хотела спросить и боялась. А может, и догадывалась уже, но не хотела признаться в этом себе самой.

Двинулись было дальше, но когда подошли к плотной стене высокой травы, он открыл ей, что попали они не на ту дорогу, разминулись с товарищами. И сразу, побоявшись её вопросов, принялся звать, кричать, пока не охрип.

Теперь он слышал этот свой зов – словно земля сохранила его. Всё ближе, громче...

Он поднялся, сел на топчане, расширившимися глазами смотрел на Инала. Тот не шевелился, глаза закрыты, но видно было, что не спит. Немного успокоившись, Александр снова лёг и затаился.

Они не пошли дальше, через траву, остались на этой поляне. Когда совсем стемнело, он уговорил её перебраться к срубу. Оттуда пахло сыростью и навозом, они остановились у входа. Из темноты сруба слышалось тревожное пение двух цикад. То одна вела, то другая, иногда подавали голос вместе. Воздух сделался тяжёлым и вязким – был как стоячая вода. Духота всё усиливалась. Туман, спустившийся до верхушки бука, придавливал запахи к прогретой земле. Аромат цветов и трав всё сгущался, приходилось вдыхать вместе с воздухом приторно-сладкие тёплые глотки... От терпкого духа ацарпына-геркулеса во рту появлялся вяжущий привкус.

Стало темно, как на дне глубокого омута.

Цикады всё пели – заунывно, тревожно, и голоса их тонули, пропадали в этом вязком месиве.

Александр опять сел на топчане. Его била нервная дрожь. Теперь он хотел, чтобы Инал заметил, почувствовал его состояние. Ударил ногой по одному из пылающих буковых поленьев, оно стукнулось о другое, густо брызнули искры, вспыхнуло фиолетовое пламя.

Инал повернулся лицом к огню.

– Почему не спишь, Александр? Хотя, видно, оттого, что устал слишком. Это бывает. И я мучаюсь, никак сон не приходит, будь он неладен.

Инал тоже сел.

– Инал... – начал Александр торопливо, чтобы не успела взять верх нерешительность. Но слова, которые он хотел произнести, словно присохли где-то там, внутри, он лишь немо приоткрывал рот, словно захлебнувшись.

– Слушай, у тебя болит что-то, да? Повредил, когда упал? – спросил с тревогой в голосе Инал.

– Нет, не в том дело. Инал, ты понимаешь... Я плохо помню, как всё тогда сложилось, в тот злополучный день. Много воды утекло, в памяти многое стёрлось. Мы ведь разминулись с вами тогда, я не видел сам, как всё это получилось. Потом мне, наверное, рассказывали, но ты понимаешь, в каком я был состоянии, совершенно отключился, не воспринимал ничего.

– А кто может предотвратить то, что должно произойти... – ответил Инал, вздохнув. – Если бы не теперешнее несчастье, мы бы уже и забыли о том, о первом случае, ведь все уже привыкли, примирились давно... Нет в мире ничего неподвластного времени. А вот произошло несчастье – и всё воскресло в памяти, словно только вчера приключилось.

– В том-то и дело... Если б я мог знать, что воскреснет для меня тот день, я вообще бы не решился идти сюда. То, что человек может перенести в молодости, в нашем возрасте тяжело уже, кожа становится тонкой. Но не в том дело, не то я хотел спросить. Почему вы его одного... Багу послали искать?

– Мы туда, где ночевать собирались, к роднику, поздно пришли, уже вечерело. Даже не передохнув, принялись готовить ужин. А вы всё не показывались. Когда сообразили, что неладное происходит, бросили всё, кричать, звать начали – но без толку. Все собрались идти искать вас. Но Бага, видя, что дело серьёзное, остановил нас. Сказал, что в темноте мы можем растерять друг друга. А он лучше всех знает дорогу, надеется быстро вас отыскать и сам не заблудится. Меня попросил, так как я лучше других ребят знал горы, остаться за старшего, приготовить ночлег, ужин. Мы легко согласились, ты же знаешь, чем для нас был Бага, – никто и не сомневался, что он всё может, из любого самого трудного положения найдёт выход. При нём ружьё, в руках надёжный посох. И самое главное, все мы были твёрдо уверены, что вы где-то близко – или на подходе уже, или, чтобы не сбиться с тропы, сидите и ждёте подмоги.

– Молодость, неопытность... Как мы тогда на всё легко смотрели... – сказал Александр. – Надо было хоть перекликаться в таком тумане, чтобы не потерять друг друга. Сперва, я помню, и перекликались, а потом перестали. Правда, уставшие все очень тогда были – с непривычки.

– Бага ведь предупреждал меня, когда уходил вперёд, – готовить место для ночлега, – вздохнул Инал. – Как вспомню, себя начинаю презирать. Несколько раз повторил, чтобы смотрел я за вами. Да вот беда – не ходил я никогда в группе, привык за себя только отвечать. Легкомысленно как-то отнёсся к его словам, да и устал, как и все остальные, скорее хотел добраться до места, отдохнуть. Дорога была хорошая, никому и в голову не приходило, что может что-то случиться. До сих пор не прощу себе!

– Ну, что ты говоришь, при чём здесь ты, – прервал его Александр, – ты-то при чём! Это из-за меня... Ты же помнишь, какие толки ходили после той ужасной ночи. Может, и сейчас ещё говорят...

– Никто ни в чём не виноват. Виноватых здесь нет, злая случайность подстерегла нас. Судьба.

Они долго сидели молча.

Слышался лишь шорох огня да ровное и чистое дыхание Иуа.

– Ложись, Александр, только поближе к огню, обогреешься, разомлеешь и скоро заснёшь.

Инал лёг, повернулся лицом к стене.

«Не хочет больше говорить об этом», – подумал Александр.

Он тоже улёгся, закрыл глаза, но сон не приходил.

Примяв высокую траву, они сели у входа в сруб. Наала не говорила ничего, не спрашивала, видно, боялась разрыдаться. А он, стараясь успокоить девушку, пытался шутить, но получалось жалко. И всё пели и пели цикады.

Вдруг где-то наверху глухо загремело.

«Я боюсь ... » – прошептала Наала и подвинулась ближе к нему.

И ему тоже было страшно.

Прогремело ещё несколько раз. Туман поднялся выше – и вдруг весь осветился, сверкнуло ослепительно, раздался оглушающий треск... Повеяло холодом, заволакивалась, зашуршала высокая трава на поляне. Духота отступила, стало легче дышать.

И снова зажглось, осветилось как днём небо над ними. Наала вздрогнула, рванулась к нему, под его защиту, судорожно обхватила его плечи, голову спрятала у него на груди. Он почувствовал её горячее дыхание, вдохнул запах девичьих волос, заглушивший для него и запах пота, и все остальные запахи. Он обнял её, почувствовал прикосновение её груди – и тут же всё отступило, всё исчезло: наступающая ночь, гроза, страх… непонятный какой-то дурман пронёсся по всем его жилам, захватил его существо. Между небом и землёй ничего не осталось, кроме этой девочки, в испуге прижавшейся к нему. Неудержимая сила, против которой ничто были ни его воля, ни все предыдущие мысли и намерения, ни вся предыдущая их жизнь, потянула его к ней. Она крепче обняла его. И как молнией блеснуло в его мозгу. Но в это мгновение всё её тело напряглось, она изогнулась, извернулась, рыбкой выскользнула из его объятий, вскочила. Сорвалась с места и, не помня себя, не видя ничего, бросилась прочь... врезалась в сплошную стену высокой травы и пошла, разрывая её, падая, поднимаясь. Опять полыхнуло неземным светом, страшно озарилась пелена тумана над головой, затрещало оглушительно, по ущелью прокатился раскат грома и хлынул ливень. Налетел ветер, ударился о большую выступающую ветвь бука, она страшно заскрипела.

– Наала!!!

Он вырвался следом за ней в плотную стену травы, барахтался там, словно в разбушевавшемся море, пытался бежать, но трава мокрыми прядями стреноживала его, и он только и делал, что вставал и падал, падал и

поднимался снова. Ливень хлестал его тысячами гибких прутьев. Темнота ещё сгустилась, – словно на дне омута искал, кричал он:

– Наала! Наала!..

...Александр вздрогнул, открыл глаза, он чувствовал себя как больной, у которого кружится голова и вместе с ней весь мир идёт кругом. Всё громче, всё явственнее, всё ближе слышал он этот зов. Его голос, отчаянный его крик!..

Наала...

К нему вернулась не та, которую он звал. Та ушла навсегда. Может быть, туда, к Баге, который в это время в другом конце ущелья искал и звал её... Может быть, они ищут друг друга до сих пор, плутая среди этих гибельных склонов. Может быть, они превратились уже в призраки, в ветер, в дождь... может быть, они спустились опять на землю вместе с этим снегом... А потом, весной, растают, оживут, снова поднимутся – вместе с травой и цветами, снова будут искать друг друга, звать в свисте ветра, в шорохе тростника, в шелесте высоко поднявшихся трав, в шуме дождя...

И он звал тогда ту, которая ушла навсегда. (Он не решался ещё признаться самому себе, что из-за неё, ради неё согласился он на этот безумный, по его мнению, поход в горы.) Но тогда он не знал, безумец жалкий, что с той минуты, в ту минуту, когда он сделал шаг в сторону от путеводной нити Ариадны, сошёл с тропы, он же потерял её... Ту, которая растворилась, исчезла ночью в чёрном непроглядном омуте мрака. Не сойди он с тропы, его чувство к ней осталось бы чистым, святым... И вместе с чувством этим – он сам! Но, сделав первый шаг, уходя с тропы, он уже хотел заполучить её такой, какую и нагнал, вернул в грохоте грозы. Она виделась ему судьбой, единственным и верным шансом, тем путём, да, да, путём, который выведет его, по которому он выйдет в люди, и всё у него в жизни пойдёт как у людей, и эта жизнь ничего не будет иметь общего с прежней, с селом, с домом дяди, где он вырос и где всегда был лишним...

Он долго барахтался в разворошенной ветром и ливнем траве, пока опять не сверкнуло, не засветилась пелена тумана – тогда он увидел её. Она была совершенно без сил, мокрое платье облепило тело. Идти она уже не могла – глухо, с хрипом рыдала.

Небо обрушивалось рокочущим водопадом. Новый, ещё более сильный ливень шумел где-то рядом, надвигался, последний смертоносный шквал в разбушевавшемся море. Резко похолодало. Когда он схватил её за руку и потянул, она, не сопротивляясь, пошла следом. Им ещё долго пришлось барахтаться в мокрой, побитой дождём траве, пока наконец с очередной вспышкой молнии они не увидели сруб: он торчал над полегшей травой, словно рыба, которую вынесла на берег высокая волна – и вдруг откатилась, ушла из-под неё, оставила на отмели.

Когда они вошли в сруб, в нос ударил запах слежавшегося навоза и подгнившей травы, запах намокших угольев и золы. Целый уже год не заглядывала сюда жизнь.

Она забилась в угол, а он как остановился, так и остался стоять возле холодного очага. Оба продрогли, с одежды текло. Снаружи бушевала ночь.

Сколько он так стоял, не знает, только помнит: делалось все холоднее и холоднее. И наконец по крыше стучало словно пулемётными очередями – пошёл град.

Его трясло, зуб на зуб не попадал; а ей, видно, было ещё хуже. Сыпал и сыпал град, ветер забрасывал в сруб ледяные брызги. Они замерзали.

Если б всё было как прежде! Если бы можно было вернуть всё к той минуте, когда они не решились ещё на этот безумный поход! Если бы всё осталось неизменным, нетронутым.

Но нет – всё уже было сдвинуто с места, смешено, перемешано, запутано...

Чем невыносимее становился холод, тем больше страх опустошал его душу. Ему казалось, что он уже не может терпеть, не вынесет, вот-вот разорвётся сердце. И тогда вдруг неведомо что подсказало ему, подтолкнуло, какая-то сила выпрямила его... он напрягся, как перед броском, он гикнул и подпрыгнул... Большим пальцем ноги он ударился об острый конец полуобгоревшего полена, торчавшего из очага, и почувствовал, как обдало ногу жгучей болью. Но он подскочил ещё выше, он прыгал, стараясь согреться... нет – он танцевал! Он слышал, он чувствовал бешеный ритм ударов – по тонкой крыше бил и бил град. И он плясал под этот град, под этот ритм.

Нет, всё же это не пляска была, нет... Если бы он умел танцевать, почему же он никогда, ни разу ни до, ни после этого не смог, не сумел сплясать, даже когда очень хотел.

Он и теперь слышит этот безумный, этот сумасшедший ритм. Град бьёт по крыше, бьёт очередями – бьёт по нему, по его телу. Молодые ноги проходят в бешеном танце, топчут его... по груди, по груди, по сердцу. Он задыхается, всё тяжелее дышать. А эти худые, эти молодые ноги в сумасшедшем ритме давно отхлеставшего града топчут его отяжелевшее тело. Трудно дышать, хочется крикнуть, позвать на помощь – но нельзя...

Александр привстал, сел на топчане, отдышался. Посмотрел краешком глаза – Инал лежал, отвернувшись к стенке, но, видно, тоже не спал. У Александра возникло ощущение, что Инал следит за ним – словно бы видит затылком. Поглядел на костёр: несколько поленьев уже догорали, дымили, но Александр не наклонился, не подтолкнул их выше, в самый центр очага.

Снова опять посмотрел на Инала – на этот раз с ненавистью.

Сказал бы открыто. Если он сумел догадаться обо всём – так, может, догадались и все остальные? Не мучил бы, открылся – чем лежать вот так, как неразорвавшаяся бомба.

Да, он плясал, не останавливаясь, не сбавляя темпа. Топтал потрескивавшую пыльную землю, топтал намокшую золу очага. Бешено, остервенело.

Да, да, да, он нарочно заблудился, нарочно ушёл с тропы в сторону! Заблудился с девочкой, на которую не он один поглядывал... не у него одного

болело сердце. Что же, это бывает, случается, что похищают, – разве он первый? Почему он не имеет права? Почему он не имеет права на неё – такого же, как и другие? Правда, он один, единственный из всех решился, единственный совершил предательство. Но у него не было иного выхода... У любого из них, из тех, что пошли с ней в горы, больше шансов, больше надежды. И на неё, и на всё остальное!

Особенно у него... у Баги. Но всё равно – не для него такая девушка, не для Баги, – это точно. Не для него, не для жизни с ним. Зачем ей, воспитаниой и выросшей в городе, в уюте и тепле, заживо похоронить себя в бедном сельском доме, что её ждёт там? Нескончаемая прорва дел и забот – от них человек стареет без времени... и к тому же ещё больная мать. Конечно, найдутся такие девушки, что смогут жить в этом доме, но не она, не Наала, она – никогда. Возможно, она ещё сама не поняла этого, но когда придёт минута решать – она отступит. Может быть, она и хочет быть счастливой с ним, с Багой, – но как ей осуществить своё желание? Может быть, она и будет любить его всю жизнь, но у неё нет сил сделать эту любовь жизнью. И тогда, раз счастье её всё равно будет неполным, не всё ли равно – отчего? Быть несчастливой с Багой в селе или с ним в городе – это одно и то же: не получить, не добиться того, чего хочешь, не добиться счастья.

Он плясал, он крошил землю, крошил и затаптывал.

Но что же толкнуло тебя на этот шаг, есть ли тут доля любви? Ты ведь уже давно примирился с мыслью, что она не любит тебя и никогда не полюбит? Да, всё же доля любви была. Но не только... Почему все могут рассчитывать на лучшее, на такую, как она, один он не может? Почему ему суждено худшее, серое, незаметное? И ещё: если он получит её, он получит и кое-что в придачу. У неё есть брат, есть родственники, которые постараются, сделают – если не для него, то для неё ...

Но почему так, почему таким путем? Легко спрашивать. У каждого из товарищей по классу есть веточка, за которую он может уцепиться, есть рука, которая протянется и поможет. Только у него одного нет ничего. И что же из этого, – значит, так ему и утонуть? Ни таланта особенного, ни помощи – ни от отца, ни от матери, ни от родственника какого. Всю его жизнь, проведённую в чужом доме, смотрели за ним, считали, сколько кусков он съел.

Но не один ты такой, многие тоже не имеют поддержки, скажете вы. Есть, мол, великая кормилица – земля, кусок её и тебе достанется, заведи очаг, разожги огонь, вспаши свой участок, засей – и земля пожалеет тебя, пригреет. Земля тяжела, но если будешь служить ей, она одарит тебя жизнью. Нет! У каждого из друзей уже есть очаг, приготовлен для них – ещё до рождения... и вот выросли они, и остаётся им только греться у готового огня. А ты, значит, единственный всё на голом месте начинай? Потрать силы, потрать жизнь, потрать самого себя на то, чтоб создать очаг? Земля – штука коварная, она завлекает человека, обнадёживает, а потом постепенно засасывает его – и наконец пожирает. Чем больше отдаёшь ей, тем быстрее она хватает тебя.

И если он хочет жить по-человечески, жить хорошо, почему именно он должен быть исключением? Почему всем – да, ему одному – нет!

Он плясал... Усталости он не чувствовал, пришло второе дыхание.

На крыше, не утихая, плясал град.

И вдруг он заметил девушку, бессильно всхлипывавшую, дрожащую, погибающую от холода.

– Иди! – закричал он ей. – Иди ко мне, иди плясать, не то умрёшь, замёрзнешь! Иди!

Он подскочил, схватил её за руку, она повиновалась, она уже повиновалась!

– Быстрее, быстрее, быстрее!

И ты умеешь плясать не хуже других. Тогда почему бы и не поплясать! Все могут, все имеют право любить её, – разве ты не имеешь такого же права, как все?

– Быстрее, быстрее!

И когда ты сказал людям, что это её брат застрелил кабана, уже тогда ты действовал не без умысла. Ты вовремя сообразил, что листок с гор иногда встречается с листком, выросшим на берегу моря. Ну, конечно, тогда ты ещё не думал, ничего конкретного не имел в виду, но уже был расположен к этому...

– Быстрее, быстрее! Это опасно, если холод засядет в тебе! Надо вытравить, выгнать его! Быстрее!

Но и эта ночь пройдёт. Всё проходит. Завтра вы встретитесь с ребятами – они и понятия не имеют о том, что ты сам, специально постарался заблудиться с ней. И она не знает... может быть, догадывается только, сомневается. И всё пойдёт как прежде, словно и не произошло ничего такого. Ребята из вашего класса, доверчивые и наивные, поверят, конечно, что вы случайно сбились с пути, – поверят и тут же обо всём позабудут. А потом, потом что?

Если даже здесь, в горах, с ребятами, всё спокойно обойдётся, так, как ты хочешь, как надеешься и рассчитываешь, дальше в горы ты уже не пойдёшь, и она не пойдёт тоже. Она уже послушается тебя?

Ну, а потом? Когда спуститесь? И дальше ты знаешь – что.

Ты ведь всё продумал.

По селу слух прокатится: мол, ты провёл с ней ночь – наедине, в пастушьей сторожке, в глухом ущелье. Дойдёт до брата, уж ему постараются порассказать-порасписать, как же не порадеть начальству! И дальше всё как по маслу пойдёт, всё в твою пользу обернётся. Надо же позор снять с девушки! Ведь не какая-нибудь встречная-поперечная – сестра его родная! Так рассудит любящий брат: ведь его авторитет, авторитет его семьи – превыше всего. Никаких таких разговоров, честь его сестры порочащих, допускать нельзя. А позор с неё снять – один верный путь есть: выдать её замуж – за того, с кем ночь провела, да поскорее, побыстрее...

– Быстрее, быстрее, быстрее!!! – она повиновалась ему, она вместе с ним плясала под бешеную дробь града.

Так открыто... так бесчеловечно! Как же ты после этого посмотришь в глаза товарищам своим! Да – так открыто, только так! На том пути, на который свернул, который избрал, – невозможно иначе. Так уж случилось, пришлось. Откуда им знать, наивным твоим товарищам, что ты это сделал преднамеренно? Как же, ещё сочувствовать будут – в жуткую передрягу попали, ведь погибнуть могли, хорошо, что так обошлось. И потом, приблизив своё счастье, слыша его дыхание, в руках его держа, за руку держа, – ты уже боишься потерять его, ради него... ради неё, ты и дальше пойдёшь на всё, на любое решишься. Терять тебе уже нечего – раз уж осмелился сойти с тропы, сделать первый шаг осмелился...

Когда она обессилела, с ног начала валиться от такой сумасшедшей пляски, вцепилась в его плечи, повисла на нём, – и он тоже остановился, не отпуская её, ощупью нашёл топчан, сел рядом с ней. И, не теряя времени, уже не колеблясь, отбросив сомнения, начал шептать ей в самое ухо, обдавая её горячим дыханием.

В ущелье бушевала ночь.

Наконец рассвело, деревья разворошённые стояли, в лоскутьях порванных градом листьев: роскошная, выше пояса трава затоптана, побита была ливнем – всё полегло, и сверху насыпало ещё слой града. Из-под белого этого одеяла, словно на мелководном озере из-подо льда, лишь кое-где выглядывали зелёные ростки. Непривычно оголившаяся поляна незнакомой казалась взгляду, поруганной и жалкой.

Увидев такую перемену, увидев, как злое ненастье сокрушило вчера ещё буйно расцветавшую жизнь, он снова потерял самообладание, к нему опять вернулся страх...

– Александр, ты всё не спишь? – спросил тихонько Инал – ему же показалось, будто выстрелили над ухом.

– Что! – вздрогнул он. – Что случилось?!

В голосе Инала он почувствовал боль. И ещё послышалось ему в этом голосе, будто хотел сказать Инал, что, если по справедливости, боль эта должна в неё, в Александре, существовать, непроходящая, час за часом по кусочку отрезающая, укорачивающая, уносящая жизнь, чтобы когда-нибудь совсем доконать его.

– Видно, так и не удастся заснуть этой ночью, – сказал Инал и повернулся к огню; сел, поправил поленья в очаге, с треском полетели искры, пламя поднялось выше.

Александр не то вздохнул, не то простонал в ответ.

– Воспоминания мучают, – продолжал Инал. Словно вчера всё случилось. Что мы пережили той проклятой ночью, как боялись – за вас, не за него! Мы же ещё были дети, мальчишки, только что из-за парты, на пальцах ещё чернила не отмылись.

Александр опять то ли вздохнул, то ли застонал.

– Уходя, он говорил нам, что знает здесь все тропы, уводящие в сторону от главной, их немного, так что он быстро все проверит. Никто из нас и не

подумал усомниться в его словах – привыкли верить ему. Он ведь каждый год ходил в горы по главной тропе, один ходил. А боковые тропы, ответвляющиеся от основной, – их только пастухи знают, когда поднимаются в горы или спускаются – ищут новые пастбища. Если одному идти, налегке, чтобы подняться до альпийских лугов, как он привык, надо один только раз переночевать, как раз там, где мы и остановились, у родника. Только эту дорогу он, видно, и знал – прямую. А в тот вечер пришлось ему боковую тропу искать – ту, что увела вас в сторону. Началась гроза – ты же помнишь, наверное, что за ночка была. Но, главное, я думаю, всё же в том, что обманул он нас: видимо, понятия не имел об этих боковых тропах, никогда не обращал внимания, где отходят, куда ведут. В этом всё дело, не в погоде. Какая бы там ни была погода, чего ж его понесла в самое опасное место, к самой страшной пропасти? – Инал вздохнул тяжко. Хотя и другое могло быть... что знал он, допустим, эту пропасть и боялся больше всего, что вас именно туда и занесёт, – значит, там и хотел вас искать, на пути к ней.

Бага сорвался в эту пропасть. Утром ребята поспешно вернулись в село. Вышли искать знающие горы пастухи и к вечеру нашли его – еле живого, с проломленным черепом. На скорую руку соорудили носилки, потом на лошади спустили.

Их с Наалой обнаружили ещё раньше утром, когда они пытались обогреться на только что поднявшемся солнышке. Почему-то ни он, ни она не спешили обратно, хотя выйти к главной тропе не составляло труда.

Даже не то что не спешили... Он понимал, что случившегося уже не исправишь. И хотелось как-то оттянуть встречу с ребятами и возвращение в село. И она думала о том же. Конечно, ни тогда, ни потом она не призналась ему, что не хотела возвращаться, да он и без неё знал. После этой ночи он безошибочно научился узнавать, что у неё на душе. Посмотрит даже и не в глаза, а просто в лицо – и поймёт. Каждый взгляд, тень и свет в её лице, казавшемся прежде неразрешимой загадкой, сделались ясны ему – свободно мог читать.

– Лучше бы он погиб тогда, – сказал Инал. – Столько лет между жизнью и смертью. Разве это называется выжил...

Раны у Баги зажили, переломы срослись. Но главное – был пробит череп, Начался менингит – и остался он обезображенным, полуживым, с пустыми, выпученными глазами... полудурком остался.

– Сейчас всякие бездельники, что мизинца его не стоят, потешаются над ним, если кто-нибудь глупость сделает – Багой называют, – продолжал Инал. – Хотя – откуда им его знать таким, каким мы с тобой знали.

Александр застонал.

– Ты же помнишь – его потом всегда непогода мучила. А если град или снег, так и метаться начинал, рвался куда-то, – рассказывал Инал. – В больном испепелённом мозгу его, видно, живая точка оставалась, напоминала ему о той несчастной ночи... Ты верно подсказал, сюда надо

идти, в горах его искать надо – где же ещё. Вряд ли он далеко ушёл, я думаю, он в эти места направился, всё ещё вас найти пытается. Конечно, устали мы все, трудно по такому снегу подниматься, но правильно поступили. Отсюда недалеко до того места, до родника, где мы тогда остановились на ночлег, – конечно, если дорогу знаешь.

Наутро они двинулись дальше. Шли берегом ручья – снег тут был не такой глубокий – и к полудню выбрались к роднику на поляне. Над сугробами здесь тоже виднелась крыша сруба и рядом бук – только постройнее и повыше, чем там, где они ночевали.

На краю поляны Инал, разрывая снег, быстро пошёл вперёд, опередил Александра и Иуа, подошёл к буку и там остановился вдруг, замер. Александр, с тревогой следивший за ним, увидел, что Инал как-то сразу съёжился и плечи его сузились; словно он крылья сложил.

У Александра сжалось сердце.

Иуа пристально смотрел туда, где стоял отец.

Странную слабость почувствовал Александр, ноги подкашивались, он шёл к ним долго, как во сне, когда человек хочет бежать, а не может. Когда же доплёлся наконец, увидел его: он стоял, занесённый снегом, видна была только часть лилового лица. Казалось, он пришёл сюда, прислонился к буку и спокойно заснул... Через эту лиловость обезображенного лица проступала спокойная умиротворённость, даже подобие улыбки сквозило. Так и казалось, что позовёшь его – и он разомкнёт веки и скажет чистым, не замутнённым безумием, весёлым и ласковым голосом: «Ашхацамва – это звёздный путь в горы, и я одолел его... Вы думаете, это трудно? Всего-то пути три дня и три ночи...»

– Дорогой ты мой мальчик, – голос Инала дрогнул от нежности, словно перед ним тот, прежний Бага стоял, юноша, щёки которого ещё не знали бритвы, на пальцах которого оставались ещё пятнышки школьных чернил. – Дорогой и славный... Видишь, ты вернулся наконец, сдержал слово.

Инала не узнать было: глаза печальные, но спокойные, исчез лихорадочный стеклянный блеск и видна сделалась в них мудрость сострадания. На лице его резче обозначились морщины, и, кажется, больше их стало.

Иуа отвернулся и тихо плакал, вздрагивали узкие плечи.

– Простите... – сказал Александр неожиданно для себя, и голос его ему самому чужим показался. – Прости… – Обернулся к Иналу: – Я бы никогда не поверил, что он может сюда добраться.

– Я остался в мире, где есть возможность сказать неправду, он ушёл туда, где говорят только правду. Если покривлю душой – не успею слово произнести, как он услышит... Не рождался ещё такой, как Бага, в нашем селе. Но не успел он расправить крылья, подняться, увидеть простор. Обгорели они, разбился Бага... Но даже в таком состоянии умер достойно. Вернулся к друзьям, которые не дождались его.

Александр чувствовал себя опустошённым и молчал.

– Надо что-то делать. – Инал расправил плечи и повернулся к Александру. – Не будем понапрасну терять время. Я остаюсь здесь, с ним, а вы с Иуа пойдёте в село. Спускаться сейчас нетрудно, снег мягкий, ноги не будут скользить.

Действительно, заметно потеплело. Туман осел к верхушкам деревьев и, словно ему было неудобно держаться на голых ветвях, то срывался ниже, то поднимался выше, а иногда лоскутья его отрывались от общей массы и, скользя по стволам, спускались к земле. То и дело с ветвей обваливались пласты мокрого снега, и казалось, что деревья вздыхают облегчённо.

– Сынок, – обратился Инал к Иуа, – не спеши, помоги Александру, будь умницей!

– Не беспокойся, отец! – ответил юноша.

Когда они вдвоём входили в лес, Александр обернулся и посмотрел: Инал, по пояс в снегу, всё так же стоял у страшного бука, не шевелился.

Он не мог позволить себе заплакать при мальчике, но когда зимний лес скроет уходящих вниз, он не выдержит... он будет плакать беззвучно, по-мужски. Слёзы потекут по морщинам, глубоким, как ножевые раны... смывая с глаз тот стеклянный лихорадочный блеск, который иногда мешал ему видеть.

Снег был сырой, тяжёлый. Но, видимо, это здесь, на ровном месте, намело столько, на спусках его должно быть поменьше, легче будет двигаться.

Иуа шёл впереди, прокладывая дорогу для Александра.

Александр ещё раз позавидовал Иналу: иметь такого сына!

... Может быть, и Иуа пойдёт когда-нибудь на охоту. Займёт место в цепи. А где-то рядом будет стоять некий гость, важный, участвующий в облаве от нечего делать, равнодушно ожидающий случайной удачи. Но удачи не будет, а кинется к нему разъярённый кабан, готовый рассечь ему брюхо страшными клыками. От страха остолбенеет важный гость... и юноша, стоящий рядом, – юноша, щёк которого ещё не коснулась бритва, но которому завтра или послезавтра предстоит самостоятельно выбрать свою дорогу в жизни, в мгновение ока вскинет ружьё и выстрелит. И кабан застынет на месте, словно морозом прихваченный. Юноша подбежит к первой своей добыче... Но он не скажет собравшимся, что кабана застрелил важный гость. Этот юноша не скажет. Кто-то же должен говорить правду!

Он, этот юноша, не раз окажется на испытанном многими поколениями пастухов пути в горы – Ашхацамва. Одолев все склоны, и кручи, и места, где срываются лошади, и тропинки над мрачными пропастями, он поднимется к снежным вершинам. И взгляду его откроются бесконечные пространства очищенного от мелочей мира.

Он никогда не забудет то, что увидел и пережил в эти два дня – вчера и сегодня.

...А Багу похоронят на высоком холме, в родовой их ограде. И пока жива мать, пока не задушила её болезнь, будут на его могиле цветы. Может быть, и ацарпын посадят, – чтобы всегда слышался ему запах альпийского луга, он

ведь дошёл до гор, Бага. И будет тянуться над его могилой звёздная дорога Ашхацамва – вымощенный звёздами путь в горы, протянувшийся от самого моря. А ночью над могилой будут разрывать на мгновение ночную темноту, оставлять свои огненные росчерки песчинки со светлой этой дороги – падающие звёзды.

Александру сейчас казалось, что Сухум очень далеко, где-то на краю света. И всё же город ближе, достижимее, чем вершины, до которых он так ни разу и не добрался.

Когда всё это кончится, какая-нибудь машина или поезд помчат его к дому, там ждёт женщина, которую он любит. С тех пор как она стала его женой, сколько он мучился, сколько сомневался – взаправду ли принадлежит ему. Но больше всего страданий выпало на её долю – кто ещё мучился так после случившегося... может быть, только тот, что прислонился сейчас мёртвым к обледенелому буку. Сплетни, сплетни... и горе – всё свалилось на неё, тогда всё узнала она. А закончилось, как он и предполагал: любящий брат решил «снять позор» с единственной сестры. И она не противилась.

Дома ждёт его сын, его единственный. И Большой тоже там, у него в доме, – не избавишься. Для него семья Александра словно виноградная лоза: чтобы удобнее было снимать кисти, отрезает целые ветки – где и как хочет...

Надо решиться, делать надо что-то с его жизнью. Замахнувшись на другую жизнь, перерубив её, он попал и по своей – нанёс глубокую незаживающую рану. Но всё же и в этой искалеченной жизни надо попытаться что-то исправить.

Вот и волосы уже седые появляются. Чем он занимался на своём веку? Что он сделал, чего достиг? Ради чего совершил тот страшный грех? И что отдал взамен?

Нет, не будет искупления... Никогда!

И всё же – всё же он уже не может жить как прежде, как всегда.

И эта поездка в село, и столкновение с Большим, и даже этот внешне бессмысленный, неудачей окончившийся бросок в горы – всё это соломинки, за которые цепляется он в судорожной попытке не опуститься ниже.

Что он сделает дальше, он не решил ещё – но одно ясно: есть вещи, с которыми покончено безвозвратно, так же как с былой силой и влиянием Большого. Он чувствовал, что и она, жена его, тоже не может больше выносить эти горы лжи, существовать рядом с ними. Жизнь, их совместную жизнь, за которую заплачено самой дорогой ценой, нужно хоть сколько-нибудь выправить и оправдать... Хоть в конце. Хотя бы ради единственного сына. И тут он не пощадит никого, ни Большого, ни других подобных ему, которые стоят или станут ещё поперёк дороги.

Туман опустился на землю, затопил ущелье. Александр и Иуа миновали уже ровный участок и вышли к склону. Один спуск, другой, третий – и снегу сделалось заметно меньше, легче стало идти.

Как его встретит жена, когда он вернётся домой, как примет весть, которую он привезёт? Нужно рассказать ей всё с самого начала – абсолютно

всё. Кто знает, как она отнесётся к его откровенности... А может быть, она тоже осмелится и найдёт искренние слова, на которые не отважилась тогда? Но что бы ни случилось, хоть сейчас нужно рассказать ей всю правду, до конца, ничего не убавляя и не прибавляя.

Всё же сдвинулось в нём что-то – не может уже он по-прежнему. Не может!

А как встретит его ребёнок?

Он пытался сейчас представить его лицо, и не получалось - словно целую вечность не видел сына. Мучился, старался восстановить в памяти дорогой облик, но видел словно бы сквозь туман.

Это напугало его.

Единственное в его семье ни в чём не повинное чистое существо. Единственный сын.

Сердце больно сжималось от страха.

В тумане поплыли, закружились редкие хлопья, а через несколько минут ещё снег пошёл по-настоящему. Но было до того тепло, что, видно, белая орава снежинок, весело и невесомо носившаяся над склоном, там, внизу, в долине становилась дождём.

Перевод С. Шевелёва

ЯГНЁНОК

Всё чаще по утрам стал слышать мальчик родной и внятный, живой голос отца и не мог понять – во сне это было или наяву. Отец что-то говорил маме, а она радостно смеялась.

– Тише, – просила она. – Не надо так громко, проснётся малыш.

Смех её, словно бы она его роняла в воду, захлёбывался и пропадал.

Сон или явь?

Мальчик никак не мог очнуться в счастливые те мгновения, когда до него доносился голос. Утренний сон дурманил его и, обеспокоенного, уносил, как река. Но всё-таки он просыпался и с отцовским голосом в ушах, во власти радостного сна вскакивал с постели, выбегал во двор, заглядывал в кухню – никого. Мама уходила на работу рано, когда сын её крепко ещё спал.

Значит – сон.

Но если сон, то почему же он только слышал отца и ни разу не увидел его? Впрочем, он уже перестал сомневаться в том, что голос он слышал во сне, хотя маме об этом ничего не рассказывал. Она и так была убита затянувшимся молчанием отца, от которого давно уже не было писем. Зачем напрасно волновать её.

...В этот день мальчик проснулся с ощущением тревоги и тяжести на душе. Ни капли прежней радости не принёс ему привычный уже сон. В этот раз он явственно слышал не только голос отца, но и какое-то конское ржание.

– Уж не Лаша ли это ржал?

Мальчик приложил ухо к стене, за которой была пристройка для Лаши на зимние холода, и прислушался. Он помнил, как раньше по утрам Лаша сочно хрупал за стеной кукурузными стеблями. Но было глухо теперь там, в опустевшей пристройке, тишину которой всегда наполнял собою Лаша.

Что же его так встревожило? Откуда такая тяжесть в груди?

Мальчик напряг память, стараясь опять услышать голос отца, которому всегда отдавался всей душой, и вдруг с удивлением припомнил, что на этот раз голос отца оборвался странным, чужим смехом. Отец никогда не смеялся так. И уж совсем непонятным казалось мальчику, что смех этот был чем-то похож на рычание волка.

Может, это и не сон? Может, его обмануло сердце? Он ведь однажды слышал, как рычал волк, пойманный в капкан, который поставил отец в зарослях рододендрона. Медвежий капкан захлопнул обе лапы. Волк, оцепенев в предсмертной муке, с трудом поднял отяжелевшие от боли глаза и устремил на отца взгляд, ужаснувший мальчика своей человечьей осмысленностью. А когда мальчик приблизился к волку, его потрясло глухое, странное рычание.

Наверное, волку легче было бы завыть и заглушить воем страдания, но он сдержался и не унизился перед людьми, не уронил своего достоинства жалким воем.

Мальчик похолодел от страха, таким жутким показалось ему это непокорное рычанье поверженного, но не смирившегося волка.

Нет, такое даже и во сне не может привидеться... Ему почудилось, наверно. Кто может знать, где его отец и что с ним, если уже целый год нет от него вестей. А Лаша – тот теперь никогда уже не вернётся, если даже и выживет. Ему нет возврата. Когда забирают на войну коня, значит, его уводят навсегда.

Мальчик нехотя поднялся и сел на кровати. Снял со стула рубашку и штаны, сшитые мамой из отцовского архалука. Таким большим и могучим был отец, что из его архалука получилось и матери платье, и сыну штаны с рубашкой. Когда-то архалук был тёплого, оранжевого цвета, но те его части, которые не покрыты были верхней одеждой, давно уже выгорели и выцвели на солнце. Из кусочков ткани, сохранивших былой свой цвет, мама сшила штаны и рубашку сыну, а из остального – себе платье. Впервые надев на себя это пятнистое платье, она рассмеялась. Мальчик тоже смеялся, увидев на маме такое пёстрое, разноцветное одеяние.

– Ничего, выкрашу, – сказала мама.

– Как?

– В небесный цвет.

Мальчик помнил, как однажды отец купил ей такое платье. Мама очень обрадовалась, надев новое, не знавшее ещё воды и солнца платье, и ласково обняла мальчика, запомнившего навсегда запах новой ткани и нежность материнских рук.

Как долго тянется война! Отец ушёл в первые же дни. А потом увели и Лаша. Это было зимой. Мальчик привёл коня с водопоя, а у него из рук

чужие люди взяли поводья уздечки и увели коня. Почему-то именно в тот день он по-настоящему понял, что идёт война.

А сейчас единственным его утешением осталась мама, её ласка, доброта и нежность её рук. Правда, она редко теперь ласкала его – слишком много работала, да и не до него ей было теперь, когда печаль не оставляла её. Сам он тоже был виноват: играл весь день напролёт и приходил домой только вечером, еле держась на ногах от усталости.

Всю ночь сон врачевал его, заменяя материнскую ласку. Иной раз солнце уже поднималось над макушками деревьев, а сон всё ещё не мог излечить его от усталости. Мудрено тут рассчитывать на доброту и нежность материнских рук. Они порой бывали жёсткими, но в нём навсегда осталось ощущение бархатистой её ласки, и эта нежность бархата, оставшаяся в памяти, смягчала и заглушала обидную боль.

Своё платье, сшитое из архалука, мама окрасила. Мальчик сидел и с нетерпением ждал, когда она вытащит палкой из кипящей тёмной воды, в которую высыпала краску, платье небесного цвета. Но у него больно сжалось сердце при виде траурно-чёрного, мрачного платья. Небесный цвет не получился. А мама, чуть не плача, сказала: «Слишком частой гостьей стала теперь смерть. Платье небесного цвета могут позволить себе только те, у кого их много, а не как у меня...» Она замолчала, сдерживая слёзы. Но мальчик догадался, что мама готова заплакать вовсе не потому, что у неё нет другого платья.

Она работала далеко от дома и давно уже перестала приходить на обед.

Чайные кусты из-за сильной засухи дали редкие, скудные побеги. Приходилось теребить кусты, как коровьё вымя. Мать похудела, лицо её высохло, словно его специально сушили на солнце. Она уже целый год жила, прислушиваясь в страхе к каждому шёпоту, шороху – ежедневно, ежечасно ожидая ужасной вести...

Целый год не было писем от отца.

И всё-таки она оставалась самой красивой женщиной на селе. О ней и теперь говорили, что у того, кто заглянет ей в глаза, начинает кружиться голова, так глубоки и бездонны они были. Отец тоже был хорош собой. А вот о мальчике этого не скажешь – ни материнских глаз, ни статности отца. Так – неопределённый какой-то, средний.

Средне учился в школе...

И матери никак не мог стать помощником. В общем, как говорится, ни то ни сё...

Только и увлечён был по-настоящему своим сном. Сколько раз он решал для себя начать новую жизнь, стать помощником матери, но наступало утро, и вся его решительность рассеивалась и бесследно таяла.

Мальчик оделся. Оранжевая рубашка и штанишки успели уже тоже выгореть, но всё же он до сих пор чувствовал запах отцовского архалука. Он ещё раньше заметил, что резкий запах новой одежды терялся в родном и знакомом запахе отца. Он почти физически ощущал присутствие отца, когда слышал его запах, и был уверен, что нежность и доброта родного человека

издают свой особый аромат, к которому можно прикоснуться. А запахи мальчик чувствовал остро, как охотничья собака.

Нынешняя весна и на весну-то непохожа. И засушливая, и холодная, и туманная. Вот и теперь густой туман, стелющийся по земле, клубами вползал в окно.

Выходить из дома не хотелось. Мальчик уселся за стол, достал из ящика связку давнишних отцовских писем, но развязать их не решился. Он хорошо знал каждое письмо. Читая их, он всякий раз слышал отцовскую речь. Крупные буквы, выведенные рукой отца, словно гонцы-вестники, скачущие по линейкам тетрадного листа, чтоб передать его слова, то срывались вниз, то неуклюже громоздились друг на друга, то валились набок. Но они приносили речь отца, его живой голос. Они, как застенчивые дети, задерживаясь, переминаясь с ноги на ногу в уголках листка, сумели отобрать у грохота и хаоса войны и донести до мальчика голос его отца, слова того человека, которого он так неустанно ждал. И не только его речь и голос доносили эти неловкие буквы, но и смех его, радость и печаль. Неуклюжие, робкие, одна больше другой, не решаясь ни присесть, ни стоять, они, эти буквы, как ни старались, не могли скрыть настроение того, кто вывел их на бумажном листке, кто вдохнул в них жизнь. Отец писал почти одно и то же в каждом письме, начиная обычно так: «Здравствуй, мой мальчик!» И те немногие буквы, составляющие первые слова, уже выдавали своим выражением, своим взволнованным и неровным строем содержание всего письма. Каждая из этих букв была неповторима и говорила своё, особенное. И когда из букв складывалось другое слово, расположенное по соседству, мальчику казалось, что отец располагает эти буквы в другом месте потому, что боится, как бы они не выдали всё, что он вынужден скрывать от маленького сына, как бы они не проболтались о всех тяготах военной жизни, осмелев от постоянного соседства.

Мальчик отложил говорящие письма и задумался. Человеку легче, если он может послать письмо.

В письме он выразит хоть частицу того, что волнует его. И может дождаться ответа. И тогда на минуту покажется ему, что он говорит с близкими, о которых тоскует, что нога его ступает по траве родного двора, а он видит своё село и горы... И на миг придёт к нему утешение, хоть на чуточку успокоится истосковавшееся сердце.

А как же конь? Если Лаша жив, он не может не помнить двор, в котором он, пританцовывая, переступал с ноги на ногу, в котором ему каждое утро приносили белодонный тазик с жёлтой кукурузой, а он, опуская в него белую морду, не спеша и с достоинством захватывал зёрна губами и сочно хрупал ими... Он не может забыть, как зимой водил его мальчик на водопой: стройные ноги жеребца, казалось, были белыми оттого, что они проваливались в белый снег. Когда Лаша ощущал тяжесть седла и вкус железа во рту, он напрягался всем телом, и по гладкой коже его пробегала мелкая дрожь. «В его сердце вошла дорога», – говорил в такие минуты отец. Лаша был очень капризен и строптив: сесть на него тому, кого он не хотел

признавать, было очень опасно. Лаша оскорблялся, как девушка от грубого слова, ощутив на себе тяжесть чужого. Но мальчика он, даже будучи оседланным, признавал.

Конь позволял мальчику забираться в седло и проскакать недалеко. «Не торопись, ещё успеешь. Я ведь могу увлечься и забыть, что это ты на мне», – словно бы говорил он мальчику своей круто изогнутой шеей, настороженными, чуткими ушами.

Где теперь эти кони, встречавшие рассветы и закаты на дальних лугах, – сказочные, купающиеся, как в речных заводях, в пожарах вечерних и утренних зорь.

Жалко коней! Они ведь не напишут писем и ничего не расскажут о себе.

Солнце, закрытое плотным туманом, поднялось, должно быть, уже высоко, но мальчик всё сидел, поглощённый воспоминаниями, хотя дел по хозяйству было очень много. Земля, правда, не была вспахана даже у тех, в чьих семьях ещё оставались мужчины, а не только у них. Но мальчику казалось, что он совсем не умеет пахать. Он думал так, наверное, потому, что быстро уставал, идя за тяжёлым плугом, и бросал эту трудную работу, которая надоедала ему. Во всяком случае, даже часа он не пахал ещё без перерыва.

Многие укоряли мать. «Сын твой уже управляется с плугом, зря ты его совсем распрягла», – говорили люди, словно бы он рабочий вол, которого можно запрячь. Мать отчаянно защищала сына, будто и в самом деле боялась, что его запрягут. «Его ещё из-за плуга не видать, – отвечала она. – Что же мне, несчастной, загубить прикажете его детскую душу?»

Впрочем, в последнее время ему казалось, что мама и сама стала задумываться об этом. «Ты уже не малыш... Посмотри, что твои ровесники делают», – говорила она. А он отмалчивался. Но всё равно, хоть сама и говорила ему об этом, от нападок других она защищала его, как и прежде.

Скорей всего он смог бы, конечно, пахать. Но стоило ему только подумать о том, что ему надо будет целый день пахать, как в душу его закрадывался страх, и он, не начав ещё работать, уже чувствовал отвращение к этому однообразному и тяжкому труду. А что ещё в хозяйстве было под силу ему? За хворостом он ходил, тут уж никто не смог бы упрекнуть его, а пасти теперь некого. Когда ещё отец не уходил на войну, у них было двенадцать овечек. Но потом их стали продавать, чтоб уплатить налоги и кое-какие долги. За год овцы все перевелись, и осталась одна-единственная, которая почему-то в январе окотилась.

Её тоже пришлось продать, а ягнёнка они с мамой оставили.

С тех пор как началась война, цены на овец резко повысились. Овец становилось всё меньше и меньше. Сколько ягнят нужно было только на поминки тех, на кого приходили с фронта похоронки! А разве сосчитаешь, сколько было принесено жертв для спасения тех, кто ещё жив, но рядом со смертью сражается в огне войны: молодых и уже поживших на свете, братьев и отцов семейств, сыновей, с кем-то уже помолвленных, кем-то горячо

любимых – всех их, чтоб они уцелели, вернулись невредимыми домой? Сколько! Сколько на всё это нужно белых ягнят?

Самой лучшей жертвой считалась белая овца без единой чёрной шерстинки.

Женщины молились:

«Всемогущий Бог! Если ты вернёшь его живым, обещаем тебе пролить кровь белой овцы, белой – без единой чёрной шерстинки, обещаем воздать тебе дымящиеся печень и сердце... Припав к ногам твоим, заклинаем тебя, дай взглянуть в глаза его, позволь нам увидеть его невредимым!»

Когда перевелись белые овцы, стали приносить в жертву чёрных, без единой белой шерстинки.

Ягнёнок, который остался от последней овцы, был самым ценным – белый, как пена, и ни одной чёрной шерстинки. Он сразу же чуть было не погиб. Не брал соски, а почуяв вкус коровьего молока, фыркал, брыкался, отказываясь от еды. Но голод заставил сосать коровье молоко из резиновой соски.

Ягнёнок не мог насытиться этим жидким коровьим молоком, которое не могло сравниться, конечно, с жирным и густым овечьим. Он мог тянуть это молоко до бесконечности, не насыщаясь при этом; он мог бы, наверное, лопнуть, если бы у него не отнимали соску. И всегда он был голоден, хоть и бегал с раздувшимся животом. Он поправился лишь тогда, когда научился есть мамалыгу, чурек и хлеб... Шерсть его стала белоснежной, словно его только что вынули из мыльной, взбитой пены.

Мальчик и его мама очень привязались к ягнёнку: если им не удавалось погладить его, то они весь день ходили с ощущением какой-то непонятной утраты. А когда прикасались ладонью или щекой к его шелковистой шерсти, они ощущали его тёплую нежность, и целый день берегли это чувство в себе, жили с ощущением тихой и тайной радости.

Когда мать с тёмным от усталости лицом, еле держась на ногах, возвращалась с работы домой, ягнёнок бежал к ней, ласкался – и у матери светлело лицо.

Если же мальчик утром долго не просыпался, ягнёнок, словно бы испытывая нетерпение, забегал в приоткрытую дверь, стуча копытцами, и обнюхивал лицо спящего, дыша запахом свежей травки, растёртой его зубами.

– Что тебе? – спрашивал мальчик, просыпаясь.

– Бе-е-е, – откликался ягнёнок.

«Ну как не стыдно так долго спать! Я уже успел истоптать весь наш двор, пощипать нежной травки, родившейся ночью... Мне этой травки хватит на весь день...» Ягнёнок глядел на мальчика своими глазами в белесых ободках, а мальчик никак не мог поймать его взгляд, ту невидимую точку, в которой скрещивался взгляд его глаз... Ягнёнок смотрел на него не как на малыша, которого придурковатый односельчанин-силач способен раз сорок подбросить на руках, а как на огромную глыбу, которую он хотел охватить одним взглядом. Можно было заметить, если разглядывать вблизи глаза

ягнёнка, смутно угадываемый, фиолетово тлеющий в глубине страх и неопределённую грусть. Когда ягнёнок пугался, глаза его менялись: ободки исчезали, тонули в расширенных зрачках, глаза увеличивались, готовые вылезти на лоб. Вот тогда только и можно было поймать направление его взгляда, уловить, на что именно он смотрит и с каким выражением.

Когда же ягнёнок был беззаботно весел и доволен, глаза его ничего не выражали; он беспечно играл. И только так умел он выразить свою радость.

Мальчик, потянувшись, встал и вышел на крыльцо. Ему хотелось есть. Туман клубился над землёй. Изгородь тонула в тумане, и только над самой землёй видны были чёрные её колья, похожие на сапоги выстроившихся в шеренгу солдат. От сырости и холода стало зябко рукам, и тело всё покрылось гусиной кожей. Солнце, поднявшееся уже высоко, казалось, увязло в тумане и светилось там смутно угадываемым, белёсым шаром.

Мальчик пошёл на кухню. Огонь в очаге угасал.

Мать давно уже ушла на работу. Но было заметно, что она не одна была здесь перед уходом, кто-то ещё сидел у очага: высохшая земля была взрыхлена, а мать, наверное, не успела подмести пол.

Кто же это мог быть?

Скорей всего Мсыгуда. Случись пожар за её спиной, а в руках её полные ведра воды, она всё равно заглянет и начнёт выкладывать всё, что слышала и чего не слышала.

Наверное, мать торопилась, а Мсыгуда, не успевая выложить все сплетни, нервничала, вымещая злость свою на земляном полу.

Видно, мать очень спешила, если не успела подмести пол.

Но где же ягнёнок? Всегда он путался под ногами, а сейчас его не видно.

Мальчик вышел во двор и огляделся: нет ли его там.

Ягнёнок каждое утро щипал травку, а потом залезал на крыльцо и жевал там свою жвачку. Обычно корова, когда её загоняли на дойку, успевала, идя по двору, ухватить несколько клочьев травы, растущей на дворе. Ягнёнок же брезговал этой истоптанной травой, ему хватало и той, что росла между кольями изгороди, если он мог до неё дотянуться. (А между кольями забора, поставленного руками отца, только ягнёнок и мог просунуть свою головёнку. Вот и получалось, что нежная травка, растущая между кольями, была предназначена словно бы ему одному.) Изгородь, поставленная отцом, до сих пор, как крепость, защищала их дом, посевы и их самих.

Мальчик позвал ягнёнка, но было тихо вокруг. Не веря своим глазам, он ещё раз огляделся. Двор был пуст.

Сердце вдруг оступилось, будто кто-то сильно ударил ему в грудь. Мальчик выбежал на середину двора. Туман уже поднимался, обнажая верхушки отсыревших кольев ограды. Колья стояли, как солдаты по команде «смирно». Но ягнёнка нигде не было видно. Мальчик обежал весь двор, обежал дом – везде было пусто и уныло. И его удивило, как мог такой крохотный ягнёнок ещё вчера занимать собой весь этот огромный двор! Как пустынно было теперь без него!

Ворота закрыты. Как же он мог уйти со двора? «Видит Бог, мы не выпускали его», – говорили колья-солдаты. Всякое, конечно, бывает, он мог, конечно, выскочить, когда открывали ворота. Правда, такого никогда ещё не было. Ведь не пойдёт же он за чужим человеком! Да и со двора он не уходил ещё ни разу.

А может... вдруг вздумалось ему уйти?..

И мальчик выбежал за ворота, помчался к ахкааре – загону для телят.

Человек спокоен, когда всё, что ему нужно и дорого, находится на своих привычных местах, когда он настолько уверен в незыблемости всего этого, что может с закрытыми глазами протянуть руку и сразу найти то, что ему понадобилось. И сердце его тоже всегда на месте. Но может случиться и так: протянул руку и ощутил пустоту... Когда вдруг исчезнет то, что человек привык постоянно видеть, привык не задумываться, будет ли так завтра, будет ли всегда, тогда начинает ему вдруг казаться, будто бы он только что родился на свет и впервые познает незнакомый мир вокруг себя. Или, словно бы пробудившись, очнувшись от забытья, как бы заново открывает огромность и бесконечность мира. И видит: нет конца миру, есть в нём бесчисленное множество потаённых, неведомых мест, где могут скрыться от него по своей или чужой воле близкие ему и дорогие существа, которых он привык всегда обнаруживать рядом с собой. Когда человек понимает вдруг это, он теряет спокойствие и в нём поселяется страх и тревога за любимых и близких. Он начинает сознавать, что они могут уйти, отдалиться от него и что сам он тоже может стать далёким для них. И не так уж крепки узы, которые связывали их вместе, как думал он раньше.

Ушёл отец. Правда, он не мог не уйти. Ибо кому ж, как не отцу, было защищать мальчика и его мать, их дом и двор, и колхозное поле, где работала мать, и школу, где учился мальчик, и таких же ребят и матерей по всей огромной стране. И белого ягнёнка тоже... Так что если бы даже была возможность не уходить, отец всё равно не остался бы. Теперь его нет. Сегодня нет и завтра не будет.

Ушёл и Лаша. Слыша когда-то сочное его хрумканье по утрам, мальчик и подумать не смел, что может когда-нибудь не услышать Лашу. Он считал извечным и непреложным, что может каждое утро глядеть в умные глаза коня. И вот он ушёл.

Лаша, конечно, не хотел уходить, но нашлись люди, которым он стал нужен, и они увели его на войну. Он унёс с собой свой запах, своё ржанье, утреннее хрупанье, стремительность свою, спорящую с ураганом, унёс так же, как и умные глаза свои и стройные, тонкие ноги...

Но он не один ушёл. Не только своё унёс, но и часть мальчика. С той поры мальчик уже совсем иначе стал относиться к ушедшему навсегда коню. Он уже не любил его, а тосковал о нём. Уже не любовь, а тоска наполняла его сердце.

И отец тоже унёс с собой очень много того, что принадлежало мальчику.

Если так много будет уходить от него, ему совсем не останется радости для себя. Почему-то у радости больше всего путей и тропинок для бегства... А когда уходит радость, её не схватишь и не удержишь.

Мальчик, подбежав к загону, увидел одинокого телёнка, отгоняющего в полудрёме мух. Телёнок слышал его шаги, но даже не обернулся. А загон был маленький, и мальчик сразу увидел, что там больше не было никого.

Может быть, Мсыгуда забыла закрыть ворота? Или, может, она что-то знает о ягнёнке?

Раз уж ягнёнка не было на дворе, теперь его можно найти только в самом неожиданном и неподходящем месте. И мальчик поспешил от загона к Мсыгуде. Он ещё не совсем потерял надежду найти ягнёнка, но сердечко его, как споткнулось тогда, так и не оправилось ещё, ныло в тревоге. Когда он вбежал во двор Мсыгуды, собака, хоть и узнала его, затявкала, не поднимаясь, словно подавилась вдруг костью.

– Цыц! Дура! – закричала из кухни Мсыгуда. А потом долго и, как показалось мальчику, притворно кашляла.

Он проскользнул на кухню.

Мсыгуда, с любопытством прислушиваясь, лежала, высунув из-под одеяла обвязанную голову с красным носом.

– Ах, это ты, – протянула она кисло, потеряв всякий интерес к мальчику.

– Что с вами? – спросил мальчик, боясь начать с главного.

– Простуда, чтоб ей! – раздражённо отозвалась Мсыгуда. – Посиди, посиди, видишь – одна я в доме.

– Я спешу, – упавшим голосом сказал мальчик.

– Куда тебе спешить, проказник?

– Ягнёнка никак не могу найти, – ещё тише промолвил он, боясь услышать что-либо в ответ.

– Говоришь, ягнёнок потерялся? – Мсыгуда резко приподнялась, словно прислушиваясь к далёкому голосу. Заглянула в двери, будто увидела что-то не замеченное мальчиком. Одеяло соскользнуло, и он увидел, что она была одета.

– Он никогда не уходил со двора. Если он случай-но вышёл, то, наверное, заблудился.

– Давно его нет?

– Когда я встал, его уже не было.

– Кто же спит до такой поры? Ну и лошадь же ты! – Мсыгуда натянула на себя одеяло, будто не была одета. – Ты ведь уже не маленький.

– Не мог проснуться. Сон одолел.

– Как ты думаешь, почему я простудилась? Подумай-ка...

Мальчик молчал.

– Я ваш родник расчищала, вот и простыла. А ты даже и не думаешь об этом.

Она ещё смеет говорить – «ваш родник». Затемно встаёт, чтобы первой взять воду. А в сильную засуху родник мелеет, и стоит зачерпнуть кувшин,

как вода взбаламучивается. Потом же пристаёт ко всем со своими сплетнями, набрав уже воды.

– Я не упрекаю твою мать. Она, бедная, с утра до вечера на плантации, работает так, что кровь из носу.

Мальчик вздрогнул, услышав это сочетание слов – мать и кровь.

– Нет чтобы встать, взять самому ведро, мотыгу... Эх ты, лодырь! – И она глухо рассмеялась.

Когда же она кончит! Он ведь не за этим пришёл к ней...

– И что за воду вы пили! Сколько пиявок убила я в вашем роднике! Жирных, блестящих.

Мать очень часто сама чистила родник, а эта расчистит раз в год, а разговоров!

– Как мы только живы ещё! Эти пиявки, не приведи господь, могут присосаться, влезть под кожу и дойти до сердца. Тогда человек погибнет!

Да что она в самом-то деле! Он ведь очень спешит! – Может, вы о ягнёнке что-нибудь знаете? – жалобно спросил мальчик.

– А мать тебе ничего не сказала? – Мсыгуда подставила ухо, словно боялась не расслышать ответа.

– Ничего. А что она должна была сказать?

– Куда он мог задеваться. Мать-то, наверное, знает. – Она опять словно бы прислушалась к чему-то. – Я просила ее продать ягнёнка.

– Мы его не продаём.

– Ты-то не продаёшь, но... – Ей стало смешно, и синие её губы дрогнули в улыбке.

– И что же? Она продала?

– Нет, нет, я ничего не знаю, – холодно ответила Мсыгуда.

– Знаешь, – сказал мальчик упавшим голосом.

– Что я знаю?! – опять засмеялась Мсыгуда. – Посиди, я хочу тебе что-то сказать.

Мальчик нехотя присел на табуретку, готовый в любую минуту вскочить и убежать. Она, видимо, что-то знала и теперь раздумывала: сказать или не говорить. А может, просто хотела его самого разговорить, чтобы было потом о чём сплетничать.

– Лучше выслушай меня. Я тебе расскажу о чуде, и ты всё забудешь, – сказала она.

– Это правда?

– Клянусь своими покойными.

Мальчик знал, что Мсыгуда клялась так по любому поводу, и у него упало сердце.

– Так вот слушай. Родился ребёнок, а когда его, выкупав, положили в люльку, он заговорил. Клянусь Всевышним! И вот что он сказал: «Если на этой неделе не будет дождя, война продлится ещё пять лет». Люди, которые стояли вокруг люльки, упали на колени и стали просить Бога о помощи. «Если же на этой неделе пойдёт дождь, – сказал ребёнок, – война кончится будущей весной, когда пробьются подснежники. Пойдите и принесите

подснежники этой весны, один с запада, другой с востока, третий с севера, а четвёртый с юга». Люди так и сделали. Подснежники, принесённые с запада, севера и юга, вскоре совсем увяли, а те, что были с восточной стороны – росли еле живые и слабенькие, уродливые... «Значит, – сказал ребёнок, – между этими вёснами война будет такой жестокой, что мало кто выживет, а те, что уцелеют, все будут искалечены». Ах, горе какое! Что ждёт бедных мальчиков! Несчастные они! Несчастны и родившие их на свет! Чтоб разорвало женщин, плачущих, что у них нет детей. Слава Богу, нет у меня никого!

Мальчик с досадой встал.

– Сейчас забирают на фронт и пожилых, – сердито сказал он.

«Знай же, – подумал он, – последнее слово не всегда за тобой».

– Кто тебе сказал, негодник? – Мсыгуда растерялась от неожиданности и никак не могла опомниться.

– Мама говорила. Она даже пожалела, что единственного мужчину в нашем селе – вашего мужа, тоже могут забрать.

– Это почему?! Что ж, молодые перевелись? – с раздражением бросила Мсыгуда, спохватившись, спросила: – А кто сказал твоей матери?

Глаза её блестели, словно она собиралась ругаться с соседками из-за родника. Мальчик видел, как что-то тёмное, злое рвалось из глубины к её губам, уже готовым раскрыться и выпалить какую-то страшную новость. Но она сдержалась и не посмела сделать этого.

– Об этом все говорят, разве вы не слышали? – поддразнил её мальчик.

– Но кто? Кто именно?

– Я же сказал – все...

– Не Качия ли? – спросила Мсыгуда и посмотрела на мальчика, надеясь увидеть, как дрогнет его лицо.

– Что ещё за Качия? – сердито спросил мальчик и направился к двери.

– Ага! Так и есть... Попала! Так ты не знаешь Качию... – закричала Мсыгуда, словно натравливая собаку.

При чём тут Качия? Что общего у нас и Качии? И он с неприязнью и злостью подумал об этой здоровой женщине, которая нарочно не убирает на день постель, чтобы при случае успеть изобразить из себя больную и не выйти на работу. При этом она ещё и его же стыдит и совестит, обвиняя в безделье. А мать его в то время, как муж сражается в огне войны и от него уже целый год нет никаких известий, – мать его работает с рассвета до темна так, что и в самом деле кровь может пойти из носа.

Неужели и на войне есть такие люди?

Мальчик вернулся домой, ещё раз обошёл весь двор, громко звал ягнёнка, но его снова встретила тишина и пустынность. Бессмысленно торчали выстроившиеся в шеренгу колья изгороди, а туман уже поднялся до вершин деревьев и запутался в их ветвях.

Сердце мальчика ныло. Всё вокруг хранило равнодушное молчание. Он опять вышел на дорогу, но и дорога тоже была пустынна. Мальчик не знал, куда ещё бежать ему, где искать пропавшего ягнёнка – село было тоже

безлюдно, все дома закрыты; кто на фронте, кто на работе. А если в каком доме и остались старики, то они ничем не смогут помочь: глаза их не видят, а уши не слышат – сидят они, понурив головы, и думают неведомо о чём...

Мальчик пересёк дорогу и побрёл по засохшей грязи переулка.

Качия... Качия. Почему она вспомнила о нём? Что нас может связывать с ним? Если только придёт за налогом каким-нибудь. Но уже месяц, наверное, как его не видно не только в нашем доме, но и в селе. А что если вдруг мама отдала ему ягнёнка за какой-нибудь долг? Нет! Этого не может быть. Она не могла отдать ягнёнка! Да и что можно выручить за маленького ягнёнка? Не может этого быть!

В переулке, в этой заводи молчания, стояла тишина, нарушаемая только редким лаем собак. Но вдруг он увидел корову, которая выбежала из-за поворота и с громким мычанием помчалась навстречу ему.

Мальчик испуганно попятился, но корова, не добежав до него, остановилась у чьих-то ворот и ещё громче замычала. А из-за ворот раздалось в ответ обиженное и тихое мычание телёнка. Видимо, корова недавно отелилась, и ей не терпелось скорее облизать шершавым языком своего проголодавшегося малыша.

– А ну иди, иди отсюда! – услышал мальчик надтреснутый старческий голос, отгонявший корову. И увидел старика, который, размахивая посохом, ковылял к воротам, выйдя из-за молодых яблонь. Он не был очень стар, но так одряхлел, что острые лопатки, выпиравшие из-под рубахи, были похожи на коньки провалившейся крыши.

Мальчик, осмелев, отогнал корову, которая, закинув голову, пошла прочь, оборачиваясь и взмыкивая.

Старик догадался, что кто-то помог ему, и спросил:

– Кто ты, дад1?

Мальчик назвал себя.

– Заходи, дад.

Мальчик подошёл к старику.

– Как вы там управляетесь с матерью?

– Да так, – неопределённо ответил мальчик. – От отца есть что-нибудь?

– Нет.

– Э-э... видно, туго приходится нашей Матери-покровительнице. – Старик крепче ухватился дрожащими пальцами за посох, его глаза, почти не различавшие света, покраснели, он с трудом глотнул воздуха, кадык на тощей, жилистой шее мучительно задвигался. И от моего тоже нет ничего. Что там такое стряслось с ними, если даже весточки не могут прислать! Видно, судьба уж такая, против неё не пойдёшь... Тут уж одно только утешение: что Бог ни делает – всё к лучшему. О нас-то, стариках, и говорить не приходится, лишь бы вы со своими отцами встретились.

Мальчик не смел прервать старика, хотя ему и не стоялось на месте, словно бы земля горела у него под ногами.

---

[1] Дад (абх.) – обращение старшего мужчины к младшему.

И здесь его тоже нет. Пропал. Но как? Где? Знай старик об этом, он бы, конечно, сказал.

– Иди сюда, дад, – позвал его старик и сам побрёл к яблоням. – Погляди, нет ли цветов на них?

Яблоньки вытянулись, и молодые ветви уже требовали подрезки. А цветов не было. И даже листья сморщились от засухи. Впрочем, этой весной все деревья были такими.

– Эти яблоньки прививал мой сын.

– Видно, не пришла ещё пора им цвести, – сказал мальчик, но тут же спохватился, подумав, что зря он это сказал.

– Нет, это ранний сорт. Просто погода не даёт им зацвести. – Старик ласково погладил ствол яблоньки. – Даже природа, и та стала к нам равнодушной. Видны ли тебе горы? Мои глаза дальше шага ничего не различают.

– Их давно уже не видно из-за тумана.

Мальчик, не решаясь спросить об ягнёнке, уже с нетерпением ждал, когда старик отпустит его.

– Увидишь, побывай на них, дад! – Старик повернулся к горам. Он смотрел в ту сторону, где были горы, потеряв всякую надежду когда-нибудь увидеть их, смотрел с отчаянием, как охотник, заметивший ценную добычу в недоступном месте.

– Вы не знаете, где мой ягнёнок? – неожиданно громко спросил мальчик.

– Нет, дад, – ответил старик. – Не знаю.

Мальчик выбежал на дорогу, еле сдерживая слёзы, а старик, неловко переминаясь с ноги на ногу, остался стоять во дворе, с тоскою глядя на закрытые туманом горы, будто бы с ними стряслась беда.

Куда идти? Кто ещё ему может помочь? Где искать ягнёнка?

Вышел он на дорогу и тут же встретил всадников. Слёзы, застлавшие глаза, помешали разглядеть их. Но когда всадники подъехали, обдав его острым запахом конского пота, он увидел коней, которые, изгибая шеи, грызли удила. Коней было четыре, крепких и ещё молодых, статных, но один из них, как показалось мальчику, взглянул на него усталым и печальным глазом и, словно бы досадуя, что не в силах освободиться от железа во рту, закусил удила и отвернул морду.

– Где тебя носит в такую горячую пору?

И только теперь, подняв голову, мальчик увидел смуглого, тонкогубого всадника.

– Чей это сын?

Другой ответил:

– Его отец – фронтовик. Ты его знал? – спросил он, назвав имя отца.

– Да, мы только что говорили о его матери. Мальчик догадался, что это были люди из сельского Совета, но все они были новые, и он ещё не успел узнать никого из них. Мальчик растерянно сказал:

– А я за домом смотрю.

– Слышали? Он за домом смотрит! – воскликнул поджарый с шутейным удивлением. – Посмотрите-ка на него. Бродит по дорогам, а говорит, что смотрит за домом.

Двое всадников засмеялись.

– Или завтра на работу выйдешь, или я тебя запру в конторском подвале вместе с крысами. Вот тогда узнаешь, как за домом смотреть!

И всадник, только что смеявшийся вместе с другими, на этот раз даже не улыбнулся. Мальчик сам попытался перевести всё это в шутку и улыбнулся.

– Зря смеёшься! – сказал ему всадник.

А другой, который был с винтовкой за плечами, толстый и краснощёкий, видимо из истребительного батальона, спросил:

– А что тебе здесь надо, на дороге? Раз тебя оставили сторожить дом, дома бы и сидел.

– Я ягнёнка потерял, – сказал мальчик, почувствовав себя очень одиноким. – Я ягнёнка ищу.

– Ладно, оставьте вы его, – сказал наконец молчавший до сих пор всадник на пегом коне. Усталое и бледное его лицо отражало внутреннюю какую-то боль, и был страдальческим его взгляд; одет всадник был в поношенный китель, а на голове – зимняя шапка.

– Зачем же оставлять? – буркнул поджарый.

– Говоришь, ягнёнка потерял? – На этот раз всадник, угрожавший крысами, опять засмеялся. Но мальчик уже не решился ответить ему улыбкой. – А я скажу тебе, где твой ягнёнок.

– Где?! – воскликнул мальчик, хотя и почувствовал, что ничего доброго он не услышит.

– У Хилканы, должно быть, если она не успела его съесть, – ответил всадник и, сдерживая смех, подмигнул спутникам.

– Это правда? – Глаза мальчика опять заволокли слёзы.

– Что же, я врать тебе буду!

Мальчик повернулся и припустился бегом к дому Хилканы. Всадники пришпорили коней и, обогнав мальчика, окутали его клубами пыли.

– Сейчас нам некогда, а будет время, загляну к вам, – бросил на ходу поджарый. – Люди трудятся, не жалея себя, а он тут шатается без дела!

Мужчина в потертом кителе придержал своего пегого коня:

– Что слышно об отце?

– Ничего.

– Ты не бойся, всё будет хорошо.

– А вы знаете моего отца?

– Знаю, знаю... Вот ты на меня погляди, видишь, какой я хилый да тощий, а и то живым вернулся. А твой отец богатырь – он обязательно вернётся! Кости мои, как плетень, пули в щели пролетели, вот я и остался в живых.

Они понимающе улыбнулись друг другу: мальчик и не молодой этот всадник.

– Вы были на фронте? – спросил мальчик, повеселев.

– Был. Да вот слишком много дырок сделали во мне, слишком дырявым стал – вернули домой. А теперь вот к вам сюда прислали на помощь. Ну будь здоров, до свидания! – он тронул коня.

– До свидания, счастливого пути!

Всадник обернулся и, засмеявшись, обнажил бледные, худосочные дёсны. А мальчик заспешил к Хилкане.

Мальчик слышал, как мать говорила, что у некоторых людей имеется бронь. Что это такое, он не мог понять. Брони не было у израненного всадника на пегом коне, не было её и у отца. А вот у этих троих, которые смеялись над ним и которые угрожали ему, наверняка была бронь, если они не на войне, как все мужчины. Но почему именно у них? Или они были достойные люди? А может, у них есть какой-то скрытый изъян, незаметный внешне, как у кляч, которых не забирают на войну? Или, может быть, про таких людей говорят, что у них «рябое нутро»? Мальчику казалось, когда он думал об этом, что всё это гораздо проще; они скорее всего не хотели воевать, умудрясь всеми правдами и неправдами достать спасительную эту бронь.

Мальчик торопился, но обида не давала ему покоя. Конечно, он бы не удивился, если бы вместо них оставили руководить колхозом всадника на пегом коне. Он заслужил это право своими ранами. Но какое право имели трое других, откуда у них такая самоуверенность и наглость? Они просто трусливы и боятся идти на фронт. Нет, тут что-то не так, что-то есть... Но что?

Почти бегом миновав два переулка, он устал и пошёл шагом. Утомлённые его ноги горели, набитые на засохшей, окаменевшей, комковатой грязи.

Его, наверное, обманули. Ну зачем Хилкане его ягнёнок? Правда, он мог бы ей пригодиться, потому что сын её на фронте. Но разве могла бы мать отдать кому-нибудь ягнёнка? Нет, это невозможно! Если у Хилканы. то скорей всего заблудился и случайно попал к ней. А иначе как же? Хотя, впрочем, какое ему до этого дело! Лишь бы найти ягнёнка! Уж тогда он никому, никогда не отдал бы его!

Вместе с внучкой Хилканы ходил мальчик в школу. Они ровесники, но девочка чуть повыше его ростом. У неё добрые и ясные, хорошие глаза. Она, как и все, загорела на солнце, но загар у неё был особенным: её лицо и тело стали янтарного цвета. И только белые пятна сверкали, когда она шла босиком... Её отец тоже был на фронте, получил два ранения в боях, но письма от него приходили регулярно. Мальчик не сомневался, что если ягнёнок попал в этот дом, то он там был в безопасности.

Но вдруг он резко остановился, поняв смысл насмешливых слов одного из всадников. Он и раньше слышал про тот случай, о котором вспомнил теперь, но смеялся над суеверными людьми. Случилось это давно. На дерево, росшее у дома соседей Хилканы, стала прилетать по ночам и зловеще кричать серая сова. Соседи в страхе ждали ночи и совиного крика во тьме, приносившего беду. Однажды хозяину удалось подкрасться ночью к дереву, на котором кричала сова, и сделать отметку на стволе. По народному поверью, на

следующее утро к ним должен был прийти человек, прилетавший в образе совы и накликавший на их дом беду. Шла уже война. А наутро у Хилканы, как нарочно, не оказалось спичек в доме, и она, не подозревая ничего, пришла к соседям за огнём, чтобы разжечь свой очаг. Она долго пыталась раздуть еле тлеющие угольки, но ничего не вышло из этой затеи, и она только перепачкалась в саже. Сосед, увидев её, измазанную в чёрной саже, обомлел. «Так вот кто прилетал к нам по ночам! Вот кто носился над нами, как ветер, приносящий снег. Вот кто повергал нас в ужас, накликал на нас горе!»

– Не подходи к моему порогу! – закричал сосед, загораживая собою дверь. – И огня не дам! Чтоб ты сгорела в огне!

Поражённая Хилкана спросила:

– Что случилось? – Но, увидев взбешённый взгляд соседа и поняв, что ничего он ей не объяснит, попятилась в страхе и ушла.

С тех пор и поползли по селу слухи, что Хилкана спуталась с нечистыми силами. И без этого робкая и застенчивая, Хилкана теперь ходила в постоянном страхе, боясь услышать злое о себе и недоброе. Она боялась посмотреть людям в глаза, заточив себя в своём доме, как в темнице. А старухи стали говорить, что она потому не выходит из дома, что её сына не могут убить на войне, потому что и в нём тоже сидит нечистая сила, перешедшая в него с кровью матери.

Мальчик так напугал себя этими воспоминаниями, так ему страшно стало, что он с трудом пересилил себя, чтобы не убежать. Ему показалось странным, что у ворот Хилканы никого не было. Но всё-таки он открыл ворота и вошёл в пустынный двор. За изгородью он увидел козу с козлёнком, и вдруг из-за козы, пасшейся на травке, выросли перед мальчиком буйвол с буйволицей, запряжённые в пару. Они словно бы возникли из пустоты. Но, поборов свой страх, он заметил, что земля была вспахана. Но как? И кем?

Такую окаменевшую от засухи землю можно было вспахать только с помощью сверхъестественной силы!

И опять страх обуял мальчика.

Может, эта старуха и вправду ведьма?

Он уже хотел было убежать, глядя в ужасе на буйволов, но тут вдруг увидел свою одноклассницу, внучку Хилканы. Он не мог поверить своим глазам! Еле доставая до рукоятки плуга, напрягаясь изо всех сил, раскорячивая ноги, девочка старалась провести прямую борозду... Неужели это она вспахала землю? Но девочка тоже заметила его, и ему пришлось в смущении и робости подойти к ней. И тут он вдруг увидел самое старуху: согнувшись в три погибели, словно галка, подбирающая зёрна, она брела по участку, собирая стебли прошлогодней кукурузы. Девочка остановила буйволов, выпрямилась, став опять стройной и высокой. Её большие, ясные глаза улыбались.

Но теперь, когда страх ещё не успел уйти из сердца мальчика, эта улыбка милой девочки показалась ему очень странной, словно бы не улыбка, а гримаса зла и вражды исказила её лицо.

Мальчик содрогнулся.

«Ведь не станут же люди зря говорить, – подумал он. – Видно, и правда они все одним миром мазаны...»

И, не чуя земли под ногами, он успел подумать ещё, что всё увиденное им – просто странный сон, а не явь. Ведь говорят же, что если кто-то попадёт на их дурной глаз и они захотят вынуть живое сердце и сожрать его, то обязательно заманят своими колдовскими чарами к себе. А несчастный и не заметит этого. Может, потому он и слышал в последнее время голос отца по утрам?

Может, они специально подстроили всё это, чтобы заворожить его? Может быть, он сейчас вовсе и не стоит у них во дворе, а лежит бездыханный, ни живой, ни мёртвый, в своём доме, а всё, что он видит теперь –странное наваждение?

Мальчик, озябнув от страха, невольно ощупал себя, почувствовав под рукой мурашки.

А старуха тем временем приблизилась к нему, на лице её торчал большущий нос. Козы, поджидавшие как будто бы своего часа, тоже подошли ближе, посматривая то на него, то на девочку, то на старуху. Взгляды козлиных глаз были такими выразительными, что казалось, вот-вот заговорят козы человеческими голосами.

«Тут, наверное, и козы заколдованные, – пронеслось у мальчика в голове. – Захотят – и могут обернуться в волка. Может, это и есть то место, где собираются все нечистые, скрытые от глаз простых людей? Но где же ягнёнок? Почему его не видно здесь?»

– Что-нибудь случилось? – услышал он встревоженный голос девочки.

И тут мальчик как будто бы очнулся, увидев её изменившееся лицо, услышав её знакомый голос. С глаз его спала какая-то пелена, и стало светлее вокруг: он увидел клочья тумана, застрявшие в ветвях деревьев, а земля опять обрела свою твёрдость и уже не уходила из-под ног, упершись своей твердью в его ступни.

Дрогнувшим голосом старуха спросила:

– Несчастье?

Мальчик метнул взгляд в её сторону, и ему почудилось опять, что она похожа на козу и глаза её так же быстро и боязливо мигали, как и у козы.

– Ничего не случилось, – выдавил он глухо и услышал себя как бы издалека, таким чужим показался ему собственный свой голос.

А старуха и внучка вздохнули облегченно.

– Я пашу уже второй раз, – с гордостью сказала девочка, и было заметно, что ей не терпелось похвастаться.

– Земля-то не очень жесткая? – мальчик постепенно приходил в себя.

– Здесь она не бывает жёсткой. Рассыпчатая, как песок, – ответила Хилкана. – Кому ж ещё пахать? Разве я бы позволила такой маленькой, если бы было кому.

– А это не так уж и трудно. Вот кабы не руки, девочка показала свои узенькие покрасневшие, стёртые ладони. – И буйволицу жалко! Вот-вот должна отелиться. Ей нельзя сейчас.

До мальчика дошло наконец, что он стоит на обыкновенной земле, видит знакомых и тоже обыкновенных людей и что не себя самого, перепугавшегося до смерти, надо искать, а пропавшего ягнёнка.

– Ягнёнок наш исчез, – сказал он доверчиво. – Я думал, вы что-нибудь знаете.

Старуха и девочка переглянулись.

– Какой шерсти? – спросила Хилкана.

– Разве ты не знаешь? – грустно сказала внучка. – Он у них белый-белый, без единой чёрной шерстинки... Я ж тебе говорила, что это ихний ягнёнок.

– А где ты его видела?

– Качия вез его рано утром, привязал к седельной луке.

– Видно, мать отдала за какие-нибудь долги. Что ей, одинокой, оставалось делать, – вздохнула Хилкана. – А этот, как ворон, чует, где можно поживиться! Мужчины-то все ушли, а иначе кто бы ему дал такую власть!

– Он весной всегда болеет, кости его кривые болят, двигаться не может. Вот и молится каждую весну за себя. Жертву приносит. Помнишь, бабушка, он и у нас прошлой весной забрал ягнёнка.

– Да. И ничего не заплатил за него.

Мальчик, не сказав ни слова, опрометью выбежал со двора.

Не мог же этот Качия сегодня увезти ягнёнка и сегодня же зарезать его! Мальчик, не раздумывая, побежал к реке.

Незаметный и скромный до войны, Качия теперь стал большим человеком. Раньше о нём и не слышно было, никто и не вспоминал его имени. Вот разве только те, кому нужна была плётка. Качия делал хорошие плётки, и никто не знал, где и когда он научился этому ремеслу. Его родители никогда не были наездниками и даже не держали коня. Жили в каком-то ущелье, возделывали кукурузу, варили мамалыгу, а многие люди, вспоминая о Качни, жалели его. Когда узнавали о каком-нибудь недостойном его поступке, прощали ему это. «Ну что с калеки спросишь! Он и так Богом обижен», – говорили люди. Его хорошо знали дети, всё лето проводившие на реке. Нередко в речной заводи, заполненной детворой, неизвестно откуда возникал голый Качия и кидался в гущу детей, пытаясь поймать кого-нибудь из них. Плавал он, как собака с перебитой спиной. Острые локти торчком, как у саранчи, высовывались из воды. Дети с визгом бросались от него врассыпную: они знали, что если Качия поймает, то обязательно вопьётся в тело негнущимися своими пальцами и, окунув с головой, заорёт победно на всю реку. Дети боялись его.

А как началась война, стал Качия сельским милиционером. Теперь только и разговору что о Качии. Не было в селе такого двора, который он не посещал хотя бы раз в неделю.

Кляча его, под стать хозяину, тяжёлая и неуклюжая, опустив свою шею, похожую на дышло, ходила так не только на подъёме, но и на ровном месте,

и хозяину никогда не удавалось поднять понурую голову своей кобылы. Качия обычно разваливался в седле, опустив поводья, но, приближаясь к дому или въезжая во двор, обязательно хлестал свою клячу. Плётка его словно стреляла, но кляча не прибавляла ходу от ударов, пошатнувшись, она прижимала уши, будто бы собираясь укусить, и взмахивала своим нечесаным, в репьях хвостом. У паршивой кобылы, как говорится, хоть грива густая, а у этой даже грива росла редкими и тощими клочьями, и шея казалась оттого лысой.

Но, невзирая на свою худобу и загнанный вид, она исправно таскала на себе Качию по этой земле, точно платила свой долг тем сильным и стройным коням, которых увели на войну.

«Какая нелёгкая принесла его в наш дом, поломай он себе ноги!» – ворчал каждый, видя Качию у ворот своего дома. А ноги его и в самом деле были не лучше переломанных. Он припадал в ходьбе, раскачиваясь на ходу и казалось, его ноги не приспособлены были к твёрдой земле, и лишь по недоразумению приходилось ему ступать по суше, перебираясь, как утка, от одного водоема к другому. Шеи у Качии почти не было, но квадратная, массивная голова его, воткнутая как будто бы прямо в плечи, легко и проворно вертелась в своём углублении. Порой даже чудилось, что она, эта голова, может вращаться, как у совы. На этой голове странно было видеть копну чёрных вьющихся волос, похожих на папаху. Пальцы на его отвисших, длинных руках не гнулись.

...Мальчик между тем спустился уже в долину и шёл вдоль реки, безумно усталый и встревоженный. До войны эта долина была полна жизни. Сюда приходили разыскивать своего коня или буйволицу, сюда спускались люди скликать своих детей, увлечённых купаньем.

Человек, нашедший своего коня в вольном табуне, начинал трясти тазик с кукурузой или солью. Звук этот далеко разносился по долине, приманивая привыкших к нему коней.

Молодые, необъезженные, горячие скакуны испуганно вставали на дыбы и с громким трубным ржаньем уносились прочь, наблюдая издали. А те, которые не раз уже слышали этот знакомый и характерный звук встряхиваемой соли, останавливались и в нерешительности топтались на месте, вытягивая шеи и пытаясь разглядеть, что в тазике. Подманив коня, хозяин опускал тазик на траву, и кони, столпившись возле этого вкусного тазика, старались просунуться к нему мордой и лизнуть соль... А в тёмных лужах полуденной долины, пока не спадёт жара, чёрными глыбами лежали буйволы, словно камни, рухнувшие со скал...

Мальчик помнил, сколько веселья было здесь в летние дни, сколько ребят собиралось в долине. Чем только не занимались они! Плаванье, скачки, джигитовка, бег, игры – всё это помнила долина. Посреди долины раскинул ветвистую свою крону огромный граб, который был чуть ли не домом для всех: в жару было прохладно в его тени, а в ливень, который, как быстрый и резвый скакун, приносился вдруг с небес на землю, было сухо под ним.

Каких только сказок не слышал мальчик под этим грабом! Сколько разных и интересных людей встречал он здесь!

А сейчас, подходя к молчаливому грабу, он думал, что в этот день, пока бегал по улицам и переулкам большого села, он уже растерял по частям свои воспоминания, которые совсем недавно казались ему такими важными и ценными. И вот теперь, у старого граба, оставит всё, что у него ещё сохранилось, и уйдёт совсем другим человеком, а новый путь, по которому он пойдёт дальше, будет таинственным путём в неизвестное.

«Неужели мама могла отдать Качии ягнёнка? Нет! Он сам, конечно, забрал».

Шатаясь по дворам, увидел белого ягнёнка, положил его на седельную луку и увез. Кто ему станет перечить! Он теперь важный человек. Хочешь не хочешь, а веди себя с ним так, как если бы это был самый уважаемый человек. Кого он невзлюбит – замучает всякими придирками, не даст жизни. Вот ведь в чём проявлялась мелкая его душонка – в злобной мстительности. И такому человеку дали в руки власть.

Мальчик пытался вспомнить, когда в последний раз видел Качию в своём доме, но не вспомнил. Может, Качия приходил, когда он спал, а мама собиралась на работу? Для Качии всегда найдутся дела в любом доме, он и каждый день может приходить. Но у них в доме он был, кажется, месяц тому назад. Сначала мальчик увидел его клячу, которая еле-еле тащилась к воротам. Качия, как всегда, развалился в седле, держа в руках плеть собственной работы – с длинным и широким, как подошва, языком на конце.

Не доезжая ворот, Качия размахнулся плетью и хлестнул молодую ольху. Листья, сбитые резким ударом, закружились в воздухе, как клочья бумажного пыжа после выстрела. Подъехав ближе, он хлестнул по инжиру – полетели и его широкие листья. И уже у самых ворот он ударил свою клячу, которая, пошатнувшись и ощерив зубы, грудью растворила ворота, а войдя во двор, остановилась как вкопанная.

Ягнёнок был тогда совсем ещё маленький. Увидев Качию и его клячу, он фыркнул, словно учуял хищного зверя, забился в дальний угол двора и настороженно, испуганно следил за пришельцами.

– Добрый день, парень! – прогундосил Качия.

– Сходите с коня и милости просим в дом, – пригласила мать, выйдя из кухни и заспешив к незваному гостю.

«Как увижу его – жить не хочется», – говорила она о Качии. Но в тот раз была очень приветлива.

– Нет, нет, я спешу. – На квадратном лице Качии возникло подобие улыбки. – Где взять время? Скажу по правде, мы очень устали... Очень...

– Бедные наши мужчины – для всех сейчас везде фронт. Будь проклят Гитлер – он разжёг огонь этой войны!

Качия хлестнул плетью по сапогу и сказал с важностью на лице:

– Мы сотрём его с лица земли!

– Дай-то вам Бог удачи! – сказала мать, как будто Качия был генералом, отправлявшимся сейчас же громить врага.

– Хорошая животинка, – неожиданно произнёс Качия, взглянув на ягнёнка, который испуганно следил за ним из дальнего угла.

Выжил вот с Божьей помощью, – промолвила мать.

А Качия, выдержав паузу, съёжился от боли и сказал:

– Что бы там ни говорили, а дождю всё-таки быть.

Люди верили его предсказаниям погоды: искривлённые, больные кости служили ему лучше всякого барометра.

– Хоть бы сбылось, – вздохнула мать. – Ни одной борозды ещё не вспахано.

– Пойдёт, пойдёт дождь, – простонал Качия, и было так много уверенности в его словах, будто он сейчас же мог, протянув руку, повернуть какой-то ему одному известный краник в небе и пустить на землю долгожданный дождь.

Видимо, тело его пронизывала сильная боль: он весь скрючился, по массивному лицу его разбежалось множество морщин, словно его изрезали ножами.

– Я поговорю, чтоб тебе дали волов, чтоб ты свой участок вовремя успела вспахать, – продолжал, постанывая и гундося, Качия.

– Спасибо, Качия, чтоб мне умереть за тебя! Чем я отплачу за твою доброту? – обрадованно сказала мать. – Зачем ты так говоришь, – ответил Качия, и снова подобие улыбки появилось на его лице. – Почему бы мне не помочь тебе? Тяжело в хозяйстве без мужской руки.

А дождь и в самом деле пошёл в ту ночь. Но волов им так и не дали вовремя. А с той ночи ни одной капли не упало на землю, и участок остался невспаханным.

Неужели ягнёнок попал в его руки? Как же это могло случиться? Мать не могла сделать этого.

Вдруг мальчик услышал какие-то причитания и увидел группу малышей под грабом. Подойдя ближе, он остановился и прислушался. Все столпились над мальчиком, лежавшим под грабом.

– Ты мёртвый, не должен шевелиться, – говорила, склоняясь над ним, самая большая среди малышей девочка.

– Не открывай глаз! Разве ты видел покойника с открытыми глазами? – наказывал другой.

– Пропадут мои козы, меня домой не пустят! – плаксиво тянул «покойник», пытаясь привстать.

– Почему ты вспомнил об этом только сейчас?

– Вы же знаете, где я был. Кого бы вы оплакивали, если б в меня не попал камень.

– Ничего, ничего! Ты только не шевелись, – уговаривала его девочка, – ты молчи, потерпи. Твои останки привезли с войны, и мы тебя оплакиваем.

– Побыстрее плачьте! – потребовал «покойник». Девочка, подражая плакальщицам, распустила волосы и затянула плач. Остальные подхватили.

– Где вы видели, чтобы так долго оплакивали! – опять заныл «покойник». – Вы же не пойдёте со мной искать коз!

– Что это вы здесь делаете? – Мальчик подошёл к ним.

– Играем, – ответила девочка. Остальные расступились.

– Кто так играет! Разойдитесь, а то я скажу обо всём вашим родителям.

Мальчишка, которого оплакивали, встал. На его лоб был приклеен ольховый лист, из-под которого сочилась кровь.

– Что с тобой?

– Ранили на войне, – уверенно сообщил он.

– На какой ещё войне?

На войне с другим берегом, – пояснили остальные.

– На нашем берегу много раненых, – вмешался бывший «покойник».

Оплакивающие рассмеялись.

– А где теперь ваши враги?

– Собирают боеприпасы. – И вдруг жалобно спросил: – Ты не видел моих коз по дороге?

– Коз не видел, а ты не видел моего ягнёнка?

Мальчик задумался:

– Качия вёз на седле белого ягнёнка, не твоего ли?

– Давно?

– Не очень. Он переехал реку и смотрел с того берега, пока меня не ранили. Меня ранили, и он уехал.

Мальчик побежал к реке.

– Туда не ходи, – закричал вслед бывший «покойник», – убьют!

Но мальчик ничего не хотел слышать. Обязательно надо догнать, обязательно.

Когда он спустился к реке, никого на берегу не было.

У ольховой рощи кучками лежали собранные камни. Знакомая заводь простиралась перед ним. Вода в ней была спокойна и недвижна, и только посередине белопенный волнистый след напоминал о бурном течении быстрой реки, о бурунах, рождавших эту пену, затянутую в тихую заводь. Это была самая большая заводь на реке. И дети окрестных сёл почти одновременно учились ходить по земле и плавать в тихой этой заводи. И когда кто-нибудь из них впервые переплывал заводь – на него уже смотрели как на взрослого и многие завидовали этому гордому счастливчику.

Мальчик до сих пор помнил, как долго не решался он отважиться на это, ему даже порой казалось, что вообще невозможно переплыть эту заводь. А сверстники, уже переплывшие заводь, даже и не смотрели на него, купавшегося на мели, словно и знать не хотели.

Бывало, он приходил сюда с восходом солнца, раздевался, влезал на камень, но, взглянув на широкую заводь, никак не мог побороть в себе нерешительность, не мог броситься в этот пугающий, холодный и таинственный мир.

Однажды отец пошёл купать Лашу, и мальчик спустился к заводи вместе с ним. Солнце уже садилось, и в воде никого не было. Отец вычистил коня скребницей, искупал его и, усевшись верхом, заставил Лашу идти на глубину и плыть... А на самом глубоком месте отец даже голову Лаши окунул, и конь

громко отфыркивался... Всё это мальчик видел, стоя на камне и завидуя Лаше.

– Прыгай, плыви ко мне, – крикнул отец, выведя коня на мелкое место.

И мальчик, позабыв обо всех своих страхах, прыгнул, зажмурил глаза. Сначала ему показалось, что вода, обхватив его, затягивала его на дно, но, открыв глаза, он увидел улыбающегося отца и, пересилив страх, поплыл к отцу, а вода словно бы понесла его на своих ладонях. Всем телом, потерявшим вдруг земную тяжесть, лёгкими ногами, животом мальчик ощущал опасную и враждебную глубину под собой, но улыбка отца придавала ему силы, звала его к себе, и казалось, сама вода несла его к этой тёплой улыбке.

Как хорошо ему было в тот вечер! На следующее утро он прибежал сюда на восходе солнца, словно бы здесь давно уже ждал его лучший друг.

Усмирённая летней жарой заводь устало волновалась, еле заметный пар поднимался над её поверхностью. Лучи солнца, выглянувшего из-за холма, пронизывая воду и осветив дно, заиграли всеми цветами радуги, а в этих волнующих лучах посверкивали рыбы, которые выпрыгивали вдруг из воды, взблёскивая серебром. Серые камни на мелководье, освещённые утренним солнцем, пестрели сказочной россыпью и казались драгоценными самоцветами. Такой сказочной и прекрасной предстала перед ним в то далёкое утро большая заводь, которую он вчера ещё боялся, считая враждебной и опасной. И уже без страха плыл он по её поверхности, отдавшись этой упругой и сверкающей брызгами, ласковой воде.

Теперь он замешкался, не решаясь ступить на бревно, перекинутое через реку. Идти вброд он тоже опасался: таяли горные снега и вода в реке поднялась – стала мутной и холодной. Но мешкать было некогда. Может, Качия уже точил в эти минуты нож.

Только он ступил на лесенку к мосту, как с того берега посыпался град камней. Некоторые просвистели совсем рядом.

На берег высыпала орава мальчишек, среди которых выделялся один, крепкий и рослый, лет четырнадцати. Его-то мальчик и боялся. Отец этого крепыша служил в городе; как началась война, он отправил сына в деревню к своим родителям. Теперь этого городского все хорошо знали, он всё делал по-своему, никто не мог с ним справиться – ни учителя, ни старшие, ни его собственный дедушка. И почему-то всё сходило ему с рук, из-за уважения к его отцу, наверное...

– Я не играю с вами! – крикнул мальчик. И снова хотел взойти на мост.

– Уходи, пропади с глаз, а то не пожалею! – пригрозил камнем рослый предводитель оравы.

– Я тороплюсь. Что я вам сделал?

– Я ничего не знаю. Ты с того берега, ты наш враг!

– Что вам надо от меня? – В голосе мальчика слышались слёзы. – Я же сказал, что очень спешу.

– Огонь! – крикнул предводитель. – Огонь по врагу!

Мальчик заметил мелькнувший белый камень, но не успел уклониться; ему показалось, что он в темноте ударился головой об утёс, сорвался в бездну и долго падает.

Очнулся он мокрым на холодных камнях у заводи. Своя же голова казалась ему яйцом-болтуном, которые подкладывают в гнёзда несушек. Глухо доносился речной гул. С трудом открыв глаза, мальчик приподнялся, сел. Мрачная заводь дышала на него холодом тающих снегов, снова таинственная и чужая. Мальчик вспомнил всё, что случилось, потрогал голову, нащупал большую шишку в волосах, запёкшуюся кровь. Он не знал, сколько прошло времени. Встал и, даже не смыв кровь, побрёл к мосту. Мальчишек на другом берегу не было, только лежали камни, собранные в кучи. Он ещё раз взглянул на реку, на потемневшую заводь, над которой стлался туман, и пошёл к дому Качии.

Одолев наконец крутой подъём, он остановился на вершине холма и увидел внизу котловину, в которой стоял дом Качии. Сердце его больно сжалось, и весь он напрягся. Как далеко ему ещё идти! Как далеки отсюда были крыши из новой дранки, которые, казалось, плавали в зелёной заводи двора. Он попытался отсюда, с вершины, разглядеть среди этой зелени белую точку, но увидел лишь до смешного маленькие, кукольные фигурки людей.

Сердце его ёкнуло от предчувствия беды, и он снова обрёл себя: в уши ему кольнул гул реки, прорвав как будто плотину глухоты, донёсся шум ветра из каштановой рощи внизу и гомон птиц. Глаза его снова обрели зоркость, и он увидел вдруг отсюда, как маленькая и хромающая куколка в образе Качии пересекла двор. И это словно бы лезвием полоснуло ему по глазам. Мальчик стремглав ринулся вниз.

Он не решился войти во двор и никак не мог отдышаться от быстрого бега, прислонившись к одинокому каштану у ворот. Во дворе никого не было. Оба дома были деревянные, приземистые. Большой весь почернел от копоти и дыма. В обоих домах были распахнуты двери, словно разинутые рты. Собака настороженно притаилась у двери почерневшего дома, готовая в любой момент броситься на врага или трусливо убежать.

Из дверей вышла мать Качии – худая, сутулая старуха. Казалось, всем своим телом обхватила она деревянное блюдо, вцепилась в него руками. А на блюде что-то дымилось. Собака отпрянула, пропуская её, и заискивающе вильнула хвостом. Следом показался отец Качии, невысокий и как будто бы грубо высеченный из целой глыбы старик с такой же глубоко посаженной, как у сына, головой. Он шёл за своей «ненаглядной», дымя самодельной трубкой.

И вдруг у мальчика подкосились ноги. Он увидел во дворе стройного старика с тщательно закрученными усами, весь облик которого словно бы напоминал людям о воплощённой святости и благолепии. Старик этот был известен всему селу, потому что именно он вершил все молитвы при жертвоприношениях. Особенно он прославился во время войны. С тех пор как началась война, он больше ничем и не занимался и, видимо, доволен был

своею судьбой. Лишь по ночам его нож покоился в ножнах, а остальное время был занят мясом.

Последним из дверей вышел сам Качия, неся в руке табуретку. Переступив порог, он непонятно каким образом и откуда выхватил палку и запустил ею в собаку. Взвизгнув и заскулив от боли, собака убежала за дом и оттуда долго ещё доносилось её повизгивание. Никто даже не оглянулся на жалобный вопль собаки. Видимо, эти люди знали, что Качия обязательно должен ударить кого-то, причинить кому-то боль, и давно уже привыкли к забавам мрачного человечка.

Все они остановились посреди двора. Мать Качии взяла с блюда деревянную палочку с нанизанными на неё дымящимися кусками мяса и протянула «святому» старику.

Наверное, это были сердце и печень.

Мальчик ещё на что-то надеялся, но в глазах его уже закипали слёзы. Он не мог себе даже представить, не хотел поверить в ту страшную гнусность, которую творили на его глазах люди...

Мать Качии опустила блюдо на траву, достала из-за пазухи длинную, свёрнутую восковую свечу, расправила её, примерила к росту сына, который съёжившись стоял рядом, прикрепила её к табуретке и зажгла. Старик взял Качию за плечи, повернул его лицом к востоку, над головой его вознёс деревянный шампур с кусками печени и сердца и стал произносить слова молитвы, которые не мог расслышать мальчик. Качия, пошатываясь на кривых ногах, стоял перед ним, и чудилось мальчику, что земля и небо сдавливали его с двух сторон, сгибали, желая раздавить это ничтожество.

Каштановые деревья толпились вокруг двора, и мальчику показалось, что эти кряжистые деревья тоже готовы были ринуться во двор, заполонить собою всё, уничтожить эти мрачные дома, превратить всё это в сон, в небытие – и только колья ограды не пускали их. На каждом колу сушилась заготовленная для плети рукоятка, вырезанная из дикой лавровишни.

И мальчик вспомнил, что в сказках на частоколах, окружавших жилища нечистой силы, всегда висят черепа, и лишь один кол пустует, дожидаясь своей жертвы сказочного богатыря…

Вдруг он заметил повисшую на колу у самого дома окровавленную шкурку белого ягнёнка.

Мальчик обмер, и сердце его оборвалось, слёзы, набегавшие на глаза, высохли. Исчезли все звуки. И сам он оцепенел от ужаса и горя.

Знакомый какой-то голос донёсся вдруг издалека...

– Если вы не дадите нам испробовать печени, услышал он, – не будет силы в вашем молении.

Он машинально оглянулся на этот голос и увидел всадника, который смеялся над ним сегодня, тот спустился с крыльца и шёл навстречу Качии, а Качия, пережёвывая что-то на ходу, поспешно ковылял к говорившему с куском печени в руках.

– Ну кто выиграл? – спросил он краснощёкого человека, стоявшего ещё на крыльце дома.

– У меня никто не выигрывает, – ответил с усмешкой краснощёкий.

– Да идите же сюда, чтоб все ваши напасти постигли меня, – загундосила мать Качии, обращаясь к краснощёкому гостю, который, важничая, неторопливо спускался с крыльца.

А отец Качии, глядя на первого гостя снизу вверх, словно тот стоял на возвышении, подобострастно сказал:

– Что же вы друзей своих не взяли с собой?

– Не захотели, – ответил тот, пережёвывая печень.

– Ничего! Нам больше достанется. – И, не успев прожевать, он засунул в рот другой большой кусок, словно испугался, что вырвут из рук. – Женить его надо! – радостно посмеиваясь, будто только что отелилась его корова, сказал он, заглотав мясо. – Тогда никаких молитв не понадобится! А то вдовушек сейчас хватает... Как бы не пришлось вам каждый месяц замаливать его грехи!

Он побагровел, сотрясаемый смехом. А Качия смущённо мялся и стоял потупившись, как невинная девушка. Старик поглаживал тыльной стороной ладони холёные свои усы, которые он на ночь, наверное, накручивал, и всем своим видом говорил – Бог простит, Бог не будет гневаться на греховодника.

Весёлые и сытые, они ушли в почерневший дом, голоса их затихли, будто бы дом проглотил их.

Потрясённый мальчик никак не мог прийти в себя и всё ещё стоял в оцепенении. Горло его пересохло. Слова, рвущиеся из его груди, застревали комом в горле.

В этом дворе, радуясь, жадно рвут сердце и печень маленького ягнёнка... Может, они заглатывают и весь воздух, и чужой им человек задохнётся, ступив в этот двор? Может, потому, боясь попасть в страшный двор, жмутся друг к другу могучие каштаны?

Мальчик погладил ствол дерева, около которого стоял, и вздрогнул. Кора была искромсана, изрублена топором. Казалось, кто-то в яростной злобе изгрыз ствол зубами.

Взглянув на прощанье на окровавленную шкурку ягнёнка, мальчик повернулся и пошёл прочь.

Вдоль дороги, по которой он уходил от этого страшного места, росли деревья. Стволы их были изувечены и кора искромсана.

Что тут поделаешь! Пальцы его окостеневшие обрубить, так кусаться Качия будет, зубами грызть.

Мальчик шёл медленно: ему уже некуда было спешить. И он вдруг подумал о том, о чём никогда не приходилось ему задумываться прежде: «А что будет со мной завтра? Что я буду делать в этом загадочном завтра?»

Раньше он думал об этом так, словно бы видел сон, и сознавал при этом, что видит всего лишь сон, а не явь. Вопрос о завтрашнем дне приходил в его сознание лёгким и приятным сном. Он никогда не боялся этого «завтра» и всегда знал, что всё пойдёт своим привычным чередом.

Но сейчас этот вопрос глыбой навис над ним, и мальчик даже остановился. Да, конечно, он призадумался, когда ушёл на войну отец, когда

забрали коня. Но тогда ничто не зависело от него. Ему пришлось привыкнуть, что их не стало рядом, а вернутся ли они домой или погибнут – тут он был бессилен что-либо сделать. И чтобы не мучить себя понапрасну, он перенёс это «завтра» на неопределённое будущее.

Теперь иное дело. Теперь ему самому надо ответить на этот вопрос и самому всё решить, хотя он не знал ещё, как ответить и что решить.

...Домой он вернулся поздно, когда уже близился вечер. Туман рассеялся, а небо плотно укутали тучи, затмив собою краски заката. Вокруг опустевшего двора всё так же стояли шеренгой колья изгороди, словно бы безмолвно спрашивая пароль у входящего. В забытьи мальчик уселся на крыльце, и усталая мать, придя поздно вечером с работы, застала его в этой позе.

– Разведи огонь, – попросила она, ни о чём не спрашивая.

За весь вечер они больше не проронили ни слова, и лишь перед сном, выйдя из кухни на двор, мать промолвила, взглянув на небо:

– Если ночью не пойдёт дождь, тогда конец... Господи, вся надежда на тебя. – Она это сказала так, словно не к Богу обращалась, а к соседу.

Мальчик молча следил за ней. И уже в постели мать снова сказала:

– Если ночью пойдёт дождь, нам обещали дать волов. Качия приведёт волов и сам поможет пахать.

Она умолкла, напряжённо вслушиваясь, что скажет на это сын. А мальчик и сам удивился тому, что промолчал. При имени Качии он содрогнулся, словно к нему прикоснулось холодное и скользкое тело змеи.

Ночью его разбудил гром. Он проснулся от первого же раската, будто в нём кто-то сидел настороже и ждал грозы. Деревянные стены вздрагивали от порывов ветра. Комната осветилась внезапной вспышкой молнии: ему показалось, что доски треснули и всё рухнуло, так оглушительно и резко ударил гром. И хлынул ливень. Мальчик не мог уснуть, слушая неутихающий дождь. Этот дождь своим шумом подчёркивал полную, никем не нарушаемую теперь тишину дома и пристройки для Лаши, и мальчик остро чувствовал в эту ночь отсутствие коня. Он физически ощущал непрочность и хрупкость их маленького дома, под крышей которого притаились они с матерью, спрятавшись от небесных грохочущих обвалов. Но эта тоненькая крыша, настеленная отцом, всё-таки не давала ливню погасить их очаг. Как никогда раньше тосковал он в эту ночь об отце, всем своим существом чувствуя его одинокую постель. Две кровати были тёплыми: одну согревала мать своим телом, а другую – мальчик. Третья же кровать была пустой, и от неё веяло каким-то смертельным холодом.

Может быть, человек, укрывший когда-то их очаг, уже утратил тепло своего тела? Может, вражеская пуля уже погасила это тепло? И никакой огонь уже не в силах согреть отца?

Именно в эту дождливую ночь мальчик впервые пронзительно вдруг осознал, что его отца могут убить на войне, что он беззащитен перед свинцовыми пулями. И по щекам его потекли слёзы, щекоча горло.

Дождь не стихал до рассвета, который робко и несмело заглянул наконец в окна. Но с крыши и с деревьев ещё долго падали тяжёлые капли...

И вдруг где-то неподалеку раздались женские крики, возвестившие о смерти. Мать, которая крепко спала всю ночь, вскочила, будто и не было сна.

– Где же это кричат, слышишь? – сказала она в тревоге, пытаясь скрыть перед сыном свой страх.

Много плачей слышала она по покойникам, но не могла к ним привыкнуть и очень боялась, хотя всё чаще и чаще приходили похоронки в село.

Мальчик вышел на крыльцо и прислушался. Тоскливые и монотонные крики словно бы застыли в тихом воздухе, вознесшись, как кипарисы на холме у могил. Они доносились из того самого дома, во дворе которого он только ещё вчера разговаривал со стариком у молодых яблонь.

– Бедный старик, – вздохнула мать. – Вечером мне говорили, что ему стало худо. А вот и успокоился, не услышал плохого о сыне. Пока глаза видят, можно надеяться. А вот когда год никаких известий... – она умолкла, словно ей заткнули рот.

Это признание показалось странным мальчику, но он промолчал и сделал вид, что ничего не заметил:

А мать неожиданно ласково сказала:

– Иди в постель, простудишься, – и, как будто опасаясь услышать от сына какие-то слова, быстро вышла.

Раньше мама не могла уйти на работу, не обласкав и не утешив сына. А утешать она умела, особенно если перед этим бранила мальчика за лень. Но в это утро она как будто забыла о нём, и мальчику казалось, что между ним и мамой пробежала какая-то тень, что-то встало между ними.

Ох, уж это «что-то»! Откуда берётся и где начинается? Докопаться до этого невозможно.

Сегодня перед мальчиком, как и вчера, стоял всё тот же упрямый вопрос: что будет завтра? Ещё тяжелее и тревожнее навис он над ним.

Мальчик подошёл к постели и лег. Всё ещё слышен был плач по усопшему, и мальчику вспомнилось, как он разговаривал вчера со стариком, смотрел на яблони, посаженные его сыном... Вспомнил он и невидящий взгляд старика в сторону затуманившихся гор, и ему стало не по себе.

Человек незаметно стареет: сначала не может подняться в горы, а потом и разглядеть их уже не в силах – постепенно умирает.

Постель согрела мальчика, и он опять уснул. И пришли к нему привычные его сны. Но на этот раз он не только слышал отца, но и видел его. Отец стоял во дворе, чистил скребницей Лаша и шутил с матерью, которая беззаботно и весело смеялась. Мальчика охватило блаженство, будто сбылись наконец-то все его мечты... Но что-то толкнуло его в бок, и он мгновенно проснулся, услышав вдруг гундосый голос Качии, доносившийся с кухни. Точно так же говорил и посмеивался он вчера. Но что больше всего его поразило, так это робкий и заискивающий смех матери, которым она отвечала на слова Качии.

– Помощь моя будет стоить гораздо больше, чем твой ягнёнок, – развязно гундосил Качия.

– Да что ягнёнок! – отвечала мать. – Стоит ли говорить...

Мальчик не мог слушать этого и, поспешно встав, вышел во двор. Насытившаяся влагой земля уже не могла впитать в себя распластанные дождевые лужи. Сбитые ветром листья, пожелтевшие в засуху, пестрели на дворе. Тучи хмуро неслись по небу в сторону моря, сгущаясь мраком над горизонтом.

Шеренга мокрых, почерневших кольев безмолвно, как всегда, держала равнение на мальчика, словно бы говоря ему: «Кто-то предал тебя. Выдал пароль. И во двор пришёл тот, кому не место здесь. Мы ничего не могли сделать. Мы не виноваты».

Расседланная кобыла Качии паслась во дворе, пощипывая травку, а над растёртыми в кровь боками её и спиной кружились мухи. У самых дверей кухни стояли запряжённые волы. Они были такие тощие, что их рога казались непомерно большими и тяжёлыми.

– А-а! Проснулся, герой! – сказал Качия, увидев мальчика, и ковырнул ногой земляной пол, который уже был весь искрошен под ним. – Придётся нам с тобой поработать сегодня.

А мама с приторной ласковостью сказала Качии, склонившись к самому его лицу:

– Если бы не ты, дорогой Качия, что бы мы делали! Видно, на счастье привели тебя к нам твои ноги. Дай Бог радости тебе!

И мальчик понял, что мать это говорила не для Качии, а для него, чтобы он понял, какую важную услугу оказал Качия, приведя волов.

– П-по правде г-говоря, – заикаясь от самодовольства, сказал Качия, – м-м-мне было н-н-н-нелегко. Н-начал с председателя и дошёл до б-бригадира. Ты же знаешь, к-какой у вас б-бригадир. Он в-всегда найдёт уловку отказать, д-даже, когда видит, что отказывать н-никак нельзя. Его п-пушкой не прошибёшь, с-сидит перед т-тобой как с-слепой и глухой.

– Я хочу сам идти за плугом, – сказал мальчик, когда приступили к делу.

– Разве ты сумеешь? – робко спросила мать.

– Пусть привыкает. Я ему помогу, – вмешался Качия, морщась от боли в костях, которая ещё не утихла после ночного ливня.

Лемех плуга истерся за долгую службу и был маленький, чуть ли не с ладошку величиной, и оттого плуг не казался тяжёлым. Но мальчик, взявшись за него, растерялся. Он не раз уже ходил за плугом, но раньше он знал, что в любую минуту может бросить эту нелёгкую работу и отдать плуг другому. Теперь же ему предстояло самому вспахать весь свой участок, который показался ему таким огромным, что он даже испугался. Но он не хотел показывать свою растерянность Качии и матери. Он старался не испортить борозды, всё время думая с тоской о нескончаемом участке.

Туда...

И обратно...

И опять туда.

Раньше ему всё было интересно, и он замечал какие-то мелкие подробности: скрип дряхлого ярма, истёртого цепью, крепившей плуг; он видел потёртые до крови шеи волов, слышал, как всхрапывает один из волов, и замечал, как сочится кровь у него из ноги, пораненной неловко занесённым лемехом.

«И как можно есть пищу, добытую с помощью такого тяжкого труда животных?» – думал он, с жалостью поглядывая на волов...

Опять туда.

И снова обратно...

Какая надоедливая и нудная работа!

И как тяжело ворочать плуг на поворотах и нажимать при этом рычаг. Иной раз и забудешь нажать рычаг. Лемех, скользя по поверхности земли, не даёт сопротивления волам, и они убыстряют шаг, бегут, вырывая плуг... Волы становятся неузнаваемы и бегут, как лошади! Ах, какая глупая скотина! Неужели не понимают, что им всё равно не убежать, и напрасно они тратят силы на это. Вот уже и остановились в борозде, а ты, обозлённый на них, лупишь их по чём зря хворостиной.

И опять борозда в дальний конец участка... Потом снова назад.

И опять туда...

Всё это он живо вспомнил сейчас, приступая к работе, и вдруг почувствовал, что всё это было давным-давно. А теперь надо во что бы то ни стало не испортить первой борозды. Иначе у него обязательно отберут плуг.

Мальчик крепко впился в рукоятки. Качия, по-прежнему припадая на ноги, пошёл впереди волов. Плуг легко вспорол размякшую под дождём, потемневшую, пахучую землю.

– Да ты, оказывается, умеешь пахать! – всплеснула руками мама. – Пусть все твои напасти падут на мою голову! – воскликнула она радостно, но на этот раз мальчику почудилось, что она не очень-то рада.

Когда уже много борозд темнело ровными рядами на участке, мать ушла на кухню готовить завтрак. А мальчик, сделав ещё несколько концов, криком остановил волов.

Качия обернулся, его губы дрогнули, изображая улыбку:

– Устал, что ли? – спросил он.

Мальчик поймал его взгляд и, не опуская глаз, твёрдо смотрел на Качию. А тот удивлённо уставился на мальчика, морщась от непроходящей боли в костях. Но удивление быстро сменилось злобой.

– Ну что? – спросил он. – Чего ты смотришь?

Всю злость, которая скопилась в сердце, мальчик выплеснул одним словом, крикнув с презрением:

– Колченогий!

– К-как ты сказал?

Качия даже посинел от негодования, и, взмахнув, как палкой, длинной своей рукой с негнущимися, подагрическими пальцами, кинулся на мальчика, будто решил, забыв, что он не на речной заводи, утопить его.

А мальчик ещё крепче сжал хворостину в руке и не дрогнул. «Уходи, откуда пришёл. Не тебе здесь пахать, колченогий», – говорил его твёрдый и хмурый взгляд. Качия, в бессилии опустив руку, яростно заковылял к кухне. Едва он переступил порог, как из кухни вылетела побледневшая от гнева мать. Мальчик никогда ещё не видел её такой, словно бы это была не мама, а чужая какая-то женщина.

– Как ты посмел! – крикнула она. – Чтоб я вырвала тебя из своего сердца! – Она схватила сына за худенькие плечи, словно бы злость толкнула её так сильно, что ей надо было удержаться за эти плечи и не упасть.

– Так надо! – твёрдо ответил мальчик.

– Вот что тебе надо! Вот тебе, вот тебе! – Она хлестала его по щекам, пока руки её не устали.

А мальчик молча терпел побои, закрыв глаза, чтоб не видеть её искажённого гневом лица.

– Весь участок вспашешь один! Вернусь с работы, и если увижу, что не вспахал, учти – твоя смерть в моих руках! Мне нечего терять... – Словно поперхнувшись, замолчала, плечи её дрогнули, и она, сутулясь, пошла к кухне.

С горящим лицом мальчик прикрикнул на волов и начал пахать, налегая на рукоятки плуга. Земля была влажная. Тёплый и сырой запах ударял в ноздри, когда лемех отворачивал пласт земли... Но снова страх прокрался к нему в душу: он поднял голову и увидел опять нескончаемо огромный участок, который ему предстояло вспахать сегодня.

Вперёд...

И назад.

И снова вперёд, к дальнему концу участка...

Мальчик вспомнил, как он впервые поплыл в заводи и как отец улыбался ему, придавая своей подбадривающей улыбкой силы и смелости. А теперь он под тем же огромным небом пашет с усталыми и тощими волами отцовскую землю, царапает её в горе, как женщина свои щёки, получив похоронку на мужа или сына... Но... Это отчая Земля! Это его земля. Она тоже, как вода с заводи, держит его на своих ладонях и ведёт...

В один конец...

И обратно...

И нет у него другого пути.

Вот и пришёл к мальчику ответ на тот вопрос, который мучил его со вчерашнего дня.

Солнце показалось из-за горы, и, когда он повернулся, закончив борозду, яркие лучи ослепили его, и он закрыл глаза. Ему вдруг представилось на миг, что это двуглавая гора, из-за которой поднялось солнце, посмотрела на него через сверкающие очки.

И чего только не взбредёт в голову!

Он вспомнил своего очень доброго и очень худого одноклассника, который носил очки. Здороваясь с ним, мальчик всегда с осторожностью пожимал его хрупкую руку, словно боясь раздавить её. А ноги у него были

такие тонкие, что было странно видеть их не подломившимися под тяжестью тела. Этот худенький одноклассник любил мальчика и всегда радовался и сиял своими очками при встрече. Сам мальчик тоже чувствовал к нему симпатию.

Одноклассник этот носил непомерно большие очки с толстыми стёклами, и на его переносице всегда оставался красный след от дужки.

Приступ неудержимого и странного, удушливого, как кашель, смеха обрушился вдруг на мальчика при этом воспоминании. Глаза наполнились слезами. Слёзы заполняли его, как капли влаги наполняют новый, только что вырытый колодец. Он с усилием глотнул воздуха, избавляясь от этого необычного и пугающего смеха, и, прикрикнув на волов, повёл новую борозду, стараясь не испортить её...

Перевод Г. Семёнова

ДИКАЯ АЗАЛИЯ

В народе есть поверье, что цветы
дикой азалии приносят несчастье.

В тот день они встретились необычно рано...

Каждое утро на пересечении трёх дорог встречались трое: девочка и два мальчика. Она приходила с северной стороны, а мальчики с восточной и с западной.

Всю ночь, не переставая, шёл снег. И теперь казалось, будто за эту ночь вместе с лёгкими снежинками опустилась на землю сказочная страна. Пустынные, побитые дождями, израненные поля, изъезженные, слякотные дороги, облетевшие леса – всё было занесено девственным и ничем ещё не тронутым, чистым снегом. И чудилось, будто дымившие трубы были трубами тех заснеженных кораблей, на которых опустилась ночью эта волшебная страна. В домах весело и жарко пело пламя в печах, каминах и очагах. Из глаз разомлевших в тепле кошек смотрели сладкие сказки.

Нет, это была и в самом деле совершенно незнакомая, чудесная страна!

И те, что встретились на пересечении трёх дорог, зачарованно молчали. Поле, простиравшееся перед ними, было укрыто снегом, и ничто, кроме птичьих следов, не успело ещё нарушить его нетронутую белизну. И даже на дорогах не видно было следов. В этой пустынной белизне глаза невольно искали какой-то сказочный столб, на котором были бы начертаны таинственные слова:

На Север пойдёшь…

На Юг пойдёшь...

На Восток пойдёшь...

На Запад...

Но никаких столбов, никаких указателей... Словно в первый день творения – всё было новое, непонятное, неоткрытое, нерешённое...

На дороге под снегом хлюпала под ногами незамёрзшая грязь, и потому они пошли прямо по полю, утопая по колено в снегу. И было жалко нарушать его нетронутость. Троица эта чувствовала себя не совсем обычно: они и радовались белому чуду, но в то же время какая-то непонятная робость примешивалась к их восторгу. Души их сладко замирали, и им вдруг начинало казаться, что они превратились в невесомые снежинки, захваченные неумолимым течением снежной бесконечности. И снежная равнина становилась безбрежной, и чудилось им, что не в школу они идут, а в какую-то неведомую даль, где ещё никогда не ступала нога человека. Но это проходило, и они опять опускались с небес на землю, ощущая тяжесть своих тел.

Мальчик, который приходил с восточной стороны, был худым и долговязым, а лицо его часто бывало бледным. Другой, который приходил с запада, ростом был пониже и казался всегда краснощёким крепышом. Он напористо шагал, разрушая ногами снежную первозданность, и его длинные, красные губы стали плотно сомкнуты, будто он злился на кого-то. Долговязый его товарищ давно уже заметил это, и ему казалось, что эти сомкнутые губы сдерживали давно уже сложившиеся в сознании, переспелые фразы, которые могли бы ранить кого-то, когда человек разгневан, слова, пусть и бессмысленные, но похожие на свинцовую дробь, вылетевшую из ружья... И ему хотелось, когда он смотрел на молчаливого своего товарища, что-то как можно быстрее решить, не доводить это упорное молчание до бессмысленного «выстрела дробью», которая надолго завязнет у кого-то в сердце.

...Но до чего ж чудесен всё-таки снег! Как давно его не было! Долговязому хотелось ещё понять своей восторженной душой это великое чудо – снег, проникнуться его тайной, но, как ни старался он, у него ничего не получалось. И он, устав от этих поисков, чувствовал себя беспомощным.

А, может, это снег и виноват во всём? Его ведь не измеришь, не взвесишь...

И всё-таки как давно не выпадал снег! Хорошо, что он выпал и был таким чистым и глубоким.

Девочка была их сверстницей. Все трое оканчивали в этом году школу. Растает, сойдёт этот белый снег, и взмокшая, набухшая земля зазеленеет травой, вспоенной талой водой. А когда бурная весна вспенит зелёную травку пёстрым цветением, девочка наденет, как на праздник, свою летнюю школьную форму. Они и раньше, дожидаясь её на пересечении трёх дорог, издалека замечали нарядный белый фартук, похожий на белую бабочку среди цветущей зелени.

Но этой весной они кончат школу, и девочка навсегда, наверное, снимет свой белый фартук...

Это была очень хорошенькая и стройная девочка. Она шла теперь по снегу между двумя мальчиками, приподняв в безмерном удивлении свои брови-крылышки, и всё её существо ликовало при виде чудесного снега.

Долговязый то и дело посматривал на неё и углублялся в свои какие-то воспоминания. И вдруг ему начинало казаться, что он слышит в этом снежном просторе запах каких-то цветов. Он принюхивался и уже явственно различал запах цветов азалии. Запах был слабый и приятный.

«Какие могут быть цветы среди снега? – подумал он удивлённо. – Это просто память путает меня».

– Ты помнишь, – спросил он своего товарища, – что с нами приключилось в детстве из-за цветов азалии?

А тот, словно боясь разомкнуть губы, сдерживавшие злые слова, ещё крепче стиснул и посмотрел недоумённо: «Делать мне больше нечего! Может, ты себя и в колыбели помнишь, но при чём здесь я».

– Неужели забыл?

Тот взглянул на него с презрением и отвернулся.

– А я как сейчас помню...

И ему почудилось вдруг, что товарищ его так же и по жизни шёл, как теперь по снегу, истоптав всё позади себя, оставив за собой немое детство, похожее на слепую пещеру. Верно говорят, что для таких людей в жизни нет никаких загадок, что все пути у них заранее рассчитаны, и они их бросают, как изношенные башмаки, никогда не вспоминая о прожитом.

Он подумал так о товарище, но ему всё-таки стало больно оттого, что он плохо подумал о нем, и оттого ещё больно, что он словно бы увидел сегодня перед собой совершенно другого человека.

Сам он бережно относился к тому, что миновало и было им прожнто. Он помнил, например, сколько насмешек претерпел он от школьной своей подруги, сколько слов хороших и дерзких пришлось ему услышать от той, которая шагала теперь рядом с ним. Сама она уже, быть может, и не помнит, да и другие тоже забыли, но для него все эти слова живы и часто напоминают о себе... Он мог по желанию зажечь эти слова, как свечки, как тысячи свечек!

Её белый дом виднеется ещё издалека из-за большого и густого сада. По ночам – и только по ночам! – этому мальчику, где бы он ни находился, часто казалось, будто какая-то таинственная и мрачная фигура, освещённая болезненным светом луны, просеянным в листьях сада, раздробленным и красноватым – будто фигура эта крадётся к окошку, за которым девочка готовит уроки.

После такого видения его всю ночь мучили кошмары. Рано утром, вскочив с постели, он наспех обрызгивал лицо водой и, торопливо собравшись, бледный от бессонницы и тревожных предчувствий, спешил к тому месту, где пересекались три дороги и где они всегда встречались, всегда поджидали друг друга, приходя с разных сторон.

И, увидев её целёхонькой и как всегда жизнерадостной, он с облегчением вздыхал и сразу же забывал обо всех своих ночных переживаниях и

кошмарах, начиная тут же шутить и дурачиться. Он тоже любил насмешничать и порой доводил её до того, что она шла на него с крепко сжатыми кулачками. Так уж случилось, что он видел её лицо смеющимся и кротким только на расстоянии. Стоило ему приблизиться к ней, как лицо её становилось надменным и она готова была ответить на любую его дерзость. Это лицо он знал лучше и оно было больше знакомо ему, хотя стоило ему разлучиться с ней на несколько дней, как он начинал скучать по этому её лицу, не находя себе места.

А товарищ его, приходивший с западной стороны, становился между тем всё красивее и лучше с каждым днём: кровь так и играла на его щеках, и он всё больше следил за собой. Рано ложился и хорошо высыпался, чтобы девочка, увидев его утром, невольно бы любовалась его здоровьем и красотою. Старался не говорить лишнего, даже если сам первым заговаривал с ней, и не делать лишних движений, чтобы она не заподозрила его в суетливости.

Она тоже невольно привыкла взвешивать свои слова, когда говорила ему что-нибудь или шутила с ним.

Лицо, которое она обращала к мальчику, приходившему с запада, долговязый не любил. Ему даже казалось в такие минуты, что в ней не один, а два человека.

Он давно заметил, что лицо её порой может быть совершенно чужим, словно бы это и не её было лицо.

Странно, но таким чужим оно у неё становилось, когда кто-то хвалил его или когда он отвечал на трудный вопрос или делал то, что кроме него никто не умел делать.

Но он утешал себя тем, что его и в самом деле слишком уж часто, где нужно и не нужно, хвалили. Он и сам вовсе не хотел этих похвал и порой просто не мог их вытерпеть... А её это тоже, конечно, коробило...

И всё-таки как быстро течёт время! Кажется, только вчера она села за парту, а сегодня...

...Он опять видел перед собой преображённый снегом, непривычный и как бы отодвинутый горизонт. И тогда опять наступало мгновение, когда с замирающим сердцем начинал он ощущать себя невесомым, и его словно бы подхватывало время – эта невозвратимая бесконечность... В эти мгновения ему казались невыносимыми их ленивые, похрустывающие на снегу шаги.

А запах азалии почему-то усиливался в такие минуты. Он знал, что в морозном, чистом воздухе не может быть запаха цветов, но тем не менее слышал его.

И ему казалось это очень важным и многозначительным. Ему хотелось быть лучше и кому-то помочь, сделать что-то такое, что никто никогда ещё не делал, найти какие-то главные слова, которые могли бы выразить всё, что он чувствовал в эти минуты.

Отчего бы это? Может, во всём виноват снег? Или, может быть, оттого, что он грустил сегодня и ни разу ещё не пошутил, не подурачился, боясь нарушить снежное безмолвие?

– Что же это мы! – сказал он, останавливаясь. Сколько снегу навалило, а мы боимся притронуться к нему!

И, словно впервые увидев снег, двое его спутников тоже остановились.

– Посмотрим, кто кого! – вскричал он и бросил портфель на снег. – Кто кого!

И снежки полетели в девочку.

– Ах так! – воскликнула она с вызовом и тоже бросила свой портфель. – Думаешь, со мной легко справиться?! Как бы не так!

Лицо её было в эти минуты таким, каким оно ему нравилось. Ему стало хорошо, и он уже с азартом стал лепить снежки, хотя поначалу ему хотелось только лишь развеять свою грусть, а не играть.

– Кто кого!

Сначала он не очень-то увёртывался от её снежков и позволил догнать себя и осыпать снегом. Она была радостно возбуждена, смеялась, падала в снег и снова догоняла его, но быстро устала. Тогда он подскочил к ней и, хотя она сопротивлялась, накормил её снегом.

– С утра надо подкрепиться! – запыхавшись от игры, крикнул он и отбежал от неё подальше.

Мальчик, приходивший с запада, топтался на месте, не зная, как себя вести. Его легко можно было бы увлечь игрой, бросив в него несколько снежков, но тот, который приходил с востока, решил иначе. Ему хотелось узнать, надолго ли хватит у того терпения. Тот ведь ничего просто так не будет делать, ему нужен повод, и притом основательный. Не играть же просто так в снежки!

Девочка отважно шла на своего обидчика, а обидчик, накормивший её снегом, подпустил девочку совсем близко, видя её покрасневшие от снега руки, слыша уже запах её волос и любуясь её ловкостью.

У неё особенный смех... Никто никогда не смеялся так, как смеётся она.

И всё это только лишь для него, только он один слышал этот необыкновенный смех, принадлежавший ему, потому что сама она не догадывалась о чудесном своём смехе, а он никогда не забывал его. И всё это будет вечно жить в нём, и если он вдруг когда-нибудь затоскует, то как волшебник вызовет этот смех, и смех зазвучит в его памяти, вернувшись из прошлого, засверкает зажжёнными свечами. Можно было лишить его очень многого, но этого никто не в силах у него отобрать.

– Нет, одна ты со мной не справишься! – крикнул он. – Нападайте вдвоём!

И товарищ его издал наконец-то воинственный какой-то крик.

Ему, наверное, было обидно от сознания, что о нём как будто бы забыли. В крик его вплелись, возможно, те уготованные заранее слова, которые он держал под замком, но в пылу игры они ничего не расслышали, оглушённые бегом разгорячённой крови, грохочущей в ушах, как реки в горных теснинах.

– Вот это правильно! Вдвоём, вдвоём! Не понимаю, как это вы не догадались до сих пор! – кричал долговязый, желая ещё больше раззадорить приятеля.

Он и сам не мог понять, почему именно сегодня ему хотелось дразнить того. «Во всяком случае, – думал он, – будет что вспомнить, когда растает снег, будет над чем посмеяться». Но сам при этом чувствовал, что уж очень хочется ему раздразнить, хотя и стыдно было признаться в этом.

А тот уже догонял его, летел за ним стрелой и чуть ли не со свистом, сжимая в руке крепкий, как кусок льда, снежок. Долговязый отступил и ловко увёртывался от нападавшего, а порой и сам наступал. Девочка уже устала и не могла продолжать бой, согревая горячим дыханием свои озябшие и опухшие от снега, покрасневшие руки.

– Чего ж вы! Я ж говорю, вдвоем нападайте, вдвоём!..

И долговязый, крикнув это, увидел, как товарищ его беззвучно разомкнул свои губы, словно бы давая выход той бессловесной ярости, которая мучила его, скопившись в нём дробью передержанных слов. Несколько раз он кидал в долговязого увесистые снежки, превращённые в его руках в круглые льдышки, но всякий раз промахивался и злился от этого ещё больше.

Видимо, ему мешала ярость.

«А собственно говоря, почему он так злится: игра есть игра! Зачем же так злиться?!» – думал долговязый, увёртываясь от снежков, которые, как маленькие ядра, жужжали рядом с его головой.

Но вот наконец, когда крепыш стал беситься от бесконечных своих промахов, мальчик, приходивший с восточной стороны, не стерпел и засмеялся. А его противник, услышав смех, стал даже спотыкаться и падать от дикой ярости.

«Что же он так злится! Это же игра! И почему не смеётся она? Это же смешно, она должна смеяться... Это просто смешно, это же игра... Тут не может быть места обиде и злости…»

Но она не смеялась.

«Вообще-то это, может быть, к лучшему. А то он и вправду разозлится, услышав её смех, воспримет это как кровную обиду... Он ведь очень обидчив».

И когда долговязый подумал об этом, он опять вдруг услышал запах азалии. Он замешкался на мгновение, удивлённый этим неожиданно долетевшим до него запахом, и вдруг ему показалось, что с дребезгом и тупой болью разбилось в его глазах стекло, сверкнув фонтанами искр, – это наконец попал в него разозлённый противник.

«Уж очень он сильно сжимает снежки, – подумал мальчик. – Это уже не снежок, а какая-то льдышка, обкатанная в ладонях, получается».

А сам тем временем, не мешкая, кинул в приятеля снежок и отступил, крикнув со смехом:

– Ну что ж! Игра есть игра!

– Игра-мигра... – странно бормотал тот и, как раненый кабан, метался по снегу, стараясь ещё раз попасть в противника своими тяжёлыми маленькими ядрами-снежками.

Мальчик, приходивший с восточной стороны, был хоть и долговяз, но ловок, и его не отягощала злоба: ему ничего не стоило водить противника за нос, дразнить его, приводя в ярость, и морочить.

А в воздухе опять запахло азалией.

Это было похоже на чудо!

...В далёком детстве случилось это... Весна только-только начиналась, и всё, что должно было зеленеть и цвести, стояло ещё по-зимнему голым. Но день был погожий, солнце грело по-весеннему ласково. Они вдвоём пошли на лужайку играть. И увидели там множество самых разнообразных красивых бабочек, которые впервые показались этой весной, кружась высоко в воздухе. Мальчики с завистью смотрели на них: хотелось поймать и разглядеть эту удивительную красоту, но бабочки, увы, летали высоко и не опускались на землю. Тогда мальчики перешли на другой берег прозрачной, весело журчащей речушки и стали карабкаться по склону горы, залитому солнцем. Бабочек здесь было ещё больше, и летали они здесь ниже...

Играя в снежки, они порядком удалились от того места, где стояла девочка, ожидая их.

– Ты слышишь запах азалии? – спросил долговязый и, откинув голову, принюхивался к воздуху. – Ты знаешь, я не шучу, я и в самом деле слышу этот запах. Смешно, правда?

Ему показалось вдруг нелепым и неуместным игривое желание раздразнить друга. Какое-то доброе и светлое чувство любви разлилось в его сердце.

– Я не шучу, – повторил он, – я слышу запах азалии.

– Игра-мигра... – глухо пробормотал тот в ответ.

«Может, пора уже кончать? – подумал долговязый. – Надо бы сдаться ему. Он любит, когда сдаются. Его уже узнать трудно... Разозлился, дурачок...»

Они бегали по склону за бабочками, ослеплённые их красотою. И вдруг наткнулись на большой куст. Он одиноко рос на склоне и, усыпанный цветами, казалось, горел жарким жёлтым пламенем. И они, разинув рты от удивления, остановились перед ним.

– Это волшебные цветы, я их по сказкам знаю, они всесильны! – закричал он тогда.

И мальчики зарылись головами в цветы, вдыхая их аромат: цветы пахли, как спелая дыня. Они нарвали множество цветов, сколько мог унести каждый и со всех ног бросились в деревню.

Он всё явственнее слышал запах азалии, и запах её действительно был похож на аромат спелой дыни.

Этот запах стал казаться ему даже приторным, так ясно он слышал его.

«Что он так злится, чудак! – думал долговязый. Мне приходится увёртываться от его снежков, потому что он их превращает в льдышки. Охота была ходить с синяками да шишками! А он злится, что я попадаю в него, а он промахивается... Но ведь я кидаюсь лёгкими снежками, а это совсем не больно...»

Запах азалии не исчезал, а, наоборот, усиливался, словно бы согретый его горячим дыханием.

Они бежали по улице, стараясь быстрее принести цветы домой.

Волшебные цветы! – кричали они. – Волшебные цветы!

Но вдруг они увидели людей, которые выходили из своих домов. Люди, особенно женщины, были строги и смотрели на мальчиков с явным осуждением. И мальчики, остановившись, услышали:

– Дикая азалия! Цветы дикой азалии... Им кто-то нарочно подсказал, кому-то захотелось, чтоб в наши дворы принесли несчастье... Бедные наши цыплята! – говорили люди, морщась, как от боли, при виде этих чудесных цветов.

Мальчики не знали и не догадывались тогда, что если принести ветку цветущей азалии в дом, где есть цыплята, то они все передохнут, как осенние мухи, – в селе верили в это...

– Цветы несчастья! – закричали люди. – Цветы несчастья!

Мальчики побежали. Все переполошились в селе, словно на улицах появилась бешеная собака…

Теперь, вспоминая всё это, долговязый замешкался, и сразу два крепких снежка один за другим попали в него: один под ухом, а другой, к счастью, в спину. Удар под ухо был так силён, что вместе с искрами брызнули слёзы из глаз.

Но он нашёл в себе силы отделаться шуткой:

– В этой игре правил нет, – крикнул он, превозмогая боль. – Игра есть игра!

Мальчик чувствовал, что давно уже пора заканчивать игру, но никак не мог найти предлог.

– Ну что ж! Играть так играть!

– Игра-мигра... – бормотал его противник, войдя в раж и злобно сопя.

– У тебя, наверное, нос заложен, а то бы ты обязательно слышал запах азалии. Я же не выдумываю...

– Игра-мигра, – бормотал тот, сжимая что есть силы снег в ладонях.

Мальчики бежали, а за ними гнались люди, стараясь отрезать им все пути. Он не боялся, что его побьют – боялся, что отнимут цветы, истопчут и бросят их в мусорную яму... Но товарищ его, обмирая со страху, почувствовал вдруг слабость в животе, и пришлось взять у него цветы и бежать дальше одному, потому что тот юркнул незаметно в кусты. Цветов теперь прибавилось, и бежать стало тяжелее. Бросить же цветы он ни за что не хотел; его уже

догоняли. Люди окружили его и, видя, что ему некуда деваться, приближались к нему в зловещем спокойствии.

– Цветок, цветок, ты ведь волшебный! – взмолился он, обращаясь к цветам. – Сделай так, чтобы они не поймали меня. Пронеси их мимо! Цветок, сделай это, пожалуйста.

В это время к нему подбежал один из тех бездельников, которые вечно подпирают деревенские плетни, и, указав на опрятный белый домик, непохожий на другие, сказал, что, если он там не скроется сейчас же, люди переломают ему кости.

Взгляд долговязого мальчика как-то удивлённо остановился на противнике: тот, нагнувшись за снегом, оставался в этом положении дольше обычного и, не спуская глаз с товарища, странно шарил в снегу руками, словно ловил в воде шуструю рыбку и наконец поймал её, но не торопился вытянуть...

Девочка, стоявшая в стороне, видимо, почувствовала что-то, направилась к ним.

А долговязый уже не отступал и не бросался снежками. Воспоминания овладели им, и он уже не мог избавиться от них.

Не постучавшись, он ворвался в этот белый домик. Шум погони затих: раз азалия выбрала дом, она уже была не страшна для других...

«Волшебство... волшебство цветов!» – с восторгом думал мальчик.

Его встретила миловидная женщина с доброй улыбкой. Он протянул ей охапку цветов.

– Спасибо, – сказала она. – Какие чудесные цветы.

И тут он увидел, как глаза её наполнились слезами.

– Боже, за что они так ненавидят меня! – сказала она, посмотрев в окно...

Он почувствовал вдруг, что ему надо бы отойти и поостеречься... Словно кто-то подсказал ему об опасности, которая его подстерегает. Но он не хотел верить в свои предчувствия, и это неверие как будто гипнотизировало его...

Та женщина, в домик которой он вбежал, была, кажется, учительницей, а лоботрясы, подпиравшие плетни, ненавидели её за то, что она не давала им бездельничать. Вот они и решили сделать ей сюрприз.

– Ну ладно, хватит! Кончайте!

Это сказала девочка, подойдя к ним. Он посмотрел ей в лицо и удивился: оно сейчас было таким, каким всегда бывало, когда его хвалили... Оно было не просто бледным, а как добела раскалённое железо. Казалось, бледность её светилась.

И в это мгновение что-то мелькнуло у него перед глазами. Тот, что приходил с запада, прыгнул на него барсом и размахнулся, словно хотел

обнять и навалиться на него по-дружески, обхватив за шею. Но блеснула лезвием кинжала пойманная в снегу «рыбка».

Долговязый упал, уткнувшись лицом в снег, но сразу же пришёл в себя, хотя и не смог сразу встать. Что-то тёплое и густое застлало ему глаза. Но, сделав усилие, он поднялся. Тогда к нему подбежала девочка.

– Платок, – сказала она тоном хирурга, делающего операцию, и рукой сама вынула из его кармана платок. Она провела платком несколько раз по глазам, по лбу и бровям и, сунув ему в руки мокрый и очень красный от крови платок, велела зажать рану рукой.

А «рыбак» подошёл и как ни в чём не бывало посмотрел на товарища. Он ещё не успел отрешиться от «игры».

– Случайность, говорят, и в галушках прячется, сказал он, переводя дыхание.

– Я ж вам говорила, чтоб вы прекратили! – сказала девочка и с кулачками полезла на того, кто приходил с запада. – Вот тебе, вот тебе, вот!

А тот довольный, словно бы неумело засмеялся, подставлял ей бок.

– Это верно, – сказал долговязый. – Случайность порой даже в снегу прячется. – И пристально посмотрел на своего противника, поймав его взгляд. Но тот был невозмутим, словно бы всё ещё бубнил своё невразумительное: «игра-мигра».

– Это ты, конечно, нечаянно, – сказала девочка. А то бы... – И она, не договорив, опять ринулась на краснощёкого крепыша. А тот игриво отпрыгнул в сторону.

И долговязый, зажимая рану рукой, увидел лицо девочки, обращённое к тому, приходившему с запада, и выражение лица было такое, какое нравилось ему.

– Тоже мне, придумал игру! – сказала она, обращаясь уже к долговязому. – Ладно, ничего! Мы с тобой как-нибудь вдвоём накормим его снегом хорошенько, – говорила она с какой-то сладкой улыбкой, сдерживая её, словно бы острые уголки губ делали ей больно.

Только что она так же смотрела на того, который приходил с запада. Но тут же выражение это опять сменилось тем ненавистным, которое не нравилось ему, которое появлялось на её лице тогда, когда его при всех хвалили.

– Зато никто из вас не слышал запаха азалии, – сказал вдруг мальчик, приходивший с восточной стороны, и какой-то дикий и безудержный смех вырвался из его груди, словно его вдруг стошнило этим смехом. А двое других, будто бы ожидая этого сигнала, тоже захохотали, хватаясь за животы, корчась, как от боли, топчась на месте, кружась и пританцовывая. Но так же неожиданно, словно по приказу, умолкли.

Те двое вытерли слёзы, проступившие на глазах от смеха, а долговязый, зажимая платком рану, остался стоять со слезами на глазах.

– Идите в школу, а то опоздаете, – сказал он им. – И скажите, что я геройски истёк кровью на поле битвы.

Они ещё некоторое время не решались идти, а долговязый хотел было уже прикрикнуть на них: «Уйдите с глаз долой!» – но не крикнул и, отвернувшись, словно бы забыл о них, стал забрасывать пятна крови, алеющие на снегу. Он отнял руку с платком от виска – кровь больше не сочилась – и положил в карман намокший платок.

Когда они ушли, он отыскал глазами тот злополучный снежок и, нагнувшись, поднял его: это был грязный осколок камня величиной с гусиное яйцо. Он соскрёб с камня примёрзший к нему снег и зажал его в руке. Он не пошёл по следам ушедших, не желая встретиться в таком виде с кем-нибудь из товарищей, а направился в снежный, ещё никем не тронутый простор поля.

Проходя мимо развилки трёх дорог, он пересёк поле и вышел на это пересечение.

Три дороги сходились здесь: одна с севера, другая с запада, а третья с востока и на восток.

Здесь, на перепутье дорог, не было ни указателя, ни камня, на котором бы, как в сказке, было написано:

На Север пойдёшь...

На Юг...

На Запад...

На Восток пойдёшь ...

Только лишь утренние их следы виднелись в заснеженном поле.

Он постоял немного, словно ожидая чего-то, потом, нагнувшись, разжал пальцы и положил камень на пересечении трёх дорог. Вытер руки снегом и пошёл по утренним своим следам, оставленным им, когда он спешил сюда.

С утра собиравшиеся снеговые тучи наконец сгустились, провисли над землёй, и из них полетел снег, занося опять все следы. Он был густой и мохнатый. И мальчик, глядя на летящие снежинки, вспомнил вдруг опять бабочек той далёкой весны, которые порхали над солнечными склонами...

И тут же в нос ему опять ударил запах азалии. На этот раз слабый и приятный.

«Запах азалии...» – грустно улыбнулся он.

Может быть, среди этого множества бабочек были и бабочки-однодневки. Бабочки, которым отпущен всего лишь один-единственный день для жизни. Кто может знать, сколько надо, чтобы один день сделать целой жизнью!

Бабочки, не живущие дольше одного дня...

Перевод Г.Семёнова

ДУРНАЯ КРОВЬ

Можно было начать работу до прихода мужа, но она выбрала ожидание, а вместе с ним и укромное место. Примяла высокую, ещё не тронутою косой,

но уже сухую траву и села. Терпкий, кисловатый запах чуть переспевшей бузины сразу же ударил в нос. Он был так равномерен и вездесущ, что трудно было угадать, откуда он идёт. Недалеко от неё соцветия девясила, крапивы, коровяка, стольника висели поникшие и обугленные. Буйно и лихорадочно прошла по травостою жизнь, положенная ему, заполняя пору роста, цветения и спелости. Сильный дух бузины поглощал запахи даже мелких, ещё живых цветов, а может быть, они просто не пахли. Чуткими ноздрями она пыталась уловить дыхание этих мелких жителей травы – красных и белых было меньше, а жёлтые и лилово-сизые составляли заметное большинство, но даже дух тления и умирания, который должен идти от вянущего травостоя, отступал под напором бузины. Весь воздух был пропитан терпким запахом.

Наконец она увидела и сами кустики бузины. Её розовые, очень высокие стебли тянулись под старыми засыхающими стволами ольхи, жёлтые листья которой были съедены древесной молью. Бузина была усыпана чёрными, ещё упругими гроздьями, но своим обострённым обонянием она уловила их переспелость, и здесь рождался ещё очень слабый запах умирания.

Пока ещё ни одна птица не оцарапала своим клювом чёрные зёрна бузины, а внизу, в долине, уже не найти ни одного целого кустика.

Как хорошо они поступили, с удовольствием подумала она, что отказались бросить или продать свой старый дом, свою землю, на которой выращивают табак и кукурузу.

Недалеко от неё, в прогревшемся разнотравье, совсем по-летнему пел кузнечик. Его пение сквозь этот тихий прозрачный осенний день проникло в глубины жизни и разворошило детство. И теперь её немолодое, тронутое морщинами тело жгло, обдавало жаром, как в те времена, когда негодные мальчишки, нет, нет, милые озорники, догнав их, совали им крапиву в трусики, если, конечно, на них были трусики.

Она вынула зеркальце из кармана старенького фланелевого халата, закапанного табачным клеем, пропахшего сырым табаком и грубым чайным листом, который срезают уже в самом конце, когда гонят план. Шершавой ладонью она провела по зеркальцу, потом вывернула подол и остатками фланелевой мягкости тщательно протёрла. И глянула в него.

– Пф-фф... – прыснула она. Не шедшая её возрасту упрямая девичья беспечность изменила лицо: глаза стали больше, утончив разрез под усталыми обвисшими веками, ноздри раздувались, словно переполненные знойным воздухом лёгкие работали по-молодому. И только губы отставали от общего оживления, глубокие складки над их уголками не исчезли. Но она не сетовала на это, потому что их образовала полнота жизни, это были следы света, улыбки, смеха, любовь постепенно изнашивала тело, и душу, и лицо, но это было в хорошем порядке вещей.

– Пф-фф-фф! – опять прыснула она. Губы сложились в смешок, складки стали ещё глубже, и пушок на них стал ощутимее и грубее.

В молодости, когда она предчувствовала радость, в глазах её появлялся блеск, заставлявший окружающих коситься на неё. Но она знала, что это

природа её существа, свет её характера, такой же естественный, как дыхание, даже если бы она захотела скрыть его, она не смогла бы, и в этом не было ничего нечистого, порочного.

Она спрятала зеркальце в карман, отодвинула корзину с припасами, отложила подальше серп и легла. Когда прямо в лицо попало солнце, всё ещё одолевающее прохладу, она закрыла глаза. Закрытыми глазами она видела сплошное красное, но это красное не полыхало невыносимо жарко, как летом, оно было спокойное, ровное, даже матовое. На красном две скачущие чёрные точки, отстоящие друг от друга на расстоянии глаз. Это и есть её глаза. В детстве, да и потом тоже, у неё была привычка смотреть на солнце прямо, широко открытыми глазами. Сразу после этого опуская веки, она видела в полыхающе-огненной красноте эти качающиеся две точки – её глаза. Когда она тут же начинала двигать глазными яблоками, появлялось много точек, причудливо окрашенных, такое никогда не увидишь открытыми глазами.

Когда она рассказывала об этом своим подругам, они смотрели замкнуто, с недоверием и иногда шушукались в стороне от неё. Уже взрослой она как-то поинтересовалась, о чём же они шептались. Оказывается, неизвестно с каких пор, но поговаривали, что в их роду у всех женщин дурная кровь. Непонятно, правда, как это может быть, чтобы в одном и том же роду у женщин была дурная кровь, а у мужчин – обыкновенная. Но, видимо, эта молва следует за их родом давно, потому что никто не помнит, какая же женщина их рода была первой носительницей дурной крови.

Всё это шушуканье не помешало ей вырасти здоровой и крепкой, но мужчины их семьи очень переживали из-за этих слухов. Хотя разве был у них в селе хоть один род, о котором бы ничего не говорили. Об одних шла молва, что они чуть ли не всей семьёй ездят верхом на волках, другим приписывали связь с сатаной, у третьих был дурной глаз, у четвёртых – плохая нога. Попадались, конечно, и такие, встретить которых, считалось счастливой приметой, некоторые обладали хорошим глазом или ногой. И совсем было мало таких, о которых не говорили совсем ничего, ни плохого, ни хорошего.

Но время идёт и меняет всё. Когда мужчина из рода ездящих верхом на волке купил новенькую блестящую машину и гордо проехался по селу, что можно было говорить о нём после этого; или когда из семьи с дурным глазом вышли влиятельные люди, разве другим их глаза не показались самыми желанными, если раньше их обходили стороной, то сейчас просто мечтают попасться им на глаза. А вот её род так ничем и не отличился, потому и не хотят им ничего простить...

Да и сегодня все те, о ком говорят с плохим умыслом, в основном люди беззащитные, незаметные. И какую силу тогда может иметь дурной глаз или плохая нога, если их обладатель жалок и бессилен? Просто такой человек терпелив, и перед ним не бывает неудобно.

В далёком селе, в отцовском доме, её братья до сих пор здорово переживают. Но сама она и тогда не переживала, а сейчас – и подавно. Её

муж, заметив её равнодушие к слухам, иногда говорил ей об этом, шутя или бранясь, потом привык, и все эти бредни о дурной крови потеряли смысл.

Вдруг она ощутила, что солнечное тепло, нежарко гревшее её, исчезло. Она открыла глаза: ольха заслоняла поднявшееся солнце. Старое дерево наслаждалось своим минутным могуществом, задерживая лучи в редких ветвях.

На горизонте темнели высокие холмы, по-осеннему прозрачное небо чутко отражало шум протекающей внизу реки. У неё было хорошо и спокойно на душе, и увядающий травостой, и твердь земная, на которой она возлежала, дерево с редкою листвою и куст бузины, обвешанный переспевшими гроздьями, все приняли её как равную среди равных, она не терялась среди них и не возвышалась над ними, так же как они, проходила она свой срок цветения и созревания, чтобы следующей весною начать всё сначала...

Слабое движение воздуха шло по её лицу, как по живой ряби пруда... Но был ли это обычный ветерок, который, появившись, срывает несколько жёлтых листьев и исчезает, пока они падают на землю? Нет, нет, это было дыхание её жизни. Всегда, когда обыденная суета оставляла её, появлялось это движение воздуха, и она знала, что это Его дыхание. Чем больше она уставала от набегающих лет, чем большее количество людей, когда-то связанных с её жизнью, отступало в прошлое, тем более свежим и желанным становился Его образ. Вот так человек, которого долго-долго не видишь, но встреча с которым свежа, как ссадина, становится как бы божеством.

Ты неисправимая, Агра, в голове которой гуляет ветер, улыбаясь, думала она о себе, растянувшись на подмятой траве и жадно вдыхая, как во времена беременности, терпкий запах переспелой бузины.

Где уж ей молодиться, когда дочери повыскакивали замуж, а один сын этой весной ушёл в армию... Правда, последний, который и на свет появился лишь по её воле, он ещё только в пятом классе.

Она потянулась, и стало ещё спокойнее, словно она ещё глубже погрузилась в траву и тишину. Солнце опять стало ласково пригревать её, и она закрыла глаза. Такое состояние она называла «всё-всё», и самое приятное, что ей хотелось всё глубже погружаться в этот колодец спокойствия, чтобы ощутить себя свободной до мельчайших капилляров. В это время она услышала шаги, шелестящие по сухой траве. Она не шевельнулась, но блаженство начало расплываться, и её выбросило на поверхность, как рыбу из воды. Шаги смолкли в метре от неё, но она не открыла глаза.

Да, муж уже не тот, думала она неторопливо, и походка не та.

Раздалось шуршание, такое скучное, он уже переминался с ноги на ногу. Если бы тогда, когда они были молоды, он увидел её в таком положении... Даже его короткие пальцы оживали, каждый из них оживал, и они в мгновение ока успевали везде... А теперь эти пальцы, просто короткие, с несмываемой грязью в трещинах, с просвечивающими, как янтарь, мозолями, сжимают рукоять плуга, водят трактор, держат мотыгу, отламывают кусок за

куском мамалыгу, пока он не насытится – и все дела...

– Ты что, спишь? – решился он наконец.

Что-то дрогнуло в его голосе, значит, он ещё не совсем конченый человек, посмеялась она в душе.

Она открыла глаза, но не шевельнулась, не сделала попытки прикрыть голые ноги.

– Как... как ты валяешься... – наконец его горло отпустило, и голос стал ровным, как всегда, когда его не тянуло к её телу. Так же, как вытекает из чашки вода, если надавить на её край, так он сказанным выпустил из себя то, что заставляло дрожать его голос при первом вопросе.

– А если кто увидит? Стыд и срам... Ты же не молодка уже...

– Не знаю, как ты, я старой себя не считаю, – сказала она беззлобно, кроткая, словно только что видела прекрасный сон. – У меня сердце ещё молодое, я ещё не сдаюсь. А кое-кто и в молодости не отличался и сейчас похвалиться не может...

– Вставай, вставай, что ты, что твои слова – одно! – сказал он с лёгким раздражением. – Недаром говорят...

– И что же это говорят? – она быстро присела. – Ну-ну, не медли, открой свой рот, свой ларчик, который ты захлопнул так быстро.

– Вставай, не видишь, время прошло, – он уже старался смягчить сказанное.

– Бедняжка, ты и вправду стал стареть, – глядя на него снизу вверх, она покачала головой, – и непривычная трусость появилась. «Недаром говорят, что у вас дурная кровь» – это ты хотел сказать, правда?

Он молча нагнулся и поднял свой серп.

От того, что она видела его снизу, он не смотрелся лучше, чем есть, скорее, даже хуже: голова стала меньше, а торс тяжелее, и рот, который она только что сравнивала с захлопнувшимся ларчиком, не закрывался полностью, мешали расшатавшиеся зубы, часть из которых стала выдаваться, жёсткие стриженные усы поседели и обвисли, и снизу хорошо было видно, что покрасневшие ноздри тронуты насморком.

Она встала и застегнула свой старый фланелевый халат, который одевала сверху при пыльных работах, как панцирь древнего воина, защищавший от вражеских стрел. Потом посмотрела на мужа, улыбнулась ему, склонив голову, и почти кокетливо пожала плечами, мол, всё понимаю, но ничем помочь не могу. И он, как бы мимоходом, быстро обвёл её не то влюблённым, не то ревнующим взглядом: недаром говорят... недаром...

– Не знаю, как ты, милый мой, но я должна перекусить, – она приподняла полотенце, брошенное на корзинку с едой.

– Совсем же недавно завтракали и так плотно... – он провёл по лезвию мотыги мозолистыми пальцами, словно решил сыграть на нём, потом косолапо двинулся к кукурузному участку, где початки уже были собраны и увезены, а стебли надо было срезать, связать снопами и повесить стогами на дерево до зимы.

– Утро, это утро... – сказала она нараспев, как будто готовилась петь. – А

вот ты не говоришь о том, как высоко поднялось солнце... А у меня аппетит отменный, зачем же себе отказывать... – она засмеялась звонким девичьим смехом и с удовольствием стала есть амгиал[1] и молодой сыр, густо намазанный аджикой. Он ещё раз посмотрел на неё с тем же выражением, потом взмахнул серпом и срезал первый стебель.

Ей нравилось, когда он работал, это состояние шло ему: и руки, и плечи, и ноги – всё становилось заметнее, выпуклее, значительнее и к месту. Работа сразу же срывала с него всю деланность, которая появлялась в праздные моменты, когда он старался казаться важным. Сейчас это был не тот человек, которого знали соседи, его и её родственники, разбросанные по всему району, обосновавшиеся даже в Сухуме, – человек, который носил вполне приличное имя Леуарсан. Конечно, нельзя сказать, что это был уж совсем не он, но во время работы слетало всё то, что под этим именем он обычно выносил в люди. И когда после работы, после такого долгого натурального состояния, он отдыхал, исчезал особый блеск в его глазах, тяжело обвисали руки, и весь он начинал походить на топорную деревянную куклу. В такие минуты она его жалела, давала ему побрюзжать, даже выругаться, делала вид, что подчиняется ему, угождала, чтобы в очередной раз он поверил, что имеет беспрекословную власть над женой. Он быстро забывал про усталость и, довольный, начинал пыжиться, как муж, который при желании может настоять на своём.

Конечно, в глубине души он догадывался, что это далеко не так, но даже в этих моментах притворства он черпал достаточную уверенность и счастье. Она вообще была уверена в том, что он и не хотел, чтобы она находилась под его башмаком, потому что он жалел её больше, чем она его.

Перекусив, она опять хорошо прикрыла корзину полотенцем и приспособила её между ветвями молодой, ещё совсем зелёной ольхи.

– Теперь я буду резать, – сказала она, взяв серп, – пока ты свяжешь всё это, я успею сделать много.

Кукурузные стебли были не очень сухие и легко срезались. Когда её привезли сюда совсем молоденькой невесткой, они жили здесь, в небольшой лощине под холмом, на котором кладбища двух-трёх родов. Пока жива была свекровь, она не разрешала им переселиться в долину. Здесь не было большого хозяйства, всё было предельно скромно, но сделано её руками и полито её потом. Изредка, когда им надоедало пахать и сеять на этих крутых, не очень плодородных склонах, они начинали роптать на неудобства и тесноту, на бездорожье... Старушка соглашалась со всем этим, но спрашивала, могут ли они найти что-нибудь равное этим великанам, и указывала на огромные ореховые деревья, которые, впрочем, несмотря на свои размеры, давали урожай раз в два года. И, правда была зарыта в другом, старушку держали здесь могилы мужа и дочери, умершей в малолетстве. Сама-то она, Агра-кокетка, прозвище которой пришло сюда вместе с ней, про себя думала о том, что стоит ли держаться за косточки, которые зарыты в

[1] Амгиал – чурек

землю. Она никому не признавалась в этих мыслях и не была уверена в своей правоте, но всё же продолжала думать по-своему.

Как только свекровь тоже обрела покой возле дорогих ей могил, они обнесли кладбище скромной железной оградой и через годик спустились жить в долину. Выстроили дом, разбили хороший сад и виноградник, вырастили детей, и для детей именно этот очаг – родной. Но самой ей тоже трудно было распрощаться со старым очагом, и она согласилась с желанием мужа не передавать и не продавать его. Ей казалось, что муж после смерти хочет лежать рядом с родными. А о своей смерти она никогда не задумывалась и не размышляла, где будут лежать её кости. Потом они убедились, что поступили очень верно: внизу у них земли было мало, почти вся ушла под сад и виноградник, а здесь они для колхоза выращивали кукурузу и табак. И после уборки надолго пригоняли сюда свой скот.

Здесь же стоял и домик на высоких каштановых сваях, в котором они провели свою первую ночь, о чём она могла вспоминать открыто, вслух, а он вспоминал молча, не выдавая себя.

Она работала легко и скоро. Не переставая работать, посмотрела на мужа: он поднимал сноп, обнимая его обеими руками, как живое существо, время и ритм подгоняли его, управляли им, и он сразу же обвязывал сноп пучком длинностебельных трав и надевал на обрезанный кукурузный стебель, чтобы не свалил ветер.

– Не делай снопы громоздкими, – крикнул он. – Слишком высоко срезаешь... – и опять что-то сердито пробормотал, видимо, ту же присказку, что и всегда.

– А ты не любишь, когда есть что обнимать, что ощутить, – засмеялась она.

– У тебе в голове только это, – сказал он почти добродушно. Замолчали. И каждый ушёл в свою работу.

С самого утра его образ так и увивается вокруг неё, всё время витает где-то совсем рядом, обдаёт её лёгким своим дыханием. И всё не может найти нужный момент, чтобы целиком завладеть ею. А вот сейчас уже, пожалуй, не отвертеться. Она жалобно посмотрела на мужа, будто действительно вздумала ему изменить. Ей уже не под силу отогнать воспоминание, но пока она хоть скажет мужу что-нибудь ласковое. Она подумала, какой же частью его имени к нему обратиться. Она делила его имя на части и в зависимости от его настроения и своих желаний выбирала какую-нибудь часть. Когда ей хотелось ему угодить, она называла его «Ле... », когда, хотела немного подразнить – «...уар», а когда хотела пококетничать, заставить его расчувствоваться, вкрадчиво произносила окончание его имени – «...са», и оставляла губы чуть приоткрытыми, словно держала в них драгоценный камень. Она понимала, что он уже не тот, устал, постарел, даже перестал пыжиться, на это у него уже не хватало терпения, поэтому перед тем, как обратиться к нему, надо хорошенько подумать.

–Ле-уар... – произнесла она в меру кокетливо, приостановив серп в воздухе.

Он чуть дольше продержал сноп в обнимку, затем, чтобы не сбить ритм, остервенело рванул пучок кручёной травы и, крепко-накрепко обвязав сноп, резким взмахом насадил его на стебель.

– Ле-уар… – чуть кокетливее и решительнее повторила она. – Не надрывайся… Мы же везде уже убрали. Повернуться не успеем, как одолеем и это... Погода хорошая, куда нам спешить...

– А что у нас, других дел что ли нет, – сказал он примирительно. –Зятей наших пригласить надо... Ты же знаешь, как спешили твои дочки замуж, боялись, что в девках останутся.

– Это же хорошо, – обрадовалась она.

– Если устала, отдохни, – он так и не освоил ласковый тон и избегал его. – Поднимись домой, пройдись по двору, освежись у родника...

Если бы она уже не была охвачена сладостным ощущением предстоящих воспоминаний, она бы так и сделала, но как можно было сейчас оставить его за работой одного.

– Нет, нет, я ещё не успела устать, – сказала она. – А если даже устала, не могу же я одного тебя оставить, это случалось со мной, когда я была молодой, ветреной, глупой, но теперь... Ай, ай, Лиау.., Лиау.., за кого ты меня принимаешь, – кокетливо засмеялась она.

И он засмеялся, обмякнув, но сразу же спохватился и быстро поднял большой сноп, чтобы прижать к себе, как живого. И она снова начала орудовать серпом, срезанные стебли так и падали друг на друга, а сама постепенно углублялась в воспоминания, нет, скорее, в свою вторую жизнь.

Зачем начинать издалека, если вот он стоит перед её глазами: высокий, хорошо сложен, чёрный костюм и белоснежная сорочка, а галстук похож на чёрную бабочку и прикреплён к вороту рубашки. Даже этот странный галстук не смутил её. В тот день на соседской свадьбе он был одет, как никто другой. Видимо, это и определило отношение к нему свадебной публики: в таком одеянии, особенно с чёрной бабочкой на шее, человек не мог быть серьёзным, и потому для них он уже не существовал. Лицо удлинённое, бледное; несмотря на молодость, густые, красиво лежащие волосы были с сильной проседью. «Видимо, в детстве он потёр волосы рыбой…» – подумала она, когда чудесным случаем её взгляд выхватил его из плотной толпы, где он стоял одиноко. Она слышала от старух, что ранняя седина бывает именно от этого. Одновременно его взгляд нашёл её. Хотя расстояние было порядочным. Нет, его взгляд нашёл её раньше. Она, как всегда, самозабвенно участвовала в обслуживании свадьбы. Никого не видела, ничего не замечала и вихрем носилась по двору. Она одна успевала делать то, что не успевали несколько её подруг вместе. Делала вовсе не потому, чтобы её приметили и похвалили, а просто она любила делать всё быстро и с полной отдачей. Подруги опять начали шушукаться в её сторону, видимо, всё о том же чешут языки, посмеялась она в душе, скоро чесотка будет у них на языках. Она не обращала на них внимание, и это злило их ещё больше. Вот

они-то и заметили, как он смотрит на неё. И она, почувствовав это, метнула взгляд и увидела, как он заворожено смотрит на неё, на её действительно ни с чем не сравнимую проворность. А сплетницы побледнели и стали вслух говорить то, о чём шептались, так что все вокруг услышали и начали на ходу переиначивать. «Чешем, чешем язычки?..» – она тоже стала вслух говорить подругам, то и дело проскакивая мимо них. Он вышел из толпы и подошёл ближе, не скрывая своего восхищённого взгляда. И она, проносясь стрелой, бросала на него взгляды. И всё-таки всем своим трепещущим существом она не желала, чтобы они столкнулись лицом к лицу так, чтобы пришлось обменяться словами, всё должно было происходить на расстоянии взаимной симпатии и взглядов. Даже от обмена взглядами сердце так замирало, что она боялась упасть. Не то что эта окружность, этот двор, но и те долины и холмы, которые достигал её зоркий глаз, едва ли вместят их стремление друг к другу. Поэтому лучше всего на расстоянии – взглядом, сердцем.

Головой она, может, и не додумалась бы до такого, но всё её цветущее здоровое существо, молодая горячая кровь оказались разумнее, а эти ещё языки чешут, что у неё дурная кровь.

Он, видимо, хотел познакомиться, она заметила, как несколько раз он порывался подойти, но она старалась сохранить расстояние. Может быть, она перестаралась, страдала она втихомолку, но чувствовала, что близость может всё испортить. Разве кто-нибудь освободит для них поля, холмы и долины, всё это пространство её зоркого взгляда, необходимое для их чувства. Если божество хотя бы однажды стало доступно твоему взору, надо принять это как великую благость, какая близость может быть больше этого?

Но тут, когда она в очередной раз выскочила из ащапы[1], его вдруг не оказалось на привычном месте. Она даже не стала искать его в шумной свадебной толпе, сразу поняла, что его здесь нет, потому что она никогда не видела такого пустого места. Она повернулась к сплетницам, бросила им ненависть своего побледневшего лица и поднос с бутылками и сладостями и убежала. Через мгновение она была уже далека от свадебного двора. Она безошибочно угадывала дорогу, по которой он уходил. Потому что после него она была невыносимо пуста. Когда она подбежала к высокому берегу речушки, отделявшей их село от остального мира, он уже ступил на висячий мост и даже сделал несколько шагов. Вдруг балансирующие его плечи, спина замерли, и он приостановился. И на миг попал в положение птицы, опустившей крылья в глубине неба. Под ним бурлила меж больших камней речушка, и высота была достаточной, чтобы сильно разбиться... Она вскрикнула. Надо было сдержаться, но и голос её был быстрым, как она сама, его ничем нельзя было удержать в тесноте гортани. И когда он обернулся на крик, его сильно качнуло в сторону, но он тут же вытянул руки, и они удержали его. Быстро перейдя на тот берег, он обернулся и посмотрел в её сторону. Бледное лицо его осветилось бледным огнём.

Нет, он не божество... Но он явился из бесконечности её мечты, откуда

[1] Ащапа (абх.) – навес для пирующих, крытый обычным брезентом.

ещё никто не делал шагов. Поэтому на свадьбе его никто и не знал, и потом никто не вспомнит, кто он такой, откуда пришёл и кто его пригласил... Его и не провожал никто, его даже не догадались пригласить за стол, его вообще могли бы не заметить, если бы не их взгляды, вызвавшие любопытство сплетниц.

И берег, на котором он сейчас стоял, до этого тоже не существовал, это было другое место, другая территория. Она сразу поняла, что ей туда нельзя, но не упала духом. Ведь она его видит и созерцает. И он знал, что путь ей туда заказан, поэтому был таким печальным. И он уже не мог вернуться назад... Вокруг него было свечение, которое отделяло его от других.

В это время до неё донеслись голоса, режущие слух, и она обернулась: на склоне, откуда, как на ладони, виден весь речной берег, по колено в папоротнике стояли те самые сплетницы и ещё человека четыре, и все указывали друг другу на неё. Видимо, они с самого начала крались за ней. Догнать её они, конечно, не могли, но старались не упустить из виду. И, наверняка, надеялись застукать её в тот момент, когда она прыгнет и кинется ему на шею. Она представила себе их разочарование – увидеть между двоими реку и мост. Всё же они подали голос, чтобы она знала об их присутствии, о том, что они свидетели увиденного. Они, конечно, не догадываются, почему она не переходит на тот берег или он на этот. Они рабы того, что видят их неострые глаза и слышит их неострый слух.

Когда она вновь повернулась к тому берегу, он был пуст. Он был ещё более пуст, чем то место на свадебном дворе. Но так же, как остаётся на какое-то время след солнца после его заката, так же на том берегу держался слабый светлый след. Она уже не слышала, что ей кричали сверху, только всё явственнее становился шум речушки, как будто она бурлила всё сильнее. Неизвестно, какой силы достигли бы эти звуки, если бы кто-то вдруг не схватил её кисть, словно железным обручем. Это был её старший брат. После этого она целую неделю не могла показаться на улице...

Вдруг до неё дошёл голос мужа из обыденного мира. Прислушиваться надо было осторожно, чтобы не разрушить строй тех воспоминаний, той жизни. Она остановилась. На миг ощутила, как рука, держащая серп, онемела. Удивительно, но, когда её тело живёт в одной жизни, а душа и сердце – в другой, она устаёт гораздо быстрее.

Она не сразу вышла из своего состояния. Ей казалось, что пощёчины, которые надавал ей брат, всё ещё горят на щеках, а красные ссадины на запястьях ещё не превратились в синяки. Потом она заметила тень мужа, его силуэт, который одной рукой прижимал к себе сноп, а другой размахивал. Сначала она разглядела, что муж открывает и закрывает рот, видимо, что-то говорит, и лишь потом, как гром после сверкнувшей молнии, услышала его голос:

– Не срезай слишком высоко, слишком...

Неужели только из-за этого он потратил столько энергии, подумала она беззлобно, бедняга. Только сейчас она заметила, что, захватив узкую полосу, ушла далеко вперёд. А намного удобнее было захватить полосу пошире.

– П-ф-ф-фф – прыснула она.

– Начинается похихикивание... Начинается! – последнее слово он почти выкрикнул, словно застал её с кем-нибудь. Он уже давно заметил, что иногда она умудряется физически быть здесь, а душой проваливается куда-то. Это он неспроста сейчас крикнул, хочет её вернуть. Он ревнует её к этому состоянию, наверное, чувствует, как она удаляется от него в такие минуты. Эти сплетни, которые сопровождали её в юности, дошли и до него. Особенно охотно их пересказывали ему, когда он начал сватать её. И хотя потом он убедился, что всё это ерунда, но злосчастное «нет дыма без огня» опять ставило всё под подозрение.

– Ниже бери, ниже, срезай ниже!

– Слышу, слышу! – бросила она нетерпеливо и посмотрела, как он прижимает к себе сноп, словно живое существо.

Как сильно он сдал, подумала она, в его голосе уже нет той тетивы ревности, которая натягивалась, когда по воле, более сильной, чем его и её собственная, она погружалась в то состояние... А может быть, это его уже совсем не волнует.

Опять её потянуло в другую свою жизнь. А руки привычно работали, учитывая замечание мужа .

...После зимних каникул она не вернулась в школу. В учении она была не последней, и были у неё кое-какие планы, да и терпение под стать мулу, и к сплетням, от которых потеряли покой её близкие, она относилась чаще всего равнодушно, но в школе не могла оставаться: теперь не только подруги, но и учителя, особенно учительницы, судачили у неё за спиной. При каждом удобном случае ей напоминали её проступок, позорящий звание советской школьницы, комсомолки. Обычно она больше дружила с мальчишками, но сейчас и они смотрели на неё другими глазами.

Всё же она не пала духом, не сломалась, потому что у неё было то, чего не было у других – его образ, воспоминание о нём. Когда отчаяние всё же настигало её, она мысленно переносилась во двор, где на свадьбе встретились их взгляды, и отчётливо видела то место, где он стоял – как золотистый след солнца после заката, сначала там появлялся свет, а потом начинал проглядывать его образ.

После случившегося старший брат дал грозное обещание оторвать ей голову, если она выйдет из дома. Случившееся, а что, собственно, случилось, очень сильно переживали в семье, особенно это отразилось на матери. В быстроте, в проворности мать опережала всех в семье, даже её. По утрам за считанные минуты она ходила по воду, доила коров, выгоняла их пастись, заполняла умывальники водой, готовила завтрак... Когда она уходила или уезжала куда-нибудь, провожатые не успевали дойти до середины двора, как она уже была далеко внизу, у самой речушки.

А после этого случая мать с трудом переступала порог. Вся семья переживала так, словно она покрыла их невиданным позором или сидит дома брюхатая неизвестно от кого.

Но всё это мало задевало её, воспоминания отгораживали от всех.

Она сидела дома, и наконец ей стало невтерпёж. Желание увидеть его хотя бы издалека так разрослось, что сводило её с ума. Однажды, когда брат ушёл на работу, она тайными тропами дошла до шоссе. Недалеко от остановки автобуса она устроилась так, чтобы оставаться незамеченной, и наблюдала за пассажирами. Из небольших автобусов, облезлых, тарахтящих, выходили, как правило, её односельчане с сумками и свертками. Но были красивые длинные автобусы, резкие и короткие сигналы которых напоминали журавлиный крик из-под небес. Они мчались, занимая почти всю дорогу, и пролетали мимо. Но изредка один из них останавливался, открывались двери, неуклюже сползали наземь один или два пассажира, двери быстро закрывались, и автобус нетерпеливо трогался с места.

Она убеждала себя, что он не ездит на автобусах. Но так хотелось увидеть его издалека, хотя бы издалека, со стороны... Увидеть близко и так, чтобы стоять лицом к лицу, нет, нет, Господи, она не смеет и желать такого, это так много, что не может и не должно состояться.

Во второй раз она добралась до железнодорожной платформы. И там, несмотря на множество людей, она нашла укромный уголок, откуда можно было смотреть на поезда, не вызывая любопытства. Холёные молодые люди, расфуфыренные девушки, упитанные дамы и мужчины, важные, разодетые, разгуливали по перрону, занятые собой, своими прихотями и капризами, входили в поезда и выходили из них, некоторые исчезали на привокзальной площади, взяв такси или дождавшись автобуса.

Вдруг прибыл длинный пассажирский поезд. Он остановился, но люди не спешили выходить. Сердце её дрогнуло и часто-часто забилось. Вот на таком поезде он мог приехать. И стало страшно увидеть его. Ещё страшнее, если он увидит её. Ведь если она заметит его, он тоже сразу же непременно заметит её. Она не успела оглянуться, как уже стояла перед облюбованным вагоном. Видимо, стоянка ожидалась долгой. Люди выходили медленно, будто нехотя, кое-кто останавливался у выхода, смотрел сверху на привокзальную площадь и только потом начинал медленно спускаться.

В это время ей показалось, что кто-то стоит у выхода из соседнего вагона. Она резко повернулась: это был не он, хотя сначала он поразительно напомнил его. Он тоже сразу заметил её. Одет он был в чёрный костюм, чёрный галстук-бабочка выделялся на белой рубашке. И волосы у него были густые, целая копна, но они были взъерошены, а одежда помята, словно он спал в ней. И лицо у него было полное, опухшее, видно было, что он любит вино. И сейчас он был навеселе. Глаза его блеском мутных лужиц посмотрели на неё с умыслом. «Хо-хо-хуу...» – вырвалось из его горла, он вытянул шею, словно собираясь сказать ей что-то на ухо. Она отпрянула. «Дикарка!» – произнёс он и весь затрясся – это он смеялся, но слава богу, почти беззвучным был его смех. В мгновение ока она была уже на самом конце перрона. Она понимала, что надо идти домой, что там будут беспокоиться, но что-то не отпускало её. К тому же, после этого, с мутными глазами, одетого, как он, появилась неведомая до сих пор тревога, и ей

хотелось плакать.

Когда стемнело, она вошла в здание вокзала. Но среди тех, кто ходил, задрав голову и посматривая на большие часы, или тех, кто дремал в зале ожидания, его не могло быть, и она опять выбежала на перрон. Со свойственным ей проворством проносилась она по перрону из конца в конец, и вдруг в лицо ей заглянул невысокий плотный парень с белесыми бровями, он был курнос, и на лице, как огромный шрам, выделялся толстогубый рот. Как будто промелькнула свиная морда. Она домчалась до конца перрона, но обратно пошла не спеша, чтобы проверить, померещилось ли ей или лицо парня действительно, похоже на свиное рыло. В середине перрона она попала в толпу ребят призывного возраста, свиное рыло было среди них, щеголяя толстущими, как шрам на лице, губами. Другие пассажиры спокойно проходили мимо этой развязной компании, но для неё это были животные... Преобладали ослы с пронзительным блеском в глазах, нахальные и жадные, и нетрудно было догадаться, какого рода эта жадность... Было два-три быка с вылупленными, налившимися кровью глазами, и ещё несколько бродячих собак, искусанных, изгаженных, бегающих только сворой и в испуге ложащихся на спину; изредка, бросая в дрожь, проглядывали и глаза двух-трёх бешеных собак, не глаза, а свежая кровоточащая рана.

Свиное рыло опять догнал её. Подошёл вплотную и разомкнул свои толстенные губы: «Хочешь, в ресторан тебя приглашу. Откроем бутылку шампанского...» Начало каждой фразы сопровождалось булькающим звуком в горле и напоминало свиное хрюканье. Она легко могла скрыться от него, но решила ещё немного послушать: «хрхр... Я тебя сразу приметил, понравилась ты мне... Такая ты свеженькая, ещё не обсохшая... Хорошую обувь тебе достану, все завскладами мои друзья … Хр-хр, мой дядя большой человек, хорошее место тебе подберём…»

Увидев, что она внимательно слушает его, Рыло схватил её за руку. А шайка, которая шла за ними, начала медленно настигать их, и голоса становились всё громче. Ослы же должны реветь громко, подумала она. А бродячие собаки на всякий случай уже скулили на разные лады.

Рыло держал её за правую кисть. Она стремительно вырвалась, и затрещина прозвучала хлёстко и сильно. Когда возбуждение отпустило её, не только хрюканье и визжание, но и грохот колёс, пыхтение паровоза, всё доносилось смутно и издалека.

...Дома старший брат так рванулся к ней, что в мгновение ока она оказалась уже на верхушке огромного орехового дерева, которое было украшением их двора. Дерево было нестарое, и по гладкому стволу мог залезть не каждый. На земле она не могла убежать от брата, сноровка матери воплотилась у него в скорость бега. Единственным спасением было дерево. Непонятно, в кого брат пошёл, но лазанье по деревьям было его правой ногой

Сасрыквы[1]. И как пёс, загнавший кошку на дерево, он остался стоять внизу. «Посмотрим, сколько ты будешь там сидеть...» – бросил он уходя.

Он больше всех в доме любил её и боялся, что дурная молва сломает её судьбу. Он знал, что она никогда не сделает плохого, но родители и младшие братья твердили, что дыма без огня не бывает, и тогда, как зубная боль, его стали одолевать сомнения.

На той же неделе её родня договорилась с роднёй будущего мужа, когда они успели, и им устроили свидание в доме дальнего родственника. Будущий супруг всё пыжился, и она, не выдержав, два раза открыто хохотнула. «Смешной», – подумала она с невольной жалостью. Хотя он делал вид, что не обращает на неё внимания, она сразу догадались, что он, бедный, готов увести её в ту же ночь. Он был гораздо старше её, с невзрачной внешностью, но она дала согласие, не затруднив родных уговорами.

Через месяц она уже стояла невестой в белом шифоновом платке, надвинутом на глаза, между двумя подружками, одна с её стороны, а вторая – с его, в тесной комнатушке маленького каштанового домика на высоких сваях. Свадьба была в этом самом предгорном селе, гости делали скромные подарки, сопровождая их пышными речами. Женщины восхищались её большими глазами и юностью, уверяли, что она ещё пахнет молоком. Она слышала шёпот молодых женщин, недоумевавших, зачем такая юная красивая девушка согласилась похоронить себя в этой глухомани, куда и ослы-то не идут жеребиться. Но если даже дома, когда родные прощались с ней, ей было всё равно, то здесь и подавно этот шёпот её не трогал.

Свадьба кончилась поздно ночью. Даже в этом селе уже не строили амхара – отдельный временный домик для новобрачных, и они остались в каштановой акваскьа. Подружки ушли. Она постояла одна, безразлично прислушиваясь к перешёптываниям за стеной, обклеенной новенькой цветастой шпалерой. Потом всё смолкло, открылась дверь, и вошла довольно молодая женщина, крепкими загорелыми руками начала стелить постель на приземистой, крепко сбитой деревянной кровати. Шуршали сильно накрахмаленные простыни. Женщина долго сбивала подушки, наконец подняла одеяло и положила его так, что большая часть простыни оставалась открытой, загадочная улыбка женщины говорила, вот ты и попалась. Когда женщина выскользнула из комнаты, она повесила свой платок-фату на изголовье и плюхнулась на стул. Ноги её онемели от долгого стояния.

Опустошённая, не знающая, чем себя занять, она просидела довольно долго. Уже смолкли голоса и тех, кто обслуживали свадьбу и потому сели за стол последними. Она встала, отдёрнула маленькую кружевную занавеску и выглянула в оконце: на небе ни тучки, но темно, от редких звёзд, как от льдинок, исходило острое мерцание. Она попыталась сообразить, что сейчас, начало месяца или конец. Не смогла, но всё же решила, что время безлунья.

[1] Правая нога Сасрыквы – то же, что и ахиллесова пята. Согласно Нартскому эпосу, когда Сысрыкву закаляли в кипящей стали, кузнец держал его щипцами за правую ногу, и то место осталось уязвимым.

Она опять села. Непонятный страх подкосил быстрые, крепкие, как у оленихи, ноги. Потом подошла к двери и начала лихорадочно искать задвижку. Сначала она ничего не нашла на голых досках, и сердце у неё упало. Свет от лампы был слабым. И вдруг её рука наткнулась на большой увесистый крючок, почему-то он находился выше, чем обычно. Закрыв дверь, она вздохнула свободнее. И в изнеможении повалилась прямо в постель. Лежала долго, с гудящей головой, и не понимала, что происходит. И тут в гулкой пугающей тишине что-то стало проясняться. Где же он? Она присела. Он окончательно исчез. Нет, днём он появлялся. Она стояла под косынкой-фатой, а он несколько раз проходил мимо, и она слышала его дыхание.

А сейчас? Его нигде нет, и воздух застыл в страшной тишине его отсутствия. Она поспешила вызвать его образ, но шум вокзала и смачная болтовня пассажиров, садящихся в поезд, заполнили её слух... Потом перед глазами замелькали лица: испитый, опухший овал с чёрным галстуком-бабочкой, хрюкающее свиное рыло, ревущие ослы и скулящие бродячие собаки. Она передёрнулась от страха, застонала и сжала руками концы простыни.

Тишину нарушили робкие сбивчивые шаги, у самых дверей человек замер. Она услышала, как он толкнул дверь, сперва осторожно, потом сильнее и настойчивее. Убедившись, что она заперта, он опять затаился.

Кто знает, размышляла она, о чём думает он теперь, стоя перед закрытой дверью, он, всегда желавший казаться лучше, чем есть. Может быть, о том, что её родные хотели сбагрить её с рук, отдать любому, кто на неё позарится…

Конечно, он с самого начала понимал, что тут дело нечистое, разве могла бы такая юная и цветущая достаться ему, будь с ней всё в порядке. Хотя, наверное, он до самого конца оставлял себе слабую надежду. И сейчас он думает, что она закрылась, боясь разоблачения.

Но он не знает, что последнее слово за ней. До сих пор самым главным она считала присутствие в её душе того, кто оставил за собою светлый след. И вдруг он исчез. Если так и пойдёт дальше, тогда вся эта затея – замужество, семья, хозяйство – всё это пустое и ни к чему...

Может быть, он исчез, потому что она не нашла его, потому что вторая встреча не состоялась? А где ещё было искать его, ведь она не была только там, где взлетают и садятся самолёты. И днём, и ночью, всегда и везде она держала ухо востро, не обмолвится ли кто-нибудь о нём хоть словечком, но все молчали, словно его никогда и не было.

А может быть, он существовал, пока она смотрела на него? Может, он явился сюда случайно, оттуда, где нет людей? Может, пока она его искала, он удалился на такое расстояние, что его образ и воспоминание о нём не могут найти к ней дорогу?

Жуткая тишина опять надвинулась на неё. Она представила, как тот, кто уже считает её своей женой, стоит или сидит на полу, согнувшись в три

погибели и не зная, что делать. Он же ни в чём не виноват, он не умыкнул её, не взял насильно. Жалость пустила в ней корни, и в тот же миг она увидела двор, где происходила та свадьба, место, где стоял тот, другой, и откуда он ушёл. Сперва, лаская её взгляд, засветился тихий свет, и из него выступил его образ. На этот раз он прямо пошёл к ней. Минуя стоящего у двери, он вошёл и приблизился. Она хотела встать, хотела сказать ему что-то, но сладостный жар испепелял звуки в месте их зарождения... Её поднимало и опускало, и по спине пошло замирающее движение.

И тут, сквозь сладостную тянущую боль, жалость к стоящему за дверью подняла её на ноги. Теперь она сразу нашла крючок. Тень за дверью дрогнула и подалась вперёд...

С тех пор его образ, воспоминание о нём были так же ощутимы, как его физическое присутствие. Но она ни разу не допустила, чтобы это присутствие лишило её самообладания, и потому считала, что сохранила чистоту супружеских отношений.

...Постепенно замирало дыхание её второй жизни, подсвечивающей первую.

Она уже начала резать стебли по кругу, чтобы идти навстречу мужу. Рука, всё это время державшая рабочий темп, устала. Вдруг она вспомнила, что время к обеду, и обрадовалась, что сейчас покормит уставшего, раздражённого мужа, приласкает его, живущего только в этой наружной жизни. Но не успела она остановиться и разогнуться, как он, поставив связанный сноп на стебель, вытянул шею в сторону холма, где были кладбища. Она тоже прислушалась: её острый слух мгновенно уловил плач и причитания. Обычно она не принимала близко к сердцу смерть, кроме безвременной и насильственной, но сейчас, может быть, оттого, что сладостное дуновение ещё касалось её плеч, она передернулась от еле уловимого плача.

–Там кто-то причитает, – донёсся до неё голос Леуарсы. Она услышала в его голосе смятение и пошла к нему.

– Видимо, привезли откуда-то, но почему мы ничего не знали, – сказал он. – Убегают отсюда без оглядки, но и там тоже не сладко. Сыпятся наземь, как переспелая алыча. Вот и возвращаются сюда, откуда уходили, погасив свои очаги... Но зато здесь есть вечные очаги, заложенные их отцами – кладбища...

Ей трудно было слушать, как он старается казаться умнее, чем есть, повторяя чужие, набившие оскомину слова. Конечно, он знает, что она видит, как он пыжится, несмотря на усталость, на возраст, но свыше его сил отказаться от этого. Обычно она относилась к этому снисходительно, иногда даже оправдывала его, думая, что у неё есть отдушина, её внутренняя жизнь, почему бы и ему не позволить себе попыжиться, но сейчас это было неуместно, и она смерила его неприязненным взглядом.

Плач стал громче. Явственно выделялся голос немолодой женщины.

– Пойдём к роднику, умоемся, – уже спокойно сказал он. – Надо подняться туда, неудобно делать вид, что мы не слышим.

– Может, ты один пойдёшь? Я подожду здесь, – промолвила она, –

настроение окончательно испортилось. – Не знаю, почему, но очень не хочется идти...

Если на свадьбе она могла обслуживать за пятерых, то на похоронах была абсолютно беспомощна и не знала, чем заняться, потому что не понимала смерть и не старалась её понять.

– Идём, идём, и на людей посмотришь, – сказал он, снимая верхнюю рубашку, такую же замызганную, как её фланелевый халат.

Солнце, ещё не зашедшее за холм, зажгло верхушки деревьев.

Наверху людей было не так уж много. Сквозь редкую толпу они издалека увидели гроб. Могилу рыли на окраине холма, далеко более новых могил, рядом с очень старыми, провалившимися. Вынутый из ямы краснозём на фоне совсем зелёной травы казался рыхлой горкой, оставшейся от огромного крота.

У неё подкашивались ноги, и она остановилась передохнуть. Леуарса не заметил этого и направился к людям, стоявшим у гроба. Она сделала вид, что хочет взглянуть на могилы своих родственников, слава Богу, что здесь, на сухой обезвоженной земле, растёт только низкая трава, и могилы выглядят ухоженными, только камни обросли густым мхом. Помедлив, она подошла к плачущим женщинам и остановилась немного в стороне. Соседки сделали вид, что не узнают и это было ей на руку. Ей видны были только обувь и носки покойника, выглядывавшие из-под оранжевого атласного покрывала. Они передавали всесильную неподвижность смерти, её резкие черты, ранящие воздух. Сердце забилось, как пойманная птица, и приказало посмотреть на лицо покойника. Она протиснулась между женщинам, натыкаясь на их холодные взгляды, но лицо покойника было закрыто, лишь выпуклость на месте шеи задержала её внимание, казалось, что из-под покрывала выпирает галстук-бабочка.

Мало ли кто носит такие галстуки, носил же его тот мутноглазый, стоявший на ступеньках поезда, подсказала ей быстрота, которая жила в её существе. Сейчас она забегала вперёд, чтобы успокоить её.

У изголовья гроба стояла седая женщина в глубоком трауре. Сквозь морщины и безутешное горе проглядывали и благородные черты стареющего лица. Она не причитала, только потрескавшиеся губы еле слышно повторяли: «Сынок, сыночек мой...» По обе стороны от неё стояли две молодые женщины, по всему было видно, что они приехали с гробом. Они негромко всхлипывали.

Быстрота, бьющаяся в теле, обращала её внимание на все детали и мелочи, словно это было очень важно. Но она сейчас жила отдельно от неё, не зная, что делать, куда смотреть, она зачем-то обернулась в сторону гор и увидела, что вершины, на которых уже лежал снег, расцвечены закатным солнцем, солнцем мёртвых, как его здесь называют.

В это время раздался голос:

– Пожалуйста, отойдите немного в сторону.

Произнёс эти слова высокий поджарый мужчина, талия которого была

туго-натуго перехвачена широким ремнем. И словно от того, что так туго перетянута талия, он говорил приглушённым голосом, который кончался где-то в гортани.

Кроме матери покойного и двух молодых женщин, все отступили на несколько шагов. Она тоже осталась на месте, боясь шевельнуться. Два дюжих мужика перенесли гроб на край вырытой могилы. Обе молодые женщины зарыдали, а мать, плотно сомкнув губы, с невидящим взглядом, пошла к гробу. Несколько женщин, стоящих в кругу, начали всхлипывать.

– Прошу не плакать! – сказал мужчина с туго перехваченной талией. – Пожалейте усопшего.

Женщины в кругу замолкли, а две молодые, подошедшие к гробу, продолжали беззвучно плакать. Одна из них нагнулась и откинула покрывало, открыв лицо покойника.

Толпа женщин невольно подалась вперёд, и Агра качнулась вместе с ними. И тут же застыла, точно окаменела – та лёгкость, которая столько лет жила в ней и выручала её, забегая вперёд и зажигая несбыточное, вдруг исчезла.

Это был он!

Волосы были уже совсем седые, лицо осунулось и удлинилось. Явных следов старения не было, и шея его была такой же молодой, как во время их встречи. Сквозь иссиня-чёрный цвет мёртвого лица еле проглядывало слабое удивление, и более ничего – ни обиды, ни улыбки...

Наконец она смогла вдохнуть воздух и в тяжёлой тишине сдержала стон, идущий наружу вместе с выдохом. Начали опускать гроб, и никто не обращал внимание на то, что она заставляла своё тело уходить, превозмогая каменную неподвижность.

Сразу за кладбищенским холмом она прислонилась к старой изгороди. На заснеженных вершинах ещё лежал отсвет солнца мёртвых, и она безучастно подивилась тому, как далеки они от человеческой боли и радости... На какое-то мгновение её дух отделился от тяжёлого тела, и она почти перестала ощущать землю под ногами. Но это тут же прошло, настолько уже была велика в ней сила человеческой беспомощности перед горем.

Она заковыляла вниз, к себе. Бесцельно прошлась по неухоженному, запущенному двору, потом уставилась на каштановый дом и поразилась его крошечности. Вспоминала, как на смотринах, один из гостей, уже подвыпивший, заплетающимся языком тупо повторял: «Стоит каштановый дом, аж взлететь готов, такой красоты, что и дурной глаз ослепнет, взглянув на него...»

В том же году они посадили яблоню, зимний сорт. Плодов было много, но они ещё не дозрели. Она сорвала низко висевшее яблоко с румяным боком и надкусила. Оно оказалось твёрдым и кислым, и она бросила его.

– Чтоб ты высохла под корень! – сказала она, еле отрывая от нёба высохший язык. Голос был совсем чужой. А может, это и есть её подлинный голос, просто до сих пор она его не слышала.

Между молодыми яблонями лежал её фланелевый халат, который она

скинула, умываясь, её пропахший табаком и грубым чайным листом панцирь в бессмысленной войне, называемой работой. Она взглянула на него с отвращением и пошла прочь со двора.

Не зная, зачем, она снова принялась за работу. Нарезала стеблей уже на несколько снопов, когда подошёл муж.

– На сегодня, пожалуй, хватит, – сказал он спокойно и умиротворённо. – Эти я мигом свяжу и поставлю. На безлунье может быть любая неожиданность.

Не слушая его, она привычным движением отяжелевших рук продолжала взмахивать серпом.

Заметив её безучастность, он помедлил и тоже взялся работать. Заканчивая вязать второй сноп, сказал, что предки покойника жили здесь испокон веков. А отец его уехал отсюда и утонул в море. Труп так и не нашли. Вдова всю жизнь посвятила детям, дала им образование, воспитала людьми... Но и образование отнимает детей у родителей. Сын жил вдали от матери, и она видела его очень редко...

Ей ничего не хотелось знать о нём, всё, что нужно было, она знала. Чтобы заглушить голос мужа, она начала яростно взмахивать серпом, ускорив темп работы. Вдруг она вскрикнула от боли и увидела, как поверх левой руки брызнула кровь. Уронив серп, она поникла и сползла наземь. Муж поставил сноп на срезанный стебель и посмотрел в её сторону, дай Бог, чтоб ничего серьёзного не случилось, надо продолжать работу, но заметил кровь на её руке и пошёл к ней.

– Говорил же я тебе, хватит на сегодня, – сказал он раздражённо. – Куда ты всегда спешишь, кто тебя гонит... Вечно одно нетерпение...

Он наклонился и хотел взять её руку.

– Не прикасайся! – сказала она тихо, но с силой крика. Он замер.

– Кровью истекаешь, разве не видишь, – в его голосе сплелись беспокойство и раздражение. – Чтоб тебе... и всему твоему роду!

Рана оказалась глубокой, кровь густела, но продолжала стекать. Вдруг она увидела, как прямо на густую кровь падают крупные частые капли... Она успела понять, что это её слёзы, и услышала звуки, которых её гортань не знала раньше – плач и вой сопровождались визгом, а в ушах свербел писк, словно засыпанный в норе зверёк оплакивал себя.

Он стоял рядом, не зная, как подступиться. Никогда он не видел её такой: смешливые борозды её лица стали морщинами плача, губы отвисли и при каждом всхлипе безобразно кривились. Пыль от кукурузных стеблей ползла под слезами и меняла очертания лица ещё резче.

Напрасно говорят, что у них дурная кровь, злился он, они просто психованные, жалость совсем исчезла, и ему захотелось взять и избить её хорошенько.

Какие ещё капризы в нашем возрасте, продолжал он накручивать себя. И стыдно перед людьми, жена совсем отбилась от рук.

Она неожиданно умолкла, шумно вытерла нос обеими руками и обтерла

их о подол. Лицо, исполосованное острыми кукурузными листьями, сильно зажгло от подсыхающих слёз. Немного полегчало на душе, и первыми всплыли в памяти дети: дочери, рано выскочившие замуж и хорошо живущие с мужьями, крепкий старший сын, пишущий из армии, и младший, последыш, который ещё не может жить без неё. На каждом школьном празднике он читает стихи, его звонкий радостный голос донёсся до неё, как дуновение ветра...

Она успела всем им передать быструю лёгкость, которая столько лет жила в ней и которую она сегодня потеряла. А в детях эта лёгкость продолжится, она сделает их ноги надёжными, а их самих жизнерадостными служителями светлого.

Муж наблюдал за ней, ему стало стыдно за недавнюю вспышку злости, он обмяк и почти с нежностью смотрел на её выпрямляющуюся спину. Когда-то он взял её не задумываясь, за её молодость и красоту, хотя и слышал, о чём говорят окружающие. А потом убедился, что она чиста и безгрешна, хотя иногда и ветрена до легкомыслия. Кто мог подумать, что из неё выйдет такая работящая заботливая мать, что она сможет тянуть на себе всё хозяйство, поставит на ноги детей, и всё это без единого слова жалобы. И женой она была хорошей, понимала его, да и сейчас грех жаловаться... Нет, нет, он не вправе роптать на свою судьбу.

Видимо, не надо было неволить её, пусть бы оставалась здесь. Эти похороны выбили её из колеи, устала она за этот год, да разве только за этот...

– Пойдём, скоро уже темно будет, – решился он подать голос, – и время такое, безлунье...

Она покорно встала.

– Надо бы рану перевязать.

– Дома, – сказала она голосом, незнакомым ни ему, ни ей, из которого исчезла прекрасная лёгкость. – Дурная кровь вытекла, и ничего более... – она горько улыбнулась.

Всё же какое ни есть, а Бог пожаловал ей счастье – когда-нибудь её предадут земле на этом же холме.

Но так думала не та, которая сегодня утром вышла из дома, имея две жизни, и одну из них полную надежд, стремящуюся к празднику, а так, у которой осталась только будничная работа и необходимая для этого жизнь.

Быстро вечерело, и скоро стемнело на одну звезду.

Перевод Н. Венедиктовой

ГОРЕВЕСТНИК

Андриа из Аранаа.., родившийся в году, когда преждевременно расцвела алыча, обманутая ранним теплом… Андриа Аранаасский…

1

Как всегда, рано поутру торопливо-встревоженно прокричали петухи, будто опасаясь – не опередил ли уже кто-нибудь их, возвещая рождение нового дня.

Но сегодня он петухов не услыхал. Не разбудил его и будильник, что аккуратно прозвонил вовремя в соседней комнате. А вот пение дрозда он расслышал сквозь сон – сразу. Сквозь дрёму пробуждения это пение казалось ему то продолжение сна, то проступившей явью, то отзвуком неясного воспоминания. Но постепенно птичий посвист всё больше отзывался в нём холодом давнего полузабытого страдания, сожаления, боли – и он проснулся. Приоткрыв глаза, тихо-тихо прислушался, боясь, что пение может раствориться в голосах утра, исчезнуть, что это был всего лишь сон. Он готов был снова воскресить в себе и перенести ту забытую боль… пусть пение разбередило душу – лишь бы не прекращалось.

Дрозд всё пел.

В окна заползал густой туман, но видно было, что ночь уже окончательно отступила перед новым днём.

Проснувшись, он ощутил запах цветения – это большая груша, что стоит чуть в стороне от дома и сада, – пение дрозда доносилось именно оттуда. Правда, из-за тумана казалось, что птица подаёт голос издалека. И всё сквозил и сквозил в привычных звуках холодок, словно из глубины ущелья – знак ушедших, утонувших во времени утраченных лет.

Не успел он сообразить – почему же сегодня так долго отлёживается, как вспомнил вдруг о предстоящей поездке, о том, что вчера допоздна не мог заснуть разволнованный. Конечно, им не следовало обращаться к нему, обязывать его с этой поездкой, он вправе был отказаться. Мало ли кого могли послать в Сухум, столько молодых людей теперь при собственных машинах.

Всё же, видно, никто ничего такого особенного не имел в виду, называя его имя для поездки в Сухум. Вряд ли кто-нибудь задумался – что могло напомнить ему их предложение… Если даже кто-то когда-то и догадывался, так их нет уже в живых, а кто здравствует ещё, так тот давно позабыл… Да и было ли вообще что-то – может, просто плод воображения?

Но вот отлёживаться при свете утра – к такому он не привык. Если б не поездка, поднялся бы чуть затрезвонит будильник, с первым же криком петуха. Ведь стоит только замешкаться в эти минуты, как потянет расслабиться, продлить удовольствие. Правда, сейчас, отлёживаясь, он не столько длил отдых – другое тут было: владело незнакомое странное желание досадить самому себе, помешать, как засланный в тыл лазутчик, – помешать своему привычному будничному стремлению с самого раннего утра вскочить на ноги и с головой уйти в работу, в хозяйство.

Он лежал и, как бы между прочим, думал о том, что если и дальше будет стоять такая погода, то ничего не уродится, а если и уродится, то мало, неполноценно. Думал отстранённо, как будто дело его не касалось, невидящими глазами уставившись на заползающий в окно туман. Он хотел было разозлиться на природу или на кого-нибудь такого, от кого это зависит – потому что с каждым годом с погодой было всё хуже и хуже, – но и это не

получилось у него сейчас.

Дрозд продолжал петь, чисто и внятно, так что даже казалось, вот-вот заговорит.

Только сейчас он вспомнил, как давно не слушал пения дрозда. Конечно, каждый год, как только задышит весна, дрозд заводил свою песню – но он не слышал её, они с птицей словно оказались в разных измерениях. Вот к петушином крику – к нему он чуткости не потерял. И петухи, и дрозды каждое утро приступали к положенному природой с самого сотворения мира – подавали голос торопливо, захлёбываясь, словно каждый раз предвещая под этой луной что-то невероятное.

И петухи, и будильник говорили о времени – но о конечном, здешнем. Пение же дрозда – это было нечто совсем иное… Ему казалось, вот-вот он соприкоснётся с тем бесконечно длящимся, особым временем, называемым вечностью – хоть на какую-то долю секунды, и в это мгновение, освободившись от пут здешнего, приземлённого мира, получит душевное облегчение, которого потом ему хватит на годы. Но холодок, всё долетавший из глубин утраченных лет, не давал ему освободиться. Холодок этот то касался слуха отдалённым шумом прошедших времён, когда-то сбившим его с него, как разъярённая река, то оставался на губах привкусом утраты, то продувал душу безымянной тревогой.

Всё же лучше встать, подумал он, не спеша собраться и спокойно вовремя успеть на автобус. Он сел на постель и по привычке стал лихорадочно быстро одеваться. До автобуса ещё было достаточно времени, лучше пока походить в домашнем.

Пение дрозда отчего-то стало доноситься слабее, словно звуки из глубокого омута вырвались, в утробе которого лежали, обратившись в прах, годы-утопленники. И сразу явственнее сделалось тиканье будильника на длинноногом, кругленьком столике, рядом с пустой вазой из-под цветов: спешить, спешить, спешить. И петухи требовали того же: торопись, торопись – не уставали твердить они, словно надвигался потоп, и надо было успеть взбежать на высокое место, куда не доставала вода.

Не сумев отвертеться от ритма, который навязывал ему будильник и от которого ныли лодыжки, будто перед бегом, он лихорадочно натянул на себя одежду, схватил пояс, но, раздумав, положил его на место и в рубашке навыпуск пошёл к двери.

– Встал с рассветом… – начал он деланным голосом, как всегда подбадривая себя каждым утром, – каким бы устаревшим ни был, как бы ни спешил и независимо от настроения. Однако сейчас после двух этих первых слов и осёкся – услышал в собственном голосе непривычную жалость. Но нет, всё равно он должен был договорить до конца. – В двадцать тысяч двести… – тут сообразив, что он сказал не то, опять умолк. Несмотря на вечную неостанавливающуюся гонку, на постоянную спешку, он всегда, каждое утро, точно помнил – не то что каждый год, а который уже день набежало. Он начал ещё раз: – В девятнадцать тысяч двести тридцатом дне бесценного своего существования встал с рассветом Андриа Аранаасский?..

Когда он ещё учился в школе, учитель истории, грек, Дмитрий Кириакович Мистакопуло, объясняя новый материал, скажем там о древлянах, полянах, дроговичах, вдруг обрывал свой рассказ где-то в середине, словно его нагнали наконец тени великих предков, напомнили о себе – и без всякой подготовки перескакивал на греческую древность. Переходя к любимой теме урока, что разжёвывал без всякого вдохновения, стараясь не выходить из рамок скучного учебника, он сладко сглатывал слюну и на глазах преображался. Глубоко вздохнув, словно готовился петь, он начинал – и голос его делался ясным и звучным.

Быстро и страстно начинал он рассказ о чём-нибудь очень интересном из истории Древней Греции или из её мифологии, что-нибудь полное тайн, выбрасывая правую руку, словно пускаясь в танец, он упоённо выкрикивал имена, никогда до этого не звучавшие в деревушке Аранаа (что и значило-то всего-навсего – «Покосившийся орех»): Лотемидар Эфесский, Прокопий Кесарийский, Феофан Византийский, Агафий Миринейский, …ский, …ский.

– Раз так, чем же мы хуже каких-то там греков, – сказал он себе сейчас всё тем же деланным голосом, выходя из комнаты. – Мы – Андриа Аранаасский (значит из Аранаа, то есть из Покосившегося ореха), Леуарса Агуаворанский (этот – из Котловины), Уаркуа Ачырхудский (из Плоскорыших шалашей), Цкуку Амцирбгринский (из Зарослей Бузины), Киамшиш Апстахавадзаринский (с Верхотуры)…

Туман уже редел и рассеивался, и рассвет становился прозрачнее. Запах грушевого дерева был здесь не такой густо настоявшийся, как в комнате, он чуть-чуть и приятно обжигал ноздри, словно сок спелой груши.

Широкий двор, по углам – вовремя обрезанные, ухоженные фруктовые деревья, сразу же за двором сад, заботливо выращенный им за многие годы жизни здесь, хороший большой дом, каких мало в деревне – всё, как всегда, как с самого начала, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и дальше, от зари до зари требовало его всего полностью, без остатка – его рук, усилий, его кожи и кости – и так до скончания века.

Но сегодня он не приостановился, как обычно, не обвёл двор и деревья взглядом, а не спеша направился в амацурту, домик-кухню, словно говоря всему вокруг, ожидавшему его внимания – ничего, потерпите, и мне необходимо иногда забыть обо всех заботах.

…В девятнадцать тысяч… – начал он было опять, но снова запнулся. Усмехнулся – кому это нужно, никто ведь и не помнит, кроме него, и ни к чему помнить. Да и о чём, собственно? Как ни свет, ни заря, ещё до первых петухов, измучив до изнеможения родную мать, он явился в этот мир Божий? Тот год был всем памятен иным: обманутые преждевременным теплом алычовые деревья доверчиво расцвели, а потом вдруг вернулись холода, ударили заморозки – и цветы обуглились, почернели. И на весь тот год люди остались без алычовой подливы – а нет её, всем известно – и пасхальный агнец – не агнец.

Родившийся той весной, когда преждевременно расцвела алыча… или –

когда алыча не уродилась от заморозков, криво усмехнулся он.

Недаром же туман старался с утра: трава мокрая, в обильной росе. Телят нигде не было видно, похоже его жена успела уже выгнать их на крохотное пастбище – ахкаара.

Зачем она так рано подоила коров, разозлился было он, но тут же и присмирел, пожалуй, она права, чем раньше скот выйдет пастись, тем Лучше, трава пока не густая, надо щипать её с самого утра. Пастись – тоже работа, требует и времени, и сил, и сноровки. Возле кухни-амацурты топталась со стайкой цыплят наседка, без смысла дёргала шеей, вонзала голову в воздух и тут же моментально одёргивала, словно боясь, что приклеится к чему-то, изредка настораживающее-гортанно квохтала.

Наседка имела свою историю: она не снесла ни одного яйца, а принялась квохтать, как обычно наседки. Тогда хозяйка приспособила было её высиживать чужие яйца. Но и тут она не пригодилась, не стала их высиживать. Тогда хозяйка заставила её взять целый выводок уже вылупившихся цыплят. А наседку, высидевшую этих цыплят, закрыла в клетке, чтобы та позабыла своих детёнышей и опять стала несушкой. Эта лентяйка приняла цыплят, но, кроме теперешнего неумелого гортанного квохтанья, ничего в ней не было от той могучей природной силы, которая зовётся материнством. И гортанный её зов звучал неестественно, фальшиво, оттого-то цыплята так неуверенно держались возле неё и жалобно пищали.

Андриа пошёл было стороной, чтобы не спугнуть цыплят, но они всё равно заволновались и в толкотне вытеснили одного на мокрую траву. Цыплёнок заплакал, и остальные тоже жалобно запищали, кружась возле наседки. А та не стала суетиться, не встревожилась – до неё просто плохо дошло то, что происходило, лишь быстро начала топтаться на месте, да чаще обречённо издавать гортанное квохтанье и мигать своими маленькими кругленькими глазками, словно силясь вспомнить что-то важное, позабытое.

Он нагнулся и, поймав мокрого цыплёнка, выпустил на сухом месте.

– Под ноги надо смотреть, под ноги! – донёсся из амацурты голос жены. – Раздавишь цыплят…

Обычно молчаливая, слова не вытянешь, сейчас она говорила раздражённо, словно этим хотела сказать, что их только осталось раздавить.

Переменился что ли вдруг у неё голос – или всегда таким был? – подумал он. Может и всегда, просто он не прислушивался, не обращал никакого внимания.

– Девятнадцать тысяч двести тридцать дней набежало, – опять произнёс он, уже входя в амацурту, всё тем же деланным голосом. – На драгоценнейшую жизнь Андриа Аранаасского.

– Набежало… – слабенькой струйкой прозвучал в воздухе смешок Старушки, сидевшей за кухонным столом в тёмном углу, она сделала движение, словно хотела освободиться от старческого горба и распрямить спину. – Набежало, а как же, очень важное событие…

В другом углу, посветлее, за таким же столом жена старательно месила тесто. Обратила к нему лицо – длинный нос торчал, и посмотрела неласково.

– Набежало… – снова прожурчала струйка смешка. – Чего ж не набежать… Когда тебя рожала бедная Хикур, да упокой её душу, ты знаешь – из-за тебя чуть-чуть Богу душу не отдала… Я, конечно, ни на минуту не отходила – она же молоденькая совсем была, сколько ей там… боялась, что не сможет уже отвязаться от испытанного страха. Как сейчас помню, алыча так пышно расцвела, всё осветилось вокруг. Да на вторую же ночь похолодало, накатили заморозки, и всё погибло. И весь гот так и промучились без алычовой подливы, даже вот столько невозможно было достать, чтоб на одного жареного цыплёнка хватило.

– Тот, который родился в день, когда расцвела алыча! – усевшись за стол, он поднял над головой палец. – Даже по этому видно было, что из меня выйдет толк.

– Не когда расцвела алыча, а когда её пожгли заморозки! – поправила его Старушка.

– Пусть будет так…

– Но ты спокойным оказался, тут ничего не скажешь, – ему показалось, что Старушка словно бы жалеет его. – Пососёшь молочка – и набок. Выспишься, откроешь глазки – рот до ушей. Ещё бы – какое молоко было у Хикур, да упокой её душу, обильное, жирное…

– Это мы все и без тебя знаем. Старая, а ты вот скажи, сколько нам ты успела наговорить с тех пор, как сама младенцем открыла рот?

Они точно подтрунивали друг над другом, но сейчас обычная шутка у него прозвучала как бы с некоторым злорадством. Даже его жена обернулась из своего угла, но промолчала.

– Если сложить, то, наверное, уж добрые полвека набежит, а? – продолжал он: оборвать разговор на плохой ноте было нельзя. – Сама подумай! Полсотни лет беспрерывно разговаривать.

– Ты-то уж лучше бы помолчал! – Старушка и не думала сдаваться. – Врагу не пожелаю жить бирюком. Твой дед Сабыгда до девяноста дотянул, но если сложить всё, что он сказал за это время – навряд ли понадобится больше двух месяцев.

– Тогда в кого ж я уродился? – тут Андриа отвлёкся от разговора, прислушался: дрозд больше не пел.

– Не важно, сколько, важно – что говорил, – ответила Старушка. – Уже серьёзно думаешь, все эти хорошие слова, которыми пользуешься, ветром что ли занесло? Это всё люди сказали…

– Не затуманивай, Старая, раз начал – доводи до конца: хоть мало, хоть коротко – но всё же что-то говорил, мой дед, так? А что именно?

– Да ничего существенного: «нет», «нельзя», – вот и всё, что от него услышишь, хоть оба эти слова означали почти одно и то же…

– Тогда понятно – я не в него уродился. Мои-то слова – их хоть прямо сейчас в газету, без всякого изменения… – ему уже хотелось уйти от них.

– Чем языком здесь чесать, сходил бы, пропахал пока куски, где трактор не достал, – раздражённо вставила жена. – Тут рядом быки пасутся, весь этот год ярма не знают, запряг бы их – всего-то и дел… – Пауза, которая тут

последовала, означала, что не вслух, про себя, ещё какие-то слова произнесены были. Помолчав, жена добавила: – До автобуса всё прекрасно можно успеть.

– Хватит тебе и того, что трактором вспахано, – неласково оборвал он.

Старушка глянула удивлённо – и сразу отвела глаза, будто у неё вдруг какое-то возникло подозрение; и снова сделала движение, будто распрямляясь, желая освободиться от горба.

– Понадеялась бы на него, так и остальное пропало б, невспаханным осталось, – жена обращалась только к Старушке. – А тут куски, но какие – самые лучшие, жирные.

Андриа даже передёрнуло, до того он ненавидел, когда вот так говорили о земле. Словно на свежей бычьей туше показывали окровавленным ножом куски, которые выбирают. Ожёг взглядом жену, да та была занята своим тестом.

– В прошлом году какой лук вырастила на этих кусках, какой чеснок, а какие тыквы…

Андриа ещё раз посмотрел в ту сторону, где она стояла и месила тесто, худая, кожа да кости – и язвительно усмехнулся.

– Конечно, – уж чего теперь не смеяться, когда я нашла тебе такую жену… – видимо, чтоб смягчить его грубость, вставила Старушка. – Безропотная да работящая. Одна за семерых старается. Человек не ведает, когда ему хорошо.

– Не ведает… – передразнил её он. – Маловато этого ведать. Помнить надо, ещё не забывать, чем всё кончается – смертью. Тогда многое иначе выглядит.

Жена, хоть и была худой, высокой, но руки, месившие тесто, – сильные. Они входили в податливую массу и сжимали её в горсти, давили, растягивали – чтобы потом всё повторить сначала.

– Да, чуть не забыла… – она почувствовала, что муж смотрит, и сама тоже обернулась к нему, устремила взгляд ставших, но не потерявших блеска глаз. – Эта груша так разрослась, занимает столько места… осенью совсем накоротко обрежешь ветви или совсем под корень срубишь.

– Да ты в своём ли уме! – возмутилась Старушка. – Такую грушу… с самой войны помним вкус её плодов. И ещё… Ты что, забыла, кто её посадил? В тот самый день, когда уходил на войну, кто её посадил? В тот самый день, когда уходил на войну, привил её. Сказал – если примется, будет память… Как ты вообще могла такое придумать! – от обиды немощный голос срывался. – Земли на всех хватает, тебе её мало!

– Как же ей может хватать… – он чувствовал, что жена тоже старается досадить ему посильнее. – Маленький холмик над нами всего-то с хороший кружок чурека, не смогла ещё заполнить могилы шестидесяти поколений наших предков, а ей всей этой земли мало…

– Что ты говоришь, ди[1] – возразила она Старушке, словно его и не было

[1] Обращение к старым женщинам, а иногда к матери – вместо «мама».

рядом. – Сколько у нас других груш – и каких сортов! Вовремя обрезали, вот они и плоды дают, и места занимают немного.

– Каких сортов, каких сортов?! – она двумя ладонями стиснула тесто. – Так просто нигде не принимают, на базаре что ли ими торговать?

– Если б даже она стояла пустой… из-за памяти, из уважения к тому, кто её посадил… – голос Старушки дрогнул.

– Да будет, вам, ди! – она тоже не сдавалась. – Вы помните, сейчас ведь уже немного переменилось, а то умрёт человек – и все родственники шли с огромными портретами покойника в разных позах, еле-еле несли по два человека портреты эти… А потом каково приходилось тем, которые остались в живых в этом доме: сжечь не могут, выбросить – тоже. И куда их все девать – неизвестно… Мёртвого всё равно не воскресишь, а для живых это просто беда.

– Перестань, перестань, ты что, не с той ноги сегодня встала? – ворчливо бросила Старушка и вдруг притаилась, будто нечаянно подслушала, как насмерть схватились добро и зло, любовь и ненависть, великодушие и мелочность. – Я всегда считала, что ты понимаешь с полслова, а на деле… – начала она опять после небольшой паузы, как бы передавая подслушанное. – Что с чем сравниваешь! Дерево – оно живое, у него есть душа. Если хочешь, в этом грушевом дереве существует частичка души того, кто его посадил, дал ему жизнь, оно помнит его голос… На меня оно смотрит его глазами… – Она подняла голову, насколько это позволял его горб, в тускнеющем свете её глаз блестели слёзы.

Человек стареет, делается жалким, немощным – а слеза не стареет, блестит, как в первый раз, подумал он. И всё же, всё же… сейчас уже из-за отца не повлажнеют его глаза. Он помнит отца, не забывает и о том, что ему не суждено было лежать рядом с прахом предков. Но отец не только был во всём лучше его, но и, пожалуй, счастливее. Он погиб молодым, чистым, когда на его сердце не было ран от проклятых жизненных вопросов, от всяческих дрязг, он ещё не ведал о потёмках человеческой души, его не коснулись сомнения, которые потом не отстают всю жизнь; нет, в его жизни всё было определённо, он стоял лицом к лицу с врагом и, как это сказано в той похоронке, «геройски погиб, защищая Родину». И смеет ли он, его единственный сын, единственный потомок, все чувства которого давно перегорели, а глаза походят на давно высохшие русла, смеет ли он плакать по отцу, которого он помнит молодым и полным жизни?

Ему уже не терпелось уйти, оторваться от них, но что-то его сковывало.

– Вещи мои готовы? – спросил он раздражённо, краем уха он продолжал слышать неумолчный плач цыплят – оставила их на попечение этой лженаседке, которая им не мать и не мачеха.

–Надень то, что готово! – бросила жена, не отрываясь от теста – под её сильными руками оно всё густело и густело. Обходился же тогда, когда половины теперешнего не было.

Давно уже они не употребляли в разговорах между собой мягких, сердечных слов, но сегодня ему казалось, что каждой своей фразой она не

просто бьёт – иногда как разгневанная мать шлёпает по рукам провинившееся дитя, – нет, не так, а бьёт чем-то железным. Обычно, когда он, собираясь куда-нибудь из дома, появлялся перед ней выбритый, умытый, прилично одетый, она с нескрываемым любопытством разглядывала его – так садовод смотрит на плоды, созревающие осенью – оправдывают ли затраченный на них труд? А вернётся он домой – опять подойдёт и, забыв о вечной нехватке времени, подробно начнёт расспрашивать о том, что он увидел, да кого, что услышал там, где побывал, говоря всем своим видом – зачем этому добру, новостям то есть, даром пропадать, когда всё это наше.

Но сегодня она будто позабыла утвердить воё право на него. Ему казалось, что лицо, которое она отвернула от них, что глаза её беззвучно плачут сейчас – она это умела – и всё равно её не было жалко.

Неужели она ещё способна о чём-то пожалеть, подумал он, способна вспомнить о прожитом, о том, как она молодой, полной надежд перешагнула его порог, готовая разделить с ним, как говорится, и радость, и печаль… И так и не успела разобраться, какие они, радости и печали… мёртвой хваткой вцепилась в неё жизнь и зажала, пока не отняла и молодость, и свежесть, и доверчивость, оставив только необходимое для того, чтобы вкалывать о зари до зари.

– Несчастная, она, Уарга, – сказала Старушка, глядя невидящими глазами откуда-то из недр почти потусторонней отрешённости – какой смертью ей было суждено умереть… Никого рядом не оказалось, когда умирала. Как бы хорошо ни прожил жизнь, если ТОТ момент некому тебе закрыть глаза, то считай, что её, жизни-то, вовсе и не было… Вот сколько это стоит – умереть в присутствии человека… на его глазах…

Когда её глаза смотрели так ненавидяще, казалось, они глядят за последнюю черту, по ту сторону, и – то ли удивлены, то ли цепенеют от ужаса перед увиденным.

Но почему-то она не столько страшится той, с косой, которая, вроде, позабыла о ней, сколько боится оказать одной в этот момент, без свидетелей.

Всё одно, думает он. Сегодня он не в силах пожалеть даже её… Туда надо идти одному, провожатых не будет.

В такой тревоге, страшась одинокой смерти, живёт она с тех пор, как её три сына ушли по своим дорогам, кто куда, оставив её одну. В ожидании сыновей, в надежде, что у них найдётся, останется время и на неё, она проглядела все и без того ослабевшие глаза. Если сначала, отпрашиваясь по очереди, они наведывались в дом и на лето отправляли сюда детей, то в последнее время, когда ей необходимо больше прежнего, когда старость совсем согнула её, они приезжают всё реже и реже.

Сыновья тоже уже были давно немолодыми, время не щадило их сил. Уведённые, выбитые жизнью из родового гнезда, они уже и сами с тревогой взирали на своих детей: не унесёт ли тех ещё дальше или они всё же останутся в пределах досягаемого.

Тогда, в последнюю минуту, вдруг прояснилось у него в голове, произойдёт именно самое важное, самое значимое во всём её существовании, да и не только её… И необходимо, чтобы это кто-то видел.

Он размышлял сейчас так, словно его самого всё это совершенно не касалось, а просто он как бы поставлен созерцать со стороны.

– Что-то было в этом тревожное, что так вдруг сразу тогда расцвела алыча… проснулась утром – и отовсюду белело… – как за соломинку схватилась Старушка за давний день его рождения, чтобы перекинуться на этот мир. – Хватило небольших заморозков…

– Тот, который родился в году, когда не уродилась алыча… – но ему самому уже стало это надоедать.

– Всё это не так просто, как мы думаем, ничего так просто не бывает, – Старушка вздохнула во все свои ставшие тесными лёгкие. – Всё это ещё тогда предвещало, что надвигается страшное несчастье – война…

– А в том самом году, когда началась война, что за весна была, не помните? – спросил Андриа на этот раз серьёзно. – По года и я мог помнить, но хоть убей – ничего не осталось… Помню только лица уходящих на фронт…

– Что ты, Бог с тобой… – сказав так, она приостановилась, словно вслушивалась в себя, словно её ослабевший слух сохранил, мог ещё разобрать далёкий гул войны. – Кому было до мелочей тогда… Сердца обожжены… Обожжённое место помнит только боль.

Хозяйка наконец приготовила тесто; посыпав мукой, прошлась по нему скалкой, потом разрезала на несколько частей. Каждому из тонких кусков придала форму круга, обильно посыпала один размельчённым, немного приперчённым молодым сыром, покрыла сверху другим и стала слеплять их края. Её руки, только что яростно сжимавшие тесто, словно будто душили кого-то, сейчас преобразились – выводя ажурную строчку, пальцы бегали по краю, словно по струнам арфы. Ему показалось, что даже и внешне она преобразилась.

Когда, побрившись, умывшись, одевшись, уходя, он опять подошёл к амацурте, жена показалась в низком окошке:

– Если встретишь Нину и Аркадия… – таким голосом говорят о потерпевших, о тех, с кем случилось несчастье. Ничем незанятые руки обвисли, будто в каждой она держала по тяжёлой мёртвой птице. – Встретишь – так не отпускай их… Аркадия пригласи когда-нибудь, выпейте с ним стакан-другой… Если смогут выбраться, пускай приедут, я их жду…

Им, конечно, трудно выбраться, с досадой подумал Андриа, так много у них дел… Откуда у них время возьмётся, – словно бездомные, днём и ночью в пути, то в автобусе, то в электричках…

– Мне же в Сухум надо добираться, не куда-нибудь, не близко, – сказал он примирительно. – Ещё многим надо сказать о смерти… Ты так говоришь, будто без твоей подсказки я бы мимо прошёл.

От того ли, что, расставаясь, он говорил с ней без упрёка, обожжённое солнцем лицо, большую часть которого занимал нос, чуть оживилось, глаза подобрели. Вдобавок, он уезжал во всём новом: галифе, узкие сапоги, новый тёмно-синий пиджак, белоснежная рубашка под ним, кепка с большим козырьком, на душе у неё, видно, немного отлегло. Тут явно чувство удовлетворения присутствовало – видны результаты их многолетних тяжких трудов, есть в чём по-людски на людях показаться, – оттого подобрела, а не от воспоминаний молодости.

Она даже приподняла, словно как при молитве, тяжело и устало, мёртвыми птицами свисавшие руки.

– Если встретишь моих… кого-нибудь из них, – вдогонку ему подала голос Старушка, – скажи, мать умрёт, и некому будет ей глаза закрыть… И вот, скажи, как потом смотреть в глаза людям…

– Если встретишь… – буркнул он себе под нос, зная, впрочем, что она всё равно не услышит.

Нина была их младшая дочь. Аркадий – её муж, их зять. У старшей дочери уже подросли ребятишки, в школу ходили, но, как и мать, её держало в железных объятиях большое хозяйство, и семья на ней держалась. Жизнь младшей заполнило другое, то, что Старушка почему-то называла наводнением, уносящим всё, что всплывает. Младшая, похоже, попала в самый водоворот, который, не давая опомниться, всё относил да относил не в ту сторону… Иногда Нина приезжала сама, но в своём родном доме ходила тенью, а душа её застряла где-то там, далеко, а почему, она и сама не очень понимала. Они же тем более. Когда с нею, изредка, приезжал и некоторое время задерживался тут не по годам начавший лысеть, грузный, сутуловатый, так и оставшийся гостем в их доме (разве только в их?) Аркадий, её муж, в котором она души не чаяла, она постепенно приходила в себя, потом, преобразившись окончательно, просто порхала по дому. Но стоило ему уехать, как она делалась чужой, несносной, и бродила как тень, опять не узнавая отчего дома.

Все разобщены, одного туда отнесло, другого ещё куда-то. А иные вроде пока рядом, но всё отдаляются, отдаляются друг от друга; и никто ведь и пальцем не пошевельнёт, никто не прижмёт покрепче свои подошвы к земле, словно им всё равно, куда их вынесет, есть и такие, что, заметив друг друга, убегают в противоположные стороны, чтоб, не дай бог, не встретиться лицом к лицу. Может, для них-то как раз это важнее всего – встретиться, именно они в силах свести всех остальных… Попадаются, конечно, и те, что стремятся сблизиться… Они-то силятся, силятся, а всё время думают – вот, вот догнали, вот-вот прикоснёмся, но то, что их разъединяет с остальными, – как горизонт, ты к нему, он от тебя. Хоть бы они догадались остановиться, задержались на незначительных расстояниях…

И младшая дочь, Нина, попала в эту неразбериху, где всё смешалось – и бегущие от близости, и страстно желающие её, и равнодушные к тому и другому. Сама из тех, которые только и живы человеческой близостью, а её муж – тот из безнадёжно окаменевших на месте, таким везде всё равно.

2

В автобус Андриа прошёл к последним сидениям, устроился там. Когда автобус тронулся, было ещё терпимо, не так много народа. Но как только выехали на шоссе, водитель стал останавливаться буквально на каждом шагу, подбирая всех желающих. И в конце концов автобус так переполнился, маленькой щелочки не осталось.

Андриа давно подметил, что люди, среди которых он вырос, с которыми делил радость и горе, которых знал всегда и о которых знали все, заметно менялись, отправляясь в дорогу. Чем дальше они собирались ехать, тем заметнее становились эти перемены. Как только кто-то из них всего лишь ступил на дорогу, нацеленную на весь остальной мир, как и всякая дорога, сразу же досягаемым делается для силы пространства – сила эта исподволь вмешивалась во все его связи со здешними местами, подобно высоте постоянно давала о себе знать, отвлекала взгляд, начинала слегка кружить голову и увлекала. Встретив знакомого, человек в таком состоянии, если даже и поздоровается, перекинется с ним несколькими словами благодаря ещё не совсем утерянному влиянию здешних устоев, всё же действует словно бы во сне – не наяву. Сам Андриа не раз испытывал это на самом себе. А сегодня он добровольно, без сопротивления, сам хотел отдаться этому отстранённому состоянию. Поднимаясь в автобус, проходя к последним сидениям, устроившись там, он старался не попадаться на глаза знакомым; слышал шум, разговоры, различал голоса, но сказанное пропускал мимо ушей. Молодой, обычно стеснительной, вспыхивающей при каждом слове, грузной телом женщине больше ничего не оставалось, как плюхнуться рядом с ним на сиденье и порядком придавить его к стене. Потом, когда людей стало ещё больше и когда они стали давить, топтать её свёртки, чем-то переполненные пластиковые пакеты, прислонённые к сиденью, она начала издавать сквозь стиснутые зубы какие-то звуки, похожие на шипение, и при этом всё больше прижимала его к стене автобуса. И сумасшедшая давка, и то, что на её же глазах топтали её свёртки, а она ничего не могла предпринять, вывело из себя молодую женщину – она и забыла о том, что сидит рядом со старшим и вдобавок ко всему прижимает его к стенке. Не мог же он сам как-то её помочь, кому-то сказать, уберечь её свёртки, нет, у него не было никакого желания вмешиваться, участвовать. И его самого тоже одолевала дорога, он уже был не просто видящий человек, а путешественник.

Всё сильнее ощущалась в последнее время эта зовущая сила, излучаемая пространством и дорогами.

А не так ведь ещё и давно было – как бы далеко человек ни собирался отсюда, как бы дорога ни кружила ему голову, как бы взгляд его не всасывало пространство, он старался не показать начавшегося отчуждения и успевал увидеть соседа, знакомого и поздороваться с ним. Нынче иное – если даже успевает заметить, здоровается раздражённо, словно упрекнуть готов – что, это, мол, на каждом шагу преследуют его. И если вглядеться повнимательнее, даже в давно знакомы лица, вглядеться в тот момент, когда

человек, оторвав ноги от родной земли, поднявшись на ступеньку автобуса, электрички, вагона дальнего поезда, делается пассажиром, то покажется, что никто из этих людей не вернётся обратно. Если даже и захочет, не в его силах это будет. Андриа и сам тоже был одним из них. Как только садился в автобус, в любую другую машину, на поезд, оглядывался на землю, что грела его на своей ладони со дня рождения, – и чуть не начинал сомневаться, она это или не она. Даже когда поедешь на арбе, земля чуть-чуть меняется, но не каждый это заметит, ибо увиденное почти сохраняет неподвижность. А уже на лошади, и не только, когда она идёт рысцой, но даже иноходью, уже на лошади заметно, как земля и всё, что на ней, задвигалось, тронулось в путь. Не говоря уже о всяких машинах, поездах, они вообще всё срывают со своих мест – и горы, и долины, и леса, а те, в свою очередь, сразу делаются такими быстроногими, что глаз не успевает следить за ними.

И когда такая какая-нибудь машина мчит уроженца здешних мест подальше отсюда, ему начинает казаться, что постепенно ослабевает, а потом чуть ли не исчезает и вовсе сила тех порядков, правил, устоев, самой земли, хранящей кости предков, тёплых очагов, всего того, что руководило им, чем руководствовался он сам, и человек начинает дышать слегка пьянящим, непонятным, непривычно-тревожным воздухом беззаботной свободы.

Однако это вроде бы оставшаяся за спиной сила то и дело обнаруживала себя, наблюдала за человеком и сколько могла контролировала его поведение, и вдали от родных мест она успевала работать, чтобы удержать уходящих, но её уже не хватало, и всё больше и больше людей отсюда уходило. Из них некоторые, особенно в последнее время, всё же довольно усердно навещали свои родные места, но они уже приезжали не гостями, и не хозяевами, и та сила местных устоев, что когда-то так упорно удерживала их, но не удержала, сделалась равнодушна к ним, может быть, считая их уже чужими или бессильная что-либо изменить. И на лицах этих, навевающих печать странной улыбки, присутствовали не то сожаления, не то умиления.

Потому-то, казалось, Андриа, когда на этих просёлочных дорогах, вечно изъеденных ливнями, появляется любая машина, превращающая людей в пассажиров, всё вокруг – дома, расписанные в предгорье, по тесным, непросторным холмам, дворики, поля, плантации, сады – всё бросало в дрожь. Даже у речушек отнимался вдруг их чистый, звонкий язык, превращался в странное, невнятное бормотание. И как только двинется это так называемое средство передвижения с людьми, ставшими уже пассажирами, тут же вся округа приходила в движение. Бежала за ним. А оно отбрасывало назад дома и сады, дворики и поля, и никогда не догнать им его.

Тот, который решил отсюда уехать, старается побыстрее расстаться с узами местных устоев или же, по крайней мере, расслабить их – так спасающийся от погони убийца хватается за поверье, словно за соломинку, и убегая, разбрасывает какие-то свои личные вещи, чтобы духи помогли ему унести ноги…

Отъехав несколько километров, автобус опять стал останавливаться на каждом шагу. Теперь в основном выходили, и в салоне стало свободнее.

Молодая женщина, сидевшая рядом с ним, затаилась, даже её горячий бок, прижимавший его к стенке, сначала остыл, а потом совсем не стал чувствоваться, словно растворился. Видимо, немного придя в себя после того, как поредела толпа пассажиров и никакой уже давки не было, миновала опасность для её свёртков и пакетиков, он вспомнила, что не то что так вплотную, но вообще не положено её сидеть рядом с ним.

Когда сошли пассажиры, ехавшие недалеко, оставшиеся расселись поудобнее, и автобус набрал скорость. Андриа больше не обращал внимания на попутчиков, и постепенно стали удаляться шум, говор, возня пассажиров, оставляя его наедине с самим собой.

Сейчас, когда, как бы не в силах соперничать с современной скоростью, стали отставать от него силы местных устоев, опекавшие его, сперва отдалённо, а потом явственнее дали о себе знать, зашевелились не чувства, воспоминания, тайны, что он держал в заточении, за семью замками, которые он сам, их создатель, душил всю свою жизнь. От того, что эти воспоминания и чувства были так долго загнаны, закупорены и скрючены, оживая и занимая положенное им место, они делали ему больно.

Первым долгом он хотел вспомнить, кто же назвал его имя, чтобы с вестью о смерти поехать в Сухум, но что-то не припомнил. Случайно ли это было или кто-то назвал преднамеренно, с подковыркой? Обычно ведь как – стоит одному просто так ляпнуть, что на язык попалось – и всё, уже бывает достаточно. Даже при обсуждении важных житейских хозяйственных дел, касающихся всего села, иногда беспрепятственно проходят самые случайные предложения. Один скажет, не подумав, просто-напросто, чтобы показать, что он существует, другой решит – коль каждый что-то предлагает, чего ж ему отставать-то, негоже, третий же вообще готов ляпнуть первое, что придёт в голову. Вот один из них и предложит что-нибудь эдакое, очевидно нелепое, а то и назовёт на какое-нибудь серьёзное место кандидатуру, от которой потом не отвяжешься, пока человек окончательно не испортит порученное важное дело… Сельчане, собравшиеся долго не раздумывая, раз, и порежут, не измерив и не взвесив ни одного раза, не то что семь… Коли сказано – значит, оно не просто так, думают те, которых приучили голосовать, а не раздумывать, для которых что поднимать руку, что опускать – всё одно. Значит, соображают они, раз назвали не кого-нибудь другого, а именно этого – не просто так дело, кто-то или что-то за ним стоит, так что и обсуждать не имеет смысла.

Сам Андриа, находясь в скверном душевном состоянии и хорошо зная этот механизм, однажды назвал первое попавшееся имя – кандидатуру на место бригадира, хотя никто его об этом не просил. Потом, спохватившись, хотел было обратить всё в шутку – да не тут-то было: сидевшие на собрании перехватили, подхватили – считай, что в реку бросили, дальше понесли сами, произнесённое имя стало уже их собственностью.

Удивительно ещё и то, что эта твоя случайная кандидатура. Попав ненароком на руководящий круг, кружит и кружит там, если, мягко говоря,

снимут, а ещё мягче – освободят на одном месте, – перекинут на другое. Взять да и вынуть из этого круга уже не так-то просто. Вот и кружит иногда человека до того, пока сам не отдаст концы, как говорится при исполнении служебных обязанностей, хотя явно для всех – ни на что полезное он не способен.

… Так или иначе, – кто там ни назвал его, сегодня именно ему пришлось горевестником отправляться в Сухум.

Когда ему в руки дали список тех, кого надо было оповестить о смерти, он сразу увидел её имя – стояло первым. Это из-за неё посылали специально человека, чтобы сказать о смерти старухи, забытой Богом и людьми; остальные три-четыре человека, указанные в бумажке, – те были необязательными. Они могут приехать, могут и не приехать. Это и неважно.

О той, имя которой стояло первым, если не случалось раз в году, а то и в два, особенного повода какого-нибудь, то и не вспоминали – в селе давно позабыли это имя, никто не произносил, словно имя давно умершей. И когда в таких вот редчайших случаях, подобных нынешнему, до его слуха доносилось это имя, его удивляло то, что оно всегда звучало свежо, будто услышанное в первый раз. Но срам, который однажды пристал к нему, тоже был живуч, не отставал от её имени. Несмотря на то, что он упорно старался быть глухим к этому имени, не помнить его, иногда откуда-то пространство возвращало его сюда, доносило до его слуха, и он невольно следил, как оно бессильно таяло в огромной гортани того же пространства, удаляясь, исчезая. Хотя всё, что связано с этим именем, в его душе давно перегорело, испепелилось, но когда вчера ему объявили, что надо поехать к ней, и дали в руку бумажку, список с её именем, его всего что-то пронзило, больно ударило в грудь.

Вспомнив всё это, он невольно сделал рукой резкое движение человека, силящегося разорвать цепи на запястьях, и при этом локтем нечаянно довольно сильно ткнул молодую женщину в бок. Но та ещё больше замерла, незаметной сделалась, и бок её опять исчез.

…В своё время имя умершей старухи было известно и почитаемо в селе. Уарга – это имя произносили с особенной интонацией – не то бережно, не то с некоторой опаской. Если предстоял её касающийся разговор, то с самого начала называлось её имя, а затем в продолжение всего рассказа уже ни разу не произносилось, обходились местоимениями, словно боялись, что от частого употребления оно нетто утратит, потускнеет. Было и благоговение, и страх, и преклонение перед этим именем ничем вроде не знаменитой и даже не очень знаменитой женщины. В первый раз, когда её он увидел, волосы у неё были пенисто белые, седые, удивительно оттеняющие моложавость лица; голову она всегда держала прямо, будто смотрела в зеркало и таким способом ориентировалась в пространстве. Это её очень выделяло. Глаза были миндалевидные, серые, с крапинками, как птичьи яйца. Эти «птичьи яйца» никогда не смеялись, были неподвижны, как стоячая вода, ни строгие, ни приветливые. За редким исключением, они не смотрели на других – всё так и глядели перед собой в «зеркало», и, кроме того. Что там было видно,

ничего больше и дальше не искали. Потому-то, видимо, несмотря на правильные черты лица, на, в общем-то, красивые продолговатые серые с крапинками глаза, не было в её лице трепета жизни, и оттого всей этой красоты никто не замечал и не выделял.

Когда ему изредка приходилось видеть её после всего случившегося, он лихорадочно начинал искать, всматриваться в её черты, в которых, казалось, застыла жизнь, – не проглянет ли хотя бы случайно или отчаяние, или сожаление, угрызение совести, – но они были такие, как всегда.

Из всего того, что знал о ней, он заключил, что она каким-то образом обладала своего рода свободой, которой здесь не было, а если даже была – ею не пользовались, не смели или просто не хотели пользоваться. Неизвестно было, откуда этот дар, – её самой ли от рождения. От другого ли человека, либо от какой-то иной силы. Когда она изредка, по случаю ли смерти каких-то родственников, по случаю ли торжества, появлялась в окружении далёких и близких родственников, чувствовалось, что никто из них толком не знает, где она пребывает, с кем, к кому, к чему имеет отношение. Действительно, в селе об этом никто ничего не знал. Никто не слышал о том, чтобы кто-то из родственников ездил к ней туда, откуда она является в село. Да и связи с остальным миром в его мальчишеские годы были слабыми, случайными. Это потом, потом всё началось…

Уарга принадлежала к тем немногим, которых сравнительно легко отпустили местные устои, прошлое и настоящее, привязанность к очагам, могилам предков, долг и привязанность к порядкам, запретам, удерживающим в тесных ущельях, предгорьях, не менее тесных долинах, на крутых откосах всех тех, для кого эта земля была вечной родиной.

В то время, когда она. Уарга, уходила или её уводили отсюда, эти устои повсеместно ещё были до того сильны и самонадеянны, что потери не чувствовали. Казалось, лишённая соков, корней, её кровь сделалась разжиженной, и она появлялась с разных местах бледная, в ореоле седых волос, с безжизненно забывшим лицом, но гордая от того, что имеет силу не признаваться в слабости.

Теперь же, когда, с одной стороны, влияние этого непонятного, но притягательного уводящего зова сделалось чувствительнее, когда стало так много уходящих, а с другой – сила местных устое, корней вовсю старается удержать своих блудных сынов, в селе задумались над тем, что этот зов не такой уж однозначный, что он обладает не только пагубными возможностями, которые в смятении приписывают ему, но, возможно, и благодетельными, что он способен погубить лишь слабого, как бурная река – не знающего брода.

Поняли в селе, что уводящий этот способен проникнуть всюду, проложить себе путь к каждому дому. Его энергия подобна морскому приливу, незаметно и бесшумно захватывает он всё новые территории и смывает оттуда желающих уехать, и колеблющихся, и тех, которым всё равно. Проникая в их владения, в их сердца и души, он кладёт им на язык еле ощутимый вкус другой жизни, иного мира, заставляет томиться некоей

соблазнительной неизвестностью. И так постепенно, методично подтачивает он самодельные человеческие крепости. Чем дальше, тем упорнее становится он и уже шлёт своих гонцов в виде удобной одежды, домашних вещей, книжек с затейливыми картинками, граммофонов, патефонов, радио, и наконец – телевизоров. Постепенный неослабевающий этот приливный натиск, уводящий этот зов уже разделил людей села на устойчивых, которых он сам настигает на месте, на упирающихся, колеблющихся, которые, казалось, и там были, и здесь, или ни там, ни здесь их не было, и, наконец, на добровольно отдающихся, которым было всё равно и которых смывало начисто.

Андриа почувствовал – воздуха ему не хватает, он расстегнул пуговицы на рубашке, не помня себя, но думая о том, где сейчас находится.

В списке значилось её детское имя – Капкап.

Он заёрзал на сиденье. Пепел утраченных лет, затопленных в омуте прошлого, вдруг ожил, обернулся жаром и обжигал.

К поступлению в школу ей уже сменили имя, хотя в деревне и до и после называли её только по-своему.

Однажды, появившись в связи с каким-то местным событием в доме брата, Уарга заприметила его младшую дочку. Хотя та совсем ещё ребёнком была, все кругом видели – подрастает необыкновенная красавица. Уарге стоило лишь слово молвить, и сразу же родители поменяли ребёнку имя, назвали девочку Венерой. Верно, Уарга уже тогда решила, подрастёт – и сразу туда, а как же можно там с именем, похожим на прозвище.

Они были соседями. Отца её, Дачаму, в армию не призвали, но он несколько раз ходил на Марыхуский перевал с тем, кто подвозил провиант. Помнили до сих пор, как тогда в горах погиб его неимоверной красоты стригунок, сорвавшись со скалы. Дачама, и не только он один, а и все остальные братья и сёстры, кроме Уарги и младшей дочери, были вылеплены природой грубовато, примитивно: казалось, Создателю пришло в голову поэкспериментировать – на нет свести шею, пристроив массивные черепа в углубление между плечами, непомерно широкими; для лба оставив так мало места, что волосы на голове росли почти с переносицы, а тяжёлые челюсти напирали на грудь.

У Дачамы была и старшая дочь. Она родилась во всём похожая на отца, и этим с рождения была решена её участь. Старшая была уже взрослой, когда появилась на свет младшая и последняя. Она родилась таким прекрасным ребёнком, что долго боялись поверить в чудо, но чем старше она становилась, тем всё более хорошела. Её мать, супруга Дачамы, тоже была некрасивой, с худым, тёмным, словно ржавым лицом. Неведомо, совпадение каких струй крови, какого просветления понадобилось, чтоб всем. Чем изболелась, о чём мечтала, на что надеялась душа страждущего – всё наконец воплотилось в ней.

Вдруг сквозь шум автобуса он услышал её голос…

Может быть, и эта дорога, сколько бы её не обновляли, ни покрывали асфальтом, помнит её голос… Когда в последний раз он так явно слышал его?

От волнения Андриа нервно заёрзал на сиденье, и даже, неловко повернувшись, больно ударился локтем о стенку автобуса.

Слава Богу, что не в бок соседке пришлось.

Было время, он уверен был, никого и ничего нет в природе такого, что не запомнило бы её голоса: и дома, и зелёные лужайки дворов, и деревья, и речушка, протекавшая неподалёку, которую вместе переходили туда и сюда в день несколько раз, а в дожди заливавшая берега и набело отмывающая покрытые высохшим илом камни…

Раз он явно слышит её голос, с болью подумал он, значит, этот голос и сейчас везде живёт, где прозвучал хоть раз, – как душа, делившаяся от тела.

Но потом-то, подумал он, потом… Потом этот прекрасный чистый голос запрел, заржавел в её гортани, осквернённой смрадным воздухом недостойной жизни,.. его горло сейчас тоже свело, затрудняя дыхание. Он задыхался от злости – не то на самого себя, не то на неё, не то на всю жизнь. Но это быстро прошло.

Лишь купив уже билет на Сухум и направляясь к остановке сухумского автобуса, он вдруг вспомнил о том, что наказывала жена.

Хоть на руке у него были часы, для большей надёжности он задрал голову и посмотрел на вокзальные, висевшие высоко над никогда не запиравшимися, всегда полуоткрытыми дверями. Сначала он не понял, в чём дело: по этим вокзальным часам времени ещё было мало. Посмотрел на свои – они показывали другое. Оглянулся по сторонам, но вокзал был похож на растревоженный улей, никто никого не видел, все были заворожены предстоящей дорогой. А там, у выхода к автобусам, рассыпавшись по ступенькам лестницы, стояли в непонятном ожидании какие-то типы. По ничего хорошего не предвещавшим лицам, по тому, как они прикусывали свисавшие к уголкам рта усики, по нарочито расслабленным позам, по непросветлённым совестью взглядам было видно, что это за молодые люди. Не то что спросить, заговорить, а просто мимо них пройти – и то было бы нежелательно. От того ли, что какое-то разгульное приволье здесь и заезжим, и проезжим, в этом отдалённом подобии современного курорта, или испокон века уже были они нечисто-бойкими, и невозможно угадать, чем держится, на чём замешана их жизнь, – только мелкие прибрежные города, посёлки, местечки, в переулках которых до сих пор лежит вонючей кашицей позеленевшая грязь, производят в изобилии таких вот типов, какие сейчас стояли на ступеньках лестницы.

…В это время рявкнул тепловоз, он вздрогнул и зразу дошло до него, что эти часы над дверью показывают не местное, вокзальное время. До его автобуса было ещё сорок-пятьдесят минут. Он вышел на перрон. Люди носились туда и обратно, одни спешили, другие медленно прохаживались, мешая торопившимся. Видимо, на второй путь должен был подойти поезд,

многие с чемоданами, свёртками прыгали на рельсы и бежали к соседней платформе. Андриа остановился и огляделся. Сначала быстро, второй раз – повнимательнее. Взгляд его задержался на входе в вокзальный ресторан – он чувствовал, что где-то здесь могут оказаться его дочь и зять.

У дверей ресторана стояли кружком несколько человек. Видно было, что они постарше тех, ожидающих на ступеньках лестницы напротив автобусной остановки, здесь уже были животики, кое у кого на голове просвечивала плешь. Говорили все одновременно громко, не слушая друг друга. Видно было, что навеселе.

Ни свет, ни заря, подумал Андриа раздражённо, отводя от них взгляд, спозаранку пьют. Отвёл он взгляд потому, что среди этих, с животами, стоял и его зять. Он ещё даже не высмотрел его, но знал, уже наверняка, что зять там. А когда он снова посмотрел в ту сторону, сразу увидел его: массивная грудь походила на горб, а плешь на голове издали казалась безглазым лицом. Когда зять повернул лицо в его сторону, оно мало чем отличалось от плеши, так было искажено выпитым.

Андриа до сегодняшнего дня обманывал себя, старался не думать об этом. Но почему-то сегодня, сейчас он самому себе признался, что презирает зятя. Это признание было так больно, что он даже тихо застонал. Зять был из породы покалеченных жизнью, плохой породы. Такие стоят особняком, они не просто жертвы, они сами добровольно отдают себя бойкой нечистой жизни и ещё других за собой тянут, умножают количество. То, что Андриа называл «силой сил», зовущая, разрывающая связи сила пространства пугала своей бесконечностью, огромностью, непонятностью – способностью привлекать и затягивать в свой водоворот. Подобно его зятю и те, помоложе, стоявшие на лестнице, они вылавливали увлечённых этой силой, но не разбиравшихся в ней, не успевших освоиться, заново найти себя, – и окончательно сбивали с толку. И эти, сбитые с толку кем-то, и становились настоящими жертвами, потерянными для живой жизни.

Он лихорадочно принялся взглядом отыскивать свою дочь. Злость сначала ослепила его, но потом, вдруг, сделала его даже зорче, чем обычно. И он быстро высмотрел её. Она стояла, пряча лицо, плечом прислоняясь к стене, на которую была неровными рядами приляпана облицовка из мрамора. По тому, как она стояла, вся сжавшись в комок, понятно было, что она молча, захлёбываясь, глотает слёзы. Ему стоило на миг увидеть хотя бы её силуэт, и он сразу узнавал её душевное состояние.

Андриа пошатнулся. Сделал шаг, замер и некоторое время стоял как вкопанный: затем, боясь, что его заметят, повернулся и пошёл прочь. Вмешиваться не было смысла, получилось бы ещё хуже. А он сегодня и без того был сам не свой.

Что же с ней будет, думал он, и до самой глубины болела душа и слепла от боли; ведь знает, понимает всё, а как только мужу в глаза посмотрит, опять всё забывает, всё прощает ему. Всё же что-то надо придумать, помочь ей опомниться, мучительно решал он, пока совсем не сломилась, не загубила свою жизнь.

3

Когда тронулся автобус на Сухум, он заметил, насколько этот удобнее, опрятнее и мощнее, чем тот, который привёз его из деревни. Автобус всё набирал скорость, в окошки залетал ветерок, но внутри пока ещё держалась духота. Солнце отражалось в стёклах, мгновенными вспышками слепило глаза. При поворотах он невольно смотрел на море, залитое сиянием, бескрайнее под пологом неба.

Затем он отвёл взгляд от окна и осмотрелся внутри автобуса. Знакомых вроде никого. Стояло всего три-четыре человека. Вместе с ним в автобус поднялись немногие, в основном пассажиры ехали издалека, уже освоились и восседали важно, взвалив всю свою тяжесть на кресла, на спинки. Кто знает, силам и духам тех мест, откуда они едут, поручено ли вернуть их обратно, или наоборот, дано им ехать всё дальше, не останавливаясь ни перед чем, ни перед кем… Так или иначе, Андриа чувствовал, что все тут намного увереннее в себе, чем он. И ещё в том увереннее, что их ждут там, куда они держат путь.

Не поворачиваясь, лишь скосив глаза, посмотрел на своего соседа. Упитанный, грузный человек (везёт сегодня на упитанных), страдая от жары и потея, снял уже пиджак, большим и красивым платком всё вытирал лицо, лоб, шею, с удовольствием сопя, багровея от усилий. Наконец спрятал платок в карман пиджака, обеими руками взялся за широкие подтяжки, несколько раз потянул и с треском опустил; неизвестно было – разминка ли это в сидячем положении или у него ещё сохранились с молодых лет повадки, манеры характерные для тех типов, расположившихся на ступеньках вокзальной лестницы. Приспустил галстук, смачно зевнул и, откинув голову на спинку кресла, закрыл глаза. По тому, как не спеша, уверенно, никого не замечая, словно, кроме него, здесь никого и не было, с подчёркнутым уважением обслуживая себя, он казался крупной рыбиной, появившейся на мелком месте из тёмных глубин случайно, просто так, – поразвлечься, размяться.

Через проход, на противоположной стороне, сидели рядом молодой человек и девушка. Андриа сразу заметил, что у парня преждевременно поредели волосы, уже и залысины образовались, и глаза припухшие. Девушка была совсем юной. По тому, как они изредка перебрасывались короткими фразами, видно было, что только-только оказались рядом. Молодой человек всем корпусом повернулся, подался к ней, но говорил осторожно, не давая воли словам, как бы посылая их на разведку, чтобы, если возникнет необходимость, сразу приостановиться, выждать время и опять начать. Девушка сперва вроде не очень склонна была обращать на него внимание, больше глядела в окно, но постепенно всё чаще стала поворачиваться к спутнику, светить своим взглядом – у неё были большие тёмные лучистые глаза. В конце концов она тоже всем корпусом повернулась к парню, готово начала отвечать на его уже целыми пригоршнями высыпаемые слова. И чуть что – лицо её заливала краска – видно было, что

абсолютно безопытная, из тех, которые доверяются с первых же слов. Таких в наше время стало мало, но всё же есть. Тип с поредевшими преждевременно волосами сходу заметил, оценил это, потому сразу на неё взялся, может, потому и подсел. Когда он ещё чуточку подался к ней, обнаружились не просто стёртые, а уже расползающиеся швы на дёснах, и сделались видны засаленные локти – Андриа стало противно, и он сразу отвернулся. Почувствовав, что духота давит, снял пиджак и тоже, как его сосед, положил на колени: откинул голову на спинку сиденья, закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.

Автобус нёсся не сбавляя скорости.

Андриа чувствовал, что это силы тех мест, той жизни, откуда он едет, как ни притаились, вроде не дают ему сидеть спокойно, ни на что не обращая внимания, притворяться глухим. Он знал, что силы эти накрепко сидят в нём, они в его крови, текут по его жилам, что не только в автобусе, но даже если в ракете забросят его в космос, и то они от него не отстанут, не отпустят. Понимаю это, против воли беспокоясь теперь уже о девушке, которая сидит с этим типом, он в душе злился на себя – не только злился, но чувствовал себя униженным оттого, что вот сам он ни разу, хоть случайно, хоть по желанию, освободив себя от всех этих пут, не смог поступить как душе его было угодно, не ощущая себя полностью свободным.

Она, эта сила, думал он раздражённо, зная и то, что не совсем прав, сила имеет власть только над такими, как он, ущербными. Уже побитыми жизнью; и хоть бы укрепляла дух, делала сильным, а не только удерживала, ограничивала его во всём!..

Будто подслушав, поняв его душевный непокой, силы, сопровождавшие его от родных мест, постепенно отошли, притаились, как будто их не было. Но как только освободило одно, пришло другое: стали напирать воспоминания, которые кружили возле него с самого отъезда. Получалось, что он попал из огня в полымя.

…И смех её… тоже раз услышав – невозможно было забыть. Он был неизъяснимо светлый, прозрачный, звонкий и добрый.

И смех её, и смех…

Видимо, в селе мало кто сейчас помнит его, даже из тех, для которых он звучал, которые имели счастье увидеть и услышать его.

Люди забывчивы; как только им становится немного лучше, покойнее, как только восстановится, наладится прерванный обычный ход жизни, они забывают о потере. Но другие, вроде бы неживые, ничего не забывают. Они, неподвижные, бессловесные, всегда что-то говорят, что-то передают, надо только внимательно посмотреть на них. «Помнишь?», «Забыл?», «Как же такое можно забыть?» – вопрошает он немо. Дома, в которых живут, сидят, стоят, лежат, спят и видят сны люди, любят и страдают, ненавидят… земля, на которой живут, по которой ходят, которую пашут, засеивают, а потом осторожно мотыжат, на которой взращивают сады, зелёные деревья, леса,

журчащие речушки – всё вокруг, чему люди каждый раз оставляют толику души своей, эти обычно называемые неживыми участники нашей жизни должны всё помнить. Их память должна быть так же продолжительна, как их жизнь.

…На второй год войны, когда случались вражеские налёты и на некоторые приморские города, местечки, упало несколько бомб, Уарга приехала сюда к брату в деревню. В те времена все работали, все, кто мог держаться на ногах. Работали и старики, и маленькие дети. Ему тоже приходилось очень трудно. Мать иногда уходила на несколько недель – далеко, на особые работы. Он должен был присматривать за домом, не забывать хозяйственные дела, работать в колхозе, а если это приходилось не на время каникул – ещё уроки готовить. Пока Уарга не приехала, в домашних работах их всегда выручала Капкап. Но как только появилась в селе Уарга, Капкап стала всё реже наведываться.

Захлестнула злость – Андриа открыл глаза, даже привстал на сиденье. Автобус мчал не сбавляя скорости. Все вокруг дремали. Он опять опустил голову на спинку и прикрыл глаза. Злился от того, что вспомнил, как мать тогда пропадала неделями – забирали, нет, угоняли на эти так называемые особые работы.

Что за особые работы? В самые тяжёлые месяцы войны, оторвав от настоящих, действительно необходимых полевых работ, девушек, инвалидов, стариков, не попавших на фронт, вдов-солдаток в трауре – всех сгоняли сажать эвкалипты на болотах Колхиды. Как в прифронтовых районах лихорадочно рыли окопы, траншеи, рвы, чтобы остановить взбесившегося врага, так согнанные сюда колхозники тоже рыли траншеи, прокладывали дренаж, корчевали, выжигали леса.., но для других надобностей, с первого взгляда – мирных… готовили места под новые поселения. Не знавшие сути дела, глядевшие со стороны, верно, думали с восхищением – вот, мол, до чего же у этих людей, – стариков, вдов, пожилых женщин, девочек-подростков, голодных и разутых, раздетых, – какая же у них большая совесть, ибо, как видно, готовят они пристанище для тысяч и тысяч эвакуированных, бездомных, для тех, чьи посевы и дома сожгли немцы. Как бы не так: согнанные готовили местность для переселения тех людей, которые сейчас проживали в куда как более отдалённых тылах… Под шут и грохот войны за спиной ослеплённых горем людей некто приводил в исполнение свои давнишние преступные планы… Спешил… Ибо они, творящие зло, как никто другой знают о том, что в этой жизни бывает всякое, что приготовленные ими петли, гильотины, электрические стулья, литые пули могут сыграть с ними злую шутку, обратиться против них самих, против тех, которые выдумали, и тех, которые применяли.

Да, всякое бывает, знали они, потому-то и спешили успеть побольше, успеть так, чтобы обратного хода не было, как бы потом ни повернулась жизнь…

…Андриа усмехнулся горечью – как не зауважать себя за то, что осмелился подумать обо всём этом, сказать себе самому – откровенно, не приукрашивая. Но сейчас же в глубине души заныл очаг страха, угнездившийся, как опухоль, за все те годы; как бы он ни хорохорился, страх то и дело вспыхивал и затыкал ему рот, не позволяя думать о правде даже немо, не позволял признаваться даже самому себе в понимании вроде бы очевидных, но чреватых опасностью дел, учил закрывать глаза. – А потом ненавидеть себя – и не признаваться в этом самому себе…

Он опять очнулся от мыслей. Автобус мчал не сбавляя хода. Пассажиры мирно дремали либо глазели по сторонам. С того ряда, где сидели парень и девушка, доносился какой-то гнусавый шепоток, но он не стал смотреть в ту сторону.

Опять прикрыл глаза.

Автобус мчался не убавляя скорости.

…Она была лишена чувства зависти. Когда видела, что кому-то что-то хорошо удаётся, она счастливо светилась.

Не смотря на занятость и усталость, на то, что по многим предметам на целый класс имелся один учебник, он всё время успевал хорошо (как он хотел учиться, какая жажда была знать больше и больше!). Он находил время и для неё, помогал ей готовить уроки. Когда он что-то рассказывал по школьным заданиям, она пристально, не отрываясь, смотрела своими светящимися глазами, и видно было, что гордилась им. Затем, будто хочет выдать ему какой-то особый секрет, наклонялась к нему так, что он чувствовал её горячее дыхание – как маленький самум – и начинала говорить о том, что у него светлая голова, что впереди его ждёт широкая дорога, большая учёность и большие удачи.

Она была способна на истинное сострадание. Ему, принявшему на хрупкие мальчишеские плечи груз раннего взросления, безотцовщины, казалось даже иногда, что она перебарщивает в доброте – от избытка доброты в её собственной душе. С ними в классе учился один переросток – в те времена таких в школе было немало. Вот эти-то почти взрослые парни не давали прохода Капкап, уже на четырнадцатом году не по возрасту расцветшей. А тот переросток, наоборот, терялся, места себе не находил, как только увидит её. На третий год войны его призвали в армию. В селе-то рассчитывали, что он ещё не успеет до места назначения, – а на него уже похоронка.

Вечером Андриа готовил уроки у огня, когда забежала к нему Капкап. Позвала его на улицу, они вышли. В темноте он увидел, как на её глазах сверкнули слёзы. «Андриа, – сказала она своим прекрасным голосом, – Андриа… я совершила грех. – Она быстро произнесла имя погибшего парня, словно ей обожгло гортань. – Перед тем, как уйти на фронт, он подкараулил меня и осмелился попросить, чтобы я его поцеловала, сказал, что на войне может всякое случиться… А я, как дикая коза, убежала от него… Вот и случилось… Может быть, я…»

«Не знаю, грешно это или нет… – ответил он с ехидцей, – только перецеловать всех призывников даже при большом желании навряд ли возможно…» Он хотел добавить ещё что-нибудь побольнее, но не припомнит – то ли не решился, или не нашлись подходящие слова. Она некоторое время молча и неподвижно стояла в темноте. «Я пойду…», – сказала из темноты почему-то не очень решительно. «Иди, я тебя не держу…» – отрезал он.

Но в каком состоянии она была, когда в их дом пришло горе… когда вдруг овдовела мать, а для его детства была сшита непомерно тесная, горькая рубашка сиротства, – как из старого, поношенного архалука фронтовика выкраивают куски на одежду его сынишке… Когда разошлись люди, он забился в маленькую комнату-пристройку и замер там в кромешной темноте, желая раствориться в ней. «Андриа, Андриа, – говорила она полушёпотом своим прекрасным плачущим голосом. И совсем близко он услышал её дыхание. – Андриа…» Потом она нашла его лицо, обхватила обеими руками, своими горячими, солёными от слёз губами поцеловала в щёки… невпопад, неумело, с лихорадочной решимостью. Потом села рядом с ним. В том году она ни на день не оставляла его одного.

…Не выдержав, он застонал. Выпрямившись в кресле, осмотрелся. Никому до него дела не было. Глянул на эту рыбину из тёмных глубин, не разбудил, не побеспокоил ли его. Но сосед так и не пошевелился после того, как откинул голову на спинку сиденья, – не то спал, не то бодрствовал с закрытыми глазами. Всё равно, было видно, что он очень спокоен, доволен и невозмутим. И сразу же дала о себе знать многолетняя привычка, всё время подкарауливавшая, следившая – как бы он не проявил себя свободно; какой-то части его существа почему-то надо было, чтоб он мог скрывать свои чувства, способен был смириться, задавить в себе протест.

Опять он расслабился и откинулся на спинку кресла.

Автобус всё не сбавлял скорости.

Только сейчас он заметил, что этот восхитивший его вначале автобус на крутых поворотах разворачивался тяжеловато, все его части издавали какие-то свои особые звуки – и мотор, и покрышки и ещё что-то вроде, как суставы поскрипывали, и потому становились слышнее их несогласованность, некоторая одышка.

Неужели так далеко стало до Сухума, вот едут, мчатся, и всё ещё полпути, не понимал он. Остальные пассажиры, как ему казалось, чувствовали себя преспокойно, впали в некоторое блаженное состояние… пожелай они, могли бы вообще стать глухи и немы, ничем себя не тревожить, ехать куда глаза глядят, и везде, где ни появятся, и везде, где ни появятся, оказаться хозяевами положения; а у него сердце щемило, все его заглохшие раны стали оживать и набухать, как почки у алычи весной, набухать болью – оказалось, что не зажили они, только притихли. Хоть вроде и присутствовали в нём те устои, которые вскормили и которые должны были присматривать за ним, и поддерживать, но то ли от скорости, по ли от расстояния постепенно теряли влияние. А он теперь на них обратил свою злость – почему, кроме как над ним, ни над кем не имеют никакой власти. По крайней мере, здесь, внутри

автобуса. Так и быть, он примирился бы с мыслью, что ему от них не уйти, но пусть бы они поднимали дух, учили протестовать, сопротивляться, бороться!

Если бы они вовремя укрепили её дух… Капкап, чтобы могла распознавать, кто есть кто в любой ситуации, в любых обстоятельствах, чтоб вот такие, как эта рыбина из тёмных глубин, сидящая с ним рядом, не могли бы её жизнь превратить в игрушку, в объект времяпрепровождения, усладу их похоти… чтобы она могла постоять за себя… за жизнь, за свою бескорыстную доброту, красоту, чистоту – которые так и остались беззащитными…

У них в деревне была только семилетняя школа. Они с Капкап закончили её одновременно. Война продолжалась, но фронт отступил далеко на запад. Война продолжалась, но фронт отступил далеко на запад. Фашистские самолёты сгинули, и Уарга сразу же стала ездить из села на побережье. Изредка она забирала с собой и Капкап. Однажды они вдвоём остались там целую неделю.

Капкап выросла, и то, второе её имя, всё чаще носилось в воздухе, заметно оттесняя первое. Даже её мать, как ему казалось, с удовольствием выговаривала это новое имя, трудно для неё произносимое. Почему-то это сразу портило ему настроение, мучили туманные, тревожные догадки.

После недельного отсутствия она привезла ему с побережья новые книги.

Вот поеду снова и достану ещё интереснее, – сказала она ему, и он слышал, что голос её становился всё прекраснее и прекраснее. – Там у меня новые друзья… – вырвалось у неё, она заметно побледнела и на мгновение отсутствующе прислушалась, а глаза её сделались непонятно томными.

После этого она неожиданно совсем перестала приходить. Сам он очень редко бывал у неё, сейчас решился – но там безвылазно сидела Уарга. С ней встречаться не хотелось. Ни разу не перемолвившись хоть словом, ни разу не встретив в её взгляде осуждения или неприязни, он почему-то от одного её имени падал духом, и все его надежды летели куда-то в пропасть. Не думал он, что когда-нибудь так непросто будет для него повидаться с Капкап. Вдруг сразу заметно сделалось, как они отдалились друг от друга.

И вот тогда-то его, преждевременно возмужавшего мальчика, ещё по-детски хрупкие плечи которого приняли на себя груз взрослой жизни, соприкоснувшегося уже с теми её сторонами, что обычно закрыты для детей и подростков – его стали мучить опасения, предчувствия потери, отчуждения и разлуки с Капкап.

…Однажды, в самом начале осени, он сильно простыл. Поднялась температура, и пришлось ему отлёживаться. Когда мать уходила на работу, попросила соседского мальчика. Его родителей, чтобы присмотрели за больным. Но явился этот мальчик неожиданно поздно, где-то за полдень.

– Я-то хотел придти раньше… – оправдывался он – да по дороге люда они встретились…

– Кто это – они? – но отчего-то больно заныло сердце.

– Уарга и Капкап.

– Откуда же они… возвращались?

– Уезжали… попросили пойти с ними до станции, помочь, у них много свёртков было.

– Никого больше не нашлось проводить… – только и сказал он, его уже ранило смертельно, а он ещё не успел почувствовать боль.

– Ну да, чего это я должен их провожать, – недовольно согласился мальчик. – Ещё до поезда столько времени, а она говорит, Уарга, не люблю, мол, когда все впопыхах, всегда должен оставаться запас времени… – Скривил рот, передразнил: – Запас времени…

– А бог с ним, – он махнул рукой. Голос его дрожал. Ему хотелось, чтобы мальчик поскорее оставил его одного. – Им самим лучше знать, когда, идти, года вернуться.

– По их разговорам – они совсем уехали… И Капкап…

– Всё равно, рано или поздно вернутся сюда… – получилось у него по-дурацки важно, по-взрослому: он сейчас ненавидел мальчика, которому было всё равно – даже не убрал со лба слипшиеся от пота дурацкие свои кудри. Еле сдерживал себя, чтоб не вскочить с постели и не отколошматить… До битья, конечно, дело не дошло, но всё же он грубо сказал мальчику, чтоб тот отправлялся к себе домой, что ему хочется спать. Мальчику и самому, видимо, всё это надоело, он сразу же ушёл, не заставив повторять дважды.

…Он бежал, не разбирая дороги, и когда, запыхавшись, истекая потом, облепленный репьями, достиг основания холма, за которым находился полустанок, не стал огибать его, пошёл карабкаться прямо по склону. Холм густо порос папоротником и колючками. Обходя непролазные места, он уже почти достиг макушки холма, когда издалека, из самого Ткуарчала, донёсся гудок паровоза. Так только солдатка, получившая похоронку на мужа, может кричать, как он закричал, всей разорванной душой. Он чувствовал, как сердце куда-то проваливается, как отнимаются ноги. Хотел рвануться, бежать и не мог продвинуться вперёд на несколько шагов. Потом неожиданно его немного отпустило, и он рванулся прямо в заросли колючек и папоротника, которые здесь, на высоте, были и гуще, и выше. Когда, весь поцарапанный, окровавленный, оборванный, он вскочил, наконец, наверх, сразу ясно услышал стук приближающихся колёс. Паровоз, чёрный, в гриве густого чёрного дыма, уже достиг железнодорожного моста через тоже чёрную от угля реку, совсем близко, под скалами. Метнул взгляд в сторону полустанка и сразу увидел их, нет – её. Меж небом, на котором ржавыми мазками были нанесены тучки, и уже тронутой увяданием землёй на фоне умирающего дня обозначился широкий, ослепительно белый (так могла стирать только Уарга) откидной воротник на её платье. Ничего больше он не увидел.

Он рванулся туда. Он не знал, что будет делать дальше, но во что бы то ни стало хотел догнать её, пока не унёс её подползающий к полустанку огнедышащий извивающийся дракон. И в это время перед ним из-за зарослей папоротника и колючек, более густых и высоких, чем все остальные, с разных сторон вышли и стали перед ним какие-то взрослые парни. Видно

было, что они здесь его не ждали, вообще никого не ждали. Он хотел было, не обращая на них внимания, пройти мимо, но они загородили ему путь. Миновав мост и замедляя ход, поезд подходил к полустанку.

Он лихорадочно огляделся – и понял, что ему от них не уйти. Они не были похожи на способных выслушать, услышать, в чём-то уступить, к чему-то снизойти. Более того, они явно были раздражены неожиданные его появлением. Здесь, в этих зарослях, видимо, они что-то скрывали и скрывались сами. А он, по несчастью, оказался невольным свидетелем и, выбравшись к полустанку, мог кому-то сказать. Они ждали, чтоб он подошёл поближе. Со смертной тоской обвёл он их взглядом, заступивших ему путь: не то вражеский десант, не то дезертиры… да нет, вроде ещё и не призывного возраста…

Были они той породы, что, уже в ином обличии, видел сегодня Андриа на ступеньках вокзальной лестницы. Да, такие могли стать и вражеским десантом, и дезертирами.

В наше время они преобразились, одеты-обуты, даже модно, и где-то числятся на работе. Несмотря на то, что всё написано у них на лице, они не дают просто так повода хоть в чём-то обвинить себя, – пока не представится безопасный случай отвести душу. Тогда, в годы войны, они были более жестокими. Дрались, воровали и так просто, потехи ради, глумились над безвинными, беззащитными, доводили до того, чтобы те себя ненавидели, презирали за своё бессилие.

В то военное время они нередко издевались над колхозниками, возвращавшимися с очередной эвкалиптовой барщины или с принудительных работ по подготовке местности для переселения людей из более глубокого тыла, чем здесь. Он помнит, как его мать смертельно побледнела при одном упоминании о них.

…Поезд ещё раз пронзительно свистнул, заскрежетал, погремел буферами и остановился. С полустанка теперь ближе и слышнее доносилось его хриплое шипение, голоса пассажиров.

Он повертелся, повертелся на месте, но выхода не находил: вокруг непролазные заросли папоротников и колючек, слева над почерневшей рекой высится щербатая, вся в складках и выбоинах скала, которая торчит здесь с самого сотворения этого мира, где так мало места для свободного вздоха… на скале древние, как мир, чахлые кустарниковые дубы, их скрученные ветки – будто хищные когти злой старухи из сказки. Над головой ржавое осеннее небо, холодеющее, как только что испустивший дух покойник, впереди и по бокам – они. Внизу, в лощине, чёрное от сажи железное тело дракона и ослепительно белый воротник между небом и землёй… Никого, ничего сейчас не было во вселенной, что стало бы на его сторону.

Он посмотрел на землю, под ноги: взгляд упал на камень. Его можно схватить и бросить. Пойду с камнем, может. Отступят, пропустят, подумал он, не веря, зная, что не отступят. Если не дадут, не пропустят, тогда хоть кого-нибудь из них уложу этим камнем… Отец погиб далеко от дома,

сражаясь с врагами, он погибнет здесь. Эти тоже – враги, и враги самые гнусные, какие только бывают.

Паровоз задышал часто и хрипло – уже отходил. Он быстро нагнулся и хотел схватить камень, но это оказалось ребром скалы, торчащим из земли. Острая боль пронзила пальцы, когда он рванул, – камень даже не пошевелился. Не успел он ни охнуть от боли в руке, ни выругаться, как его ударили снизу ногой – прямо под дых. Он задохнулся с открытым ртом, как рыба, вынутая из воды, шатнуло, но устоял на ногах. Схватить бы чьё-нибудь горло, вцепиться намертво, пока тот не испустит дух, пронеслось в его мертвеющем сознании.

– Пацан! А ну-ка! – процедил сквозь зубы ударивший его ногой, науськивая самого младшего из стаи.

Тот колебался.

– Ну, пацан! – процедил старший, угрожающе, словно замахнулся камнем.

Мальчишка шагнул вперёд. Андриа вцепился бы ему в горло, тот был даже младше него – разве можно бить такого. И мальчишке, видно было, не очень-то хотелось участвовать в потехе. Шагнул ещё ближе и тут Андриа получил сзади ещё удар, такой же силы, как первый.

– И теперь мандражишь?! – услышал он как из-под земли и ещё успел расслышать два душераздирающих гудка паровоза.

…Он открыл глаза и выпрямился в кресле. Сердце билось учащённо, словно увидел тяжёлый сон. За Кодором автобус стал изредка останавливаться и выпускать пассажиров. Его сосед не спал, неподвижно уставился куда-то в пространство. Не заметил, когда они сели – до Кодора или позже, – в проходе стояли два молоденьких солдата в новой с иголочки форме. Увидел их и немного отлегло на душе. Форма вызвала уважение. Его отец был не старше этих ребят, когда надел военную форму и ушёл на передовую. Такие, как его отец, не пощадили себя, не уклонились от долга, не сказали, что наши семьи, жёны, дети осиротеют. А ему уже насколько больше, чем отцу… не воевал, но словно сто пуль попало в него, сто раз, убив, перешагивали через него, поверженного, душа и сердце изранены, изрешечены…

Круто повернувшись, он посмотрел туда, где сидел этот тип, преждевременно лысеющий, и молоденькая дурёха: место девушки пустовало. Значит, она где-то сошла. А парень спал, голову уронил на грудь. Лицо наморщилось, как выжатый лимон, он словно внезапно постарел лет на двадцать.

Андриа свободно вздохнул, увидев, что девушки нет, словно это что-то решало в её судьбе.

Пока всё же до города ехать было ещё несколько километров, и он снова откинулся на спинку сиденья.

…Почти год о них ничего не было известно. По крайней мере – ни соседям, ни родственникам… Об Уарге и о ней… Родственники тоже

притаились, не видно и не слышно было их. Вдруг однажды Уарга объявилась в селе. Увидевшие её в этот день не могли скрыть изумления: Уарга внезапно постарела; если раньше она держалась даже слишком прямо, то сейчас горбилась, сделалась маленькой, более того, если в ней раньше не было видно следов их родового устройства, то сейчас – словно обмелели глубины, где она их прятала, – наружу вышли все черты её рода.

В ту же ночь она ушла вместе с братом, Дачамой. Через два-три дня Дачама вернулся один. И через месяц его было не узнать, сдал, похудел, остались одна массивная голова и уродливые, непомерно широкие плечи. Уарга появлялась ещё раза два, но как пришла одна, так одна и ушла.

…И в деревню стала приходить молва о ней, Капкап… нет, нет – о Венере. Эти места и люди этих мест ещё не знали, не слышали такой страшной молвы ни о ком, не то что о девушке, которая воспитывалась здесь в тесном корсете строжайших правил и устоев. После этого перестала приезжать и Уарга. Дачама тоже не показывался на людях, он уже больше не участвовал в жизни села.

Минуло время, и несмотря на то, что молва всё не затихала, доходили вести пострашнее первых, – сначала в селе привыкли ко всему этому, потом надоело, и постепенно, за редкими исключениями, люди утратили интерес, не хотели уже слышать о позоре, передавать сплетни, от которых действительно уши вянут. Их имена – Капкап, Венера, Уарга – прежде здесь произносили с благоговением, и каждый ждал, когда родится наследница, чтобы назвать её так же. Но после всего случившегося не то что называть ребёнка – имена эти боялись произносить вслух, как имя злого божества, насылающего порчу.

Когда умер Дачама, его старшая дочь, достойна представительница рода, не допусти к его гробу ни младшую сестру, ни тётю Уаргу. После смерти Дачамы его супругу забрали её братья. Допустили ли к её похоронам Венеру и Уаргу, никто не знал и не интересовался.

Забыли уже на селе и о старшей дочери Дачамы, которая жила у себя дома, и об Уарге, как вдруг выплыли на поверхность, пошли разговоры. Уаргу, парализованную, привезли и уложили в доме брата. Андриа так ни разу и не пошёл её проведать, но Старушка каждый день навещала её. Оттуда приходила прямо к ним и начинала рассказывать, как Уаргу уложили в самой тёмной комнате, оттого, что не переносит света, и как она не смотрит ни на кого, вообще редко открывает глаза, и если видит свою старшую племянницу, которая кормит её с ложечки, меняет ей бельё два-три раза в день, видит её уродливое лицо и короткую шею, – то отводит от неё взгляд…

– Уарга есть Уарга – говорила Старушка, уставившись в пространство, видя там что-то своё. – Заболев, она стала такой, какой была раньше, никому ничего не прощающей… конечно, по-своему… Её такой Господь создал…

Он очень внимательно слушал её, потом, будто всё это мало его занимало, начинал вышучивать: к чему, мол, все эти страсти ему, родившемуся в год, когда прежде времени расцвела алыча… Он смеялся, он говорил – вот умрёт он в такую же промозглую пору, и соседи, проснувшись до первых от плача

по нему, присядут в своих тёплых постелях и скажут: «Этот несчастный и жил, как не жил, и умер не вовремя…»

А за буйволицей, действительно, присмотр был необходим. Она славилась не только породой, давала много и отличного качества молока, но известна была ещё и тем, что если оставить её без догляду в течение дня, она или должна разорить огород, какой бы крепкой, прочной ни была ограда, или уйти далеко на равнины, в буйволиные стада. Именно в то время, когда старшая племянница вышла, чтобы посмотреть, где буйволица пасётся, пришёл час Уарги. Когда племянница вернулась, у неё уже остекленели глаза. Как потом ни старались их закрыть, всё равно зловеще поглядывали через щёлочки век. И видевшим покойницу жутко делалось – та смотрела на этот мир уже из-за черты и судила оставшихся уже по законам потустороннего мира.

Испустить дух, пока ходили смотреть, не залезла ли в огород буйволица, – это не лучше, чем родиться весной, когда прежде времени расцвела, а потом помёрзла алыча, горько усмехнулся Андриа.

Автобус начал останавливаться всё чаще. Он суетился, посматривал вокруг, но ещё не доехал до центра города. Как-то сразу стало не по себе, словно плоть его начала растворяться, он почувствовал странную невесомость. У госфилармонии вышел его сосед. Поднялся с места только тогда, когда остановился автобус, не спеша собрался и, так ни разу не удостоив его взглядом, двинулся к выходу. Он не торопился, видно было, что для него всё безразлично – что люди ждут, кто-то ещё должен ехать дальше, – ибо он явился из тёмных неведомых глубин, а здешние правила его не касались, он их не соблюдал, для него они вовсе не существовали.

Сам Андриа решил ехать до вокзала, а там взять такси.

4

Такси, которое ему попалось, было стареньким, сиденья провалились и поскрипывали, как старое седло. Немолодой, рыхлый водитель даже не поглядел на него, не повернул голову, не спросил – куда. А сразу тронулся. Уже на ходу он сказал ему адрес и, не отводя глаз, смотрел на неподвижный профиль, не прореагирует ли, но таксист равнодушно и привычно смотрел вперёд, даже не переспросил. Машина притормозила на углу четырёхэтажного дома, недалеко от моря. Андриа без труда нашёл квартиру – оказалась на первом этаже. Когда поднимался по лестнице, в нос ударил тяжёлый запах застоявшегося воздуха и жжёной резины. На дверях ничего не было написано, кроме цифры «3».

Невесомость, которую он почувствовал ещё в автобусе, почти на нет свела все ощущения, он не слышал своего тела. Вдруг он вспомнил, что ничего ведь не знает о ней после всех тех лет. Что случилось – как устроилась, замужем ли, есть дети или… Но это, о чём он даже боялся подумать, уже исключалось, всё же она далеко не молода. Он машинально

поднял руку, почти не чувствуя её, и нажал на кнопку у двери. Звонок прозвучал неожиданно резко; вздрогнув, он вместо того чтобы отдёрнуть руку, ещё продолжал нажимать на кнопку.

– О! О! – раздался хрипловатый неприятный женский голос, низкий, задыхающийся, словно из утробы дракона. – Кому ж это невтерпёж!.. – последовало по-мужски смачное ругательство.

Лампочка на лестнице не горела, и с улицы, со света, он не мог разглядеть лицо, понял лишь, что приоткрыла дверь женщина. Она смотрела сквозь щель, медленно – то ли испугалась незнакомого человека, то ли всё же узнала его. Молчала. Постепенно глаза привыкли к полутьме – перед ним стояла грузная полуженщина-полустаруха: чёрные круги под глазами, толстые щёки отвисли, опухшие ноги не помещались в тёплых домашних шлёпанцах, волосы почти седые, коротко остриженные. Внешность говорила не столько о возрасте, сколько о том, что прожитые годы беспощадно обошлись с ней. Глаза-щёлочки смотрели из-под заплывших век – ничто во взгляде не напоминало ту, которую он знал когда-то и которой привёз горькую весть. И всё же он узнал её: это была она. И вдруг ушло чувство невесомости, тяжесть тела придавила его ноги к цементной площадке. Ещё раз взглянув, он понял, почему сумел узнать её: в ней ясно обозначились приметы их родового уродства, он помнил эти сузившиеся глаза, двухэтажный подбородок, низкую шею, обнажённую короткой стрижкой, – весь этот облик был знаком ему с детства.

Видно было, что она тоже признала его, но молчала.

– Не узнаёшь? – спросил он, спокойный и безразличный, просто, чтобы нарушить молчание. Не назвал её никак. Вспоминать теперь её имя, которым он всегда называл её, было ни к чему – той, прошлой, её просто-напросто не было здесь. А та, которую звали другим именем, для него не существовала, да и не хотел он это имя произносить.

– Если память не изменяет… если память не изменяет, – ответил одышливый голос, возникший словно сам по себе, вне человека, голос, который он слышал впервые. – Да, да…

К нему окончательно вернулось самообладание, он снова чувствовал своё тело, землю под ногами.

– Заходите же… – продолжал голос тоном не приглашения, а скорее, вопроса. Так или иначе – всё равно он должен был войти, неудобно было сразу, с порога объявить весть: всё же умер человек, и притом – близкий для неё. Конечно, он знал, что в обморок она не упадёт, но поступал, как считал нужным, как положено было. Он отметил, что сила тех, вроде бы далеко оставшихся устоев снова спокойно овладела им, подчинила себе как свою собственность, и покорно пошёл по её зову.

Он шагнул к двери, и женщина заковыляла впереди, показывая путь в комнату. Ноги были не просто опухшие – плохо слушались.

– Сними пиджак, если хочешь… – предупредил голос, пока он не сел.

– Нет, нет, я спешу… – ответил он неприветливо.

Рука указала на диван, под дорогим, некрасивым, слишком пёстрым ковром. Но он опустился на жёсткий стул рядом с диваном. Женщина заметила – отверг предложенное ею место, но ничего не сказала.

Только сел, опять стало не по себе, ощутил незнакомую пугающую опустошённость. Надо поскорее убираться отсюда, подумал он, нервничая. Она, неуклюже поворачиваясь, немного отодвинула старое кресло и с трудом уселась.

– Ты не постарел… – сказал голос, который он никогда до этого дня не слышал, и после паузы, там, где было опущено его имя, – не поправился…

Чей, откуда этот голос, такой сырой, одышливый, подумал он, не то жалея, не то гадливо, и видел, как она старается прикрыть свои опухшие ноги, откуда и когда поселился в ней, в каких сквозняках простужен, какими огнями прожгло её гортань, после какой жизни остался в ней только такой голос…

Видно, он её никогда и не знал. На лице той, которая сейчас сидела, провалившись грузным телом в кресло, явно проступали черты их родового уродства и ещё следы чего-то иного, ему непонятного и вызывавшего гадливость.

– Где там… – запоздало ответил он на её слова. Поправляются люди, которым жизнь позволяет… Куда мне…

– Не прибедняйся… – сказал голос, и показалось, будто он всё о нём знает. – Это сейчас уже стало по-другому, – в её речи вдруг появились интонации почтенной дамы – а прежде быть в теле да краснощёким – очень ценилось, считалось лучшим качеством.

– Где ценилось, на базаре? – усмехнулся он.

Она посмотрела осуждающе, но не успела ничего добавить – зазвонил телефон на низком столике подле кресла. Подняла трубку.

– Алё, Алё… – отняв от уха, она смотрела в трубку, словно ожидала увидеть там кого-то. По всему ясно было – она окончательно убеждена: по телефону ли, самолично – но из мира, который начинается за порогом её квартиры, больше никто и никогда ничего радостного ей не сообщит, не осчастливит. Однако, человек всегда человек – пока глаза глядят, пока грудь дышит, он должен слышать чей-нибудь голос, человеческий разговор – хотя бы изредка. Хотя бы и знала, что её ничто уже не спасёт, – да всякий утопающий хватается за соломинку.

Видимо, телефон был не совсем исправный, она долго ничего не могла разобрать, лицо её багровело, темнело, и в такие моменты в неё яснее являлись устойчивые черты родового уродства.

– Ух, это ты, негодница! – наконец разобралась она и лицо её посветлело, в нём теперь больше проступила болезненность… – Сколько раз тебе говорила… – она метнула взгляд на Андриа, в голосе зазвучали и неприятные нотки: – Я же тебе говорила – и наволочки, и простыни, и покрывала – всё импорт…

«Импорт» – она выделила, произнесла с особой старательностью, подчеркнула. Потом она долго слушала трубку, а затем словно спохватившись, заёрзала в кресле, приняла горюющий вид:

– О, ой, ой! Какого мужа, какого мужа, какого героя потеряла… – Обратила взгляд к фотографии в скромной оправе невысоко на стене. На фотографии был изображён человек с изношенным, неживым лицом, в военной гимнастёрке без погон, с одним орденом и тремя медалями на груди. Глаза так глубоко запали, что казалось, когда его снимали, он уже был мёртвым.

– …Как я смотрела за ним, – продолжал голос. – А костыли, какие костыли я ему справила… Сама ему подавала… А какие пирожки я ему пекла, такие пухленькие, мягкие, во рту таяли… Думаешь, я заставляла его в туалет идти, никогда… – Откуда, откуда такой голос, равнодушный, бессовестный? – Чистила, драила медали и в постели прикрепляла к рубашке… Он так любил их. Ему нравилось, когда они позвякивали. Да, позвякивали – в последнее время он весь дрожал мелкой дрожью… Руки-то давно тряслись, но весь он трястись стал уже потом… Да… Ну прямо на руках его носила. Ах, ты на такое не способна! Подумаешь… Так и сиди без своего угла. А эти… Они в один прекрасный день исчезнут, улетучатся, будто их и не было… как только увидят, что ты им уже не пригодишься. И не говори, все мужчины одинаковы. Все они в подмётки не годятся моему… моему герою. – Она изредка посматривала в его сторону и, наверное, заметив его нетерпение, стала торопить собеседницу: – Хватит, хватит, да, спешу, как ты думала… А насчёт импортов – всё как я говорила, ни одной копейки меньше. А чем же жить бедным вдовам ветеранов войны и труда. Ой-ой-ой, какого мужа потеряла, какого мужа!

– Прошу извинить, но я спешу… – его терпению пришёл конец. – Я приехал с вестью…

Он увидел, как дёрнулся её бок, и на какое-то мгновение она тревожно замерла. Окна, забранные решётками, были все закупорены. В комнате держался тяжёлый душный запах пыли, осевшей на коврах, запах плесени, да ещё к тому же пахло не то пудрой, не то дешёвыми духами. Его мутило.

– …Хорошо, хорошо… – повторял голос, изменившаяся интонация показывала, что она спешит. – Тогда приходи сюда и обо всём поговорим. Ну, хорошо, приходи с ним, чтоб его вместе с тобой… она засмеялась, словно зарычала. – Это его голос доносится, что ли? Гром, а не голос, чтоб его вместе с тобой… – она набрала в грудь воздуха, открыв рот, словно задыхалась. – Скажи ему, чтоб он подальше спрятал свой дурацкий крик, когда будет в мой подъезд заходить… Поняла?.. Наши стены, как папиросная бумага… всё пропускают. Чтоб отсохли руки у тех, которые строили. Спрашиваешь, почему? Не знаешь.. Потому что сосед, – что сердце… Вечно мне везло… Потом так раздуют, так раздуют… Мне-то нечего опасаться, конечно, бедной вдове ветерана труда и войны… Но всё-таки неприятно. До свидания, до свидания, некогда мне с тобой болтать… Как хочешь, хочешь сейчас, хочешь через час, а то и через два, как получится… – она отняла

трубку от уха, посмотрела туда, куда говорила, и осторожно положила её на рычаг. Видно было, до сих пор не верила в чудо телефона.

– И без него тоже плохо, но на разговоры много времени уходит… – Ещё раз недоверчиво посмотрела на старомодный, конторского вида чёрный аппарат. – У них выхода не было, не могли обойти такого человека… ветерана войны и труда… А то знаешь, сколько теперь стоит поставить телефон? – вдруг оживилась она, но, глянув в его лицо, умолкла и угрюмо отвела взгляд.

– Я привёз горькую весть… – сказал он наконец.

Она опять заметно вздрогнула, затаилась, а потом, видно, сообразила, что ведь уже не осталось на свете человека, смерть которого потрясла бы её. Ответила серьёзно и язвительно:

– Как это случилось, что вспомнили…

– Твоя тётя… – закончил он. – Уарга умерла.

В квартире теперь возникла гулкая тишина.

– Когда похороны? – спросила она наконец, невольно посмотрев на свои ноги.

– В пятницу, послезавтра…

– В пятницу, когда никого не хоронят… – взглянула на него почти презрительно.

– Четверг слишком близко, суббота далеко, вот и пришлось остановиться на пятнице.

– Это я так, не всё ли равно… – сказал голос, которого он никогда не слышал до сегодняшнего дня.

Он поднялся.

– Если не очень спешишь, попьём чайку.

– Спасибо, спешу… надо ехать…

Она тоже встала – через силу, кряхтя, постанывая.

Его до того глушила злоба, что действительно трудно было дышать. У двери он приостановился и открыто обвёл её взглядом – с ног до головы, словно снимал мерку для гроба.

Вот она, думал он изнемогая от гнева, вот эта женщина, опухшая, похожая на жабу, выброшенная из жизни, как обглоданный волнами ствол дерева река выбрасывает на берег… Это она задавила ту, которую он знал… прекрасный голос, смех, улыбка той исцеляли душу, а сияние глаз было полно жизни, это она задавила ту, и ещё не окрепшие кости только хрустнули, она задавила её, как мать, заспавшаяся, задушившая своим тяжёлыми грудями ребёнка… Задавила, задушила… А теперь он стоит перед могилой, в которой лежит задушенная девочка, с такой жаждой жизни и любви сошедшая туда… Могила!

– Ты пока, как кремень… – сказала могила, изобразив улыбку, обнажились болезненно красные дёсны, и золото, и серебро коронок. Сказав так, могила подняла руки, чтобы коснуться его, но он отстранился.

Минуту она молчала, уронив голову.

– Хорошо, мне так суждено, узнала позор… но вы!.. – каким-то странным сделался голос, может, оттого, что выражал непривычное. – Думаешь, вы победили… Ты и твоя супруга все силы потратили на хозяйство… Ну и что? А дальше что? Жизнь потратишь на это? Да, я пополнела, если хочешь, думай, что набрала лишнего весу, – а у вас остались кожа да кости… Имею собственный кров – как видишь, вполне устраивает меня. Так что этим не поможешь ни своей судьбе, ни чужой… Она в других руках, ею распоряжаются другие силы, – она подняла голову и посмотрела на него. Ему показалось, что глаза её открылись шире и лицо посветлело. Но он лишь яснее разглядел, что с ней сделала жизнь, все эти следы чрезмерных доз губительных сил – чёрные круги под глазами, желтовато-землистую кожу от поражённых печени, почек, лёгких, сердца… Он видел лицо, для которого чрезмерные желания превращались в губительную привычку, в недуг, – лицо могилы.

– …Что ты видел, что ты знаешь… – лицо могилы заходило, ещё больше исказилось, морщины поменяли места, а те, что обычно не очень были видны, вылезли на поверхность, задрожали губы, искривился, приоткрылся рот, но ничего не сказала, дышала задушено, лишь из-под припухших, почти закрывших глаза век просочились слёзы.

Ему стало не по себе.

– Об одном прошу… – вдруг неузнаваемо изменился голос, который он никогда не слышал до сегодняшнего дня. Ему показалось, что тот, незабвенный её девичий голос чуть-чуть просочился в сегодняшний, он даже вздрогнул.

– Когда умру, не оставляйте здесь… Похороните там…

Он не мог больше ждать. Нащупал задвижку и, рванув дверь, выскочил на воздух.

Во дворе до его обострённого слуха выстрелом донеслось, как где-то ударили по мячу. И не успел он оглянуться, как мяч долетел и больно ударил в плечо. Он сумел перехватить его, гневно метнул взгляд в ту сторону, откуда им буквально выстрелили. Посередине двора, на огороженной площадке с баскетбольными кольцами, щебечущая стайка детей, как мелкие птахи филина, появившегося днём, окружила двух старших подростков, видно, что-то не поделили. От стайки отделился мальчишка, бегом направился сюда. Приблизившись к Андриа, потянулся за мячом…

– Извините… – сказал мальчик, живоглазый, с ямочками на щеках. – Мы хотели играть в баскетбол, а они устраивают футбол.

Андриа посмотрел: «филины», не выдержав натиска младших, позорно удалялись. Глянул ещё раз на мальчика: ему казалось, что он его где-то уже видел. Верно, напоминал ребят, немалое количество которых приезжало на лето в деревню, к своим бабушкам и дедушкам.

Андриа положил мяч в его протянутые руки.

– Спасибо! – крикнул звонко мальчик, посмотрел на него ещё раз живыми смеющимися глазами и побежал к своим. Теперь он ему показался ещё более знакомым… Но нет, не мог вспомнить. Однако, не это было сейчас важным,

главное – ребёнок со своей улыбкой, звонким голосом, живым, чистым взглядом повлиял успокаивающе на его измученную душу.

Андриа пошёл дальше.

Приехав в Очамчыру, он поспешил к своему автобусу, который увозил его сегодня утром из села. Когда садился, автобус был пуст. Потом стали собираться люди, кое-кто, заметив Андриа, здоровался, и он отвечал, не глядя в их сторону.

Автобус затормозил у полустанка.

Он шёл к выходу от заднего ряда сидений и старался не видеть недоумевающие лица соседей, да и не запомнил эти лица.

Наваждение, кошмарный сон… словно в каком-то ином существовал он сейчас мире. На полустанке – ни души. Как и тогда, в тот день, здесь не было ни навеса, ни хотя бы бетонной площадки, только по оде стороны рельсов земля истоптана настолько, что даже трудно пробиться к свету.

Он пересёк железную дорогу и стал подниматься по склону вверх. Идти приходилось вдоль ограды и колючей проволоки, охватившей подножье холма. Эта земля относилась к железной дороге, и путейские рабочие пользовались ею, развели огороды.

А выше склон, как и тогда, густо зарос папоротником и колючкой.

Ни один не догадался, хоть бы подожгли эту гадость! Подумал он с внезапной злобой. За давностью и ненависть, и все желания его сейчас были бессильны, изменить ничего нельзя уже было, и от этого ещё гаже, невыносимее становилось на душе.

Спешить было некуда, до захода солнца ещё оставалось время, и он поднимался медленно, обходя густые заросли. Поднявшись к вершине холма, остановился. Посмотрел поверх папоротников и колючки, поверх железной дороги дальше, в пространство: оно было пусто и открыто от гор и до самого моря, и, если не считать редких, жидких, пустопорожних облаков, небо тоже было пустое. Далеко на горизонте пылающее зарево заката подожгло синюю полоску моря.

Обернулся и посмотрел в сторону гор. Хотя снега там было ещё много, весна уже успела обнажить большую часть склона, прочертить дорожки проталин по рёбрам скал.

Только после этого он опустил взгляд и, содрогнувшись, посмотрел на место, где он тогда стоял: сквозь спрессованные дождями и снегом прогнившие папоротники ещё не успела по-настоящему пробиться зелёная поросль. Лишь кое-где проклюнулись ростки колючек, пока такие безобидные и трогательные, и ещё реже – побеги папоротника с завитушкой наверху, жёлтые, слабые, почти бестелесные. Им долго и трудно пришлось пробиваться через плотные слои слежавшейся за многие лет гнили с запахом мертвечины.

И на склоне, и здесь наверху, многолетние папоротники душили всё живое, их было так много, что казалось сползлись сюда со всей округи.

И никто ведь не подожжёт, ещё раз подумал он, исключая почему-то себя.

По левую руку над рекой, беззвучной, чёрной, задохнувшейся от угольных отходов, торчали выщербленные, обглоданные временем скалы. Редкие кустарниковые дубы на них с перекрученными сухими ветвями, ещё не отошли от зимней спячки. А вот молодые кусты боярышника, к его удивлению, расцвели белыми, нежными цветами, стволы, ветки ощетинились острыми тонкими шипами.

Метнул взгляд в сторону полустанка: кроме небольшой полоски железной дороги, ничего там не было, пустота и горькое воспоминание о белоснежном воротнике походили на тяжёлый сон.

А что есть жизнь человека с её суетой. Запутанностью, несвободой, с её радостями и печалями в этой безбрежности, которой нет ни начала, ни конца, – один вздох, один зевок. И сколько таких белоснежных воротничков мелькнуло в ней и исчезло… что для вечности прошлое, настоящее, будущее – жалкие зарубки человека на времени…

Ещё некоторое время глядел он туда, чувствуя только пустую тяжесть своего тела. А затем опять посмотрел перед собой… Говорят… осёл никогда не возвращается на то место, где его оскопили. Но вот его сегодня что-то привело сюда, когда всё давно минуло, отболело, угасло, испепелилось, превратилось в золу… и когда опять холодной сделалась эта зола, вдруг снова ожёгшая утром сердце…

Сейчас он ясно видел, где тогда стояли они и откуда перед ними появился он, и безнадёжно сделал несколько шагов вперёд. Он ступил на то место, где его ударили под дых, посмотрел направо – непроходимые густые заросли колючек и папоротника, даже птичке не пролететь, посмотрел налево – там стояли они… Посмотрел перед собой – всё так же торчал обманувший его камень, – видно, большой, глубоко сидит в земле.

Вдруг дикое, злобное возбуждение охватило его. Верно, так сходят с ума, успел он подумать. Метнулся напротив, туда, где в тот день стояли они, обернулся к себе – тогдашнему.

– Эй ты! – вырвалось у него рёвом разъярённого быка; подчиняясь неведомой силе, на лбу словно взбугрились основания двух мощных острых, как кинжалы, рогов – готов поднять на воздух любого и трясти бешено, готов пронзить ими живот, и ещё, и ещё… – Сопляк несчастный! Чего хорохоришься, перед кем! Хочешь, чтобы твой хрупкий черепок был расколот на мелкие кусочки? Иди, давай сюда!

Он сжал кулаки, выгнул шею, услышал скрежет своих зубов, его всего пронзила тёмная ярость, казалось, будто мозги начали плавиться.

Задавим, затопчем, сотрём в порошок, как в бреду кружилось в его воспалённом мозгу, не дадим исполниться ни одному твоему желанию, что бы ты ни задумал – задушим в зародыше, потому что мы сильнее тебя!.. Мы должны одолеть такого одинокого и слабого, потому что существуют ещё посильнее, те, в свою очередь, нагоняют страх на нас, им ничего не стоит раздавить нас, растоптать – нас… Мы задавим тебя и этим на время смирим собственный страх, отведём душу.

– Иди! Ну! – он боднул воздух лбом, он чувствовал – там бугрились основания молодых кинжалов-рогов. И резко развёл руки со сжатыми кулаками, словно разрывая кого-то, что-то на части. Всем туловищем рванулся вперёд, ещё и ещё стремительно боднул воздух… Затем остановился, выпрямился, презрительно посмотрел туда, где некогда стоял хрупкий, слабый, измученный подросток, сжигаемый огнём самому ещё неясных чувств, невыносимых предчувствий, предощущением невосполнимых утрат… его так легко было изрешетить этими рогами, раздавить, сплющить его детскую слабую грудь!

…Постоял так немного – и начал постепенно отходить, кулаки разжались, смягчился как-то лоб, который, казалось взбугрился от вырастающих кинжалов-рогов, – теперь он весь покрылся обильным потом.

Некоторое время он оставался на месте, никуда не глядя и ничего не думая.

Потом сник, с трудом двинулся обратно, туда, где он появился в тот день, поднявшись на холм. Ему хотелось, не щадя себя, ещё раз пережить тогдашнее своё состояние, отчаяние, растерянность, своё бессилие, смертельную усталость… Остановившись, посмотрел на полустанок, стараясь вспомнить, почему белый воротничок на её платье вызвал не только невыносимую боль, но и сразу потерял всякую надежду… Показалось или догадался, что она уже изменила ему? Или же это была не безнадёжность, а некое самоуспокоение: мол, белоснежный воротничок навсегда предназначен только для его взгляда (самоуспокоение всегда подводит)? Или он твёрдо почувствовал, что время уже разорвалось и он видит её и эту белую полосочку на платье в последний раз? Любовь… сказать так, – пожалуй, слишком много. Ему это чувство неведомо до сих пор. Как можно распознать то, чего не перенёс, не пережил… Но не проникало ли уже тогда в его душу дыхание любви или хотя бы дыхание надежды на неё? Если бы это было настоящей любовью, она бы его убила. Она бы вырвала душу из его хилого тела, силы которого он рассеял по пахотам войны, меж рядов плантаций табака и чая, в страстях по погибшему отцу и соседям. А может, его самого тоже тянуло туда, в неизвестность, и в глубине души он готов был добровольно отдаться неведомому течению, сорвать с себя, как лохмотья, совесть, которая проросла в нём тогда до болезненности?

Сделав ещё несколько шагов, он достиг того места, где они столкнулись лицом к лицу. Посмотрел на злополучный камень: ясно видно, что торчит из земли. Тогда не заметил.

Хоть сейчас ему хотелось сказать что-то такое, чтобы причинило «им» боль. Нет, от слов им не будет больно… Чтобы они лопнули от злости, надо напомнить им, что перед сильным они трусы, убегают как крысы… Но не мог… удивительно, что-то не давало ему сказать хотя бы сейчас…

Он рванулся, как тогда, неуверенно рванулся к камню, и, зная, что большая его часть лежит в земле, постарался обхватить этот видимый выступ. Его ладони коснулись шершавой холодной поверхности. Снова посмотрел кругом: если он решил просто удрать от них, надо было бежать

назад, чтобы затем обогнуть холм и успеть к поезду. Там были люди, он смешался бы с ними. И навряд ли бы эти стали преследовать, вообще показываться… За это время, до отхода поезда, он успел бы… Потом его, конечно, могли бы догнать, но это уже потом, когда всё не так важно было.

Но – успел бы, а что потом?.. Тем более, когда ему вдруг преградили путь, а он уже чувствовал, что положение безвыходное, поезд вот-вот тронется, – всё это, видимо, усилило его неуверенность… А за спиной, там осиротевший отцовский дом, овдовевшая мать, горе, сковавшее уста людей, давно не смеющихся, не поющих – зависимость от всего этого, долг перед этим горем, которое он не в силах перенести… А может, что-то в нём и ожидало преграды, чего-то непреодолимого, что остановит, обернётся причиной… Но нет, нет, это теперь он может предполагать такое, когда уже всё равно, когда не может вернуться ощущение того состояния, потрясти до глубины души с той силой…

Опять согнувшись в три погибели, он обеими руками обхватил тот же злополучный выступ и попытался хотя бы пошатнуть камень в земле, но тщетно. Не отпуская рук, он посмотрел вокруг себя, посмотрел под ноги – множество камней там и здесь лежало прямо на поверхности, выглядывало из-под прошлогоднего подгнившего папоротника, камни, которые можно было зажать в кулак, чуть побольше, чуть поменьше – самых разных калибров. Он отпустил холодный шершавый выступ и опустился на землю, в горле заклокотало – он не знал этому названия, рыдание не рыдание, а чтобы смех – это прозвучало бы слишком грустно. Так бы прозвучало, как если бы он сейчас стоял тут над могилой мальчика военных лет и вместо того, чтобы плакать, смеялся над ушедшим.

…Потом он шёл долго и быстро, не завернув, как это обычно положено по возвращении из того места, куда ты ездил горевестником, к дому, где лежит покойник: шёл, пока не оказался у речушки, – в тот год они не раз переходили её ночью, в темноте, возвращаясь с поздних работ на табачной плантации. У самой речушки она начинала пугливо жаться к нему, наслушалась рассказов о русалке – будто бы купалась тут ночами, резвилась в воде. К речушки он остановился. Теперь она совсем обмелела, даже мост не был изменён – просто под дорогой уложили две полуметровые асбестовые трубы, – и она вся умещалась в них, даже после сильных ливней. Свернул от нынешнего «моста» туда, где они вдвоём переходили речушку. Крошечная заводь слабо высвечивала под звёздами. Он не помнил, сейчас время безлуния или новолуния. Раньше, когда он только начинал перестраивать своё хозяйство, с головой ушёл в него, дрожал над каждым урожаем, его интересовало всё, был чуток к любым изменениям, капризам и щедростям природы – помнил, когда должно подойти новолуние, когда какая фаза, полнолуние, каким было новолуние, как висел лунный серп, слишком отвесно или наклонно и что он предвещает – то ли дождливую весну, то ли засуху; знал и время, как говорили в селе, застревания луны, то есть безлуния, знал, насколько обильно и когда выпадает роса, и вплоть до характера и направления ветра – помнил и учитывал всё. А теперь – не то

устал, не то выдохся, или считал, что уже сделал всё возможное – но только в последнее время перестал обращать внимание на все эти тонкости, не замечал, – всё в природе совершалось как бы вне его интересов.

Всё же прикинул – середина месяца, уже должно быть новолуние, но не решался поднять голову. Некоторое время так и стоял, слушая, как бежит вниз от заводи тонкая струйка, шуршит, чуть потрескивает в камешках дна – будто тоненькие косточки малого зверька ломаются с тихим хрустом под чьей-то тяжёлой ногой.

Всё же ещё не умерла, подумал он, хоть все эти годы почти пересыхала. И в самые сильные ливни она уже и в половину не заполняла своё русло. Склоны ближних неглубоких ущелий, когда-то прорезанных водой, с годами оголились, люди вырубили растительность, все деревья и даже кустарники на самые никчемные нужды, ленясь ходить за этим дальше, туда, где рубить можно было безболезненно. И речушка погибала.

Наконец он всё же решился, поднял голову, посмотрел на небо, но сначала не различил ничего, кроме нескольких тусклых звёзд. Потом понял, что не там ищет. С трудом нашёл её, нарождающуюся луну, – тонкая царапинка вроде той, что наносят нетерпеливые ребятишки на корку дыни, проверяя, поспела она уже или нет, обозначилась на чуть затуманенном небосводе. Новорождённая луна. Но сейчас она ничего ему не говорила. Всего лишь малая царапинка – наносилась, наносится, будет наноситься на небо… Он-то при чём.

Она даже не напомнила ему запах той ночи, липкого, горького запаха табака, ни на мгновение не запульсировал нерв, кровь детства… Все кругом было и оставалось сегодняшним, сиюминутным, без прошлого.

…В тот вечер принесли ещё одну похоронку, и все взрослые ушли, оставив ребят работать одних. Возвращались домой поздно. Сколько похоронок было за время войны, но после отца эта весть больнее всего ударила по сердцу. И Капкап уже реже выходила на работу, особенно вечерами. Он чувствовал, что она бы совсем перестала появляться на табачной плантации, если бы не он, в его душу закрадывалась тревога, предощущение потери.

Она шла рядом, но её не слышно было, ни слов, ни даже вздоха – притаилась.

…Он хорошо знал того, на которого сегодня пришла похоронка. Совсем молодой парень, забрали его только на третий день войны. Накануне он зашёл к ним домой. «Прежде чем уйти, я бы хотел оставить заявление, – сказал, смущаясь, будто просил оказать ему необыкновенную услугу. – Я сам пишу, как курица лапой, неудобно… А ты хорошо, красиво пишешь, я знаю…»

Он будто сейчас слышит его голос, слова, которые продиктовал, уходя: «Я живу на месте, плохо пригодном для жилья. Прошу выделить мне участок на более удобном месте…»

Он вдвоём с сестрой оставался, родители умерли от испанки. Дом действительно на непригодном ни для чего месте, на крутом каменистом

склоне стоит. Но всё равно ему не дали участок получше, хотя в селе, в колхозе пригодной для хозяйствования земли было достаточно. Уже тогда в низменной части села, на самой плодородной и удобной земле, никому из своих деревенских занимать участок не дозволяли – сохраняли их для каких-то переселенцев. «Они наши гости, не поселишь же их, например, на склоне, где ты живёшь. Мы должны им предложить самое лучшее из того, что у нас есть, а наши – они все у себя дома, могут довольствоваться и тем, что имеют…» – сказали в один голос и председателя, и председателя колхоза; челюсти у них всегда вперёд были выдвинуты, как заряженное оружие, готовое стрельнуть бранью при первой же надобности. А остальные, сидевшие в правлении просто для машинального поднятия рук, которое называли голосованием, как всегда, промолчали.

Капкап уже некоторое время ходила будто сама не своя, и это неясно тревожило. Когда она была весела, когда он слышал её удивительный голос, когда она щедро тратила свой звонкий прекрасный смех, он тоже становился неспокоен душой, – но иначе, чем сейчас, то было другое. А вот когда она начинала стараться (так ему казалось) быть как все, незаметной делалась, он чего-то пугался, словно бы ждал нехорошего.

…Ночь была тёплая, без росы. Он бог бы там же и спросить, отчего она стала такой, вот сейчас идёт рядом, но её не слышно, словно и нет. Но он чутьём своим знает, что затеять такой разговор вовсе не просто, для этого нужны были и душевные силы, и настойчивость. А он так много работал и на поле, и дома, так ему, в самые годы роста, не доставало всего того, что требуется в человеческой жизни, – и еды, и необходимой внутренней и физической свободы, – что у него не накапливалось остаточной энергии, энергии напора, – и дух слабел от этого.

У речушки она остановилась. И тогда тихо шуршала, легко потрескивала её струя средь камешков дна, но чуть погромче – как бы ломались под ногой косточки более крупного зверька. Заводь, она в то время была намного шире, заливал тёмный свет луны. Ветерок, слетавший с гор, смывал с их лиц усталость и сон. Он не спросил у неё, почему остановились, голова его была занята совсем другими мыслями. Он думал о том, что сейчас смертельно уставшие люди свалятся в свои постели и будут спать, спать, сон даст перевести дух тем, у кого горе, боль утраты, а голодным даст забыть про голод. Но уже ранним-ранним утром, с болью думал он, они проснутся и – и горе, и боль, и тоска, и голод – всё нахлынет на них с той же силой.

– Мне до сих пор не даёт покоя, что я тогда не поцеловала этого парня… – сказала она, как бы сама себе, и прекрасный голос её задрожал. – Может быть, это ему помогло…

Он и сам удивился тому, что воспринял её слова спокойно, с грустью. Лишь опять вспомнил, как, уходя на фронт, парень погибший этот диктовал ему своё заявление. Говорил не спеша, ожидая, пока он не выведет фразу ровным, красивым почерком, пока живое его слово не закрепит на листе бумаги. Но когда он потом читал парню написанное, ему показалось, что дух и крепость слов улетучились или растворились в буквах, – так уходит

крепость вина из плохо закупоренного кувшина. Когда слова потеряли живой голос человека, они поблёкли и сделались чужими, ничьими – могли быть словами любого другого. И, словно почувствовав это, парень погрустнел и без уверенности взял из его рук тетрадный листок с заявлением.

И вот теперь никогда больше не прозвучит им произнесённое слово, в которое парень этот вдохнул бы капельку своей души, думал он у речушки, на берегу крошечной заводи и под желтоватым светом луны, а заявление, верно, пылится где-нибудь в забытых бумагах сельсовета, бумага со словами, где застыло дыхание человека, с резолюцией «отказать», написанной фиолетовыми чернилами размашисто, с ухарскими бараньими завитушками тупой бездушной рукой.

Вдруг она взяла его руки в свои. Он медленно повернул свою голову, боясь спугнуть её, и посмотрел: её глаза тихо светились в темноте. «Ты замечал… – проговорила она шёпотом, – ведь никогда не обращаешь внимания, не запоминаешь, когда так просто здороваешься за руку. Знаешь, почему? Оттого, что так принято и сделалось привычным. И то же, когда мы целуемся с родственниками. Но если подаёшь руку не просто… в этом есть тайна…»

«Какая тут тайна?» – вырвалось у него. В его голосе даже раздражение послышалось. Он так понимал – говоря о не простом, она, конечно, не его, кого-то другого имеет в виду. К тому же его сбивал с толку непривычный, очень тихий, задумчивый её разговор, без обычной искрящейся беспечности. Ему показалось, она потихоньку тянет его руку к себе, и он высвободил её. Она промолчала.

И тогда он глухо, как бы из-под земли, услышал вдруг далёкие вопли оплакивающих погибшего, причитания и крики женщин, и он даже хотел в своё оправдание сказать, что сейчас не время, неуместно рассуждать о таких вещах… Но не решился, ибо знал, что не прав. Он просто боялся. Ему хотелось, чтобы пока между ними всё так оставалось, как было до сих пор… Как звери чуют малейшее изменение в при роде, так у него отчего-то тревожно замирала душа.

После этого больше им не довелось говорить наедине, если встречались, то мимолётно.

…Он хотел убедить себя в том, что сюда его тянула не сила воспоминаний, а просто по пути домой должен был здесь пройти… но чувствовал, что врёт самому себе.

Еле слышно сбегала от заводи закрученная, как тоненькая верёвка, струя уходила дальше вниз, и слабый шорох и потрескивание течения на камешках дна напоминал хруст ломающихся косточек какого-то малюсенького зверька под тяжёлой ногой. И крошечная заводь сама по себе чуть светилась под звёздами, никаких следов новолуния не было тут. Узенький серпик месяца, царапинка на небосводе, не в силах быть хоть немного.

…Когда он ступил в свой двор, освещённый с высоты веранды несколькими сильными лампочками, туман уже спустился, и трава была мокрой. Волны просвеченного электричеством тумана поднимались, ползли

по склону вверх, как белый дым, словно весь двор начал вдруг тлеть вместе с травой.

Хозяйственные постройки во дворе и оба дома, сложенные из лучшего кирпича и дерева, покрытые оцинкованным железом, на которые он потратил лучшие свои силы, казалось, обрели самостоятельность и глядели на него с высоты надменно и пренебрежительно, как сын, вырвавшийся из-под опеки отца, смотрит на него, слабеющего уже.

Вот дом под кухню ещё признавал его: как бы поздно ни пришёл, он сохранял для него и уют, и тепло, и пищу. Но он не пошёл сейчас туда, а направился прямо в гостиный дом. Так и не вытерев ноги о мокрые тряпки, которые для этого лежали на первой ступеньке высокой лестницы и на последней, он поднялся на веранду второго этажа и, пройдя к последней двери, открывал её некоторое время, не попадая ключом в скважину. Отворив дверь, быстро вошёл.

На столе тускло горел ночник. Постель в соседней, смежной комнате, видная ему отсюда через открытую дверь, казалось, была пуста. Но он знал, что она не пустует. Он шагнул туда, подошёл к постели и рванул одеяло. По тому, как она не испугалась от неожиданности, можно было догадаться, что жена не спала. Она приподняла голову и посмотрела на него, не удивлённо, но с неприязнью. Плечи, видные из-под застиранной ночнушки, ещё сохраняли свежесть, они не огрубели, не высохли, как её лицо.

Он уже забыл, когда она перешла сюда спать и сколько времени он сам не заглядывал в эту комнату.

Это разве жизнь, это разве жизнь… дыхание перехватило, словно кто-то ударил его под дых. Он не мог разобраться, кого ему жалко, за кого больно – за себя или за неё.

Она опустила голову на подушку и ещё некоторое время смотрела на него в полутьме, потом, стиснув зубы, словно превозмогая боль, вырвала из его рук одеяло и, повернувшись лицом к стене, натянула его на плечи.

Он немного постоял, потом повернулся и вышел. У себя в комнате быстро разделяя и лёг спать. Он не мог ни думать, ни переживать, ни слышать, чувствовал только гулкую отрешённость и страшную усталость. Заснул незаметно и быстро.

На этот раз его разбудили петухи. Они голосили, как обычно со дня творения, торопливо и встревожено: вставайте, слышите, – словно между небом и землёй приключилось нечто небывалое. И Андриа, как всегда, сорвав с себя одеяло, вскочил на ноги. Привычным движением руки зажёг лампочку. Вчерашний выходной наряд лежал в беспорядке. Он лишь мельком посмотрел, как на одеяние покойника, и стал отыскивать взглядом свои будничные брюки и рубашку. Они аккуратно висели на спинке стула. Быстро оделся. А вот с рабочей своей обувью, из-за которой убиваются молодые ребята, кроссовками, он обычно не так ловко управлялся, зашнуровывал огрубевшими пальцами. Но сегодня и кроссовки завязал быстрее, чем обычно.

На девятнадцать тысяч двести тридцать восьмой день своей достойной жизни, чтобы заняться ежедневными, но вечными делами, встал ни свет ни заря Андриа Аранаасский, родившийся в году, когда обманутая ранним теплом, прежде времени расцвела алыча…

Спустившись во двор, он пошёл прямо по мокрой траве к амбару, который, как и все его постройки, был покрыт оцинкованным железом, стены сплетены из крепких прутьев рододендрона, с орнаментом. Под широким козырьком лежали и стояли у стены мотыги, лопаты, грабли. И больше никуда не заглядывая, не умывшись, не положив в рот ни куска, оставив двор с коровами, птицей и остальной живностью, с их мычанием, кудахтаньем, хрюканьем, – шагнул за калитку.

Туман рассеивался. Он быстро дошёл до участка, который готовил под табак. Там он уже провёл вторую вспышку, пробороновал. Сразу взялся за работу. Сначала ему надо было окружить участок неглубокой канавой и посредине прокопать ещё одру. А затем протянуть по всей площади табака. Рассада уже подоспела. Он её посеял с задержкой, не то что поздно, но чуть повременив – до того, пока погода не станет благоприятствовать. По опыту он знал, что лучше переждать, а не сеять поторопившись. Вот у него насада в этом году и получилась лучше, чем у тех, которые очень рано посеяли. Видимо, завтра пораньше надо начинать сажать… с женой. Поливать не придётся, земля достаточно влажная.

Этой мотыгой он пользовался не больше года. То, что её лезвие поистёрлось. Стало тоньше, делало её удобнее. И тяжесть тоже пока была достаточной. И рукоять мотыги он не менял; новая, со специальной насечкой, чтобы не скользила в ладони, она поначалу казалась ему слишком жёсткой, но теперь неровности сгладились, и рукоять просто ласкала ладонь. Мотыга легко врезалась в разрыхлённую почку, он работал с желание, с удовольствием. Земля была хорошей, достаточно устоялась, была податливой, но не такой рыхлой и пыльной, когда вырытая канава опять сама собой засыпается. Это очень важно, и чтобы не задавать себе двойной работы, и чтобы умерить воздействие табака, он быстро обессиливает землю.

Время от времени очередной местный начальник, выдвинувшийся случайно, благодаря родственным или иным связям, а то и просто болтун, не скупящийся на обещания, однако, ничего не умеющий, ничего не мыслящий в хозяйствовании, обозлённый тем, что люди с ним не считаются, не пользуется в народе никаким авторитетом, видимо, желая угодить сидящему повыше, на каждом собрании долдонит, – мол, какой там в Аимадара табак выращивают! Вот они, мол, работники, а наши – те ничего не делают, не хотят и не умеют.

Безмозглый! – возмутился в душе Андриа, не выдержав, несмотря на всю свою умиротворённость после хорошо выполненной работы. – Безмозглый! Сельчане его не признают, видя его никчёмность, так он им мстит и указывает на соседа: дом, его мотыга побольше и там попроворнее, – указывает, желая унизить своих… В Аимадара начали выращивать табак ещё тогда, когда всю землю там отдавали в аренду. Арендаторы не были

заинтересованы в хорошем качестве и в том, чтобы и почву поберечь, им только важно было – побольше, важно количество. А потом, в советское время, когда эти плантации перешли в собственность села, земля уже была как заезженная кляча, камни вышли наружу, вроде отложения солей. Потом им всё же добавили угодий…. Они начали гнать план, никак не заботясь о земле, и новую, добавленную им. Тоже погубили. И опять стали зариться на владения соседних сёл, которые и землю любовно сберегли, и добросовестно, без гонки, выращивали табак, – жалуются, исписывают груды бумаги. К сожалению, среди руководства пока не было человека, который пресёк бы это. Наоборот, на всё остальное закрыв глаза, сверху требуют план и план любой ценой, и землю тех, которые берегут её, отдают соседям, искалечившим собственную… Всё оттого, что их, кроме прибыли сегодняшней, ничего не интересует. Милостью горе-руководителей. Малых и побольше, так они и будут продолжать, эти горе-труженики: – давать двести процентов табака, безвкусного как палая листва, оставлять за собой искалеченные земли и опять просить новые…

Земля, – думает он, размеренно взмахивая мотыгой, и медленно, но неостановимо продвигаясь к границе участка, – со дня рождения держит тебя в руках, как самый близкий родственник. И то, который не задумываясь, не заботясь о ней, так, чтобы после каждого урожая она легко восстанавливалась, кромсает её, чтоб сразу же всё из неё высосать, – он враг и наших потомков, детей наших и внуков… А может, он думает, надеется переселить своих потомков на другую планету…

Он с головой ушёл в работу, и к нему постепенно вернулось душевное равновесие. Взмахивал мотыгой всё так же размеренно, но потихоньку увеличивал темп. И наконец, под рубашкой стало чувствоваться еле заметное приятное жжение, словно легонько провели по коже перцем, потом сделалось прохладно, меж лопатками. Через минуту жжение прекратилось – и пошёл пот по всему телу. И словно всё то, что со вчерашнего дня терзало и мучило его, пропитало всю душу ядом – возмущение, тяжёлые воспоминания, всё, в чём он был бессилен, был прав или не прав, нерешителен, струсил – всё это накопившееся стало выходить наружу обильным потом, он вздохнул легче, и заметно отлегло от сердца.

Не сбавляя темпа, он провёл канаву по обе стороны участка. Потом разогнул спину и, опершись о рукоятку мотыги, стал отдыхать. Пот лил градом, струйками стекал по лбу и щекам. Но он даже не провёл рукой по лицу, не смахнул пот – ибо это было благо.

Туман рассеивался, поднялся выше, зацепился за вершины ближних гор и начал постепенно таять, обнаруживая чистое, уже налившееся хорошим синим цветом небо. И вскоре облако, громоздившееся на лесистой горе Аисырра, зажглось, словно внутри него поместили огромные пылающие уголья.

Андриа стоял и смотрел в пространство. Пространство всасывало его взгляд и, будто переключив зрение, он уже видел лишь свободную даль,

лишённую чётких очертаний, – видел «всё», как он говорил про себя. И постепенно он ощущал, как сила пространства, сила этого вечного всё захватывает его. Сердце замирало, будто он очутился на головокружительной высоте. Истоки, начало этого «всего», были бесконечно далеки, непостижимые для такой песчинки, как человеческое существо, – но совершенно беззвучно, создавая гулкую тишину, даже стрекотом тихим, в силу одного вздоха – относили к себе. И его осенила догадка – то, что он называл «всё остальное», «всё, что есть дальше», – неизмеримо меньше, ничтожнее этого объединяющего высшего «всего», что оно – поверх всего земного идёт дальше, охватывая всё сущее, в нём всё, и оно над всем… Иногда так захватывает дух… Это оно как бы задевает своей волной, пролетающей мимо… но всегда быть в его царстве, выдерживать его могучее напряжение, видимо, никто не в силах.

А иные, духом ни разу не соприкоснувшись с ним, мучаются от одного его смутного зова, бросаются к нему, сломя голову – и попадают в какие-то тупики, отводные пути, искусственно созданные жизнью.

Когда это ощущение полностью овладело им, словно вознесло над землёй, у него слегка закружилась голова.

В это время он почувствовал, что кто-то идёт к нему, в такие моменты у человека до предела обострено восприятие – ничто не минует его незамеченным, непрочувствованным. Он обернулся: по тропинке торопливо ковыляла Старушка. Андриа моментально перенёсся на землю – даже вздрогнул, как от прыжка с высоты. Старушка держалась одной рукой за поясницу, а другой опиралась на палку, на ходу выбрасывала её слишком далеко вперёд, видно было, что очень спешит.

Андриа воткнул мотыгу в рыхлую землю так, чтобы она не упала, и пошёл навстречу. Когда приблизился, Старушка остановилась.

– Или ты забыл, что должен сделать горевестник по возвращении? – начала она, не успев отдышаться, но не зло, а будто между прочим, давая понять, что самое важное ещё предстоит сказать.

Да, не так уж было поздно, вчера он мог бы и завернуть туда, в дом, где лежала покойница, встать над нею, как в день смерти… Но воздержался, не захотел этого делать.

И сегодня не поздно, ещё только утро…

– Пока ты добирался из города, оттуда уже приехал горевестник… – если сначала она отводила взгляд, то сейчас посмотрела в упор. Эти старческие помутневшие глаза, в которых уже навсегда застыла усталость, глядели на небо взглядом того самого вечного и высшего «всего», как он его называл про себя, которое только-только дуновением коснулось его.

– Да… – сказала она. – Вчера, как только ты ушёл от неё, она простилась с этим миром… сама Капкап.

Как от внезапного взрыва в ушах зазвенело, заболело – и воцарилась гулкая тишина, словно в мире разом были истрачены все звуки. Его шатнуло, но он постарался не показать слабости, устоял, удержался на ногах…

В тот год, когда расцветшую доверчивую алычу пожгли морозы… в запретный день его рода, когда из дома не выносили даже иголки со сломанным ушком… незадолго до войны, самой страшной из войн, какие только были на земле, родившийся… Андриа Аранаасский.

Перевод С. Шевелёва

Алексей Гогуа
Пока не зашло солнце

Жизнь была занята тем же, чем и всегда: ничего не утаивала, не сглаживала – и горе, и радость, и добро, и зло; размеренно работала, гнала кровь по жилам, следила – не остыла, не перегрелась ли она.

Смерть по пятам следовала за нею, прибирая всё, что выпадало из неё...

В день похорон Есму оставили стоять среди скорбно расположившихся у гроба женщин. Где и положено невестке; но место было неудачное: если не считать редких мгновений, когда она выглядывала из-за спины плакальщиц и украдкой бросала взгляд на лежащего в гробу Езуга, Есма не видела его лица. Третий день, как смерть запечатлелась на этом лице...

Она думала, что удастся хоть ненадолго побыть с ним наедине и насмотреться на него, но не вышло: днём – женщины, посетители, ночью – бдевшие. Никто так и не догадался устроить им это последнее свидание. Даже Марица, на которую Есма втайне надеялась, почему-то промолчала. Надо было обслужить смерть наравне со скорбью по умершему, и такие мелочи не предусматривались, или времени на них не оставалось.

...Так они и не успели, как поженились, вдоволь побыть друг с другом.

Но и за смертью тоже невозможно было поспеть, она сразу начинала менять тех, кого отбила у жизни. Смерть первым делом отодвигала их имена, жизненные дела, и подводила к общему знаменателю: покойник. Жизнь тоже, бывает, обобщает: её вот уже два года зовут одним словом «невестка». Она, говоря правду, хотела, чтобы её нарекли иначе – обычай давать девушке после замужества второе имя ещё иногда встречается. Некоторые обожают своё имя, если ты случайно и забудешь, тут же напомнят – с нежным придыханием, смакуя. Ей же её имя опротивело до чёртиков; оно для неё стало что-то вроде объедков – настолько обсосали, обкатали. Здесь лишь он один произносил его ласково, с любовью. Хотя бы только поэтому наградят другим именем, надеялась она, но напрасно. И не подумали. Или испугались, что их сочтут отсталыми, – этого здесь боялись как огня, особенно женщины, – или же не захотели тратить на неё какое-нибудь приличное имя, поскупились. Она считала, что это произошло во многом по вине её имени, словно оно зажило собственной жизнью, предало её.

Имя оставили прежнее, но стали звать невесткой – и это немного утешило Есму. Всякий произносил слово «невестка» как-то осторожно, перед этим немного подумав, попридержав во рту, словно опасался, что оно застрянет у

него в горле. Может, хотели успеть, пока оно не вылетело из их уст, вложить в него какую-нибудь колкость, издёвку...

Её положение невестки ко многому обязывало. И теперь тоже надо было вести себя соответственно: что в гробу лежал её муж, что они недавно поженились, что она была беременна – ей приходилось помнить обо всём этом.

...Она не сразу поверила, что началась война. В 89-м тоже были столкновения, даже пролилась кровь, но тогда всё уладили кое-как, и сейчас тоже, наверное, придумают что-нибудь, решила она. Ей было обидно, что Езуг целую неделю не подавал о себе вестей. Бросил одну на попечение свекрови и золовки... Свёкор же к женской половине дома имел отношение постольку поскольку – в их дела никогда не вмешивался. Работа была для него всем – и женой, и сыном, и дочерью, и другом. С утра и до позднего вечера только ей одной отдавался весь... А свекровь, завидев её, нос воротит и начинает глядеть в сторону Сухума. Глаза её заволакивались туманом, она переставала что-либо видеть вокруг. Бородавки, в великом множестве усеявшие её лицо, и обычно серые, становились пунцовыми, а волосики, торчавшие из них, – жёсткими. Словно взвинченный до предела генерал, которому вот-вот выступать с войском в поход. Она не могла снести, что мать Есмы считала дочь заживо похоронившей себя тем, что вышла за Езуга, и отказалась от неё. Сочла их не ровней себе. Но и они не ударили лицом в грязь. «Это сын наш единственный загубил свою жизнь; раз снизошел до вас, то и худшее следует ему!» – был их достойный ответ родителям Есмы. «Разве такую мы заслуживали!» – было написано на недовольных лицах родных Езуга, когда она впервые предстала перед ними...

...Она с нетерпением ждала Езуга. Чтобы сказать ему обо всем – «и кривом, и горьком». Этим словам она научилась здесь. В устах золовки они звучали слишком уж часто, редко обходилась без них.

Жизнь работала; она настигала её, отвлекала на воспоминания, чтобы немного утешить, приободрить... Потом вновь возвращала к настоящему – не давала забыть, где и как она находится, не давала застрять надолго в прошлом.

Плакальщики всё шли и шли. Иногда среди них попадались люди в военной форме. Они останавливались перед нею, делали легкий поклон, потом шли дальше. Она не поднимала глаз, ей это не подобало. Глаза у неё горели. И так с тех пор, как услышала о его гибели. Тогда, словно молния, что-то пронзило её, прожгло всю. Было такое ощущение, будто нутро её всё выгорело, остался лишь пепел, и этим пеплом забиты канальцы, по которым положено идти слезам. Глаза ни разу так и не увлажнились. И тот, в её чреве, тоже затих. Немного придя в себя, испугалась за него. Сутки вообще не подавал никаких признаков жизни. Потом, когда зашевелился, слишком уж резво стал себя вести, но это её не беспокоило. С тех пор не прекращает. Она на последнем месяце. Надеется, что пока не прихватит, успеет. Около трёх недель не дотянул Езуг до его рождения. Доживи он, это немного облегчило бы её боль сегодня...

Он пришёл спустя неделю. Лишь заприметила его в конце двора — и ей стало ясно, что война на самом деле началась. Сердце её как упало, так с тех пор и осталось. Одетый как всегда, он держал автомат. Езуг с автоматом! Ей стало немного смешно, хотя какой тут смех. В этой семье ничего стреляющее не держали, и не слышала, чтобы кто-нибудь заговаривал о нём. Есме же было любопытно всё, что касалось оружия, потому что в их доме не было проходу от охотничьих собак отца, только и было разговоров о ружьях и охоте. Будто охота, а не вождение автобуса дальних рейсов, была профессией отца. Здесь же молятся на всякую железную утварь; свёкор держит уйму топоров, цалд, ножей, пил, секаторов для садовых работ, обрезки винограда, – которых он никому не доверяет, в том числе и сыну... Даже обычные кухонные ножи так остро заточены, что всякий посторонний, взяв их в руки, наверняка поранится. Раз решила было приготовить обед – молодой невестке следовало показать своё умение и по этой части, взяла кухонный нож, которым они пользовались повседневно, и чуть было не отхватила себе палец. До сих пор не может забыть слов, сказанных тогда со злой усмешкой золовкой: «Чего еще было ожидать от такой неумёхи!»

Действительно, свёкор её – золотые руки. Все деревянные постройки, что украшали их двор, он смастерил сам. И птичке не перелететь через его плетень, а чтобы какая-нибудь усохшая ветка осталась на фруктовом дереве или винограднике – такого не бывало. Езуг тоже с современной техникой связан лишь через машину. Как взял права – за рулём. Но чтобы, подобно некоторым, в куске металла души не чаял – этого за ним не наблюдалось. С первых дней войны он был на своих «Жигулях», и это золовке было очень не по душе. Вообще, автомобиль для неё – предмет особой гордости; она любила, к месту и не к месту, ввернуть в разговор словечко про него так, будто говорила об одном из членов семьи. В тот день он пришёл пешком: машина понадобилась там, на позиции. И когда золовка по этому поводу что-то недовольно пробубнила, Езуг вышел из себя и так гаркнул на неё, что Есма опешила: в таком раздражении она его никогда не видела. А золовка после этого прикусила язык и, словно зареклась, ни разу не заговорила о «Жигулях», но, видно, затаила в сердце глубокую обиду.

На машину накинули траур, поставили в углу двора...

...В тот день Езуг с высыпавшими ему навстречу родными зашёл в амацурта, и некоторое время оставался там. Затем поднялся к ней, держа в руке автомат. Поставил автомат у стены, подошёл к ней, обнял, прижал к себе. Она попыталась высвободиться, чтобы дать ему понять, если не словами, что обижена на него, но он не отпускал. Её и так донимали всевозможные запахи, а кисловатый запах пота, который шёл от него, был невыносим. Он, наверное, почувствовал это, и сразу разжал руки...

Лица Езуга она не видела, также не удавалось следить за всеми плакальщиками. Да и сами плакальщики на покойника не смотрели, не смотрели и на тех, кто стоял у гроба. Женщины причитали, а с этой стороны иногда вторили им сдержанными всхлипами, выражая своё горе. Горе, плач, страдание здесь подчинили себе всех, у людей на другое не оставалось сил.

Ей невмочь уже было стоять. Ноги распухли, стопы онемели, не чувствовали земли, на которую опирались. И тот, в её чреве, видимо, утомился, иногда шевельнётся, а потом надолго затихает.

Жизнь делала своё. Иногда Есме казалось, что жизнь обходит её стороной, не задевая. А иногда приближалась вплотную, обращая её взор к воспоминаниям. У жизни не было иного способа помочь ей, облегчить её ношу.

...В ту ночь (наутро он уходил на войну) она поняла, что человек может вдруг стать намного старше, чем он есть на самом деле, внезапно повзрослеть. Тогда она впервые серьёзно задумалась над смыслом отношений мужа и жены, семьи, детей. Слово «мой муж», которое она произносила раньше с некоторой иронией, теперь обретало новое значение. В ней рождалось более бережное отношение к их ещё не окрепшей семье, которой не давали покоя своими придирками ни её родители, ни его. И «закваской» их семьи были её любовь – о которой она ещё не заикалась, боясь сглазить, – любовь Езуга и тот, кто жил теперь в её чреве... Но пока ещё не совсем «заквасилось»... Война же сблизила всё – и жизнь, и смерть, и горе, и радость... И раньше она слышала, что они – из одного корня, но считала, что это говорится просто так, ради красного словца. Теперь же воочию убедилась, что они сплетены, как стропила дома...

Женщины, стоявшие впереди, иногда причитали, сменяя друг друга. Плач этот не был обычным плачем. Раньше не только такого молодого, но и пожившего своё оплакивали с громкими причитаниями. Война же настигает настолько неожиданно, что сбивает с толку, всё подчиняет себе, своим правилам, всё переставляет по-своему.

Свекровь стояла молча, словно окаменевшая, устремив взгляд куда-то вдаль. Иногда подходила к гробу, в котором лежал её сын, и смотрела на него ничего и никого, кроме него, не видящими глазами. «Очаг мой погас, погас...» – произносила она потрескавшимися губами страшно тихим голосом. А глаза оставались сухими: горе выжгло их.

Теперь не в сторону Сухума и родителей Есмы смотрела она. Она смотрела намного дальше, так далеко, что становилось жутко. Такой свободной, бывает, наверное, только душа, избавившаяся от груза тела.

...«Поплачь, поплачь, это не стыдно, – иногда слышала она голос золовки, – освободи свою душу от него...» Это относилось к ней, невестке. Ей казалось, «освободи свою душу от него» она говорит с издёвкой, и это было невыносимо. И потом, это она говорила нарочито громко, с ударением, словно хотела нарушить границы, установленные войной. Даже мёртвого ревнует к ней. Хотя и знает, что Есма не может плакать – глаза выжжены, слёзы высохли.

Золовка не смотрела в её сторону, но всё видела. Она была из тех, кто видит и позади себя. Как то животное – Есма никак не вспомнит какое, – всё вокруг держащее в поле зрения... Вокруг неё же, стоявшей с опухшими ногами, проведено множество мелких границ, они указывали, куда ей встать, двинуться, шевельнуться. Невестка должна разбираться в этих невидимых

глазу многочисленных рубежах дозволенного, положенного, необходимого. В другое время она бы делала всё по-своему, назло, наперекор, но теперь этого не позволяло уважение к покойнику, не позволяла война.

Нет воли в этом мире! Чем больше узнаёшь жизнь, тем явственнее понимаешь, насколько каждый из нас опутан её сетями.

И всё же мы тянемся к ней. Жизнь должна делать, что ей положено, по-другому она не может. Есма чувствует, как жизнь идёт, отбивая ритм, словно часы. Временами этот ритм убаюкивает, настраивает на воспоминания, и Есма несколько забывается...

...В тот день, уходя, он погладил её по животу, и тут же покраснел, как когда впервые поцеловал её. «Не знаю, в кого он пойдёт, но такой резвый...» – сказала она, и сама удивилась нежности, которая прорвалась через её тяжёлое дыхание. «В тебя пойдёт, больше в кого...» – рассмеялся он.

...Когда впервые увидела его и услышала фамилию – Апсаа*, – Есма удивилась. Не только потому, что у него была птичья фамилия, и сам он чем-то был похож на дикую лесную птицу, на птицу, до костей пронизанную ветром, с прочищенными вихрем глазами. Ей стало смешно; все остальные в их классе вдруг показались сытыми домашними птицами: курицами, петухами, индюками, просто от нечего делать щиплющими траву. Неожиданно среди них появилась лесная птица, и они засуетились из-за вдруг возникшей угрозы. Но убедившись, что им нечего опасаться, поуспокоились и стали важно расхаживать около непрошеной гостьи. Жирные, с обвисшими от неупотребления крыльями, они решили показать захудалой лесной твари, какие смелые и гордые. Петухи хриплыми голосами созвали кур, чтобы все знали, кто над ними главный. Не было сладу с индюком. Напыжившись, он то и дело подходил к обветренной лесной птице и угрожающе клекотал. Индейки дружно вторили ему. Гуси, как один вытянув шеи и задрав головы, прохаживались взад-вперёд. Все гуси такие, они уверены, что когда-то и вправду спасли Рим. Кроме тех древних, живших при галлах... Уткам же было всё равно, лишь бы поплескаться в луже...

Так она увидела встречу одноклассников с ним. Сама она относилась к тем домашним птицам, которых прибрал к себе «индюк». Но и он, кроме как пыжиться, ничего нового не смог придумать. Гуси – это были те, кто с младых ногтей думали только о карьере. Родители большинства из них считались важными людьми, и им хотелось, чтобы их чада продвинулись ещё дальше, ещё выше, ещё быстрее. Даже когда они просто так стояли в коридоре или шли к доске, весь их напыщенный вид говорил: «Это мы спасли Рим!».

...Он после восьмого класса приехал в Сухум и поступил в школу. Таких переехавших было не так уж мало. Но он не был похож ни на одного из них; и никто не видел, чтобы сблизился с ними: и к ним не подходил, и к себе не

---

* Апсаа (абх.) – птица.

подпускал. Потом и «гуси» искали, как бы примазаться к нему. Но она и «индюк» упорно не замечали его, хотя то и дело вспоминала его птичью фамилию. Впоследствии ей пришлось согласиться с тем, что говорили многие: что в нём есть что-то притягивающее, как магнит. Но в душе ругала себя, как может снизойти до вчерашнего сельского мальчишки. Она, душа компании Астика, известной не только в школе, но и во всём городе! Если некоторые из зависти и называли Астика «Индюком», то многие это говорили искренне, признавая его превосходство...

...Тогда она ещё верила, что забралась высоко, на недосягаемую для Езуга высоту...

Полдень ещё не наступил, но, как она догадывалась, оплакивать пришли почти все, кому положено. Война и здесь всё поставила на свои места. То, с чем люди раньше не особенно торопились, а порой и затягивали – чтобы подольше пообщаться, поддержать друг друга, – теперь война и на это урезала время. И тому, кто «ослушался», грозила опасность. Когда не было выхода, покойника хоронили в тот же день – в день смерти, будь то утром или вечером. Но и когда обстоятельства позволяли, чуть за полдень – и предавали земле.

Да и с неба могло в любую минуту что-то обрушиться. На некоторых похоронах самолёты, особенно вертолёты, наделали бед.

Иногда явственно слышались пушечные выстрелы, с утра глухо звучавшие где-то на побережье. Холмы, стоявшие между этим местом и побережьем, некоторое время гасили их. Но потом грохот переваливал через них, поднимался ввысь, в пустоту неба, но и когда небо с трудом вбирало его, грохот ещё некоторое время, как нутряная боль, пронзал собою всё вокруг. Потом ненадолго устанавливалась тишина. Пушки умолкали где-то там далеко. Плач тоже смолкал... Было слышно, как опадали с молодых ореховых деревьев, стоявших во дворе, седые листья.

Прошло несколько минут, как над холмами, обросшими, словно щетина на спине кабана, пожелтевшими деревьями, раздался всё нарастающий гул, похожий на сход лавины. Плач утих. Вдруг в чистом небе, источавшем прохладу, блеснули, как лезвие кинжала, два самолёта. Блеснули и исчезли, а вслед постепенно затихал «сход лавины».

«Немного их осталось, скоро совсем и не будет, если Бог даст...», – не очень уверенно сказал один из стоявших недалеко от близких родственников, не такой старый, но уже и не молодой мужчина.

«Осёл не приблизится к месту, где его уже раз оскопили, а эти всё суются, хотя сбивают их...», – добавил другой.

«Сбивали только вертолёты», – словно боясь погрешить против истины, сказал третий, стоявший так ровно, будто аршин проглотил.

«Не одно и то же, чтоб они сгорели...», – нехотя ответил первый.

«Как одно и то же, – «проглотивший» аршин хотел сделать правду ещё правдивей, но не находил как. – Как одно и то же...»

Есма не в силах была кого-то слушать. Она не чувствовала ног. И жажда мучила. Но ее бы стерпела, сиди она. Тогда, как обычно, окружила бы себя воспоминаниями и немного перевела бы дух.

...Жизнь же делала своё. Нам кажется, что она занята только настоящим. Но для неё «настоящее» имеет другую ширь, оно большей своей частью врастает в прошлое. Всё, что для человека уже отошло в прошлое и стало воспоминанием, для жизни всегда является настоящим. Есма осталась одна. Голоса, звуки, запахи нахлынули на неё. Нет сил остановить их натиск. Горе, как камень, сидит в ней. Воспоминания без удержу проносятся мимо, не принося облегчения.

...Смерть тоже делала своё. Безмолвная и холодная, она работала без устали. Не ждала, пока предадут покойника земле; всему, до чего доставала, понемногу придавала свой облик.

...Единственное, что не давало ей упасть, – это чистый, как родник, воздух и запахи поры листопада. Осень уже вступила в свои права, но пока ещё на деревьях было много листвы. Листва ещё оставалась зелёной на заболоченных местах, особенно среди ольховника. Последние три ночи подмораживало, и поседелая листва вдруг целиком опала. Запахи устлавших землю или ещё стойко державшихся на ветках листьев, запахи кукурузных стеблей на полях, обгладываемых скотиной, – все эти запахи были для неё приятны, они заглушали другие, невыносимые, запахи. Смешавшись, они источали благоухание едва созревшей дикой мушмулы.

Вдруг все эти ароматы осени и чистый воздух, не дававшие ей упасть, подмял под себя какой-то запах. Его она не переносила и до беременности; на душе стало муторно. Спустя некоторое время она услышала и голос той, от которой так разило.

Когда привезли убитого Езуга, и она не знала, куда себя деть, что только не приходило ей в голову... Что свет опережает звук... наверное, вспышку он увидел раньше, может, предупредила, показав себя... но не успел... Значит, пуля быстрее и света, и звука... Не видишь, не слышишь... Говорят, после выстрела она свистит, но это, наверное, чтобы ей, мерзавке, не было скучно... Запах схож с пулей – опережает и свет, и звук...

«Оплаканный Мадиной, облитый её слезами...», – после мучительной вони донесся и голос. Она говорила как бы шёпотом, но таким, чтобы слышали все вокруг. «Оплаканный Мадиной, облитый её слезами...» Мадина была золовка, а говорила носительница того запаха, её подруга. Не желая выходить замуж за «деревенских дурней», они обе так и засиделись в девках. От них всегда пахло кофе и семечками – тем, что вынесли из городской культуры. Подруга золовки особенна была пристрастна к семечкам; только откроет рот – и оттуда несло обожжённой лузгой. Воздух вокруг Есмы пропитался им; её тошнило, она с трудом сдерживалась. Тот, в её чреве, притих. Наверное, «благовоние» и его настигло, отравило.

Раз никому нет до неё дела, ей самой придётся позаботиться о себе. Надо перешагнуть через все запреты, налагаемые на неё как на невестку. Наверное, выглядит она ужасно, но плакальщики как не смотрят на покойника, так и не

смотрят на тех, кто стоит над ним. Никто не смотрит друг на друга, кроме подобных золовке и её семечковой подруге, делающих вид, будто друг без друга не могут... В это время кто-то взял её за плечи. По ручонкам, тонким пальцам и крепкой хватке догадалась кто. Дети, тяжёлый труд, сострадание ко всем довели её до того, что была кожа да кости. Но горевшему в ней пламени она не давала угаснуть. И в её имени – Марица – было что-то от пламени, огня. Женщины недолюбливали её, но не связывались с нею, она всё равно сделала бы по-своему. «Не видите, в каком она состоянии, ждёте, пока упадёт?!» – сказала она громко, чтобы все слышали. Никто не ответил. Марица притянула её к себе, Есма не стала сопротивляться. Повела и посадила в последних рядах. «Сиди и не вставай, пока я не вернусь», – сказала Марица и вмиг исчезла. Она, как ни была занята, следила за всем, наставляла соседок, что делать и как. Последние ряды уже поредели. Не только Есма, но и другие женщины не вытерпели долгого стояния. И плакальщиков стало намного меньше. Это были из дальних сёл, куда враг ещё не вошёл, и дороги были свободны.

Отсюда ей лучше стал виден Езуг. За эти два дня смерть сильно поработала. Лицо его через день посинело, затем постепенно серело, а сейчас оно было бледно смертельной бледностью. Она ещё в первую встречу заметила седину в его густых волосах. Наверное, птицы вылупляются седыми, съязвила она тогда в душе. Теперь этих седых волос стало гораздо больше. Смерть настолько отдалила его, что временами ей казалось, будто не помнит его лица. Будто с того дня, как принесли его убитого, прошло много-много лет, и она успела позабыть его.

...В первый день она заметила на его лице какую-то незнакомую усталость. Он ей показался чужим, незнакомым из-за того, что глаза его были закрыты. В последний раз она видела их, когда он уходил. Иногда и голубые, и синие глаза называют почему-то зелёными. Это те, кто никогда не вглядывался в них... Есть глаза небесного цвета, вот они по-настоящему глубокие, хотя и про другие говорят то же самое... Глаза Езуга были небесного цвета. Да и какими ещё могли быть глаза птицы... И недаром, наверное, у него была птичья фамилия... Потому она подумала, что его душа обитает в его глазах... Но она не говорила ему об этом, боялась, что он посчитает это надуманным... Душа его ушла вместе с его глазами...

Ей хотелось вернуться к воспоминаниям, догнать их. Боялась, что уйдут с ним навсегда, он возьмёт их с собой...

...Ей приходилось ждать его две, три недели, хотя и одна неделя была для неё в тягость. В начале они не имели ни оружия, ни патрон. Враги, засев в танках, входили в сёла, жгли дома, убивали. Раньше самого Езуга до них доходили вести о подвигах его и его группы: как напали на вражеский склад и обеспечили себя оружием, как захватили танк и БМП... Но вслед за этим приходили и вести о потерях. Одного из его группы убили, двоих ранили...

...Как-то раз он улучил момент и приехал... Машину, обляпанную грязью, оставил у ворот... Она не спустилась, стояла на балконе – ему так

нравилось... Он уже был не тот, кого она знала раньше. Трудно было объяснить, почему она так решила, но что-то подсказывало сердцу, что это так. И это говорило о том, что значило для неё то, что он делал последнее время. Ей никогда не приходило в голову, что его могут убить. Вернее, приходило, но боялась признаться себе в этом. Как теперь быть?.. Но тогда ей стало невыносимо больно от догадки, что в нём что-то умерло навсегда...

Она ничего не сказала, но он сразу догадался. Догадался, но не стал спрашивать, «оправдываться». Потому что сам Езуг не знал, как это сделать. И всё же иногда отводил от неё глаза, как бы чувствуя за собой вину... Теперь стало явным, как сильно он желал её, он не мог скрыть этого... Но вдруг что-то останавливало его, обрывало счастье на полушаге. Первое, что она поняла, – он убил человек, убил людей... Война есть война, но и человек остаётся человеком...

Он лежал в гробу, зажатый в тисках такой тишины, на которую способна одна лишь смерть. В нём уже не было прежней притягательности. Эту притягательность она почувствовала в первый же день, как он появился в их классе, но не хотела верить в неё, насмехалась над нею, но в конце концов не устояла. Сила эта умерла вместе с ним, но оставалась в её воспоминаниях... Пока они были вместе, она жила...

...Учительница назвала фамилию, потом добавила имя: Езуг. И тут же захлопнула ротик, будто сказала что-то нехорошее. Она была новенькая, хотела понравиться классу, угождала ему во всём. Первым делом надо было узнать, что думают они, чтобы затем неукоснительно следовать этому. Казалось, у бедняжки совсем нет своего мнения. Особенно она лебезила перед самой непослушной группировкой. Она обвела взглядом класс и остановилась на Астике-Индюке. Учительница произнесла «Езуг» почти шёпотом, так, будто боялась обжечься. Но Есма хорошо расслышала её. Она повторила его для себя, как бы проверяя на вкус. Имя показалось ей слишком тяжёлым, неподъёмным. О смысле его она не задумывалась. Теперь он большой, сильный, но как в детстве сумел поднять такое увесистое имя, как оно не раздавило его, подумала она. Оглядела с головы до ног: не очень высокий, но складный, с густыми волосами, вполне созревший парень. И тогда же заметила, хоть и было далеко, что в его волосах уже завелась проседь.

Всё это она увидела, и смех напал на неё... Недаром за глаза её называли: «укротившая ветер». Может, сказали бы и похлестче, будь она мальчиком. Хотя и теперь могли так сказать, потому что она водилась только с мальчиками, девочек же сторонилась – презирала.

Учительница тоже рассмеялась. Если бы Есма не принадлежала к группировке Астика, её смех ничего бы не значил для неё. Ведь Есма всего-навсего дочь председателя колхоза, которого за пять лет до этого с позором изгнали из родного села... Только мать гордилась домом, купленным на окраине города, в районе Маяка... Участок, который присоединил к своей

обширной земле один мегрел, приезжавший летом на заработки, и был он не шире дороги, ведшей к их прежнему сельскому дому.

...В это время рассмеялся и сам Астик... Не рассмеялся, но сделал вид... Будто долго сдерживался, а потом прорвало. После этого ничто не могло остановить учительницу... Езуг же сел, как только она назвала его, и не смотрел в сторону гоготавших. «Наверное, теперь будет сидеть и в растрёпанных перьях искать вшей... пташечка», – сказала она Астику. Астик садился, где ему вздумается. В тот день её соседки по парте не было, поэтому, проходя мимо, сел рядом... Астик зашёлся еще громче, его уморила «пташечка». Он раньше не слышал такого слова. Незнакомые слова вызывали в нём неудержимый смех. Ни одного языка он не знал достаточно, потому незнакомых слов было уйма, услышит – тут же начинал ржать... «Смотри, сразу сел, – добавила она. – Имя утомило беднягу, таскать такую тяжесть... даже поседел...»

Она и сейчас уверена, что человеку надо трижды давать имя: ребёнком – имя, которое ему понравилось бы, как его игрушки; молодым – в соответствии с первой любовью, больше скрывающее, чем говорящее; наконец, зрелым – имя, что возьмёт с собой в могилу, как тот камень, который в шутку заставляют новичка таскать в горы, куда он направляется в первый раз...

Понемногу её уносило в воспоминания. Она видела людей, но их голоса до неё не доходили. Плакальщиков было единицы, теперь, наверное, родные начнут прощаться с покойным, оплакивать в последний раз...

…Астику многое сходило с рук. Его отцу пророчили большую должность: начальник был в летах, сегодня-завтра уходил на покой... В этом городе даже учителя обсуждали эти вопросы, интересовались ими. Об отце Астика говорили: «Без пяти минут...», и добавляли название должности, которую он надеялся получить. Но когда назначение затянулось, не очень громко отца Астика стали называть «Без пяти минут». Но пока была надежда, на это закрывали глаза. Астик тоже делал вид, будто ничего не знает, и ни разу с обидой или в шутку не заикнулся о деле отца и его кличке. Кому положено – знали об этом, кому положено – говорили. Считалось, что кроме пользы, вреда от этого не будет... Астик был рослый, но худощавый... «Дома едят, заперев меня», – говаривал он. В футбол он не играл, в баскетбол не играл, в волейбол не играл... На турнике больше двух раз не мог подтянуться... «Мы – благородного происхождения, не то что в баскетбол играть, пешком не ходили... Сегодня если машине, чтобы развить скорость в 70-80 километров в час, нужна сила 280-ти лошадей, то мы на одной лошади развивали такую скорость...», – бахвалился он.

Некоторых его «шестёрок» это коробило. Говорить о своём благородном происхождении уже не воспрещалось, но считали, что это может помешать его отцу в его продвижении по службе. Но если бы была такая опасность, Астик вряд ли бы заикнулся об этом. Он знал, что люди, тянувшие его отца

наверх, давно отказались от всяких принципов. На словах же они с ещё большим пылом отстаивали их.

Жизнь работала для всех, кроме покойника. И смерть тоже делала своё, расходовала время жизни. Смерть по часам, минутам, мгновениям убивала сегодняшний день, переводила его во вчерашний. Есме казалось, что граница, которой она себя окружила, всё плотнее и плотнее придвигается к ней. Ей хотелось, чтобы она пока защищала её. Но небесное пространство доставало её, и ничто не могло его остановить. Иногда оно вытягивало из неё воздух, и ей становилось трудно дышать. Но пока, слава Богу, отпускало. И тот, в её чреве, сразу давал о себе знать, начинал шевелиться. Она знала, что время выноса близко, и боялась смотреть в сторону Езуга. Её взгляд тянулся туда, но, пересилив себя, она стала смотреть поверх людей, в сторону холмов. Там, на вершине самого высокого из них, среди поредевшей больше, чем здесь, в низине, листвы, всё в лучах послеполуденного солнца золотисто сияли башни крепости... От этого на душе становилось как-то теплее.

...Подобно некоторым девчонкам, большой охотник до сплетен, Астик вдруг становился важным, надувался, как индюк. «Раз в месяц на него находит», – говорили потомки «спасителей Рима». В это время Астик мог «наехать» и на своих, даже обидеть. Но больше всего он приставал к двум братьям тихоням. Они были близнецами, поэтому всегда ходили вместе, сидели за одной партой. Молчуны, но если заговорят, все обращали на них внимание. Некоторые учителя срывали на них злость вместо тех, кто им больше мешал, но которых не могли трогать: их рассаживали. И тогда они единственный раз перечили учителю: опять садились вместе. Это всегда было проблемой.

Когда на Астика находило, он начинал приставать к этим безобидным близняшкам. От скуки или насмехался над ними, сидевшими тихо, или дразнил, или играл...

...В тот день он стал бросать в них скатанные в шарики хлебные мякиши. Хлеб из школьного буфета всегда был недопечён, из него получались хорошие массивные мякиши, если попадёшь куда надо, ещё и прилеплялись. Но Индюк был мазилой. Братья сидели далеко от Астика, у стены, на которой висел портрет Брежнева весь в орденах. Густые брови нависли над никуда не смотрящими глазами. Большинство шариков, которые бросал этот мазила, попадали в портрет. Попадали и так оставались, прилепившись. Лицо и знаменитые брови были в хлебных шариках, как родинки облепили их. Это видели и Астик, и весь класс, и учительница, но все делали вид, будто не замечают. Но в конце, когда шарик попал в глаз Брежневу, учительница замерла, класс тоже в страхе затих... Учительница было даже слишком сладкоречива, на лице всегда улыбка. Языкастые говорили, что она как недосоленная фасоль с мёдом. Если бы они и в учебе были такие же находчивые... Звонок никак не раздавался, а этот стервец явно переборщил, дело подсудное – ей пришлось звать на помощь. Обычное приторное лицо её вдруг помрачнело, и она как помешанная выскочила из класса. Через

несколько минут вернулась с большинством учителей школы во главе с директором. «Вот!» – выпалила она сквозь тонкие, как лезвие острого ножа, губы, и указала на портрет Брежнева. Все остолбенели: портрет Брежнева, на который смотрели как на икону, был весь заляпан хлебными шариками. Не сказав ни слова, все повернулись и вышли из класса чуть ли не бегом. Это означало, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и у них нет слов для его описания.

...Времена уже были другие, за малейшую провинность не сажали, как раньше – если ты не задумал свалить власть или государство. Но для карьеры это ещё представляло опасность. О случившемся стало бы известно городскому отделу народного образования, оттуда весть дошла бы до министерства просвещения, потом – до городского комитета партии, следом до самого верха – обкома партии...

...Когда тот выступал по телевизору – с вздувшимися от напряжения жилами на шее и непослушной челюстью – все, в том числе и их учителя, посмеивались над ним, говорили, почему он не найдёт в себе силы уйти... Или когда его пригласил первейший среди подхалимов, руководитель Грузии и битый час держал на трибуне... Когда одни лобызались, а другие смеялись в душе... Когда он, расчувствовавшись, как собака, которая воет, заслышав музыку, тихо плакал целых три часа... Тогда здесь, в Сухуме, и в их школе тоже, все говорили о «выжившем из ума старике, который не может вовремя уйти»...

Но это было другое... За такие разговоры никто не отвечал. Но то, что сейчас произошло, касалось всей школы... Как-никак осквернили портрет вождя...

Вначале по одному, потом по два стали вызывать и спрашивать. Все надеялись, что игравшая в ласковую учительница сама расскажет обо всём. Но она держала рот на замке. Некоторых задерживали, некоторых отпускали. Из тех, кто вернулся, у одних горели лица, на других не было лица. И те, и другие не решались поднять глаза на друзей. Было ясно, что их хотели заставить назвать имя виновника, совершить предательство. Никто не знал, что делать. Ждали, что Индюк сам признается. Но он, не обращая ни на что внимания, перелистывал какой-то иллюстрированный журнал.

Продолжали вызывать мальчиков и девочек. Они тоже проходили мимо, будто не замечая его. Только трое-четверо осталось, а он сидел, как ни в чём не бывало, уже сотый раз перелистывал свой журнал. В конце вызвали Езуга. Он встал и направился к Индюку, а не к дверям. Все сидели, опустив головы, но это сразу заметили. Учительница осталась стоять у дверей – или не успела, или ждала, чем всё закончится. Езуг подошёл к Индюку и что-то шепнул ему на ухо. Тот вскочил как ужаленный. Но не успел и рта раскрыть, как тут же грохнулся на парту...

Крепость на холме сияла по-прежнему. Есме показалось, что солнце не как всегда, медлит. Обычно оно задерживалось на крепости всего на миг. Может, таким образом земля отмечала похороны своего защитника. Может,

так провожала Езуга. Как родного, в минуту, когда самые близкие должны были оплакать его...

Тот, в её чреве, вновь зашевелился, бился ногами в «дверь»... Будто хотел что-то сказать друзьям Езуга, сидевшим в засаде в ожидании танков по обе стороны дороги, в зарослях азалии... Он вдруг стал слишком резвым, всё бил в «дверь». Срок приближается, ему, наверное, хочется пораньше выйти из «тюрьмы», в которую вот уже почти девять месяцев заточён, всё бьёт в «дверь»... Наверное, ему хочется в мир, который оставляет его отец... Матери одной будет тяжело... Какой-то писатель назвал этот мир «второй тюрьмой», она только не может вспомнить кто. Всегда любила читать, но читала как-то торопливо, «проглатывая» книги... Не сделай этот мир тюрьмой для моего ребёнка, в душе всё время просила она Бога...

Несколько раз она услышала, как люди говорили, что ему с погодой повезло... Она и раньше слышала такое, но сейчас это больно ударило в сердце, потому что касалось Езуга и её. Говорили в основном мужчины. Обычно «нам повезло с погодой» говорят в дни пахоты, сева, уборки урожая... Во время сева – когда зарывают семя в землю... Семя, попав в землю, оживает. Человека же зарывают – засевают в землю, когда он умирает... Но всё живое имеет... своё поле... своё чрево...

...Индюк долго не приходил в себя. Может со стыда, не поднимал головы, притворялся. Езуг показал глазами, чтобы все выходили. Все вышли. Когда вернулись, его уже не было. Прозвенел звонок, пришёл учитель, которого не было среди первой делегации, и сказал, что на сегодня они свободны.

Самое удивительное, что ни отец Астика, сторожывший высокую должность, ни он сам, ни учителя, ни школьники – никто больше не заговаривал о случившемся. Только портрет Брежнева перевесили в учительскую. Потом долго мальчишки, из тех, кто ни к какой группировке не принадлежал, и которых она называла «утками», с усмешкой рассказывали о том, как Езуг подошёл к Астику, как тот подскочил, но тут же свалился от удара Езуга...

...Вопреки её ожиданиям, Астик поехал вместе со всеми на похороны бабушки Езуга. Они и могли не ехать в такую даль, чуть ли не в горы, но ласковая учительница, которая была куратором их класса, так захотела. Конечно, ей наплевать было на бабушку Езуга, но на каком-то собрании могла похвастаться, как она прививает учащимся дружбу.

Перед тем, как войти во двор Апсаа, они поднимались по пологому склону, из которого буквально на каждой пяди выпирал, белея, известняк. Она стала удивлённо оглядываться, и Астик это заметил. С тех пор никто, кроме неё, не подходил к нему. Потому он всегда держался около.

...«Это род того самого, чья бабушка отдала концы, – сказал Астик. – Их было так много, что здесь не помещались... От скуки по крышам своих домов добирались до побережья. Ведь он тоже говорит, что кошка могла, перепрыгивая с крыши на крышу, от гор добраться до моря...»

«А почему бы и нет, – вдруг сказала она, задетая тем, что после случившегося он опять заговорил о нём, да ещё с насмешкой. – В Гюенесе, Диаскурии, Себастополисе жили их родные, знакомые, ходили к ним в гости, потом по крышам, как по лестнице, поднимались к себе обратно...» Эти названия были для него в диковинку, он ошарашенно посмотрел на неё. Езуг единственный интересовался историей Абхазии. Не раз слышала, как он спорил с другими по её поводу... Для остальных, в том числе учителей, история родины так же мало значила, как история главного города Огненной земли Ушуя. Потомки же «спасителей Рима», мечтавшие о карьере, зубрили историю революции. Но об истории Абхазии они не заикались, наложили на неё табу. Они знали, как много споров, скандалов, противоположных подходов есть по этому вопросу, потому боялись сказать ненароком что-то такое, что в будущем помешает их карьере. Боялись попасть впросак.

«Я хотел сказать, что их было много, – не встревая в спор, ибо по части истории не был силён, как бы в оправдание сказал он. – Потом, все они умирали здесь. Когда не хватало места для могил, хоронили в уже существующую, и это, видимо, их кости торчат повсюду, разве не видишь?»

Это было настолько высосано из пальца, настолько гадко, что ещё больнее задело её. И потом, она заметила, что он ревнует её к Езугу.

«Куда же они тогда подевались, объелись, что ли, белены!» – она всё ещё пыталась показать, до какой степени пренебрегает Езугом, уверить себя, будто это возвышало её до такой высоты, куда бедному Езугу не достать.

«Чего, чего они объелись?» – Он каждый раз открывал для себя новые слова и тут же забывал. Они уже входили во двор, но на Астика напал такой смех, что они чуть не опозорились.

...Хотя она обходила Езуга издалека – всё хотела доказать себе, что ни во что его не ставит, но всё же многое знала о нём. Она поняла, что среди её друзей он больше чем кто-либо был самим собой. Все другие играли какие-то роли: одни подражали своему лучшему другу, или же новым веяниям среди молодежи, другие уже сегодня пытались соответствовать своей будущей высокой должности, третьи лезли из кожи вон, чтобы на них обратили внимание...

Вдруг до неё сквозь воспоминания прорвался голос золовки. Она могла и не услышать, но у неё был острый слух, нескладную музыку она лучше улавливала, чем складную. Причитание, хоть оно и для горя, есть песня печали, музыка... Кто не умеет петь, не имеет слуха, тот и причитать не сможет. Но золовке, наверное, кажется, что её вой может и собаку заставить скулить. Есть такие, которые думают, что всё, что они говорят, необычайно важно и ценно...

Голос золовки был невыносим. Из-за его нескладности горе в нём перекрывала язвительность: «Несчастный, непонятым уходишь... Но знай, сестра понимает тебя, сестра, чтоб умереть ей вслед за тобой...»

Езуг хорошо пел... любил петь... Свёкор до сих пор был запевалой на свадьбах... В кого эта пошла?

Сердце всё больше и больше ныло. Вновь обступили запахи, стали мучить. Все вокруг в основном пахли потом. Это были изношенные тяжёлым домашним трудом усталые женщины. Тот, что в чреве, успокоился. Мир вокруг всем пространством давил Есму, ей становилось трудно дышать.

...Она до сих пор не знает, как всё произошло на самом деле. Только со слов его друзей из первоначальной группы... Не стали говорить подробности... берегли её, но и сами не решались всё сказать. Кое-что она знала по скупым рассказам самого Езуга, когда он наезжал от случая к случаю. Он особенно не распространялся. У него была группа из семи человек. Они сами решали, что делать, убедили ещё не вполне сформировавшийся штаб не препятствовать им, и пока у них всё шло удачно. «Дьявол слеп и глух, дьявол слеп и глух», – шептала она. Сперва они делали разведку, затем решали, как быть, только потом шли на операцию. Засаду ли устраивали вражескому каравану с боеприпасами, захватывали ли боевую машину, шли ли за оружием – пока во всём им везло. «Да не услышит дьявол, да не услышит…», – говорила и говорила она про себя. Об их подвигах им тут же становилось известно. Выделяли Езуга. Ей казалось, что немного перегибают. «Да не услышит дьявол, да не услышит...» Когда наезжал Езуг, соседи окружали его, начинали хвалить за храбрость. Она видела, как он тут же сникал. Но он, как человек вежливый, не мог не выслушать старших, вдруг оставить их и уйти. Она раньше не думала, что есть такие, для которых похвала хуже редьки. Она всегда млела, когда её хвалили за что-то. Езугу же, наоборот, становилось плохо. Ему казалось, что, хваля его, ругают других... «Да не услышит дьявол, да не услышит...», – без конца шептала она... Когда они набрали достаточно оружия, и штабы тоже укрепились, их тактика изменилась: стали планировать и проводить более крупные операции. Из-за этого удач стало гораздо больше, но и потери тоже увеличились... Но война есть война, думала она, после выстрела из дула вылетает пуля, но и приклад больно бьёт в плечо...

Езугу было обидно, что впоследствии его группу расформировали и рассыпали по разным батальонам. Считал, что такую мобильную группу не надо было трогать... В штабе думали иначе... Но война есть война, думала она, и что решили наверху, должны исполнять внизу. «Да не услышит дьявол, да не услышит дьявол...», – всё шептала Есма. Она думала, что теперь, после её заклинаний, он и его друзья надёжно защищены, скрыты от глаз дьявола, чтобы гореть ему в аду...

«Человек слаб, кто имеет власть, ни с кем не хочет делиться, – говорили здесь. – Славу тоже не желают делить...» Наверное, чтобы не слышать всего этого, Езуг приезжал ночью и уходил затемно.

...В тот день враг на множестве машин с охраной перевозил боеприпасы для Гумистинского фронта. Езуг и его друзья имели опыт в таких делах, они присоединились к разработчикам операции. Их предложения оставили без внимания: и не приняли, и не отвергли. Но всё произошло так, как они и предполагали. Когда ударили по впереди идущим, задние отступили, чтобы

дать дорогу находившимся в середине и первым... Зажатый со всех сторон, враг отчаянно сопротивлялся. Надо было поджечь задние отступавшие машины, чтобы они застряли на дороге, тогда уничтожить оставшихся посередине стало бы легче. Это на себя взяли Езуг и его друзья. Машины горели. Сопровождавшие военный груз гвардейцы, успевшие выскочить из горевших и взрывающихся машин, залегли у обочины дороги и открыли огонь. Но вскоре сопротивление было сломлено. Теперь надо было спешно уходить, помогая раненым, отыскивая убитых. Езуга нашли невдалеке; его голова безжизненно лежала на ещё не остывшем ручном пулемёте так, словно он решил прикорнуть.

Пора вставать, но она застыла, словно приросла к доскам, на которых сидела. Женщины, покинувшие группу, стоявшую над гробом, опять заняли свои места. Никому не было до неё дела. И Марица тоже куда-то пропала. Теперь сквозь гущу людей она не видела лежащего в гробу.

Есма посмотрела в сторону возвышавшегося над грядой холма. Предзакатная тень наполовину накрыла его. Крепость всё ещё сияла в лучах солнца.

...В год окончания школы Индюк получил ещё один удар, более чувствительный, чем прежний. Из рук отца уплыла должность, о которой он грезил днём и ночью и считал уже у себя в кармане. Он так и остался и.о., а начальником назначили более молодого, как сказали, перспективного. Карьера его на этом закончилась... Жизнь Астика пошла по-другому, теперь уже ему не прощалось то, что прощалось раньше; группка его распалась, «верные друзья», улучив момент, рванули от него... Ей действительно стало жалко Астика... какой бы он ни был, не лучше были и те – учителя, друзья, – кто его раньше баловал или поддакивал во всём... Она не отступилась от него, не бросила, пыталась поддержать...

Они закончили школу... Некоторые, в том числе и из «спасителей Рима», уехали в Россию учиться. Кто поступил – поступил, кто не поступил – остался там. Документы в Абхазский университет сдали она, Астик, Езуг и ещё несколько из «домашних птиц». Она, неожиданно для себя, поступила... «Такие баснословные траты, и всё напрасно, всё коту под хвост... И для чего я надрывалась!» – сказала, оказывается, её мать, когда она вышла замуж за Езуга. Насчёт «надрывалась» – пустое она говорила, это всё труды отца, водителя автобуса дальнего рейса. Кто ехал далеко, те брали билеты; но были и безбилетные – те, кто подсел в пути или высаживался поблизости. Вот и выходит, что пропали напрасно деньги, вырученные от последних, ехавших стоя...

Когда начались занятия, в университете Есма вдруг увидела Астика. Во время вступительных экзаменов его духу не было. Видимо, отец всё ещё влиятелен, старые связи сделали свое, решила она. Ее мать больше, чем за нее, обрадовалась за Астика. Дочь большого... говорила она, присовокупляя имя отца Астика. Она не хотела верить, что это имя теперь не так много

значит, как прежде... Есма же не оставляла его, хотя он порядком надоедал своими пустыми разговорами, своим гонором. Жалела. Брось она его, он остался бы совершенно один. И все, кто знал их, не замечали её, если и вспоминали о ней, то только в связи с Астиком, не иначе. Будто её и нет вовсе... Есма всё плыла по течению, словно по какой-то ужасной привычке, которую не в силах была одолеть.

...Она слышала, что у Езуга возникли трудности с поступлением, дали преимущество тем, кто имел стаж работы, но он об этом ничего не говорил, а когда он не хотел, слова от него добиться невозможно было. Впоследствии она узнала, что его выручили члены комиссии, которые были не от университета, особенно за его знание истории и любовь к этому предмету...

...Поступив в университет, Астик стал нестерпим. Раньше она думала, что он слишком избалован, но, повзрослев, изменится к лучшему, и всё противное в его характере пройдёт как дурной сон. Но когда он стал вести себя ещё заносчивее, отзываться обо всех высокомерно и уничижительно, Есма упала духом. Они были как изгои; все, кто отказался от Астика, отказались и от неё; их сторонились. Он этого не замечал, не чувствовал, не понимал, она же страдала. Он взял в привычку браниться, говорить пошлости. «В конце концов, мы живем накануне двадцать первого века, – начинал он, как человек, многое переживший, повидавший, сильно потрёпанный жизнью. – Знаем, что существует... секс...». Хотя он не понимал до конца, что значит «секс», да и выговаривал неправильно, считал, что кто в наше время не понимает смысла этого слова, тот отстал, дик. Но когда он говорил об этом, становилось стыдно не только за его слова, но и за его нечистые мысли.

Она стала обижаться, он попытался сгладить, держать себя в рамках. Но потом вовсе потерял контроль над собой, и когда они оставались одни, стал давать волю рукам... Как-то раз, когда он вплотную придвинул к ней своё лицо и в нос ей ударил гниловатый запах нечищеных зубов, она не сдержалась и ударила его. При Езуге он сделал вид, будто отключился, но здесь разве оставил бы без ответа! Отвесил ей такую оплеуху, что она потом целую неделю не показывалась на людях, не выходила из дому. Астик и на этом не остановился. Оказывается, это благодаря его отцу годами возглавлял колхоз её папаша, а когда он мог залететь на всю катушку и остаток жизни провести за решёткой, его выручил отец Астика – привёз в город и пристроил в гараж, где ему дали лучший автобусный рейс, и теперь три-четыре раза в неделю приносит домой полные карманы денег... Это означало, что она как заложница для него, и он может делать с нею всё что захочет.

Она стала избегать Астика. Но он не отставал, повсюду караулил её. С трудом удавалось уходить от него. Мать тоже вела себя странно, ей не нравилось, что она сторонится Астика. Есме не хотелось возвращаться домой, не знала, куда себя деть...

Несколько раз, когда она, боясь встретить Астика, шла домой, её подвозил Езуг. Она до сих пор не знает – он это делал, зная её положение, или же это было случайно...

Человеку на раннем этапе жизни говорят, что у него всё впереди. Будто детство – это не совсем жизнь. Если детство его было голодное, босоногое, если он рос в нужде, то могут и вспомнить о детстве... Но человек может потерять своё детство, даже когда оно было благополучным. Это и произошло с нею... Она, обозрев свою жизнь, увидела, что у неё никого нет, кто мог бы её защитить, стать рядом, что ей некому преклонить голову. Мать обеими руками была за то, чтобы она вышла замуж за Астика, тогда она почувствовала бы себя самой счастливой матерью... Она не задумывалась над тем, сделало бы это счастливой её дочь или нет, лишь бы сын «большого» снизошёл до её дочери. Наверное, матери было всё равно, если даже Астик умыкнёт Есму.

Астик и попытался умыкнуть её. Как-то раз она, ни о чём не подозревая, подсела в машину к знакомым просто по городу ребятам, чтобы подвезли до дома. Они и так жили у чёрта на куличках. Когда машина завернула не в ту сторону, Есма притворилась, будто заранее знала обо всём, и попросила, чтобы ей разрешили что-то передать в их присутствии своему другу... Астику. Она сразу догадалась, что всё это – его рук дело. Им тоже этого и надо было, они тут же повезли её к нему, где он ждал, готовый, в своей машине. Открыли дверцу, выпустили, она подошла к Астику. И тогда она влепила ему пощёчину не хуже Езуга, и отключила его на короткое время. Потом рванула со всех ног. Если бы погнались за нею, ничего бы у них не вышло, она лучше них знала район. Но никто не сдвинулся с места, наверное, испугались за последствия...

В тот же день она отыскала Езуга. Она уже давно знала, что с первого же дня его «магнит» держит её крепко... Только она делала вид, будто ей всё равно. Ей и в самом деле казалось, что победа над этим «магнитом», пренебрежение им возвышает...

Только теперь дошло до неё...

...Издёрганная, взмыленная, она открыла рот, но душили слёзы, не давали говорить... «Я тоже...» – сказал он, глубоко вздохнув. Наверное, имел в виду, что и он, как она, не может без неё. Разве это не было и так понятно, подумала она сейчас...

Вдруг женщины, стоявшие у гроба, заголосили так, что границ воспоминаний, которыми она окружила себя, как будто и не было, её подняло. Выделялся голос золовки; он не был похож на прежний, в котором скорбь всегда была смешана с какой-то обидой, недовольством, – сейчас в нём слышалось одно лишь безысходное горе.

Есма посмотрела туда. Будто насильно отрывая ноги от земли, которая не хотела отпускать его, шёл её свёкор. Естана, пока ещё крепкий, не старый. Езуг рассказывал, что в немыслимой глубине веков, на заре своего возникновения предки так назвали божество Солнца. Те, которые нарекли его божьим именем Естана, понятия не имели об этом. Но дошло имя, как дошёл его народ, его род, следы которого ведут из тех же глубин, в нескончаемых схватках с врагами, жаждущими крови. Они вынесли из этих

схваток свой дух, свою жизнь... Вот один из них, плоть от плоти... Идёт к гробу, в котором лежит с простреленной грудью его единственный сын. Идёт, словно ему приходится за это краткое время покрыть бесконечное расстояние, что прошли его отцы... Хороший человек, заботливый хозяин, золотые руки, безошибочно определяющий, когда ранней весной в деревьях оживают соки, никогда не стрелявший по живому, кроме как по ястребу, схватившему цыплёнка...

Предстоявшие десять-пятнадцать шагов были для него самыми тяжёлыми. Каждый шаг – как ещё один год жизни. Он ступал с трудом, словно преодолевая неимоверное сопротивление... Обожжённое солнцем лицо под седыми волосами всё было изборождено морщинами; они как бы держали лицо, дай им ослабнуть – и он мог опозориться в глазах присутствующих... Подойдя к гробу, жестом остановил женщин, собиравшихся совершить обряд акушара*. Хотел, чтобы ему не мешали, оставили одного. У него было столько же времени, сколько у других, задерживаться над покойником дольше, чем положено, было бы неприлично, особенно для мужчины. Он взглянул в лицо сыну, потом осмотрел его с головы до ног. Провёл рукой по его груди. Когда приблизился к месту, куда попала пуля, остановился... Потом повернулся и посмотрел на свою невестку. Она вся помертвела. Вспомнила, как когда-то такими же глазами он смотрел на неё... В последний свой приезд Езуг, только зашёл, как сразу искупался. Она знала, что для него запах пота, нечистое тело невыносимы, что ещё в школе сам стирал свои вещи, и каждое утро приходил чистенький, аккуратный. «Чистюля», – дразнила она его. Есма до того была чутка к запахам, что за версту слышала, кто чем пахнет. Но от Езуга исходил только опрятный дух. Потом, когда они сблизились, и он обнимал её, она наслаждалась этим запахом. Кроме неё никто не смог бы уловить его. В душе она назвал его запахом ветра, запахом полёта, запахом неба. Даром что у них птичья фамилия...

Она постирала его грязную, пропитанную потом одежду вместе с нижним бельём. Всю ночь дул тёплый ветерок; к утру высохли. Она решила снять их, как увидела, что её свёкор стоит и разглядывает бельё сына. Он повернулся, и точно как сейчас посмотрел на неё. Хотел утаить страх, резким ветром полоснувший по его глазам, но не смог... Наверное, он уже тогда предчувствовал... Уходя, Езуг обнял её, и она сквозь запахи свежевыстиранной одежды уловила его приятный запах... Но то, что предчувствовал отец, ей не было дано... Человек, уходящий на войну, в чистой одежде, умытый, причёсанный... В сердце отца это родило безысходное предчувствие... в сердце человека, много повидавшего, много пережившего...

Он повернулся и уже спокойнее пошёл на своё место.

---

* Погребальный обряд обхода плачущего.

...Стало тяжело дышать. О Боже, Боже... Надо дотерпеть до конца, не свалиться с ног... Тот, в её чреве, начал шевелиться как-то иначе, не как всегда... Ногами упёрся в её живот... Потом вытянул их во всю длину... О Боже, Боже...

Бока её окаменели, стали будто чужие... Так же неожиданно все голоса плакальщиц смолкли для неё, и сами они слились в одно тёмное пятно... Чтобы отдышаться, она было открыла рот, и в это время её боль освободилась в крике... Потом её подняли наверх и уложили. Она иногда теряла сознание, но кто-то шлепками по лицу приводил в чувство. По резкости ударов она догадывалась, что это была Марица. Это её поддерживало. Она слышала только свой крик, словно вокруг не было никого. Пыталась заглушить его, взять себя в руки, но не удавалось. Иногда до неё прорывался голос Марицы: «Кричи, кричи, тужься, тужься!»

Она не знала, сколько времени прошло, но вдруг её отпустило, живот, который напрягся так, что, казалось, жилы лопнут, осел, и она вновь почувствовала своё тело. Сразу комната наполнилась голосами женщин. Сквозь них слышался еще какой-то новый незнакомый голос: плач. Но это уже был голос жизни... Вновь, как и всегда, кто-то начинал свою жизнь так звучно...

Она открыла глаза и стала искать того, кто издавал этот голос, и тут же увидела. «Сын!» – молвила она в душе. Его держали над нею маленькие, сильные руки Марицы. Он не очень был красен и морщинист, как обычно говорят, и плакал не очень охотно. Выжженные, высохшие её глаза вдруг наполнились слезами. Так много, наверное, накопилось их, что пошли обильно, и невозможно было их остановить. В это время кто-то поцеловал её в щёку, по которой текли слёзы. Это была золовка, она тоже плакала. После неё еще кто-то поцеловал её. Эта была уже свекровь. Из-под её полузакрытых глаз сочились слёзы. Наверное, её слезы жгучее и солонее, и потому такой заметный след оставляют на щеках, подумала Есма.

Какая-то жалость к ним затеплилась в её сердце, но она не удивилась этому и не отогнала от себя.

Жизнь без устали и остановки делала своё. Есма, словно подстёгнутая чьим-то приказом, вновь бросила взгляд на свекровь: глаза её были всё так же полузакрыты, а слёзы, скатившись по лицу, на полпути высохли и присохли к нему, да так и остались.

Было видно, что слёзы не смягчили её сердца, как не смягчили сердца Есмы и золовки, не дали роздыха. Теперь все пути в её жизнь для всякого наглухо закрыты. Там такая свобода, которая невозможна ни в жизни, ни в смерти. Только она и её сын причастны ей, а свидетелем является один лишь Бог. Отныне, как только прикроют Езуга землёй, всё, что держало его по эту сторону, отступит, удалится, оставив его целиком одной ей, матери. И время для слёз у неё ещё будет, она ещё успеет наплакаться вволю...

Выстрел из автомата огласил ущелье и каменистые скалы невдалеке и эхом разнёсся вокруг. Это было в честь новорождённого. Тельце его

вздрогнуло от неожиданности. Таким образом мир давал знать о себе; он не обещал ему готовой свободы, но открывал двери для борьбы ради неё...

Чуть позже, пока ещё не зашло солнце, на фамильном кладбище Апсаа прогремели выстрелы, но уже в честь погибшего. Стреляли и тогда, когда его вынесло из тёмного чрева матери к свету; а теперь он уходил в вечное чрево – в землю, и его провожали выстрелами. Ибо он был воином.

Когда бытие и небытие, быстротечное и вечное так близко сходились, перед их мощью и ширью жизнь забивалась в страхе... И тогда она подавала голос, – иногда слишком резкий, громкий, – чтобы заглушить свой страх... Как песня подростка, идущего ночью через лес и поющего во весь голос, чтобы не поддаться испугу...

После рождения младенца никому не разрешили плакать по погибшему. Предав покойника земле, возвращались близкие и соседи, стараясь не смешивать горе с утешением, теплом, которыми наполняло их сердца рождение ребёнка. Вначале помянут покойника, потом благословят новорождённого, и вкус вина непременно будет особенным и запомнится.

...Спавший утомлённый малыш тёплым комочком лежал рядом с матерью. Горе, рождение дитяти, радость материнства – всё было в Есме сейчас, и она не упрекала себя в новом счастье, вдруг согревшем её охладевшее сердце. Тяжёлую от усталости руку она положила на тёплый свёрток рядом; было слышно, как он дышит.

...Жизнь делала своё...

Перевод Д. Начкебиа

ПОВЕСТИ

ГОРА КРАСИВАЯ

Разговоры постепенно стихали, и пастухи теперь молча сидели у костра, каждый на привычном месте. Увлекали думы, воспоминания, обволакивали, как сон, уводили всё дальше и дальше. И гул бушующего пламени, подобный шуму горного потока, отступил куда-то. В полутьме невозможно было бы выдержать горячий взгляд огня, он жарко обнимал буковые поленья, они быстро превращались в пылающие угли.

Огонь говорил каждому, кто смотрел на него, только одно: «Скоро выпадет снег, по цвету пламени понятно».

И вправду: если пламя костра красивое, яркое, значит, быть снегу.

Снег. Он направляет к дому дороги пастухов, приближает день встречи с родными для каждого, кто здесь, в горах, уже два месяца тоскует без них.

Кажется, один только Мыку не смотрел на костёр – будто вслушивался в какие-то звуки, доносившиеся снаружи. Однако и он заметил, мельком взглянув на яркие языки пламени: «Похоже, снега ждать надо».

Он единственный не спешил спускаться с гор.

Мысль о снеге будто зимним холодом обдала его, даже в носу защипало, и в душе, в самой глубине, шевельнулось что-то. Сидело там что-то такое, вроде как осколок в зажившей уже ране, напоминало иногда о себе. Нельзя, конечно, сказать, чтобы так уж разбередило ему душу. Может быть, это всего лишь неясное воспоминание о самом первом в его жизни снеге было, на который он ступил когда-то мальчишеской ногой, – еле теплящееся в памяти, полузабытое, как цвет любимой рубашки в далёком детстве. А может, воспоминание иной поры шевельнулось, юности. Память о счастье...

Кто знает.

Свет фонаря, висевшего у двери, и бегучие отсветы костра выхватывали из тьмы, являли взгляду развешанные на крючьях плащи, старые бурки, разнообразную необходимую в пастушеской жизни утварь. В неясном колеблющемся свете не сразу и заметишь, до чего же всё здесь грязное и закопчённое. Брезент крыши до того закоптился, что отблескивал и мерцал над огнём, ни дать ни взять – золотое руно.

Вдоль стен большой палатки-балагана на полу набросаны еловые ветки, сверху прикрытые козьими и овечьими шкурами, старыми бурками, – здесь пастухи спят. В полутьме помещения шкуры производят впечатление уюта. Однако в тепле от них исходит тяжёлый запах прокисшего молока.

Всё можно приукрасить, прикрыть, спрятать... но куда денешь запах, его ведь ничем не заглушить.

Каждый год, спускаясь с гор, с летних пастбищ, они останавливались здесь дней на пятнадцать, чтобы дать стадам отдохнуть, попастись на нетронутых склонах, да и самим подышать ещё вольным воздухом гор.

Гора Красивая – так называлось это место.

Мыку перестал разглядывать внутренность балагана, насторожился, прислушиваясь к звукам извне.

Что-то беспокоило его, не ясное ему самому.

В последнее время странное, удивительное творилось с ним: стоило ему остаться одному, как его одолевало сосущее чувство потери, словно бы он лишился лучшего друга, и это опустевшее, осиротевшее место в его жизни, в его существовании рождало другое чувство – острой и ясной тоски одиночества.

Не хотелось оставаться наедине с этим чувством. Он посмотрел на сидящих напротив, за огнём, по ту сторону очага. Все молчали, но – Мыку знал, что долго они так не выдержат. Знал всё о них, что раздумья их не настолько уж глубоки и захватывающи – словно неглубокая речушка, которую переходишь, ступая по камням и не замочив ног. Однако было и общее у него и у них: пастухи не могли долго оставаться наедине со своими раздумьями, скука одолевала, собственные мысли быстро приедались, а сам

он, словно задохнувшись, не сумев отыскать заветный камень на дне глубокого омута, выныривал на поверхность – к ним, вступал в общий разговор.

«Хоть бы козлёнок не потерялся... погладишь, ощутишь под рукой мягкую его шёрстку – и на сердце теплее сделается».

Но пришла к балагану безрогая горемыка коза, начала блеять, звать своего козлёнка, надоела гуртовому стряпуну, он взял да выпустил козлёнка наружу.

Безрогая коза принесла козлёнка не вовремя: слишком поздно, стадо вот-вот должны были перегнать в горы. Сама коза тощая была, и козлёнок у неё родился тщедушный, слабенький. Видя, что ему не выжить, подохнет, Мыку пожалел козлёнка, начал поить молоком, следить за ним, выходил. Сейчас он совсем выправился уже, крепким, рослым сделался, да ещё и забияка. Задирает козлят весеннего приплода. Привык к стану и почти всё время тут находится. Заигрывает с пастухами. Поднимется на задние ножки и давай бодаться. От Мыку не отходит. И уж такая мягкая у него шерсть – рука тонет... от нежного этого прикосновения смягчается человечье сердце.

Один лишь стряпун терпеть не мог козлёнка: тот тайком молоко лакал, да и под ногами всё время путался. Надоест, бывало, стряпуну, подденет козлёнка ногой и вышвырнет наружу.

«Хоть бы козлёнок не пропал... И до чего же шерсть у него мягкая...»

Мыку глянул на стряпуна – тот как бы в полусне облизывал по привычке вечно лоснящиеся губы, словно перед этим ел сливки. Видно почувствовав взгляд, стряпун очнулся, вскинулся, будто кто его шилом ткнул:

– Хай, сычуг, наверное, молоко испортил!

– Да ну, что ты! Чтоб сычуг – да общественное молоко испортил! Что ему – жить надоело? – съехидничал Мыку.

– Давайте, ребята, давайте, быстренько! – распорядился заведующий фермой. – Давайте! – повторил он, двигая косматыми бровями, странно широкими на его низком лбу.

– Айда, ребята! Пошли, ребята! – дразнил Мыку пастухов, а те неохотно отрывались от своих мыслей, от расслабляющей полудрёмы.

– Пойдите, ребята, пойдите! – вторил ему, уже серьёзно, самый старший из пастухов – Хаджадлы, крепкий ещё, крупный, даже грузный старик. Сидел у огня – между колен держал посох, словно бы и здесь опирался о него. На голом лоснящемся черепе играли светлые блики – отражалось пламя костра. Вид имел задумчивый, но Мыку знал: не привык задумываться, простоват был.

Разомлев сейчас в тепле, он не спал, не бодрствовал. Хорошо ему здесь, ради чего торопиться вниз. Однако даже о таком простом деле не в силах был поразмыслить Хаджадлы, просто скользил сверху, как надутый бурдюк. Все спускаются – ну и он тоже. А для чего, что ждёт внизу – ну чего там ещё думать...

– Живей, ребята, живей! – прикрикнул, будто выстрелил, тщедушный малорослый человек со шрамом во всю щеку, похожим на плетёную дверцу

овчарни. Этот, по прозвищу Тырма, желчный был, вспыльчивый без меры, часто бранился попусту.

То ли из-за худобы, то ли потому, что то и дело вскидывался злобно, так и прозвали его – Тырма, что значит – Попрыгунчик. Прозвище пристало, по имени его почти никто уже и не называл. Он сначала возмущался, но потом, заметив, что упускает в это время очень уж много других поводов повозмущаться, решил примириться. А возможно, что и забыл уже, прозвище это или настоящее его имя... путал их.

– Сходите, ребята, сходите! – повторил старый Хаджадлы.

Стряпун замешкался у двери, точно боялся выйти наружу.

– Ну, чего застрял! – заведующий фермой возмущённо поднял косматые брови. – Опять отлынивать начинаете!

– Эй, грамотей, чего сидишь! – затараторил Тырма сердито. Он постоянно злился, то на кого-нибудь одного, то на всех сразу. (Грамотей – относилось к Мыку.) Язык-то у тебя длинный, восемь локтей.

– Если считаете, что я один могу донести котёл, пойду, конечно, мне-то как раз не лень.

Не говоря ни слова, поднялся и пошёл к выходу высокий мужчина средних лет, будто принести полный большой котёл ничего для него не стоило, не труднее было, чем снять бельё с верёвки. До этого он сидел, выбрав место подальше от огня, точно боялся, что кто-нибудь прочтёт по лицу его мысли.

Он относился к тем людям, возраст которых определить трудно до самой старости. Лицо у таких всегда гладкое, ни один волосок не упадет с головы. Седеющие виски они подбривают – и тогда кажется, что уши у них расположены ниже обычного.

– Ни стыда ни совести!.. – возмущался заведующий фермой; он искренне был убеждён в том, что каждый, кроме него самого, разумеется, просто обязан был броситься наружу, за молоком. – И тут без Темыра не обошлось! Задами к месту приросли, что ли?

Стряпун, не нагнувшись, а лишь слегка присев, вышел из балагана.

– И Абрскил никогда не склонял головы – тоже, видать, боялся задеть за притолоку... – Темыр не по возрасту легко, со щегольской ловкостью, слегка пригнувшись, скользнул в дверь.

– Эх, если б я был молод, как вы... – протянул вслед Хаджадлы; затем, собрав лоб гармошкой, будто что-то важное хотел сообщить, обратился к Тырме: – Слушай, Тырма, от клёна, из которого ты выдолбил ковш, что-нибудь осталось?

На тех двоих, что пошли за котлом, слышно было, залаяли собаки.

– Хватайте его! – шутливо науськивал Мыку. – У нашего стряпуна и отец был такой: как покажется во дворе, так собственные собаки на него набрасывались! – Чем же это он хуже твоего отца был! – вспылил Тырма, и шрам на щеке его вспыхнул, словно светофор.

– Э, если б я был молод, как вы... – ещё раз пожаловался Хаджадлы, отирая тяжёлой ладонью вспотевшую лысину: на ней всё так же играли блики огня.

«Как бы из лысой его башки цыплята не вылупились. Чего это он её постоянно, как чурек, у очага поджаривает?» – неприязненно подумал Мыку.

– А как бы ты заговорил, если б молодым вдруг сделался? Тогда, наверное, тоже жаловался бы: ах, мол, если б я столько прожил, как старики, столько бы повидал всякого, – уколол Хаджадлы Тырму, точно давний спор продолжая.

Стряпун и Темыр вдвоём притащили котёл.

– Молоко крепко взялось, аж загустело! – съязвил Мыку и подмигнул Тырме. Шрам у Тырмы снова зарделся так, словно ему кукиш показали.

Заведующий фермой опустил косматые брови на переносицу, взглянул на Мыку с укоризной, но ничего не сказал.

«На общественной, на руководящей ответственной работе, если уж ты решил служить народу, – должен, значит, запастись терпением. Не возьмётся молоко на сыр, если сычуг испортит его. Не заквасится молоко, если кто из подчинённых нерадив. Нельзя всё время обращать внимание только на слабости, недостатки подчинённых. Начало и конец всему – человек. Человеку, значит, нет цены. Вот как».

Всё это он аккуратно заучил. А как же иначе?

А Мыку меж тем не терпелось задеть и Темыра, но решил подождать, не трогать его, пока тащит котёл. Усядется – тогда лучше, решил он. Что ни говори, а Темыр всё же постарше его. А вот насчет Тырмы он даже и не мог сказать, кто из них старше, кто младше: не изменился Тырма за всё время их знакомства, всегда был такой: со шрамом во всю щеку, точно рождён с ним, меченым появился на белый свет. Кто знает, может, даже шраму этому больше лет, чем самому Тырме? Человек один раз рождается и однажды умирает. И Тырма однажды родился и когда-то умрёт. Но шрам его долго будут помнить люди, рассказывать о нём будут.

Заведующий фермой вскочил было, чтобы помочь Темыру, но тот помотал головой, давая знать, что ему не так уж трудно держать котёл. Тогда заведующий торопливо привстал, опустил цепь над очагом – стряпуну и Темыру осталось только подвесить котёл на цепь. Они, кряхтя, подвесили полный котёл, потом, стараясь, чтобы не полетела зола, осторожно, точно боясь причинить дровам боль, потрогали, пошевелили их, умеряя таким образом пламя.

Мыку взглянул – Темыр стоял спокойный, но был так бледен, словно его обидели.

Конечно, его крепко обидели, да он не хочет виду подать... С одной стороны – за молоком пришлось идти, никто больше не поднялся, с другой – он же передовик... кого завфермой на собраниях хвалит?

Наконец Темыр вернулся на прежнее своё место, лицо его снова скрылось, утонуло в полумраке.

Стряпун закатал рукава, пододвинул к очагу низкую скамейку и подсел к котлу – собирать сыр.

«Человеку принадлежит только то, что он вынес из утробы матери, – неожиданно для себя подумал Мыку. Внешность, характер... Это он и унесёт с собой в могилу».

– Ты, наверное, и на свет для этого появился, специально рождён, чтобы готовить сыр: шея длинная, чтобы выпученные твои глаза не так уж легко было разъедать дыму, а короткие ноги – тоже удобно, приспособлены для сидения на корточках, не будут высовываться из-под тебя, в огонь не попадут, не обожжёшься. А главное – руки у тебя длинные, как грабли, специально так устроены, чтобы ты мог, сидя за метр от костра, из огромного широкого котла на целую армию сыру собрать... – Мыку легко всё это говорил, добродушно, не зло.

– Если бы только сыр... – ответил стряпун, улыбаясь лоснящимися губами. Одной рукой он начал уже собирать сыр в комок.

– Ну-ка, ну-ка! На что ты ещё способен, а? Давай рассказывай, или стыдишься, что ли? Смотрите-ка, смотрите, как он облизывает губы, а? Чёрт тебя побери! Ну да – жена у него вон какая толстозадая, а он никак не насытится, мало ему...

– Ты просто завидуешь! – ухмыльнулся стряпун. Когда он был в духе, лучшим удовольствием для него было поговорить о том, до чего ж у него соблазнительная и сладкая жена. Да и сам он любил потешить себя – чем мог... ну хотя бы едой... Обычно он раздавал всем приготовленную им пищу, а уж потом садился поесть сам – отдельно, чтобы не вставать больше, чтобы не беспокоили его, и не торопясь насыщался в своё удовольствие. Если мясо было – так старательно обгрызёт кость и мозг изнутри достанет, съест; если же молочная еда, то все сливки соберёт – долго их смакует. Да в общем-то он вечно что-нибудь жевал, целый день, можно сказать...

– Когда бы не это – давно бы лёгкие мои сожгло табаком, – объяснял он иногда и выплёвывал на белую, разъеденную сывороткой ладонь карамельки. Ничем больше не мог себя отучить, табак жевал.

Никто, правда, не помнил его курящим. И для чего он так усердно оправдывался, трудно было понять.

Стряпун уже двумя руками разминал собранный в кружок сыр. Чем больше одежда его прогревалась у огня, тем сильнее пахло прокисшим молоком.

– С надоями у нас хорошо пока что, молока много, – заметил заведующий. – Мне казалось сначала, что в этом году придётся пояса потуже затянуть, но нет, неплохо заканчиваем сезон.

И опять зарделся шрам на щеке у Тырмы. Исподтишка он оглядывал сидящих, – может, ещё кто недоволен, как он... мол, куда же ещё туже затягивать пояса... но, увидев, что никто не рассердился, промолчал.

Если все готовы положить свои головы на плаху – никто не хочет навлечь на себя неудовольствие начальства, что ж, он не хуже других, и он свою голову подставит.

– У него руки щедрые, – сказал завфермой о стряпуне, кокетливо распрямив свои мохнатые брови.

– Как же, конечно, щедрые, – поддакнул Хаджадлы, который только и ждал случая заговорить, – бывают же такие! И моя сестра такой была, бедная. Дать ей пару яиц – она пятерых всадников накормит... Клянусь прахом сестры, клянусь огнём, закалившим эту надочажную цепь... – и он стукнул своей палкой по цепи.

– Эй, пепел полетит!

Стряпун простёр над котлом руки, словно стараясь укрыть его.

Часть пепла, которым облеплена была цепь, мягко осела на волосатых руках стряпуна, а другая часть опустилась на сыворотку в котле.

– Сыр ты уже собрал, чем теперь может повредить пепел! – старался оправдаться Хаджадлы. – Слушай, Темыр, – неожиданно перевёл он разговор на другое, этот рослый парень... хорошо одетый, что на свадьбе Чичына плясал, – не твой шурин был!? Откуда он? Что за парень?

– В котле, что поменьше, тоже полно молока, до краёв, мы оставили на мацони, – как о личном достижении сообщил Темыр заведующему. При этом его гладкое лицо, показалось, вынырнуло из темноты на свет. Любил человек сообщать начальству приятное – что делать...

– Другой котёл полный, говоришь? Да ведь от такого количества кислого молока зубы же заболят! – удивился заведующий.

– Тебе что ни говори, всё без толку, – поддел Мыку стряпуна. – Слышал же, надо пояса затянуть потуже, животы подобрать, а ты половину удоя хочешь нам скормить.

– Ничего, пусть, он знает, что делает, – сказал заведующий неожиданно подобревшим голосом; наморщенный лоб его разгладился, лениво сняв с переносицы лохматые брови.

– Были бы все такие щедрые! – похвалил начальство Темыр и снова упрятал своё лицо в темноту.

– Да, немало я бродил по горам, но таких щедрых рук не встречал – клянусь создателем, клянусь прахом сестры... – Хаджадлы решил, что речь всё ещё о стряпуне идёт.

«И что это надо старому хрычу, какая надобность мёртвых тревожить? Да и живых – тоже!»

– Нет, это всё не то, – заговорил Тырма, всегдашнее его недовольство не давало ему покоя. – Надо было всякий раз, каждому из нас определять вечерние надои молока... Точно я говорю!

– Точно! – повторил насмешливо Мыку и подмигнул ему.

– Точно! Не мешало бы также и сосчитать, сколько раз каждый из нас выгонял скотину...

– Ну, уж это, я думаю, ни к чему, – возразил Мыку, – мы все занимаемся, так сказать, общенародным делом, нам надо работать рука об руку, дружно.

– Ну да, как же! А деньги, которые ты, когда спустимся вниз, положишь в свой карман, – они тоже для общественных нужд?

Отворачиваясь от валившего из котла пара, стряпун продолжал выжимать сыр.

Все смолкли, только пламя играло, плясало, пело-журчало среди буковых поленьев, и весёлое это журчание растекалось, заполняло тесное пространство вокруг очага.

Гора Красивая – так называлось место, где остановились сейчас пастухи со своими стадами.

– В прежние времена... – воспользовавшись общим молчанием, заговорил Хаджадлы; он сидел, опираясь на палку и подавшись вперёд, будто высматривал зайца.

Слушатели пошевелились, словно просыпаясь, но никто ничего не сказал.

– В прежние времена в горах нельзя было отлынивать от работы... и в мыслях невозможно представить было, что молодой человек – и вдруг ленивый. Такой на всю жизнь опозорился бы, клеймо бы осталось.

– Наверное, это с тех самых пор ты у нас такой расторопный, везде поспеваешь, – не мог не задеть его Тырма.

Да, совсем не умел шутить Тырма: не будь в его словах столько желчи, они бы вызвали общий смех.

– О чём тут говорить, конечно, молодой человек не должен лениться, – поддержал разговор Мыку, – только про людей моего, то есть нашего с Хаджадлы, возраста говорят: «Отяжелел, немного грузным сделался...»

– Когда твоя мать замуж выходила, мне уже столько лет было, что я мог верхом в числе дружек за невестой поехать, – обиделся Хаджадлы. Впрочем, тут же отвлёкся: – Как вы думаете, на сколько потянет этот сыр?

Стряпун поднялся, оставив сыр в котле.

– А ну-ка, ребята, а ну-ка! – распорядился Хаджадлы.

– Давайте, ребята, подсобите, – в тон ему продолжил Мыку.

Никто не двинулся с места. Обиделись.

Конечно, когда человеку не до шуток, всё его раздражает.

Мыку проворно вскочил и вместе с поваром вынес котёл наружу; остальные хмуро поглядывали вслед – и не подумали помочь.

– Ты здесь остаёшься? – спросил стряпун Мыку, поднимая второй котёл, поменьше.

Мыку держался рукой за ножку ашимкиат1, стоял, вглядывался в темноту.

– Ты сможешь сам донести?

– Конечно... А ты? Уж не затосковал ли по своей белотелой, как свежий сыр, а?

Стряпун ушёл.

---

[1] Ашимкиат (буквально: место для сыра) – настил на высоких жердях, куда кладут свежий, только что собранный сыр, чтобы стекла сыворотка. Пастухи кладут на ашимкиат и всякую другую пищу. На жердях – крючки, на которые вешают котлы с молоком, водой, бурдюки с мацони.

Мыку подставил руку под настил, куда положили сейчас свежий сыр. Тёплые струйки сыворотки, стекающей вниз, приятно щекотали ладонь.

По правде говоря, он и не вспомнил бы о своей «белотелой», если б не слова стряпуна. И не потому лишь, что далеко она не белотелая... ничего похожего, ничего общего со свежим сыром.

Есть люди – начинают в таких случаях распространяться о любви... легко произносят это слово. Но он – за всю жизнь так и не пришлось ему испытать, познать истинный смысл этого слова. И всё же он с уважением относился к нему, не бросался им.

На дворе было холодно. В терпком свежем горном воздухе смешались сейчас запахи растоптанного конского щавеля и навоза. Всё же ему здесь легче дышалось, чем в балагане.

Ночь выдалась тёмная, чёрная – целиком поглотила горы, не смогла осилить только свет пастушьего костра – крохотный среди царства мрака, с булавочную головку, да шум горного потока, – ветер разносил его далеко окрест.

Когда человек долго остаётся наедине с огромным пространством ночи, ему кажется, что она забирает у него всё увиденное днём, он теряет чувство связи, течения и единства времени, словно некая сила отторгает его от обыденного, выталкивает одного во тьму.

Сколько бы ни привыкал человек к ночным горам, в такую бездонную ночь ему кажется, что горы, поднявшие его высоко к небу, уходят из-под ног, оставляя его в пространстве, – по спине пробегает холодок страха.

Рассвет возвращает всё, что отняла тьма, вновь соединяет, связывает человека с обычным течением времени. И когда ты заново убеждаешься, что ты и природа одно, что она не против тебя – с тобой, тогда ты забываешь наконец пережитое до наступления дня.

Все случайные, все некрепкие связи легко и быстро разрывает ночь, но не может справиться с настоящей близостью.

...Хотя и равнодушен был к ней, жалел всё же Мыку свою «белотелую», когда ему о ней напоминали.

Человек, о котором никто не помнит, наверное, самый несчастный.

А кто вспоминает его, Мыку?

Сверху, с настила, где лежал свежий сыр, на ладонь его уже не струйки стекали – падали редкие холодные капли. Мыку отошёл в сторону – окунулся в ночь, в темноту.

Порывами налетал холодный ветер, и тогда его знобило. Стадо всё ещё никак не могло угомониться, козы обгладывали стебли уже растоптанного конского щавеля.

Погода явно портится. Как бы сегодня ночью дождя сильного не было, да с ветром. Место стоянки не очень удачно выбрали – в ненастье здесь плохо придётся. Одно хорошо: молодняк успели отделить от стада, спустили в ущелье, – там сосновые рощи, буря не так страшна. И ещё: в этом месте каждый раз на стадо нападает медведь, – видно, один и тот же, живёт где-то здесь, хозяин. Однажды утащил отличную дойную козу. В другой раз дойной

козе горло порвал, – правда, собаки её отбили; всё же, убегая, он прихватил годовалого козлёнка. А раз повадился медведь, возможно, и нынче не упустит случая напасть... Всё-таки надо бы козлёнка в балаган забрать, но кто знает, где сейчас коза с ним устроилась. Начнёшь искать, всё стадо переполошишь, потревожишь.

Мыку ещё немного послушал ночь и вернулся в балаган.

Медведь был уже стар. Сегодня он весь день собирал ягоды, уже увядшие. Лазил за ними – морду расшиб о камни, ныли все кости. Сейчас он отдыхал – улёгся на мягком мху в пещере недалеко от пастушьей стоянки, мечтал о мясе. Сквозь редкие, слабые зубы сочилась слюна. Медведь этой ночью опять собирался напасть на коз, как нападал ежегодно. Но у него сердце замирало от страха – знал, до чего это опасно и трудно. Да и пастухи настороже, это тоже знал медведь.

А может быть, сейчас пришли новые, неопытные пастухи?

На это, конечно, трудно надеяться. Вот уже неделя как остановились они здесь со своим стадом, и всё это время он каждый вечер откладывает свою вылазку. Если в эту или же в следующую ночь он не решится, не нападёт, то всё. Пастухи уйдут и угонят стадо, и он останется ни с чем. Но ведь нет, совершенно уже никакой нет силы ждать. На худых его плечах облезла шерсть, днём тепло ещё, а по ночам он мёрзнет. Эту зиму он, должно быть, уже не выдержит, не переживёт. За лето не смог накопить жира. Правда, теперь ему и пища не впрок. Хотя, если вспомнить, за это лето он ни разу не отведал вкусного. В самом начале тёплого времени, когда скот гнали в горы, за озером, недалеко отсюда, он вместе с другим медведем спугнул старую клячу. Она упала, сорвалась с крутизны – и медведи сразу же разодрали её, наелись и по одной ноге ещё зарыли впрок. На вторую ночь они не выдержали, решили опять попытать счастья, но пастухи ждали их, устроили засаду. Второго медведя убили, а он сам едва ноги унёс.

...Медведь не раз видел издалека смертоносное пламя, которое вырывалось из длинной палки – ружья, но Ажвейпшаа – бог – покровитель зверей – оберегал его до сих пор, сохранил от встречи с чудовищным этим огнём – чтоб он погас навсегда! В ту страшную ночь, когда пуля догнала его товарища, тот сгоряча ещё пробежал немного вперёд, но потом взревел тоскливо, застонал, рухнул на землю и не поднялся больше. И позже, когда бы ни вспомнил медведь этот жуткий прощальный стон погибавшего товарища, страх сжимал его сердце. А обе ноги старой клячи, что закопали они в тот раз, достались ему одному, и хоть мясо было противное, жёсткое, тягучее, как сплошная жила, на некоторое время голод его был утолён. Но с тех пор, за несколько долгих месяцев, ни кусочка мяса не перепало ему. Он был стар и опытен. У перевала, под ледниками, не раз подкарауливал добычу у солончаков – знал, что серны приходят сюда лизать соль. Но сейчас это была для него пустая затея. Раза два он всё же кидался из засады, да куда там – даже разглядеть их толком не успевал. Хоть бы подломились под ними тонкие их ноги, – надо же, до чего быстрые, почти как на крыльях уносятся.

От муравьёв, от пчёл, от разных ягод – оскомина, зубы болят, да и сила не та. Нет, если даже придётся рискнуть жизнью, он должен напасть сегодня на стадо. Если он не отобьёт, не задерёт хотя бы одну козу, то ему не перезимовать. Ему необходимо сейчас хоть немного мяса, чтобы восстановить силы, а там поспеет малина, потом каштаны, лавровишня... а там уж и смерть нипочём. Дожить бы только до спячки! Медведь ничего не слышал, не видел – он уже словно бы чуял запах крови, ощущал вкус мяса и этим только жил. Память о запахе крови дурманила голову.

Когда Мыку вернулся в балаган, все о чём-то весело разговаривали. Едва он вошёл – все замолчали. За то время, что его не было здесь, они успели чем-то угодить, понравиться друг другу. И от этого, от сознания своей общности, а значит – защищённости, силы, им до того было весело, что просто не сиделось на месте.

Мыку молча прошёл к очагу. Он, видно, мешает им, раз без него им так хорошо, легко. Знал бы, почаще оставлял их. Отвели бы душу, наговорились вдоволь, жён бы своих вспомнили и о нём посплетничали бы всласть.

И всё же он не хотел быть один. Как только он оставался наедине с собой, ему опять начинало казаться, что в душе его образовалось и даёт знать о себе непреходящей тоской пустое место, которое должен был занять друг, выдуманный друг, убитый в его воображении.

Ему хотелось найти какое-то воспоминание, которое бы послужило опорой – и утешением, что ли? Но беда была в том, что круг мыслей, занимавших его сейчас, был всё тот же, все эти мысли много раз были передуманы, приелись, он как бы топтался на месте, возникало ощущение тупика. Он словно бадья за водой начинал опускаться в колодец своих раздумий и старался нырнуть поглубже. Но хотя вокруг было влажно и кое-где встречались даже бисеринки капель, до чистой свежей воды не мог добраться. То и дело ощущал присутствие влаги, дуновение свежести и тянулся к ней, хотел пригубить, утолить жажду – но тщетно.

Ему казалось, испей он сейчас глоток, достигни, додумайся – и откроется ему, наступит ясность, всё озарится новым светом; всё, что его связывает по рукам и ногам, мучит, уйдёт куда-то – и он вздохнёт легко.

Внешне он был похож на древние статуи египтян и хеттов, дошедшие до нас из глубины времён: припухлые губы (нижняя губа немного оттопырена и, пожалуй, несколько полновата), большие выпуклые глаза, неподвижный взгляд, лицо – будто когда-то обожжённое палящим солнцем, но сейчас загар почти сошёл. Когда он хотел поговорить о чём-нибудь серьёзном, глаза его, хоть и смотрели внимательно на собеседника, казалось, видят ещё что-то – что-то важное, к чему он чутко прислушивается: какой-то внутренний голос звучал в нём. Всякий поглядевший ему в глаза в такую минуту сказал бы, что они не смотрят, а спрашивают. Когда же он говорил или смеялся, казалось, что он участвует в беседе всего лишь на правах посредника, давая выход сообщениям, словам, чувствам, которые, словно радиосигналы, доносят до него из бездонной глубины столетий искры бессмертной крови давно

исчезнувших хеттов, крови, льющейся в его жилах. Говоря о серьёзном, он выдерживал паузу между словами, будто ждал этих радиосигналов, сообщений из глубины веков.

Мыку и самому иногда чудилось, что, словно мигающие маяки, передают из тёмной дали веков его прапрапредки, стараются донести до него настораживающие, предупреждающие сигналы.

Иногда он, казалось, совершенно отчётливо слышал их голоса, долетали целые фразы, и ему просто надо было повторить эти слова, дать им жизнь в звуке.

А после него, после его смерти, услышит ли какой-нибудь пастух что-нибудь из сказанного, испытанного, пережитого и осмысленного им? Поможет ли его жизнь, его опыт разобраться в чём-нибудь, хоть в самом простом, другому человеку, может быть, его дальнему потомку?

Да нет, вряд ли. Что останется от него, какие слова, что важного говорит он! Шуточки шутит – швыряет пастухам? Да кому они нужны, немудрёные эти шуточки. «Пошли, ребята! А ну-ка, ребята!» Достойно, умно...

Конечно, верно и то, что не всех ведь Бог умом наделяет, не каждый может усвоить всякие там науки, многие, очень многие не смогут сделать, сказать даже такого, что хотя бы два человека запомнили после них, после их существования на земле. Но жить только для того, чтобы зарабатывать, а потом поедать заработанное?

Так зачем же, для чего такая сила, как жизнь, – а ей ведь цены нет – для чего бесценная эта жизнь дана таким, как он? Ради чего течёт в его сосудах горячая кровь предков? Какие должны быть мысли, слова, поступки, чтобы оправдать этот дар – жизнь?

– В эти дни от ночных холодов вся трава повяла; будто как от настоящих заморозков, – нарушил тишину завфермой, тоном стараясь подчеркнуть важность сказанного.

– Да, прямо удивительно, вся пожухла, – подтвердил поспешно Хаджадлы, будто боялся, что ему не дадут сказать.

– Ещё август не кончился! Ну и погодка! – проворчал Тырма.

– Горы, дорогой! Это тебе не луга, где нежатся твои буйволы, – важно заметил заведующий, так, словно он родился и всю жизнь провёл в горах, досконально изучил все их капризы.

На самом же деле ни один из пастухов, кроме Мыку, толком гор не знал. Знали, конечно, дорогу, по которой в начале лета гнали стада в горы, а к осени спускали в долину. Ни лошадь не умели навьючить со знанием дела, ни даже охотничью суму не способны были завязать так, чтобы при надобности легко и быстро можно было распустить узел.

Когда заведующего назначили руководить фермой, ему сказали, что дадут в горы любого, на кого он пальцем укажет; вот он и указал на тех, что сидели теперь у очага. Темыр и в поле с мотыгой был первым – и здесь, среди пастухов, тоже необходим передовик. Тырма, при всей своей неуживчивости, всё–таки родственником был заведующего фермой, да к тому же со стороны матери, – Тырма род матери почитал особенно, обожал, можно сказать. Так

что людей этого рода он никогда и ни в чём не попрекал – ну и заведующего, само собой, тоже.

А то ведь мало ли что бывает в горах! На всякий случай родственника иметь под рукой – не помешает. Как говорится, и в хорошем деле, и в плохом родственники по крови опознают друг друга безошибочно.

Хаджадлы проходил за старейшину. В стане пастушеском должен ведь быть уважаемый человек почтенного возраста, который, если понадобится, слово может замолвить, сказать в пользу заведующего. А Хаджадлы тут мастак был: скажет – как отрубит!

А Мыку – хотели или не хотели – пришлось взять: хорошо горы знает. Он, правда, не каждый год поднимается со стадами, да чтобы знать горы, вовсе и не обязательно часто там бывать.

Мыку ещё и потому подошёл, что известно было про него: не любитель кляузничать, доносить, жаловаться... Потому и пал на него выбор, когда говорили о тех, кто в горах хорошо ориентируется. Хотя ориентировались вроде бы все – разве кто-нибудь признается, что не знает гор? А заведующему фермой право выбирать дано было не случайно. Специалист был по кадрам, можно сказать. Его не так давно сместили с должности председателя сельсовета – вежливо так попросили уйти: в селе подросли уже новые кадры, метящие на эту должность. Одного можно было урезонить, уговорить подождать, другого, но не всех же...

Заведовать фермой его назначили не потому, что он хорошо разбирался в животноводстве, а просто некуда больше было его девать: на пенсию рано, бригадиром слишком большое понижение. В таком случае должности лучше, чем завфермой мелкого рогатого скота, не найдёшь: не совсем маленькая должность, и не такая уж большая – средняя, можно сказать. И к тому же ещё одна тонкость присутствует: ничего нет проще, как бывшего заведующего фермой назначить бригадиром.

– Всё же в августе рановато для таких холодов, – сказал Темыр, показавшись на минуту из темноты. Ему приятнее было бы, конечно, молча посидеть, но раз уж заведующий заговорить решил: просто нехорошо не поддержать начальство. Разговор, он вроде бревна: если уже кто-то поднял один конец, надо поднять и другой.

– Не приведи господь такого, а то ведь бывает, что и в июле снег выпадает, – поспешно, боясь, как бы кто его не перебил, вставил Хаджадлы, – не приведи господь, а то, случается, по колено наметает.

– Поскорее убраться надо отсюда, пока снегу не навалило, – сказал завфермой.

– Будь она неладна, эта погода, ведь не успели ещё эту гору доесть! – высказался и стряпун; он уже закончил все свои дела и подсел к очагу.

Мыку посмеивался про себя. На минуту представил, как стоит Хаджадлы по колено в снегу, согнувшись в три погибели от холода, на редкой бородёнке – сосульки, и дыхание его, словно дым из ещё не погасшей обронённой в снег трубки, струится парком в морозном воздухе... а стряпун,

будто крыса, ощерив зубы, яростно грызёт скалу – надо же успеть доесть эту гору!

Гора Красивая – так называлось место, где расположились пастухи со своими стадами.

На альпийских склонах в темноте ночи задыхалась, увядала, умирала трава. Роса, которая прежде приносила ей жизнь, теперь превратилась в холодный иней и душила. Холод делал своё дело. За две-три ночи зелёные склоны гор помертвели, полегли мёртвые травы с венчиками цветов. Кое-где, на солнечных склонах, побитые холодом травы подсохли, и теперь эти склоны и подножья скал окрасились в огненно-рыжие тона.

Скалистые овраги, сухие русла ручьев разом изменились, выглядели теперь по-другому – после того как сникла, полегла прежде высокая, по пояс трава и обнажились серые плешины скал и камни.

На древних пастушьих стоянках, в местах сильно унавоженных, где недавно буйно тянулся к небу, заглушив, задушив всю остальную растительность, конский щавель, теперь торчали только лишь увядшие мёртвые стебли. И думалось невольно, к чему же была вся эта ненасытность, для чего растение это всё отнимало у других, когда так коротка была его жизнь, – дохнуло холодом, вот и завяло беспомощно.

Хотя, надо признать, корни свои конский щавель запустил глубоко. Вот в таких унавоженных местах и становился всесильным всяческий бурьян, распространялся вширь, вгрызался в сердцевину пастбища.

Но там, где кончался в почве слой перегноя, травы-бурьяны останавливались, дальше для них не было жизни.

И другие травы тоже ведь борются за существование, но эта борьба не так заметна; они мирятся с тем, что растут не одни, что не для них только эта земля, вода и солнце.

А есть и такие травы, что выбирают места, совершенно неподходящие для других.

Ацарпын (геркулес) – тот растёт прямо среди камней в сухих руслах горных потоков. Цветёт пышно, круглые большие шапки цветов – будто зонтики на высоких стеблях. Ацарпын не вытесняет ничьи корни, рождают его песок и камень. А он ждёт не дождётся ненастья, дождей, хочет напиться. Однако вода и погубит его – заполнит русло...

Чем выше в горы, тем меньше травы заглушают друг друга. Совсем неприхотливые поднимаются ещё дальше – бросают вызов скалам, камням, холоду, высоте. Иногда видишь: цепко держась оголившимися белыми нитями корней за камни, словно вестник жизни взбираются они вверх по скалам, тянутся куда-то ввысь, словно внемля зову синего неба.

На самых же недоступных вершинах, там, где царство камней и скал, острыми зубцами разрезающих воздух, наносящих раны ветру, там только лишайники напоминают о жизни.

Всюду жизнь...

И кто знает: может быть, столь жестокая борьба за существование и оставит в живых только одни лишайники?

У каждой травинки своя жизнь, свой таинственный мир.

За нижней границей альпийских лугов – криволесье карликовых буков – аас-цла: скрученные, корявые, низкорослые старые деревца.

Какой дорогой ценой даётся им жизнь!

Ниже начинаются хвойные леса, деревья там тоже отвоевывают своё место в борьбе друг с другом. Но те ели, которые уцелели, выжили, стоят высокие, стройные, гордые. Ноги утопают в мёртвом покрове опавшей хвои, в воздухе – смешанный запах смолы, живой и умершей хвои.

Под сенью еловых лап, в трещинах сухой шершавой коры торопятся куда-то стайки муравьёв, счастливых тем, что им, таким крошечным, природой предопределено, взвешено и отмерено всё, что им нужно, счастливых тем, что им довелось жить в царстве прекрасных елей, в сухой и уютной их сени...

Посреди ельника возвышаются две сосны. На обоих деревьях, в нижней части ствола, глубокие зарубки – до самой сердцевины. Сделали их Темыр и Тырма; прошлым летом пытались добыть их смолистую сердцевину; пришли к деревьям с топорами и вырубили из стволов по большому куску. Вытянулись оба дерева вровень, но у первого, постарше, сердцевина вся была янтарная, словно чистый ручей, струился запах смолы. Второе дерево оказалось помоложе, сердцевина не такая подходящая.

Сейчас молодое дерево болело, одна его сторона, до самой верхушки, подернулась желтизной увядания. А то дерево, что постарше, внешне оставалось вроде бы прежним, здоровым – но из ран обоих деревьев сочилась смола, застывала, присыхала к коре.

И зимой, наверное, тоже сочится смола и примерзает сосульками...

В конце концов из этих двух сосен вытечет когда-нибудь вся целебная для них смола, они подгниют в тех местах, где сделаны глубокие зарубки, и повалятся друг на друга.

Сейчас в лесу властвует тишина.

Сосны, если даже они смертельно ранены, если даже нестерпима их боль, держатся, стоят молча. И только в минуту смерти, падая, ухнут гулко – подадут голос.

Мыку казалось, что ночь бесконечно тянется, время словно застыло. Это с ним обычно так бывало: когда время медленно тянулось, ползло или совсем останавливалось, он, хотя и не подавал виду, начинал нервничать, внутри росло и накапливалось напряжение.

– Слышь, грамотей, а ну-ка вспомни, как тебя, бывало, учитель твой школьный честил, по всем правилам, а? – неожиданно обратился к Мыку Темыр: ему, видно, молчание уже в тягость было, посмеяться захотелось. – Ну, пожалуйста...

– «А ну-ка, ребята! Пошли, валяй, ребята!» – подхватил желчно Тырма, передразнивая интонацию, с которой Мыку сам как раз и подшучивал над пастухами. Все, видно, ждали повода посмеяться.

Мыку почувствовал себя задетым, готов был уже вспылить, ему казалось уже, что он отчётливо слышит звук литых, тяжёлых, будто свинец, слов, которые из глубины веков доносила ему его кровь... Но когда он окинул взглядом сидящих – Тырму, у которого от смеха кровь прилила к шраму; заведующего фермой, то и дело поднимающего и опускающего густую дугу бровей над низким лбом; Темыра, довольного собой и тем, что он вроде бы ко времени вспомнил об учителе; стряпуна, который не переставал ухмыляться, – видно, опять грезилась ему жена; жалкого Хаджадлы... – когда он посмотрел на всех на них, тяжёлые свинцовые слова, которые он готов был произнести, испарились вдруг, ушли куда-то.

– А, так вы это хотите услышать... – сказал Мыку. Лицо его вдруг преобразилось. Толстые губы вытянулись в злую ниточку, брови наползли на глаза, а глаза из-под насупленных бровей смотрели дулом пулемёта –наводил то на одного, то на другого и строчил: – Вшивые! Грязные! Позор! Дома целый день, должно быть, бездельничаете, раскачиваетесь, уцепившись за надочажные цепи! Если вши кусают, в этом месте почесать надо... А вы, бесстыжие, ленитесь! Разгоню вас всех!

Все смеялись, слушая Мыку, – ему же казалось, что смеялся только один кто-то, а остальные, точно рыбы, вынутые из воды, лишь открывали и закрывали рты.

– Что же, он вас всех одинаково отчитывал? Разве все без разбору были виноваты? – спросил Тырма, отсмеявшись. Шрам его, пылавший до этого на щеке, побелел сейчас, меньше сделался виден. Однако верен был себе Тырма – и в этом случае нашёл к чему придраться.

– Это ещё ничего было, когда он всех без разбору ругал, это легче – все есть все, никто на тебя пальцем не указывает...

Случилось это во время войны. В школах проверяли санитарное состояние, осматривали детей. Одно время проверки участились – и каждый раз Мыку терял полжизни.... Обследование проводили, собрав всех учеников школы в самом просторном классе. Если у кого обнаруживали грязное нижнее бельё или же находили паразитов, безжалостно выводили на середину, показывали всем, поворачивали в разные стороны, словно одежду модную демонстрировали, словно это праздник какой был. Мать Мыку постоянно стирала его одежду жидким вонючим мылом, – рубашки даже обветшали от постоянной стирки, расползались по швам. Старый утюг, куда насыпали угли и которым мать гладила его рубашки – от утюга у неё все руки были в ожогах, – старый этот утюг смотрел яркими глазами раскалённых углей и зло усмехался, казалось: сожгу, изжарю! До чего же неприятный был запах у мыла, которым стирала мать, – даже запах горячего утюга не в силах был его заглушить. Хотя кому какое было дело до запахов в те времена...

– Ну – и?..

– Да что – «ну»... Сначала мне везло. Рубашка у меня была, конечно, далеко не белоснежная, но терпеть можно было.

– Ну – и?..

– Ну и напоролся в конце концов!

Все пастухи разом разинули рты и одновременно, будто один человек, грохнули смехом.

– ...В тот день на осмотре у всех всё было в порядке. А ко мне подошла новая какая-то женщина, в белом халате с крупными плоскими пуговицами. Не знаю, как это объяснить, только меня при виде этих плоских пуговиц мутить начинало.

– Это она тебе такой оттого показалась, что из грязи тебя хотела вытащить, – вставил Тырма. И тут он был чем-то недоволен.

Да, и, значит, свирепствовала эта представительница. Точно боялась, что, если все окажутся чистыми, ей делать будет нечего. Заставила меня раздеться, вывернула мою рубашку, холодными как лёд пальцами – отсохнуть бы им! – нетерпеливо принялась искать. В самую последнюю минуту, когда мне показалось уже, что наконец-то оставит она меня в покое, рука её дрогнула... Меня точно ножом полоснули. Я ощутил радость её руки: будто забросила она крючок – и рыбка клюнула. Я отвернулся, почувствовал, как взгляд её жжёт мне спину, жжёт, а?

– Ха-ха-ха!

– Взвизгнула она пронзительно и сунула добычу свою директору школы – под самый нос. И он, всем на удивление, отшатнулся, вытянул шею – головой чуть не ткнулся в потолок.

– Поздравлял её! Поздравлял ведь, а? Ха-ха-ха!

– Потом она обернулась и ткнула его под нос мне. А он, паразит этот, лежал недвижно на кончике сложенных её пальцев, такой махонький... Только при очень остром зрении заметить его можно было... такой красненький.

– Красненький? Ха-ха-ха!

– Я только мельком и успел на него взглянуть, она тут же отправилась показывать свою добычу – каждому встречному, и учителям, и ученикам. Чтоб ей провалиться в преисподнюю!

– Айт, чтоб она провалилась! Ха-ха-ха!

– И что удивительно: те, у которых раньше находили по десятку таких же, теперь, как только она показывала близко этого, кривлялись и шарахались назад. А задние тянулись на носках вперёд, сгорали от нетерпения взглянуть, хоть краешком глаза увидеть – будто доисторическое ископаемое.

– Так больше тебя и не пустили посмотреть? – спросил Тырма. В голосе его слышалось недосказанное: «Этот паразит – он ведь твоя собственность. Кто дал им право распоряжаться?»

– Нет.

Паразита ему больше не показали, зато на него самого нагляделись досыта.

В этот день он навсегда распрощался со школой. Пастухи посмеялись ещё, перебросились раз-другой словом и угомонились.

Дрова в очаге догорали; хотя пламя уже было не такое сильное, угли по-прежнему дышали жаром.

Мыку опять вдруг почувствовал, что рядом с ним пустота – место, оставленное словно бы погибшим другом. Тоска подкрадывалась, отделяла его от тех, что сидели рядом у огня.

– Как-то весной, перед тем как нам подниматься в горы, – начал Хаджадлы, воспользовавшись затишьем, – в сельсовет приехал какой-то говорун из города, повёл речь о том, что Бога, мол, нет и так далее...

Злоключения того школьного дня повлияли на всю будущую жизнь Мыку, все его пути-дороги смешались, сместились. В учёбе он прежде не отставал от товарищей, но после этого случая остыл, сник, перестал ходить в школу.

– И когда я услышал его самоуверенный разговор, точно ему всё ведомо, что над нами и что под нами, – продолжал Хаджадлы, не меняя позы охотника, выслеживающего зайца, – я не выдержал... и, клянусь прахом сестры, тут же решил: ты у меня сегодня проклянёшь день, когда родился!

Мыку иногда рассказывал об этом в шутку – но только тем, кто не был тогда в классе; если же присутствовал кто-нибудь из свидетелей злополучного события, он молчал. Вообще-то, конечно, никто, кроме него, о случае этом уже и не вспоминал. Подумаешь, беда, нашли какого-то маленького, красненького. Просто сам он, Мыку, очень самолюбивым оказался.

Как бы там ни было, ему этих воспоминаний хватило надолго. И всякий раз, когда он об этом вспоминал, возникало чувство одиночества, тоски.

Будущее, о котором мечтал, которое ожидалось, хранило столько радостных тайн, оказалось вдруг до того мелководным – камушки можно было сосчитать на его дне.

– ...И стал я донимать его вопросами, – продолжал Хаджадлы, –почему это, скажем, солнце встаёт слева, а заходит справа? Тот мне отвечает, что, мол, хребет тут виноват, горы, то есть... Решил обмануть меня, клянусь прахом сестры! «И вы сможете добраться до солнца?» – спрашиваю я его. «Доберёмся». – отвечает. «Нет, не сможете, спалит оно вас! То-то!..»

...Теперь самая пора спуститься с гор, лучше бы не задерживаться. И быть может, лучше ему не подниматься больше сюда. Всегда ему здесь не по себе делается.

Когда он впервые поднялся в горы, красота их ослепила. Он не знал, на что смотреть, всё восхищало, завораживало. Такого он никогда не видел, не дарила ему судьба. «Может, это потому, что я не был прежде в горах, жизнь моя казалась мне ненаполненной?» – подумал он тогда. Точно такой же подъём он испытал, когда впервые увидел море, когда с вершины холма открылась ему морская синь, берег, залитый солнцем. И позже, когда он спустился к набережной и увидел людей, отдыхающих в тени полотняных зонтов, за мраморными столиками, лакомящихся мороженым. Молодые женщины, девушки, их нежные загорелые тела. Он не знал, куда спрятать свои шершавые, потрескавшиеся руки. Они здесь казались ему слишком большими, грубыми, тяжёлыми. И когда он положил их на мраморный столик, они были как булыжники.

В тот раз, когда он смотрел на этих холеных женщин, на красивых девушек, ему лезли назойливо в голову слишком откровенные, интимные мысли и сравнения, их невозможно было высказать вслух. Он ненавидел себя за это, но мысли и желания не оставляли его, были сильнее.

Первое время, когда поднялся в горы, он полностью был во власти их первозданной красоты – наглядеться не мог на прозрачные горные потоки, на сверкающие под солнцем ледники и вечные снега, синие реки, пьянел от аромата цветов.

Но вся эта высокая красота заставляла испытывать ещё и страх, страх какой-то необычный, сладкий и неотвязный. Здесь настолько всё было совершенно и прекрасно, что, казалось, человеку здесь нет места: невозможно притронуться к этому совершенству, ступить ногой, не говоря уже о том, чтобы вмешаться во что-то, изменить, переиначить по-своему; оставалось только созерцать и тихо-тихо умирать: растворяться...

Но со временем он перестал замечать окружающее великолепие. Скотина всюду оставляла свой след, унавоживала пастбища, вытаптывала высокие травы горных лугов, вытканных цветами. Привык.

Но привык или там не привык, а времени на раздумья, на размышления оставалось слишком много; когда стадо пасётся на горных лугах, на приволье, беспокоиться почти не о чем. Мысли, мысли... Когда они всё те же изо дня в день, они надоедают, словно примитивная пища, которой приходится довольствоваться всё это время за неимением лучшего. Начинаешь ощущать их запах, от них возникает неприятный привкус во рту, чувствуешь, как портится аппетит. Теперь мысли его блуждали между тем временем, когда он впервые поднялся в горы и ходил опьянённый их величием, и нынешними днями, когда ему всё уже сделалось безразличным. Привык. Куда она уходит, куда девается – радость общения с красотой?

– «А до Луны доберётесь?» – спрашиваю я его, продолжал Хаджадлы, хотя его никто не слушал. «Не только доберёмся, – говорит, – люди будут жить там».

…Да, наверное, так лучше будет – не подниматься больше в горы. И не только для него одного – жене его, не занятой никакими другими делами, трудно одной оставаться в пустом доме. Ни детей, ни других забот –только хозяйство. Он не скучал по жене, не было с ним такого, но иногда он её жалел. Она же и на жалость человеческую не была способна, ни на что не была способна. Иногда она повторяла, что дом – это прорва, сколько ни делай, ничего не видно.

Дом – прорва, пропасть. Что ж, должно быть, верно. Похоже, люди сами себе в утешение придумали и эту самую любовь. Недаром ведь говорят, что сын лгуна от радости помер... наслушался. Чем только не тешит себя человек. Когда-то говорили, что тому, кто мучается на этом свете, на том уготовлен рай. И чем больше страдания здесь, тем больше надежды на рай.

– «Нет, дети мои, на Луне жизнь не построите, – так ответил я ему, – нанизывал слово за словом Хаджадлы, – разве добудете там строительный материал? Если бы там леса росли, говорю, то и отсюда, с Земли, можно

было бы их увидеть. Клянусь прахом сестры». А лектор этот приезжий, он сначала вроде насмешничал, но потом уже не мог возразить, замолчал, как жернов, скованный льдом. Я сразу это заметил!

Хаджадлы, словно увидев наконец зайца, которого так долго выслеживал, выпрямился, желая узнать, какое впечатление произвёл на окружающих его рассказ. Огненные зайчики, плясавшие на его лысине, как только он выпрямился, сбежали с неё, но часть их задержалась в зрачках. Он поднял глаза, в которых мерцали в темноте отражённые эти огоньки, словно свечи зажжены были, и обвёл всех взглядом. Убедившись, что его никто не слушал, он снова опустил голову на грудь и задремал. В эту минуту он походил на одряхлевшего орла, крылья которого чувствуют тяжесть всех двухсот прожитых лет.

Любовь и вправду, наверное, сам человек придумал себе же в утешение. Перед тем случаем, после которого Мыку ушёл из школы, в соседнем классе появилась новая девочка, переехала откуда-то. Перед Новым годом в школе был праздник, он увидел там её – и больше не видел уже ничего: ни выступавших на сцене, ни товарищей своих. Только на неё и смотрел... Из широкого белого воротника праздничного платья выглядывала нежная шея. Следил, куда она поглядит, чему обрадуется, улыбнётся, на что обратит внимание. От нервного напряжения у него закружилась голова, и он вышел на улицу.

Домой он вернулся совершенно измученный и долго не мог заснуть, сладко и протяжно замирало сердце.

И вот немного спустя с ним и приключилась та гадкая история. Даже вспоминать тяжело об этом: всякий раз, когда ведьма в белом халате поворачивала его то в одну, то в другую сторону, он чувствовал, что она видит его, смотрит застывшими глазами – та, что стояла словно бы отдельно от всех, с белым воротником вокруг нежной шеи. Ростом она не была выше других ребят, но в этой массе, сгрудившейся вокруг него, – удивительно – стоило ему поднять взгляд, как он видел её, только её.

Неожиданно сильный порыв ветра так качнул балаган, что показалось – унесёт его словно пушинку. С ветром долетел, послышался явственно хриплый шум потока. Пастухи насторожились.

Мыку подумал, что ненастье, гроза с ветром – нежелательны, конечно, лучше бы их стороной пронесло. Но вот если бы что-нибудь случилось, происшествие какое-нибудь, – помогло бы скоротать ночь...

Ночь в горах тянется томительно долго, время, кажется, замирает. И ты, утомлённый желанием сделать её покороче, заставить время проснуться и шагнуть к рассвету, засыпаешь наконец, и тогда ночь всей своей тяжестью наваливается на грудь.

И снова, даже и во сне преследует это ощущение: рядом – пусто... был рядом друг, близкий человек – и не стало.

В школе у Мыку был друг.

Шла война, и оба мечтали об одном – попасть на фронт. Тайком от родных обращались в военкомат, но, конечно, ничего у них не вышло, мальчишки ещё были.

После войны родители товарища неизвестно каким образом (сделать это тогда не так-то просто было – из села попасть в город, устроиться на работу, приобрести нужные документы, прописаться) – родители товарища устроили своего отпрыска продавцом в продуктовую палатку. Потом Мыку узнал, что друг его работает буфетчиком в ресторане. Прошло время, Мыку соскучился по другу, решил проведать его. И что же? Стройный когда-то паренёк возмужал, отяжелел, оплыл даже, можно сказать.

В честь приезда Мыку он собрал новых своих приятелей, накрыли стол. Мыку диву давался, как много они ели – только и успевали им подносить. С такой жадностью поглощали пищу, так торопливо и неосторожно, что на белых их рубашках вскоре заблестели капельки жира. Сперва уписывали жареное мясо, потом вареное. Ели так, словно боялись: как бы у них не отобрали то, что на столе, как будто известно им стало, что наутро их ожидают война и голод.

После жирного мяса запихивали в рот куски лаваша – нетерпеливо разрывали его руками. Красные головки редиса таяли в их пасти, словно сахарные, разнообразные травы и головки лука тут же отправлялись следом.

Мыку чуть не стошнило – не мог видеть, как поглощают такое количество жира.

«Молодой человек должен съедать в один присест столько, сколько способна поднять его правая рука! – от времени возглашал его товарищ. – Хорошо, как следует проявить себя за столом – в этом достоинство мужчины. Помнишь, как мальчишками мы вечно ходили голодные – слюнки текли при виде пищи. Помнишь оскомину от кислицы, от диких горьких лесных груш?»

Когда он вспоминал об этом, товарищ его школьный, в глазах его мелькал страх.

Мыку вернулся в село в тот же день, не стал задерживаться, вернулся расстроенный и опустошённый. И после поездки этой перестал говорить о бывшем своем друге. Через два года он узнал, что друг его скоропостижно скончался.

Случилось это вечером – человек вернулся домой, в богатую свою кооперативную квартиру, после очередной сытой гулянки, и решил понежиться в ванне. И тут, словно детский игрушечный шар, надутый слишком старательно неразумным владельцем, лопнуло его сердце.

Говоря по правде, это большое несчастье – умереть в ванне. Когда рядом шумит море, когда село твоё пересекает серебристая, быстрая, говорливая река. Такой страшной смерти даже в проклятиях нет.

В день похорон Мыку приехал в город – проводить друга в последний путь. Он не плакал. Этот покойник, с раздувшимся, как у утопленника, животом, с почерневшим искажённым лицом, лежавший в лакированном дорогом гробу, был совершенно чужим... никогда не был близким. В траурной толпе ему встречались люди, с которыми он однажды сидел за

столом, которые широко пользовались гостеприимством его бывшего друга… Сколько они ели тогда! И сейчас, в день похорон, они первыми сели за поминальную трапезу. Подходили к Мыку, делали вид, что едва сдерживают слёзы, и в то же время не забывали пропустить стаканчик-другой, и при этом ещё говорили что-то невнятное – вроде бы за упокой души пили. После каждого стакана жадно набрасывались на еду – он сразу вспомнил прежнее застолье; опять они словно боялись, что отберёт у них кто-то кусок, вырвет изо рта.

Ели: лаваш, разнообразные соленья, редиску, зелёный лук, фасоль, заправленную и не заправленную орехами, рыбу под ореховым соусом...

Пили белое вино: во всю ширину стола расставлены были бутылки, заткнутые лавровыми листиками.

– Ясно... оттуда привезли, – таинственно сообщали едоки друг другу, упорно не открывая, что же означает «оттуда».

– Состряпано, но здорово, славно...

– Виноградного в нём, наверное, и капли нет, но всё же – оттуда. А там умеют делать...

– Крепкое...

– А чего ещё надо...

– И покойник такой, что заслуживает, и близкие его – молодцы, всё как полагается, со всеми необходимыми почестями провожают в последний путь, хорошо себя показали.

– А товарищи одни сколько сделали. Не пожалели...

– Вот это я понимаю, вот что значит – настоящие друзья.

Мыку как сел за стол, так, ни к чему не притронувшись, и поднялся – ушёл, не дожидаясь завершения похоронного обряда. Могилы он не видел. В село вернулся засветло, пока солнце ещё было живое.

Перейдя через мост, он не к дому своему направился – пошёл вдоль берега реки. В этих местах когда-то, давным-давно, они с бывшим другом вместе любили бродить, купаться в запрудах, загорать на песчаных мелях. И тут он не мог больше удержать слёзы. Но оплакивал он сейчас не того, чужого, не покойника со вздувшимся, как у утопленника, животом, выпиравшим из гроба. Он оплакивал худенького, не всегда сытого паренька с просвечивающими ушами, хорошего своего товарища.

Пламя в очаге словно сжалось, маленьким сделалось – прыгали язычки в поисках новой пищи и не находили её. Ветер усилился, иногда перекрывал шум потока, словно пил его, захлёбываясь, но не мог совладать, поток словно бы застревал у него в горле и с рёвом вырывался на волю.

Пастухи сидели тихо. Не то чтобы задумались о чём-то глубоко – просто каждый ушёл в себя. Смотрели на то, что было перед глазами, прислушивались к ветру, к потоку – к бесконечной их игре. И старый, и кто помоложе, и женатый, и холостой, и простой пастух, и заведующий – все в такие минуты становились равными. Витали все где-то, как бы вне обычного течения жизни, но позовёт какое-нибудь дело, стоит раздаться слову и

опускались все на землю: пастух становился пастухом, отец – отцом, старший – старшим. Так и в жизни. Плывёт человек в обычном своём русле – и знать он должен при этом, к какому берегу собирается пристать. Только чем больше он продвигается вперёд, тем дальше отодвигается берег. И вот иногда позволяет, даёт себе человек передышку, ложится на спину, вытягивается привольно и смотрит в небо. В такие минуты он забывает обо всём. И о береге, к которому плыл, – тоже. Однако ненадолго, очень ненадолго...

Новый порыв ветра, набежавший от ручья, всколыхнул пастуший балаган – точно тонкую рубаху продул насквозь.

И тех, что сидели молча у очага, отдавшись течению своих мыслей, словно течению реки, сердитый этот порыв ветра вернул к действительности – к спуску с гор, к перегону стада в долину, к тоске по дому, к заботам и тревогам сегодняшней ночи.

Мыку, испугавшись, что пастухи начнут укладываться и тогда совсем уж одному придётся коротать время, решил их отвлечь.

– Тырма, заклинаю тебя верой твоей, расскажи, как ты в церкви божью матерь вразумлял!

– А-а... – вроде бы простонал Хаджадлы. – Да не покарает тебя Господь! Молод ты был, если даже и сказал что – по неразумию своему.

– Чего там – покарает, – рассердился Тырма, и шрам на его щеке вспыхнул. – Если даже он и способен наказывать – есть много таких, которыми прежде меня следует заняться. А я – что...

– На тех-то он как раз не гневается, а вот тебя накажет, – смеясь, поддел Мыку.

Давно это было, лет двадцать с лишком назад. Однажды Хаджадлы, Тырма и он, Мыку, возвращались вместе с похорон. И едва поравнялись они с Мыкуской церковью – уже в родном своём селе, – как настиг их ливень. Что было делать – поспешили укрыться под сводами церкви.

Оттуда сквозь сплошную стену ливня Мыку и увидел реку Мыку – над ней словно туман повис, такой дождь был. Тогда он впервые сообразил, что имя ему дали – по названию реки. Или наоборот – реку назвали в его честь.

Даже посмеялся про себя, подумав такое.

А ведь и вправду: есть же люди, именами которых называют – ну, если и не реки, так города, улицы, корабли...

Река Мыку неслась сейчас, под ливнем, особенно стремительно.

Неслась, вбирая в себя ливень, вбирая в себя жизнь миллионов капель, – они превращались в реку.

Он видел, что река очень спешит, гривастые волны, рвавшие её поверхность, неслись, точно взмыленные, усталые кони.

Куда она так спешила, река?

Дождь лил как из ведра. Вода, струями стекавшая с крыши, мутным потоком неслась куда-то по зелёной траве у стены церкви.

Жизнь – это движение, и у каждого своя дорога. Одному – путь покороче, совсем близко ему до цели, другому – подальше, а третьему – его дороге нет конца.

Долго течёт, долго живёт, долго шумит река. Но быстро заканчивают свой путь, недолго живут ручьи, которые вливаются в неё. Бегут, торопятся ливневые потоки, вобравшие в себя жизнь бесчисленного множества капель... пройдёт, промчится жизнь одних капель, а за ней спешит другая, миллионы других жизней, и так проходят они, сменяют одна другую, спешат – потому что за ними идут новые, а за новыми – не родившиеся ещё – те капли, которым не терпится родиться.

Да и сам Мыку – что он такое, как не капля в безбрежной, бездонной реке жизни, капля, прожившая уже значительную часть отведённого ей века.

Ливень отшумел – снова выглянуло солнце. Хаджадлы заявил, что, не помолившись у иконы Божьей матери, он дальше не пойдёт. Ему, мол, кое-что надо ей сообщить.

– А как же, у меня было что ей сказать.

– Что нам оставалось делать? – продолжал Мыку. – Нашли сторожа и кое-как уговорили его открыть нам церковь.

– С древних времён, с давней той поры, когда род наш был многочислен, могуществен, известен по всей Абхазии, молились мои предки, приносили жертвы Мыкуской Богоматери... это была наша икона, наша святыня, охраняла нас, покровительствовала...

– Как бы не так... могуществен. Когда этот ваш род был таким? – пробормотал Тырма. – Чтоб тебя эта Богоматерь...

– Лик Божьей матери едва можно было различить, икона старая была, потемнела, но – удивительно – сохранилась более или менее та её часть, где богоматерь кормит грудного ребёнка...

– Есе Кристе (Иисус Христос), – сказал Хаджадлы, тяжело подняв правую руку, но почему-то не решился перекреститься. – Есе Кристе...

– Порази он твою бесшабашную голову, – вставил Тырма.

...Хаджадлы тут же бухнулся на колени и давай молиться перед неразличимым почти ликом Богоматери. – А как же ещё... Есе Кристе... Есе Кристе! – оправдывался Хаджадлы.

– А Тырма – он уже тогда злой был – поглядел на Богоматерь, на ту, значит, часть иконы, где видно хорошо, – и кричит: «Посмотрел бы я, как бы ты спокойно так сидела со своим ребёнком, если б у тебя, как у моей жены, молоко перегорело в груди!»

Все засмеялись.

– Вам-то что, смешно, конечно, а у жены дети плохо грудь брали. Полжизни из-за этого потеряли!

– Ну да, у одного жена упала, ушиблась, так он кричал, что все женщины покалечились, – добавил Мыку.

Нехотя посмеялись.

– Некоторые есть, никаких трудностей в жизни не видели, дети их не мучили, да и взрослые тоже. Ты... – всё клокотало в Тырме, когда он

повернулся к Мыку, – ты каждую ночь спокойно спал, ни детей у тебя, ни больных. Так вот некоторые счастливчиками и живёте!

– Да, Тырма, да. А ты, должно быть, и к мёртвому ко мне будешь предъявлять претензии: дескать, отдохнуть решил!

– Ну, это ещё ничего... А вот когда ему сказали, что реку эту назвали Мыку после рождения нашего Мыку, в его честь, Тырма тут же поверил и после всю дорогу ворчал, никак не могли его успокоить. Вот, мол, одни не успеют родиться, как им начинают угождать. Всего добиваются от людей, чего хотят, – вспомнил смешное и Хаджадлы.

...Когда они вышли из церкви, Мыку снова посмотрел на реку. Словно большая опустевшая дорога, мутная после дождя, в желтоватых пятнах от солнечных лучей, река тянулась меж зелёных холмов, умытых дождём. Солнце бросало в разрывы туч снопы сияющих лучей, и дымок сельских очагов мирно тянулся жёлтыми полосками через небесную синь – там, где небо уже очистилось от туч. Эта картина почему-то навсегда врезалась в память. Многое пришлось ему повидать в жизни, и многое забылось, а это нет.

И сейчас, когда вспоминает он тот день, рождается в нём желание поскорее спуститься с гор в родное село.

Разговоры опять притихли. Хаджадлы задремал.

И у Тырмы шрам на щеке поблек, успокоился Тырма. Брови заведующего фермой беспомощно легли на переносицу.

Спать, спать...

...Выгнать стадо, загнать... еда, доение коз, огромной массы коз, у большинства из которых соски маленькие, как у кошки, выжимать оттуда капля за каплей всё... потом спать. И на следующий день всё сначала, всё то же... всё то же... без конца. Дни и ночи без событий, одинаковые, как близнецы. Уйдёт день – не дождёшься, когда вернётся, а наступит – и не кончается. Когда что-нибудь случается, все спешат, бегут – не успеешь даже обернуться. Но ничего не случается.

Никто не уходит, никто не приходит... Ночь продолжалась.

Кто знает, может быть, безрогая коза где-нибудь неподалёку устроилась. На таком холодном ветру, пожалуй, козлёнок замёрзнет. Надо бы его сюда, в тепло забрать.

Мыку не сиделось что-то.

Он поднялся, направился к выходу.

– Погляди на скотину, – сказал вслед заведующий фермой.

– А ну-ка, ребята! Давайте, давайте, ребята! – посмеялся вслед Тырма.

Едва Мыку вышел наружу, – будто нарочно, подбежали с лаем собаки.

В балагане послышался смех.

– Надо же, над другими издевался – а тут на самого собаки набросились!

– Что это наши собаки, с ума сходят, что ли, – всё им мерещится... – ответил Мыку примирительно.

Собаки, точно устыдившись, замолчали, помахивая хвостами, отошли в сторону.

Ветер посуше вроде сделался и не такой холодный. Ночь немного посветлела. Вершин по-прежнему не различить было, но склоны смутно вырисовывались в темноте. Мыку поднял голову и посмотрел на небо. В просвете среди туч мигали звёзды. Может, и обойдётся этой ночью без ненастья.

Когда Мыку пошёл посмотреть на стадо, собаки затрусили следом. Козы успокоились уже, устроились на ночлег.

Чем ближе он подходил к загону, тем резче бил в нос запах навоза. Потом он стал различать ещё и запах прокисшего молока – его проливали на землю во время дойки.

Козы, почувствовав приближение собак, забеспокоились.

– Хоо-хооу! – прикрикнул успокаивающе Мыку.

Гора Красивая – так называлось место, где расположились станом пастухи.

Его встретили круторогие козлы – вожаки стада. Один из них, не выдержав, выставил угрожающе рога, двинулся вперёд. Собаки на дурость вожака не обратили внимания, отошли в сторону, но он всё же задел одну острым рогом – и та заскулила: глупый козёл, глупый козёл... когда б не мы, волки тебя загрызли бы!

А козлы в свою очередь, выставив рога: не упрекайте нас, не упрекайте... охраняйте нас, за это мы вас кормим. Отойди, собака, держись подальше, козья порода твоего духу не переносит. От вас зверём пахнет, вы чужие. Козы, увидев вас, пугаются. Это мы, вожаки, одни только способны успокоить их, сохранить порядок в стаде... не мешайте нам. Ваша забота – другое. Вы не потому нас стережёте, что жить без нас не можете, только лишь назло врагам – зверью, которому вы изменили.

Собаки, сердито пофыркивая, следовали за Мыку, держась в стороне от коз: глупые, если б вы знали, чего мы стоим, смотрели бы на нас иначе. Но для этого надо иметь голову – вы же обыкновенные козы. Поэтому прощаем вам.

А козлы-вожаки: ...и тем, у кого меньше вашего заслуг перед нами, и тем подавали сыворотку. Посторонитесь, посторонитесь. Ваша забота – иная... не переносим вашего духа...

Собак душила злоба: да прожить вам до конца ваших дней в вечном страхе! Вы и созданы для страха, бойтесь, бойтесь!..

Безрогую козу он так и не нашёл.

Она любит держаться отдельно. А может, устроилась с козлёнком где-нибудь под прикрытием большого камня или скалы.

Он опять остановился и посмотрел на небо: просвет среди туч, который он видел прежде, ему показалось, увеличился. Может, и отодвинется непогода. Ладно, пусть козлёнок побудет пока здесь, да и матку жаль, какая-то она несчастная.

Ветер всё не унимался. Доносил шум потока и, оттолкнувшись от скалистых склонов, увлекал шум с собой дальше куда-то за хребты, растворял его в темноте, в бездне.

Вдруг Мыку послышалось, будто какие-то звуки необычные... ну да, голоса донеслись до него.

На том берегу ручья выше по течению он увидел мигающий, будто светлячок, слабый огонёк.

Пригляделся.

Огонёк, подрагивая, прыгая из стороны в сторону, поспешно спускался вдоль ручья. И собаки заметили уже его–- будто только того и ждали, с визгом ринулись навстречу.

– Назад, назад!

Мыку кинулся следом.

– Назад, назад!

Когда он приблизился к огоньку, тот уже остановился. Собаки не решались броситься, кружили недалеко, заливаясь злобным лаем: если вам дороги ваши головы, ни с места!

Отогнав собак, Мыку подошёл вплотную и увидел, что перед ним не один человек – трое.

– Встречайте гостей, – объявил Мыку, став у входа в балаган.

Пастухи засмеялись было:

– А ну-ка, ребята, ну-ка...

– Давайте, ребята, давайте...

Мыку уступил дорогу пришедшим с ним, и они вошли внутрь палатки. Их было трое: двое мужчин и одна девушка.

– Примите у них вещи.

Мыку словно забыл о том, что сам может взять у гостей их поклажу.

– Давайте, давайте, ребята... – повторил заведующий фермой, ещё не разобравшись в том, что происходит. Брови его при этом беспомощно сползли со лба, повисли на переносице. И все остальные растерялись: как поднялись, так и остались стоять на месте.

Мыку сам принял у гостей вещи, поставил в угол и взглядом показал остальным, чтобы освободили место у огня.

– Вам, может быть, нужно что-нибудь? – он снова подошёл к гостям – все трое стояли, словно бы не решаясь сесть. Тот, что помоложе, показал на девушку: – Она поскользнулась, когда мы переходили ручей, вымокла...

Только теперь Мыку обратил на неё внимание. Даже при слабом свете костра видно было, что она совсем юная и что лицо у неё нежное и красивое. Она взглянула на Мыку – он увидел большие сияющие глаза.

– Идёмте со мной, переоденетесь в палатке, – сказал он и пошёл впереди, показывая дорогу.

Возле своей палатки Мыку передал фонарь парню, а сам отошёл в сторону.

В палатке вполголоса говорили о чём-то, временами слышался смех девушки.

Удивительно – лица мужчин он запомнил с первого взгляда, а образ девушки промелькнул и исчез, ускользнул, точно видел он отражение на зыбкой поверхности воды, тут же поглощённое, стёртое набежавшей волной.

В палатке парень и девушка оставались недолго. Когда Мыку вернулся с ними в балаган, пастухи опять все поднялись – приветствовали гостей.

– Садитесь, садитесь, пожалуйста...

Наконец все устроились у очага. Девушка то краснела, то бледнела, казалось, глаза боится поднять, посмотреть на хозяев. Конечно – пастухи разглядывали её, будто им показали румяное игрушечное яблочко, удивительно похожее на настоящее.

Мыку не раз слышал от других пастухов, тех, что держали свои стада ближе к перевалам, что частенько заглядывали к ним туристы, – если ночь заставала в дороге. Иногда, если много их бывало, даже надоедали пастухам.

Эта же их стоянка была далеко от перевала и вообще от любых дорог. К ним мог добраться только тот, кто специально шёл именно сюда, – если с лесом сравнить, расположились они в самой чаще, в дебрях.

Ночные их гости, видно, просто заблудились.

Хаджадлы расспрашивал пришедших. Слово за слово – гости и хозяева постепенно разговорились, перестали стесняться друг друга. Пришедшие рассказывали интересно, нельзя было не слушать. Разговор вёл старший из мужчин (они оказались братьями, а девушка – женой младшего), брат поддерживал его, а девушка дополняла, украшала беседу короткими замечаниями или улыбкой.

Мыку понравились все трое.

Старший рассказывал о своих впечатлениях. О хребтах, о вершинах и скалах говорил как о природных величественных замках, о ледниках – как о мраморной облицовке вершин... вспоминал об озёрах, в которых можно утопить многоэтажный дом, о водопадах, об альпийских лугах, пестреющих цветами, будто ухоженные парки.

Всё это время, пока говорил старший, младший, как и молодая его жена, то краснел, то бледнел, – будто чужие люди дознались, что у него есть сокровенная тайна, тщательно оберегаемая от постороннего глаза, о которой сам он не осмеливался говорить вслух, – и вот сейчас её вынесли на общее суждение. И если брат его на минутку останавливался, он торопливо добавлял одно-два тщательно отобранных слова, будто надеясь восстановить свои права на утраченную собственность.

Он был художник и понимал, что словами нельзя выразить впечатление от того, что увидел здесь.

К тому, что говорил брат, он добавлял своё: его поразило, как быстро меняют ледники свой облик: то они белые-пребелые, будто только что снятый сыр, и кажутся мягкими, а то темнеют и даже чёрными становятся, иногда же похожи на густые соляные отложения на древних скелетах гор.

– Ледники, вечные снега, потоки, озёра – они как чистая нетронутая бумага. А небо и горы рисуют, наносят на неё что им вздумается... – вставила девушка, заливаясь краской.

Для пастухов её слова были как яркие, пылающие красками цветы на зелёном лугу разговора.

Когда над хребтами занимается заря, кажется, что не вершины гор, а острые багровые языки пламени врезаются в небо, прожигают его... а на перевалах, где много свету, ледники из тёмных делаются густо-розовыми.

Потоки – детство рек...

Пастухи сидели молча – из уважения к рассказчикам – и делали вид, что слушают их внимательно и заинтересованно.

Мыку, кто знает почему, вспомнились безводные высохшие русла изменчивых горных рек. Трава в таких местах сочная, скотина любит её.

Потоки, что несли свои воды мимо прежних своих русел, ни во сне, ни наяву не вспоминали эти старые свои дороги, поймы, жаждущие теперь влаги. Потому что та вода, которая зналась с этими руслами, была им близка, давно умчалась, ушла навсегда...

Мыку почувствовал, что к горлу подступает, сдавливает, мешает дышать что-то похожее на давнюю затаённую обиду.

Всё, о чём они рассуждали, счастливые эти люди, почему-то стало его злить. И на всё, что они говорили, он мысленно отвечал резко и обидно, отвечал словами, которые он всегда глушил в себе, сжигал, растворял в горле, пока не успели они вырваться, разомкнув стиснутые челюсти.

Мальчиком, и даже юношей, когда он смотрел на дальние хребты, ему казалось, что небо, подобно горным потокам, рождается в трещинах ледников, а потом несётся, синее-синее, над землёй к морю – и вливается в него.

Так ему виделось и тогда, когда он впервые поднялся в горы.

Небо – это всего лишь небо. Ночью всматриваешься в него: есть звёзды – быть завтра погоде. Начинаешь думать о том, где завтра лучше пасти стадо. А если собрался на ночь глядя в путь-дорогу, ищешь в небе луну, ждёшь, чтобы осветила дорогу. Днём на то внимание обращаешь, высоко ли стоит солнце, – определяешь по нему, когда выгнать стадо, когда повернуть обратно. А если в поле работаешь или на огороде – тоже на солнце посматриваешь, но уже с нетерпением, ждёшь, когда наступит полдень и можно будет наконец передохнуть.

Горы, скалы... Камень есть камень, всего-то и пользы, что травой зарастает, на этих лугах скот пасти можно.

Ледники, вечные снега... Прошлым летом случилось – Джамфер отстал от головного стада, решил выйти к нему напрямик, сокращая путь. Пошёл по леднику, по слежавшемуся старому снегу – а ледник вдруг трещину дал, как раз посередине, и в пропасть... а вместе с ним и Джамфер, несчастный. Даже косточек не нашли. Умер бы спокойно, в своей постели – похоронили бы в тёплой мягкой земле. Разве это была бы смерть – так, сон бесконечный. Проклятый Богом, несчастный Джамфер...

– Простите, но откуда вы и куда путь держите? – неожиданно перебил гостей Хаджадлы, до того слушавший их с открытым ртом. Теперь казалось, хотел – вроде как того лектора, о котором сам недавно рассказывал, – хотел словно бы уличить гостей в чём-то.

Пастухи переглянулись, завидуя находчивости и смелости Хаджадлы.

– Я был в Адзгаре, собирался отдохнуть, побродить по горам, поохотиться, да вот они пожаловали. Говорят – хотим посмотреть горы. Что было делать – взял их с собой, – ответил старший.

Он был инженер, строил дома. Младший окончил только что институт – был художник, молодая его жена – тоже.

«Что ж он её по горам-то мотает – дурачина, медовый месяц – среди камней да скал...»

Что-то сейчас Мыку ничего хорошего не приходило в голову. Сам не хотел, но не мог совладать с собой. Какой-то был опрокинутый, в такие минуты не мог переносить себя.

Только теперь Мыку заметил, что так и не сел, единственный продолжает стоять.

Он поспешно опустился рядом с гостями. А то ещё обратят пастухи внимание на его нерешительность – обязательно насмехаться начнут, как у них заведено, а Мыку может не сдержаться, ляпнет что-нибудь.

– Я много раз бывал в горах, – заговорил старший из братьев, – знал отдельные хребты и вершины, но теперь знаю и тропы, связывающие их.

– Дорога, должно быть, трудна была для вас? – вставил Хаджадлы, словно стараясь хоть как-то смутить гостей.

– Какая уж там дорога! Искали, где можно без опаски ногой ступить. Я виноват – их измотал и сам намучился.

– Нет, а мы готовы уставать так каждый день, мы не против такой усталости! – признался младший, художник.

«С мотыгой бы тебе в руках – в самый жгучий полдень да поработать в поле, тогда по-другому бы запел...»

– А я за всю свою жизнь не видела ничего подобного... ничего, что может сравниться красотой с тем, что я увидела здесь за этот месяц, – сказала девушка искренне.

Мыку обратил внимание на её руки, спокойно лежавшие на коленях, – были они не только красивые, но и сильные.

Должно быть, крепкая, хоть и тоненькая, – раз так рассуждает, ведь целый день бродили по голым скалам.

«Посмотрел бы я, много ли румянца осталось бы на твоих щеках, если б ты стояла день и ночь над котлом с мамалыгой, а в остальное время мотыжила огород и поле под палящим солнцем...»

И тогда Мыку подумал, как бы выглядела его жена, если бы ей пришлось ходить по горам. Сколько он ни старался, не мог себе этого представить. Да и без того он вспоминал о ней, как о давно ушедшем из его жизни человеке. Напрасно силился представить её лицо, всё оно как-то расплывалось перед глазами, один только острый нос оставался торчать...

А аппетитная полная жена стряпуна?

Мыку посмотрел на стряпуна и увидел, что тот, облизывая свои жирные губы, наглыми глазами бесцеремонно разглядывает гостью.

«Словно сожрать её собирается!»

Заведующий, похоже, так ещё и не очнулся от дремоты – не хватало сил пустить в дело свои брови. Темыр – тот сидел довольный, улыбаясь краем губ самому себе. Мол, не с такими сиживал рядом в президиумах... Человек не умеет ценить хорошее, но своё, а вот за худшим да чужим – готов погнаться... Безусловно, так Темыр и рассуждал. Тырма казался ужасно злым, шрам раскраснелся и расплылся на всё лицо. Удивительно, чего это он так зол на них, точно этих гостей вырастили и выкормили хлебом из его амбара... точно всё, чем обделила природа его маленькое, с ложку, лицо, истрачено было на их красоту, на их румянец, словно их лёгкость, свобода и счастье тяжёлым грузом давили на него.

Только Хаджадлы чувствовал себя спокойно, прислушивался к каждому слову гостей, будто запоминал все ошибки в их рассказе, чтобы затем выступить и поправить.

Гора Красивая – так называлось место, где остановились пастухи со своими стадами.

Стряпун насмотрелся на гостью и успокоился – точно убедился наконец в том, что его полненькая жена лучше всех женщин на свете. Ничего не выражало теперь его плоское и круглое, лунообразное лицо. Единственное, что его беспокоило ещё, – это то, что гостей придётся покормить. Время от времени он лениво поглядывал в сторону выхода из балагана.

Может, оттого, что он слишком уж пристально рассматривал стряпуна, только было Мыку невыносимо душно от запаха прокисшего молока – шёл волной от разопревшей у огня одежды пастухов.

Гости, согревшись у огня, почувствовали наконец, до чего устали, расслабились, разговоры постепенно иссякли.

Старший из братьев, державшийся уверенно и с чувством собственного достоинства, размышлял о том, что отпуск заканчивается, пора на работу. Он получал от архитекторов готовые проекты домов и только направлял усилия строителей, находившихся под его начальством, на скорейшую сборку этих зданий. Все они были словно близнецы: некрасивые, неуютные, однако это его не волновало: он и тем доволен был, что в домах, которые возводились при его участии, поселялись люди. Это для него было важнее всего.

Младший брат, художник, беспокоился и томился. Величие и красота гор и обрадовали его, и напугали. Его мучило сейчас желание пересмотреть скорее все наброски, которые он сделал за этот месяц. И душа, и руки его жаждали работы, и в то же время он боялся. Он надеялся, что всё, увиденное им в горах и живущее уже в набросках, увидено им по-своему и не повторяет уже сказанного другими художниками, однако чувствовал ещё и другое: он не был хозяином всего, что сделано в искусстве до него, что он успел увидеть и изучить, – но не освоить, не переплавить с добавлением своего: своей

души, своего видения. Пока что заученное имело над ним такую власть, которая рождает только раба. Сумеет ли он прорваться к свободе, почувствовать, услышать настоящий запах грозы, её дыхание – как бы изнутри, а не только видеть и слышать её – со стороны? Увидит ли он, создаст ли вещи, в которые ему удастся вдохнуть жизнь?

Его пугало и другое: безразличное отношение к работе жены, которое он обнаружил в себе. Она ведь тоже художник. Но об этом он заставлял себя вспоминать. Он любит её – в этом он уверен, а больше ни в чём. Живопись её не была ему интересна.

И она боялась. Впереди семейная жизнь... Дети... Это всё, конечно, нужно и хорошо. Но она ведь художница... Задумавшись, предчувствуя будущие тяготы и неурядицы, она как бы уходила в свой отдельный мир, отключалась, переставала замечать окружающее. Поймав себя на этом, она ещё больше пугалась. Но стоило ей оглянуться, увидеть рядом мужа, почувствовать тепло его плеча, вспомнить, что она любит его и что сама она любима, что он талантливый художник, – и страхи рассеивались, она снова находила в себе силы жить.

– Да что ж это мы! Так и будем только смотреть на гостей! – неожиданно проснулся заведующий. Брови его переползли, поднялись с переносицы к середине лба.

–Действительно! – подражая интонациям заведующего, выкрикнул Тырма. – Что ж это мы! Давайте, ребята, давайте! – в словах его слышалась неприкрытая злоба.

Гости улыбнулись. Пастухи тоже сделали вид, что услышали смешное, однако никто не засмеялся.

Запах... вонь прокисшего молока казалась Мыку невыносимой. «Чтоб не износить им этой одежды!.. неужто трудно было постирать где-нибудь на речке?»

– А ну-ка, ребята, а ну-ка!

«Несчастный, когда злится, у него от лица почти ничего не остаётся – шрам во всю щеку...»

– Прекратите! – точно кнутом хлестнул заведующий и решительно поднялся. – Люди устали с дороги, утомлены...

Наконец-то проснулся окончательно, вспомнил о своей ответственности, взял бразды правления в свои руки.

– К нам... пожаловали... почтенные... гости... – медленно, с расстановкой произнёс Хаджадлы, как будто испытывал терпение собравшихся. – Не мешало бы заколоть что-нибудь из молодняка.

– Ни в коем случае, зачем же! – запротестовал старший из братьев. – Мы очень устали, нам бы только отдохнуть!

– У нас есть великолепный козлёнок, мы его и заколем! – стряпун плотоядно облизнул губы.

Все промолчали.

«Чтоб тебе подавиться им, обжора проклятый! Как только язык поворачивается!»

Мыку поднялся.

Тут уж вмешались гости, дружно стали просить не затевать никакого пиршества... если уж на то пошло, пусть лучше их покормят чем-нибудь из того, что уже есть готовое.

– Хорошо, в таком случае накорми их, – сказал стряпуну заведующий. – Сегодня так обойдёмся, а завтра видно будет.

Мыку почувствовал вдруг жалость и симпатию к этому человеку. Глаза у того сузились в доброй усмешке, и даже мохнатые непокорные брови не казались сейчас такими уж строгими.

– Давайте, давайте, – уже спокойно произнёс заведующий.

– А ну-ка, ребята, а ну-ка!

На Тырме совсем лица не было.

Мыку вышел первым, не дожидаясь даже и стряпуна. Тот поплелся за ним следом.

Стряпун ворчал в темноте:

– Кого только не занесёт сюда – то заблудившегося, то бездомного. Надо же нам было в этой глухомани застрять.

– Небось, когда о козлёнке говорил, сам губы облизывал, слюнки текли! – Мыку вплотную приблизился к нему. – Ты ещё раз посмей о нём заговорить, я тебе тогда покажу! Живьём готов его сожрать!

– Ладно, оставим на твои поминки, сохраним, – ответил стряпун не то чтобы резко, но с ехидцей. – Гости, прохожие, проходимцы всякие. Чтоб им пусто было!

Надо же, в каком проклятом месте застряли!

Гора Красивая – так называлось место, где расположились станом пастухи.

Уже кончали ужинать, когда старший из братьев спохватился, вскочил и, порывшись в одном из рюкзаков, достал украшенную яркой этикеткой бутылку с коньяком.

– Совсем позабыл!

– Нам бы самим надо было выставить что-нибудь спиртное, да у наших ребят разве что сохранится! – сразу же повеселел Хаджадлы – даже свою лысую голову выше стал держать. – Это, должно быть, что-нибудь особенное. Смотри, как посудина отделана!

Пастухи переглянулись. Знали про Хаджадлы, что не успокаивался, если было что-нибудь хмельное, – обязательно выпьет. Сам много не пил, но без одной-двух рюмок в день скучал, как кот без сала.

– Давайте, давайте, ребята! Налейте-ка всем, выпьем за здоровье друг друга! – оживлённо говорил Хаджадлы.

Мыку не сиделось что-то на месте, тяжесть непонятная давила.

Девушка была очень красивая. Но Мыку не мог бы объяснить словами, пересказать её красоту. Пока смотрел на неё, пока видел её лицо, верил, понимал, что она красива. Но стоило ему отвернуться – и образ её

расплывался, исчезал. Он подумал, что впервые в жизни видит такую красивую женщину.

А что вообще он видел в жизни?

«Для чего такая жена – разве что поставить её в красный угол да любоваться, словно куклой?»

Так думал Мыку. Ненавидел себя, но не мог сейчас думать иначе. Чувствовал, что словно бы земля не держит его, проваливается куда-то, и он ничем не может себе помочь, удержаться не может.

Красота. Что люди называют красотой, что имеют в виду? Слово-то есть, но ведь не значит оно ничего. Понятно, когда говорят, скажем, «рыжий» или там «кривой», но что означает слово «красота»? Ничего! Немое, ничего не говорящее слово!

Освещённая яркими огнями елка, игрушки, шары, вата на ветвях... Но та, с которой связаны эти воспоминания, она исчезла, нет её. Он видит, он помнит, где она стояла, – но её нет. Свет, исходящий от елки, раздвигает темноту, образуя жёлтое пустое пятно.

Свет, если нет ничего, если ничего не освещает, всего лишь пустое жёлтое пятно.

Точно так же ничего не означают эти сентиментальные, слащавые выражения – любовь, красота...

«Там, где нет глаз, не текут слёзы...»

Коньяка было не так уж много, но тосты не кончались.

Как всегда, всё как всегда.

И всё – об одном и том же. Только одни тянули, как Хаджадлы, растягивали слова, будто расплавленный сыр, другие, подобно стряпуну, – старались, давясь, скорее проглотить, скорее ощутить тепло этого напитка.

Сколько они ни крутили, как ни вертели, слова тостов, если вслушиваться, казавшиеся даже красивыми, на самом деле пустые были, безвкусные. Мыку хотелось встать и выйти на воздух.

В это время послышался лай собак, они дружно бросились к загону, к стаду.

– Пойдите-ка выгляните, – сказал заведующий, кивнув Мыку.

Он уже вошёл привычно в свою роль руководителя, и брови теперь повиновались ему.

– Давайте, ребята!

– А ну-ка, ребята, а ну-ка!

Пастухи все были навеселе.

Мыку только того и ждал. Боялся, что кто-нибудь поднимется раньше него. Схватил своё ружьё и вышел.

Сразу вздохнул легко, словно его, изнывающего от жары, окатили холодной свежей водой. Двинулся поспешно к загону, гикнул, но голос его растворился, утонул в темноте. Собаки с лаем обходили стадо.

«Должно быть, это тот матёрый медведь, каждый год нападает здесь на стадо. Чтоб ему сгнить! Ишь, повадился... Пока скот не перегоним в долину,

всё время надо быть начеку. Обычно этот медведь спускался по каменистым осыпям. Если взяться как следует, можно выследить его...»

Старый медведь сидел в зарослях карликового рододендрона и прислушивался. Чувствовал он, что и этой ночью ждёт его неудача, помешают собаки. В прошлом году, когда они услышали его, он уже настолько близко подкрался к загону, что едва не задохнулся от тяжёлого запаха скотины. Сегодня он, как всегда, спустился по каменистой осыпи. Это было опасно, стоило покатиться вниз хоть одному камню, эти глупые козы настораживались, и собаки сразу тут как тут. Но другого выхода не было. Всё было рассчитано заранее. Когда собаки настигали его, он мог уйти от них только вверх по осыпи... унести ноги.

Ах эти собаки, попадись они ему в лапы, он бы им перемял косточки! Но ведь они налетят, вырвут клок шерсти с мясом – и были таковы. Особенно досаждал ему один молодой пёс. Дважды медведь нападал в этих местах на стадо, и оба раза его обнаруживал этот пёс. В третий раз медведь порвал горло козлу, но пёс не дал ему утащить добычу. Унося ноги, медведь наткнулся на молодого козла. Должно быть, старые, матёрые козлы запугали, прогнали его – он забрался на скалу, сидел там один. От козла исходил резкий неприятный запах, но медведю уже было не до того... Он зарыл козла в укромном месте, а когда спустя некоторое время откопал его, в приятном для медведя запахе гнилого мяса утонул прежний противный козлиный дух.

Ну и клыки у того молодого пса! Там, где он полоснул ими по шкуре – там больше так шерсть и не проросла, – голые рубцы остались... чтоб у него клыки погнили!

Собаки все лаяли. Если б медведь и решился напасть сегодня, это сулило бы ему верную смерть. А тот пёс за минувший год, наверное, ещё крупнее стал, окреп, в самом соку. Медведь узнавал его голос – собака находилась где-то недалеко.

Отсиживаясь в засаде, старый медведь от злости грыз корявые кусты карликового рододендрона.

Мыку обошёл весь загон. Те козы и овцы, что побеспокойнее были, вскочили на ноги, в страхе сгрудились в углу. Остальные тоже проснулись и готовы были встать, Мыку чувствовал это по их возне.

«Надо во что бы то ни стало разыскать козлёнка и унести».

И тут он заметил, что стоило ему вспомнить о козлёнке, как улеглось всё его беспокойство, одолевавшее перед тем, всё раздражение и – злость... всё, из-за чего не мог оставаться, сидеть со всеми спокойно в балагане.

Может быть, козлёнок, забота о нём заменили ему эти ничего не говорящие слова – любовь, красота? Нет, нет, конечно. Тут совсем другое. Козлёнка он жалел, беззащитность его рождала в ответ жалость и нежность. А жалость – это забота, это боль. Боль, которую испытываешь, беспокоясь о другом, вытесняет привычную боль неустроенности и одиночества.

Когда он приблизился к собакам, они осмелели и принялись лаять пуще прежнего.

Медведь перестал обгрызать кусты рододендрона; оставшиеся последние зубы и те болели. Он постарел, мало осталось сил. Да ещё и продрог сейчас – долго не двигался, поджидая, подстерегая в засаде. И как же ему не мёрзнуть, если ни шерсти, ни сала – кожа да кости остались.

В общем-то – что она ему даст, эта вылазка? Ничего. Теперь хоть каждый день подавай ему мясо, ничего не изменишь. Время его прошло. Не суждено ему пережить эту зиму.

Однако пока носят его ноги, не может медведь оставить свои привычки, всё в нем сопротивляется умиранию, тянется к жизни. Медведь готов был реветь от досады, но заставил себя проглотить её, с трудом сдержался. Нельзя выдавать своё присутствие. Надо жить. Надо снова напасть на стадо. Поэтому медведь сидел неслышно.

Пёс приближался. В нос медведю ударил острый запах псины, и он едва не расчихался, но вовремя уткнул морду под мышку.

Когда пёс был помоложе, он, по глупости своей, был храбрее. Прошлым летом он бы давно вытравил медведя из засады. Теперь же пёс по-прежнему был не робкого десятка, но разумнее сделался, берёг себя и силы расходовал в меру.

Вдруг... Самое страшное!

Медведь подскочил, словно на гвоздь напоролся: подобно лезвию кинжала дважды перед его глазами резанул, сверкнул огонь – то, чего он страшился больше всего в жизни. И заревели, огласились эхом горы...

Медведь уносил ноги – отчаянно карабкался по каменной осыпи. В ушах его всё ещё звенел гром выстрела и лай ненавистного пса. Пёс бросился вперёд одновременно с выстрелом, и когда он ткнулся мордой в ещё тёплое место, только что покинутое медведем, – чуть не взбесился от злости. Сейчас он, бешено лая, кружил у подножья осыпи, спасшей медведя.

У медведя лапы подкашивались, но он всё ещё бежал изо всех сил, из последних сил. Он понимал, что конец его близок, но всё же решил не отступать: назавтра, даже если это будет стоить ему жизни, повторит свой набег.

Как только Мыку выстрелил, всё стадо поднялось на ноги.

– О-о-о! – успокаивающе прикрикнул он.

Постепенно собаки угомонились, перестали лаять, и козы опять стали устраиваться на ночлег.

Мыку нехотя возвратился к балагану и, не желая входить внутрь, сел на камень у входа.

Прислушался. Ни одного голоса, всё тихо.

Но вдруг что-то сказал заведующий, снова завязался разговор. По голосу заведующего чувствовалось, что настроение у него отличное.

Иногда он таким делался. Довольным собой.

Неожиданно для себя, впервые в жизни, Мыку позавидовал сейчас людям, подобным заведующему. Хочешь ты там или не хочешь, боишься или не боишься, уважаешь или нет, а они заставят тебя подчиниться своей воле. Если с первого раза не подчинишься, ещё раз прикажут, и ещё, и ещё – пока не добьются своего. Вот если бы сейчас ему, заведующему фермой, отдали в пастухи этих образованных гостей, которых он сейчас угощает радушно, он тут же применил бы к ним данную ему власть точно так, как применяет её к Мыку, к Тырме и другим. Выше себя он признавал только одного – председателя колхоза. А что касается ещё более высокого начальства – тех он и знать не хотел. Считал, что не его ума это дело.

В балагане снова раздавался голос Хаджадлы.

«Опять начал. И не надоедает ему».

А тот продолжал громко, самоуверенно:

– Образование, конечно, есть образование... Это дело хорошее, кто это может отрицать, мы только вами, детьми нашими, и гордимся...

Не будь гостей, кто бы дал ему возможность столько болтать. Он знал, что в присутствии чужих никто не станет обрывать его на полуслове, обрадовался этому – вот и разошёлся.

– Но в старину, и не только в старину, да и сейчас... А что сейчас... вот только теперь у нас открылись глаза. К тому я это говорю, что есть люди, от природы и без образования умные.

«Вроде него, значит...»

– Так... Недавно из города лектор один приезжал...

«Совсем разошёлся старик. Надо же! Всё же хорошее дело – совесть».

Мыку поднялся и отошёл подальше от балагана, чтобы не слышать голоса Хаджадлы. Поднял голову, посмотрел на небо. Середина его совершенно была свободна от туч. Будто кто-то мимоходом растоптал, растёр о небесную твердь своими сапожищами мириады звёзд, казалось, они превратились в сплошное жёлтое пятно и ничем его теперь уже не вытравишь.

Постепенно бездонная небесная глубь стала казаться Мыку озером, которое поглотило пастуха вместе со стадом. Должно быть, звёзды, глядевшие со дна этой бездны, и есть глаза бездыханных утонувших овец – вытаращенные кристаллики льда.

Пока Мыку бродил без дела вокруг балагана, пастухи укладывались спать.

«Должно быть, и гостей уже устроили».

Перед тем как лечь, заведующий вышел наружу, окликнул Мыку: как, мол, дела?

– Что-то напугало стадо.

– Как бы не стряслось чего! Не ложись пока, ради Бога!..

– Так и быть, не лягу!

Гора Красивая – так называлось место, где расположились пастухи на стоянку.

...Мыку пришёл в свою, отдельно стоявшую палатку очень поздно, лёг, но долго ещё не мог заснуть. О гостях он не думал больше, забыл – словно они очень давно проходили здесь. Покой, царивший в горах, вошёл в его душу, тишина оглушала, из головы уходило всё неприятное, мелкое, раздражающее.

Он долго лежал не двигаясь, словно как остановившийся жернов.

Заснул лишь под утро.

Когда он проснулся, понял, что уже поздно, – сразу вскочил, откинул полог палатки, выглянул наружу. Козы жались друг к другу – будто островки белой гальки виднелись у подножья горы, несколькими островерхими пиками подпиравшей насупившееся, затянутое тучами небо.

«Видно, стадо уже вернулось с утренней пастьбы. Теперь Тырма целый день будет надоедать своим недовольством...»

Голосов не было слышно. Если козла закололи для гостей, то мясо, должно быть, уже варится в котле, а пастухи сидят довольные вокруг костра и ждут.

Мыку хорошо, легко себя чувствовал.

За ночь его точно подменили. Обычно темнота, будто туман, наседала, налипала на него, вползала в душу. В темноте вечера он как-то раскисал, будто насквозь сыростью пропитывался. Но день – это день. Душа его распахивалась навстречу свету. Свет был нужен ей. Так горные вершины разрывают облака, окутавшие их. Если и случалось что неприятное днём, то легче переносил, преодолевал печаль.

Он отложил в сторону свою повседневную отсыревшую за ночь одежду, от которой невыносимо тянуло прокисшим молоком, достал чистую смену, которую всегда имел при себе, оделся.

Теперь уж скоро они покинут горы. Вроде бы даже и неловко возвращаться домой, ни разу не надев эту чистую перемену. К тому же и гости не так-то часто бывают у них.

Он вышел из палатки наружу. Из пастушьего балагана высунулся стряпун, увидел его и тут же юркнул обратно. «Должно быть, хотят посмеяться надо мной, что, мол, поздно я встал».

Прямо у входа в его палатку стояла кобыла. Увидев человека, мотнула мордой, раскрыла пасть, словно укусить хотела, фыркнула и отошла в сторону.

– Сгинь!

Кобыла нехотя переступила несколько раз и тут же остановилась.

Ей не терпелось покинуть горы, скорее спуститься в долину. За лето она выправилась, раздобрела, раны, натёртые на спине, зажили, затянулись, впалые бока округлились. Горный воздух, сочная трава, чистая вода горных потоков – всего вдоволь было в эти два месяца у кобылы. И к тому же за весь сезон её ни разу не оседлали, не навьючивали: жалели, уж больно тощая была в начале лета. Может, ей кажется, что теперь навсегда конец всяческим поклажам и работе?

Что может тянуть её в долину, на равнинные луга?

С утра до ночи ходила под тяжёлой ношей. Поклажу снимут – хомут на шею, впрягут в плуг – и пахать... Тяни плуг, тягайся с тяжёлой почвой, с землёй, а она ведь способна всякую силу пересилить. Другое дело быки или буйволы, их парами впрягают в плуг. Её же, кобылу, – одну.

Может, потому и озлилась она, оказавшись вдруг рядом с человеком. Захотелось ей наброситься, укусить, лягнуть... но не осмелилась. Непосильный труд, привычка к тяжёлой изнуряющей работе сделали своё. Они сломили волю животного, и не вернуть её уже больше. Правда, человек загонял её на работе – и человек же дал ей возможность отдохнуть эти два месяца, насладиться свободой в горах.

Кобыла хранила обиду на человека, но явно была убеждена, что пропадёт без него. Она была зависима. Привыкла, смирилась с рабством.

– Думаешь, смелости набралась? Ошибаешься!

Козы заметно беспокоились. Надвигавшаяся непогода предвестником бури проникала в них, пронизывала их существо, продувала их кости, лихорадила.

Мыку быстро зашагал к балагану, будто боялся опоздать к чему-то хорошему. Уже у самого балагана на него набросились собаки, лакавшие обычно в это время сыворотку из деревянного корыта. Мыку переоделся в свежее – и собаки его не узнали.

Он цыкнул на них вполголоса.

– Старые дворняги, далеко вам до сторожевых псов!

Услышав его голос и узнав, собаки оставили его, но сами чуть не перегрызлись из-за места у корыта.

Едва он шагнул внутрь балагана, навстречу ему грянул смех, будто река прорвала плотину.

Мыку остановился, плохо различая со света происходящее и толком не понимая, в чём дело, почему хохочут.

– Его наши собаки тоже перестали признавать! – показывая лошадиные зубы, смеялся Темыр, на этот раз не пряча от окружающих своё лицо, своё настроение.

– Как же им было не наброситься!.. Небось рассердились – чего это он вырядился, как на собрание! – не скрывая злорадства, веселился Тырма, считая себя наконец-то отомщённым, хоть в малости вознаграждённым в чём-то... шрам его удовлетворённо блестел, словно лезвие кинжала.

– Кого это он решил тут соблазнить? Уж не вчерашнюю ли нашу молоденькую гостью? – смачно прошлёпал жирными губами стряпун. – И впрямь – будто жених молодой на свадьбу прибыл!

– Да, да... а муж её, должно быть, догадался обо всём – и потому незаметно на рассвете увел её отсюда куда подальше, – смеясь через силу, добавил Хаджадлы. Он сидел возле самого очага, и лысина его была запорошена пеплом. – Мыку, заклинаю тебя твоей верой, скажи, где ты купил свои сапоги. Блестят так, что смотреться можно точно в зеркало. До чего же к лицу тебе!

– А ну-ка, ребята, а ну-ка! – заведующий самодовольно заиграл бровями.

Он совершенно запанибрата держался сейчас со своими подчинёнными. А как же, надо же ведь иногда быть, так сказать, своим с простым народом, в этом гибкость руководителя.

– Пошли, ребята, давай, ребята!

– А ну-ка, ребята!

Сообразив, что Мыку не реагирует на их замечания и реплики, пастухи успокоились, вытерли концами своих грязных рукавов, на которых присохло прокисшее молоко, набежавшие от смеха слёзы.

Мыку понял, что гости ушли.

– Посмотрите-ка, ну взгляните: он, по-моему, даже отутюжил кое-что из вещей! – боясь, что окружающие отвлекутся, не дав ему вдоволь поглумиться над Мыку, Тырма торопливо сыпал злые слова.

– Определённо, эта наша гостья-кривляка обворожила его! Не называйте меня больше по имени, если это не так! Ах, хитрец, не успел, не застал её, а то было бы дело! – снова вступил стряпун. Говорил он, медленно ворочая языком, будто запихнул в рот кусок свежего, ещё горячего, тянущегося сыра.

– Ай да жених, ай да молодой!..

– Говорят же, что глупая собака на пирог поглядывает!

Не могли уже больше смеяться, обессилели, снова вытерли глаза.

Мыку опустился на край лавки.

Что насмехаются над ним, глумятся – это ему не впервой, много раз устраивали ему такое развлечение.

И сам он – сколько задевал их, сколько издевался, высмеивал.

Но сегодня что-то странное с ним творилось. Вдруг заложило уши, он плохо стал слышать.

«Спокойно спокойно... посмотри на них – они же сами смешны… выглядят нелепо...»

Однако ему вдруг стало не хватать воздуха, мир сделался тесен и сдавил тисками... что-то застревало в горле, мешало, не давало дышать.

«Они же сами смешны, выглядят нелепо... Да разве в том дело, как выглядят? И на самом ведь деле – посмешище, кроты несчастные, слепые, что они видят, чем живут?»

Он остро ощутил вдруг тяжёлый дух, вонь под крышей балагана, бросилось в глаза – словно впервые увидел, что старая брезентовая крыша – грязная, прокопченная – даже лоснится; кривые, корявые жерди – подставки из карликового бука – только и годятся, что на дрова; закопчённые старые бурки, брезентовые мешковатые плащи, продранные грязные сумки... Бешеным взглядом окинул сидевших перед ним.

– Вы!.. – произнёс он сдавленным голосом. – Вы... твари несчастные, кроты! Вы – отвратительны!..

Он сейчас словно на другом, на незнакомом каком-то языке говорил, сам не понимал, не слышал своих слов. Вместо них, ему казалось, доносятся до него звуки из глубины веков, разжимают ему челюсти, рвутся, становятся речью... в ушах шумел какой-то страшный ветер – поглощал все голоса, кроме своего.

– Он что, спятил, что ли? – спросил, оглядываясь на остальных, заведующий.

С лица его исчезла улыбка, подобно тому, как исчезает в пыли капля воды, – поглотило, впитало улыбку его лицо. Даже брови беспомощно застыли на лбу, как бы не в силах двинуться с места.

Обычно в тех случаях, когда кто-нибудь из подчинённых проявлял характер, ему достаточно бывало употребить властный взгляд или распорядиться властно.

Но этот так разошёлся, тут всего можно ожидать. И остальные все будто в рот воды набрали, смешались, никто не ответил заведующему, не поддержал.

Но не может же он промолчать, оставить без ответа, спустить.

Как он смел так сказать, этот Мыку! Недопустимо!

– Как ты смеешь нас оскорблять! Шутить тоже надо уметь. Шутка шутке рознь. Глупо. Здесь, дорогой мой, сидят знатные, лучшие люди нашего села. А ты... – Но, приглядевшись получше, увидев глаза Мыку, он внезапно струсил, захотелось почему-то оправдываться.

– Шутить тебе захотелось! – оборвал его Мыку. – Ты думаешь, мне до шуток! Ах, здесь, оказывается, сидят почтенные, знатные люди нашего села! Ах, каких я людей оскорбил! Для кого же они, да и ты вместе с ними, – кто назвал вас знатными? Ладно, оставим их в покое, но ты, ты-то сам что собой представляешь?! Всё остальное оставим, но у тебя когда-нибудь хватит сил хоть на то, чтобы признаться, что ты ничего не можешь, не умеешь, не способен. Да нет, слишком многого я от тебя захотел! Человеку ведь для того, чтобы разобраться, что ему под силу, а что нет, нужен хоть какой ни на есть умишко, хоть крошечный. А ты с тех пор, как помнишь себя, только и делал, что ползал за должностями. Ну, хоть что-нибудь мало-мальски полезное для человека, хоть для одного, ты сделал когда-нибудь? Из-за тебя один из лучших наших сельчан повесился! Думаешь, забыли? Ты, ты в его смерти виноват!

Пастухи застыли, будто заколдованные, не смея рта раскрыть. Заведующий фермой тоже молчал растерянно. Тут ни властный голос, ни властный взгляд его ничего не могли поделать.

Его вовсе не трогало то, что говорил, в чём обвинял его Мыку, задевало другое, а именно, что он как руководитель оказался вдруг бессилен, никакой власти не имел сейчас над Мыку.

–...Если тебе память изменила, я тебе напомню! Забыл, как решил перепахать двор крестьянину, обвинив больного человека в том, что нерегулярно выходил на работу? Забыл, что он, не вынеся позора, не дожидаясь даже, пока лемех посланного тобой плуга коснётся его земли, в тот же день болтался на веревке? Давно, скажешь, было? Ты, может, и сумел об этом забыть, да многие в селе не могут простить. Почему ты сам тогда не повесился, а?! Да, для самоубийства тоже требуется мужество, товарищ руководитель! Но ты об этом не думал, вины своей в случившемся не видел! Ну, конечно, ты скажешь, что поступал по долгу службы... мол, для дела так нужно было. Если бы ты тогда и себя прикончил, уже твои белые косточки

очистились бы, хоть так бы искупил свою вину, несчастный! Самое лучшее, что мог сделать за всю свою мерзкую жизнь!..

– О чём это он болтает! – спохватился преданный Темыр, увидя, что заведующий и сказать ничего не может.

– Где тебе понять, о чём говорю! Сам-то ты кто? Знаешь, на что похож, – на чучело!..

– Клянусь прахом отца, сегодня добром не кончится!

– В старину, если случалась сильная засуха, чтобы умилостивить Бога... чтобы ниспослал он дождь, в жертву приносили человека. Потом убедились, что для Бога всё одно, и стали вместо человека чучело бросать в воду...

– Клянусь прахом отца...

– Тебя же как чучело подставное, как ширму используют. Даже вот этот тебя использует, – Мыку показал на заведующего, – так для чего ты живёшь? Разве сам не знаешь способностей сидящих здесь? И всё же каждый из них больше тебя работает. А на собраниях, когда тебя выставляют передовиком, ты не краснеешь, а про себя ещё и ухмыляешься, наверное!

– Тут погода ещё портится... тут скотина... – бормотал Хаджадлы, растерявшись, не зная, как реагировать на вспышку Мыку.

– Что ворчишь, неудачник, чего расшумелся? Говорят, тот, кого лошадь не слушалась, потом седло хлестал. О, бедная наша гостья, вовремя тебя увёл твой муж! – вступил в разговор и стряпун, стараясь улыбаться, чтобы скрыть свой гнев.

– Тут непогода, скотина...

– А тут ещё молодой разодевшийся жених! Ха-ха-ха! – засмеялся стряпун.

– Ух, чтоб твой род исчез с лица земли!

– Передай это благословение своим родичам! – казалось, в масленых обычно глазах стряпуна от злости жир растопился, так они горели.

– Обжора! Для тебя весь свет к тому существует, чтобы только брюхо было чем набить!

– Хе-хе-хе! – стряпун готов был лопнуть от злости, но пытался делать вид, что ему наплевать на Мыку. – Собака лает, ветер носит... Не знаю, какое ты находишь себе оправдание, оскорбляя нас. Чем ты лучше нас! Сладенького захотелось? Так при чём тут мы, если тебе твои выглаженные вещи не пригодились? Мы при чём, если ты остался несолоно хлебавши?

– Брюхо, сплошное брюхо!

– Тут непогода, тут скотина...

– Если бы это я был на его месте, я бы это сказал – вы бы меня давно засадили в тюрьму! – вскинулся вдруг Тырма, голова его нервно дёргалась.

Мыку чувствовал жар во всём теле... весь горел... Внутри у него словно бы бешено работала какая-то машина и никак не могла остановиться. И не он управлял этой машиной – машина двигала, руководила им. Она срабатывала настолько быстро, что он не успевал хоть как-то облегчить, смягчить резкие оскорбительные фразы, которые она выталкивала наружу.

Мыку взглянул на Тырму, почувствовал его обиду, почувствовал человеческое и засмеялся, словно очнувшись от бреда. Будто этим смехом,

словно кончиком ножа, собирался Мыку как ржавчину соскрести огненный шрам, обезображивающий лицо Тырмы.

– Ну конечно, если б это был я, вы бы меня уже давно повесили, – обижался Тырма.

Значит, и он, и он не мог такое всем сказать.

Что-то отпустило у Мыку внутри, отлегло.

Остановилась внезапно бешено работавшая машина. Некоторое время Мыку сидел совершенно отключившийся, отсутствующий: ничего не слышал, никого не видел. До того опустошённым чувствовал себя – казалось, что внутри его полых костей гуляет ветер. Едва нашёл в себе силы подняться... пошатнулся, оглядел всех невидящими глазами и, еле волоча ноги, поплёлся к выходу.

– На собрании, на общем собрании выставлю на обсуждение оскорбительные его слова! – сказал ему вслед заведующий. Здесь не следовало ему возражать. Нельзя было унижаться до спора с ним.

– Если бы это был я... – начал было сердито Тырма и тут же умолк.

Гора Красивая – так называлось место, где остановились со своими стадами пастухи.

Когда Мыку вышел из балагана, сильный порыв ветра чуть не сбил его с ног.

Небо насупилось, потемнело. Он едва доплёлся до своей палатки, бросился ничком на постель – и будто в яму провалился, перестал видеть и слышать.

Сколько времени он так пролежал, Мыку не знал. Его вывело из оцепенения тревожное ощущение надвигающейся беды. Показалось, сквозь сон, будто кто-то хочет сорвать и унести его палатку. И вправду – ветер свирепствовал.

Мыку сел в постели.

Было темно. Крупные капли дождя, словно град, барабанили по крыше палатки. Сквозь вой ветра и шум дождя временами доносились окрики пастухов.

Он вспомнил события утра, разочарование и бешеную свою вспышку, ругань и оскорбления – чем они-то, пастухи, виноваты? – и ему не по себе сделалось. С презрением оглядел чистую свою одежду – суконную рубашку, подпоясанную широким ремнём, суконные брюки галифе, сшитые ему женой, начищенные, плотно облегающие ногу, азиатские сапоги.

«К лицу!»

Сейчас это слово показалось ему настолько отвратительным, что он в отчаянии с силой ударил носком сапога по жерди, подпиравшей крышу палатки. На некоторое время нога онемела, потом внезапно нахлынула боль... но ему не до того, не до боли было.

Дождь хлестал по брезенту палатки. Вода – он заметил – начала подтекать и внутри, такого прежде не бывало.

Видно, погода и впрямь ужасная; что-что, а ставить палатку он умел – края брезента были подогнаны к специальным канавкам, отводившим воду.

Что же он сидит?

Сорвал с крючка плащ, торопливо набросил его на плечи и вышел под дождь. Хлестало, будто прорвало плотину.

Теперь он не помнил совершенно прежних своих обид, копившегося недовольства как не бывало. Сейчас им овладел страх: увидят его пастухи и – как бы им ни приходилось трудно – скажут: «Убирайся с наших глаз, обойдёмся без твоей помощи...»

Могут и не сказать этого прямо, но дадут понять. Он не боялся, что его со всей строгостью осудят и накажут на общем собрании, он боялся другого: что не будет ему хода обратно, что изгонят его пастухи, отвернутся от него.

Что это он за фокусы утром выкидывал, о чём думал? Что наговорил? Как будто сам он что-то собой особенное представляет. Сейчас-то он очень хорошо понимал, что все они заняты необходимым делом, что каждый из них на своём месте, и без них, без пастухов, никакому хозяйству не обойтись.

Теперь он даже завидовал им – в эту минуту они на месте, а он, он один... он – один...

Дождь стоял перед глазами сплошной стеной.

Загон оказался пустым. Голоса пастухов доносились издали, словно со дна глубокого ущелья. «Стадо потеряют, да и самих тоже может унести. Ведь никто из них, не знает толком гор, не бывали в таких переделках».

Однако сами животные хорошо помнили этот склон. Там по берегам высохших ручьёв, некогда впадавших в основной, главный, бежавший по дну неглубокого ущелья, было множество пещер и расщелин. Во время дождей, да и вообще в ненастную холодную погоду часть скота спускалась в ущелье и укрывалась там в пещерах. И сейчас, испугавшись ливня и ветра, стадо искало спасения в ущелье.

Миновав пустой загон, он разглядел, что по склонам, по обрывам низвергались сверху водопады, шумные бурлящие потоки заполнили сухие ещё утром старые русла ручьев. Насколько он мог видеть сквозь плотные струи дождя, горы покрыты были слоем воды, истекали водой. Главного потока от загона не видно было, но шум его наводил ужас.

Дождь всё усиливался. Беспрестанно гремел гром, небо вспарывали стрелы молний – но всё поглощал и перекрывал мощный шум ливня. «Откуда им знать, как бороться с водой, да ещё с такой, как выстоять...»

Не медля более, Мыку двинулся торопливо туда, где, по его расчётам, должно было теперь находиться стадо. Ему пришлось переходить вброд старое русло, заполнившееся сейчас бешено несущейся водой. Когда стало выше колен, он пошатнулся, но удержался, не упал. Впереди, в одном месте, Мыку знал, ему будет по пояс. Выберется оттуда, – значит, смог перейти на другой берег.

Перебравшись так через несколько потоков, он увидел наконец стадо: козы и овцы отдельными кучками сгрудились на островках среди хлещущей воды. Пастухи, уже охрипшие, кричали, старались удержать скотину, а та

металась в страхе и готова была, кажется, броситься куда глаза глядят, хоть в пропасть. Необходимо было не дать ей погибнуть в потоке.

Первый, с кем поравнялся Мыку, был заведующий. Он из последних сил пытался удержать на месте вожаков стада – козлов. Каждый раз, когда он ударял их по рогам, вожаки плотно упирались ногами и тем самым останавливали напирающих сзади коз.

Даже во время самой жестокой непогоды очень редко случается такое – чтобы бросились в страхе бежать вожаки стада. Если, конечно, не напугает их что-нибудь очень сильно. Пока у них хватает терпения, пока не овладеет ими паника, вожаки удерживают стадо на месте, сохраняют от погибели. Когда стадо напугано, надо суметь не осердить и в то же время удержать вожаков. Справишься с ними, тогда и остальное стадо легко прибрать к рукам.

Но сейчас, в эту страшную непогоду, инстинктивная организованность стада, его скудные внутренние законы, которыми оно руководствуется в спокойном монотонном течении дней, – всё это отказало, забылось, не срабатывало... сами животные в страхе растоптали свои привычки, сломя голову ринулись куда глаза глядят. Бородатые вожаки, обычно важно вышагивающие впереди стада, сейчас забыли о своих козах, а те обтекали их, валили через них, метались, ища для себя спасения. И ненужными казались теперь огромные рога вожаков, которые они носят обычно гордо, как корону.

– Этих я удержу! – прокричал заведующий сквозь сдвоенный шум потоков и ливня. – Туда... туда надо… стадо всё там... Сегодня нам не обойтись без потерь… Скорее туда!

Ему сейчас явно было не до обид, возможно, он их и позабыл уже.

У Мыку сразу отлегло от сердца. Ушло чувство неловкости, он перестал ощущать себя гостем, который вошёл в дом в отсутствие хозяина: и уйти не может, и оставаться стыдно.

– Осторожно, вода сердитая! – крикнул вслед заведующий, когда Мыку ступил в поток.

Вода мгновенно подхватила, закружила его и швырнула на камень, разделявший поток на два рукава.

– Осторожно!

«Надо хоть палку было захватить с собой».

Собрав все силы, Мыку снова вошёл в воду. Течение опять подхватило его, но он успел задержаться, зацепиться – и поднялся на ноги. Пока что повезло – а могло ведь и потащить вниз. Обувь у него оказалась удобной – кавказские мягкие сапоги давали возможность цеплять острыми носками за дно, за камни.

«Так им и надо!»

«К лицу...»

«Так им и надо!»

Когда он выбрался к месту, где воды ему было по пояс, он уже твёрже стал на ноги и поднялся наконец на берег.

«Значит, годятся...»

Дождь по-прежнему лил как из ведра. Только теперь он увидел большой главный поток, несшийся вниз по главному руслу. Но это бчло совсем не то, что называют обычно горной рекой. Вся дождевая вода, струившаяся по склонам нескольких хребтов, сливалась, собиралась сейчас здесь, в ущелье. Затопив даже и огромные валуны, торчавшие обычно на отмелях, затопив живописные берега, все в цветах и травах, неслась бурлящая, кипящая масса, вся в тумане мутных брызг...

В таких случаях обычные определения лишаются силы и смысла. И сама вода, в бешенстве своём не признающая берегов, теряет вместе с ними своё обычное название, теряет данное издревле имя, уже не вода это – страх разлившийся, необузданное зло, близящаяся погибель, мрак небытия, где останавливается время...

Однако Мыку был теперь в таком состоянии, что не мог ясно осознать опасность, как бы со стороны смотрел на себя. По-настоящему он видел сейчас только Хаджадлы. Старик, как и заведующий, тоже старался удержать на одном из островков небольшую кучку обезумевших от страха коз.

«Каждый на своём месте. У каждого из них совесть чиста, это главное. А что непогода? Распогодится...» Опять в сердце Мыку закрался страх.

Вот что значит – остаться за бортом. Может быть, даже наверное, они не специально так с ним обошлись. Видно, всё получилось само собой. Никто и не подумал вспомнить о нём в минуту опасности, позвать, – все бросились к стаду. Да, вернуть всё, сделать как было, видимо, уже невозможно... Даже если не только он сам, а и все остальные очень захотят... Хаджадлы, похоже, очень уж сильно измотал, измучил своих коз. Сдерживал их окриками. Откуда только голос брался! Устрашающие окрики настигали коз, куда бы те ни бросились, – они метались, крутились на островке, дико блеяли...

Увидев Мыку, Хаджадлы крикнул: – Дальше, дальше иди, к тем!

В своей суконной пастушьей шапочке и старой бурке старик сейчас, под сильнейшим ливнем, напоминал скалу, покрытую водорослями, по которой струится, с которой слетает вниз небольшой водопад.

– Вся скотина там, дальше, туда поспеши!

Когда Хаджадлы разговаривал с Мыку, ливень почти совсем заглушал его голос, разрушал его, однако окрики, предназначенные для коз, как ни странно, сами разрушали шум дождя, и стадо хорошо слышало их, повиновалось.

Мыку двинулся вперёд, одолевая дождь, ветер и разлившиеся бурлящие ручьи.

«Ничего... Ничего страшного не должно быть. Это только раз в сто, в двести лет случается, что наводнение уносит стадо или снежный обвал погребает стадо и людей».

Он помнит один только случай – с несчастным Джамфером, как того унесло лавиной, даже косточек не собрали. Да тут сам Джамфер виноват. Разве можно было в самый разгар лета, когда даже и плотный лежалый снег тает, идти по нему напрямик...

«Видать, ему на роду было написано. Когда судьба – всё совершается как бы само собой, не уйдёшь от неё».

Позавидовать можно человеку, который смотрел в глаза смерти и при этом не уронил себя. Наверное, многое осмысливает заново, многое иначе понимает и оценивает такой человек. Иная мудрость...

«Но редко кому так везёт: побывать за гранью и вернуться».

«Может, и сегодняшняя погода – такое испытание для него?»

Судьба? Конец? Да нет! Какой там ещё конец!

Хотя кто знает, может быть, сегодня им всем придётся испытать что-то необычное, столкнуться с неизведанным – вдруг окажутся на самом краю, там, где будут видеть её глаза... а под конец – пощадит их смерть?

Мыку никогда ещё не попадал в такие опасные переплёты: что бы ни случалось с ним, всегда как-то на середине обрывалось, останавливалось – и жизнь снова входила в обычную колею.

Но, может быть, именно сегодня, когда он не может смотреть в глаза товарищам, назначено ему испытание на грани жизни и смерти?

Наконец он приблизился к цели. Сначала не увидел никого из пастухов. Стадо сбилось у входа в одну из больших расщелин, слышалось испуганное блеянье.

Оглядевшись по сторонам, он различил сквозь пелену дождя Тырму, – тот изо всех сил пытался удержать овец, но они сбивали его с ног.

Потом ещё ближе обнаружился Темыр. Несмотря на все его старания, перемешавшиеся овцы и козы закружили, закрутили его, точно в водовороте, он потерял равновесие. Мыку бросился на помощь, закричал, подчиняя себе стадо, но, пока он добрался до Темыра, плотная масса овец уже сбила его с ног.

«Надо же, даже обыкновенной дубины нет в руках!» Мыку сорвал с себя плащ, сделавшийся от дождя жёстким, словно лист жести, и стал размахивать им перед стадом, наступая и крича. Таким образом ему удалось разделить стадо, напиравшее, точно река, вышедшая из берегов. Теперь уже легче было справиться со скотиной. Темыр с трудом поднялся на ноги. И вдвоём они кое-как повернули коз и овец к укрытию – к нависавшей скале.

Мыку взглянул в посиневшее, мокрое лицо Темыра, он сейчас похож был на утопленника, выброшенного волной на берег.

Дождь не ослабевал. По скале, под которой сгрудилось стадо, стекала сверху вода – вода была везде.

Временами они слыхали голос Тырмы. Иногда же его крик тонул в шуме ливня, и тогда казалось, что он, как рыба, вытащенная на берег, лишь немо разевает рот.

Мыку не переставая работал плащом. Взмахи плаща пугали животных, удары причиняли боль – козы и овцы прятали головы. Так постепенно они согнали к скале, в более или менее безопасное место, всё бывшее с ними стадо.

Большой поток ревел вдалеке.

Тем временем дождь полил ещё сильнее.

– Господи, да что же это такое! – услышал Мыку за спиной голос Темыра – в нём было отчаяние безнадежности. Но не оглянулся, чтобы Темыру не показалось, что Мыку упрекает: мол, не надо было браться не за своё дело.

Он помнил всё, что говорил утром, всё до единого слова. Но всё сказанное им тогда сейчас не имело никакого значения.

Сейчас каждый делал, что мог.

«Дело даже не в том, чтобы дойти до самого края, испытать судьбу и вернуться. Не это главное. Когда человек всё выжимает из себя, отдаёт для дела все свои силы, до конца, – он высок.

А это – дойти до края и вернуться – есть в этом какая-то игра, спорт. Правда, игра опасная – можно погибнуть, но это уже другая гибель».

Дождь ещё усилился.

Надрывно закричала коза.

Мыку оглянулся на крик козы, увидел, что это однорогая, она вырвалась из стада и понеслась вниз, а за ней её козленок.

«Ах, так и козлёнок здесь! Теперь всё, погиб». Пышная обычно шёрстка козлёнка сейчас облепила его немощное тельце, и был он такой малюсенький, и так жалко торчала его тоненькая шейка, голос охрип... Каково ему сейчас, бедному козлёнку, привыкшему к теплу балагана!

Пастухи закричали разом, и стадо, как будто только этого и ждало, очертя голову ринулось вниз следом за безрогой, словно лавина обрушилась, сметая всё на пути. Живая движущаяся масса столкнула Мыку с места и увлекла за собой.

«А, пропади вы пропадом! Сами себя губите, чтобы вам провалиться в преисподнюю!.. Не миновать, видно, беды... тут не то что самый край...»

В это время он увидел козлёнка. Весь напрягся, заставил себя устоять на ногах, даже пальцы вылезли из новых, ладно скроенных кавказских сапог. Затем стал пробиваться к своему любимцу.

«Если козлёнок попадет в гущу стада, его подомнут, затопчут...»

Вдруг словно отступил шум ливня – он близко услышал рёв чудовища, которое раньше называлось потоком. В лицо ударил неудержимый ветер, сотворённый им, этим чудовищем, его нельзя было ни с чем спутать. «Попадёт сейчас в поток – и конец. Как соломинку...»

– Оставь его, вернись... стадо погибает!

– Брось его! Стадо гибнет!

Эти призывы заставили Мыку опомниться, и он быстро догнал стадо, которое стороной обтекало его, и, размахивая плащом перед мордами животных, закричал, стал теснить их. Теперь уже безрогой козы и её козлёнка нигде не было видно и слышно не было.

Кое-как всем вместе им удалось удержать стадо и согнать, сбить животных в кучу.

«Теперь опасность позади... Сильнее теперешнего дождь уже не Польёт. Значит, должен скоро кончиться...

Но это не самый край, нет. Пришлось только за час какой-нибудь столько потрудиться, сколько другой раз за неделю не выпадает».

Коза с козлёнком были где-то в стаде, он их не видел.

Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался.

Пастухи все были вконец измотаны.

По мере того как у Мыку иссякали силы, он верил, чувствовал, что дождь скоро кончится.

Так бывало всегда, сколько он помнит себя.

Ничего другого с ним не могло приключиться. Он был рождён для гор.

Натешившись дождём, тучи стали подниматься выше. Их нагонял быстроногий августовский ветер и швырял, бил их о скалы, но тучи уже были порожние, лёгкие – и всё им уже было нипочём, они набирали высоту.

И стих наконец шум дождя, потоки успокоились и посветлели, а горы стояли притихшие, умытые, помолодевшие.

Но куда ни посмотришь, везде ещё - со скал, по склонам сочилась вода.

Промокшие, продрогшие, оглушённые пастухи, покричав на скотину и направив её в сторону загона, поодиночке возвращались к балагану. Козлы-вожаки снова двинулись впереди стада, то поднимая гордо, то смиренно опуская головы, точно стыдились после случившегося своих больших рогов, знака власти и ответственности. Идите, люди... мы теперь сами справимся.

Мыку нагнал Тырму. Тот еле передвигал ноги. Широкие резиновые сапоги доверху были полны водой. Шрам у него на щеке посинел ..

Потом с ними поравнялся долговязый Темыр; он с трудом тащил на себе плащ, с которого всё ещё стекали струйки воды. Хаджадлы и заведующий ушли вперёд.

– Ты что, без обуви, что ли, был? – спросил Темыр, удивлённо взглянув на Мыку. Мыку посмотрел на свои ноги: голые пальцы вылезли из азиатских сапог.

– Правда, к лицу, а?

Тырма оглянулся.

– Подходящие, правда? – повторил Мыку и посмотрел внимательно на Темыра, на Тырму, посмотрел им в глаза.

Все трое остановились и, пошатываясь от слабости, беззвучно смеялись некоторое время.

Гора Красивая – так называлось место, где расположились пастухи со своими стадами.

Козы и овцы, сбитые с толку непогодой, напуганные, ещё не пришли в себя, брели сонно, то и дело останавливались и как бы удивлённо прислушивались. Те, что послабее, далеко отстали от передних.

– Нам ещё повезло, что град не пошёл. Не от наводнения, так от града стадо могло погибнуть, – сказал Темыр, и голос его показался сейчас Мыку как никогда спокойным, страха и отчаяния как не бывало.

– Хорошо, что молодняк заранее отделили от основного стада и спустили вниз, не то бы нам туго здесь пришлось, – заметил Тырма.

– Да, стадо чуть само себя не загубило, одно слово – скотина, – согласился Мыку и тут вспомнил о козлёнке. Поглядел на отставших и сразу увидел его.

Вместе с безрогой матерью козлёнок плёлся в самом хвосте. Мыку сразу заметил, что у козлёнка отнимаются задние ноги, его заносило вбок... Ещё немного – и он остановился в изнеможении. Безрогая глухо и равнодушно заблеяла.

Мыку догнал козлёнка и взял его на руки. Тот уже не мог держать голову. Мать посмотрела в их сторону, ещё раз заблеяла, но не стала очень уж убиваться, побрела следом за другими. Больше у неё ни на что сил не осталось.

Подошли Тырма и Темыр.

– Да ведь он же из балагана почти не выходил, привык к теплу... видно, так уж ему суждено, несчастному.

– Даже козлёнка не сумел отвести в тепло, удержать... развалина! – возмущался Тырма, на этот раз стряпуна имел в виду. При этом шрам его от прилива крови из синего превратился в чёрный.

Только теперь до Мыку дошло, что стряпун так ни разу и не высунул носа из балагана.

Козлёнок подрыгал ножками, хотел было заблеять, но не хватило сил. Шёрстка его прилипла к коже, свалялась. Мыку внёс козлёнка в балаган и положил у огня; от него повалил пар, шерсть стала подсыхать, но силы совсем оставили его, не мог поднять голову.

Стряпун как ни в чём не бывало, сухой, бодрый, ничуть не уставший, суетился у очага, стараясь развести огонь посильнее. Под очаг тоже подтекло во время ливня.

– Всё отводил, отводил воду, канавки вот выкопал, измучился вконец – но ничего не помогло. Такой дождь полил – где там воду удержать. Хотел побыстрее ахшца1 приготовить... – заискивающе бормотал стряпун.

– Брезент наверху старый, дыры есть, пропускает, конечно. Сколько ни просил, чтобы новый нам дали, всё мимо ушей пропускают, – пожаловался заведующий, глянув наверх, на брезентовую крышу; подобно своду пещеры, где просачивается вода, она вся была усеяна крупными бусинами капель.

Заведующий сидел у огня, стараясь согреться, – у него зуб на зуб не попадал, трясло.

– Порасторопнее, ребята, огонь посильнее разведите и ахшца быстрее сделайте, не видите – застыл человек! Быстрее, ребята! – повелительно говорил Хаджадлы.

Козлёнок снова зашевелился, задрыгал ножками, открыл глаза.

---

[1] Ахшца (абх.) – особый напиток, приготовляемый абхазскими пастухами. В свежее молоко опускают деревянными щипцами раскаленный на огне камень либо в горячее молоко надаивают свежее; при этом молоко сильно пенится - получается нечто вроде горячего молочного коктейля.

– Скотина, должно быть, помяла его, затоптали... сказал заведующий; он всё не мог согреться, стучал зубами.

– Не скотина тут виновата – погибает от холода, объяснил Тырма.

– Это легко определить, скотина его подмяла или холод загубил. Раз уж конец ему всё равно – зачем давать ему самому издохнуть? – подал совет стряпун, оглядываясь на козлёнка и делая вид, что только сейчас заметил его.

– Ты, конечно, не побрезгуешь, не откажешься от мяса этого сосунка! А было бы куда лучше, если бы ты забрал его сюда, в тепло, тогда ничего бы с ним и не случилось, грелся бы вместе с тобой, – с укоризной ответил ему Тырма.

Мыку молча смотрел на козлёнка – тот корчился в предсмертных судорогах. В другое время он бы прочистил как следует уши этому стряпуну... но сейчас, после утренней своей выходки, он не мог...

– Не хотите – дело ваше, – не стал настаивать стряпун, но всё не отходил от козлёнка, вертелся возле. – Заколите козлёнка, не мучьте, дайте ему успокоиться, – посоветовал Хаджадлы.

– Заколите... всё равно ему умереть, – раздражённо крикнул заведующий – не мог больше смотреть, как мучается животное. Его самого так трясло, что никакой огонь не грел.

Стряпун, будто только того и ждал, подхватил козлёнка и вынес из балагана.

«Если бы всё это раньше происходило, до утренней ссоры, до непогоды... Сейчас невозможно ссориться снова, настаивать, раз уже случилось, значит, так тому и быть... Вот и случилось что-то. Да нет – всегда, постоянно что-то случается, только человек не замечает – проглатывает, как привычный кусок...»

Мыку встал и пошёл в свою палатку переодеться.

Туда тоже натекло, однако постель оказалась сухой. Стянул с себя неприятной сделавшуюся новую одежду и, не выжимая, повесил на первый попавшийся крюк. Щегольские азиатские сапоги, совершенно развалившиеся, просто отшвырнул в сторону.

Когда, переодевшись в сухое, Мыку вернулся в балаган, заведующего уже не так трясло – лицо у него пылало, теперь его в жар бросило. Мохнатые брови опустились беспомощно, повисли на переносице.

– Что за чертовщина? – удивился он. – Как в лихорадке треплет...

– Сейчас я тебя вылечу, – объявил Хаджадлы таинственно. От одежды его, высыхающей прямо на теле, валил пар. Он с трудом разогнул колени, поднялся, снял со стены свою сумку из кожи косули, с трудом распустил верёвку огрубелыми, разъеденными сывороткой пальцами, не глядя достал изнутри пузырёк, заткнутый кукурузной кочерыжикой.

– Ты только посмотри! Я бы столько времени не смог держать, давным-давно распил бы с вами, – уколол стряпун.

– Это ты-то?! – вспыхнул было Тырма, но раздумал, не стал ссориться.

– Здесь чеснок, ашхарадац1, всё настояно на водке, а водка-то – двойной перегонки... клянусь прахом сестры, – похвастался Хаджадлы.

Сначала он угостил завфермой.

– Ей-богу, отпустило, а то что-то такое мёртвой хваткой держало, вот здесь, – показал заведующий, приложив руку к впалой груди. И брови его зашевелились, повыше поднялись. Хаджадлы тоже повеселел. Для него-то много не нужно было, достаточно с напёрсток спиртного.

– Ради бога, не оставляйте скотину без присмотра... А ну-ка, ребятишки, пошли, ребятки... – попытался даже пошутить завфермой.

Торопливо напившись, ахшца, Мыку взял свой посох и вышел.

– Ради бога, пораньше возвращайся, вещи надо сложить, теперь уже всё, покидаем горы, – сказал ему вслед заведующий.

Тырма тоже поднялся, пошёл вместе с Мыку. Выйдя из балагана наружу, они услышали какую-то возню и сопение.

Оказалось – стряпун большим ножом вспорол вдоль живота шкуру козлёнка, собирался освежевать тушку.

– К вашему приходу всё как раз и поспеет, сварю чин чином, – объявил он и облизнул губы.

– Чтоб тебе подавиться этим мясом! – бросил Тырма и не останавливаясь зашагал прочь.

Мыку промолчал, он приблизился к стаду, крикнул и всё стадо разом двинулось за ним к склону, где ещё сохранилась трава.

Стаи облаков поднялись сейчас высоко, разбрелись по небу. Небо проглядывало сквозь эту дымку, как озеро сквозь утренний туман. Ближе к горизонту хмурилось, В ночь опять можно было ожидать непогоды. Солнце то показывалось, то уходило за облака. Там, куда достигали его лучи, всё сверкало и серебрилось, но тепла уже не было, холод и промозглая сырость властвовали сейчас на альпийских лугах.

Со скалы, под которой двигалось стадо, вдруг послышался голос акапкап – горного индюка улара, – рассыпались густые звонкие клики, словно крупицы драгоценного металла, и огласили посвежевшие, вымытые дождём склоны.

Всё это время, пока свирепствовало ненастье, медведь провалялся в холодной сырой каменной пещере у подножья хребта. Когда непогода утихла, он выбрался, весь продрогший, из пещеры и побрёл по склону, в надежде отыскать местечко посуше и потеплее, освещённое солнцем.

Он слабел всё больше. Тяжело уже было двигаться, одряхлел, да вдобавок и голод ещё мучил.

Закричал вдруг улар-акапкап – часто и тревожно. Похоже, он заметил медведя.

---

[1] Ашхарадац (буквально: горный корень) – травянистое растение в альпийских лугах, корень которого обладает целебными свойствами.

Медведь хорошо знал голос улара. В те времена, когда лапы у медведя покрепче были, не подкашивались, как сейчас, звуки эти настораживали его. Стоило улару подать голос, упасть хоть одной звонкой крупице драгоценного металла, как медведь немедленно прятался. Но сейчас ему всё было безразлично.

Почему не замолчит эта глупая птица? Хотя – чего ей беспокоиться? Крылья у неё безотказные. Лакомится нетронутыми, только ей доступными, на большой высоте травами. Заготавливает, сушит их всё лето. А потом всю зиму в тёплом гнезде в глубокой, сухой расщелине, где-нибудь высоко в скалах сидят на этих травах самец с самкой, лакомятся ими, нежатся в тепле собственного пуха и жира.

Что ей, птице? Она не должна, как медведь, рисковать жизнью в поисках мяса. Травы, которыми она питается, никто не сторожит с плюющейся огнём палкой. Должно быть, мясо самого улара необыкновенно вкусное, только где и как его раздобыть! Медведю, даже молодому и шустрому, не поймать эту птицу.

Как-то однажды медведь схватил в зарослях куропатку с подбитым крылом... Ничего более вкусного он никогда не пробовал.

Сейчас, пробираясь по склону, он увидел повядшие ягоды брусники, сунул морду в заросли и торопливо побросал ягоды в пасть. Но этого ему не хватило даже червяка заморить. Он жаждал промочить горло тёплой кровью, хоть раз напоследок наесться мяса вдоволь – ничто другое не имело теперь для него вкуса.

Сегодня он должен напасть на стадо, даже если это будет стоить ему жизни! Этой ночью, этой ночью, этой ночью! Сегодня – или никогда...

Непогода утомляет, изнуряет и людей и скот. Однако после непогоды они держатся почему-то особенно настороженно. Медведь знал это, не раз приходилось видеть.

И всё же – в эту ночь!

Этой ночью!

Медведь выбрался наконец к месту, освещённому солнцем, и тут остановился. Солнце тоже не радовало его уже. Клонило ко сну. Медведь задремал стоя. Лечь он не решался, земля была мокрая, холодная, неприятная.

А улар-акапкап всё не унимался, тратил без меры звонкие драгоценные крупицы металла, оглашал горы, извещал, предупреждал – медведь... медведь... будьте бдительны, будьте настороже...

Когда стадо немного поднялось по склону, Мыку окриком остановил его. Здесь было лучшее место для пастьбы. Овцы и козы разбрелись – изголодавшиеся, они бросились щипать траву, уцелевшую от холода, пока ещё зелёную, но мокрую и побитую дождём.

Дождевые потоки прошлись, промчались по старым, высохшим руслам ручьёв, обнажив их до костей, до грунта и унеся, смыв всю траву. То там, то

здесь вытянулись по камням бездыханные стебли ацарпына – а ещё недавно красовались пышные шапки его белых цветов, недоступные скоту.

Солнце разорвало облака, осветило склон горы, по которому разбрелось сейчас стадо.

Вокруг всё засверкало. Когда ослепшими от солнца глазами Мыку глянул вниз, сбегающие с гор потоки показались ему чёрными, однако глаза постепенно привыкли к солнцу, и он увидел, как лучи золотят поверхность ручьёв. Мелкие потоки, сбегая с крутых, сверкающих под солнцем обрывов, устремлялись к главному, основному потоку у подножья горы, ниже пастушеского стана – подобно тому как золотистые жеребцы устремляются следом за золотистой кобылой, мчащейся впереди, – и главный поток вбирал в себя все эти потоки и ручьи, увлекал за собой вперёд, вниз, по ущелью, по широкому руслу в долину. Рекой делался.

Много воды вынесла она уже на равнину. Сейчас где-то там, далеко внизу, ребятишки высыпали на берег, бегают, рады паводку, рады слетающему с гор свежему прохладному ветерку.

Да, в долине сейчас, конечно, сильный паводок.

Мыку вспомнил, как однажды, давным-давно, когда их застал в дороге ливень и они пережидали непогоду под крышей церкви, он видел это: дождевые потоки устремлялись к реке, вливались, пропадали в ней, только по сравнению с этими горными потоками та равнинная река текла спокойнее, словно бы не торопилась никуда.

«По сравнению с горными потоками... а здесь всё неспокойное, бешеное, всё срывается вдруг с места, скачет, спешит…»

Он вспомнил тенистые деревья, что росли за церковью в родном его селе, и сам купол церкви, возвышающийся над ними; мирные трубы, над которыми вился сладкий дымок очагов, и как всё это было окрашено, позолочено солнцем. И подумалось Мыку, что он никогда ничего более прекрасного не видел, чем родное своё село, и не нужно ему другого, и от внезапного ощущения этих нитей, этой связи, родства у него сжалось сердце.

Терпкий воздух гор пронзил до костей, вызвал дрожь... и глаза его наполнились слезами.

Пришла пора покинуть горы.

Он почувствовал будто наяву запах полей, ждущих уборки, винограда, молодого, ещё не перебродившего вина маджар... запах прогнившей корки вокруг светлой скорлупы грецкого ореха... запах пота работающих в поле людей... А вокруг себя сейчас едва различал запах увядшей и даже немного подгнившей травы.

Над ним возвышались голые вершины, не знающие, что такое бег времени... острые пики разрезали воздух, вонзились в синеву неба.

Как всё вечное, они источали холод.

Сколько холода пролили они в мир за вечность?

– Эге-ге-гей! Где ты? – окликнул он Тырму.

– Ге-гей! Здесь я! – отозвался звонкий голос Тырмы.

– Эге-гей-гей!

– Ге-гей!

На душе у Мыку потеплело. Этого было достаточно...

Пока у Тырмы и у него течёт в жилах эта горячая кровь, они будут обмениваться теплом друг с другом – и тогда не страшен никакой холод. Конечно, если время, отпущенное им на жизнь, сравнить с возрастом этих скал, то осталось им – мгновение. А потом каждый из них успокоится под кладбищенским холмиком, в родовой своей ограде, рядом с ушедшими раньше. Но главное – что тепло это люди не забирают с собой, оставляют его другим, и потому оно не кончается в мире, потому оно вечно.

– Эге-гей-гей!

– Ого-го-гоу!

Тревожно оглашал горы, рассыпал звонкие чистые клики улар-акапкап: будьте бдительны, будьте настороже... медведь... медведь...

– Эге-гей-гей!

– Ого-го-гоу!

Перевод С. Шевелёва

МШАГУ МАЛЕНЬКИЙ И МШАГУ БОЛЬШОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. КОГДА СОЛНЦЕ ПОДНЯЛОСЬ НА ВЫСОТУ ТОПОРИЩА, вышел из маленького своего невзрачного домишка, притулившегося к островерхому, покрытому густыми зарослями папоротника холмику, – вышел из своего домишка Мшагу1 Маленький, степенно зашагал вниз, к пыльной рыжеватой дороге.

Тогда же примерно вышел из добротного своего просторного белого дома, венчающего внушительный противоположный пологий холм, вышел из своего дома Мшагу Большой и неторопливо зашагал к той же пыльной рыжеватой дороге.

Вот так каждый день – дорога, заботы... И всё потому лишь, что живут они не ради себя, не ради спокойствия своего, как ухитряются это делать даже и в наши дни ещё многие... Потому что... Но об этом потом.

Правую руку Мшагу Маленького венчал, можно сказать, неизменный верный его друг, его десница, как сам он говорил, увесистый самшитовый посох по имени Шишкинтыпла. В правой же руке Мшагу Большого тоже был надёжный друг, щегольской кленовый посох по имени Кварквантиа...

У Александра Македонского был верный друг – конь Букефал, или Буцефал, у нарта Сасрыквы2 – Бзоу, у Дон Кихота – Росинант. Эти друзья носили на себе своих владельцев, но один бог знает, сколько раз пришлось их

[1] Бесстрашное сердце.

[2] Нарт Сасрыква – герой абхазского эпоса.

подковывать. Всем известно, что, например, Бог одарил Айнаржи[1] и недюжиной силой, и сноровкой, но даже и ему, пожалуй, туго приходилось – попробуй-ка подковать сотню коней ста братьев – нартов. Сколько же это подков понадобится? Сосчитать невозможно...

Но наши герои – они держат своих друзей в руках, а друзья-посохи поддерживают владельцев – то есть те и другие делят труды поровну. Всё-таки надо признать, что демократия со времён Буцефала, Бзоу и Росинанта хорошо шагнула вперёд. Однако не одна только демократия совершила воистину олений прыжок в будущее от времён нартов – к нашим: ещё дальше новые времена продвинули технику. Например, на посохи наших героев насажены теперь закалённые стальные наконечники – несносимыми стали нынче верные друзья.

Короче говоря, Мшагу Большой уже приближался к тому месту, где он должен встретиться с другом. Так и должно быть, ему и надо было прийти первым. По словам Мшагу Маленького, никогда не во вред разведать, что к чему, хотя бы поверхностно.

День выдался ясный. Припекало солнце. Сквозь марево, колышущееся над засеянным полем, слышалось ровное гудение. Поникшие на жаре цветы акации источали густой запах мёда.

Мшагу Большой не торопился. Остановился под кустом акации, снял с головы башлык. Рядом с ним стал его надёжный друг, кленовый посох Кварквантиа: подставил свою голову под башлык хозяина. Когда ветерок овеял белые-пребелые, но не поредевшие ещё ничуть волосы Мшагу Большого, он улыбнулся от удовольствия, оттого, что ветерок не поленился, доставил ему наслаждение. Вообще-то, надо сказать, заставить Мшагу Большого улыбнуться нетрудно было, при малейшем ощущении приятности все морщины, избороздившие его обычно застыло-медное лицо, омытое многими дождями, иссечённое ветрами, опалённое солнцем, обожжённое холодами, все его складки, впадинки и морщинки заполнялись улыбкой удовольствия, словно иссохшая в засуху земля – долгожданной водой внезапного ливня. Но не это удивительно, не об этом мы. Удивительно другое: случись Мшагу Большому испытать обиду, она тотчас, не таясь в душе, выказывалась, обнаруживалась в лице... Но в том-то и дело, что выражение обиды на лице Мшагу Большого очень походило на улыбку. Поэтому надо запомнить, что в лице его залегли, конечно, и следы обид, однако неотличимые совершенно от следов улыбки.

2. МШАГУ МАЛЕНЬКИЙ, СОРАТНИК И ДРУГ МШАГУ БОЛЬШОГО, объясняет, как это всё так получилось:

– Уважаемый народ! – (Ведь если тебя слушает хотя бы три человека, они всё же представители народа... Народа!) – Уважаемый народ! Как всем нам известно, Бог сотворил человека из глины. Чтобы понятнее было, – примерно так, как мастер Кяукиас лепит из глины трубки. Ну, вы сами знаете: сначала он делает заготовки, сколько надо. А уж потом обрабатывает каждую,

[1] Айнаржи – легендарный кузнец Нартов.

снимает лишнее, придаёт форму. Но мне случалось наблюдать, что даже и такой искусник, как Кяукиас, такой мастер – золотые руки... чтоб было понятнее, посмотрите вот на этот посох Шиш... – (Тут он запнулся, прикусил язык некрепкими уже зубами; ведь стоит назвать вслух имя, как оно станет общим достоянием, а не зря говорят, что знать имя – значит узнать человека, его характер... Он сам-то, конечно, живёт не ради себя, но именно это имя, имя своего посоха, своего верного, хоть и тяжеловесного друга, он хочет сберечь для одного себя.) – Впрочем, это неважно. Все знают, Кяукиас великий мастер, но и ему приходилось выпускать брак... Спрашиваете, почему приходилось? А вот почему: он вдруг начинает из жадности к работе соревноваться сам с собой – и делает очень много заготовок. Все вы знаете, ему всегда не хватает времени, и он это помнит, однако хочет всё начатое сразу и закончить. Но ведь человек же, – значит, устаёт, начинает небрежно отделывать трубки, а под конец уже и необработанные заготовки кидает в кучу готовых. Потом, конечно, Кяукиас может выбросить негодное, труда только жалко, а глины всегда в достатке – сколько угодно бери в обрыве. Да, так вот получается... А на небе – там дело другое, глины там не так уж много. И мастер не может себе позволить не обжигать, просто выбросить то, что уже слепил. Так что обжигает он всё, что налепил, и удачное, и неудачное, и всех, значит, людишек, налепленных скопом, отправляет на землю. Вот и наш Мшагу, которого мы так уважаем, он из тех, кого творец наспех слепил и не успел отделать. Сверх плана, так сказать, выпустил. Мы верим, конечно, что его, нашего Мшагу, начали лепить, желая ему добра... Но что ж теперь поделаешь – примириться надо: не всё завершено, не всё на его лице обозначено. Так что сейчас лицо его умеет выразить только улыбку, но, если подумать, это даже неплохо, особенно для тех, кто смотрит на него, – печален он или обижен, всегда улыбается. По-моему, уважаемый народ, лучше видеть его улыбку, чем слушать жалобы или брань!

Могло ещё быть и хуже: если бы Творец успел только закруглить, очертить только в общем лицо нашего Мшагу – и оставил бы вообще без всякого выражения... Кто бы смог тогда хоть что-нибудь сделать? Разве мы вправе роптать на Творца! Скажем, если не все мы, то некоторые из нас... – (Он хотел было добавить «я», но раз уж обращался к уважаемому народу – говорить такое было неудобно.) – некоторые способны постоять за правду, а вот Мшагу наш, без сомнения, не может защищать её, только улыбаясь, но зато он может пригодиться как миротворец: ведь даже борясь за правду, случается переусердствовать, – и должен же кто-то остановить, утихомирить, сгладить... да, да, и никто не скажет, что такие не нужны! Если бы никто не успокаивал спорящих, ни у кого бы в селе и зубов не осталось. Одним словом, уважаемый народ, человек этот полезен, способен дать нам хоть и не много, зато единственное, чем обладает: утешающую улыбку, и не жалеет её для вас. Помните ведь, как, вступая в колхоз, тоже вносили кто что мог: один – целую упряжку, а другой и одного быка не смог отдать.

Если Мшагу Маленький обращался к «уважаемому народу», очень трудно было его остановить...

Одним из слушавших его был сам Мшагу Большой, и ему, скорее всего, не пришлась по нраву речь Мшагу Маленького, но узнать что-нибудь толком невозможно было: как понять по неизменной улыбке, что её вызвало, удовлетворение или обида? Вслух же он ничего не сказал из чувства собственного достоинства – уже тогда их различали, двух Мшагу, прибавляя: Большой или Маленький, и он не хотел опускаться на уровень Маленького. Конечно, он знал кое-что о том, что за человек Мшагу Маленький и как себя проявил, а довольно скоро испытал это и на себе самом...

Да, надо ещё сказать, что Мшагу Большой не только был обделён кое-чем, кое-чем он был наделён в избытке. Этот излишек именно и доказывал, что Мшагу не успел пройти окончательной обработки. Он был сложён расточительно могучим, громадным, с ручищами, подобными крепким балкам. Однако же на самом деле не настолько был сильным, как выглядел. Правду говоря, сила-то у него была, и в достатке, да он не притрагивался к ней, даже и не догадывался о её мощи – недвижно замерла в нём стоячей водой... Однажды понадобилось от него какое-то усилие, он всколыхнул её и позволил течь, а она хлынула потоком. Если бы люди не помогли усмирить её – плохо бы кончилось... С тех пор он её и опасался, этой силы своей непомерной, смущался её. Поэтому сковал и наглухо запер в себе. Но иной раз, случалось, она не подчинялась ему, ворочалась в нём и тогда сбивала его с ног...

Сказанное Мшагу Маленьким о Мшагу Большом стало известно многим. И однажды как-то почтенные завсегдатаи колхозного клуба вернулись к этой теме в присутствии обоих Мшагу.

– Если даже творец кое-что и не успел в нём завершить, – начал один из собравшихся, – то всё же, надо признать, лепил его, когда материала под рукой было с избытком...

– Там, я думаю, материала вдоволь никогда не бывает. Или, скажешь, у Господа есть под рукой обрыв с глиной, как у Кяукиаса? – любовно оглаживая круглую рукоять своего посоха, Мшагу Маленький подмигнул соседу. – Это «с избытком» просто лишнее, которое Творец не успел стесать...

– Не успел? Думаешь, он так уж дорожил глиной? – спросил другой.

– Безусловно!

– Тогда куда же он девал остатки?

– А это я вам скажу, куда девал, – вмешался вдруг в разговор Мшагу Большой, до того степенно и молча восседавший на скамье рядом. – Мшагу Маленький правду говорит... у Творца нет лишней глины, чтобы тратить её понапрасну. Он даже из отходов зря не потеряет ни крошки. Я, например, знаю, на что ушли отходы от меня.

– Да ну, неужели? – подбодрил, удивился как бы один из завсегдатаев. Видно, и вправду что-то знает, раз так долго молчал...

– Из отходов этих Бог слепил Мшагу Маленького, – объяснил Мшагу Большой. И ясная улыбка залила, затопила все морщинки его большого лица. – Оттого и получился маленьким…

– Мал золотник, да дорог, – почти выкрикнул Мшагу Маленький, которому очень не понравилась внезапная смелость Большого.

– Получился маленьким, – повторил Мшагу Большой, – потому что много отходов остаётся после окончательной отделки. А меня не успели завершить, так сказать, отделать как следует, – вот остатков и оказалось мало. Так что у меня в избытке как раз то, чего недостаёт Мшагу Маленькому...

Все глядели на Маленького, будто впервые увидели его, – разглядывали, можно сказать. Кое-кто, отвернувшись, прятал нехорошую ухмылку. Если б смеялись открыто, Мшагу Маленький стерпел бы, конечно, но затаённые усмешки – нет, это ударило в самое сердце!

– Отходов так мало осталось, хватило лишь на кожу да кости. Понадеялся, видно, Творец, что Мшагу Маленький на земле сам себе что-нибудь прибавит... – Никто и не подозревал, что Мшагу Большой может говорить так долго и складно. – Но прибавить здесь, в нашей жизни нелегко оказалось.

– Совсем невозможно... Думаешь, Творец знает о том, как скупа земля? Не только тот, у кого лишь кожа да кости, нет – чаще и буйволошкурый, с мясом, с жиром под кожей, даже и такой обжигается то горячим, то холодным, – отозвалось сразу несколько человек, говорили серьёзно, даже грустно.

– Всё же, согласитесь, Творец достоин хвалы. Плохо ли, хорошо ли, но из глины на одного слепил двоих!

Нет, положительно, никогда не развязывался до такой степени робкий обычно язык Мшагу Большого.

– Об этом сейчас даже и в газетах пишут, премии дают, – поддержал тот из завсегдатаев, кто затеял разговор. Подтолкнув локтем учителя, который для большего веса носил очки, спросил: – Как это называется?

– Экономия материала! – блеснул плоскими стёклами очков учитель.

Кое-кто не выдержал и прыснул от смеха.

Это переполнило чашу терпения: Мшагу Маленькийа – а в те годы он обладал ещё кое-какой силёнкой, – уронив любимый посох Шишкинтыпла, подскочил к Мшагу Большому и небольшими своими, почти детскими крючками-пальцами схватил его за горло. Мшагу Большой обладал завидным терпением и выносил это нападение довольно долго, но в конце концов стал задыхаться, и тогда выдержка его сдала, иссякла. Он, не сердясь даже, а просто желая свободно вздохнуть, напряг мышцы – и Мшагу Маленький отлетел метра на два, упал на мирную зелёную травку. Растянулся на ней, сухой и лёгонький, даже не примяв её.

Наблюдавшие эту схватку степенные завсегдатаи клуба не испугались, не вскочили в беспокойстве с мест – только лишь переглянулись, соображая, к чему бы это Мшагу не шевелится. В самом деле, всем было известно, что Мшагу Маленький за правду жизнь отдаст, ни перед чем не остановится. Может, в этом случае он считает себя неправым, потому и лежит неподвижно, затих на травке?..

Мшагу Большой, вздохнув наконец свободно, не сумел сдержать улыбки – залила все морщины и складки на старом его лице. С этой разлившейся

безмятежной улыбкой он поднялся, шагнул, склонился над распластавшимся в траве Мшагу Маленьким. Опустившись на колени, он ласково коснулся его головы своей огромной ручищей, но Маленький не шелохнулся. Сидящие переглянулись: что за хитрец! Наверное, он нарочно, как лиса, притворясь мёртвой, подманивает, а потом хватает ворон, так и он хочет опять схватить Большого за горло. Правда, тогда Большой снова захочет вздохнуть через некоторое время, и Мшагу Маленький отлетит уже метра на три... А когда он отлетит в третий раз, вот тогда уж придётся вмешаться и разнимать. Ведь если в первый раз отлетел на два метра, сейчас отлетит ещё на три... два да три – всего пять... Придётся вставать, идти, опираясь на посох, добрых пять метров. Нет, лучше уж сейчас разнять, а то потом ещё дальше понадобится за ним идти...

Мшагу Большой осторожно перевернул лежащего лицом вверх, но тот всё не подавал признаков жизни.

– Долго же он может терпеть! – с уважением рассуждали завсегдатаи. – Как умеет добиваться своего: вынуждает Большого всё делать своими руками, выжидает, а как выберет удобный момент, пропало дело Мшагу Большого!

Вот и сейчас Мшагу Маленький так себя ведёт, такой пример терпения показывает, что ясно: жизнь отдаёт за правду!

Неподвластная Мшагу Большому улыбка блуждала по его лицу, а огромные его руки блуждали по плечам, по голове, по обмякшему телу Мшагу Маленького. Вот он поднял голову, Большой, и посмотрел на завсегдатаев, но как узнать, о чём он думает, если на лице вечная улыбка, доволен ли он или не всё как надо. Почтенные глядели на него, но не поднимались пока на помощь, считая, что он и сам может справиться.

Неожиданно Мшагу Большой приложил своё большое, сильно заросшее и измятое, словно на ночь клал его под матрац, приложил своё ухо к плоской груди Мшагу Маленького. Что касается дыхания, тут Мшагу Большой был слаб и нетороплив, не мог выносить долгой его задержки, но зато вот слухом он обладал острейшим: мог скуки ради слушать спор муравьёв глубоко под землёй.

А вот Мшагу Маленький – он сумеет не дышать, сколько понадобится...

Мшагу Большой в недоумении поднял глаза, уставился на завсегдатаев.

...Мшагу Маленького не перехитрить, он знает, что у противника острый слух, потому и не дышит. Не уступит, даже если сердце не выдержит...

Хотя, видно, пора уже всё-таки что-то предпринимать. Как узнаешь, что он там придумал, этот человек, так умело разбирающий правду, словно жареную курицу – по косточкам. Видно, он знает и как её защищать.

В этот момент раздался голос Мшагу Большого. Все прислушались.

– Умер, – сказал он, и по складочкам его улыбающегося лица потекли слёзы. Если уж он начинал плакать, так слёзы лились целыми потоками. Может, глина, из которой его так щедро слепили, была водоносной?

Старики на скамейке переглянулись.

...Если действительно умер Мшагу Маленький, то этот, обильно льющий слёзы, не сумеет уложить его как подобает. Мшагу Маленький, он ведь крутого нрава, это всем известно, и пальцы его так и останутся скрюченными, будто он ещё держит за горло Мшагу Большого. Умершего следует почитать, он уже принадлежит Богу, поэтому ничто лишнее не должно выпирать из него, всё должно быть пристойно. Единственно, что утешает во всей грустной истории, так это то, что покойник лежит от них на расстоянии не более двух метров, а мог бы лежать и в пяти...

Однако же и сейчас почтенные завсегдатаи не двинулись с места. Ведь если поднимутся они, значит, поверили в его смерть, Мшагу Маленького. Но ведь ясно же, что тогда столь неистовый правдолюбец, увидев такое, и в самом деле возьмёт и умрёт.

Мшагу Большой подсунул под плечи Маленького свои огромные ладони, поднял его как пушинку и, почти вплотную приблизив своё лицо, поглядел на его вечно красные веки.

Потом вдруг бережно опустил Маленького на траву и оглянулся на завсегдатаев:

– Нашлась!

– Что – нашлась?

– Душа!

На скамейке облегчённо вздохнули. Однако тут же возникло новое беспокойство: раз Мшагу Маленький жив, он ведь непременно захочет отомстить. Если не отомстит сейчас, тут же, значит, разойдутся двое Мшагу врагами, и тогда годы уйдут, чтобы их примирить. Ещё и потому это будет трудно, что главным мастером уговаривать во всём селе был именно Мшагу Маленький: способен был уговорить срастись сломанные кости. А где найти такого, который уговорил бы самого Мшагу?

Снова обернулся к скамейке Мшагу Большой:

– Глаза открыл!

Старики видели, как пристально, словно давным-давно не видел и успел соскучиться, глядел на воскресшего Мшагу Большой, и слёзы всё ещё струились по морщинам его улыбки...

Опять переглянулись завсегдатаи.

...Это ведь не принято, да и Богу вряд ли угодно, чтобы слёзы проливались, так сказать, над живым. Всё-таки что у него за политика, у Маленького этого, что так затаился? Может, просто хочет показать, что ничего такого не случилось?.. Да, если и политика, то прямо надо сказать: незаурядная. Тонкая. Сложная то есть.

И впрямь невелик Мшагу Маленький, с кулачок будет, а терпения у него – с большой дом. Это и естественно: не может служить правде нетерпеливый человек.

– Что со мной?.. – голос Мшагу Маленького был не столько слаб, сколько томен, словно у очнувшегося после сладкого сна.

Мшагу Большой открыл было рот, но не мог вымолвить и звука, мешали слёзы: все устремились в рот, как дождевая вода, уставшая растекаться по равнине и нашедшая наконец углубление, ямку...

– Что со мной? – настойчиво повторил Мшагу Маленький.

На скамейке покачали головами.

...Будто не знает... непрочной верёвкой хочет стреножить необъезженного коня...

Мшагу Большой, так и не успев ничего сказать, тронул горло в том месте, где хватал его Маленький, – то ли случайно, то ли зачесалось там... И Мшагу Маленький мгновенно вспомнил всё, будто ничего и не произошло с того времени, быстро схватил обидчика за то же место.

Старики на скамейке вздохнули с облегчением: слава Богу, не придётся их мирить, не отстанет теперь Мшагу Маленький от Большого, пока не отомстит. И, оставив обоих Мшагу заниматься выяснением отношений, завсегдатаи потихонечку разошлись.

Мшагу Маленький меж тем всё держал за горло Большого, а Большой всё сдерживал свою силу. Постепенно мир в его глазах сделался оранжевым, как персик, а потом и вовсе потемнел... Сколько он оставался тёмным, неизвестно, но когда Мшагу Большой очнулся, увидел, как испуганно хлопает глазами над ним Мшагу Маленький.

– Ну и дурень! Вы только посмотрите – способен ведь любую глупость выкинуть... возьмёт да и помрёт! Как индюк, никакого терпения! – И он сел на траву рядом.

Мшагу Большой, приподнявшись, тоже сел на траву. С тех пор Мшагу Большой и Мшагу Маленький были неразлучны, словно раздвоенный ствол одного дерева.

Но они и на самом деле были как бы раздвоенным стволом одного дерева – если не по роду занятий, то по характеру, по ощущению своего места в этой жизни. Да и жизнь не забывала – постоянно сводила их. Когда организовали колхозы и первые артели, оба они были ещё крепкими молодыми мужчинами, и оба записаны были бедняками. У того и у другого были семьи, только у Мшагу Маленького так никто и не родился, а у Мшагу Большого дом был полон детьми. Два или три года оба считали главным своим занятием (так они сами его называли) – бедность, но однажды внезапно друг за другом отреклись от неё.

Вот как это случилось.

Как-то артель выделила Мшагу Маленькому с женой изрядное количество пшеницы: он заполнил ею все закрома, а остаток ссыпал в пустой винный чан. Пока они ели эту пшеницу, в ней завелись неведомые вредители, которые сожрали не только зерно, но и самый чан. (Мшагу Маленький не считал себя человеком, способным на необдуманные поступки, но в этом случае не мог промолчать. На собрании встал и заявил вслух: так, мол, и так, вредители завелись у него в доме, не посчитался с тем, что это бросает тень на доброе имя его, ведь главное было – постоять за правду... Хотя, конечно, как тут найдёшь, что это за вредитель такой, и зерно и чан слопал... Никто

так и не узнал ничего определённого насчёт вредителей, зерна и чана, так ничем дело и не кончилось, но Мшагу Маленький в тот раз впервые почуял своё призвание заступника правды.)

Что касается Мшагу Большого, то у него в доме восемь ртов просило есть, – разве б эти оставили зерно для вредителей? И вот как-то раз встал он на артельном собрании и заявил, что оставляет своё новое занятие –бедность. После этого он запутался, отвечая на сыпавшиеся вопросы сельчан. Именно тогда Мшагу Маленький и услышал настойчивый зов правды и, не колеблясь, откликнулся на него:

– Как же ему не оставлять занятие бедняка!.. – выкрикнул он, вскочив с места. – Семье из десяти человек даёте столько, сколько двоим, мне с женой, к примеру, где же правда и справедливость? Почему скрываешь правду? – накинулся он на Мшагу Большого. – Не стыдно тебе? Уклоняешься от правды? Сказать стесняешься, что детей кормить нечем?!

Собранию ничего не оставалось – не идти же против правды, – отсыпали Мшагу Большому к его зерну половину из положенного Мшагу Маленькому. С этого дня оба получили в добавление к основному, бедняцкому, ещё и новое звание: Мшагу Маленький – непреклонного заступника правды, откровенного борца, а Мшагу Большой – примирителя, успокаивающего, сглаживающего противоречия. Конечно, такие занятия в бумаги не запишешь, не занесёшь в графу, но оба большую часть своей жизни отдали именно этим профессиям, один спорил, другой мирил.

В тот день на собрании, когда Мшагу Большой стеснялся говорить о том, что бедность обременительна для него при большой его семье, Мшагу Маленький выступил было против уклончивости и мягкости Мшагу Большого, однако, всё обдумав, решил, что и это его занятие – сглаживание – тоже нужно. Если бы Мшагу Большой просто повторял слова Маленького, он мешал бы довести его правду до других, которые продолжали бы делать всё по-своему, то есть не по правде, как её понимал Мшагу Маленький. Но примиритель, всё сглаживающий и смягчающий, способный остановить Мшагу Маленького, если того уж очень занесёт или если переборщит он, примиряющий, – такой человек помогает остальным лучше и яснее увидеть правду, делает её убедительной.

Вот так эти двое и стали словно бы раздвоенным стволом одного дерева.

С тех пор стоило Мшагу Маленькому заподозрить, что где-то что-то неладно, он ломится напрямую, добивался правды открыто, без всяких там околичностей, называя вещи своими именами. Где бы это ни происходило, на сходках ли, артельных собраниях, примирении враждующих, улаживании свадебных разногласий, или же речь шла о семейной ссоре, – всюду Мшагу Маленький, колюче сверкая глазками, намертво хватался за то, что считал правдой. Мшагу Большой начинал примирительные речи, и Маленький, забыв обо всём, набрасывался на него, будто в нём одном коренились все неправды мира. В конце концов всегда выходило так, будто Мшагу Большой принимает на себя вину, и Маленький успокаивался.

Время шло, но ничто не менялось. Мшагу Маленький всё так же ратовал за правду, Мшагу Большой, смягчая его наскоки, как бы принимал вину на себя, чем отвлекал и опять и опять утихомиривал заступника справедливости.

Так они и состарились.

Теперь в бумагах у каждого записано было новое их занятие: пенсионер. Но это в бумагах, это неважно; зато никогда прежде не было у них столько времени на то, что оба считали главным своим занятием. И оба, разумеется, не упускали времени, не тратили его даром...

3. КОГДА СОЛНЦЕ ПОДНЯЛОСЬ НА ВЫСОТУ ОЛЕНЬЕГО ПРЫЖКА. Мшагу Большой всё ещё стоял в тени акации, отдыхал, умиротворённо улыбаясь. Ветерок, осушивший вспотевший его лоб, становился всё приятнее. Мшагу расстегнул обычно наглухо застёгнутый ворот рубашки, ослабил пояс, к которому прикреплялись большой кинжал и пустая пороховница, и дал возможность ветерку овеять спину и грудь. Стало ещё приятнее. Улыбка, уже не вмещаясь в отведённые ей на лице складки, переливалась через край.

Однако его ждали сегодня большие дела. Прежде всего ждала, конечно, дорога, пора было двигаться дальше... Чтобы подготовить всё к разговору, он должен прийти пораньше, пока Мшагу Маленький ещё находится в пути. Мшагу Большой огляделся и, не заметив никого поблизости, снял с Кварквантиа свой башлык и так продолжал путь, не надев башлык на голову и не затянув пояса. Несомненно, он приведёт себя в должный вид – и застегнётся, и подтянет пояс, и башлык наденет, – как только приблизится к цели своего путешествия.

Было жарко, но ветерок приносил прохладу, щебетали не сморенные ещё жарой птицы. Настроение Мшагу Большого было прекрасным. Правда, предстоял крепкий разговор с Мшагу Маленьким, неизбежны трения, но в конце концов ведь они сойдутся на чём-либо, – как всегда.

Они живут на соседних холмах, друг против друга. Когда Мшагу Маленький раздражён, это не ускользает от острого слуха Мшагу Большого. Сегодня утром, например, в уши Мшагу Большого ворвался донёсшийся с соседнего холма голос Маленького.

– Мамалыгу сними с огня, мамалыгу! – кричал он старухе.

Мшагу Маленький и Мшагу Большой никогда не выходили из дому, не позавтракав, потому что на том пути, который предстоял им в течение дня, могло не оказаться ни крошки пищи, либо она попадалась слишком поздно, уже вечером... Богатый жизненный опыт выручал их: они каждый раз выходили из дому, плотно поев. Из этого же опыта Мшагу Большой знал, что Мшагу Маленький, рассердившись, постоянно испытывает чувство голода. И если не мог сразу же съесть что-нибудь такое, поплотнее, то раздражался ещё сильней. Сердился Мшагу Маленький обычно в тех случаях, если не затрагивался в разговоре какой-либо значительный вопрос или не обсуждалась важная проблема. И вот в такие критические минуты подобающее угощение и стакан вина (хоть и не увлекался им слишком) и

простая застольная беседа могли в какой-то степени успокоить Мшагу Маленького.

Но сегодня предстоит нечто действительно важное… Дело, которое они собираются обсудить сегодня, можно обсуждать не только день, а и целую неделю. И если даже не окажется в достатке слов для столь значительного разговора и он прервётся, хозяин, ожидающий их, не поленится на угощение, так что рты их, точно, будут заняты делом – не тем, так этим.

С дороги был уже виден двор, к которому направлялся Мшагу Большой, и ореховое дерево во дворе, и хозяин, сидящий под деревом. Мшагу проворно накинул башлык, застегнул наглухо ворот, затянул потуже пояс, выдвинул вперёд верный свой посох Кварквантиа и чинно, торжественно, неторопливо двинулся к цели.

4. МАСТЕР КЯУКИАС – ЗОЛОТЫЕ РУКИ сидел на скамье под старым ореховым деревом, едва родившим теперь редкие листья, сидел посреди своего просторного, открытого всему миру двора. Дело было утром, в конце пятого месяца – мая или, по старинке, месяца сева, в двадцатом веке по грегорианскому календарю, или по новому стилю, хотя сам хозяин привычно отсчитывал время по фазам луны. Сидел, как сиживал его отец, а до того – отец его отца, а до того дед отца... прадед... прапрадед...

Великий мастер, мастер Кяукиас – золотые руки.

Перед ним лежала груда уже очищенных прутьев, рядом – неочищенных, толстых, им предназначено было лечь в днище корзины, днище уже было готово и сплетён первый боковой ряд. Справа от мастера, под рукой лежал сделанный им самим большой рабочий нож. Сладкоголосый друг, ценимый выше всех остальных друзей-инструментов. Никто не подумает, глянув на быстрые худые пальцы мастера, что они легко управляются с таким тяжёлым ножом. Но пальцы и нож любили и понимали, а потому берегли и не утомляли друг друга.

Они так чувствовали, так слушались друг друга, что возникало некое новое качество, невозможное в изготовленной вещи без удивительного этого согласия; но со стороны казалось немыслимым, невероятным, чтобы всё, сотворённое в таком необычайном согласии, возникло, вышло из-под этих худых стариковских пальцев и кованого в обыкновенной сельской кузнице ножа.

Следом за Сладкоголосым расположились другие привычные орудия труда: топорик Чудозвон, ножовка Визглянка, долото Шептун, молоток Крепкий Удар, киянка Тупоголовка, молот Гулкозвон... – все они, объединяясь с худыми пальцами мастера, умели творить чудо, преображали всё, чего касались...

Каждого своего друга он знал и отличал по голосу. Стоило инструменту встретиться с деревом, как он звучал своим особым тембром, а некоторые из них во время работы пели. Иной раз в этом звучании участвовал даже и окружающий воздух – наподобие воды, разбегающейся кругами от брошенного в неё камня. Кяукиас отличал по голосу не только своих друзей, но знал также отзвук всякого дерева. Он помогал дереву заговорить и ведал,

где таится его душа. И не только потому, что изготовлял прекрасные апхиарцы и ачамгуры, – нет, просто он от рождения понимал голос любого дерева. Он и мастерил эти музыкальные инструменты, можно сказать, для того, чтобы другие люди тоже могли бы услышать звучание живого дерева. Но удивительно, что, собрав по кусочкам, по нотам это звучание для других, дав ему проявиться, он утрачивал голос дерева для себя – не умел извлечь его из готового инструмента.

Когда его рука вот так вот, в добром согласии со своими друзьями, занята была древним ремеслом, мастер не испытывал, просто не знал усталости, так согласованны были все их действия и столько тайн открывало им дерево. Если дерево попадалось из молчащих, – что ж, чем труднее поддавалось оно их усилиям, тем слаженнее работали пальцы и нож, и дерево, бывало, изронит-таки свои утаиваемые заветные звуки.

Всю прошлую неделю Кяукиас сеял и поэтому разлучен был со своими друзьями, успел стосковаться по ним. Он скучал без каждого из них, но работать сразу вместе со всеми, разумеется, не мог. И сколько бы ни глядел на инструмент, не способен был утолить свою тоску, пока не потрудится вволю вместе с ним...

Сегодня Кяукиас встал рано и успел отвести душу со своим Сладкоголосым другом, который наговорился с прутьями, а с иными, поддающимися, даже и пел. Мастер и сам незаметно для себя увлёкся их пением и потихоньку начинал подпевать им.

С тех пор как Кяукиас, подобно Мшагу Маленькому и Мшагу Большому, вышел на пенсию, он получил возможность почти ежедневно встречаться со своими друзьями-инструментами. Прежде, когда он работал в колхозе, больше всего его тяготили длинные собрания: раз в неделю обязательно собирались – то ли бригадой, то ли артелью. И если б ещё сразу начиналось! В ожидании начала люди судачили, болтали, насмешничали, некоторые, отойдя в сторонку, пели, а иные, стругая от нечего делать палочку, тратили попусту и время и материал... Конечно, он и сам не прочь бы побалагурить, или понасмешничать, или даже спеть – всё это неплохо у него получалось, но только при одном условии: когда руки были заняты инструментами. Тогда все его способности оживали и расцветали. Ожидая начала собрания, он, пока люди беззаботно тратили столько слов и времени, ощущал себя пастухом, запершим стадо в хлеву и сбежавшим на танцы.

До ухода на пенсию, да и после он никогда ни от кого не ждал руководящих указаний, всегда знал сам, что, когда и как ему делать.

Только к одному его принуждали, к собраниям. Но как только сделался пенсионером, перестали. И тут произошло нечто поразительное, такое, чему он бы и во сне не поверил, не то что наяву: он стал скучать по собраниям. Однажды даже сам, без зова начальственного, пошёл на общее колхозное собрание, но не высидел до конца. Он стосковался по обществу, по людям, но оказалось, что собрание не способно утолить его голод, желание быть вместе со всеми. На его счастье в тот вечер повстречались с ним Мшагу Маленький и Мшагу Большой. С тех пор как сделались они пенсионерами, у

них было наконец-то достаточно времени, чтобы тратить его не жалея на своё главное занятие: на собрания, обсуждения и споры. О лучшем они и не мечтали. И не томились ожиданием, как раньше, не зная, чем себя занять до начала собрания. Нет, теперь они активно готовились: Мшагу Маленький брал слово и за что-либо горячо заступался либо так же горячо изничтожал, а Мшагу Большой сдерживал его, сглаживал резкости, смягчал сказанное другом в запальчивости.

В тот раз Мшагу Маленький не получил слова на собрании – слишком много было горячих дел в страдную пору. Когда же со временем бывало посвободнее, его даже, случалось, просили выступить: на всяком собрании нужно хоть немного критики, если всё хорошо и гладко, так это и не собрание, а юбилей какой-то. Говорят же, что даже и лес имеет уши. А если слух такой насчёт собраний без критики, не дай бог, переберётся за реку – там ведь дороги стрелами несутся в разные стороны, – может занести кто знает куда.

Председатель на том деловом перегруженном вопросами собрании хотел-таки дать слово Мшагу Маленькому. Во-первых, многие во время выборов были против председателя, а Мшагу Маленький, этот великий адвокат справедливости, заподозрив сговор, яростно выступил в его защиту. Во-вторых, председатель выпускал Мшагу Маленького, то есть давал ему слово, как только становился в тупик, не мог ясно и чётко решить неотложные хозяйственные проблемы или ответить на неприятные вопросы, и тогда уж, после выступления Мшагу Маленького, собрание так сумбурно запутывалось, что успевало кончиться прежде, чем способно было прийти к какому-то решению.

Как-то при встрече Мшагу Маленький сам, по своей инициативе заявил председателю, что подобные ему, председателю, должны руководить, а не работать физически. А поблизости, то есть рядом, нужны, должны быть люди, напоминающие об этом другим. И что всего этого требуют не всегда мягкие законы справедливости... Мшагу имел в виду, говоря всё это, что председатель был высоченный, не мог пройти ни в одну дверь, не согнувшись, а руки были как у нормального заурядного человека, без особой какой-то силы или умения, и ноги длинные, да некрепкие, худые и слабые... Куда такому работать физически?

Но председатель истолковал по-своему – словно бы приобрёл горячего сторонника.

Мшагу Маленький никогда не умел ладить с людьми, и не только с начальством, но и просто с такими же, как он сам, а вот с председателем после этого случая как-то сблизился. Вообще-то терпеть не мог унижающихся, умеющих льстить ради самосохранения, но тут подкупило его то, что показалось, будто председатель молча отдается под его защиту, признавая тем самым его права поборника справедливости.

А на этом собрании, о котором речь, Мшагу не сумел даже переглянуться с председателем: один не успевал договорить, как поднимался следующий:

вспашка, сев, трактора, быки, буйволы, чай, табак – всё надо успеть сделать, решить, сажать, сеять, собирать...

Так и не открыв рта на собрании, вышел Мшагу Маленький на улицу злой и готовый придраться к чему угодно. И надо же тут было ему повстречать Кяукиаса, так и не утолившего на собрании свою тоску по общению...

– Приходите завтра ко мне, – пригласил он обоих Мшагу. – Сядем у меня под орехом и заново спокойно и здраво обсудим всё, что решили на собрании.

Оба Мшагу переглянулись и тут же согласились. С того памятного дня минул уже год.

Кяукиас и думать забыл о собраниях. Вместо него на каждое исправно ходили Мшагу Маленький и Мшагу Большой, однако им всё реже удавалось выступить там. Отягощённые обидой, являлись они к Кяукиасу на следующий день и повторяли собрания, обогащённые теперь их собственными выступлениями.

Для Кяукиаса порядок этот был очень удобен, руки его продолжали заниматься делом, а голова участвовала в собрании. Случалось, правда, и такое, что оба Мшагу явились к Кяукиасу, не имея готовой темы для собрания. Мшагу Маленький тогда бывал особенно раздражён; когда ему не о чём было поговорить, он начинал злиться на возникающее при этом мучительное чувство голода. Кяукиас и тут находил средство успокоить его: накрывал стол, сам присаживался рядом, успевал и поработать, и пригубливать время от времени, участвуя в тостах.

...Но сегодня они все трое собрались, чтобы обсудить крайне важный вопрос, давненько не удавалось заняться подобным. И день выдался ясный, хороший, вполне подходящий для обсуждения, – погода ведь тоже должна быть на высоте, не подвести.

Так уж повелось, что важные проблемы, обсуждавшиеся их отцами, отцами отцов, дедами отцов, решались обыкновенно под сенью ореховых деревьев. А у Кяукиаса во дворе как раз стоял орех, дающий приличную случаю тень. И вопрос, который они собрались обсуждать, отвечал в свою очередь всем этим требованиям, действительно важен был, вполне подходил для разговора в ясный хороший день, под ореховым деревом, при участии достойнейших из достойных.

Кяукиас в эти минуты, когда Мшагу Большой приближался к его двору, полностью был поглощён плетением корзины, словно плёл не обычную полезную в хозяйстве вещь, а по крайней мере Ноев ковчег, который надо было обязательно успеть завершить до потопа. Он, конечно, думал и о гостях тоже, вообще он всегда принимал их приветливо. Мастер частенько нуждается в зрителях, это раз, а во-вторых, он таким образом избавлялся от тягостного для него посещения собраний, при всём том как бы участвуя в них.

Ореховые прутья как раз и поспели для плетения, – потому что ранней весной, когда ещё бродят соки, они были ломкие. Позднее же у мастера не станет времени, чтобы плести корзины, – надо успевать сейчас. И впереди

ещё немало предстоит, дел достаточно: он ещё не со всеми своими друзьями-инструментами наговорился.

Он почувствовал, что кто-то вошёл во двор; подняв голову, убедился, что, как обычно, не ошибается: тихонько притворив за собой ворота, неспешно двигался к нему по двору Мшагу Большой, степенным, не широким и не мелким шагом. Он ещё раз проверил ладонью, не забыл ли надвинуть башлык на голову, пробежался пальцами по пуговкам – да, ворот застёгнут как положено – и ещё издали послал Кяукиасу безмятежную свою улыбку. Кяукиас, торопясь использовать для работы даже и эти минуты, пока Мшагу Большой приближался, соблюдая достоинство, – сидя на усыпанной стружками зелёной траве, мастер Кяукиас старался успеть оплести ряд, чтобы не прервать звучавшую под пальцами песню. Если не доплетёт сейчас, то доканчивать придётся вглухую, без звучания, и ему будет чудиться, что в новой корзине – прореха, дыра осталась незаделанная.

Он успел доплести необходимый этот ряд как раз в минуту, когда Мшагу Большой приблизился наконец и произнёс с неизменной улыбкой:

– Да спорится твоя работа!

– Добро пожаловать, добро пожаловать! – Кяукиас вскочил по-молодому проворно. – Присаживайся, – он указал на заранее приготовленную, сколоченную из крепких досок скамейку, не слишком высокую, не чересчур низкую, не очень тяжёлую, но и не легковесную – достойную, подходящую к случаю скамейку, на которую прилично опуститься уважающему себя человеку.

– Сиди, не вставай ради меня! – умоляюще воскликнул Мшагу Большой. – Лучше умереть, чем тебя беспокоить!

– Зачем клянешь себя! – возражал мастер, мельком взглянув на свои руки, уже томящиеся без работы.

– Клянусь тобой – не сяду, пока не сядешь ты! Клянусь тобой!

– Мшагу, я же хозяин, могу и постоять.

– Да благословит Бог твоё хозяйствование, но я так хочу, я настаиваю... как гость!

– Сядь! Садись же!

–Нет, сначала ты сядь!

– Прошу тебя, Мшагу, присаживайся! Клянусь тобой!

– Тобой клянусь... Слушай, мы так не успеем посоветоваться, а Мшагу Маленький вот-вот придёт.

Услышав о Мшагу Маленьком, Большой вздрогнул и тут же послушно сел. Кяукиас, поспешно опустившись на травку, поднял свою корзину – сейчас он сплетал как раз такое место, для которого надо выбрать лучшие прутья, чтоб не получилось вмятины, изъяна. Если что-то перестаёт получаться, умолкает под его пальцами песня. Прогладив несколько раз тупой стороной лезвия выбранную хворостину, он укрепил её конец и продолжал плести. Всё шло хорошо, зазвучала песня ручейка, над которым рос ореховый куст. И мастер теперь уже мог отвлечься и разговаривать, не мешая делу, которым занимался.

– Мшагу Маленький, верно, уже в дороге? – негромко, чтоб не спугнуть мелодию, спросил он.

– Конечно, я думаю, уж скоро подойдёт, – Мшагу Большой дёрнулся беспокойно. – Знаешь, может, не надо начинать сразу, как он появится. Это такое дело... Пусть сначала отдышится, скажи ему тёплые слова.

– Да, да, надо дать ему отдохнуть, исподволь, постепенно подвести к разговору...

– Правильно! Но тянуть тоже не стоит. Пока он не начал нервничать, нужно успеть сказать ему главное. А то рассердится, захочет есть...

– Поручи мне, я знаю, сумею найти момент... – не поднимая головы от корзины, тихо, почти шёпотом отвечал Кяукиас.

Его прут сплетался ровно и всё тянул песенку ручейка, над которым вырос. Кяукиас был захвачен этой неслышной для других мелодией – что ему ещё нужно было для счастья! Если не считать лёгкой тоски по другим инструментам, с которыми всё равно не мог ведь работать сейчас одновременно, всё остальное, чего он хотел от жизни, было с ним.

– А где же наша благодетельница? – поинтересовался Мшагу Большой, считая, что начало делу уже положено.

– На мельницу ушла. Собиралась табак полить, пока кукуруза мелется. Это рядом там...

– А не жарко для полива?

– Там тень держится, пока солнце не поднимется на высоту дерева.

– Ах, мастер, мастер, всё-то ты знаешь! Что только не вмещается в твоей голове! – улыбка растеклась по широкому лицу Мшагу Большого. Однако тут же он опасливо покосился на ворота: Мшагу Маленький не любил, чтобы при нём хвалили кого-либо, особенно если это делал Мшагу Большой. И Кяукиас думал о том, что должен подойти Маленький. И спешил поэтому, чтобы успеть сплести сужение – талию корзины. Если он сумеет придать корзине изящную форму, тогда всё станет на место и можно будет спокойно выводить узор.

– Разве в тени табак хорошо растёт? – спросил Мшагу Большой. Он хотел заполнить паузу, но не мог найти подходящей, достойной темы, так как ощущал приближение Маленького и голова его была занята предстоящим.

– Не все тенистые места одинаковы... – безмятежно отозвался Кяукиас. – Пока табак не подрос и нуждается в воде, ему достаточно и этого солнца. Когда же вырастут и окрепнут корни, пойдут листья, день укоротится и солнце чуть сдвинется в сторону – с самого утра будет освещать его... Видишь мудрость, она немножко одновременно и хитрость, а хитрость в хозяйстве всегда пригодится, – засмеялся Кяукиас.

– И впрямь, чего только не помещается в твоей голове! – совсем тихонько похвалил Мшагу Большой и обернулся, посмотрел: вот и солнце поднялось уже на высоту дерева...

5. КОГДА СОЛНЦЕ ПОДНЯЛОСЬ НА ВЫСОТУ ДЕРЕВА, к воротам Кяукиаса подошёл Мшагу Маленький. Кяукиас успел доплести ответственное место – талию корзины, отложил пока работу и, не вставая с

травы, стряхивал стружки. Мшагу Большой, приготовляясь к встрече, выпрямил спину, взялся поудобнее за лучшего друга Кварквантиа, чтобы в нужный момент, опершись на него, быстро подняться.

Войдя в ворота, Мшагу Маленький ускорил шаг, словно доставил важную новость. Когда он добрался до середины двора, встал Мшагу Большой и сделал несколько шагов навстречу. Кяукиас тоже резво поднялся, отряхнул с себя щепки и стружки.

– Да ожидает вас добро! – приветствовал ожидавших его Мшагу Маленький. Приподняв красные воспалённые веки, он пронзительно глянул на них своими колючими маленькими глазками. Мшагу Большой торопливо поставил перед Маленьким скамью, на которой перед тем сидел сам.

– На своей скамье сам сиди! – указал поучающе Маленький, взял протянутую Кяукиасом вторую скамью и сразу же опустился на неё. – Я чужого места ни у кого никогда не отнимал, но и своего не отдавал! – он бережно устроил рядом с собой на скамье своего лучшего друга – самшитовый посох Шишкинтыпла.

Наконец все устроились.

– Я готов, только уж и с корзиной помаленьку буду возиться, – смущённо улыбаясь, объявил Кяукиас. – Когда руки заняты, я лучше слышу...

– Не сегодня же тебя впервые увидели... – ответил Мшагу Маленький. – Когда дятел не стучит по дереву, у него, говорят, голова болит.

– Действительно, так и есть, – подтвердил Кяукиас.

– Так и есть, это точно, – добавил и Мшагу Большой.

– Мы все такие. Когда не заняты настоящим делом, мучаемся головой, – не очень охотно, без одушевления продолжал Мшагу Маленький. – Однако, пока мы живы, пока глаза глядят, мы должны делать то, что и делали. Чтоб не оказаться бедными родственниками. Мы должны прямо смотреть людям в глаза!

– Несомненно, – поспешил согласиться Мшагу Большой. – Все это знают...

– Напрасно так говоришь, – кольнул его Мшагу Маленький. – Не все хотят знать, что Мшагу Маленький правильный человек. Что он не терпел позора, никогда не обходил кривду без боя. И не будет, пока не ушла душа, пока глаза его видят этот мир. Об этом знают не только здесь – и подальше тоже. Но есть некоторые... добиваются, чтобы люди в этом сомневались. Это, знаешь, выгодно таким, у которых нутро нечисто. Но пока я жив, запомни, я не дам им спать спокойно.

В такие моменты Мшагу Большой ничего не мог ответить другу, потому что Мшагу Маленький не терпел, когда его ругали, но ещё больше – когда хвалили, вовсе не выносил.

Кяукиас взялся было за свою корзину, но подумал с тревогой, что Мшагу Маленький скоро захочет есть а жена ведь не вернётся, пока не польёт табак...

– Слушайте, вы что, не ходите уже никуда или под ноги не глядите? – в глазах у Мшагу Маленького сидело сегодня что-то очень уж много колючек.

– Почему? – спросил Кяукиас.

– Опять что-то случилось? – невнятно пробормотал Мшагу Большой.

– Все тропинки перепахали – этого мало? Есть, оказывается, у нас в селе такой аграмон. Если земля пустует, даже если двор это, ему всё одно: вспашите, засейте, посадите... Сказали: есть, мол, у нас аграмон, всё-то он знает, – значит, самим можно уже и не думать. Не нашлось человека, чтобы указать ему, поправить... Кто же может везде успеть!..

– Он же аграмон, его слово тоже что-то значит. За это одно, за землю, его нельзя ещё считать испорченным, – нерешительно возразил Мшагу Большой.

– Не то что испорченный, ещё хуже! – кольнул глазами Мшагу Маленький. – Если ты испорченный, – сиди дома, пусть дом твой тебя прячет. А что тебе делать в общественном направлении, там думать надо! Однако виноват больше не он сам, а те виноваты, кто позволяет ему творить безобразие. Просто руки ещё не доходят до них!

– Говорят, что его учили такие люди... готовые поспорить с самим Богом! – Мшагу Большой был озадачен тем, что разговор идёт не о том, не тот, к которому он готовился, но и молчать нельзя ведь было, не отвечать хоть что-то...

– Сейчас такое время: всякий, кому не лень, спорит с Богом. Почему ты должен спорить с ним, с Богом, он что, сказал тебе, что хочет спорить с тобой? Нет, он без тебя знает своё дело, сам творит, что ему нужно, а ты эанимайся своим делом... по справедливости!..

– В конце концов, говори о нём, что хочешь, об аграмоне... но о его учителях... не наше дело их судить... – Мшагу Большой видел, что его заносит не туда, разговор сегодня потёк как-то не по обычному руслу.

– Кто это тебе сказал? Это значит, Мшагу Маленький не имеет права говорить о них?! Да я, я один полное имею на это право, да, да, я! Если я не выращу, что он будет есть? Что он курить будет, когда сидит на своём балконе? Кто ему даст, спрашиваю, кто? Кто ему даст этот чай, которым он балуется по утрам и вечерам? Ах, ты этого не знал? Теперь будешь знать!

– Это, конечно, так, но...

– Что – «но»? Что?

– Нет, нет... Я хочу сказать, что ты прав.

– Что ты мне всё говоришь ... я и сам без тебя знаю, что прав!

Тут Мшагу Маленький поутих немного, успокоился, кажется.

Кяукиас, держа корзину в вытянутых руках, привычно взыскательно оценил форму, полюбовался красивым изгибом её талии, отложил её в сторону, на травку. И только сейчас спохватился, что гости замолчали чего-то... Уж не поссорились ли? А может, Мшагу Маленький уже захотел есть? Он ведь сам никогда не скажет, но таким сделается нервным и нетерпимым, прямо невозможно...

– Всё, о чём вы говорите, безусловно, тоже важно... – начал Кяукиас... – Но мне кажется, не надо всё ходить вокруг да около... мы должны сегодня обсудить очень большой вопрос. Пожалуй, настало время приступить.

– А как же, и приступим! – вспыхнул Мшагу Маленький. – Как это вы не можете понять, что раз у Мшагу жива ещё душа, раз глядят на этот мир его глаза, он не успокоится, пока не решит это дело! Разве можно закрывать нам глаза, заткнуть уши! Ведь кто мы? Мы народ! Всякий должен знать, что не может пройти мимо нас, словно мимо неодушевлённого плетня!

– Вопрос сегодня такой... – продолжал Кяукиас. Обычно собрание открывал и вёл мастер, это и ему было удобно: он начнёт, а там, пока двое Мшагу сшибаются, он и слово успеет вставить, и дело сделает. – Вопрос сегодня такой, – повторил он. – Председатель колхоза хорошо ли, плохо ли, но ведь столько лет проработал! И мы много лет работали с ним. Ничего особенно хорошего он, правда, не сделал, но и плохого тоже вроде ничего... Если от чистого сердца сказать, разве всё же мало вспоминаем доброго? Например, когда сын Мшагу Большого женился, он был тамадой и столько трудился, даже ночью оставался за столом. Потом, если помните, такой случай был: увидел он, что внизу, на равнине, на колхозной земле, скот пасётся. Кукуруза уже поспела, отвердела, тогда скотина много не могла съесть. Всё же не положено было на поле находиться скоту... Он ехал верхом сюда к нам, спешил. Так и не успел, значит, там слезть с лошади – привезла его к нам. Как сегодня помню, в табачном сарае собрание было, он через слово вспоминал о том, что в поле скот пасётся. «Кукуруза отвердела, скотина много не навредит, успокойтесь», – уговаривали его опытные люди, но нет, не мог он забыть об этом непорядке. Долго на собрании обсуждали разные вопросы, задержались... после таких трудов надо же было покормить человека, пришли все ко мне. Честно скажу, руководитель колхоза не каждый день у меня в доме бывает, нельзя подавать ему обычную нашу еду. Пришлось зарезать нескольких кур, индюшек, выпить друг за друга, как же без этого. Уже вечером, на закате, возвращаясь всё той же дорогой, хоть и устал он очень за столом, посмотрел всё же председатель наш туда, на поле, и заметил: скотина мирно собралась под грабом и жуёт свою жвачку. А лошадь такая была у него норовистая: опять пронесла его мимо, не остановилась. А он заехал всё же в контору, хоть и устал невозможно, а его ждали бригадиры, так, помните, он их всех отправил в поле выгонять скот.

– Надо подчеркнуть – отменив совещание! – не утерпел, вставил Мшагу Маленький: у него, ясное дело, накопилось что сказать.

– Да, отменив совещание. Это не всякий сделает, – продолжал Кяукиас. – Извините меня, я слегка заговорился...

– Не заговорился, хорошо излагаешь, – опять вмешался Мшагу Маленький.

– Мы здесь не шутки шутим, обсуждаем народное дело.

– Одним словом, сегодня стоит вопрос об освобождении этого человека, об избрании на его место другого. Обсудим сначала его снятие.

– Не снятие – освобождение, – поправил Мшагу Большой, зная, как сейчас следует говорить.

– Как хочешь называй, только мы должны рассмотреть, кто у нас был, кого дают, сравнить должны их и вынести решение, что для нас будет лучше... Вот что я хотел сказать. Извините, если был многословен.

Мшагу Маленький задумался, кашлянул, ухватил покрепче своего лучшего друга, самшитовый посох Шишкинтыпла, тяжело приподнял и с силой вонзил перед собой – стальным наконечником в землю.

– Я, – начал он не громко и не тихо, а всё же внушительно, – я с удовольствием слушал всё, что сказал нам здесь мастер Кяукиас. Таких, как Кяукиас, дорогой народ, вы все знаете, мы называем первыми. Мы стараемся ради них, ради таких, как он, труженик, передовик, честный человек, не мелочный, всегда на стороне правды и справедливости. Правда... Правда... – показав остатки мелких уже пожелтевших зубов, Мшагу Маленький изобразил подобие улыбки. – Правда, он не мог до конца выявить, объяснить, в чём тут дело, но не будем его строго судить. Как говорится, каждый – что может. Я, почтенный народ, не посчитайте это бахвальством, вы знаете, что я этого не люблю... но от вашего имени, от своего имени... если хочу что-то сказать, я в состоянии это сделать!

– Кто же и сможет, если не ты, – подтвердил Кяукиас, с огорчением посматривая на свои незанятые руки.

– Кто может, кто сумеет сказать, как ты! – внёс свою долю и Мшагу Большой, зная, что его время ещё не настало, но и не считая приличным промолчать.

– Но, – продолжал Мшагу Маленький, переждав похвалы, –повторяю, первым долгом нам нужно прислушиваться к таким, как Кяукиас, труженикам, которые никогда не подведут. Так вот, рассмотрим вопрос, который он предложил. Подойдём с одной стороны, с другой, заглянем внутрь. В первую очередь я спрашиваю вас, уважаемый народ: что такое случилось, чтобы сейчас, в середине года, когда давным-давно прошли и выборы, и назначения, и увольнения, чтобы сейчас, как говорится, с бухты-барахты понадобилось менять председателя?!

– Видимо, иначе нельзя. Никто не говорит ведь, что он такой уж плохой, но так получается, при нём люди начали ссориться, затевать склоки... – Мшагу Большой почувствовал, что наступила его очередь сказать – самая пора, – и непривычно смело вступил в разговор.

– Я знал, что вы так скажете! Я знал! Мшагу так просто не проведёшь, кое-что я видел, кое-что слышал... Кто, говоришь, при нём столкнулся? И с кем? Думаешь, они там по делу спорят: о бригадах, полях, чайных плантациях? Хорошо знаешь ведь, что нет, не по делу ссорятся, а всё только ищешь предлог, очернить желаешь председателя! Если жители холмов не поделили что-то с обитателями низины, при чём здесь председатель колхоза?! Когда привязались к нему, чтобы помочь, привязались так, что стали мешать работать, разве этот человек не вынес вопрос на всеобщее обсуждение, не сказал на собрании, что этих, мол, надо снять, а тех – загнать подальше... Но вы ему не позволили, уважаемый народ, вы ему не позволили сделать, как он предложил! – Мшагу Маленький отвёл свои колючие глазки

от Мшагу Большого и оглядел просторный двор Кяукиаса, словно он забит был собравшимися людьми. – Несомненно, это относится не ко всем, – насчёт того, что помешали ему, председателю, – а к тем, кто здесь воду мутит...

– Вряд ли кто хочет мутить воду... наверное, так будет лучше сказать... – добавил Мшагу Большой.

– Говоришь, никто не мутит воду? – впился в него колючим взором Мшагу Маленький. – Так-таки никто? В том-то и дело, что мы все видим! Ничто не ускользнёт от нас! Пусть вам не кажется, что не найдётся никого, кто бы заступился, не сказал от имени таких, как Кяукиас. Нет, обманываетесь вы. Вот, скажем, меня нет, пропал, исчез...

– Что ты говоришь?! Не приведи Бог такого! – даже привстал в испуге Мшагу Большой.

– Здесь есть люди, да станет их боль моею, есть люди, что могут соединить сломанные кости, которые уговорили множество враждующих спокойно смотреть друг на друга... Разве не так? Так! Правда, человек, которого мы критикуем, не смог он сделать, чтобы телёнок не сосал свою мать, овца паслась с волком, чтобы яйцо свободно катилось и не нашло на что натолкнуться и разбиться. Но этого и не сможет никто, кроме Всевышнего. Для тех же, кто не на небе живёт, кто здесь, внизу, он ведь вполне подходил. И что вы в нём увидели плохого?

– Никто не держит против него зла, как и я, но раз столько людей выступило против него, не стоит цепляться за должность, ведь он же сам промолчал, – предложил Мшагу Большой, что-то непонятное скрывая за своей неизменной улыбкой.

– Если зла нет на него, в чём тогда причина? Что плохого нашли в нём?

– При желании в каждом можно выискать плохое. Почему не увидеть? Вот, скажем, лошадь у него была капризная, не останавливалась там, где он хотел, проносила его мимо работающих, мимо конторы, где его целыми днями ждали... Не замечал, не кланялся при встрече с людьми. Разве этого мало?

– Уважаемый народ, вы только что слышали, как хотят неповинному человеку приписать несвойственную ему вину, – начал Мшагу Маленький, оторвав колючий взгляд от Большого и оглядывая словно бы полный народа двор Кяукиаса. – Что ему было делать, если лошадь не останавливалась? Что – я спрашиваю? И другое... Вы же знаете, как он высок, просто с дерево ростом. Пока громко не покричат ему, он и не заметит сверху, не услышит. Потому и не кланялся.

– Тут я с тобой не вполне согласен, – неожиданно кислым тоном прервал его Кяукиас. – Очень невысоким был проверяющий, которого прислали посмотреть, как заржавели колхозные трактора под открытым небом… Невысокий, председателю до пояса не доставал, однако тот его прекрасно слышал и не уставал кланяться.

Кяукиас действительно сердился сейчас. Когда ему приходилось много говорить, а руки не были заняты работой, он чувствовал себя так, будто

проглотил целиком два или три початка варёной кукурузы. Он уже пытался было продолжать плести корзину, но песни не возникало – и он выдернул глухой прут. Не оставлять же в корзине прореху! Видя и понимая, что никаких дыр в корзине, конечно, нет, он всё же нутром ощущал их, и это было хуже всего...

– Об этом тоже скажу, Кяукиас, – ухмыльнулся Мшагу Маленький, скривив лицо гримасой улыбки. – Уважаемый народ! Как я уже говорил и буду повторять не уставая, слова таких, как Кяукиас, надо ставить превыше всех остальных. Это безусловно. Но это совсем не значит, что Кяукиас всё знает и говорит сплошную правду. Его голова и руки вечно заняты работой... Если что-то увидит, подняв однажды голову, так и цепляется за это, думая, что увидел важное и главное. Тогда, значит, приходится этого уважаемого, почтенного труженика поправлять. Для того мы все и существуем: я, ты, тот же самый председатель. Тот, кто его заменит. Те, которые прислали нового.

– Я один, а сколько же вас, поправляющих!

– Так тебе кажется, Кяукиас, великий труженик, мастер наш, – мягко убеждал Мшагу Маленький. – Это вопрос такой, что заведёт нас далеко. Лучше вернёмся к тому, о чём говорили. Ты вспомнил, например, что председатель кланялся в пояс человеку много ниже его ростом. Что это доказывает? Доказывает лишь уважительность председателя. Ясно же, что он разбирается в чинах, и не по росту, а по истинному положению... И ещё – отметим его почтительность. Даже не увидев ещё проверяющего, а только голос его услышав, – кланялся голосу. Почему же он кланялся? Потому что, когда гость подавал голос, помните, даже ржавые трактора ему отзывались, а у машины, что чай собирает, осыпалась краска... Такой голос, безусловно, способен был достичь ушей председателя, потому он и кланялся. Скажу больше: кланяться – это свойственно председателю... Другое дело, если не заметит человека.

– Это хорошо, согласен, но всё же лошадь везла его, куда хотела, – не очень уверенно вставил Мшагу Большой.

– Да, ну и что! – Мшагу Маленький посмотрел уверенно куда-то вдаль, туда, где горы встречаются с небесами, посмотрел как человек, которому дано предвидеть победу. – Его лошадь была своенравной, неисправимой, да! Потому он и купил машину...

– Раньше, даже если лошадь мимо конторы его провозила, люди хотя бы видели председателя. А как купил машину, его только на дороге и углядишь: промелькнул – и нету. Всё же я не говорю, что он плохой, нет... Но раз его освобождают, а нового назначают, что ж, посмотрим, каков он будет, этот новый. Не будем оспаривать желание людей, не следует противостоять народу... – Мшагу Большой говорил неохотно, явно желая сократить своё выступление, да и других подбивал на то же, – видать, проголодался уже...

– Почему ты думаешь, что народ – это не Мшагу, а кто-то ещё? Народ – это как раз Мшагу и есть, и что Мшагу говорит – то самое, значит, и народ говорит тоже...

– Это-то верно, конечно, но...

– Что – «но»? – пронзительные глазки Мшагу Маленького уставились на Большого. – Ты говоришь... Ты обвиняешь его, что, мол, на машине не смог подняться в горы, к пастухам! Как ты после этого можешь смотреть людям в глаза?! Он появился там, куда могла доехать машина, – ну и спасибо! Что ж ты хочешь, чтобы он дальше пешком поднимался? Совесть – хорошее дело, конечно! Да разве ты не видишь, как он высок, он же не различает с высоты, куда ногу поставить! И ты предлагаешь ему лезть по нашим кручам! Не думаешь, что говоришь!..

– Мне, например, всё равно, старый или новый... раздражённо бросил Кяукиас. – Я на своём веку столько перевидел всяких председателей, многих даже в лицо не помню... и ничего мне от них ни прибавилось, ни убавилось. Моё дело лучше меня никто не сделает, зачем же мне председатель?

Он всё никак не мог приняться за работу – поэтому сердился. Брался было за корзину, снова оставлял её. Даже верный друг Сладкоголосый показался сейчас тяжёлым.

– Что ты говоришь, Кяукиас, Кяукиас – золотые руки, как это можно без руководителя?! – Мшагу Маленький отрешённо глядел прямо перед собой, словно не видя ни Большого, ни Кяукиаса, и губы его кривились в подобие улыбки, призванной смягчить гнев Всевышнего, неизбежный после таких безбожных грешных слов.

– Мне всё равно! Не нужен мне руководитель...

Мшагу Маленький снова улыбнулся, уже растерянно. Слова Кяукиаса не укладывались в рамки его представлений о жизни, и он не мог ответить как подобает.

– Если машина не может подняться в горы, купил бы аэроплан, – сказал Мшагу Большой, дипломатично не оспаривая утверждение Кяукиаса.

– Думаешь, ариплан такой удобный, где хочешь – сел, слез? – не унимался Мшагу Маленький. – Он ведь тоже похож на его своенравную лошадь, только та провозила его мимо людей, ариплан бы пролетал сверху...

– Есть ведь другой, на макушке у которого крутится вертушка для размешивания фасоли, знаешь, когда жена готовит...

– Ишь чего захотели! Вам бы подставить горшки с фасолью и получать готовое с неба! – попробовал пошутить Мшагу Маленький.

Нельзя произносить перед людьми только умные речи, когда следует и посмешить их. Мшагу Маленький считал, что безупречно знает науку красноречия.

– Говоришь об ариплане, а не подумал, есть ли председателю на что его купить! Если бы даже были средства и купил бы, что бы люди сказали, ты сам что сказал бы?..

– Один дом у него здесь, другой – на берегу моря. Продаст один из них и купит ариплан.

– Вы же знаете моё отношение к тем, кто мало работает, а широко живёт. Но о нём так не скажу. Много имущества ему от отца осталось, они ведь давно на берегу моря жили. Так что зря к его богатству не придирайся. Откуда знаешь, много ли богатства у того, что взамен прислали? И на

сколько тот собирается приумножить его. Легко назначить, да трудно снять! У нашего уже есть всё, что нужно, даже и сыну машину купил. Он нас знает, мы – его. И доходит, значит, до него то, что мы, народ, говорим. Назначат нового – и всё заново придётся начинать...

– Ты прав, но... – как-то вяло протянул Мшагу Большой, спорить ему уже надоело.

– Что же «но»?

– Его ведь уже сняли, нового назначили.

Мшагу Маленький втянул голову в плечи, царапнул было своим колючим взором улыбку Мшагу Большого, но, решив, что ещё не готов для броска, сдержал себя и задумался. Как и все остальные, Мшагу Маленький знал, конечно, что старого председателя на собрании сняли, нового назначили, но считал, что поскольку они, то есть уважаемый народ, не признали ещё решения общего собрания, то, значит, нельзя ещё об этом говорить.

– Как?.. Как?! Что это ты такое сказал?! – его едкий голос разнёсся по широкому двору Кяукиаса, большая часть которого была уже согрета солнцем. И, опершись на самшитовый посох, Мшагу Маленький гневно поднялся. Ему очень хотелось бы подскочить, как резиновый мяч, но – что поделаешь – не сумел даже как войлочный.

Неизменная улыбка Мшагу Большого несколько поблекла.

– Как? – Мшагу Маленький не мог поверить. – Хочешь сказать, без нас могут решить такое важное народное дело?! Или уже сами так заважничали, что подобных нам отстранили от обсуждения?! Уважаемый народ, вы обмануты, не к лицу вам это! До сих пор все верили Мшагу, что же сейчас случилось?

Спросили бы у него! Мшагу никогда для себя ничего не хотел, ни дома, ни добра. И днём и ночью не знал покоя в поисках правды и справедливости. Неужели показалось кое-кому, что теперь он изменил ей? Ну нет, пока он жив, так этого не оставит... чтоб обманывали его народ, морочили ему голову! Не дай бог до такого дожить, чтоб он сидел сложа руки! Зачем тогда вообще явился в этот мир!

– Успокойся, прошу тебя, – с безнадёжностью в голосе уговаривал Мшагу Большой, причём улыбка его всё бледнела. – Что же нам делать, ведь уже всё произошло. – Ты не знаешь, что нам делать? Я – знаю! Я знаю, что делать!

– Будем надеяться, что новый неплохим окажется...

– Вот, вот! С самого детства мне твердят, убеждают, что надо надеяться на Всевышнего, а он до сих пор и пальцем не шевельнул, – Мшагу Маленький несколько раз ожесточённо ткнул в небо своим посохом, будто сбивал с ветки орехи.

– Как ты можешь так говорить, да простит он тебя! – Мшагу Большой тоже вознёс правую руку к небу и показал Всевышнему обнажившиеся в улыбке зубы.

– На меня, уже немолодого, он, я знаю, – не рассердится, что ему с меня, – озабоченно успокаивал себя Маленький. – Если б что-то там такое сказал сопляк, у которого язык чешется, это дело другое, а меня он знает. Всё, что

случается на целой огромной земле, ему, конечно, трудно увидеть, да он и не старается. Но точно помнит, что надо отделять зерно от плевел, и один из тех, кому это назначено, я.

– Моя старушка пришла! – обрадовался Кяукиас.

У ворот показалась худая и загорелая женщина с мешком за плечами, платок она сняла с головы, несла в руках. Походка живая, энергичная. Услышав резкий голос Мшагу Маленького, она приостановилась было, затем быстро двинулась прямо в сторону кухни-амацурты. Видно, так поняла раздражение Мшагу Маленького, что он успел проголодаться.

Мастер Кяукиас, у которого комом в горле стояли пустые незначащие слова вынужденного спора, испытал облегчение, получив возможность сказать что-то конкретное: «Моя старушка пришла». Обрадовавшись, он ухватил прут и снова начал плести свою корзину. Теперь-то наконец он почуял согласие своих пальцев с податливым материалом и повёл кружевной узор, и вместе с узором поднималось его настроение.

– Как я погляжу, ты норовишь ускользнуть от ответа! Но нет, не получится! – Мшагу Маленький придвинул скамью вплотную к Большому. Тот не осмелился отодвинуться, но спрятал свою улыбку.

– В такое время, в разгар работы, когда все выборы и снятия позади... – подчиняясь, пробормотал он.

– Нет сейчас дела важнее! Это касается всего народа! Ладно, допустим даже: так надо было, освободить его. Но почему меня не позвали, когда это решалось?! И почему народ не заметил моего отсутствия?

– Чего греха таить... знали, видно, что ты не дашь это дело провести, помешать можешь.

– Да поразит меня бог, сказал всё-таки! Заставил я тебя проговориться! Всевышний! Я же говорил, что он знает меня!

– С тех пор как выбрали нового, – Кяукиас проворно работал пальцами, – я ни разу его в глаза не видел и ни разу не вспомнил даже о нём, однако засеял две десятины кукурузы, посадил две четверти табака, для приехавшего из Сухума научного человека сделал пять самшитовых ложек, два половника, деревянную кружку-ахмачыр, заготовил прутьев на десяток корзин, первую уже заканчиваю...

– Это тебе так кажется, мастер Кяукиас – золотые руки. Да, если б не было таких, как ты, я б не стал всю жизнь отдавать защите правды – справедливости. Понимать должен: пока что ты трудишься благодаря прежнему председателю. Поглядим в следующем месяце, чем похвалишься. Воля руководителя, председателя воля, если даже ты и не видел его или спрячешься от него, допустим, – все равно достанет тебя везде, ощутишь её обязательно, никуда не денешься!

Мшагу Большой опасался сейчас больше всего – хотя обсуждение, можно сказать, подходило уже к концу, немногое оставалось договорить, – что Мшагу Маленький придёт в раздражение и захочет есть, а старушке Кяукиаса ещё предстоит потрудиться, пока накроет на стол. Да и правда,

времени уже немало прошло, под ложечкой сосёт. Неплохо было бы перекусить...

– Не знаю, как это выразить, но я во всём виноват! – Мшагу Большой несколько отстранился от Маленького, как бы давая тому возможность, пространство для разбега. – Надо мне было разузнать заранее, когда это собрание предполагалось. Если б ты присутствовал там, все бы решили по-другому...

– Я же говорил?

– Говорил ...

– Всё бы решилось по-другому?

– Всё бы...

– Сколько раз я тебе повторял: не упускай момента! Твоё, моё дело такое... беспокойное. Раз взялся за народное дело, готовься ко всякому, покоя не жди. Если ты не потрудишься, я не постараюсь, что же тогда получится? Нет, не простят нам те, что придут после нас, молодые.

– А, стоит ли о них говорить, – отмахнулся, улыбаясь, Мшагу Большой, осмелев слегка и ближе придвинувшись к другу. – Мои вот тоже – рассыпаны по городам, живут в казённых домах...

– Там, где все дела можно сделать, не выходя наружу... – Мшагу Маленький дважды дёрнулся, будто икнул, – так он смеялся.

– Правда, у них и машины есть...

– Этим их никто не попрекнёт, не в пример некоторым, они своим трудом заработали.

– У одного словно гнедой конь, у другого – вороной.

– Как можешь сравнивать лошадь с железом! – Мшагу Маленький заметно утрачивал интерес к разговору. – Бегает, ну и что... Кто лучше бегал, чем Куамсач, сын Ханаша? Но я не слышал ещё, чтоб его за это хвалили. На холме похоронен, как и все. И могилка такая же, не отличишь от других.

– Мой тоже заявил, что хочет снести мои деревянные постройки и поставить дом из камня... – улыбаясь, поднял голову Кяукиас. – А я ответил, что пока жив, не позволю, а дальше пусть делает что хочет.

– Выходит, он твоей смерти ждёт? – Мшагу Маленький искал любой зацепки, чтобы придраться и рассердиться.

– Если даже и ждёт, долгонько ещё придётся ждать. – Кяукиас озабоченно поглядел на кухню-амацурту. –Столько всего есть, что не пускает меня туда, держит здесь, в этой жизни. Время умирать у тех находится, кто без дела сидит, а мне некогда.

– Это правда, что тебе некогда, – отозвался Мшагу Маленький. Хоть и очень был раздосадован, не мог не поддержать правдивое слово. – Это вы, великие труженики, подпираете жизнь яблоневым колом!

– Я всё же не понимаю, к чему разъезжаться по городам, когда здесь столько свободной земли... пожелтела от тоски, – сказал Кяукиас.

– Так тоже нельзя, – возразил Мшагу Маленький. – Не сидеть же квочкой над цыплятами: один близко, другой подальше. В наше время достойной молодёжи все пути открыты, как ворот рубахи Шакуатыла.

– Недаром говорят, что знающего человека хорошо иметь и другом, и врагом. Ты совершенно прав.

– Я всегда прав, – смягчая колючий взгляд, сказал Мшагу Маленький. – И не враг я твой, а друг.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ. Обширный холм, на котором помещались дом и двор Кяукиаса, был целиком открыт солнцу. Оно успело переместиться – стояло сейчас уже над соседним холмом, над самой вершиной. И тени разместились теперь по-новому. Если посмотреть из-под дерева наверх, то сквозь ветви увидишь горячее око солнца, отыскивающее любую, хоть крошечную щёлку. Если налетал ветер, шевелил, раздвигал ветки, солнечные пятна на земле расширялись, увеличивались. Каждая подвижная тень от листьев как бы имела над собой своё собственное солнце, ограничивающее её и стремящееся уничтожить. Ореховое дерево во дворе Кяукиаса пропускало сквозь себя с каждым годом всё больше и больше солнца. Старым сделалось, и листья поредели, не могли задержать молодой напор лучей, оттого и тень получалась жидкой. Когда плечи и руки Кяукиаса ощутили упавшие на них горячие пятна солнца, он посмотрел, улыбнулся. Хотя руки его были небольшими и со стороны могли показаться немощными, слабыми, во время работы проявлялась скрытая в них сила... Прекрасны они были в работе, руки мастера, и наблюдавшему их казалось, что нет на свете рук сильнее.

Кяукиас заканчивал корзину, сплетал верхнее закругление, но, посмотрев ещё раз на солнечные зайчики на своих руках, поднялся.

– Постарел мой бедный орех, не может в такую жару удержать прохладу и тень... – с грустью поглядел он на редкие ветви и преждевременно пожелтевшие листья. – Давайте-ка мы с вами переберёмся в тень шелковицы ... – и принялся собирать инструменты.

– Как можешь говорить такое! – раздражённо воскликнул Мшагу Маленький. – Чтобы мы из-под ореха перешли под какое-то тутовое дерево! И эти презренные ягоды будут сыпаться на нас! Да и что тогда будет стоить вся наша беседа... потеряем право обсуждать!

– Я думал, что мы уже кончили разговаривать, – неуверенно вставил Кяукиас.

– Как! По-твоему, значит, мы исчерпали всё, что должны были обсудить?! – Мшагу Маленький не стал обращать колючий взор к Кяукиасу, а уколол Мшагу Большого. – Правду говоря, Кяукиас... – а я люблю говорить правду! – ты всем хорош, Кяукиас, но вот только безразлично тебе, где сидеть или стоять, – в этом твой недостаток!

– Добрая тень ореха... – протянул Мшагу Большой, весь в поту в своём плотном башлыке и наглухо застёгнутой рубахе. Казалось, даже вечная его улыбка потонула в поту. – Добрая тень ореха, вскормившая и отцов наших, и нас, их сыновей!

– Да разве только вскормила? Где, как не под орехом, решали наши предки важные, народные дела? Только там! Если во дворе абхазского крестьянина не стоит орех, это не крестьянин. Я, конечно, не имею в виду тех, которые теперь сажают во дворе разные фрукты, так что некуда ступить...

Кяукиас тревожно поглядел на кухоньку-амацурту, заметил дым из трубы, но запаха мамалыги ещё не было слышно.

– Что так долго возишься, уморить нас голодом хочешь? – с досадой крикнул он в сторону кухни. Голос его был так звонок, что, видно, прошил кухоньку насквозь, во всяком случае в тот же миг на порог выскочила его жена. Из-под ладони поглядела на Мшагу Маленького, сказала что-то, ни Мшагу, ни Кяукиас не разобрали, что именно, и скрылась за дверью.

– Уже недолго осталось ждать, – объявил Мшагу Большой: он ведь мог слышать спор муравьёв глубоко под землёй.

– Зачем же она в такую жару у огня мучится? Мы ведь вышли из дому, поев, – сказал Мшагу Маленький. – Разве можно всякий раз...

– ...беспокоиться, - дополнил Мшагу Большой.

– Если так говорить станете, обижусь. Ведь не бездельничать ко мне пришли! Не то что вас, друзей своих, - даже и тех кормил, кого приглашал полоть табак. – Кяукиас подобрал охапку прутьев, отнёс их в тень шелковицы и вернулся.

– Хочу рассказать один случай, как раз про деревья... – Мшагу Маленький, заметно повеселев, погладил округлый набалдашник своего верного посоха. – В прошлом году осенью, когда умерла так долго умиравшая мать Хыдзаса, – знаете, он живёт на самом берегу реки, продуваемом всеми ветрами, так утром пошли мы оплакать покойницу. Ночью буря налетела, побило все фрукты, двор был усеян плодами, как берег галькой. Только я поднял руки, приложил ко лбу и двинулся было к лестнице в комнаты, как поскользнулся на падалице... упал я на спину и, не удержавшись, проехал к самому дому, а там женщины варили фасоль для поминок...

– Нынешняя молодёжь какая-то нерасторопная всё же. Должны ведь были вести тебя под руки. Так можно и шею себе свернуть. Хорошо, что в тебе ловкость особая и крепость сохранилась.

– Так вот... Вскочил я, поднялся то есть, подошёл к столу, куда башлык мой положили, подхватил его и, так и не оплакав старушку, ушёл восвояси.

– И правильно, учить их надо.

– Правда?

– Конечно, так и следовало поступить.

– А я помню, ещё маленький был, пришёл как-то в дом Хыдзаса, – Кяукиас уже стоял, готовый окончательно перебраться под тутовое дерево, – они тогда жили у подножья холма, и вижу: старая их мать сидит на скамейке во дворе под палящим солнцем. Уходя на поле, они усадили её в тени, да забыли о ней, а солнце поднялось выше... я поднял её, помог перейти, усадил

в тени. Бедняжка схватила мою руку, поцеловала. Старенькая-старенькая была.

– Я помню, когда ты родился, она уже точно такая же была... – добавил Мшагу Большой.

– Да, и я застал её уже старой, – заключил Мшагу Маленький.

Он был немного старше Мшагу Большого, но никогда не говорил о своём возрасте, – разве возраст помеха в борьбе за правду?

– Пойдёмте в тень? – нерешительно повторил Кяукиас.

– Нет, нет, как это: из-под ореха – да под тутовое! – возразил Мшагу Большой, обливаясь потом.

– Ты иди, мы не станем тебя осуждать, – Мшагу Маленький почесал затылок, уже мокрый от пота. – Неужели до сих пор не понял, что нам здесь спокойнее, для души лучше?

– Тогда я перейду. Видно, мне из-за работы жарче. Здесь недалеко, будем переговариваться... – Кяукиас поднял корзину, инструменты и прутья, перешёл в тень шелковицы, снял верхнюю рубаху и начал подбирать очищенные прутья для новой корзины.

Мшагу Маленький, поражённый, лишившийся дара речи, долго смотрел на него, потом, не пощадив своего Шишкинтыпла, ударил им в землю и вскочил.

– Это правда или обманывают меня мои глаза?! – вскричал он возмущённо, словно старый пастух, у которого угнали стадо, а сам он остался одиноким на голых скалах. Видимо, голос его проник за дверь кухни-амацурты: опять выскочила наружу проворная жена Кяукиаса, поглядела на Мшагу Маленького, снова сказала что-то и юркнула обратно.

– Осталось только мамалыгу замешать, – дошло до ушей Мшагу Большого, и сделалось ему грустно: очень ему не понравилось, как вскочил, как крикнул бешено Мшагу Маленький: он ведь действительно мог уйти, оскорблённый. Жаль, однако, редко кто умел так вкусно готовить, как жена Кяукиаса...

– Видно, пошутил он... – почти умоляюще обратился к Маленькому Мшагу Большой.

– Мне просто жарко, ничего я не шучу, – печально ответил Кяукиас. – Снимите и вы башлыки, верхние рубахи, отдохните. Потянет ветерком, осушит ваш пот. В конце концов мы же одни, если кто появится, издалека заметим, успеем приготовиться. Стоит ли мучиться?

– Это ты себе позволяй – раздеваться, когда никто не глядит, и одеваться, когда тебя уже видят, – не пощадив на этот раз и мастера, воткнул в него свои колючки Мшагу Маленький. – Не ты ли говорил недавно, что тебе не нужен руководитель, сам всё знаешь! А что ты сейчас наделал?! При том председателе, против которого все сговорились, никто не видел, чтоб ты такое творил! Что за птица – новый, я уже вижу, вот результат его появления! Вот почему вы не хотели, чтоб я знал о собрании! Убеждены были, что не позволю так с ним поступить! Но для Мшагу никогда не поздно добиваться правды, так просто его вокруг пальца не обведёшь! Не будь рядом Мшагу,

этот новый, он жаждущего доведёт до родника и, не дав напиться, уведёт обратно. Если надо, я и не такое смогу... – он даже коснулся рукой своего ножа, неизменно, если не занят был мясом во время еды, покоившегося в уже прохудившихся ножнах.

Кяукиас очень удивился речи Мшагу Маленького. Дело в том, что он ведь не в первый раз сидел на таких «собраниях» в своём дворе в одной нижней рубашке.

Улыбка Мшагу Большого совсем выцвела: знал, конечно, что не вынет ножа Мшагу Маленький, но если вдруг кинется – надо тогда его остановить, а если он, Большой, не сумеет удержать в должных пределах, обуздать свою силу, она свалит с ног и Мшагу Маленького, и его самого. И кроме всего ещё – чтоб руки отсохли у худощавой проворной жены Кяукиаса! – Бог знает что она там готовит, но запахи такие упоительные, что слюнки текут. Сглотнешь слюну, а она переваривает желудок...

– Пойдём отсюда! – встал Мшагу Большой, он так решил: лучше от греха подальше. А угощение – что ж... авось не пропадёт.

– А что же, не глазеть же нам на его рубашку! Вот результат всех этих действий исподтишка! Только успели снять старого председателя – и вот... – Мшагу Маленький резко поправил на поясе ножны и решительно зашагал к воротам.

(«Вложи меч свой в ножны, человек!»)

Мшагу Большой с обесцвеченной печальной улыбкой нехотя поплёлся за ним.

– Что это с вами сегодня, разве впервые я работаю перед вами без рубахи? – Кяукиас больше был обеспокоен тем, что ему не давали начать новую корзину, отвлекали от дела, а вовсе не уходом друзей.

– Может, и видели, – обернулся Мшагу Маленький, – но сегодня ты разделся на наших глазах. Не проявил уважения.

– Раньше ты рубашку снимал дома, –- подтвердил Мшагу Большой.

Они объяснялись с хозяином, задержавшись примерно на середине двора.

А Каукиас сердился на свою жену: если б она поспешила, успела, никакой бы ссоры не случилось. Говорят, конечно, что слово – лекарство, но ведь избыток лекарства оборачивается ядом и может убить. Чтобы не случилось такого, нелишне и закусить. Главное – вовремя.

2. В САМЫЙ ПОЛДЕНЬ. Первым услышал голоса Мшагу Большой. Цвет его улыбки сделался прежним, радостным и безмятежным. Услышали разговор и остальные, дружно посмотрели в сторону ворот: какие-то люди неторопливо переговаривались на ходу, направляясь к дому мастера Кяукиаса.

– Оденься, чёрт бы тебя взял! Совсем хребет нам сломаешь, опозоришь вконец! – грозно зашипел Мшагу Маленький. – Гости к тебе идут.

Кяукиас быстро натянул рубаху, отряхнул с себя стружки.

Мшагу Маленький приосанился, торжественный вид принял, как всегда при посторонних.

Как только гости приблизились к воротам, один из них выскочил вперёд, быстро подошёл к Кяукиасу:

– Из района большой человек... Остальные – наши... Но этот, он из района! Самый почетный, смотри, не забудь, не простой гость! Ещё мой говорил о нём... – Кяукиас старался пройти навстречу гостям, уже вошедшим во двор, а этот всё крутился под ногами, забегал вперёд, мешал. – С ними ещё из Сухума один, не обращай на него внимания, ходит со всеми, как говорится, увязывается собакой за любым, кто идёт к морю. Главный – этот, из района... от моего слышал о нём...

– Того, что из Сухума, я знаю, да если б даже не знал – гость есть гость, нет гостя большого или маленького. – Кяукиасу удалось наконец обогнуть непрошеного советчика и шагнуть к пришедшим. А этот, бойкий, успел уже шмыгнуть обратно: стал вместе с ними.

– Поприветствуй гостей! – Мшагу Маленький с такой силой воткнул в землю свой посох Шишкинтыпла, что набалдашник оказался в уровень с горлом владельца, будто хотел поддержать, поддёрнуть выше его голову.

– Добро пожаловать! – Кяукиас ещё раз вытер руки об одежду и первым подал руку сухумскому гостю (он уже знал его, вырезал для него ложки и деревянные кружки).

Бойкий, сопровождавший гостей, подскочил быстро, зашипел в ухо:

– Не его надо первым приветствовать, что я тебе говорил!

Будто не слыша его указаний, Кяукиас неторопливо поздоровался и с тем, кого называли почётным. Приезжий, словно опасаясь, что ему причинят боль, подал мастеру лишь концы пальцев, мягких и потных. Он не отвел глаз от Кяукиаса, равнодушно смотрел перед собой, на гладко выбритом припудренном лице его проступали капельки пота. Голову он держал откинутой назад, будто остерегался учуять запах стоявшего рядом человека. Поглядев на Кяукиаса, перевёл взгляд куда-то мимо, уставился в пространство, и жидкая улыбка, слегка проступившая было на его лице, тут же исчезла.

Кяукиас пожал руку нового председателя, жёсткую и тугую. Из-за того, что о нём много говорили сегодня, Кяукиас с интересом посмотрел на этого человека. Волосы с проседью, но лицо молодое, обветренное, как у тех, кто постоянно бывает на открытом воздухе. Весь он был как натянутая струна, будто сидела в нём туго закрученная пружина.

– Во дворе надо посадить больше фруктовых деревьев, – сказал Новый Каукиасу, оглядевшись. – Такой хозяин, как ты... Тот, кто дома не умеет ничего делать, и в колхозе не сделает.

– Мне хватает, – уклонился от спора Кяукиас.

–Тебе – одному. Вот сколько народу пришло сейчас – как же с нами?

– И для вас что-нибудь отыщется...

Громче всех разговаривал сейчас прежний председатель. Он действительно очень был высок, а руки, не по росту короткие, доставали ему лишь до пояса. Когда же подавал руку, ему приходилось наклоняться, лицо

наливалось кровью, и со стороны казалось, будто торгуется человек: давать руку или нет.

Он подошёл к Мшагу Маленькому и Мшагу Большому, опустил руки на их вспотевшие спины и легонько подталкивал к тени шелковицы, в которой Кяукиас и его жена полукругом расставили стулья.

– Всякий сюда тащится, если всех будем почитать, нас никто и не заметит. Пойдём-ка лучше, займём места в тени, – он говорил громко, не обращая ни на кого внимания, и то и дело оглушительно смеялся. Может, из-за высокого роста казалось, что голос его словно бы издалека доносится, отражается от скалы и возвращается сюда в тень шелковицы гулким эхом.

– Пойдёмте к ореху, обычно уважаемые почтенные гости садятся под ореховым деревом, – не только ему, бывшему председателю, но и всем остальным предложил, как бы принимая на себя роль старшего здесь, Мшагу Маленький. По голосу его было заметно, что он не прочь, чтобы его выделили.

– Какая разница: орех ли, шелковица. Главное – занять место получше. Пошли, пошли, Мшагу, я хочу, чтоб ты был рядом, – ухватив короткой своей ручкой плечо Мшагу Маленького, он разразился над ним, высоченный, громким, отрывистым смехом. – На что они нам с тобой, эти молодые, всё у них впереди. Так и быть, мы с тобой и с Мшагу Большим позволим им обойти нас, пусть идут. А мы тут в тени, не спеша никуда, посидим, отдохнём; пойдём за ними немного, потом опять в тени отдохнём.

Не дав Мшагу Маленькому вымолвить и слова, прежний председатель усадил его рядом с собой, в центре, у самого ствола шелковицы. Мшагу Большой, словно внутри у него свечку зажгли, светил улыбкой то Мшагу Маленькому, то остальным гостям, но лишь только усадили Маленького, как он, не ожидая никого, поспешно уселся рядом. Под его тяжестью задние ножки стула утонули в земле, и, чтобы не опрокинуться, ему пришлось опереться спиной о ствол.

– Пропустим их вперёд, – басил без умолку Бывший. – А мы – не спеша, мы потихонечку потом догоним их. Вот в такой гостеприимной тени и встретимся. Гулкий смех его теперь рокотал низко, над самой головой Мшагу Маленького.

Наконец расселись все, кроме нового председателя.

– Что-нибудь лёгкое, перекусим только, мы не можем ждать, – сказал он Кяукиасу, торопливо сновавшему от кухни к дому. – Если затеешь что-нибудь надолго, мы уйдём.

– Кто хочет уйти, пусть отправляется, а я сегодня дальше не пойду, – смеялся прежний председатель. Кяукиас – хороший хозяин. Если таким гостям, как мы, предложит «лёгкое», для кого же приготовит настоящий стол?!

– Если б не ты, и не зашли бы сюда. Пора горячая, людям не до нас, – сказал Новый. – А сейчас не мешай мне.

– Хозяин – главный в своём доме, он своё дело знает, не надо ему подсказывать, – заявил Мшагу Маленький. – Здесь – он председатель!

– Слышите, а? Мшагу-то наш – он понимает, как надо, как должно быть, – над головой Маленького опять прозвучал гулкий смех Бывшего. – Он, знаешь ли, всю свою молодость на меня потратил, шагу ступить без себя не давал. Тебе, может, кажется, что он старый уже, прыти той нет, но на твой век хватит. Ты не думай, что Мшагу перевелись, будут и молодые. Не так ли, Мшагу Большой?

– Это безусловно, – начал было Мшагу Большой, но, взглянув на Нового, добавил: – Мшагу всегда были помощниками руководства, и сегодня такие же, как всегда, не пожалеют себя, если надо...

Новый, не слушая их, направился к Кяукиасу, носившемуся по двору.

– Не руководству помогали, а правде! – заявил Мшагу Маленький, воодушевлённый тем, что сидит рядом с бывшим председателем. – Если не правы – так не правы оба: и подчинённый, и руководитель.

– Вот видите, в Мшагу бьётся сердце былых времён! – загрохотал Бывший. – Что я говорил, а? И разве мы были похожи на них, на этих зелёных, на молодых?! Дали им в руки всё готовое, так они и возомнили о себе! – Понизив голос, Бывший объяснил обоим Мшагу, глядя вслед новому председателю: – Он наверняка испортит наши дела. Новый, молодой пока, во вкус ещё не вошёл.

– Что за вкус? – подозрительно спросил Мшагу Маленький.

– Самый натуральный вкус, – подмигнул Бывший. – Ему кажется, что вкус сулугуни и вкус молочного козлёнка – одно и то же.

Человек, приехавший из Сухума, и важный гость из района о чём-то говорили между собой. Сухумский, не успев сесть, начал увлечённо что-то рассказывать. А тот слушал его, слегка откинув голову и склонив её набок, словно отстранился от запаха рядом находящегося человека; иногда он вставлял слово – и на лице его появлялась и тут же исчезала легкая улыбка. А Бойкий, Сопровождавший, делал вид, что весь обратился в слух, и непрерывно двигал челюстями, будто жевал что-то...

– Я на тебя обижен! – объявил Мшагу Маленький Бывшему, поглядывая на него снизу. – Разве нельзя было дать весточку, когда тебя освобождали?

– Умереть мне на месте, если он говорит неправду! Бывший разразился гулким хохотом и, обращаясь к гостю из района, назвал его сразу двумя именами.

Мшагу Маленький знал, что высоких заезжих гостей нередко звали двойными именами, а здесь, в селе, по полтора имени имели он и Мшагу Большой. Особой разницы между собой и теми, кого звали двойным именем, он не замечал. Говорили такие гости обычно тихо, запинаясь, иногда вставляя непонятные слова, которые камнем падали ему в ухо. Тогда он думал, что двойное имя дают им за учёность. «Образование без ума губит человека – так считали наши отцы», – размышлял Мшагу Маленький. Он не жаловался на свой ум, а вот учёности Бог не дал. Всё же и то неплохо, что хоть умом наделил, пошли ему хорошую старость! «Случается ведь и так, что из двух этих достоинств человеку вообще ни одного не достаётся», –

утешал он себя в глубине души, единственный раз отняв у Мшагу Большого обычное его занятие.

– Он говорит, что меня освободили, слышите! – обратился Бывший к гостю из района, вновь назвав его двойным именем. – Не освободили, а выгнали! – он подмигнул Мшагу Маленькому и добавил: – Но всё же ты прав, никогда я не был таким свободным, как теперь...

– Всё же ты меня обидел...

– Я хотел, чтобы и ты тоже стал таким же свободным, как я, Мшагу! – он поверх его головы подмигнул остальным. – Разве мало ты поработал при мне! И плохое говорил, и хорошее говорил, где прав, где не прав я был. Устал я уже от дел, потому они меня и освободили, а уж я, в свою очередь, – тебя освобождаю.

– Моя свобода в другом! – решительно возразил Мшагу Маленький. – Я никогда не буду свободен, такая уж у меня судьба!

– Вот именно! – смущённо поддакнул Мшагу Большой.

– Если можно... – после затянувшегося молчания сказал приехавший из Сухума. – Вы ведь много прожили, повидали немало. Не вспомните ли что-нибудь из бывалого, всё равно сидим, ждём...

– Зачем же? – недовольно спросил Мшагу Маленький. – Для чего углубляться в старое? Или вам кажется, что мы не можем участвовать в беседе о сегодняшнем? Зачем обращаться к старине, разве исчерпаны все разговоры о новом?

– Вы меня не так поняли, – засмеялся приезжий.

Бывший председатель внезапно потерял интерес к беседе и принялся сладко зевать.

– Прежде, в полдень обычно, где бы ни находился, всегда старался урвать часок вздремнуть... но сегодня потерплю ради вас, – неохотно объяснил он. – Тем более, что теперь много свободного времени, ночью сумею выспаться.

Подошёл взмокший от беготни Кяукиас.

– Целую неделю, кажется, заставляю вас ждать! – извиняющимся тоном проговорил он.

– Подождём, что же остаётся, – согласился Бывший. – Будем надеяться... Все надеются. Никто не покидал этот свет, не узнав надежды.

– Зря только побеспокоили вас... И сейчас нам не нужно задерживаться. Товарищи вот не позволили, а то в такую горячую пору... – вмешался Новый.

– И в горячую пору обедать надо, не переживайте... – Кяукиас повернулся и отправился к кухне.

– Для вас, горожан, на каждом шагу двери открыты, поджидают вас рестораны, а нам, чтоб с голоду не умереть, приходится вот так соображать... – бывший председатель опять зевнул.

– Если можно, я бы хотел посмотреть ваши постройки, ваш двор, – и приезжий из Сухума поднялся. – Не подскажете, кого попросить, чтоб показали, рассказали о них?

– Я покажу... – Мшагу Большой, которому надоело неудобно сидеть на стуле, утонувшем задними ножками в земле, поднялся и, засияв улыбкой, подошёл к гостю.

Мшагу Маленький удивлённо и растерянно глядел ему в спину, долго провожал взглядом уходящего Мшагу Большого, тщетно ожидая, что вот он спохватится, вспомнит о покинутом товарище и вернётся... А то как же теперь? Придётся перестать разговаривать – кто будет умиротворять, сдерживать его? Маленький до того привык к постоянным уговариваниям, что не умел, не знал, как ему быть без неизменного своего спутника-примирителя.

– Это что же – этнограф? – спросил гость из района и улыбка, как солнце мёртвых, тенью промелькнула на его лице.

– Да, вроде, – ответил Бывший, утрачивая всякий интерес к разговору. – С прошлого года повадился к нам, что ни услышит, всё записывает. А в общем, интересуется уже отжившим, тем, что выбрасываем...

– Мотыгу бы ему в руки! – на сей раз улыбка чуть задержалась на лице районного гостя.

– Успеется, успеется! – готовно отозвался Сопровождающий. – Уже взошли ростки, пусть потерпит немного, через неделю найдём ему мотыгу потяжелее!

И без того удручённому уходом Мшагу Большого, Маленькому этот звук незнакомого слова – «этнограф» – показался чем-то вроде взмаха грязной тряпки. Он ненавидел чужие слова, которых не понимал, не мог повторить, выговорить правильно, и всё же обломки неизвестного слова, которые он не мог никак склеить, даже мысленно, продирались наружу, царапая горло. Он должен был прочистить горло звучанием хороших знакомых слов, но без Мшагу Большого не решался заговорить, опасаясь, что речи его без привычного удерживателя могут завести его куда-нибудь не в ту сторону.

«Чтоб тебя пуля пронзила, гниль ты паршивая! – он захлёбывался злостью, он ненавидел сейчас Мшагу Большого. – Погоди, кадык у тебя ещё торчит, ухвачусь за него и не отстану, пока с внутренностями не вытяну!»

Он, конечно, сознавал, что ничего подобного не сделает, но это преувеличение, позволяемое себе хотя бы в мыслях, помогало вернуть чувство уверенности, обычного своего состояния боевого спора...

А Сопровождающий неотступно крутился возле гостя из района, как сторож, без которого нельзя обойтись.

– Что же это, дорогие гости: до сих пор говорили шёпотом, а теперь совсем замолкли? Может, есть у вас какие особенные секреты? – вдруг выпалил, не сдержавшись, Мшагу Маленький: совсем одолела его злость да ещё и обломки чужого непонятного слова застряли в горле.

Гость из района не ответил ничего, но еле заметная улыбка промелькнула на его лице. Сопровождающий же быстро повернул к Мшагу козырёк низко надвинутой на лоб кепки, принял удивлённо-угрожающий вид, нижняя челюсть его выдвинулась, словно в атаку пошла на Маленького.

– Как ты разговариваешь? – зловеще зашептал он. – Думаешь, кроме тебя, других забот у них нет? – голос его поражал неестественностью, как если бы вместо буйволов в болоте возле соседней мельницы возлежал бы сейчас остроглазый гиппопотам с пастью, вмещающей в себя целый дом...

– Что ж, разве у них не те же дела? – Сейчас злейшим врагом Мшагу Маленького был его же собственный язык: совершенно вышел из повиновения. – Если не обманываюсь, мы тоже народ. Или вам хочется обойти нас, то есть народ? Тогда имейте в виду, что я, сидящий здесь перед вами... я всю жизнь сражался против этого... и сегодня не намерен отступить. Если я показался вам...

– Давай, давай, Мшагу! – загрохотал над ним бывший председатель. – Но только поостерегись всё же, не всякий спустит тебе любые речи, как я.

– Вас кто-нибудь обидел? Кажется, вы чем-то недовольны? – почётный гость повернул к Мшагу Маленькому свою надменно вскинутую голову.

– Не всё ли вам равно, кто меня обижает... будто дело вам есть до этого!

«Чтоб у тебя пуля в горле застряла, дубина ты этакий! Как мог оставить меня одного! Словно медведь неуклюжий утопал, ушёл, покинул меня! Что я затеял, кто меня остановит!..» – с негодованием обращался он мысленно к Мшагу Большому.

Гость, однако, оказывается, вовсе и не обиделся ничуть, только ещё выше поднял голову, как бы оберегая свой нос от запаха Мшагу Маленького.

Сопровождающий же вскинулся, будто ошпаренный, со своею скамьёй, подсел вплотную к Мшагу и начал шептать ему на ухо:

– Знаешь, кто он такой... каким авторитетом пользуется... как мой о нём отзывается... Этот гость... мой... – до слуха Мшагу Маленького доходили бессвязные обрывки горячего шёпота, но беспокоило его не это, не смысл того, что говорили ему, а мысль о том, кто же и как остановит его теперь, ведь он покатился по крутому склону, покатился в спор, в драку, словно кто подтолкнул его. И как теперь удержаться... Невозможно... Его задело также и то, что гость не обиделся, просто не обратил внимания, не внял его доводам, правдивой его речи. Как это, кому позволено – не ставить ни во что слова Мшагу Маленького! Не то что из района – откуда бы ни приехали... выше Мшагу нет, он народ, он Мшагу...

А бывший этот председатель! Смотри-ка, сидит возле и, затаив дыхание, ждёт, что же будет дальше. Может, даже нравится ему, когда другие смело выступают?.. Это он правильно сказал насчёт того, что, освободившись от должности, такие, как он, от всего себя освобождают. Но эту службу, служение правде, как у Мшагу Маленького, её ведь не бросишь, как изношенную рубашку. Она и в могилу с ним вместе отправится. Поэтому надо, несмотря на всю крутизну склона, по которому покатился сейчас разговор, устоять всё же, не упасть. Впереди сколько дел ещё, и не малых.

А бывшему председателю – ишь! – нравится это, значит, когда Мшагу в пропасть летит, он не станет удерживать, скорее подтолкнёт даже – чтобы посильнее ударить, уязвить с его помощью этих... новых...

Размышления его прервал звук, ещё более странный и неуместный под шелковицей, чем страшный шёпот Сопровождающего гостей. Все сразу умолкли, стало тихо.

И в наступившей тишине родничком пробился храп Бывшего. Обернувшись к нему, Мшагу увидел, что тот спит, упершись головой в ствол тутового дерева, лицо взмокло от пота. Даже сладкую слюнку успел пустить. На лице почётного гостя мелькнула было слабая улыбка, но, когда заметил слюнку, вздёрнул голову выше с едва уловимой гримасой брезгливости.

Мшагу Маленький, оторопев от неожиданности, утратил даже дар речи, и посох любимый показался непомерно тяжёлым для руки.

Сопровождающий, придвинувшись к почётному гостю, что-то забормотал, извинялся вроде, а тот, высоко вскинув голову, сидел, скучно уставившись в пространство, ничего не слыша, ничего не слушая.

Сопровождающий гостей был из этого же села, но жил далеко, на самом краю, в котловине за высоким холмом. Далеко-то далеко, да ежедневно крутился во дворе сельсовета. Когда ни встретишь его, всё жалуется: мол, спешные, неотложные дела заедают, а оглянешься чуть спустя – он уже увязался за каким-нибудь гостем, пусть даже приезжим, незнакомым. Сначала усиленно звал к себе домой, посмеиваясь, вздёргивая брови и играя желваками (зову, потому что не знаете ещё, где я живу). И в самом деле, стоило людям узнать, как далеко он живёт, и все разговоры об угощении в его доме иссякали, к нему надо было идти чуть не два часа, да ещё не всякий мог одолеть крутой подъём, а потом крутой спуск в его котловину. И встречные – что делать – приглашали его присоединиться к ним, а он – что делать – соглашался, шёл с ними. По правде говоря, только этим и был занят. Когда же объявлялся гостем, будь то один или с кем-нибудь вместе, не соглашался на меньшее, чем курятина. Никто и не знал, что он ест дома.

Как только появлялись в селе гости из района или из ещё более далёких мест, вертелся возле, спрашивал:

– Извините, вы, видимо, знаете моего?

– Не понял, кто это – «мой»?

– Мой! – он двигал челюстями, глядел в упор на собеседника, как бы укоризненно, как бы в досаде, а потом объяснял, кого имеет в виду.

«Моим» он называл своего шурина, который сначала работал в районной прокуратуре, потом в милиции. Кое-кто в селе знавал его раньше, говорили, что приличный человек, но ни одна душа не видела, чтобы шурин этот бывал у своего зятя. В селе помнили, правда, что в первый год после женитьбы Сопровождающий пригласил как-то в свой дом нескольких родственников жены. Но как только они уехали, с тех пор и не переступали больше его порога, просто неведомо было, что он им такое сделал. Однако при всём при том именем «моего» человек этот немало вымогал у руководства. Как только появлялся гость из района, тут же и он возникал в своих галифе с огромнейшими карманами, в натянутой на лоб, всё той же и летом и зимой неизменной кепке, и задавал всё тот же свой постоянный вопрос. Если гость

обладал мягким характером, то его принуждали выслушать пространный рассказ о «моём».

– Говорят, неплохо живёт, и пост у него видный, – начинал Сопровождающий. – От души скажу, радуюсь этому! Радуюсь, но могу разве одним только этим жить? Почему он не соберёт своих друзей, сколько захочет! Почему не приведёт всех ко мне? Почему не спросит, как мы жили, не поглядит на сестру свою: а может, мы её сварили и съели! Сыновья и дочери его сестры выросли, если и встретит их где, не узнает! В этом году кое-кто из них заканчивает здесь школу, так я пошлю их к нему. Матери их скажу, чтобы спряталась, пусть они прямо к нему входят, он же их не знает, что сделает? Прямо на работу пришлю, когда он сидит среди хороших людей, вот как вы. Одного его авторитета мне недостаточно. И он должен меня уважать. Не разорит же меня, если в гости приедет!.. Да пусть и разорит, я хочу этого! Ей-богу, я не могу понять такой щепетильности...

Слушавший испытывал неловкость, и ещё все опасались, что круто выдвигающиеся челюсти Сопровождающего могут вывихнуться и так и останутся, не вернутся на место; гость начинал утешать, успокаивать его, а Сопровождающий за разговором и увязывался в очередное застолье... (Ну и к чему такая хлеб-соль, такое гостеприимство! Быть гостем непросто, а Сопровождающим – ещё труднее.)

3. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ тень шелковицы передвинулась к востоку и чуть удлинилась. В этой самой тени Кяукиас с новым председателем и установили стол.

– Недаром говорят про тебя, Кяукиас, что ты можешь смазать балку жиром и растянуть её подлиннее, вот и стол увеличил, сколько народу усадить можешь... Сопровождающий уже чувствовал запахи угощения и волновался. – Пусть и семейство твоё всё увеличивается, и всегда будет достаток в доме твоём!

Мшагу Маленькому с его места отчётливее всего были видны складки на шее Сопровождающего: когда тот вертел головой, багровые складки синели. Однако не это раздражало Мшагу Маленького, а то, что все его сегодняшние речи никого вроде не задевают, их будто и не слышат, не слушают... Ему казалось, что именно не слушают, пренебрегают его мудростью, его мнением. Иной раз и он сам тоже так поступал с другими: говорил своё и пропускал мимо ушей всё, что слышал вокруг. Но никогда не думал, что придётся терпеть такое, что равнодушно будут слушать его, обходя и не замечая, будто как ствол этого вот тутового дерева. Не верилось в глубине души, конечно, что на самом деле так, что способны без внимания отнестись к нему, но тяжёлая, незнакомая, непривычная обида уже поселилась в его душе. И Кяукиас, и новый председатель, не отвлекаясь на него, двигались от стола к кухне, от кухни к столу. Проворная жена Кяукиаса и соседки быстро накрывали на стол. Вкусные запахи еды распространились по двору.

Бывший сладко спал, лоб его усеяли капельки пота.

Когда Мшагу Маленький взглянул на него, почувствовал, что и сам, оказывается, взмок, рубашка прилипла к телу, из-под плотного башлыка к

ушам стекали струйки, и страшно хотелось почесаться, но он сдерживался. Всё крепче сжимал он свой верный посох, всё пышнее разрасталась в нём обида.

Гость из района сидел с отсутствующим видом, безучастный к происходящему. Вот нехотя поднял взгляд, посмотрел на далёкие склоны, на покрытые пеной цветения каштановые рощи.

– Видно, в этих лесах достаточно стройматериала? – спросил он.

– А как же! – запальчиво отозвался Мшагу Маленький, опередив Сопровождающего, уже открывшего было рот. – Как же! Говорят, что рубить нельзя, а поглядишь: какие-то люди, мы их никогда и не видели, а им во сне наше село не снилось, глядишь, вырубают лучшее и потихоньку вывозят...

Мшагу Маленький чувствовал: ему нельзя останавливаться, иначе в начавшийся разговор вмешается Сопровождающий. А тот, ясное дело, не стал бы, как Мшагу Большой, который сегодня предал его, – чтоб ему пусто было! – не стал бы брать вину на себя, напротив, желая понравиться гостю, станет небось нападать на Мшагу Маленького, подзадоривать, подзуживать. И это может столкнуть его с такой крутизны, что ничто уже не задержит.

– Почему же вы не видите, вы, руководство, – продолжал Мшагу Маленький, и глаза его колюче блестели, однако он не решался сверлить взором гостя, смотрел в пространство. – Если государство не разрешает рубить, если народ не позволяет рубить, – тогда кто же, обходя всех, говорит: рубите? И откуда у него такая сила? Если государство не даёт её, если народ не даёт?..

– О ком это вы? – осторожно спросил гость.

– Я же говорю... – он сам удивился, что задержался, паузу сделал, оставил место для двух имён, когда дошёл до обращения к гостю. – Все, кроме нас, кроме местных, живущих здесь. Как только услышат стук топора местного жителя, так начинается светопреставление. Не думай, что я прощаю ему, раз он местный. Нет, я такое никому не прощаю.

– Ну, два-три случая… ну не поймали сразу... рано или поздно попадутся же.

– Это не два-три раза, а пятнадцать раз по два-три раза! Скажем, даже если два-три раза, почему безнаказанные уходят?!

– Как ты разговариваешь! – в конце концов сумел разжать стиснутые челюсти Сопровождающий. – Это же не так, как ты говоришь: всякий не пойдёт рубить, есть старшие, которые этим ведают. Скажем, мой... он в таких вопросах беспомощен, но есть люди, которым виднее...

– Никакого старшего-младшего в этом случае не может быть. Раз запрещено, никто не имеет права переступить, – отрезал гость, не взглянув на говорящих. Я лично дать ответ не могу... Меня это не касается... – С этими словами гость несколько склонил в сторону Мшагу Маленького обычно вздёрнутую свою голову, будто признавал, что тот заслужил его внимание. Это понравилось Мшагу, однако он не сумел всё же удержаться, чтобы не договорить всей правды:

– Что значит – тебя не касается? Вот меня, если спросишь, всё касается, не проходил ещё мимо нарушения... – Как только Мшагу произнёс неосмотрительные эти слова, гость рывком вскинул голову, будто лошадь, которую задели по носу.

Между тем хозяева уже ставили на стол горячие блюда, то, что прежний председатель называл «дымящее».

В это время Мшагу Большой и приезжий из Сухума подошли к ореховому дереву. Сопровождающий поднялся, опустил руки в необъятные карманы своих галифе, сделал несколько шагов навстречу, но из тени не вышел и стал глазеть на них со стороны. Несмотря на то что те двое как бы не замечали его участия в их разговоре, он, слушая, покачивал головой, ухмылялся, будто застал их за не совсем удобным занятием. Мшагу Большой, позабыв обо всём, громко рассказывал о достоинствах орехового дерева, о его значении для абхазов, о том, что ореховое масло служило им пищей и лекарством, древесина – строительным материалом, а тень его, запах листьев и плодов манили отдохнуть, звали гостей под орех словно бы в дом... под сенью, под защитой ореха велись мирные беседы...

– Не мирные разговоры в тени ореховых деревьев, нет! – воскликнул Мшагу Маленький и вскочил, опираясь на посох. Всё соединилось для него сейчас: и то, что Мшагу Большой говорил так, словно будто это он заступник правды, да ещё и громко говорил, все слышали. И то ещё, что он, обнажив похожую на медный котёл голову, держал башлык в руке, и то, что расстегнул воротник своей рубахи... – Не мирные, а ратные дела решались здесь, важные, народные дела! Здесь мирили кровников! А не какие-то – «мирные».

Мшагу Большой, обомлев, замер под деревом: видно, вспомнил, что натворил. Придя же в себя, с бледной, беспомощной улыбкой повернулся к Мшагу Маленькому:

– Что и говорить, ты прав, я виноват... Забывчивость проклятая ... – его язык, только что свободно плававший в море слов, будто присох к гортани.

Мшагу Маленький понял, что Большому уже не уйти, и былая смелость обуяла его. Однако только лишь он собрался было из его же, Мшагу Большого, слов свить аркан и набросить ему на шею, как подошёл Кяукиас:

– Прошу к столу!

– Благослови тебя бог, как вовремя ты угодил! – загрохотал смехом Бывший. Проснувшись наконец-то, он поднялся во весь свой огромный рост и макушкой коснулся нижней ветки дерева – та осыпала всех спелыми ягодами, две из них тёмными пятнами прилипли к белоснежной рубашке почётного гостя. Гость, вздёрнув голову, вскочил, ухитрился, не наклонив её, взглянуть на ягоды, рука дёрнулась было – снять, отбросить, но, не решившись, повисла...

– А у меня внутри часы особые есть: всегда будят вовремя! Если бы не они... сколько рук тянулись изо рта выхватить кусок! Как только увидит кто-то, что сплю, потянется присвоить, тут-то часы мои и бьют, и успеваю я

отобрать своё, он только слюнки глотает... – Бывший видел, что случилось с рубашкой гостя, но не придал значения, продолжал смеяться громогласно.

– Вот так всё и получается. Сами видите теперь, что лучше под орехом сидеть. И во всём так: рано или поздно, а придёте к тому, что я говорю!.. – начал было Мшагу Маленький.

Но тут все двинулись сполоснуть руки, поэтому он умолк и, опираясь на лучшего своего друга Шишкинтыпла, поспешил к умывальнику. И здесь ему надо было оказаться впереди... Всё его занятие в этом состояло –требовало постоянного его присутствия, ни на миг нельзя оставить... отвернись только – тут без тебя такого наговорят!

Мшагу Большой последовал за ним со своей неизменной светлой улыбкой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ СЛЕДИТ ЗА СОЛНЦЕМ И ВРЕМЕНЕМ, ИЛИ СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ, ИЛИ ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СЫТОСТИ. Наконец все расселись... Замерли на минуту, потом дрогнули и простёрлись над столом руки...

Руки...

Не перепутали ли мы чего?.. Эти длинные пальцы, белая незагоревшая кисть городского кабинетного человека... и эти, густо поросшие шерстью пухлые руки, только на ладонях безволосые, хотя и там, кажется, готовы они прорасти... и эти, загорелые, потрескавшиеся мозолистые руки... и эти, стариковские, с пожелтевшей кожей, с обмякшими мозолями... – каким чудом собрались они все над этим столом? Нет, что-то здесь, видно, кто-то всё же напутал. Или, может, все сразу ошиблись? Обычно ведь каждая из рук занята своим привычным делом. Одна держит ручку и всё пишет и пишет... Другую её обладатель то и дело протягивает, здороваясь, когда же здороваться не с кем, убирает её в карман и шарит ею там от безделья. Конечно, бывают руки, что и пишут крайне редко, и не часто подают их другим – большей частью ничем не заняты. Человек с такими руками, наверное, иной раз думает, уж не лишние ли они части тела? Ещё ведь и два рукава для них шить надо. А из материи этой, что на два рукава пойдёт, можно, как известно, целые брюки сшить. Но нет, нет... он думает так только в приступе скуки, а скука, она подобна лихорадке, налетит – и пройдёт, исчезнет, и тут же человек этот спохватывается, что есть ведь случаи, когда руки совершенно необходимы...

Да, так мы остановились на полуслове: среди рук этих, встретившихся вдруг сегодня над столом, попадаются и такие, что вот-вот только расстались с рукоятью плуга (железо, обшитое деревом, всё равно обдирает руку, даже покрытую мозолями, особенно если земля сухая, так что и пулей не пробить, или если каменистая), а есть такие, что сменили уже орудия труда на посох. Так что же?.. Почему вдруг все они, собравшись вместе сейчас над этим круглым столом, тянутся к его центру? Ну, допустим, стол притягивает, как солнце... хотя нет, солнце ведь не вбирает в себя лучи, а, наоборот, испускает

их – наружу, значит, лучи тянутся. Подумаем всё же, когда же так случается, что руки вместе действуют, одновременно? Во время голосования? Нет, подумаем ещё... Ах да, ну конечно же во время еды, трапезы, угощения! Во время застолья, вот когда!

Кстати, непосвящённым можно напомнить о том, что занятие это историю имеет несколько очень древнюю.

Застолье! Застолье!

Самое привычное, самое необходимое из всего, что есть на свете.

Почему же мы иногда ищем какие-то новые способы сближения людей, забыв о том, что человечество научилось делать давным-давно... в первую очередь?

Сближающее людей застолье... Уравнивающее всех...

Общее для всех...

И для еды, для трапезы, для угощения, для застолья – тоже все равны... каждый едок.

Да здравствует застолье! Застолье!

Те же длинные пальцы, незагорелые кисти рук, что казались на первый взгляд вялыми и немощными, проявляют вдруг неожиданную силу. Обычно, кажется, опасаются, избегают всяческих прикосновений, а здесь, сейчас, решительно и безошибочно находят лучшие куски и отправляют их куда надо. Есть руки, долго выбирающие лакомый кусок... а смотрите: мозолистая рука точно знает, чего хочет, берёт то, к чему обычно никто не тянется, – крылышко там или шею. А с каким уважением съедает свой кусок обладатель мозолистой руки! Без жадности скупца, без пренебрежительного выискивания что получше, помягче, – раз уж на столе изобилие... старательно очистив все косточки, с аппетитом, тщательно, опрятно – красиво.

Да, правда, конечно: и курица взлетала на этих крылышках, и козлёнок ступал копытцами... да не об этом речь.

Рука с цепкими пальцами борца за правду какое-то время бездействовала, не стремилась успеть схватить – надо, соблюдая приличие, достойно взять то, что положено... Всегда так было, всегда старшему предоставлялся выбор. Правда, здесь сейчас присутствуют люди, которые чем-то иным старше, но в трапезе это несущественно, должно быть так, как было всегда. Если уж коснулись этого, кто кого старше и почтённее, нельзя выпускать из виду, что владелец цепкой маленькой руки не только ведь и возрастом старше, нет, он же ещё и заступник самого большого, самого старшего здесь – правды, её десница, можно сказать.

Ах, не посчитались с этим остальные руки. Прежде хоть так было: каждому прямо подносили его долю, а сейчас появились большущие цветастые подносы, на которых подают всем сразу, и все руки тянутся одновременно. Никто не задержал свою, каждый о себе заботится...

Нет, если угощать человека, выдели ему долю, зачем всё складывать вместе!

Застолье, всех уравнивающее...

Однако и сам Ходжа Насреддин, когда растаскивали его стадо, ухватил одну козу за рога.

Так что же теперь делать?

И знакомая нам рука с пальцами-крючками потянулась, как все, и постаралась для хозяина.

Над столом воцарилась тишина. Жуют, глотают, сопят...

Застолье, никого не оставляющее без дела.

Сначала кажется, что трапеза способна одолеть и самое время, спорить с ним. За нею забывают о том, намного ли передвинулось в небе солнце, за угощением немеет тиканье часов, однако же время делает своё, напоминает о своём существовании, движении, беге – даже и здесь... Напоминает, когда руки успели уже славно потрудиться, когда сделались видны цветы на дне широких блюд, полных некогда курятины, козлятины, сыра. Если постараться и собрать сейчас косточки всего съеденного, никакой мастер Кяукиас не сумел бы заставить их соединиться, потому что, как сказали бы сыновья Мшагу Большого, владельцы автомобилей, или же сын Кяукиаса, обладатель мотоцикла, перепрыгивающего через канавы, – слишком много запчастей утрачено.

2. ДАЛЕКО ЗА ПОЛДЕНЬ. Закусив немного, пропустив по две-три рюмки водки, все вздохнули свободнее, подняли от еды головы, поглядели друг на друга. И вот тогда-то и дало о себе знать время. Новый председатель поднялся со стаканом вина в руке:

– Я по заданию хозяина хочу выбрать из вас руководителя застолья.

– Зачем на другого сваливать! Ты же здесь, вот и руководи сам, – вставил Мшагу Маленький.

– А вот это я оставляю своему соседу, – засмеялся Новый и, указав на Бывшего, продолжал: – Будь здоров! Я думаю, ты в застольных делах ни разу не терпел поражения. Уверен, что и сейчас окажешься на высоте.

– Я и не знал, что ты мой благодетель, – над столом прогрохотал смех Бывшего. – Однако что поделаешь! – всё равно это руководство не ушло бы от меня: если б ты и обошёл меня сейчас, я перехватил бы у тебя поводья – тамада ведь остаётся до конца трапезы, а я люблю оставаться до конца!

Когда выпили по нескольку стаканов вина, взгляды помягчели, потеплели. Этнограф чуть ли не с обожанием посмотрел на Кяукиаса.

– Правду говорю, грешно тратить время такого мастера на обычную работу. Он должен заниматься своим делом, и пусть учатся у него другие, перенимают его умение.

– Он ещё тот... – встрял Сопровождающий. – Мой тоже говорил, что хотел бы иметь самшитовые ложки... его челюсти, успев потрудиться, выпирали теперь не так опасно.

– Сейчас другое время. Как бы ты красиво не отделал арбу, машина оставит её далеко позади, – сказал гость из района, с неудовольствием посматривая на злополучные пятна на рубашке. – Сегодня надо делать то, что делают все.

– Одно другому не помеха, – возразил этнограф. В том, что мастерит Кяукиас, заключена ещё и другая, особенная польза. Народные промыслы...

Тамада не дал ему закончить: громко назвав имя почётного гостя из района, поднял за него тост. Все засуетились, каждый хотел сказать, раздавался стук стаканов.

Выпитое и съеденное Мшагу Маленьким всё же не успокоило его, снова в нём разрасталась обида. Поднимая тост за гостя, сказал лишь два слова, если не считать паузы, оставленной для его двойного имени.

Опять поднялся новый председатель.

– Приношу вам всем извинения, но нам надо идти, поэтому...

– Кому это – «нам»? – перебил Мшагу Маленький.

– Нам... – он назвал двойное имя гостя из района и своё.

– Почему же? За гостя хозяин скажет, он пока что ещё здесь сидит.

– Мы действительно торопимся, нас ждут на чайных плантациях, разговор предстоит.

– Вот, посмотрите-ка, у них разговор! А мы – не люди? С нами, значит, не разговор? Или что скрываете от нас? – Мшагу крепче стиснул рукоять посоха, словно просил у него поддержки, чтобы дал силу вытерпеть несправедливость, не сорваться. – Я и так на тебя обижен, и обида эта жжёт меня!..

– Почему – обижен? – рассмеялся Новый.

– Потому что, когда тебя выбирали, меня даже не позвали на собрание! Но я ещё не умер, значит, – я жив. Неужели пригласившие тебя на собрание не могли сообщить и мне?

– Ну, в этом я действительно не виноват, я же ведь сам не ходил по селу, не оповещал колхозников. Здесь ты не прав, Мшагу! – вновь рассмеялся Новый.

– Вы слышали, что он сказал! Нет... вы слышали?!

Он говорит, что Мшагу – не прав! – старик даже сделал движение вперёд, как бы намереваясь подняться.

– Правда начинается от Мшагу Маленького! А здесь говорят, что он не прав! – оглушительно расхохотался Бывший.

– Это не значит, что ты не прав, – заговорил Мшагу Большой, постепенно возвращаясь к своему обычному занятию. – Его слова означают, что, если бы он сам оповещал колхозников, ты был бы прав.

– Послушайте, посмотрите на него! На этого умника. Ты прав потому, что не прав! – Мшагу Маленький с небывалой силой вонзил в Большого колючий свой взгляд.

– Шутки шутками, но нам пора идти. К сожалению, за каждого отдельно не успею выпить, но в лице обоих уважаемых наших Мшагу я пью за всех тех, за чье здоровье мы ещё не пили, – Новый осушил стакан, поставил его на стол и пошёл к воротам, лишь там задержался, оглянулся.

Гость из района сделал размашистый жест, как бы обведя стаканом с вином весь стол, молча выпил за остающихся и тоже направился к выходу со

двора. Чуть задержался возле Кяукиаса, уже явно затосковавшего по своей работе, и, так и не наклонив головы, коснулся его плеча чистой левой рукой:

– Спасибо, да приумножится твоя хлеб-соль! Извини нас, побеспокоили тебя...

Повернувшись, гость пошёл к воротам, а Кяукиас, воспользовавшись поводом выйти из-за стола, двинулся следом. Проводив их до ворот, он не вернулся к столу, а отправился к кухоньке-амацурте.

3. КОГДА СОЛНЦЕ ОПУСТИЛОСЬ ЕЩЁ НИЖЕ.

– Слава Богу, – проорал Бывший, – одни остались, вот когда по-настоящему посидим, вот когда выпьем как следует! Что они тут всё ёрзали, как на гвоздях! Проработал десять лет, хорошо ли, плохо ли, но никогда не спешил встать из-за стола и не торопил никого так, чтоб кусок в горле застревал! Станешь торопиться, дела не сделаешь, это я точно говорю! Если не мучаешь дело, оно само сделается. Да что тут говорить, это скучная тема. Выпьем лучше, поддадим как следует! Эге-гей, выпьем как положено! – лихо вскричал Бывший.

Мшагу Маленького сейчас, после трёх-четырех стаканов вина, одолевал не хмель, а усталость. «Постарел, видимо, – подумал он. – Да, постарел. Кто раньше мог сказать, что видел, чтобы сердце Мшагу не горело, не отдавалось правде...»

Только в самом конце застолья тамада поднял тосты за Мшагу, отдельно за Маленького и за Большого.

«С меня начинать надо было, я же старше любого здесь, – думал Мшагу вяло, утратив желание говорить. – И не только потому, что я старше; есть ли у кого-нибудь более важное занятие, чем то, которому я посвятил свою жизнь? У них у всех по-другому – одному не до этого, другого не касается...» Он заметил, что даже самое главное, заветное, оберегаемое, свой долг защитника правды, чувство своей всегдашней правоты, сделалось сейчас для него как бы в тягость... почему люди не ценят, не уважают? Но ведь не откажешься уже, прирос к своему занятию, как улитка к раковине. Надеясь, что ему станет лучше, выпил ещё пару стаканов, но нет, не полегчало. Вспомнил о Мшагу Большом и поглядел в его сторону. Ну да, потому и не слышно его: пока что и руки, и рот Большого заняты были насыщением. Впервые позавидовал Маленький Мшагу Большому. Да, пожалуй, занятие Большого получше будет... В конце концов он видит, что все хитрее его, Мшагу Маленького, все устроились в жизни лучше, чем он, удобнее.

Тут встал гость из Сухума, поднял тост за Мшагу Маленького.

Мшагу встретил тост без особого воодушевления, однако услышал негромкие, но искренние, идущие от сердца слова. Прежде он мог бы, конечно, усмотреть в этих словах повод, чтобы придраться, хотя бы к тому, что о нём говорят как об обычном, рядовом человеке, не возвеличивая его многолетнее служение правде. Но от правды правды не ищут: он слышал сейчас самые близкие к правде слова. Эта правда умиротворяла, радовала его сердце, а та, за которую он боролся, она делала его злым. Когда приезжий закончил говорить, непонятная сила подняла Мшагу Маленького.

– Ты приехал из самого Сухума. Как видим, занимаешься не простым делом. В знак уважения к тебе дарю тебе свой посох – прошу не побрезговать им! – он поднял стакан и осушил его.

Мшагу Большой так был поражён, что не заметил, как тоже встал, испуганно уставился на Мшагу Маленького. Даже Бывший – лицо его уже сделалось багровым от выпитого – бросил удивлённый взгляд.

– Я свой отдам, он легкий, весит меньше... – пролепетал Мшагу Большой.

– Зачем свой даёшь, разве не знаешь, как положено? – Мшагу Маленький протянул через стол приезжему свой посох. Когда этнограф принял его, Мшагу сделалось до того легко, что он посмотрел даже, не отдал ли и руку вместе с посохом. Не только руку, – ощутив пустоту вместо неизменного тяжёлого друга, он чувствовал, что словно бы вообще потерял всяческий вес и его былинкой теперь унесёт любой ветерок.

– Возьми, в музее поставь, как на виду... и напиши, что посох этот принадлежал Мшагу Маленькому, несгибаемому и красноречивому, – выстрелил Бывший. – Вот видите, у нашего Мшагу хватает всё-таки смелости! Вот таких людей я собирал... знал, кого поощрять, кого нет. Ах, я забыл, этот посох не простой, у него ведь своё имя, ха-ха-ха! – раскатился он резким хохотом.

Мшагу Маленький обомлел, больно царапнуло в сердце. Рванулось оно было на защиту, но остановила непонятная тяжесть, одолевшая тело: махнув рукой, он отвернулся от Бывшего.

А Бывший долго смотрел на него осоловелыми глазами, потом снова открыл рот, заревел:

– Мшагу, о-о, Мшагу! – Таким напряжённым голосом бригадир сзывает на работу людей, поднявшись на ближний к селу холм. Сумасшедшими глазами обвёл всех. – Вы узнаете его? Это тот самый Мшагу, что кидался с кинжалом на реку: не сумел перейти, схватил кинжал и хотел перерезать её надвое!.. Ха-ха-ха! Тогда он ещё носил свой короткий кинжал, им и хотел зарезать реку, ха-ха-ха, прирезать реку!

В ушах Мшагу Маленького звенело от громогласных выкриков Бывшего. Не узнавал он что-то себя сегодня... Взял со стола свой нож и, даже не обтерев, сунул его в ножны.

Тут все услышали близкий рокот мотора, обернулись на звук. За воротами показался мотоцикл. Шум мотора ещё усилился. Это был сын Кяукиаса.

– Слава тебе, Господи! Наконец-то человек появился, вот с ним-то посижу в своё удовольствие! Что за времена настали, что с людьми делается! Не с кем даже выпить. Разве так было при мне? Вино пить – тоже дело, надо уметь его делать хорошо. Кяукиасу хватает и напёрстка, но сын-то его что надо, может и со мною поспорить! Дай Бог этой земле процветания, пусть рождаются на ней достойные! – Произнеся всё это, тамада запил сказанное несколькими стаканами вина. – Ха-хаха! Кого только не увидишь среди нас!.. Даже и такие попадаются – с кинжалом бросаются, реку перерезать хотят... ха-ха-ха!

4. ПЕРЕД ЗАКАТОМ СОЛНЦА. Мшагу Маленький поднялся медленно и осторожно и, пошатываясь, двинулся по двору прочь от стола. Ему всё казалось, что нет больше, лишился он правой руки, всегда державшей верный его посох. И будто не шёл он теперь по земле – сам себе казался невесомой пушинкой. Подойдя к ореху, остановился и долго глядел на его умирающий ствол. Кора растрескалась, кое-где проросла мхом... и не подумаешь, что теплится ещё под нею жизнь. По трещинам деловито сновали муравьи, словно не было в мире ничего важнее их суеты. Мшагу Маленький протянул руку, коснулся полумёртвого ствола. Его ладонь была такой же огрубелой, потрескавшейся, полумёртвой: они с корой не ощутили друг друга. Когда обернулся, увидел рядом Мшагу Большого. Отвёл от него взгляд, посмотрел дальше. За столом оставались только двое: сын Кяукиаса, стоя, провозглашал тост, а Бывший тянул его за полу, стараясь посадить рядом с собой. Ни Кяукиаса, ни его жены, ни соседок, обслуживавших стол, не было видно. Уже вечерело, и все были заняты делом. Наверное, Кяукиас с женой отправились поливать свой табак.

Когда Мшагу Маленький двинулся к воротам, Мшагу Большой последовал за ним. Он был сыт, хорошо выпил, и, как сказал бы Маленький, море ему сейчас было по колено. Посреди двора их нагнал гость из Сухума.

– Если можно, я хочу попросить вас... только не обижайтесь... – видно было, что он говорит искренне. Возьмите пока посох, как сейчас пойдёте без него домой? Я приду за ним, если хотите, я ещё побуду здесь, в селе...

Мшагу Маленький теперь только заметил, что сухумец очень молод; потом он долго смотрел на посох, глаз не мог оторвать от своего верного друга. «Шишкинтыпла...» – позвало что-то в его душе. И он понял, что нельзя ему больше думать об этом ...

– Что ты говоришь, как можно, сынок, – бодрясь, возразил Мшагу Маленький. – Видно, не знаешь меня хорошо, а то не предложил бы такого. Я не из тех, кто, разок сплюнув, разыскивает после свой плевок. Говорят, что, отдавая лошадь новому владельцу, следует сказать о её норове, – но опять поглядел на свой посох. – Ему не понравится, если оставишь, бросишь его без присмотра, как простую палку, без внимания. Если сейчас не нужен, поставь в удобном месте, чтобы рука сразу нашла. Самое лучшее, если каждый день хоть разок прогуляешься с ним по земле, чтобы чувствовал он её. И наконечник тогда не будет ржаветь... – Рукой, которая казалась ему без посоха невесомой, отмершей, он взял своего лучшего друга, последний раз стиснул его рукоять, потом воткнул посох в землю и сказал: – Да послужит он тебе славно!

5. КОГДА МИР ОКУТАЛА ТЬМА. Когда во дворе жителя планеты Земля Кяукиаса в ветвях тутового дерева, под которым стоял ещё стол, зажглись мощные электрические лампочки (глядите, глядите, другие деревья, и на мне висят звёзды!), голова Бывшего лежала на столе и доносился его храп. Сын Кяукиаса тоже изрядно уже захмелел и, напевая, уносил со стола грязную посуду. Нараспев повторял одни и те же слова:

Грохот на этой стороне,

Грохот на той стороне...

Вот добрался до последнего блюда, где лежали обглоданные кости, по соседству с головой спящего тамады. Бывшего...

– Пусть спит. Проспится, сам сможет приподнять голову.

Собрав последние тарелки, сын Кяукиаса отправился к амацурте, оттуда ещё доносился сладкий запах дыма. По дороге он напевал:

Грохот на этой стороне –

Бум-гррумм!

Грохот на той стороне –

Гррумм-бум!

В это же время, покинув гостеприимный двор Кяукиаса, шли всё по той же планете Земля вволю потоптавшие её дороги, хорошие ли, плохие ли, но считавшиеся её сыновьями Мшагу Большой и Мшагу Маленький. И тот и другой были почти без сил, ноги подкашивались от усталости, выпитое тяжелило головы, даже языки ворочались с трудом, едва-едва... будто змеи с перебитыми хребтами.

Мшагу Маленький сейчас, как ни странно, не прочь был бы и поесть, и выпить. Есть ему вообще-то хотелось обычно даже чаще, чем положено. Но он не позволял себе переедать, знал меру. Он считал, что человек, не знающий меры в насыщении, плохой заступник правды. Многим приходится жертвовать, если решил быть стражем и защитником справедливости. Что уж поделаешь, такое это занятие... требует жертв. Есть, конечно, другие занятия, которые многое приносят избравшим их, но это, правда-справедливость, требует всё отдать ему, до конца.

Да и Мшагу Большой, хоть и мог в десять раз больше Маленького съесть и выпить, не злоупотреблял ни едой, ни выпивкой. Потому что его занятие тоже требовало трезвости. Правда, сегодня вот оба незаметно перешагнули привычную свою меру. Если сначала Мшагу Маленький, подарив посох этнографу, сам себе казался пушинкой, то теперь он налился тяжестью, как чугунный утюг. Брезгливо держал в руке – опирался на ореховую палку; мастер заготавливал такие для днища своих корзин. А душа ныла, вспоминая верного друга, посох Шишкинтыпла.

– Всё пустое, пустое... – бормотал он, с трудом ковыляя по дороге, – всё пустое...

– Молодые есть молодые... – еле ворочая языком, говорил Мшагу Большой, желая поддержать Мшагу Маленького. Сознавал, что надо ещё что-то добавить, но опустелая голова не хотела ничего подсказывать.

Так они долго брели... то попадали на пыльную раскалённую дорогу, то снова уходили с неё.

Пока они шли по ущелью, мучила духота, оба запарились. Когда же выбрались из низины на холм, потные их лица овеял ветерок, и сразу полегчало. Да и земля здесь, под ветерком, прохладнее, не такой разогретой была. Отсюда был виден даже переливающийся вдали огнями город на берегу моря. Огней было так много, что город казался издали вспыхнувшим

вдруг и застывшим фейерверком, а редкие огоньки сёл представлялись отдельными искрами, далеко залетевшими от праздничного разлива света.

Когда ветер освежил тело Мшагу Маленького, осушил пот и он получше себя почувствовал физически – вот тогда душа заныла ещё сильнее. С каждым шагом его сердце выговаривало:

«Шишкинтыпла…»

«Шишкинтыпла…»

Посох так долго был подмогой ногам... частью его тела, продолжением его руки... Когда его огорчало что-то, а он не мог вслух назвать имя своего друга, стоило погладить его набалдашник, раза два произнести про себя: «Шишкинтыпла... Шишкинтыпла...» – и на душе становилось полегче.

Они наискось пересекли склон и, поднявшись на островерхий высокий холм, увидели месяц, сейчас казавшийся ломтиком дыни с выеденной мякотью... месяц, который освещал остатки старой крепостной стены, изглоданной корнями-щупальцами плюща.

Мшагу Маленький свернул с дороги, подошёл к стене и опустился перед ней на землю, смяв буйно разросшуюся здесь бузину. Пряный запах резко ударил в нос, и он несколько раз чихнул.

– Там змеи есть, как бы не укусили... – с трудом двигая языком, предупредил Мшагу Большой. Беспокоился, не знал, как отнестись к новой выходке друга.

«Всё, что случится здесь, у старых этих почтенных стен, всё будет хорошо и достойно. Место моей смерти здесь... здесь подобает умереть такому, как я...» – Думая так, Мшагу Маленький чуть не помирал меж тем от густого запаха бузины. Как бы мстя человеку за то, что он раздавил её, бузина норовила задушить его своим запахом.

– Вставай, вставай... если хочешь, на спине тебя понесу... – Мшагу Большой гладил набалдашник своего хорошего друга Кварквантиа и страдал, думая о страданиях Мшагу Маленького, непонятно почему отдавшего свой посох.

– Тебе кажется, что понесёшь, а меня не поднимут и сто таких, как ты. Вес человека не зависит от того, на сколько он вымахал. Вес зависит от печени: у кого печень хорошая, у того и вес как у дорогого материала. Если же печень похожа на трухлявое дерево, как бы ни был высок, веса не имеешь. Ты до сих пор ходил по земле, не знал этого? Учу тебя, учу, да... – И Мшагу Маленький взмахнул рукой как бы обречённо, как бы сдаваясь, признавая поражение, – бессилен, мол, перед такой неспособностью к обучению.

– Правда, правда, недаром говорят, мал золотник, да дорог...

На это ничего не ответил Мшагу Маленький, не ответил потому, что сейчас вдруг ему и занятие Мшагу Большого, постоянное это утешение, сглаживание стало казаться лишним. Оно, занятие это, чего-то стоило, лишь пока его, Мшагу Маленького, главное занятие, защита правды, стояло на высоте. Что сглаживать, если нечего сглаживать, кого сдерживать, если и сдерживать-то нечего...

Протянув руку, Мшагу Маленький погладил обнажённые камни развалин – они, почудилось ему, поддавались под пальцами, как побитые яблоки... На стене, на развалинах – везде поселился плющ, под каждый камень протиснулся, в каждую расщелину вонзил сотни своих корней-щупалец. И крепость, которая никому никогда не покорялась, которая столетиями не поддавалась разрушению, была побеждена ордой этих хищных щупалец.

Мшагу Маленький оперся спиной о стену, откинул голову, глядел на небо. Оно было обильно усыпано звёздами, как нива у щедрого сеятеля. Овечий Путь ярко сиял от моря до самых гор, будто овцы только что зашли за горизонт, протоптав над землёй светлую дорожку.

– И там тоже лишь только следы овец... а их самих нет, и неизвестно, где их искать...

И созвездие Уводящего Корову рассыпалось щедро – похоже было, как если бы воры, застигнутые врасплох и видные всему народу, разбежались, но не могут скрыться среди других, более мелких, звёзд... И хозяева, заметившие их, тоже смешались, не знают, за что хвататься... страх упустить воров парализовал их волю, лишил движения.

Мшагу Маленький молчал и всё глядел на звёзды. Увидев это, Мшагу Большой тоже поднял голову и улыбку, без дела пропадающую в ночи, обратил к небу.

– Ты иди, я хочу здесь остаться... – язык уже повиновался Мшагу Маленькому, и в словах его послышалась обычная трезвость.

– Ты можешь заснуть здесь... встань...

– Нет и не будет мне сна! Меня жжёт великая скорбь. После моего лучшего друга посоха... – Мшагу Маленький сделал паузу для имени, но не произнёс его вслух, моим лучшим другом является эта стена. Я здесь родился, эта земля вскормила меня. И стену эту собирали из камней, которые нашли тут же, на нашей земле... Белые, белые камни... человек заключил себя в них, чтобы защитить себя и свою землю...

– Дома будут тревожиться, вставай...

– Не мешай мне... Я не гнался за большим хозяйством... детей у меня нет... Многие стараются каждый за себя, я старался, чтобы было лучше всем. Всё остальное оставил, забыл, не добивался, да. А ты – разве не помнишь, сколько мужей и жён, не способных уже выносить друг друга, сумел я помирить! Иногда приходилось бывать и жёстким, но самое главное – удавалось сохранить семью. Если двое вместе – это семья, а если разойдутся врозь – какая же семья? Не мешай мне. Если какая-нибудь девчушка выскакивала за молокососа, разве можно было позволить двум фамилиям, двум почтенным родам душить и изводить друг друга! Сколько раз бывало, что эти девчонки бросались мне на грудь, плакали в три ручья, и у меня сердце не каменное, я их жалел... но правда и жалость несовместимы. Если понадобится, надо стать камнем, как эта стена. А не то – любой встречный пальцем ткнёт, и ты свалишься... с дороги своей собьёшься... Не мешай мне... Разве мало хороших женщин, достойных матерей вышло из этих девчонок! И

семью сохранили, и враждующие роды удалось примирить. Разве этого мало?

– Это не мало, это много, очень много!

– Не мешай мне... Если я привносил строгое достоинство в поминки или свадьбу, если над покойником сказал доброе слово, если родившемуся дал доброе напутствие... Разве этого мало?

– Много!.. Очень даже немало!..

- Не мешай мне ... Мы просто так не ходили по земле... Всегда искали того, кто в нас нуждается, кому надо помочь. Кого может исцелить наше слово, кто ждёт нашей правды. Разве не так?

– Так!.. Совершенно точно, всё так, дорогой Мшагу, – дрожащим голосом подтвердил Мшагу Большой и тяжело опустился на землю рядом с другом.

– Не останавливай меня! Помнишь, как по слову аграмона, научившегося маракать бумаги, сколько леса выкорчевали! Я им говорил: пусть и болото останется, и с лесом не торопитесь... Да ведь слушали только его! А теперь и леса нет, и почву смыло дождями, и земля лысая, как паршивая голова этого аграмона! Мшагу знает, как расщепить волосинку на две, лучше будет, если послушаешь его в любом деле. Но и я, единственный раз за всю жизнь, кажется, всё же обманул сам себя... – голос Мшагу Маленького глухим сделался, голову он опустил на грудь.

– Не может быть! – возмутился Мшагу Большой. Этого не может быть вообще... никогда... не мог ты обмануть себя!

– Да, да, обманулся... Когда этого Бывшего поддерживал… Слава Богу, что меня не было, когда Нового выбирали… кто знает, как себя проявит... Раз меня не было, нет на мне ответственности за то, что сделает он. Вообще, с сегодняшнего дня я не беру на себя ничего… всё снимаю... всю ответственность...

– А меня куда денешь? – потерянно спросил Мшагу Большой.

– Ты – отдохни. Ты можешь отдохнуть... А я вот – не могу... Мой отдых – только смерть. У тебя хозяйство, дом, дети... А у меня одна старушка... что ей, с нею ничего не случится и без меня. Ничего не прибавится и не убавится. Я... – тут голос Мшагу Маленького окреп. – Раз я уж столько держался, то и в конце надо постараться не уронить себя. Всё время держался – как воин, как солдат... Сейчас пришёл к крепости... здесь умирали герои! Пока была возможность, и я не жалел себя... Но вот с этих пор, с минуты этой нельзя больше с меня спрашивать за происходящее в мире. Этой ночью я всё слагаю с себя... Слагаю ответственность свою к подножью этой святыни, этой древней крепости... всё сделанное мною добро...

– Говорят, что змея, спускаясь в реку, яд свой оставляет на берегу... – Мшагу Большому показалось было, что это удачное, подходящее к случаю выражение, но тут же сообразил, что здесь оно, пожалуй, не годится, и прикусил язык.

Мшагу Маленький, захваченный течением собственных мыслей, пропустил мимо ушей слова Большого.

– Вот здесь, на этом самом месте, я слагаю с себя всё... всю ответственность... всё сделанное добро оставляю здесь... Когда-нибудь идущий за мной поднимет всё это, если понадобится. А я умру этой ночью...

– Что... всё ещё плохо тебе?

– Очень плохо. Умру... так мне захотелось. Всю жизнь я делал всё, что ни пожелаю. А сейчас вот хочу умереть. Буду сидеть неподвижно до самого рассвета и заставлю себя умереть... приклонив голову к стене своего последнего лучшего друга – крепости...

Как ни крепился Мшагу Маленький, но при этих словах голос его задрожал. Когда он постарался, изо всех сил постарался отодрать от себя при росший, казалось бы, намертво, подобно раковине, груз своего долга, своего занятия, он и лишился раковины, которая так или иначе защищала его... и ощутил он себя беспомощным и беззащитным, от малейшего прикосновения испытывал теперь боль.

Мшагу Большой заметил это и понял, и сердце его дрогнуло. Что-то перехватило горло, совсем как в тот раз, когда вцепился ему в горло Мшагу Маленький: словно кол застрял в глотке и не пропускал воздуха. Мшагу Большой терпеливый был, босиком мог идти по колючкам, и ногам его ничего не делалось (говорили, что у него такая кожа оттого, что с первых своих шагов по земле и до самой женитьбы он не знал обуви). Его подошвы были, можно сказать, прочнее сапожных, и колючки не могли их пробить, ломались. Но мы уже раньше заметили, что слаб он был дыханием, если даже волосинка попадала в горло, он сразу садился, не мог терпеть. И сам, случалось, задумывался над этим: отчего, но так и не разобрался. Не то что волосинку, полкочана сразу мог разжевать и проглотить, в застолье, случалось, глотал куски с индюшачье яйцо, и они беспрепятственно проскальзывали в утробу. Слышал от умных людей, что дано человеку три горла: одно для еды – самое широкое, второе для питья – поменьше первого, а третье для дыхания – узенькое, как пшеничный стебелёк. С горлом для еды у него всё было в порядке, прошёл бы и большой ком земли; с горлом для питья тоже неплохо обстояло дело: если б даже не чистая вода, а скажем, с илом попалась, всё равно не запищало бы. Не то вот совсем было с горлом для дыхания... и он догадался, что самое важное, значит, для человека – дыхание. После этого открытия Мшагу Большой всё дивился большому значению воздуха, у которого вроде ни цвета, ни запаха, ни вкуса, разве только иногда услышишь какой-то шум, или сипение, когда он проходит в тебя... а так – он же не заполнит твой живот, не сделаешься от него сытым... но вот как кольнет иглой – и дух испустишь. И Мшагу Большой поражался ещё и тому, что пальцы Мшагу Маленького так точно находили из всех трёх глоток именно это – горло для дыхания, самое узкое и нежное.

Но вот сейчас Мшагу Маленький даже и руки не поднял, а горло у Мшагу Большого перехватило, как и тогда, в тот раз... Наконец совсем ему невмоготу стало, он поднялся, а потом рухнул на колени перед Мшагу Маленьким. Кровь его по разгорячённым вином сосудам хлынула вверх и

нажала на слезоточивое место, отчего слёзы так и хлынули из глаз. Третье его горло, напряжённое и тугое, вдруг расслабилось, и тогда он смог дышать.

– Это я виноват во всём... я, толстокожий!.. – слёзы, блестя под лунным светом в морщинах его улыбающегося лица, катились к губам, и он ощущал солёный их вкус. – Я дурной, я не сумел предупредить тебя, когда надо было, не сумел быть рядом с тобой, как требовалось... Не понял по-настоящему, чего стоят такие люди, как ты... Я, я не понял, злосчастный!.. Ведь без таких, как ты, не могут другие люди, не может сама жизнь... Мне казалось, что, если сгладить немного остроту твоих слов или удерживать тебя иногда от спора, лучше будет, что этим сохраняю тебя. И в старании своём я не знал меры, начинал для блага, а кончал плохо... По глупости своей путал тебя... Разве мне, тугодуму, можно было доверять такого человека, как ты?!

– Э, Э, Мшагу, Мшагу... У нас с тобой одно имя, но до чего же мы не похожи! Но нет, всё равно я тебя не виню, у тебя на самом деле мужественное сердце.

– Я заслужил всё это... Твои упрёки... даже твою смерть заслужил!.. Ты же говорил – пока не увидит человек зла, не сумеет оценить добра. Я знаю теперь, с этой вот минуты понял, если вообще способен понимать... – Мшагу Большой слизывал с губ обильные свои слёзы. – Но прошу тебя, умоляю, – встань! Да, да, я знаю – ты, если захочешь, умрёшь... вот так и застынешь у стены. Ты всё можешь, если захочешь.

– Да... на самом деле могу.

– Ты умрешь, а я, если даже очень захочу, – не сумею... – слёзы с новой силой хлынули у него из глаз. А что будет со мной без тебя! Я ведь не существую сам, отдельно, я твоя часть, маленькая частица... Ты сам подумай... Если умрёт моя главная большая часть... мне же ведь придётся тащить её... то есть тебя... на своей спине...

– Человек – он тяжёлый только сразу после смерти, а потом высохнет, легче делается. Потерпишь немного, подождёшь, там, глядишь, и справишься с грузом...

– Не во мне дело, не будем об этом… Но ведь тебя многие ждут, ты им нужен, необходим… Столько дел ждёт... кто отстоит справедливость? И что же это будет, если каждый, подобно тебе, станет умирать, когда захочет?! Да хотя бы взять Гурлыипа... знаешь же, какие у него отношения с женой... И если б дело только его касалось, так нет же... жена его, обозлившись, кричала, что он чуть не со всеми женщинами села имел связь, – теперь каждый муж грозится убить его. Бедный, не может носа высунуть на улицу, сидит дома, словно больной. Участок его порос бурьяном – ни зёрнышка в землю не бросил. Жена его не кормит, а он – раз притворился больным – не станет же готовить себе! Сегодня я не успел сказать тебе об этом, вернее, не хотел. Не хотел, чтобы это мешалось с остальным... Я же говорю, что во всём виноват только я один. Да ладно, что я… Ты не обращай на меня внимания, пожалуйста...

– Язык его паршивый во всём виноват, язык! – вскрикнул Мшагу Маленький. – Если бы язык у него был добрый, ничего бы и не случилось.

Змею ведь за что убивают – за жало! Вот что я тебе скажу – нет у меня никакого желания мешаться в эти недостойные дрязги. Я отдавал свою жизнь более возвышенным, народным делам, – в этом я хорошо разбираюсь, чувствую себя как рыба в воде. Да, важные, народные дела, достойные меня, предлагали мне рассудить...

– Но ведь Гурлы – он тоже представитель народа, значит, и его дело – народное... море ведь тоже состоит из капель... А здесь с Гурлы и женой его никто помочь не способен – ни руководство, ни судья, всё будет пустой тратой времени, им там не за что ухватиться, только ты один во всём свете можешь рассудить это дело...

– Видишь, всё-таки я хороший учитель. Вот даже и тебя научил говорить разумные слова, – одобрил Мшагу Маленький.

– «Если нет быка, запрягай петуха» – так ведь сказано? И если ты, мудрейший среди нас человек, перестанешь говорить умные слова, кто же скажет за тебя? Такие, как я? И наши глупости будут казаться людям прозрением. Видишь, как опасно это!

– Наверное, ты прав... – Мшагу Маленький с трудом привстал, видно, ноги затекли. – Наказания, крепкой взбучки заслуживает этот Гурлы. Но молод ещё он, глупец этакий.

Мшагу Большой ожил, с надеждой вскочил на ноги. – Отец его тоже был таким, помню: не успевали его сдерживать, пока костлявая не умерила его пыл – уже навсегда. Всё время только и слышали, что у него горит где-то, и мы только и делали, что всё гасили, спасали его.

– И сейчас вот загорелось, и некому, кроме тебя, никто больше не способен погасить! – добавил обрадованно Мшагу Большой.

Когда они двинулись дальше и развалины крепости исчезли во тьме, Мшагу Большой, старавшийся на ходу поддерживать под локоть Мшагу Маленького, но осторожно, так, чтобы тот не обиделся, сказал вдруг громко – как перед народом на собрании:

– А ведь знаешь, крепость эта – она словно как ты... то есть хочу сказать – это ты как крепость! Скольких защитил, оградил от всяческих невзгод! – Мшагу Большой от души говорил, не жалел голоса, однако не было ему отголоска, эха не было, слишком разрушены были стены.

– Ты уж очень преувеличиваешь, – возразил Мшагу Маленький. – Никакая я не крепость, но я – камень, один камень в её стене. Выбей из стены хоть один камень и посмотри, будет ли она стоять так же крепко...

– И это правда.

– А я и хочу, чтоб была правда, не меньше и не больше!

Мшагу Большой вздохнул посвободнее, потому что Мшагу Маленький теперь отвечал на его слова, начал уже спорить и вообще сделался прежним, обычным Мшагу Маленьким.

Ночь выдалась тихая. Среди множества ярких неподвижных звёзд, усеявших небо, ползли красные мерцающие звёздочки – огни ночного

самолёта. Едва доносился до земли рокот его двигателей. На миг осветив ущелье и мост, промчался внизу поезд.

Но звуки эти были такими далёкими – словно бы и не было их.

Чутко ко всякому звуку огромное сердце планеты Земля, чутко и открыто для всего. И если вы думаете, что она не ощущала тяжести, не помнила следов двух шагавших по ней стариков, словно они не принимали никакого участия в её кровообращении, наши Мшагу Маленький и Мшагу Большой, то вы ошибаетесь. Нет, они жили и дышали, они были не одни – связаны с другими людьми... с селом... с миром... с человечеством. И под ногами их пока ещё сминалась трава, и свежий ветерок овевал прохладой их разгорячённые лица, и языки уже легче ворочались, и всё меньше они занимались прожитым, всё больше интересовались завтрашним, говорили о предстоящем, о своём участии и своей ответственности в будущем. Да, они были живы, они были людьми. А если так, то, значит, и эти звуки, звуки земли и неба, как бы ни были они удалены, далеки, были им не чужие... вместе с ними участвовали в жизни, в кровообращении этого большого мира, который вбирал в себя всё и вся – и далёкий гул самолёта, и молчание разрушенной стены старой крепости, и горячность Мшагу Маленького, и спокойствие Мшагу Большого.

Поднявшись на очередной холм, старики остановились. Совсем близко в доме Мшагу Большого на широком холме горел свет. И у противоположного островерхого холма по соседству, в доме Мшагу Маленького, тоже светились окна.

Молча подали они друг другу руки, и каждый направился к своему дому.

Туда, где их дожидался свет.

Перевод С. Шевелёва

ВКУС ВОДЫ

СТАРИК думал о горах, но не смотрел в их сторону, потому что не мог видеть их. Уже больше года прошло с тех пор, как горы, словно ушедшие в море корабли, растаяли в померкших глазах старика. А сейчас голая, белая, будто обглоданная кость, вершина горы, всегда видимая с этого двора, торчала из лёгких, невесомых, не обременённых дождём облаков. С утра облака не раз пытались накрыть торчащую макушку, но, не в силах подняться выше, подобно армии, не взявшей осаждённой крепости, отступали, опускаясь в ущелье и оставляя на острых гребнях лишь рваные лохмотья.

Если не брать в расчёт эти уцепившиеся за гору облака, можно сказать, что небо было ясным, безоблачным.

Роса уже испарилась, но тень дерева, под которым сидел старик, была ещё длинной и тянулась до самого балкона.

У старика болела нога. Распухла, почернела, кожа на голени треснула. Он сидел на скамье, положив больную ногу на табуретку.

...В ту ночь ему не спалось. Поднявшись с постели, он вышел на балкон и долго вслушивался в ночную тьму. Ущербная, облысевшая луна, которая не сегодня завтра совсем сгинет с неба, уже зашла за горизонт, когда старика одолела дремота. В темноте, направляясь к постели, он ударился о кровать ногой.

Уже три года как он стар. Старость внезапно одолела его. Он ослабел, сгорбился, плохо слышал и видел. Но пока ноги служили ему, он мог приблизить к себе своё далёко, мог подойти поближе, если не видел или не слышал чего-нибудь. А теперь, с больной ногой, он стал совсем беспомощным.

...Ударившись о кровать... Не в славном походе.

– Когда-то ладонь была меркой для пороха... Средний палец – шомполом, загонял пулю в ствол... Герой из героев... – старик криво усмехнулся. – Ударившись о кровать...

Сейчас всё железное. Везде торчат острые углы. Слегка заденешь – ушибёшься. Почти не осталось округлостей и овалов, о которые нельзя удариться. Ворота, кровати, ахчныза (камень очага, на который кладут дрова) – всё из пресного железа. Даже виноградную лозу заставляют виться по железной проволоке.

Лоза не хочет цепляться усиками за железо и хватается за проволоку только тогда, когда начинает падать. Солнце нагревает проволоку, листья лозы вянут, никнут, а на нежных виноградных гроздьях появляется ржавчина.

Металл, металл – кругом металл, слишком много его стало. Он прочен, долго живёт, а об остальном люди не заботятся.

Нога теперь не сильно болела, он о ней и не думал. Его расстраивала собственная беспомощность и то, что за ногой приходилось ухаживать. Для иссохшего, изношенного тела даже кости в тягость, а царапина на ноге не так уж много значила, разве вот вынудила провести неделю в неподвижности.

– Герой из героев... – старик усмехнулся.

Позади его дома проходила большая дорога. Она сбегала с горных ущелий бурая, словно высохшее речное русло, а внизу, в долине, преграждала ей путь река. Но за рекой дорога продолжалась, оживала, рыжей лентой прорезая нетоптаную зелень травы.

Утром на дороге шумно: звуки голосов, удары плёткой о плетень, скрип ленивой арбы, ржанье навьюченных лошадей, цоканье копыт, а реже – тарахтенье буксующих машин.

Потом дорога затихает до вечера. Только изредка вдруг появится на ней кто-то, кому больше нравится шляться по просёлочным дорогам, чем работать в поле. Эти люди тяжело дышат, будто так торопятся, что и собственные горящие волосы им некогда потушить.

– Заходи, – скажет кто-нибудь из живущих поблизости такому торопыге, уже не впервой проходящему мимо его ворот.

– Чтоб ты разбогател... Спешу, – остановится на мгновение приглашённый, подавшись всем телом вперёд, словно тотчас помчится наперегонки.

– Прошу тебя...

– Не могу, клянусь тебе...

– Да я и не приглашаю тебя надолго.

– Спасибо, спасибо.

– Давай хоть стоя поднимем стаканы. Только вчера почал бочку...

– Столько беспокойства... знал бы, пошёл другой дорогой.

– Какое беспокойство...

– А и то правда, вино из ахардана (сорт винограда) в жару не сохранишь... – говорит он, всё ещё колеблясь, но уже на пути от ворот к дому.

Только вечером этот человек, которому было так некогда, вываливается, еле держась на ногах, из гостеприимного дома и плетётся по дороге.

Теперь старик не мог видеть их и слышать их голоса, но он знал, что в это время «торопыги» обычно появляются на дороге. Скольких знал он, растративших всю свою жизнь подобным образом! И, как ни странно, состарившимся наследуют молодые, словно сыновья, которые подхватывают плуг или соху из ослабевших рук отца-земледельца. Они выбирают этот путь, лишь отвалится у них перевязанный пупок. С тем же усердием, с каким делали это их предшественники, поднимают они стаканы. Чаще звучат тосты, но слова у них всё те же. Произнесённые впервые, они имели свой смысл, а сейчас только раздражают.

Время не стоит на месте, это верно, но долго ещё тянутся за ним, как корабли с покойником на борту, останки отжившего.

Старик знал многих, кого приводила и уводила дорога. Даже теперь, когда он плохо слышал и видел, он узнавал среди озабоченных путников тех, кто не любил работать в поле, а их он всегда терпеть не мог.

Старик снова вспомнил о горах. Невидимые его глазам, стоят они, словно истуканы, погружённые в раздумья. Они подобны морским волнам, взметнувшимся к небу да так и застывшим. Но стоит старику подумать о вкусе воды из горных родников, как застывшие горы оживают.

Старику видятся горные ключи, бьющие тут и там из горных склонов, и он ощущает холодные их брызги, будто только что напился ледяной воды из ацыха-дзы1.

Старик сглотнул слюну, но она не увлажнила пересохшее горло. Лишь стоит вспомнить ему о вкусе воды горного источника, как тотчас же захочется пить. В роднике, из которого они берут воду, вода во время дождей становится мутной, цвета разбавленного мёда. А в сильную засуху в нём остается немного воды, но она тёплая, и сколько ни пей – жажды не утолишь. Внизу, у самой речушки, прямо из скалы пробивается другой ключ. В нём

[1] Ацыха-дзы (абх.) – горный ключ, над которым растёт дикая редька, придающая воде особый вкус и прохладу.

вода такая, какой в долине не найдешь. Когда ноги слушались его, он расчищал тонкую струйку этого родника или подставлял желобок. Эта вода выдерживала сравнение только с высокогорными источниками: один глоток её утолял жажду и придавал бодрости.

Теперь вспухшая от дождей речушка забила илом этот ключ. Если бы не нога, старик бы что-нибудь придумал. А теперь ключ может заглохнуть. Если он и останется в живых, то для людей он всё равно погибнет. Гнилая речушка будет из-под ила высасывать его воду. Только благодаря этому роднику она, видимо, жива до сих пор, не то тина давно бы поглотила её.

Хорошую воду, наверное, можно сравнить с жизнью.

Вкус воды подобен вкусу к жизни. Человек далеко не сразу распознаёт вкус воды.

Старик умел и любил рассказывать сказки. Но ему не нравились сказки, в которых вода превращается в молочные реки с кисельными берегами.

Тень от шелковицы уже покинула крыльцо и опустилась на траву во дворе, а дочь почему-то всё ещё не ушла на работу. Рано утром она вывела его из дому, помогла добраться до скамейки, а сама вернулась в комнаты и до сих пор не показывается. У неё такая привычка: час или два сидеть неподвижно на месте.

Скрипнула железная калитка. К дому шёл лёгкой походкой, осторожно ступая, словно боялся помять траву, высокий мужчина в шёлковой рубахе с широкими рукавами, в начищенных до блеска азиатских сапогах. Догадавшись, что старик заметил его, он с улыбкой поспешил к нему.

И что он так разоделся в страду?

Торопливо, почти бегом, подошёл он к старику. Старик попытался подняться, упершись руками в скамью.

– Сидите, сидите, – угодливо засуетился человек, протягивая старику влажную, пухлую руку.

Старик знал этого мужчину с малых лет: он вырос и возмужал на его глазах, а теперь уж и седина закралась в его шевелюру, убережённую от ножниц.

«Когда он был маленьким, ему волосы натёрли живой рыбой», – говаривала тётка мужчины, всё ещё считавшая его ребёнком.

– Да, рыбой, не иначе... – Как ваша нога?

«Ваша»... – будто с тестем говорит...»

– Что там, дад... мясо старика и собака не будет есть.

Мужчина засмеялся, а старик, хоть и не видел его, по смеху догадался, что тот смотрит куда-то в сторону.

Старик недолюбливал тех, кто день и ночь копается в земле и ничего, кроме земли, не видит и не хочет видеть, для кого труд становится болезнью. Он считал, что подобная страсть – один из способов испортить жизнь, загубить подлинный её смысл. Труд есть труд, а для земледельца к тому же труд нелёгкий, и нельзя его превращать в болезнь. Всякая чрезмерная страсть

губит человека. Но самое искреннее презрение вызывали у него те, кто под любым предлогом уклонялся от работы, посвятив жизнь отыскиванию поводов для безделья.

Тот, кто, не поднимая головы, усердно ковыряет землю, не имея времени оглядеться и узнать, что творится в мире, кто ничего не замечает и не видит вокруг, кроме этой земли, и даже цветком не полюбуется ни разу, может стать опасным, правда, горести его все на ладони, и потому проще понять, из-за чего он может вдруг лягнуть тебя и с какой стороны.

А бездельник всегда опасен.

Трудно, почти невозможно догадаться, когда, куда и за что он лягнет. Ему ничего не стоит сделать такую гнусность, из-за которой человек умрёт, а он и в смерти его найдёт повод для безделья. Найти предлог и не работать – это становится для бездельника смыслом жизни, честью, аламысом.

– Сиса! – старик услышал голос дочери. – Где ты был, Сиса?

Где, где... ищет своего гнедого, да не находит! Или буйволица ушла телиться, да затерялась в лесу.

Сиса, мягко ступая, заскользил по траве к дочери старика.

Сиса...

Старика передёрнуло, будто он хлебнул холодной воды с сахаром.

В углу двора закричал петух, испуганно закудахтали куры.

– Хай, хай, хай! – машинально крикнул старик, отпугивая коршуна.

Во двор через плетень перелетела пёстрая курица, а за нею молодой красавец петух с ярко-красным гребешком. Он почти уже догнал курицу, как вдруг налетел огромный петух и отогнал его в сторону. Молодой, уклонившись от грозного клюва, отбежал и остановился, распахнув крылья. Большой петух был стар, но всё ещё силён и крепок. Молодой покосился на него с обидой и помчался к другим курам. А пеструха, убежавшая от молодого, покорно стояла перед большим петухом, который, распушив перья и важно надувшись, надвигался на неё. Потом пеструха встала, отряхиваясь, а петух, отойдя в сторону, нашёл что-то в земле и подозвал её, и она склевала его находку.

Пока большой петух всесилен на птичьем дворе, пеструшка неотлучно при нём.

– Хика, – позвал дочь старик, – где наседка, что-то не видно её?

– Куда ей деться!

– А если коршун увидит?

– Не беспокойся, отец, ничего с ней не случится.

Старик слышал, как дочь и Сиса хихикают и шепчутся.

«Состарится человек и начинает над всем дрожать, будто ему больше всех надо, а на деле...» – вот о чём они шепчутся. Старик не слышит, но убеждён, что примерно так они говорят. И что не досказали лишь, что «на деле не сегодня завтра он умрёт».

Да, это правда: смерть его близка, и он не знает, как другие старики, но у него никогда не было желания прихватить лишнее. Пока жив человек, он

просто не может думать только о себе, не может не беспокоиться, забвение наступит, когда всё кончится.

– Хика!

– Ну что ещё?

– Где ребёнок?

– Он у нас, – это голос Сисы.

Внук старика, сын его сына, гостит у них уже неделю. Ему шестой год. Старик думает, что и сын приедет, потому что сегодня суббота. Он боится надеяться на это, но очень ждёт его. Так хочется посмотреть на него, поговорить, рассказать сказку...

Сын, один из всех, внимательно слушает его сказки.

А кому он только не предлагал свои сказки за эти два года, которые вынужден оставаться дома, но все поочерёдно отказались.

Каждое утро, до ухода Хики на работу, он просил:

– Посиди, расскажу сказку...

– Не до сказок! – ворчала она, занятая ежеутренними однообразными домашними хлопотами.

Всем, кто бы ни пришёл, старик виновато, словно извиняясь, предлагал:

– Посидите, отдохните, а я какую-нибудь сказку вам расскажу...

– Да, ты знал неплохие сказки, – отвечал, не присаживаясь, так как не собирался слушать, первый.

– Обожаю сказки, но... – отговаривался второй.

– Какие ещё сказки, и так времени не хватает, – бурчал третий, который всю жизнь прокопался в земле и ничему другому не научился.

– Время сказок прошло, сказки стали былью, – с умным видом произносил четвёртый, похожий на их соседа-учителя.

Тогда он снова обращался к Хике:

– Хика, ну подойди, выслушай сказку. Да брось ты свою посуду, никуда она не денется!

– Сказку, сказку! Твердит одно и то же. Разве у меня есть время слушать твои сказки?

– Почему бы нет? – обиженно ворчит старик. – Сидишь там, в своей библиотеке, как сторож у полок с книгами, а кто их днём читает? Как свинье не удержать в пасти сразу два ореха, так и крестьянин не может одной рукой пахать, а в другой книгу держать. И не скучно тебе сидеть там целый день?

Хика, выскочив из дому, пылко защищает книгу, говорит о пользе чтения в наше время, в нашей жизни, словом, произносит большую речь.

– Пока ты это говорила... боишься поумнеть.

– Если бы от твоих сказок кто-нибудь стал бы умнее...

Старик знает, что ей хочется сказать: «Тебе самому давно бы пора поумнеть», – но, конечно, она такого не скажет. Она ведь комсомолкой была (сейчас она уже переросла комсомольский возраст, так же как и опоздала выйти замуж). Говорят, что в правила комсомольцев входит почтительное отношение к старикам.

Теперь, вспомнив все эти уговоры, старик улыбнулся.

Ему очень хотелось, чтобы дочь нашла своё счастье. С тех пор как умерла её мать, а брат уехал в город, слишком много забот легло на её плечи.

– Отец, – Хика подошла к нему, – я пойду к Сисе, у них гости, помогу им.

Она положила на скамью валик от дивана, поставила рядом с ним посох с железным наконечником – алабашу.

– Ну вот ты и снарядила меня в путь-дорогу, остаётся только пойти, – старик взял алабашу и нежно, как ребёнка, погладил её круглую ручку.

– В какую ещё дорогу? – нетерпеливо спросила дочь.

– На тот свет, – засмеялся старик.

– Придумал бы что-нибудь поумнее!

– Не дай Бог! – прошептал Сиса, словно боялся, что Костлявая услышит.

Старик поднял глаза на дочь... Она когда-то была худенькой, стройной, а теперь располнела, округлилась. Прежде, сердясь или радуясь, она заливалась румянцем. Сейчас о её недовольстве или злобе можно судить только по тяжёлым словам.

– Кто такие, что за гости? – спросил старик.

– Из Сухума, – Сиса наклонился к старику и заглянул прямо в глаза. – Приехали из газеты. Вы ведь знаете отца, он не может отпустить без угощения. Да и они отличные ребята, и машина у наших ворот стоит.

– Кажется, знаю, – сказал старик.

Он смотрел на сапоги Сисы и удивлялся: парень вроде высокий, а сапоги с вершок.

– Их двое?

– Да. Отличные ребята.

– Может быть, если заново родились...

– Обязательно что-нибудь, да скажешь, – упрекнула Хика.

– Они в газете работают, их уважают. И машина новенькая стоит у ворот, – не уставал пояснять Сиса.

– Что же ты здесь стоишь, раз у тебя такие гости? Славные ребята... И машина совсем новая... Пошлите мальчика сюда, – сказал старик.

– Я попрошу старушку, чтоб за ним присмотрела.

– Пошли его сюда!

– Пришлю вместе со старушкой.

– Поставила бы воды около меня.

Хика принесла кувшин с водой и алюминиевую кружку.

– Всё та же вода?

– Нет, заморская! – засмеялась Хика.

– Пошли мальчика.

– Ну хорошо, хорошо... И врач придёт, я его вчера просила.

– Тот фершал?

– А что, фельдшер – не врач?

– Пока не выпьет...

– Ты просто невозможный стал!

– Пошли моего мальчика.

Они ушли.

Тень от шелковицы всё укорачивалась. Но уже и в тени жара давала о себе знать.

Старик опять задумался о горах.

Вначале они вставали перед его глазами, как гигантские, обнажённые кости земли. Но постепенно оживали в его воображении, наполняясь красками, запахами и звуками. Он ощущал на лице своём прохладное дыхание горных потоков, чувствовал забытые запахи альпийских трав...

Вечером с омытых вершин спадает облачный их покров...

Весь горизонт в едва колеблющихся, пушистых холмах облаков, охваченных пожаром вечерней зари... И бьющие прямо из скал белые струи ацыха-дзы… Здесь, там, и там, и там...

Вырывается из недр благодатная влага. Там и здесь... всюду низвергается пенящийся поток.

Заглушая всё...

...Старика мучит жажда. Он наливает половину алюминиевой кружки и делает несколько глотков.

Вода тёплая, с привкусом железа, а потому кажется густой.

– Не вода, а лужа, – лицо старика передёрнулось, словно его тошнит, – провались ты в преисподнюю!

Колодезная вода, конечно, была бы лучше.

Но везде на глубине одного метра здесь скалы. Пробовали рыть, но ничего не вышло.

Хоть бы Сунар, сын, приехал. Может, ему бы удалось прочистить родник, освободить его от ила. Да и ребятишки соседские, наверное, не отказались бы ему помочь.

Поговорили бы по душам. Мало ли о чём... И сказку рассказал бы ему. Сунару рассказывать приятно. Он слушает с душой.

Иногда с Сунаром приезжал молодой человек и записывал сказки. Но у того никогда не хватало терпения выслушивать их до конца. Запишет то, что считает нужным, а потом сидит и зевает. Да и записывал он мало. Никакого удовольствия от такого слушателя, и рассказывать неинтересно.

За эти дни полного одиночества, оставшись наедине с самим собой, старик не раз вспоминал одну давно забытую сказку, которую услышал ещё в молодости.

В ожидании сына он то и дело принимался рассказывать её вслух...

...Жила-была вдова. У вдовы был сын. Однажды приснился ему чудесный сон...

Сунар, видимо, уже в пути. Но ему долго ещё придётся ждать, когда сын приедет из Акуа (Сухума).

Ну что ж, он подождёт, лишь бы сын приехал…

…Лишь бы приехал...

Сунар: Мне говорили, что замуровало родник. И отца, конечно, каждый день мучает теперь жажда. Всё время я собираюсь поехать домой, но не еду. Сам не пойму, что со мной происходит. И раньше так тоже бывало. Может быть, я слишком редко навещаю отца, правда, по независящим от меня причинам, и мне совестно перед ним за долгое отсутствие. В конце-то концов я пересиливаю себя, а отец никогда меня не упрекает, радуется моему приезду, и я быстро успокаиваюсь. Но в последнее время какое-то непонятное беспокойство гложет меня... Словно я в чём-то провинился… а в чём не знаю... Видимо, всему виною паршивое моё настроение. А побывать дома очень хочется, но всё как-то не получается...

Старик, не снимая больной ноги с табурета, с помощью алабаши лёг на скамейку.

– У-ф-ффф! – вздохнул он.

«...а на деле – не сегодня завтра умрёт...»

Это правда. Чем ближе старость, тем ближе и смерть. В его возрасте человек уже лицом к лицу сходится с ней. А потом и привыкает...

Старик не знал, боялись ли другие смерти, но очень хорошо понимал, как одиноки они были. Раньше ему казалось, что близость смерти дарит человеку необыкновенную свободу.

Но этого не случилось.

Правда, он почувствовал некоторое освобождение от чего-то, но ещё сильнее натянулись и стали болезненно чувствительными те корни, которые связывали его с жизнью. И всё чаще, по нескольку раз в день, мчались к нему из тьмы небытия, как скорые поезда к полустанку, прорезая ночь светом фар, воспоминания о давно прошедшем и давно забытом всеми, кроме него, которое он и сам хотел бы забыть, да не смог. А потом эти «поезда» воспоминаний словно бы переводились на запасной путь его памяти и долго ещё теснились там, подобно транзитным пассажирам в зале ожидания.

Вот приедет Сунар, и старику станет легче. И душа его успокоится.

Конечно же, сын обрадуется новой сказке.

– Сказка стала былью, – усмехнулся старик. – Как бы не так...

А сказка, которую он вспомнил, и в самом деле хорошая.

...и однажды ему приснился чудесный сон: будто у его изголовья сияет солнце, у ног – луна, а на груди его лежит звезда...

Тень, дойдя до середины двора, отступила. Было тихо. Жара усилилась. Раскалённый воздух струился зноем. От земли шёл еле различимый, неумолчный гул.

В нагретой почве совершали свою круговерть соки земли, они, как кровь, растекаясь по жилам растений, давали им возможность дышать, поглощая солнечные лучи. К полудню вся растительность, словно опьянённая солнечным светом, становилась вялой, никла. Но с наступлением вечерней прохлады опьянение проходило. И снова всё росло, зеленело, благоухало для

того, чтобы дать земле своё семя. Недоступная человеческому слуху работа природы, это стремление расти и есть Жизнь.

Старик думал о горах.

А там, в горах, которые смотрели во двор старика, порожние облачка, сгустившись в тучку, вновь осаждали вершину.

Когда он был ребёнком, его долго не хотели брать в горы.

Отец его был одним из тех, кого старик называет теперь пожирателями земли. Всю жизнь до самой старости, до тех пор, пока ноги держали его, он ни одного дня не отдыхал сам и, пока слово его имело в семье вес, никому не давал передышки. В их доме не отличали зимы от лета, весны от осени, всем было некогда, всегда вставали затемно и до наступления вечерней темноты копошились в земле, поливая её своим потом. Старшего из трёх сыновей отец назначил в пастухи, и тот пас многочисленную баранту отца; средний был главным земледельцем: пахал, сеял, мотыжил, убирал, а третьего, младшего, отец никуда не определил.

Младшим был старик. Его не оставляли в покое, надоедали ему наставлениями, но никакой работы одному не доверяли. И что бы он ни делал – всё не нравилось. Сделает он что-нибудь, а они тут как тут, идут по его следам и переделывают всё по-своему.

А ему очень хотелось увидеть результат своей работы, увидеть, как растёт и зреет то, что посеяно его руками. Но все, словно боясь, что он отведает радости, всюду преграждали ему дорогу, затаптывая его следы.

Было до боли обидно. Ощущение этой первой боли запомнилось навсегда, потому что пробудило самосознание. Раньше он чувствовал себя единым целым с окружающим миром, как бы растворялся в нём, а боль словно бы отодвинула его от всех, заставив понять себя отдельной единицей этого мира.

Лежать старику стало неловко. Даже в тени было теперь душно. Жара всё больше сгущала и тяжелила не освежаемый ветром воздух. Он повернулся, стараясь лечь поудобнее.

Его долго не брали в горы. Но однажды, когда он заболел малярией, когда в течение месяца его била лихорадка, кожа пожелтела, а живот его вздулся и затвердел, мать настояла, чтобы летом его взяли в горы. Никогда не забудет он, как впервые поднялся туда. Даже сейчас, при воспоминании, мурашки забегали. Так с ним бывает, когда хорошую песню услышит.

В горах люди становятся мягче, внимательнее и заботливее друг к другу. Хотя, конечно, привычки, усвоенные ими в долинах, не исчезают совсем. Он ясно тогда это почувствовал.

Как только он окреп, ему поручили козлят...

Проскользнув между прутьев изгороди, во двор высыпались цыплята. Наседка осторожно вышагивала впереди, давая им время покормиться. За плетнём пищал отставший цыплёнок.

– Наверное, зацепился за что-то, а мать почему-то не откликается...

Цыплята радостно щипали травку во дворе, а из-за плетня всё отчаяннее пищал отставший. Старик, опершись на алабашу, поднялся и сел. При этом движении боль пронзила ногу, и он, не выдержав, застонал.

– Сто пуль и пороху на сто пуль в газырях у него, – скрипуче протянул старик и зло усмехнулся.

Хоть бы внука прислали. Но вошедшему в их дом до позднего вечера не выйти оттуда. Даже когда их нет дома, они как-то ухитряются заставить людей что-то делать для них. Прежде Хика не помогала соседям обслуживать их гостей, не унижалась. А теперь ждёт не дождётся, когда её позовут.

– Пёс паршивый, – пробурчал старик, вспомнив о главе соседской семьи.

В селении его называли Адау, то есть великан, потому что он был огромного роста, ширококостный и с большими обвисшими усами.

В сказках старика великан Адау поджаривал людей на вертеле и пил капающий при этом жир. Когда герои сказок отрубали Адау голову, на её месте вырастали две, а чтобы убить Адау, надо было, отрубив ему голову, успеть присыпать это место горячей золой.

Этот Адау был сыном очень состоятельного человека. Когда пришла новая власть, он всё надеялся, что она не удержится, и вредил, как мог, и днём и ночью. Вредил очень искусно: никто не замечал его действий. Убедившись в прочности новой власти, он переметнулся на её берег, заметя все следы на том. С этих пор он стал активным поборником нового, на собраниях никому слова не давал вымолвить, обратил на себя внимание, и его выбрали в сельское руководство. Словно собака, которая может вдруг укусить, он постоянно тёрся около тех, кто делал настоящую работу. У него был острый нюх на то, в какую сторону ветер дует: ему не было дела до того, на чьей стороне правда, важно было лишь одно – оказаться в стане победителей. А со стороны казалось, что большего правдолюбца в селении не сыщешь. Он всегда открыто выступал и смело критиковал, тая от всех свои подлинные мысли.

– Паршивый пёс, – пробормотал старик, скрипнув от злости уцелевшими зубами.

Старик не раз бывал рядом с ним, и ему случалось видеть движения его огромных рук и натянутую улыбку, раздвигавшую усы и обнажавшую крепкие зубы.

В сказках между Адау и человеком всегда возникала борьба не на жизнь, а на смерть, и старику становилось не по себе, когда он видел этого Адау.

За плетнём всё ещё пищал отставший цыплёнок, а наседка с остальными резвилась во дворе.

– Чтоб тебя ястреб унёс! Притворяешься глухой, – рассердился старик на наседку.

Скрипнула калитка. Старик прислушался, сердце ёкнуло, представилось, что это Сунар. Но по двору плелась соседская старушка.

«Ах чтоб тебе! – Старик был раздосадован. – Сидела бы дома, несчастная старуха!..»

– Ты жив, мой старик? – прошамкала она, доковыляв до него.

Старику стало неприятно, как от скрипа несмазанных петель двери.

«Мой старик! Чтоб тебя черти изжарили!»

– А где мальчик?

– Кроме своего мальчика, никого уж не видишь! – присев рядом, она игриво ткнула его своим костлявым плечом.

Старик смутился и, опершись на алабашу, отодвинулся.

Старушка грустно вздохнула:

– Постарел ты, Шханыкуа. Нам с тобой только и осталось, что умереть.

– Ты-то ещё крепкая, чего тебе волноваться, – старику хотелось пожалеть её, но не получилось.

– Иди сюда, малыш. Подойди ко мне!

Краснощёкий, крепкий мальчик нехотя подошёл к деду. Старик радостно обнял его своими дряхлыми потяжелевшими руками. Внук Адгур казался ему тёплым, пушистым птенчиком, запах детского тельца вызвал у него прилив нежности, и опять побежали мурашки, словно он услышал хорошую песню. Кожа на затылке натянулась, горло свела спазма, скупые старческие слёзы обожгли веки. Счастье любви к внуку охватило всё его существо, оттеснив все остальные чувства.

– Где ты был? Совсем покинул деда, – старик гладил внука по голове, – а я скучаю без тебя.

– Где ты был? – повторил маленький Адгур вопрос деда и показал ему игрушечную собачку с ввинченными, лапами.

– Вижу, дад, вижу... – счастье, как холодная ключевая вода, освежило его.

– Мы... Ла... Ла... – мальчик силился выговорить «ала», что по-абхазски значит собака, но, не умея объяснить словами, только жмурился.

– О какой собаке ты хочешь рассказать, о нашем Чалыке? – спросил старик. – Где же она? Что-то не видно её было сегодня.

– Она у нас, – сказала старушка, которая сидела пригорюнившись.

– Чтоб его собачий бог Алышкинтр поразил!

– Ла... Ла... – мальчик напрягся весь, отвинчивая и снова ввинчивая ноги игрушечной собачки... – Чалык... Чалык...

– Послушай, – прошамкала старуха, еле удерживая непослушный свой язык, который вываливался из щербатого рта, – он яжика не жнает... – Она прикрыла рот рукой, хотела засмеяться, но смеха не получилось, только бульканье, будто вода уходила из кувшина с отбитым дном.

Старику показалось, что она говорит с издёвкой.

– Зато у тебя язык хорош! – Не скрывая брезгливости, старик посмотрел на неё.

– О, бедный мой сталык, как, видно, я намозолила тебе глаза, коли мой голос так раздражает... – она опять подтолкнула его костлявым плечом, – он курятину нажывает рыбой... это не мальчик, а ангелочек, – старушка снова скривила рот в гримасе смеха, но звука опять не получилось.

– Ла... Ла... Чалык... – лепетал Адгур.

– Ла, – понял старик, – ты хочешь сказать, что можно отвинтить ноги Чалыку, да?

– Ага! – обрадовался Адгур.

– Вообще не мешало бы, чтоб по соседям не бегал, – сказал старик, – но если Чалыку отвинтить ноги, то обратно уж не привинтишь, нет...

Мальчик словно бы стал немым, это раздосадовало старика. И к счастью, которым он упивался, как родниковой водой, примешалась горечь.

– Да, да... Нужно бы перебить ей ноги, чтоб она не пялила жадные глаза на чужие двери! – сказал старик, выместив своё раздражение на собаке.

Прошлым летом мальчик болтал по-абхазски свободно. А теперь все слова выветрились у него из головы. Иной раз, когда он силился что-то сказать деду, а у него не получалось, он вдруг умолкал и задумывался, словно бы удивляясь тому, что вообще существуют какие-то слова для выражения мыслей. Мальчик знал, что дедушка понимает только свой родной язык, и потому так старался. Но беда в том, что и на другом языке он ещё толком объясняться не умел.

У слова, как у воды и воздуха, есть свой особый вкус, совсем особый... Оно бывает и горьким, и сладким, и таким холодным, что зубы стынут, и горячим, обжигающим горло... Не распознав вкуса слова, его правильно не произнесёшь...

Что произошло с отцом мальчика, Сунаром? Разве он не видит этого? Ведь он сам, насколько известно старику, занимается словом. В прошлом году старик уже мог рассказывать малышу незатейливые сказки. И Адгур сидел и слушал. А теперь он и минуты не усидит... ничего толком не понимает. Целыми днями возится с игрушечными машинами, самокатами и всякими металлическими штуками. Он бывает так занят ими, что ничего вокруг не замечает и ничего не хочет.

«Машина, ракета, самолёт», – вот что он чаще и громче всего произносит без запинки.

По двору скользнула тень коршуна. Издав предупреждающий крик, вскочил петух, разгребавший тёплую пыль под амбаром. Его сигнал означал: «Будьте бдительны, нельзя верить тем, кто летает слишком высоко...» И куры засуетились. Наседка, в унисон с петухом, заквохтала, и цыплята в мгновение ока притаились в траве.

– Самолёт, самолёт! – задрав голову, громко прокричал мальчик и побежал за тенью коршуна, который лениво парил над двором.

– Самолёт, самолёт!

– Он думал, что всё летающее – самолёты.

– Он ещё маленький, – сказала старушка.

– С тех пор как Адгур стал всё это выкрикивать, я возненавидел всё металлическое, – старик печально вздохнул, – всё металлическое... Он не был таким... не пойму, что сделали они с ним за этот год.

Старушка оцепенело понурила голову. Кожа лица её покрылась мелкой сетью морщин, на острых, вырисовывающихся под юбкой коленях лежали высохшие от старости руки с пожелтевшими от табака ногтями. Старику хотелось пожалеть её, но он не смог.

Неужели это та молодая женщина, пышущая здоровьем, с лукавинкой в глазах, с простоватой, но игривой улыбкой, мимо которой ни один мужчина в селении не мог пройти равнодушно и которую так хорошо знал старик! Сейчас перед ним сидела старуха из невесёлой сказки, похожая на всех старух на свете. Казалось, что она возьмёт да и вынет из-за пазухи свою волшебную плеть, которой в сказках ведьмы превращают всё живое в каменных истуканов.

– Что так тихо в вашем доме?

– Из Сухума приехали... – сказала старушка, выходя из оцепенения, – хорошие парни, они там, кажется, занимают большие посты, но, по-моему, это те, что делают газету.

– Что-то непохоже...

– В то лето тоже напечатали в газете про него, с портретом. На нём была бурка, которую я сделала.

– При такой-то жаре и в бурке?

– Говорят, что сейчас в цене старинная одежда... Особенно, когда фотографируют... А он столько работал, бедненький мой, столько трудился на своём веку.

– Как же, как же, и так устал, бедненький, – ехидно сказал старик и усмехнулся, – в тот раз они у тебя тёлку съели, а теперь очередь за кем?

– Была у меня и вторая скотинка, но для таких гостей ничего не жалко, такие весёлые, так и смеются, так и заливаются.

– А чего им не смеяться...

– Да, смеются, очень хорошо смеются...

– Опять твоего братца в газете запечатлеть хотят?

– Да, как будто бы так. Сколько он перенёс, сколько пережил, бедненький мой. Они там что-то говорили о борьбе, о врагах каких-то и о друзьях... И чего только не знают, оказывается, они все науки прошли.

– Так, значит, и о врагах говорили? Враги врагами, а тёлка твоя пропала. Ни твоей души она не выкупит, ни их. Всю тебя, бедную, обобрали, не дом, а пропасть бездонная...

– Чтоб земля тебя забрала, – она опять ткнула его в бок костлявым своим плечом. – Не у чужих я, у себя дома...

– Давно уж прошло то время, когда это был твой дом, сама себя обманываешь.

– А что поделаешь... – сказала она и сразу как-то сникла, будто ослабла в ней окончательно та внутренняя пружинка, которая ещё кое-как поддерживала её, – живой в землю не ляжешь...

Словно бесплодное, засохшее на корню дерево: ни плодов, ни листьев...

Она подперла голову иссохшими руками, как будто боялась уронить её совсем.

– Я не то хотел сказать, у тебя-то положение лучше, чем у нас всех, – сказал старик, поняв, что он переборщил. – Думаешь, мы счастливы, что у нас есть дети? Вся жизнь прошла в опустошающих душу заботах, всю жизнь дрожишь за них...

Старик хотел пожалеть её, но не сумел.

– Ракета, ракета, самолёт!

– Как бы чего с мальчиком не стряслось! – встревожился старик.

Старуха молча поднялась и заковыляла в ту сторону, откуда слышался голос мальчика. Явившись на мгновение старику сказочной колдуньей, она исчезла, чтобы вновь превратиться в безликую старушку, похожую на всех старушек на свете.

– Ракета, самолёт, самолёт, ракета!

Уже откуда-то из переулка доносились восторженные возгласы маленького Адгура.

У старика от этих возгласов сердце заныло, ему казалось, что мальчик непременно ударится о что-то железное, металлическое.

Старик тяжело вздохнул и при помощи алабаши сел поудобнее, посмотрел на кувшин, стоящий подле, хотелось пить, но лучше уж терпеть, чем совсем испортить себе настроение.

Тень от шелковицы стала совсем короткой. Ни ветерка, ни дуновения, жара становилась всё удушливее.

– Что же он не идёт. Что помешало ему, – проговорил старик, теряя терпение, – какой долгой стала эта дорога... Хоть бы приехал, хоть бы...

Сунар: Вон идёт новоиспечённый кандидат. Увидел меня. Яростно машет рукой: зовёт к себе, что-то уж больно приветлив стал... Кто это с ним? Ну конечно же, узнаю – это однофамильцы, близкие и дальние родственники, все те, кто занимается «делом», торговлей... Словом, его «меценаты». «Он один из нашего рода сделался учёным, ничего для него не пожалеем», – частенько говорят они, а он на ус мотает. Видимо, сейчас он со своими меценатами потому, что собирается обмыть кандидатство. Легко сегодня от него не отделаешься, этот новоиспечённый кандидат ничего не пожалеет, он всегда щедр, когда можно платить не из своего кармана. Но я подойду только поздравить, а потом поеду поскорее домой, в деревню... Старик измучился, наверное, поджидая меня... Чем быстрее я от них отделаюсь, тем лучше!

Старик устал сидеть и лёг. Теперь он дышал спокойнее. Он снова думал о горах.

А там, в горах, облака, не обременённые дождём, всё наступали. Они окружили скалу, возвышающуюся над ними, как неприступная крепость, и вцепились в самое её «горло», но верхний ветер вскоре разорвал их кольцо, и они, не выдержав его натиска, расплылись, рассеялись, и, оставляя лишь маленькие лоскутки на острых гребнях, опять собрались в ущелье.

В то лето, когда его впервые взяли в горы, однажды он погнал козлят на пастбище. Солнце жгло нещадно, и даже непоседливые козлята, утомлённые жаждой, спрятались в прохладной пещере, и он тоже, подмяв под себя густой конский щавель, лёг в тени у самого входа и стал прислушиваться к шуму горных потоков. Как они пели! Да, да, они действительно пели. Поток, который мчался вниз по скалистому руслу, был запевалой. Скалы, по

которым он сбегал, были большими, его песне эхом вторила острая вершина, и звук от этого становился высоким и тонким. Другие потоки, прорезавшие склоны и низвергавшиеся в пропасть под этой вершиной, подпевали ему. Внизу, в глубоком ущелье, они, сливаясь в один мощный поток, пели басом. У-у-у – беспрерывно неслось из ущелья, звук, словно бы не умещаясь в нём, вырывался наружу. Но вдруг сбоку, из-за уступов скал, налетал сильный ветер и поглощал дружную песнь потоков. Иногда надолго. В такие минуты в образовавшейся тишине становились слышны другие звуки, неподвластные ветру, которые обычно растворялись в общем хоре, как аккомпанемент на ачамгуре. Это был голос водопада высотой с дерево. Небольшой поток срывался с отвесной скалы, но от того, что сил у него было немного, а высота велика, воды его разбивались в мелкие брызги. И когда ветер поводил «руками» по висящим в воздухе каплям, они, соединяясь, издавали волшебные звуки, будто искусные пальцы музыканта пробегали по шёлковым струнам ачамгура. Но ветер изрыгал из своей пасти песню всех потоков, и она снова заглушала всё вокруг. Слушая эту волшебную мелодию, убаюканный ею, опьянённый запахами гор, он сладко уснул...

Старику показалось, что скрипнула калитка, и сразу, стряхнув воспоминания, он весь превратился в слух. Но ожидание обмануло его.

Тень от шелковицы теперь снова ползла к нему. В раскалённом воздухе стоял какой-то непрестанный, еле уловимый гул, казалось, что это небо превратилось в огромные вращающиеся жернова. Совсем низко над землёй гудели пчёлы. Птицы смолкли, забившись в густую листву в поисках прохлады, только время от времени вдруг раздавался торопливый щебет вспыльчивой синички, да лениво-равнодушные к её нетерпению воробьи озабоченно попискивали. Ласточки, свившие гнёзда под крышей дома, то и дело чёрными стрелами взмывали в небо, радуя глаз красотой раздвоенных хвостов, которых по легенде коснулось змеиное жало, и изящным изгибом своих крыльев.

– Ракета, ракета, самолёт! – откуда-то издали донёсся голос мальчика.

– Вот случится что-нибудь с малышом, чтоб им пусто было, – злился старик. – Дьявол лохматый, как он съедает дни у людей... Будто все ему что-то должны. Бедная Хика, какой равнодушной стала она.

Приедет Сунар, нужно первым делом поговорить с ним о мальчике... Жалко Адгура, не может словами выразить свои желания.

Думают, что человек учится говорить, но это неверно. Язык, как душа, живёт в крови, но нужно окунуться в него и пить, как родниковую воду, чтобы почувствовать его вкус и свежесть, и тогда слова сами забьют изнутри...

Поскорее бы Сунар приезжал... что-то он задерживается, но рано ли, поздно – он всё равно сегодня приедет.

Сунар: Древняя крепость, колыбель прошлых ратных дел... Резиденция славного Келеша, крепость, в подвалах и казематах которой томились борцы

за свободу... Как беспорядочное нагромождение скал, разрушенных землетрясением, стоят руины взорванной крепости (её взорвали, чтобы привести в божеский вид набережную!). На одной из этих скал-развалин выстроен ресторан «Диоскурия». Так его назвали. Вот мы и сидим в этом ресторане. Я осушил пять бокалов... Чем плохи эти ребята... один из них – молодой кандидат, с успехом защитивший диссертацию по истории нашего народа... как говорится, молодой специалист... новый кадр... А его «меценаты» такой стол закатили, что закачаешься... Хотя... Как быстро зашумело у меня в голове... Но почему бы мне не радоваться – сижу в красивом, благоустроенном, современном ресторане, построенном на развалинах тёмного прошлого, смотрю на лазурное море, – Понт Эвксинский, овевающее меня приятной свежестью... Домой я так и не поехал... Опять не получилось... А отец, конечно, заждался... да и я соскучился по малышу, но не мог же я обидеть товарища, у него сегодня такой день... Да и вообще сегодня день хороший, правда жарко, но у моря жара не ощущается, море выручает... А голова шумит... Как быстро я охмелел...

Старик никогда не забывал того, что приключилось с ним тогда в горах. Сквозь сон он услышал лай собак и проснулся. Козлята, которые вышли было из пещеры пощипать травку, шарахнувшись в панике прямо на него, топча его острыми копытцами, устремились в глубь пещеры и сгрудились там. Лай слышался совсем близко. В пастушьей общине, к которой он относился, было немало настоящих охотников, уходивших обычно на два--три дня в большие горы в погоне за турами, но были и такие, которые, оставшись без дела, брали свои набитые порохом и пулями кремнёвки, собак, не приспособленных к охоте, и отправлялись на поиски какой-нибудь случайной серны, уже и без них приговорённой к смерти. Эти горе-охотники промышляли в долинах, пуская собак в высокие травы или в заросли карликового бука-аас, но никогда после такого рода охот не скрещивались вбитые в землю атамха – колья для свежевания дичи.

Он прислушался: лай собак раздавался на той стороне потока-запевалы. Сквозь лай иногда пробивалось какое-то странное шипение, похожее на сигналы серны-вожака, которые та издаёт при виде опасности. Он вскочил и, опираясь на дубинку из карликового бука, вскарабкался на скалу, нависавшую над входом в пещеру. Прямо перед ним возвышались два громадных утёса, разделённых горной рекой, которая белесой полосой змеилась по лощине. И как упавшая с головы круглая войлочная шапочка, виднелся внизу шатёр, вмещавший в себя целую пастушью общину...

Со стороны дороги доносились какие-то голоса, старик очнулся от воспоминаний. Прислушался. Шли какие-то люди, громко разговаривая. Когда голоса их затихли, удалились, слуха старика коснулся слабый голос мальчика: «Самолёт! Самолёт!» Старик услышал стремительно нарастающий гул и посмотрел в небо, но не увидел, конечно, блеснувшее на миг и тотчас растворившееся в синеющей дали серебристое тельце самолёта.

– Даже в полдень не утихает эта дорога, – обеспокоенно сказал старик, – как бы с мальчиком чего не случалось... И что этот негодяй затеял сегодня... Люди весь божий день пот на полях проливают, а они, видите ли, сидят и преспокойно пируют.

– Ракета! Ракета! – слышался голос мальчика. Старик не старался разобраться в шумах дороги, но голос внука он узнавал сразу.

– Негодяй, – злится старик на соседа.

Старик всегда не любил его. Многих людей повидал он на своём веку, но другого такого крестьянина, который всю жизнь лакомился бы за счёт других, он не знал. Конечно, некоторые тоже начинали свою жизнь с таких дел, но уставали от подобной постылой жизни или вдруг просыпалась в них совесть и вставала поперёк пути, а иные слишком открыто начинали действовать, и их стаскивали с седла те же руки, которые подсадили их в него. А вот он с самого первого шага не изменял своей походки. Да и имя у него какое-то дикое – Бадрак!

Однажды, когда Бадрак был в самом расцвете лет, и старика ещё не давили годы, из района приехало какое-то начальство и, как это повелось уже, было приглашено в дом Бадрака.

Холощеного козла и вино доставили из колхоза, остальное принесли соседи, а «хлеб-соль» подавались от имени Бадрака.

Попили, поели, а затем шумная эта и сытая компания расположилась во дворе в тени под деревом. Бадрак громче всех и беспричинно смеялся, скаля зубы. Даже обвисшие, лохматые усы не в силах были скрыть его огромные зубы. Казалось, что это не зубы, а кабаньи клыки, которым, если понадобится, он будет косить и колоть всех подряд, смеясь своим дурацким гикающим смехом над заколотыми.

Бадрак стал рассказывать гостям о том, как некий знаменитый охотник по имени Бадгуала взял его с собой на Эрцаху – высочайшую горную гряду всей Абхазии – охотиться на туров. (На самом-то деле он никогда не ходил дальше ближайшего перевала!) Бадгуала и вправду известный охотник. Но Бадгуала был здесь ни при чём. Дело в том, что сын этого охотника занимал высокий пост. Он очень быстро выдвинулся, и все это заметили. У Бадрака было удивительное чутьё, он безошибочно угадывал, кому попутный ветер дует. Кроме того, он всегда умел, как бы между прочим заговорить об этих любимцах фортуны, ставших знаменитыми. И рассказывал об этом так, что слушатели всё принимали за чистую монету. Старик знал, что все россказни Бадрака – ложь. И многие знали, но с удовольствием, словно опьянённые, слушали выдумщика, и им уже казалось, что это не он бессовестно лжёт ради своей выгоды, а тот, кто думает, что он лжёт. Старику было неловко за обманутых.

В тот день Бадрак рассказывал только о Бадгуале, говорил, как они застрелили такого большого тура, что ему, человеку не слабого десятка, трудно было поднять тушу, и как Бадгуала поднял её, будто пушинку (Бадгуала же был проворным, но хилым, тщедушным старикашкой). А слушатели смущались и в то же время дивились, глядя прямо в его огромный рот,

который Бадрак с видимым наслаждением часто открывал до отказа, и ждали от него новых необычайных приключений из охотничьей жизни.

Потом Бадрак решил, что о Бадгуале сказано достаточно, и стал сочинять, боясь кому-нибудь другому уступить слово, про свои подвиги, про то, как он одним махом может троих или четверых на месте уложить.

– Ну что ж, давай поборемся! – сказал тогда старик и поднялся.

Все переглянулись и притихли. У Бадрака челюсть отвисла, он так и остался стоять с открытым ртом, но, опомнившись, тут же расхохотался, сделав вид, что хохот так его душил, что даже рта закрыть не дал.

– А ну выходи! – сказал старик и, бросив на землю свою войлочную шапку, шагнул к Бадраку.

– Тебе что, жить надоело, Шханыкуа! – изумлённо сказал кто-то.

– Он шутит! – сказал Бадрак сквозь деланный смех.

– Я не шучу! – сказал старик и обвёл всех взглядом: и гостей и хозяев, и сразу обмяк: все смотрели на него с осуждением, будто он их кровно обидел.

– Бадрак, исполни его желание, чтобы в другой раз неповадно было, – сказал один из гостей и засмеялся. Но какой это был смех!

– Да что вы, неужто я могу, он мой сосед, мне сердце не велит, – голос Бадрака стал вдруг слаще мёда. Этот хитрец был верен себе, ему хотелось ещё больше возвыситься в глазах гостей. – Это мы так шутим с ним иногда, – продолжал он, – вспоминаем свою молодость.

И это тоже было ложью, потому что с самого детства они не то чтобы бороться – близко не подходили друг к другу.

Но старик, хотя и поостыл под недобрым взглядом присутствующих, отступать не собирался. Он подошёл к Бадраку.

– Мы не маленькие, не юноши какие-нибудь, – пробормотал тот, ещё не веря, что от борьбы не отвертишься.

Они обхватили друг друга. Старик почувствовал, что челюсть Бадрака, упирающаяся ему в плечо, дрожит мелкой дрожью. Он покрепче ухватился за поясницу противника, стараясь определить, насколько твёрдо тот стоит на ногах. И удивился, потому что как ни широко расставил Бадрак свои длинные ноги-жерди, свалить его при желании не стоило бы большого труда. Бадрак был совсем не приспособлен к борьбе и стоял на ногах нетвёрдо, да к тому же ещё сильно трусил. Он только с виду был могучим, а на деле не обладал большой силой.

– Он меньше ростом и держит его не по правилам, это нечестно! – крикнул один из гостей.

Гость не смог скрыть злобы – голос выдал его. Бадрак тоже старался выдавить из себя снисходительный смешок, но челюсть его на плече старика так и плясала.

Старику хотелось, чтобы Бадрак сделал хоть какое-нибудь движение, чтобы, защищаясь, забыть о своих колебаниях. Если бы Бадрак был убеждён в своём преимуществе, его бы ничто не остановило, он не пощадил бы старика и при всех осрамил бы за то, что тот осмелился драться. Но, сразу оценив свои возможности и поняв своё бессилие, он старался и из

создавшегося положения выйти победителем, а потому стал кротким и добреньким. (Уложи его на обе лопатки, он и тогда, наверное, сумел бы доказать всем, что это не он упал, а ты.) У Бадрака был выход, когда старик вызвался ни с того ни с сего с ним бороться, он мог бы разозлиться и просто-напросто выгнать старика. И он бы сделал это с превеликим удовольствием, он-то знал, что этот вызов – следствие его лжи, но понимал, что гнев не лучший выход. Правда, если бы даже Шханыкуа сказал, чем продиктован его вызов, все посмеялись бы над ним, потому что, привыкнув к лжи Бадрака, как к сладкой сказке, сами ей потворствовали. А Бадрак, человек практичный, не хотел, чтобы Шханыкуа или кто-то другой расшифровали его. Он хорошо знал, что слово – не воробей, вылетит – не поймаешь, и что высказанное вслух суждение имеет гораздо большую силу, чем всем известное, но о котором молчат.

И Шханыкуа понял, что, несмотря ни на что, он не может и не должен сейчас при всех уложить Бадрака на обе лопатки. Может быть, оба они не правы, но, действительно, не маленькие, не какие-нибудь юноши... И вообще вся эта его затея – глупость, не нашёл лучшего способа отомстить. Он ещё сильнее возненавидел теперь Бадрака, когда понял, что и сила его тоже ложная.

– Отпусти, отпусти! – сказал он нетерпеливо Бадраку, не называя его по имени, потому что брезговал им.

А Бадрак, давно ждавший этого, разомкнул свои дрожащие руки, перевёл дух и загигикал. И все загоготали, вторя ему.

– Нужно было бы разочек всыпать ему как следует, чтоб небо ходуном заходило, – сказал один из гостей и облил старика ледяным взглядом своих хмельных глаз.

– Сосед, что сердце! – воскликнул Бадрак и снова загигикал. Гигиканье его было уже более равнозвучным, видимо, челюсть уже не дрожала.

– Подонок, – выругался старик, вспомнив об этом сейчас, неподвижно лёжа на скамейке в тени под шелковицей.

Тень спящей собакой свернулась у ствола дерева, земля перегрелась, и старик ощущал её гуд ногой. Зной плавал в воздухе, как жир на поверхности воды.

Мальчика нужно отдать в школу здесь, старик встанет на ноги (заживёт же наконец эта злополучная рана) и будет заниматься только внуком. Адгур быстро научится говорить, выражать то, что мучает его. Только тогда старик умрёт спокойно.

От этих дум стало легче на душе. Он вспомнил теплоту к детский запах тельца внука, и снова вернулось к нему состояние, какое бывало, когда слушал хорошую песню.

«Как бы с мальчиком чего не стряслось».

Сейчас приглядывает за ним одна старушка, всем некогда и Хике тоже. Старику опять захотелось пожалеть старушку, но жалость почему-то не пробудилась в его сердце. Вдруг вспомнил он о тех отношениях, которые

когда-то были между ними, и ему стало нестерпимо стыдно, словно кто-то подслушал его мысли. В тот день, когда он впервые подумал о возможности таких отношений, было так же душно и жарко, как сегодня. Он мотыжил кукурузу в долине, а она возвращалась с реки с выстиранным бельём. Увидев её, он воткнул мотыгу обухом в рыхлую землю и сел в тени, под кислицей. Ему хотелось просто поговорить с ней, забыть на несколько минут об усталости. В тот момент он и в голове ничего другого не держал. Она была дважды замужем, но, то ли оттого, что была бесплодной, то ли из-за сварливого характера, или ещё по какой причине, семейная жизнь у неё не задалась, и вот уже целый год она находилась у брата.

– Может, расскажешь, как ты хотел побороть моего Бадрака, – сказала она, смеясь, как только поставила на землю таз с бельём. – Ты, видно, был пьян, иначе ведь не решился бы, правда? Ну расскажи, как это было, покажи...

Она всегда подшучивала над ним, не упуская случая напомнить ему о борьбе с братом. Сначала он злился, но потом привык и перестал принимать её слова близко к сердцу.

Но в этот день, когда он приготовился было просто поговорить с ней, упоминание о брате вывело его из равновесия. Он повернулся к ней, чтобы сказать что-нибудь резкое... Перед ним стояла и невозмутимо смотрела на него молодая женщина, только что искупавшаяся в холодной речной воде. Золотистый загар покрывал её шею и обрывался у самых грудей, нежные белые полосочки которых виднелись в разрезе ситцевого платья.

– Если хочешь, могу на деле показать, как это было... – сказал он и, обхватив её одной рукой за талию, приподнял и прижал к себе.

– Но, но... – произнесла она удивлённо, но глаза её стали похожи на глаза собаки, которая хочет, чтобы её приласкали.

Она и рукой не шевельнула, чтобы высвободиться. Они застыли в этом объятии на какую-то минуту, и он почувствовал, как часто бьётся её сердце, вздымая тугие груди, которых никогда не касались губы ребёнка и которым никогда не суждено было познать сладостного таинства материнства. Потом он бережно поставил её на землю и отпустил.

– Вот так, – произнёс он хрипло, будто сказал это кто-то другой, а не он – так изменился его голос.

Она как ни в чём не бывало села на камень, лежащий возле его ног, но он видел, как вздымалась её грудь. С реки потянуло прохладой, и он, расстегнув до конца ворот рубахи, перевёл дух. Пряный запах срезанной им бузины, принесённый ветром, защекотал в носу. А он никак не мог отвести взгляда от сидящей у его ног на замшелом камне молодой женщины.

Сейчас, при воспоминании об этом, старик почувствовал угрызения совести, даже холодный пот прошиб от стыда.

Неизвестно, чем всё это кончилось бы в тот день, если бы не жена. Она принесла ему поесть. Какой усталой была она, бедняжка (усталость была её уделом, потому что она выполняла сама всю мужскую работу, которую он не

успевал делать, не из-за лени или нерадивости, а в силу инертности своего характера и приступов равнодушия ко всему).

– Я прочистила утром родник, воду которого ты любишь, – сказала она и поставила перед ним холодный, в прозрачных капельках кувшин.

– Воду, конечно, принесла, а вот вина никогда не догадаешься, – досадливо сказал он.

– Вино?! В такую-то жару, когда солнце палит? Да ты сразу заболеешь, – искренне удивилась она. Голос у неё был мягкий, прерывающийся. Она и не заметила, что он говорил с раздражением.

Невыносимо пахли срезанные стебли бузины, палимые зноем.

Жена не спеша раскладывала на белоснежном, чистом, пахнувшем особой свежестью полотенце еду. Как бережно и любовно делали это её руки!

– О Боже, Боже... – застонал старик; как всякий раз при воспоминании о жене, ком подкатил к горлу, и стало трудно дышать.

Жара была уже нестерпимой. Солнце словно бы прижало тень шелковицы к её стволу. Из-за плетня высыпали цыплята. Наседка немного задержалась в поисках лазейки, потом быстро догнала свой выводок и повела его в глубь двора. Старик опять услышал писк одинокого цыплёнка. Он поднял голову и вгляделся в происходящее. Цыплёнок бегал рядом с выводком, но подойти вплотную боялся. Он был самый крупный, рябенький и удивительно красивый. Наконец, осмелев, он догнал выводок, но наседка тут же набросилась на него и больно ударила клювом два раза. Цыплёнок упал в траву и лежал, трепыхая крылышками. Когда выводок удалился, цыплёнок вскочил и засеменил следом, держа дистанцию.

– За что она его невзлюбила, чтоб ястреб её разорвал! – злился старик на наседку. – Видно, оттого, что не похож на других, или потому, что лучше всех...

Наседка разгребла пыль под амбаром и села, распустив крылья, а цыплята попрятались под ними. Рябенький тоже незаметно юркнул под крыло.

Старик видел это.

– Чтоб ястреб унёс тебя на растерзанье!

Старику хотелось пить. Он взял кувшин и полил на руку, вода была тёплой.

Что ты с ней ни делай, всё равно не будет у неё вкуса родниковой воды, но была бы холодной хотя бы, можно бы обмануть себя.

Он поставил кувшин и с помощью алабаши снова лёг.

Старик опять вспомнил горы и то, что случилось с ним в тот день, когда впервые пас козлят.

С противоположной стороны пропасти, у края которой он стоял, творилось нечто невероятное: собаки с бешеным лаем и каким-то подвыванием рвались к пропасти, и морды их были обращены в его сторону. Он огляделся и только тогда увидел прямо у себя над головой и тоже над самой пропастью серну. Внимание её было поглощено собачьей сворой: его

она не замечала. Чувствуя, что собакам её не догнать, она воинственно трубила и била копытцем о скалы. Она не пряталась, а, напротив, привлекала собак к себе, стараясь, вероятно, отвлечь их, спасая кого-то.

Всё это было, как сон, и, словно во сне, он стал карабкаться к тому выступу, на котором стояла серна. Ей некуда было бы деться, потому что единственную тропинку позади неё занимал он, а перед ней была лишь пропасть. Как она встрепенулась, а потом замерла в страхе, обнаружив его. С тех пор ему всегда видится метнувшийся взгляд серны – неожиданно красивый, полный дикого ужаса и неописуемо несчастный...

– О Боже, Боже, – застонал старик и сел, опираясь на алабашу.

Наседке надоела неподвижность, она подняла крылья, и цыплята посыпались из-под неё. Увидев рябенького, наседка снова отогнала его, а тот, жалобно пища, всё равно поплёлся следом за выводком, правда, на некотором расстоянии.

– Чтоб ты издохла, старая рвань! – ещё пуще разозлился старик на наседку.

Да и Хика тоже хороша – никак не выберется из этого заколдованного дома, хоть бы цыплят накормила. Всё пищат, наверное, голодные.

– Негодяй, – сказал старик, мысленно обращаясь к Бадраку.

В сказках однажды попавший к великанам во двор живым оттуда не выходил. Там человека просто заглатывали, а Бадрак, что великан, и тебя и весь твой день проглотит, если зайдёшь к нему. И сколько таких дней в году...

Старик покликал наседку. Она, подозвав цыплят, направилась было к нему, да почему-то передумала, повернулась и пошла в другую сторону. Рябенький, попискивая, семенил поодаль.

«Чтоб смерть тебя настигла!»

– Негодяй! – сказал он вслух, всю свою злость вылив в это слово.

После того дня, когда вдруг родились какие-то новые отношения между ним и сестрой Бадрака, он перестал спать по ночам. Раньше ему и в голову не приходили мысли об измене или прелюбодеянии, а теперь он был на краю такого поступка. Нежданно-негаданно раскрылись перед ним ворота греха, и грех этот оказался таким притягательным. Ему хотелось не видеть этих открытых ворот, хотелось, чтобы они захлопнулись навсегда, но сам он уже был не в состоянии что-либо сделать. Надо бы, зажмурив глаза, уйти, унести ноги от греха подальше, но какая-то роковая сила тянула его назад. Невольно он оставлял жену на задворках своего сердца, подобно человеку, который веселится на пиру, оставив друга у ворот.

– Сколько возможностей у человека делать добро, а на деле...

«Так много кругом грязи: людей, живущих нечестно. Разве я один сделаю мир безгрешным? – ругал он себя, терзаясь по ночам. – Я словно и не живу: и с людьми не умею сойтись по-человечески, а всё из-за своей щепетильности...»

С самого детства он подружился с одиночеством: люди как будто обходили его стороной. Сначала – отец, потом – братья и почти все, с кем сталкивала его судьба. Если он бескорыстно предлагал кому-то свою помощь, то человек этот, не обращая на него внимания, спешил за советом к кому угодно, но только не к нему. Придёт ли он на собрание или участвует в каких-то переговорах, где мирят или сводят поссорившихся, все делают вид, что не замечают его присутствия и, глядя словно бы сквозь него, разговаривают друг с другом, и так всегда, и всюду...

...Даже, когда он изъявлял желание рассказать что-нибудь (а это он умел делать, это любимое его занятие, чуть ли не смысл его жизни), любой пустозвон прекословил ему. К кому бы он ни подходил, все тут же замыкались, оставляя его вне своего круга. Ни разу он не смог разрушить ту стену, которой отгораживались от него люди, населяющие мир, в котором он жил, словно бы защищаясь от него. Вечно он оставался в дураках... Но он не таил злобы ни на кого, был мягок, обходителен, да и лицом был красив и сложен хорошо. Не было в нём и какого-нибудь изъяна, чтобы людям брезговать им. В чём же тогда провинился он перед ними – он не понимал. Правда, он любил сказки и любил их рассказывать, очень любил... Может быть, за это? Но других прославляют даже за то, что пьют много! Он знал, что у того «круга», исключившего его из своих, есть свои слабости, которыми при определённых обстоятельствах можно воспользоваться, чтобы пробить в стене брешь. Он прибегал к этому только в безвыходном положении и всякий раз тяжело расплачивался. «Круг» этот расправлялся со всеми непринятыми им без сожаления. Так случилось с человеком, прославившимся своими остротами, который, не выдержав положения «вне круга», начал подлаживаться под вкусы вышестоящих, исполняя их прихоти. Он из кожи вон лез, чтобы угодить им и постепенно превратился в пошлого глупца, вместо своих выразительных острот нёс всякую нелепицу.

Потом, после его смерти, сыновья тех, кому он уступил, с удовольствием вставляли в свои речи его афоризмы, умалчивая, конечно, об их авторе. Но когда повторяли его пошлости, то непременно ссылались на него.

Искусный плотник щеголял своим умением, хозяйственный человек – своим, и наездник, и пастух тоже… Это было понятно «кругу», потому что всё, чем занимались эти люди, приносило доход или имело определённую цену, как вещи, еда, питьё. Но ведь и он подачек ни у кого не просил, сам зарабатывал свой хлеб, правда, делал он это ради того, чтобы потом рассказывать сказки. Это было самым важным для него занятием. Запрети ему рассказывать, и жизнь утратила бы для него всякий смысл. Только благодаря своим сказкам он ощущал полноту жизни, вкус к ней. Но этого-то и не прощали ему те, кто считал, что рассказывать сказки и всякие истории – напрасная трата времени, мешающая людям трудиться. И они, словно сговорившись, как самую великую тайну, скрывали от него будничные свои дела и заботы, боясь, видимо, угодить в его истории. Это и было одной из причин его злоключений. Были, вероятно, и другие, постигнуть смысл которых он не сумел.

Опять жалобно запищал цыплёнок.

– Она просто сживёт его со свету! – старик стал снова кликать наседку.

Наседка, зная, что цыплята голодные, пошла на зов. Рябенький цыплёнок остался посреди двора, под палящими лучами солнца, он беспрестанно пищал, но подойти к своим братьям и сёстрам не решался.

Старик всё звал наседку.

Та подбежала, и цыплята, опережая мать, взмахивая своими крошечными крылышками, тоже побежали. Всеобщая суматоха захватила и рябенького. Он, видимо, очень сильно проголодался и, забыв всякую осторожность, стремительно догнал цыплячью ватагу, но только он появился перед глазами наседки, как та с яростью набросилась на него и стала бить его клювом.

...Раз, ещё раз, ещё и ещё...

Рябенький старался увернуться, но ему не удалось, он упал в траву и затрепыхался.

Старик не выдержал и, забыв о ноге, привстал и с размаху кинул алабашу в наседку, и попал. Она опрокинулась и судорожно задёргалась.

– Так тебе и надо!

Когда наседка упала, цыплята попрятались с испугу, притаившись в густой траве, как в лесу. Рябенький был, видимо, сильно оглушен, он с трудом поднялся и запищал слабеньким голоском, стоя под палящим солнцем. Наседка все еще трепыхалась.

Старик только теперь почувствовал сильную ноющую боль в ноге, было такое ощущение, будто в ноге не жилы, а тонкие проволоки, которые вдруг оборвались.

– А, чтоб ты отсохла!

Старик видел облезлое брюшко наседки, сквозь худобу которого выпирали тонкие косточки: она высиживала цыплят до изнеможения... Прошло немного времени, она перестала трепыхать крыльями, перевернулась, посидела со слипающимися глазами, а потом, услышав писк своих детей, сделала усилие и встала. Рябенький стоял совсем неподалёку, но ей было не до него, а может, она и не видела его вовсе.

– Негодяй! – с яростью в голосе проговорил старик. – Некому даже цыплят накормить.

Наседка стала сзывать цыплят и, окружённая ими, засеменила к амбару.

Ни дуновения ветерка, ни лёгкого движения воздуха – всё застыло от зноя, разлитого по всему пространству, всё накалилось...

В то давнее лето земля так же струилась зноем, как сегодня... Когда он вторично встретился с сестрой Бадрака, день перевалил уже на вторую половину, но солнце жгло, как в зените, и так же всё застыло вокруг, словно вымерло. До самого вечера жара не спадала, и было невозможно мотыжить кукурузу. Он спустился к реке, и она появилась тут как тут, будто стирала что-то, и собралась искупаться. Повозившись на берегу для вида, она села в

тени, рядом с ним. Разговор не клеился, шутки тоже не получались, и почему-то она избегала его взгляда.

Он сидел не шевелясь, и тогда она пустилась на хитрость (ему и в голову не приходило, что она может додуматься до этого).

– Бедненький мой Бадрак, – ни с того ни с сего заговорила она о своём брате.

Это было для него, как красная тряпка для быка. При звуках ненавистного имени все путы условностей спали, он почувствовал себя свободным для мести.

– Как ты думаешь, мужчину, которого не любят другие мужчины, женщины презирают? – спросил он тоже как будто ни с того ни с сего.

– Мужчину, которого мужчины презирают, женщины сильно любят! – сказала она и, словно смыв этими словами остатки стыда, подняла голову и посмотрела ему прямо в лицо своими печальными глазами.

Он всё же не рассчитывал, что она осмелится на такое...

С того дня он переступил порог добродетели и предался греху, заглушая им своё одиночество. Но, как ни странно, оно стало ещё сильнее мучить его.

Он потерял единственного преданного ему человека – жену, которая одна умела сделать так, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Раскаяние отягощало его, ему было стыдно за то, что не совладал с собой. И всё это он вымещал на жене. Жена поняла, что произошло, но не сказала ни единого слова по этому поводу, только бледность лица и краснота заплаканных глаз выдавали её неизлечимую обиду.

Бадраку тоже вскоре стало известно всё, но он никому не дал об этом знать, даже паршивые его усы не дрогнули. А могли бы они столкнуться не на жизнь, а на смерть! (Люди другого рода сочли бы себя оскорблёнными, и ничто, кроме смерти, не могло бы рассудить их с обидчиком.)

Жена всегда была для него самым чистым и близким существом. Но этого стало недостаточно. Слишком часто оставляли его люди за бортом, и поэтому ему трудно было всё время владеть собой и уберечься от греха измены... «Жене неведомо, что такое одиночество, ей кажется, что я просто с жиру бешусь», – вдобавок ко всему злился он на неё. Ему хотелось, чтобы она сказала что-то обидное, от чего стало бы больно и тяжко... Тогда бы и он мог ей ответить чем-то похожим... Может, стало бы от этого легче...

– О Боже, Боже, – застонал старик.

Ему казалось, что всё это случилось не давным-давно, а сегодня, вчера... И эти два дня, вместившие в себя столько горечи, неимоверной тяжестью придавили его, сердце сжалось и было тяжело дышать.

Когда он пришёл в себя, он почувствовал, что весь взмок от пота.

Тень от шелковицы совсем покинула его. Прижатая солнцем к самому стволу, сейчас она начала расти с противоположной стороны, растекаясь всё больше, словно разминая своё слежавшееся тело. Алабаша старика лежала там, куда он её кинул. Он мог бы доползти туда только на четвереньках. От одной мысли, что придётся ползти, стало не по себе.

...Говорят, что у человека утром – четыре ноги, в полдень две, а вечером – три. (Подразумевая под этим детство, зрелость и старость человека.) А у него сейчас могли быть все четыре. Нет, он не пополз бы на четвереньках, даже если бы знал, что его поразит солнечный удар.

Собравшись с силами, внутренне подготовившись, он поджал больную ногу и встал на другую, и так, стоя на одной ноге, с огромным усилием переставил скамью и табуретку в тень. Потом в изнеможении опустился на скамью и положил больную ногу на табуретку. Боль обожгла, словно полопались тысячи проволочек-жил и буравят ногу тысячью маленьких ран, холодный пот облил тело. Через некоторое время боль утихла, и он с облегчением вздохнул. Прилёг. Ему очень хотелось пить. Перед замутнённым его взором опять забили прямо из скал, разбрызгивая влагу, горные родники...

Он даже слышал их журчание, но не чувствовал освежающей прохлады, губы потрескались от жажды, горло пересохло...

А в горах облачка, не обременённые дождём, опять подступили к вершине, опоясав её, но она неприступной крепостью гордо возвышалась над ними.

И снова память перенесла старика в горы, в тот далёкий день, который представлялся так же ясно, как вчерашний...

...Серна увидела его, но выхода не было: единственную дорогу к отступлению перекрыл он, а впереди была пропасть. Странное чувство охватило его, он как-то засуетился, задышал учащённо. Ему не верилось, что серна, которая представлялась ему сказочным существом, потому что он её никогда раньше не видел и знал только понаслышке, стояла сейчас перед ним. Протяни он руку – мог бы дотронуться до неё, погладить по шёрстке. Он пошёл прямо на неё. И чем ближе он подходил, тем сильнее сжималась она, словно хотела превратиться в комочек и скатиться вниз. Одним боком она прижималась к скале, желая слиться с ней. А он, подойдя вплотную, дотронулся до неё рукой. Она вздрогнула, и её дрожь током передалась его руке. Она ещё больше съёжилась и всё сильнее прижималась к скале. Он слышал от охотников, что загнанная серна может со страху сбить с ног любого, но эта окаменела. Он мог бы отступить, дать ей дорогу... Он увидел сказку наяву, пощупал руками… И, отпустив её, он увидел бы, как уносит она на своих красивых ножках чистую живую душу... Но, словно бес вселился в него, об этом он и не подумал. Он лихорадочно соображал, как бы удержать её.

Расставив ноги, пошире и потвёрже, он замахнулся на неё своей тяжёлой дубиной и ударил два раза. От первого удара она осела на задние ноги, но тут же оправилась и ещё больше напружинилась, сжавшись в комок. При втором ударе дубинка отскочила от напряжённого тела, а серна издала стон. В это время он поглядел вниз, и взгляд его упал на пастушечий шатёр, который был, как маленькая войлочная шапочка, упавшая на поляну, и тут же в голове его созрел план. Он твёрже упёрся ногами в землю, прислонился к серне и

стал со всей силой толкать её вниз... Она, дрожа всем телом, прижималась к нему.

– О Боже, Боже!

Со двора Бадрака послышались голоса и какие-то звуки.

– Хай, хай, хаай!

– Кто-то предупреждал кур об опасности.

– Самолёт, самолёт! – звонко прокричал Адгур.

Старик не успел ещё разобрать, откуда слышен голос внука: со двора Бадрака или с дороги, как и на его дворе всполошились куры.

С неба камнем свалился коршун.

– Хай, хаай! – глухо вскрикнул старик, но коршун уже ничего не слышал и не видел, кроме своей жертвы.

Он был совсем близко от земли – голодный, раздражённый и увлечённый – и уже растопырил когти. Но в тот же миг, стрелой мелькнув перед глазами старика, от истощения лёгкая, как пушинка, с облезлой грудью, избитая посохом наседка схватилась с коршуном.

– Хаай! Хаай!

Сцепившись когтями и клювами, они закувыркались по траве, пух закружился в воздухе. Наседка была во много раз слабее, коршун несколько раз подмял её под себя, но она вырвалась и снова набросилась на него. Наконец наседка, собрав последние силы, с яростью вонзила свой клюв в коршуна, и тот, не выдержав, вывернулся и полетел, сначала он низко покружился в воздухе, видимо всё ещё оглушённый, а потом резко взмыл в небо. Наседка, избитая, общипанная, окровавленная и взлохмаченная, кружила по двору, сзывая цыплят. Рябенький вяло попискивал где-то. Старик вгляделся в ту сторону, откуда нёсся его писк, и увидел, что он стоит всё на том же месте. Он, наверное, не увидел и не услышал коршуна, так как был перед этим оглушён и не попытался спрятаться. Это в него метил коршун. Смертельно испуганные цыплята, не отвечая на зов матери, всё ещё прятались в траве.

Старик пожалел наседку, ему было стыдно при воспоминании о том, как он сбил её посохом.

– Сволочь, сволочь! – старик задохнулся злостью...

...Его словно подменили после того случая: он совсем переменился к жене. Разлюбил её? Нет! Пожалуй, даже сильнее любил. Но странно – он всё время искал повода, чтобы досадить ей чем-нибудь, сделать больно. Было бы лучше, если бы она не прощала его... Любил ли он другую? Нет! Но, сделав неверный шаг, он всё катился и катился по инерции, словно его подтолкнули. Раз уж случилось, что пришёл разлад в семью, ему не о чём было жалеть и очень хотелось столкнуться с Бадраком, да так, чтобы только смерть развела их. Но Бадрак делал вид, что ничего не слышит и не замечает...

Старик застонал, его захлестнуло застаревшей, но неутомимой болью.

Тени уже достигли изгороди, но зной не спадал. Гудела разгорячённая земля. Она давала силу всему, чему дарила жизнь. Земля была богом: раздавала Жизнь, а при желании – Смерть.

И сейчас, как всегда, всё живое, что двигалось и копошилось, видимое и невидимое человеческому глазу, и всё, что росло на земле, начиная с травинки и кончая деревьями-исполинами, было занято одной работой – жизнью. Раскрывались вчерашние почки, и появлялись листья, распускались всевозможные яркие цветы, созревали плоды, рождалась любовь, шевелился впервые ребёнок в материнской утробе – всё это непрестанно и безостановочно творила неутомимая труженица – Природа, бесконечная и вечная в своём бытии и небытии.

... И наседка, ещё окровавленная, спешила с цыплятами в огород. Рябенький, видимо, пришёл в себя, пищал веселее и, стараясь не приближаться к наседке, бежал вместе со всеми.

Сунар не появлялся, но старик ещё не терял надежды, уверенный, что сын не вытерпит и приедет.

Как только Сунар приедет, забудется всё, что, нахлынув вдруг, мучило его целый день...

Сунар: Мы всё ещё сидим в «Диоскурии». Все опьянели, тостами друг другу уши прожужжали. Не спасает и морской ветерок, – изнывая от жары, обливаемся потом. Языки развязались. Каждый желает высказаться. «Меценаты» и двое незнакомых мне опередили нас всех и начали с того, что слегка поругали своих предков за то, что не умели вести интенсивное хозяйство, не разводили лаврового листа, не оставили им в наследство хороших фруктовых садов... И наконец сошлись на том, что предки всё же произвели их на свет божий. Потом начали обсуждать своё начальство, кого-то похвалили, кого-то поругали (сплочённый коллектив, ничего не скажешь), после перешли на новые телевизоры и дружно решили, что лучшие – самые дорогие. Затем разговор перескочил на какого-то мясника... Хвалили, превозносили, защищали непонятно от кого, с особым почтением произносили его имя... Они все изменились в лице (двое побагровели, а два других – побледнели, наверное, эти последние хуже зарабатывали), когда стали говорить, как щедр мясник, как небрежно вынимает он деньги прямо из карманов (даже в бумажнике их не держит), как небрежно расплачивается, сколько даёт чаевых официантам и таксистам...

Вдоволь наговорившись, нахвалив его, они успокоились, почувствовали себя счастливыми, как верующие после молебна, и стали опять закусывать. Кандидат насел на меня: стал рассказывать, как писалась его диссертация, кому он её показывал, как какие-то доброжелатели посоветовали ему обратить особое внимание на вступление, и чтобы на защите он вёл себя прилично: слушал бы больше других, и меньше заставлял слушать себя... (Ведь если дерево посадишь неправильно, первый же ветер согнёт его...)

Что мне оставалось делать – сам поднимал тост за него, сам произносил красивые слова, а теперь покорно выслушивал всё это...

Неужели он искренне верит, что растёт прямо, и не видит, как благодетели, которые пеклись о вступительной части диссертации и к которым он привязал себя, как подвязывают саженец к колу, сами растут вкривь и вкось? А он уже говорил мне о каких-то средневековых торговых греческих факториях на территории Абхазии...

– Ты знаешь, какое недоверие было из-за диссертации такого-то! – говорил он мне обиженно. – Он ведь тоже писал по средневековью, но ему не дали защитить. А раз и у меня средневековье, кое-кто думал, что и я доказываю всякое такое... Тоже мне оригинал... Выступил против таких авторитетов...

Возмущение моё росло, даже не возмущение, а какая-то брезгливость. Но я не ушёл, а сидел и слушал...

Он заметил, видимо, по моему лицу, что мне неприятно, и стал объясняться со мною «искренне»: «Ну, если даже он и прав... Но против кого ты идёшь... Люди заработали на этом авторитет, получили звание, признание, награды... А ты решил всё свести к нулю... Кто же позволит... Надо же это понимать! Надо?..»

– Конечно, конечно, – сказал я почему-то.

Затем он старался предугадать встречу в родном селе... Как благодарные односельчане будут чествовать своего кандидата, хлеб-соль, которая ожидает его.

…Как же! Он ведь осветил прошлое их предков!

...И как я могу сидеть с ним... Никто из ребят, кроме меня, не пошёл. Какой же я негодяй... Ещё не защищённая мною диссертация недалека от диссертации этого типа. Сколько мыслей, сколько возможностей открылось мне в начале работы. А потом я стал «умнеть». Стал вычёркивать, прислушиваться к советам, сглаживать... (не то могут провалить, кто-то разгневается, кто-то обидится... литераторы не такие ягнята, какими кажутся).

Но есть же правда, которая рассудит всех, которая определит и правых и виноватых.

Можно правдиво написать хотя бы о нас, о сегодняшнем сборище. На развалинах взорванной, разрушенной крепости воздвигнут ресторан, а мы сидим и потягиваем винцо – обмываем защиту сомнительной диссертации с людьми, единственная серьёзная забота которых – набить брюхо, с людьми, которые за обильной едой и выпивкой поднимают пышные тосты о земле, о на роде, а на деле... Почему бы нашим писателям не подумать об этом, не написать...

– Ха-ха!

Все обернулись ко мне.

– А вы никогда не думали о том типе, который приказал взорвать стены этой крепости?

– Кто же это?

– Как кто? Варвар, преступник, осквернитель могил!

– Поехал... – шепнул кто-то.

– На что тебе крепость, разве мало камней повсюду? – сказал «меценат».

– Он в чём-то прав, – важно заметил один из незнакомцев, – взорвать, конечно, надо было, но нужно и обломки из моря убрать... Неудобство для: купающихся. И вообще некрасиво. Да и перед отдыхающими стыдно.

Видите ли, ему стыдно стало, какой гостеприимный... – Если бы убрали все обломки, то и ресторана этого не было бы, – возразил другой, – и удобно, и красиво... прямо над морем.

– Что бы вы ни говорили, а сделано правильно, – сказал молчавший до сих пор «меценат», – взорвав это дурацкое нагромождение камней, и набережную очистили, и место для ресторана подготовили.

– «И на обломках самовластья напишем наши имена!» – продекламировал новоиспечённый кандидат. – Не слушайте их, мы сидим сегодня здесь по радостному случаю!

Вдруг один из «меценатов» поднял тост за меня и отчеканил ничтоже сумняшеся:

– Дай Бог, дорогой, чтобы ты чувствовал себя всегда, как человек, выигравший десять тысяч по лотерейному билету!

– О Боже, Боже, – простонал старик.

Как старалась жена не показывать ему своего горя! Она была единственным человеком, который и в радости и в печали оставался всегда самым близким. И поныне так, хотя и нет её давно в живых... Он мысленно разговаривает с ней, делясь и радостями и огорчениями. Будь она жива, какой бы беззаботной была его старость, каким внутренне свободным мог бы быть он сейчас и как спокойно бы умирал. Она должна была пережить его!.. Он помнит ёе улыбку, ёе тихую речь, но чаще всего вспоминается она ему печальной...

С какой радостью умер бы старик раньше неё!

Тени, застелив двор, подобрались к изгороди. Жар свалил, но прохлада ещё не освежила землю.

Старик снова прилёг. Его сильно мучила жажда, но некому было принести ему воды и подать. А вода в кувшине сильно нагрелась, кувшин долго стоял на солнцепеке, старик позабыл убрать его в тень.

И снова старику вспомнились горы...

…Он толкал серну, она же всё сильнее прижималась к нему. А его это почему-то злило, и он толкал и толкал серну, словно мстил ей за что-то. В конце концов она сорвалась и камнем полетела в пропасть...

Столкнув серну, он поспешно собрал козлят и погнал их на стоянку. Почему-то ему казалось, что теперь-то он нашёл ключ к какому-то большому миру и с его помощью откроет этот мир, и жизнь его обновится.

У серны были переломаны все кости, но она ещё жила и дрожала мелкой дрожью. Он вынул нож и перерезал ей горло, и она успокоилась... навеки. Он нарвал папоротников, прикрыл ими тело серны, а сам пошёл в шатёр...

– Тебе нездоровится? – спросил кашевар, занятый у очага какой-то стряпней, равнодушно скользнув по нему взглядом своих выпученных от болезни и покрасневших от дыма глаз.

– Нет, – отрезал он, удивившись сам своей смелости.

– Почему же ты так рано вернулся на стоянку, где это видано?

– Значит, есть причина! – сказал он задиристо.

Но кашевар больше не интересовался им, занятый своим делом. У него был вид, будто он священнодействует, а посторонние в таком деле всегда помеха.

К вечеру с охоты вернулись горе-охотники со своими неохотничьими собаками, злые и усталые.

– Ажвейпшаа миловал нас, но попалась нам серна-мать и целый день за нос водила, чтобы от козлят отвести, и обманула наконец, – сказал один из охотников.

– Вот бы молодого козлёночка... – сказал кашевар, – я бы внутренности сыром начинил и отварил... одно объедение, – и он сглотнул слюну.

– Мясо молодняка – блаженство живота...

– Козлят, пока ножки у них не окрепли, серна оставляет высоко в горах, а сама спускается попастись, – сказал старший из горе-охотников.

– У этой, видимо, козлята были неподалёку, потому она так и кружила.

Пошёл оживлённый разговор. Стены «круга» раздвинулись и, захватив всех, кроме него, снова сомкнулись. Ему не терпелось поскорее открыть свою тайну, чтобы все устремились к нему, и не было бы скользящих мимо взглядов, словно его здесь нет.

...И открыл, сказав...

Сначала они даже не посмотрели в его сторону, а только молча переглянулись, ещё больше отдалившись от него, отгородившись от него своим недоверием. Но, когда воочию убедились, увидев серну с перерезанным горлом, сразу, как в сказке, всё переменилось. Все, будто соскучившись после долгой разлуки с ним, потянулись к нему, окружили, каждый считал своим долгом что-то сказать ему, улыбнуться... Они как-то оробели перед ним, как провинившиеся дети, которые должны оправдываться. Никогда раньше он не был так тесно спаян с людьми, поэтому растерялся, и, не зная, как себя вести, нагнулся, почему-то и потянул сосок серны, а из него вдруг заструилось молоко, бурое от крови...

Стена, отделявшая его от людей, рухнула, он не был больше в одиночестве. Когда он принимался снова и снова рассказывать, как это произошло, они не уставали слушать; окружали его тотчас, словно сами боялись остаться «вне круга», словно от него теперь зависело, кого принять, а кого нет...

– Руками поймавший серну! – то и дело повторял кашевар, занятый приготовлением внутренностей серны, которые он начинял молодым белоснежным сыром.

– Навсегда прославится... поймавший серну...

– Поймавший серну, – повторял каждый из них.

На второй день спустились с больших гор настоящие охотники. Они вернулись тоже с пустыми руками. Когда им стали наперебой рассказывать, как и при каких обстоятельствах он поймал серну, они промолчали и только переглянулись.

Солнце пошло уже к закату, тени поползли через плетень в огород, за ворота, затопили овраги. Ожили, расправились свернувшиеся от дневной жары листья, а затенённые стебли кукурузы отливали металлом.

Старик сел, огляделся – нигде никого, все ушли, он остался один.

Солнце зашло за дуб, росший неподалёку на пригорке, и сразу вся его округлая большая крона засияла, солнечные лучи, пробивая густую листву, заискрились пульсирующими звёздочками на концах ветвей, и сияние это поплыло, заколыхалось, как морские волны. Старик засмотрелся на этот дуб, и сердце его сладко заныло, закружилась голова, будто он выпил несколько глотков крепкого вина. Где и когда он видел, как крона большого дуба на миг превращается в солнце, а ветви в колышущиеся, словно волны, солнечные лучи? Может быть, это случилось, когда он впервые открыл глаза, чтобы увидеть мир, а может, в ту весну, когда первая робкая любовь заполняла его, как молодое, но очень хмельное вино? Невозможно вспомнить когда, но это было, были такие же вот минуты в его жизни... Были... Даже смутное воспоминание об этом и сейчас бросает в трепет. Ведь для того чтобы человек увидел природу, солнце как-то по-особому, чтобы увиденное запало в душу надолго, если не на всю жизнь, он должен испытывать сильные чувства. Либо редчайшее счастье раскроет вдруг твои глаза, и ты ощутишь себя единым со всем мирозданием, либо великое горе, скорбь сердца, муки совести. Всё было в жизни старика. В реке его жизни было немало заводей, в которых, как золотая форель, прятались такие минуты...

– И кровь, сочившаяся из его ран, казалась ему обычным потом. Уа райда, райда, – бубнил старик себе под нос и грустно улыбался.

Потом поднял голову и снова засмотрелся на дуб.

Постепенно вся крона стала серебристой, словно погрузилась в прозрачную воду... Старик поднёс дрожащие пальцы к глазам и провёл по ним – глаза были мокрые...

Тихо. С большой дороги ни звука – она опустела до самого вечера. Во дворе Бадрака тоже тихо, видимо, пир в разгаре, и все внутри дома. Один хозяин чего стоит... возьмёт стакан, да как начнёт...

– Негодяй, – сказал старик. – Негодяй!

И Сунар не приехал, значит, и завтра не сможет...

Почти день уходит на дорогу туда и обратно, а послезавтра на работу...

– Хотя бы о ребёнке подумал...

Обида пронзила его, но он тут же стал мысленно ругать себя. Постарел, хочет, чтобы все вертелись вокруг него, а так не бывает. Сам тоже был молодым... Жизнь есть жизнь, молодых она затягивает и не отпускает, куда им хочется... Вот остался один на один с самим собой на какое-то время и потерял самообладание, вот и давит его одиночество смертной тоской, да и

смерть не за горами, ему кажется даже, что он слышит скрежет её костей и ощущает леденящее её дыхание...

Старика мучила жажда. Он снова лёг, надеясь подремать немного, но сон не приходил. Увлечённый своими думами, он забыл о больной ноге, но она сразу же дала о себе знать, как только он пошевелился, хотя опухоль, кажется, немного спала.

– ...Голова уже лежит на поле брани, а туловище ещё сражается... – старик грустно улыбнулся.

Сунар не приехал. Старик старался оправдать его.

Вон где их деревня, и где Акуа... Не так-то легко приехать в такую даль...

Сунар: От Сухума до отчего дома два часа езды... Но последние два года дом словно всё отдаляется и отдаляется от меня. И уже не любовь, а боль живёт в моём сердце. Не знаю отчего, но всё труднее смотреть в глаза отцу. А он так радуется моему приезду. Я для него всё ещё мальчик (виною наша разлука). Если бы он не так ждал и не слишком уж радовался моему приезду, не было бы этой тяжести в душе при встречах.

...Лишь ступлю ногой на траву нашего двора, становится не по себе. Маленький дворик – крошечная зелёная точка под этим огромным небом. Этот крестьянский дворик, эти много повидавшие на своём веку деревянные домишки, эта усталая землица вокруг, бесшумно, безропотно сотворившая столько добра... отдавшая столько тепла всем, кто нуждался в нём... Они жили незатейливо: просто исполняли свои земные обязанности. Но это они, а не кто другой, собрав все свои силы, дали мне возможность получить образование... Может быть, моя вина, что сестра, которую побаивались многие сильные, но бесчестные люди, потому что она никогда не проходила мимо несправедливости, теперь, помирившись со всем, осталась забытой счастьем вековухой... А я? Хочу как можно быстрее стать кандидатом (видите ли, он не лишен способностей...). А что потом? Кандидату кое-что причитается... И всё же лучше быть новоиспечённым кандидатом, чем никем. Настоящим кандидатом – надо долго... А дальше? Так же, как кандидатскую (потолще и посолиднее), делать докторскую...

– И ты тоже так думаешь! – сказал я новоиспечённому кандидату, когда мы вышли из «Диоскурии», слегка пошатываясь, отяжелевшие не только от вина, но и от обильной пищи. – Ты спрашиваешь, что значит «тоже так»? Я тебе растолкую... Всё, что мы с тобой делаем – пустое занятие. Всё, что пишем, никому не нужно.

Он удивлённо посмотрел на меня.

– Не заставляй меня краснеть, я представил тебя им, как своего друга...

– Кому, этим? – сказал я громко, указывая на них пальцем, – краснеть перед ними? Вот ещё! Да они-то давным-давно разучились краснеть! Видите ли, их гложет благородная тоска, потому что предки не оставили им сокровищ: плодоносящих садов и лаврового листа, чтобы они могли ничего не делать, а только наслаждаться жизнью, поедая всё это! Ха-ха-ха!

И оглянуться не успел, как всех будто ветром сдуло. Все исчезли... Да, конечно, я пьян, и могу «таких уважаемых» в городе людей поставить в неловкое положение, попросту опозорить...

Но я не был сильно пьян, правда, от выпитого вина стало тяжелее дышать. Господи, и что же я за скотина! Что делаю с собой? Как я ступлю на мягкую траву моего двора, какими глазами посмотрю на заждавшегося старика!

Я пошёл по набережной. Солнце нещадно палило. Слева от меня, на тесном кусочке берега, где не разрешается купаться и загорать, на так называемом «собачьем» пляже, было множество сидящих, стоящих и купающихся людей – мужчин и женщин, пожилых и молодых; море здесь было грязное: всё в нефтяных, жирных пятнах.

Мне было жарко, душно и тяжело дышалось...

– ...Они оставили всё, что смогли... не жалея сил... я говорил сам с собой. – Отцы, деды и наши прадеды в силе и славе, и в трудные времена, когда враги держали их за горло, думали о будущем, о тех, кто сменит их, чтобы приумножить то, что оставлено ими, чтобы не растеряли сбережённую ценой крови многих поколений Родину...

А эти, с которыми я проводил время, всё на зуб пробуют, и, если что-то покажется им несъедобным, – бросят, растопчут. Как черви, выедающие сердцевину плода. Наследие наших предков, как живое существо, требует бережного отношения и ухода, иначе оно зачахнет или вообще погибнет.

Что за дело этим людям до народного гения, эпос и неповторимые песни которого сквозь века донесли его живой дух, его жизнестойкость... Что может дать им храм на горе Лашкиндар, или Амбара, или знаменитый Мыкуский? Ровным счётом ничего! А я-то сижу с ними, болтаю всякую чепуху, говорю о том, что история любого народа свята, поднимаю за них слащавые, угодливые тосты, пью вино, купленное на ворованные деньги, выслушиваю их пошлости, нечто худшее, чем просто пошлости... В ресторане, построенном на развалинах крепости, на могилах героев, защищавших эту землю!

Такая жарища, а набережная полным-полна людей, ни проехать, ни пройти. Кругом загорелые, полуодетые отдыхающие, туристы, гуляки и чопорные местные жители в невообразимых при такой жаре костюмах и галстуках...

Мне душно, я задыхаюсь...

Стараюсь побыстрее выбраться из толпы... но всё время натыкаюсь на людей, идущих мне навстречу, а те, которые идут в мою сторону, сами толкают меня... Может, я и в самом деле пьян? Что-то сильно укачивает меня людское море. Как многолюдно сегодня, с трудом пробираюсь в нужном направлении. Скорее в сквер, вон к той молодой сосенке, дойти бы до неё и немного отдышаться...

...И на другой день ели мясо серны, пойманной им...

– Козлят кормила, а жирненькая... Чудесное мясо, – хвалили все дружно.

– Молодая была, прошлогодний козлёнок, видите, как быстро сварилась, – говорил один из горе-охотников, засовывая в щербатый рот сочные куски мяса.

Под конец ели внутренности с сыром, и от блаженства чуть языки не проглотили, так было вкусно. Встречаясь с ним, обязательно повторяли:

– Поймавший серну!

– …своими руками!

– …руками!

Всю ночь и весь день он ног под собой не слышал от радости единения с ними: и в помине не было той стены, которую всегда они воздвигали между ним и собою, оставляя его в одиночестве. Он жил, словно во сне, словно хмельной...

...Но на второй день пришло отрезвление... Вновь погнал он козлят за большой поток, и вдруг захотелось ему вырезать свирель, потому что душа просила музыки. Оказалось, что нож забыт в шатре, он отдал его во время обеда щербатому (тот обычно ходил без ножа, хотя всякую пищу, а особенно мясо, ему необходимо было резать на мелкие кусочки). Шатёр ещё был виден, и он побежал назад, чтобы поскорее взять нож и вернуться. Ему не терпелось сделать свирель, чтобы извлечь из неё нежные, завораживающие звуки.

Подойдя к шатру на близкое расстояние, он услышал дружный хохот и остановился.

– Послушайте, как это он ухитрился забраться так высоко, ведь у него пузо от малярии вздулось?

– Бог помог.

– Вид у него, как у покойничка, потому-то серна и не испугалась его...

– Поймавший серну!

– Да, да... Руками, притом!

– ...ещё и своими!..

И снова все захохотали.

– Вы кого угодно ославите...

– Вашими языками врагов бы бить!

– Наверно, и о нас такое говорите, потому-то нам и не везёт, в который раз с пустыми руками возвращаемся. (Есть в народе поверье, что, если кто-то плохо говорит об охотнике, не будет тому удачи.)

Это заговорили настоящие охотники.

Он не ушёл, не повернул обратно, а быстро вошёл в шатёр и, ни слова не говоря, выхватил свой нож из рук щербатого и выбежал... Он не помнил, как перешёл поток, как зарылся лицом в густые заросли конского щавеля... Очнулся он от чьих-то горьких рыданий. Оказалось, рыдал он сам. Рыдал громко, изо всей силы, не сдерживаясь, и тёплые обильные слёзы текли из его глаз. Рыдания эхом отдавались в пещере, каменный свод которой навис над его головой, как церковный. Плакал он долго, а когда выплакался, лёг лицом вверх, раскинул руки и ноги, словно распятый на этом горном склоне, поросшем рыжим конским щавелем. Слёзы высохли, но он ещё долго

вздрагивал от подавляемых внутри рыданий. Постепенно горячее дыхание, обжигающее его ноздри при рыданиях, стыло, воздух стал вкуснее и чище, будто после дождя, и ему полегчало, как потоку, русло которого промыло ливнем. Он словно бы впервые увидел высокое синее небо. Бездонную запруду, без единого облачка. Никогда раньше не всматривался он в небо так пристально и не задумывался над нескончаемой его глубиной. У него даже дыхание перехватило при мысли, что глаз человеческий не в состоянии проникнуть за пределы этой бездонной сини, которая притягивала и манила своей бесконечностью. И от этого или ещё от чего-то он вдруг превратился в невесомую пушинку... словно бы растворившись в огромности мирового пространства, крупицей которого он стал, но в то же время он способен был чувствовать, что он крупица этого мира, а потому причастен к нему. И когда на мгновение он не только понял, но и ощутил себя частью всего мироздания, природы, которая всё и вся объединяет, его невзгоды показались ему мелкими и далёкими... а люди милыми и нужными. Вся боль, все обиды и печали вдруг улетучились, исчезли, и он спокойно и радостно парил во вселенной, как крошечная её соринка, однако вместившая в себя целый мир... И счастье заполнило его...

Это состояние, это пережитое счастье ещё теплилось в нём и вечером, когда он вернулся на стоянку. Пастухи и охотники – все были притихшие, будто заворожённые. Он сразу понял, что они слышали его рыдания. Когда спрашивали его о чём-нибудь или подносили еду, все осторожничали, боясь ненароком обидеть его. Видимо, не было спокойствия и полного счастья и для тех, кто находился внутри «круга». Он понял, что «круг» этот сам поделён на множество ячеек, меж стенок которых порой застревает кое-что из отсеявшихся.

Спустились с гор, и всё началось сначала. Опять они не давали ему увидеть плоды собственного его труда, всё, к чему бы он ни прикасался, они переделывали по-своему, так что и следа его не оставалось. И от того, что недоверчивые, холодные взгляды всегда преследовали его, у него всё валилось из рук. Посаженное дерево засыхало, сделанная прививка не принималась, посев давал редкие всходы... Измучившись, истосковавшись по самостоятельной работе, он решился наконец затеять что-нибудь втайне от них. Неподалёку от дома был крутой склон, спускавшийся к самой реке. Оползней на обрыве давно уже не было, он затянулся травой и порос деревьями. Обрыв был не настолько крут, чтобы человек не мог осторожно передвигаться по нему. Под каждым деревом, выросшим на этом обрыве, он посадил виноградную лозу (сделал он это тайно). Посадки все выжили, и лозы стали весело виться по деревьям. Обрыв превратился в виноградник. А место было солнечное, земля суглинистая, и лозы начали обильно плодоносить. Никто, кроме него, не решался собирать виноград на обрыве. Даже дети, которые купались в речке под обрывом, боялись лазить по этим деревьям. А у него от сознания, что это он сам посадил виноград, а теперь может сделать из него вино, проходил всякий страх, и он забирался так высоко по дрожащим стволам, что наблюдавшие за ним в ужасе закрывали

глаза и отходили прочь. С вершин этих деревьев он видел внизу, на берегу, коз величиной с курицу, а речка казалась тоненькой голубой лентой, перехваченной кое-где белыми водопадами... Собрать весь виноград он не мог, и долго ещё, почти до самой зимы меж оголённых ветвей чернели виноградные гроздья, ягодами которых кормились только птицы.

Пока он не обзавёлся семьёй и не отделился от отца, этот виноград, это вино были его лептой в семейный котёл. Но, как только он женился, немедля отделился от отца. Ему отошёл этот необычный виноградник, который составил добрую половину выделенной в долю земли. В год его свадьбы урожай был особенно велик, и он с замиранием сердца ждал осени – поры сбора винограда. Потому что жизнь его тогда преобразилась: он любил, он был полон любимой.

– О Боже, Боже!..

Когда его молодая жена увидела впервые виноградник, она побледнела... и взяла с него клятву, что он никогда не влезет ни на одно из этих деревьев, иначе она уйдёт из дому, и он никогда больше её не увидит.

Теперь ему и самому не хотелось лезть за виноградом, но если осенью весь виноград осыплется вместе с листвой, его поднимут на смех: собирал же он до свадьбы. Он боялся, что злые языки омрачат счастье, согревшее его иззябшее сердце. Это не трудно сделать – одно обронённое ехидное словцо, которое ранит...

В начале осени однажды полил сильный затяжной дождь, которому, казалось, конца не будет. Как-то рано утром его разбудил страшный шум. Он вскочил и, догадавшись о причине шума, бросился к обрыву и в изумлении замер: прямо на его глазах почва большими участками вдруг поползла вниз, обвитые лозой деревья задрожали и, как град, посыпались спелые гроздья. Потом зашевелилась, взбугрилась земля, разрывая корни, и деревья, опрокинувшись, попадали в образовавшуюся реку грязи и потонули. Будто руки утопающих, торчали из этого грязевого потока их ветви, взывая о помощи. Буквально через полчаса всё было кончено: на берегу реки, под большим холмом был похоронен весь виноградник, а обрыв зиял огромной раной...

Странное состояние овладело им: в последнее время он тяготился своим виноградником, но когда его не стало, он почувствовал в душе какую-то опустошённость; вероятно, так же чувствует себя отец, у которого умер ребёнок-урод.

Жена, невзлюбившая виноградник с первого взгляда, пришла от этого зрелища в ужас. Она испугалась за него (вдруг это дурное предзнаменование?).

– О Боже, Боже!

... Смерть её была внезапной. И слова прощального не успела вымолвить, а он не успел посмотреть ей в глаза. Как серна, в самое уязвимое место которой попал смертоносный свинец... Сказали, что это сибирская язва... Но он-то знал, что не выдержало сердце...

Примерно через год после его измены он заметил, что посреди ночи она поднимается с постели и мечется по комнате в поисках окна и, открыв его дрожащими руками, глотает воздух ртом, словно утопающий, уцепившийся наконец-то за спасительный камень.

– О Боже, Боже!..

– Что-то воздуха не хватает... – сказала она, стараясь не выдать своих страданий, когда он решился как-то подойти к ней, – видно, перестаралась немного за эти дни, переутомилась...

– Разве так надо было разговаривать со мной! Надо было палкой меня по голове! – старик застонал и сел, понурив отяжелевшую голову.

Так сидел он долго.

Наконец скрипнула калитка, старик с надеждой посмотрел в ту сторону, но это пришла старушка.

Чтоб тебя река унесла!

Она ковыляла к нему. Казалось, она успела ещё больше постареть с тех пор, как сегодня ушла отсюда. Словно и не была вообще молодой...

– ...Днём и ночью она росла, наливалась... – печально усмехнулся старик.

– Шкажку пытаешься рашкажать? – спросила она, услышав конец фразы. – Бедненький мой, уморили тебя сегодня...

– Это не твоя забота, – сказал старик, обозлившись. – Где мальчик?

– Играет... Пришла ужинать, что ты хочешь покушать...

– Да я не голодный, пить хочется, но тебе всё равно не раздобыть воды, которую я пью... Лучше уж подожду... «Пока приедет сын», – хотел добавить, но, боясь её языка, который может ляпнуть что-нибудь, от чего ему станет больно, удержался. Старушка знала, что ему без его согласия приносить нельзя, – прогонит. В далёкие те времена она несколько раз пыталась тайком принести еду в поле, но он так её отчитал, что перестала даже заикаться об этом.

– Может, вина?

– Пошла прочь! – брезгливо крикнул старик. – У вас не вино, а разбавленная толчёными косточками, подкрашенная водица. И чёрт знает, что ещё вы добавляете для того, чтобы люди с ног валились после двух стаканов... И это называется у вас хлебом-солью... Увольте меня от этого. Да я вообще не пью теперь вина. Должна бы знать...

Старик понимал, что переборщил, что она-то не заслужила такого. Он сам был во всём виноват. Несколько раз в день тащилась она сюда в надежде на участие, на тёплое слово... Она была похожа на старый хлев с прогнившей крышей, который забыли сжечь... Старик никогда не баловал её добрым словом, но даже жестокое его обращение было для неё утешением... Он это знал. Но и она знала, что он не захочет отведать их хлеба-соли, а потому сносила все обиды.

– Жарежали моего телка... и кувшин мой открыли... Там чистый сок, разве ты пренебрегаешь всем моим? – покрасневшие, уставшие от жизни глаза её налились слезами.

Старик увидел это, и, хотя не умел жалеть её, всё же не каменный был...

– Я не про тебя всё это говорю... Но почему же ты лицемеришь? Почему не пожелаешь этим, которые съели твоего телка и выпили твоё вино, лопнуть от обжорства...

– Да что ты! Пусть они будут здоровы, хоть и не до меня им...

Она села на краешек скамьи, уронив голову, и замолчала.

...С тех пор как умерла жена, он даже не сидел с ней рядом... Эта смерть была для него тяжёлым ударом. До этого жизнь его была похожа на жизнь реки: то разливается, то мутнеет, и снова становится прозрачной, то мелеет... А после – она стала похожа на жизнь родника, который всегда прозрачен, не мутнеет, не прибавляет воды и не убавляет...

–Что это у вас за гости?

– Один пить горазд...

– А чтоб ему...

Они замолчали, занятые каждый своими мыслями. Тени накрыли уже большую половину земли вокруг, но всё ещё было душно: ни ветерка, ни дуновения...

– Бешеная собака, бешеная собака! – раздались крики не то со двора Бадрака, не то с дороги.

– Да, да, говорили, что по селенью ходит бешеная собака! – ужаснулась старушка. – Чтоб её черти изжарили...

– Тебе-то что бояться, несчастная. Нас с тобой даже бешеная собака не станет кусать, – грустно усмехнулся старик, но, вспомнив о внуке, вздрогнул, – как бы с мальчиком чего не случилось... Поди, пожалуйста, приведи его сюда побыстрее!

– Бешеная собака, бешеная собака!!!

– Мальчик в доме... Как же я пойду навстречу бешеной собаке – укусит меня...

– Чтоб она горло тебе перегрызла! – возмутился старик и попытался встать, но не смог, боль прошла его. – С мальчиком что-нибудь стрясется, будьте все вы неладны!

– Бешеная собака, бешеная собака!

Где-то совсем близко залаяла собака. Старушка в страхе поднялась. Старик смерил её презрительным взглядом.

– Бешеная собака!

Раздались один за другим два выстрела.

– Ой, ой! – завопила старушка.

Послышался визг, и, проскользнув между щелей изгороди, во двор вбежала маленькая беленькая собачонка, измученная и грязная. Голова и уши её были в крови: то ли она была ранена, то ли собаки её покусали.

– Ой! – опять завопила старушка и бросилась было бежать в дом, но вдруг остановилась. – Унан, чтоб мне умереть, да это же собака вдовы!

Раскормленные дворняжки, гнавшиеся за собачонкой, не смогли ни пролезть, ни перепрыгнуть через изгородь и с лаем кружились возле. А белая собачонка забралась под дом и притаилась там.

– Как это они сразу определили, что собака бешеная, герои, – сказал старик. – Какая же она бешеная, она и утром сюда забегала.

– Вдову отвезли в больницу, она при смерти, – сказала старушка, – собака за ней и побежала... они вдвоём жили... вот и потерялась, бедняжка, без хозяйки-то...

– Увидеть бы этих бездельников, которые гоняются за бедной собакой!

В это время во двор вбежал Сиса с двустволкой в руках, а за ним следом худой, на длинных ногах, словно на ходулях, рыжий, как рыжий муравей, мужчина. И в руках он тоже держал какое-то длинное, закопчённое старинное ружьё.

– Вы видели бешеную собаку?!

– Бешеную собаку?

Услышав их голоса, белая собачонка взвизгнула и, выскочив из-под дома, со всех ног кинулась прочь.

– Не смейте трогать её, она не бешеная! – возмущённо крикнул старик. Но никто не обратил на его слова внимания.

– Не штреляйте, вы что, шпятили?! – старушка засеменила за теми, кто гнался за собакой. – Чтоб вам и вправду шпятить!

Сиса был шагах в десяти от калитки, когда собачонка с визгом выскочила из неё. Он выстрелил вслед, Она взвыла, споткнулась, но опять вскочила. И тут её нагнал второй выстрел – больше уж она не шевелилась...

– Что за ослы! Не стреляйте, не стреляйте!

– Унан... Чтоб ваши черепа продырявила пуля! – искренне возмущалась старушка, но, испугавшись выстрелов, пятилась назад.

Вслед за Сисой выстрелил из своего ружья длинноногий. Собака лежала неподвижно, окровавленная. Раскормленные дворняжки не решались подойти близко к поверженной, они почему-то столпились поодаль и завыли.

– Пошли вон! – прикрикнул на них Сиса и, опираясь на двустволку, с победно поднятой головой, зашагал к старику.

– Сукин сын! – выругался старик.

– Соо-со-баки мм-мо-гут за-за-ра-зиться, – сказал длинноногий заплетающимся языком.

– Ты думаешь, она ещё может кого-нибудь укусить? – хихикнул Сиса.

– К-кто её зз-на-ет, – сказал длинноногий, – а мм-мо-жет, пп-при-тво-ряется...

– Ну конечно, пропустила сквозь себя две пули и притворилась!

Длинноногий всё-таки вышел за калитку и, вытянув шею, посмотрел на лежащую в луже крови собачонку, а потом прикрикнул на дворняжек. Собаки, будто ждали этого сигнала, неохотно тявкнули ещё разок и разошлись. Чалык, собака старика, тоже ушёл с ними.

– Ну что, – спросил Сиса, близко подойдя к старику, – неплохо стреляем как будто, надеюсь, видели?

Он был сильно пьян. Не тихо и вкрадчиво, как утром, а нагло и громко говорил он сейчас. Вино будто выжало из него отцовскую разнузданность, надменность и двуличие.

Старика передёрнуло.

– Тебе посчастливилось увидеть, как метко я стреляю, это не всякому дано... – Сиса совсем близко подошёл к старику, оперся на двустволку, как на трость, и стоял важно, выпятив грудь, сразу перейдя на «ты» со стариком. Старик видел его маленькие, почти детские ноги, обутые в начищенные до блеска, мягкие сапоги, которые топтали нежную травку под шелковицей.

– Жачем же вы это шделали? Жачем? Это же шобака вдовы, а никакая не бешеная! – сказала старушка.

Было заметно, что она побаивается своего племянничка и потому сдерживает своё возмущение.

– Ну и что... если эта не бешеная, то и бешеную застрелим! – сказал Сиса ещё развязнее и наглее.

– Е-ё кк-ку-да-ни-будь пп-по-одаль-ше нн-на-ддо ввы-бро-сить, зза-ра-зит кко-го-ни-будь, – заплетающимся языком долго выговаривал рыжий, смешно переступая своими длинными, как ходули, ногами. (Это был сельский фельдшер-акушер, но за неимением другого врача сходил за терапевта.)

– Сбросим с обрыва – разнузданно сказал Сиса.

– Рра-зве мм-мож-но, ги-гиена! – сказал «врач» И погрозил худым указательным пальцем.

– Чтоб вам побывать в шкуре этой собаки! – процедил сквозь зубы старик и, не скрывая брезгливости, посмотрел на обоих.

– Как?! – спросил Сиса, нарочито склонив голову, будто не расслышал слов старика.

– Бездельники!

– Ну! – он вздёрнул головой, как лошадь, получившая сильный щелчок по морде.

– Негодники, жачем вы жаштрелили шобачку! – вдруг, осмелев, набросилась на них старушка.

– А ты тоже хочешь? Тебе-то что за дело? – злобно прикрикнул на неё Сиса. – Старая ведьма!

Старушка сразу осеклась, пробормотала что-то непонятное и поплелась к калитке.

– Пули на вас жалко, сами вы бешеные! – воскликнул старик.

– Да ну! – опять дёрнул своей пьяной чубатой башкой Сиса. – Видно, тут ничего не осталось, – повертев пальцем у виска, добавил он, понизив голос, и пошёл прочь.

– Дорогой дядя, – вдруг сказал без всякой запинки рыжий, согнувшись в три погибели, чтобы наклониться к старику. От него несло перегаром так, что старика чуть не стошнило.

– Иди, иди, вместе со своим любезным другом, –сказал старик, отворачиваясь.

– Кажется, нога у вас... дочь говорила, – он перестал заикаться, но слова выговаривал медленно, словно они были горячими, как обжигающая рот пища, и он не мог их никак разжевать. – Не бойся ничего... Я сделаю так, что танцевать будешь! – подобие улыбки появилось на лице фельдшера.

Один его вид вызывал у старика чувство тошноты, и особенно коробило от того, как вымучивал он из себя слова. Что с ним сегодня! Или всегда он так... просто внимания не обращал... Как давно не слышал он нормальной человеческой речи: внук позабыл то, что знал, два слова не может связать, старушка без зубов – шамкает, не по себе становится, когда она жуёт и недожёвывает слова, Сиса говорит то слащаво-кисло, то грубит, этот врач-заика и трезвым-то плохо говорит, а опьянев, и вовсе еле свой косный язык ворочает... Получается, что остаются только те слова, которыми перебрасываются они с Хикой поутру, да и то половина из них – обидные, тяжёлые... Какое-то наваждение... А его – хлебом не корми – дай слово хорошее послушать, от хорошего слова надолго остаётся привкус радости.

– Каких только лекарств у меня нет... И всё потому, что есть люди... оттуда, отсюда... – выжимал из себя фельдшер свои нечистые слова, – танцевать будешь...

Он потянулся развязать ногу старика, чтобы осмотреть.

Старик отвёл его руку.

– Что дядя... что? Ты знаешь, откуда присылают мне всякие лекарства...

– Если даже из Мсыра (Египта)... ступай лучше, наверное, не всё ещё выпил...

– А-а-а-а, – он опять сделал подобие улыбки, – лаа-дно... тогда завтра... Лекарства у меня есть... таких ни в Тбилиси, ни в Сухуме...

– Убери от моей калитки убитую собаку, – сказал старик, – если хотите, подайте на стол своим гостям, ты небось слышал предание о том, как поп, заставив свинью визжать, зарезал собаку...

– Ррр-а-зве можно... гигиена! – снова подобие улыбки искривило лицо фельдшера, и он, опираясь на длинное закопчённое своё ружьё, пошёл к калитке.

– Смысла нет обижаться на него, – сказал старик самому себе. – Что с него возьмёшь, если нищ духом. – Он посмотрел вслед уходящему на длинных ногах-ходулях и засмеялся.

Солнце было уже совсем низко. Жара постепенно спадала, но по-прежнему было безветренно: ни один листок не шелохнулся, всё оцепенело, словно околдованное. С огорода потянуло сначала запахом цветущей фасоли-скороспелки, а по мере того как спадала жара, старик всё явственнее начал различать запахи тыквенных и огуречных соцветий. Потом жар свалил совсем, и с лугов из долины пришёл густой, пряный аромат луговых цветов и отцветающих лип. Земля вздохнула с облегчением. Гул, который старик ощущал всем своим существом, ослабел, стал размереннее и тише, и всё живое свободнее дышало и росло, вытягивая, расправляя свои корни, а земля податливее отдавалась им. Старик словно бы чувствовал всё время эту творимую для жизни и во имя жизни работу земли.

За калиткой некоторое время ещё слышались голоса «врача» и детей. Старик напряжённо вслушивался: Адгура среди них не было. «Врач» и дети что-то делали там с собакой, потом подняли её и понесли куда-то. И всё время среди детского гомона выделялись слова «врача»: «Гигиена, гигиена!»

– Яблоко от яблони недалеко падает, чего можно ждать от сына этого... – сердито сказал старик.

Старик старался не лезть в дела Хики, но, видимо, теперь придётся вмешаться... Нужно сделать так, чтобы с Сисой у неё ничего не вышло. Иначе она будет бесконечно несчастной... Да и он сам не перенесёт этого... Правда, до сих пор он молчал, но на это была своя причина...

– О Боже, Боже! – застонал старик. – Зачем эти воспоминания? Хоть бы память пощадила меня. Раз уж так случилось, ничего изменить или поправить нельзя. Ждать, наверное, недолго... Забыться, успокоиться...

Многие, видно, и не такое забывают. А он всё помнил, и более того – укоры совести с годами не только не утихли, а, наоборот, обострились... Он и не вспоминал – просто не забывал никогда. С тех пор как стряслось непоправимое, стыд сжигает его. Тогда парня он любил, как сына, уважал его за прямой нрав, честность и доброту. А в тот злополучный день он впервые узнал о любви этого парня и дочери, любви такой же искренней и глубокой, как его честность. Никто не догадывался об этом ни до, ни после... А Хика? Разве такой она была в ту пору, разве подошла бы она близко к Сисе, будь он хоть трижды неотразимым красавцем!

Тот парень почему-то относился к старику, как никто в жизни: приходил за советом и верил ему до конца. Так отрадно это было старику, который так истосковался по человеку, человеческому участию и просто по человеческому отношению к себе. Старик не знал, почему парень выбрал его, но понимал, что не из-за одной любви к Хике... Вернее, не понимал, а чувствовал... А чувства его не обманывали...

...И в самый страшный день своей жизни парнишка пришёл к старику. Старик был первым, кому он всё рассказал. Лучше бы ему ничего не знать...

Леварсана (так звали парнишку) в армию забрали юнцом. Шла война. Приблизительно полгода обучали его военному делу где-то поблизости. На фронт его часть ехала через Абхазию. И как-то вечером, когда эшелон остановился на какой-то станции, кто-то подозвал его и, стукнув чем-то тяжёлым по голове, оглушил... Очнулся он уже в лесу. Какие-то типы, приставив к его груди автомат, приказали вести их в горы, – он местный и должен хорошо знать все тропы.

Леварсан: Самое простое было заработать пулю в живот, и делу конец. Но никто бы об этом не узнал и моё имя произнесли бы с омерзением, как имя дезертира и труса... А страшнее этого нет ничего на свете!

Он повёл их лесами в свою деревню. К утру они подошли к знакомой ему пещере. Когда они вошли в пещеру, он выбрался через известный ему одному ход и убежал.

...И явился прямо к старику.

В тот день в доме Бадрака гостили люди из истребительного батальона. Бадрак служил в нём, и у него под командой было звено. Старик сказал об этом юноше, но не советовал обращаться к Бадраку. У него было предчувствие, что, узнай Бадрак о беде Леварсана, всё плохо кончится... Старик хотел что-нибудь другое придумать...

Леварсан: Но время не терпит. Нужно спешить. Они могут скрыться. Что правда, то правда – Бадрак всегда недолюбливал меня. Видимо, потому, что я никогда не прощал фальши, которой он пропитан насквозь... Мне казалось, что об этом нужно говорить вслух, открыто, я так и поступал, когда дело касалось общественных интересов. Бадрак презирал меня, хотя никогда, по крайней мере при мне, не высказывал своего презрения. А я, в душе, его оправдывал, считал, что во всём виноваты трусы и соглашатели, которые замалчивают и плохое и хорошее...

– О Боже, Боже! – застонал старик, – что за кристальный парень был... ему казалось, что все думают, как он...

В тот день и в самом деле не было другого выхода...

Бадрак тут же арестовал Леварсана и погнал его к пещере. Старик тоже пошёл с ними.

Оцепили пещеру и послали в район человека за подмогой.

Окопавшись и заняв выгодные позиции, Бадрак и его люди послали безоружного Леварсана в пещеру сказать дезертирам, что они окружены и чтоб сдавались без глупостей. (Их было немало – шесть хорошо вооружённых дезертиров.)

«Иди, любой ценой вымани их оттуда! И знай, что я взял тебя на мушку, вздумаешь бежать, пеняй на себя!» – процедил сквозь зубы Бадрак.

Видимо, старик и Леварсан ждали невозможного...

Во время войны человеку, оказавшемуся в положении Леварсана, никто не стал бы доверять...

Леварсан не боялся смерти, страшило, что односельчане могут не узнать правды: верит ему только старик, и прилипнет к его имени это бесславное слово «дезертир». Нет, не такой смертью хотелось ему умереть!..

Встав во весь рост, не прячась, с непокрытой головой пошёл он прямо к пещере. А старик, сидя в засаде в стороне от всех, прикусил губу до крови, чтобы не закричать от отчаяния. Все притихли, и в предательской тишине стали слышны шуршащие шаги Леварсана, шедшего по каменистой тропке. Подойдя к выходу из пещеры, он остановился и что-то прокричал, но старик не расслышал его слов, потому что в ушах у него шумело от возбуждения, не услышал он и выстрела, разорвавшего томительную тишину, но вдруг увидел, что Леварсан упал, словно подкошенный, лицом на камни. И тогда старик закричал, но никто не услышал его истошного вопли, потому что уже с обеих сторон гремели выстрелы.

Перестрелка была недолгой. Двоих убили, а остальные дезертиры, прикончив главаря, сдались.

Старик подошёл к Леварсану, повернул его вверх лицом, опустился на колени и закрыл стекленеющие мёртвые глаза. На груди чернела одна единственная рана. Одна пуля – в самое сердце...

Только тогда, увидев старика у трупа, Бадрак спохватился.

– Уберите его отсюда! – приказал он.

– Не трогайте его, пока не приедут из района, – возразил старик, поднявшись.

– Ты-то что здесь делаешь! – выпучил глаза Бадрак. – Это тебе что, игрушки?! Пулю в лоб получишь, тогда узнаешь... Убрать труп!

Что ему было делать...

Когда из района пришла подмога, всё было кончено. Кто в тот день не видел Бадрака, тому бы надо ухитриться ещё в утробе матери на него посмотреть, так победно держался он, так важно смотрел вокруг, так был горд собой!

Старик подошёл к старшему из районного Совета, просил посмотреть, с какой стороны пуля попала в Леварсана, и выяснить почему...

Его потом вызывали, но он так и не сумел ничего доказать, запутался... и дрогнул, отступил...

А у него тогда только что умерла жена, сын был ещё мальчишкой, да и Хика ещё совсем юной девушкой...

– О Боже, Боже! – простонал старик.

...И Хика ходила ни жива ни мертва... А на него обрушилось полное одиночество. Все замкнулись в свои круги, куда доступа ему не было. Будто жили непохожей на его жизнью и хотели от жизни совсем другого, нежели он. Будто война принесла ему своё особое горе, отличное от горя других, горе с каким-то привкусом...

Теперь он перестал искать удобный случай, как делал прежде, перестал ждать тот момент, когда вдруг появится брешь в стене, отгородившей его от людей, чтобы хоть временно оказаться «внутри круга» и отдохнуть от испепеляющей борьбы с самим собой. Потому что во всём, что произошло, он винил только себя: это он однажды смалодушничал, не пожертвовал собой, когда представился случай... не отомстил, когда появился повод... А мог бы полностью рассчитаться и очиститься... Конечно, не в погоне за славой сделал бы это он, от этого не воскрес бы покойный, может, он не смог бы даже вернуть ему и его доброго имени, но есть же человеческий долг, долг перед собой, перед своей совестью.

...Бадрак же совсем задрал нос, словно всем хотел сказать: «любуйтесь и преклоняйтесь»...

А он, как неудачник из сказки, у которого не нашлось горстки золы, чтобы присыпать рану и убить этим злого великана... И на месте отрубленной головы выросла другая...

– Чудовище! – сказал старик. – Чудовище!

Он ненавидел Бадрака больше всех на свете.

Солнце уже почти зашло. Стало прохладно. Земля обильнее и щедрее отдавала свои соки, своё материнское молоко.

Старику даже почудилось, что земля крепче прижимается к его ступне, и стоит ему открыть рот, как она заговорит его голосом и скажет непременно что-то значительное и доброе...

Подул прохладный ветерок, и старику полегчало. Голова, правда, была ещё тяжёлой, и он долго сидел, свесив голову на грудь, смотрел в траву.

Рядом с его ногой возился жук. Сделав шар из конского навоза, он катил его куда-то, подталкивая задними лапками. Он очень торопился, что-то беспокоило его: толкнёт один-два раза свой шар, потом остановится, притаится, словно прислушивается, потом снова начинает быстро-быстро катить шар. Старик понял, что жук катит свой шар к выпирающему из земли корню шелковицы с морщинистой, как кожа ящерицы, корой. Вокруг этого корня травы почти не было, и земля была рыхлой и мягкой, жук, наверное, катил свой шар туда, чтобы зарыть его.

Старик улыбнулся.

В это время скрипнула калитка, и он, забыв тут же обо всём на свете, замер в ожидании: пришли Хика и мальчик.

– Самолёт! Самолёт! – маленький Адгур подбежал к деду, неся в охапке груду каких-то металлических игрушек.

Подбежав, мальчик положил свои сокровища на траву и кинулся в объятия к старику. Тот радостно обнял внука.

– Кто дал тебе это, малыш?

– Папа, папа! – восторженно сказал мальчик и стал подносить игрушки по одной к самому лицу деда.

– Он не смог приехать, но прислал с кем-то эти игрушки, почтальон принёс, – сказала Хика, подходя. Туда приходил...

Старик заметил, что Хика чем-то озабочена.

– Ракета, самолёт, машина, – радовался мальчик, перебирая игрушки.

– Значит, не смог... – обиженно вздохнул старик.

– Проголодался ты... да и жажда, наверное, замучила... – сказала Хика, словно извиняясь.

– Ничего со мною не случилось, – ответил старик, смягчившись, – всё равно мне уже ничто впрок не идёт... ем что-нибудь или не ем... А пить хочется.

– Сейчас принесу холодный мацони.

– Гости ушли или ещё здесь?

– Гости... если бы я знала... На хозяев похожи... Паршивая овца паршивую овцу чешет...

Старику понравилось, что Хика вдруг так откровенно выразила свою неприязнь к соседям.

Она ушла в дом, чтобы принести мацони.

– Значит, папа снова прислал тебе эти игрушки... старик притянул к себе внука, погладил по затылку. И опять ему стало так хорошо, будто хорошую песню услышал...

– Папа... папа... – залепетал мальчик. – Ракета, самолёт...

– Видишь, не приехал твой папа...

Сунар: Долго я пробирался сквозь толпы загоревших, потных, спешащих куда-то с невидящими глазами, мечущихся людей. Наконец я свернул в сквер и пошёл по молодой сосновой аллее. Людей там было меньше. Одни чинно

прогуливались по дорожкам, другие валялись прямо на траве под деревьями. Я расстегнул ворот рубахи и вздохнул. Ноги, после всего выпитого и съеденного мною, не очень меня слушались, они почему-то всё время попадали не туда, куда я хотел их поставить, я их переставлял то слишком быстро, то слишком медленно, отчего то и дело спотыкался. Но голова работала, и соображал я хорошо. Никак я не мог отделаться от мысли, что между мною и новоиспечённым кандидатом почти не осталось никакой разницы... От этой мысли всё болело и ныло у меня внутри... Я с радостью подумал о своих сверстниках, с которыми начинал когда-то и которые остались на правильном пути... И немного утешился, потому что, видимо, не так уж низко я пал, если меня это радует и я не желаю им уподобиться мне...

Но какое же это утешение...

...Дома никого не было. Жена оставила записку, что ждала, думая поехать в деревню со мной, но, не дождавшись, послала игрушки мальчику...

Всё же ещё не поздно... не поздно вернуться...

Старик сидел некоторое время, прижав к себе внука, и следил за навозным жуком. Жук подкатил к торчащему корню свой шарик, остановился, замер, прислушиваясь к чему-то, и, быстро орудуя всеми своими лапками, стал рыть мягкую землю.

Что-то невидимое и неслышное, недоступное человеческому уху и глазу, всё время тревожило его.

– Видишь, какой жук?

Мальчик с интересом посмотрел на жука и рванулся, чтобы поймать его. Но старик удержал:

– Видишь, он работает, жалко будет, если спугнёшь, убежит, оставив всё, и труд его пойдёт прахом...

Но мальчик потерял всякий интерес к жуку, потому что ловить его не разрешили. Он освободился из объятий старика, наклонился и погладил игрушки, потом, взяв в каждую руку по одной, начал бегать по двору, держа их над головой.

– Ракета, ракета, самолёт! – кричал он звонким голосом.

Старик сдвинул брови.

– Что тебе сказать, дад, что сказать, – проговорил он вслух, обращаясь мысленно к сыну, – почему ты не замечаешь происходящего с мальчиком... Он, видно, с изъяном... Откуда такая любовь к этому холодному металлу... который душу иссушает. Я этого не допущу, пока жив, и тебе не позволю...

Старик сидел насупившись, пока снова не наткнулся взглядом на жука-труженика. Тот упорно работал, затаиваясь время от времени и прислушиваясь. Вдруг откуда ни возьмись появились ещё два жука. Они были крупнее и сразу набросились на навозный шарик. Предчувствия не обманули владельца шарика. Он засуетился и ринулся на них. (Дармоеды, подлецы, грабители, работаешь, работаешь, из сил выбиваешься... Такой кругленький шар получился, прелесть… А они являются, чтобы забрать готовое... Поживиться… отнять... Как бы не так!) И начался бой не на жизнь,

а на смерть. Силы были неравные, но ярость владельца пугала двух завоевателей. Им всё же удалось его опрокинуть, и, пока он лежал на спине не в силах перевернуться, они покатили шар. Они очень торопились, и потому работа у них не спорилась: то что-то на дороге мешало, то, не согласовав своих действий, один начинал толкать шар в одну сторону, а другой – в другую... В это время наконец перевернулся владелец шара, безошибочно догнал грабителей и с удвоенной яростью набросился на них, а те уже выдохлись, устали, и, не выдержав натиска, разбежались в разные стороны. Победитель, даже не передохнув, обошёл шарик и, убедившись, что он цел, покатил к тому месту, где рыл землю. И опять взялся за рытьё...

На сердце стало тепло, старик участливо улыбнулся. Попив холодного мацони, поев немного, старик повеселел. Жажда тоже почти прошла.

– Сегодня на наседку налетел коршун, кто знает, может, осталась лежать где-нибудь...

– Несчастная... и цыплята весь день голодные... Хика взяла тарелки, с которых ел старик, и быстро пошла в дом.

Вскоре она вышла кормить цыплят и стала сзывать их. Цыплята подбежали. Рябенький держался в стороне, но когда Хика высыпала корм на землю, и все набросились на еду, он, позабыв обо всём, затесался в самую гущу.

Наседки не было. Хика позвала её.

– Э-эх, видно, погибла...

– Нет, нет, вон она... идёт, даже бежать пытается.

– Ну раз до сих пор жива, значит, выдюжит, – сказал старик с облегчением.

Было совершенно ясно, что Сунар теперь не приедет, но упрямый огонёк надежды всё ещё теплился внутри старика.

Сунар любил сказки, а старик знал их великое множество. А когда видишь, что слушатель внимает твоим словам, рассказываешь с особой радостью. Старик ощущал себя в такие минуты натянутой тетивой лука, и «стрелы» его попадали в цель... Видя, что слушателя захватил его рассказ, он так отдавался сказке, столько самого себя вкладывал в неё, что после чувствовал приятную пустоту в себе, словно был деревом, с которого бережно собрали все плоды.

Но Сунар не приезжал теперь домой и по выходным дням...

И старику кажется, что Сунара давно, очень давно не было. Давно он не рассказывал сыну сказки... А может, он сыт ими по горло? Но разве сказки могут вызвать пресыщение? Жизнь продолжается, а значит, и конца сказкам нет...

Старик верил в сына и даже себе не позволял усомниться в нём.

Тени полностью овладели землёй, заметно посвежело. Аромат цветущих поздних яблонь постепенно вытеснил все другие запахи и наполнил окружающий воздух. Старик любил этот запах, кисловатый и лёгкий, он с удовольствием вдыхал его сейчас.

– Хика, – позвал старик, – подай мне алабашу, я бросил ею в наседку, так и осталась лежать. Наседка меня разозлила... потом я раскаялся, но было поздно...

– Давай я развяжу ногу, – сказала Хика, подавая ему посох, – положу свежий целебный лист на рану.

Хика развязала больную ногу, и старику сразу стало легче. Опухоль на ноге опала, и старый лист не прилип к ране.

– Заживает, – сказала Хика, осторожно поглаживая вокруг раны.

На душе стало хорошо, давно он не видел дочь такой.

– Пока этот фельдшер дойдёт до нас... Сегодня завернул к этим, почуяв винный дух...

– Кому он нужен!

– Сколько лет тратят на него народные деньги и всё зря!

– Ничего, когда-нибудь все выплывёт... Когда же?!

– Знаешь, зло иногда ищут там, где его нет... Потому что оно около правды.

Хика вздохнула, потупив взор.

– Сегодня собаку убили, просто несчастную, заблудившуюся собачонку...

– Сами они бешеные...

Хика положила на рану свежий лист и перевязала её. Нога почти не болела.

– До дома, наверно, сам дойду.

– Лучше не надо.

Хика не уходила. Она казалась растерянной, словно бы сама недоумевала по поводу своего непривычного размягчённого какого-то состояния.

– У нас не может быть ничего общего с этими... И никто, в ком есть остатки совести, не будет иметь с ними дела... – сказал старик.

Отец и дочь молча посмотрели друг другу в глаза. На мгновение стало так тихо, что казалось, вот-вот услышишь, как растёт трава...

– Что для них какая-то собачонка, у них руки чешутся, если не в кого стрелять, некого погубить... Для них это удовольствие, развлечение, – сказал немного погодя старик.

– Знаешь, за что они пили сегодня...

Хика обессиленно опустилась на скамью возле отца, как будто ноги больше не держали её.

– За все пули, которые вылетели из дула его ружья...

– Подонок!

– Они ничего не скрывают, обнаглели совсем...

– В этом не одни они виноваты...

– Люди ведь знают, что тогда он сводил счёты с ним, воспользовавшись случаем... Почему же, почему они разрешают так унижать, так топтать себя...

У Хики навернулись слёзы, чтобы не показать их отцу, она поднялась и пошла домой. Шла она медленно, а старику показалось, что располневшая её фигура обрела вдруг девичью гибкость, а походка – властную

решительность. Словно с ожившей болью утраты вернулась к ней какая-то внутренняя свобода и раскованность.

Старик какое-то время сидел неподвижно. Потом выпрямился, потянулся и почувствовал, что постепенно возвращается к нему утраченное душевное равновесие... Эта внезапная перемена в дочери радовала и успокаивала душу. Он поднял голову и обвёл взглядом весь двор, и ему показалось, что двор снова занял прежнее место в их жизни... В те времена, когда жизнь его превращалась в пустыню, палимую знойным солнцем, двор бывал для него оазисом...

Крошечный дворик под огромным беспощадно синим небом...

Один на один...

Зелёная лужайка...

Во двор прибежали куры. Пёстрая щеголиха вертелась подле хозяина птичьего двора, старого петуха. А молодой красавец петух делал вид, что ничего не замечает. Он то смотрел в небо и удивлённо кукарекал, словно заметил там какие-то провалы, то, наклонив голову, что-то клевал, громко сзывая всех, будто нашёл нечто невероятное. Но никто не обращал на него внимания, все были заняты сами собою, да к тому же их старейшина – большой петух – был не за горами, и преждевременный герой их не интересовал. Пеструха-щеголиха сама ничего не искала, только обхаживала своего почтенного старика, и он старался вовсю, выискивал в траве всякие вкусные зёрнышки и во всеуслышание торжественно подзывал её... Но иногда она озабоченно поднимала голову, незаметно уходила и, оставляя старика, притворяясь, будто глубоко задумалась, сама тем временем поглядывала на молодого (вот, мол, где я, а ты, если не трус, покажи своё мужество). Молодой петух тоже поднимал голову и смотрел, прислушиваясь, он понимал, что старый хитрец только прикидывается ничего не видящим, а потому сам отходил, давая понять, что ему тоже не надо этого.

Кур-трудениц, кур-несушек сразу отличишь ото всех. Передвигаются они на своих длинных, розовых ножках не быстро и не медленно, ищут и обязательно находят корм, очень умело и размеренно пользуются клювом: клюнут – возьмут, клюнут – возьмут, И держат клюв наготове, пока не найдут новую добычу. А щеголихи, вроде пеструшки, ходят плавно, не спеша, то и дело останавливаются, будто в голову пришла какая-то прекрасная идея, а потом снова начинают важно расхаживать, презрительно обходя петухов. Они ничего не ищут, только мимоходом быстро-быстро срывают нежные травинки. Остальные куры все похожи друг на друга, бегают вместе то в одну сторону, то в другую, найдёт какая-нибудь из них зёрнышко, которое не может сразу склевать и проглотить, схватит свою добычу в клюв и начинает бегать, а остальные припустятся за ней, пока не отнимут, если, конечно, она не сглотнёт свою добычу на бегу, давясь.

Наседка была далека от общих куриных дел. Она была поглощена своими цыплятами. Наевшиеся цыплята очень спокойно бегали и копошились около

матери и дружно выводили ровную, спокойную мелодию блаженства... Рябенький им подпевал, но держался всё же поодаль.

Дорога опять ожила, всё больше и больше шумов, звуков, понуканий. Растянувшись, словно огромный поезд, по всему селению, вела она людей домой, к их недолгим стоянкам-очагам.

Вечером всё оживало. Даже талая, снежная вода медленно тающих ледников и вечных снегов добиралась в эту пору до реки, и долинная река оживала, прибавляя свой бег и становясь говорливее.

Старик знал об этом, и, наверное, ему представлялось, что он слышит этот вечерний говор реки, а может быть, и на самом деле он слышал его. Ему даже чудилось, будто он отличает звук, рождённый талой водой, от обычного звучания реки, потому что ледниковая вода не шумит, а звенит, и звон разносит леденящую её прохладу на большие расстояния...

...Всё приносит река с далёких гор, кроме вкуса воды из горных родников, воды ацыха-дзы. Потому-то, наверное, и сейчас кто-то карабкается в горы, проходит по замысловатым и узким каменным тропам, которые опоясывают скалистые пропасти и над которыми даже птицы пролетают с замиранием сердца, и идёт к потокам, где всё сохраняет первозданную свежесть, начиная со вкуса воды.

Старик всегда понимал себя частью природы, и в этот вечерний час он погрузился в неё, как в сладкий сон, природа словно бы затягивала его в себя, и постепенно он растворился в ней, став ею, а она им...

Затихли вечерние дороги, отдалились все мелочи и дрязги, которые скапливаются на поверхности земли, как прилипалы на теле больших рыб... Старческие его сосуды и жилы стали эластичнее, распрямились, кровь быстрее заструилась по ним, и старик всем своим существом почувствовал тот подлинный вкус жизни, который немногим дано чувствовать и который никогда не забывается, а становится мерилом всего настоящего, первородного и первозданного.

...Солнце наконец скрылось за холмом, спустившись в большой овраг, который в детстве был для них тем местом, где прячется ночь. Земля сразу завздыхала прохладным ветром, как будто жалела, что рассталась с солнцем и не увидит его теперь до утра. Всё изменилось вокруг. Всё отдавалось во власть ночи – и цветы, и травы, и горы... Но и ночь была полна жизни – в колыбели подрастал ребёнок, зрели, наливаясь соком, плоды, не успевшие сделать этого за день. Жизнь, жизнь, жизнь... и днём и ночью – бесконечная и беспокойная.

– Я видела тракториста сегодня, – сказала Хика, которая вышла из дому и снова подошла к нему, – он обещал завтра расчистить родник, освободить его от оползня.

Старик посмотрел на неё отрешённым счастливым взглядом, полным нахлынувшего на него блаженства.

– Спасибо, – сказал он, – спасибо, дад...

Давно он так не говорил с ней, чтобы самому прочувствовать вкус своих слов...

– Сунар и сегодня почему-то не приехал, – сказала Хика тревожно, – что с ним случилось?.. Надо мне съездить туда.

Сунар: …Да, случилось... что-то случилось со мной... Я, кажется, задремал, уронив голову на стол. Проснулся, голова раскалывается, весь потный, во рту пересохло... Но душевные мои терзания утихли и рассеялись. Какая-то двойственность мучает меня: во мне словно бы два человека. Один говорит: «Брось всё, живи, как живётся, а все твои терзания – сплошное донкихотство». А другой молчит, не возражает. «Донкихотство, притом примитивнейшее», – смелеет первый. «Это становится опасным», – вдруг говорит второй, но гораздо тише и глуше. И вдруг я отрезвел: «Здесь должен быть третий – самый главный арбитр, который решит всё раз и навсегда; если оставит всё, как есть, топотом уже будет поздно!» – сказал я и встал. Взял рукопись, хорошо отпечатанную и тщательно выверенную, с огромным списком использованной литературы, но, посмотрев на пустой ящик, в котором она до сих пор лежала, вздрогнул. Тот, первый, издевательски хмыкнул, а второй опять молчал. Я перелистал рукопись, прочёл несколько гладких предложений, составленных из обтекаемых слов, и... «Сегодня или никогда», – сказал я.

С рукописью в руках я бессмысленно кружился по квартире. «У старых литераторов были камины, – с насмешкой сказал первый, – им было где сжигать...» – «Ты ещё пьян, – сказал второй, – как бы потом не хватил тебя удар...»

«Да, это нужно делать на трезвую голову, чтобы серьёзно обо всём поразмыслить и делать всерьёз!» – сказал я и сел, бросив рукопись на стол.

Думаю, что не отступлюсь, иначе это будет и в самом деле опасно...

На вечернем небе ни облачка. Тучки, не обременённые дождём, которые весь день вели наступление на вершину, рассеялись. Только очень зоркий глаз смог бы заметить кое-где на острых, торчащих гребнях скал подцвеченные угасающим отблеском зари – солнцем мёртвых – крошечные, невесомые, как вздохи, завитушки облачков.

Старик поднял голову и глубоко вздохнул.

– И приснился ему однажды чудесный сон: будто солнце висело у него в изголовье, луна у его ног, а звезда, сияя, лежала на груди... – пробормотал старик, и вдруг окружающий его мир словно бы погрузился в прозрачную воду и задрожал, а он почувствовал, что сухие его веки увлажнились... – увидев этот сон, юноша дал клятву, что расскажет его только тому, кто сразу же воскликнет: «Да сбудется твой сон!»

Перевод Г.Семёнова

Гогуа Алексей Ночиевич

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

Том первый

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

Перевод с абхазского